БАЛЗАК

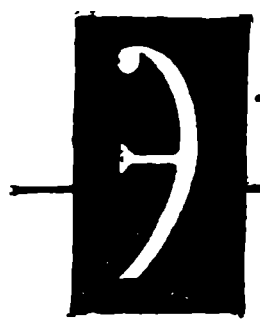
ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 24 ТОМАХ

ТОМ 9

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960



ТЮДЫ О НРАВАХ

СЦЕНЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ В ПАРИЖЕ

Ни Люсьен, ни г-жа де Баржетон, ни Жантиль, ни горничная Альбертина не рассказывали о путевых происшествиях; но надо думать, что для влюбленного, предвкушавшего от похищения все радости, путешествие было омрачено постоянным присутствием слуг. Люсьен, впервые ехавший в почтовой карете, был крайне смущен, когда оказалось, что он истратил в пути от Ангулема до Парижа почти все деньги, рассчитанные на год жизни. Как и все люди, сочетавшие в себе силу таланта с обаятельностью ребенка, он поступал опрометчиво, не скрывая простодушного изумления перед новым для него миром. Мужчина должен хорошо изучить женщину, прежде чем открыться ей в чувствах и мыслях, не приукрашая их. Ребяческие выходки вызывают улыбку нежной и великодушной возлюбленной, и она все понимает; но иная, в ветреном своем тщеславии, не простит любовнику ребячливости, легкомыслия или мелочности. Многие женщины чересчур преувеличивают свои чувства и желают из кумира сделать бога; между тем как другие, любящие мужчину более из любви к нему, нежели из любви к себе, равно обожают и его слабости и его достоинства. Люсьен еще не разгадал, что у г-жи де Баржетон любовь была взращена гордостью. Вина его была в том, что он не понял иных улыбок, скользивших по лицу Луизы во время путешествия, не пытался их

пресечь и по-прежнему резвился, точно крысенок, вырвавшийся из норы.

На рассвете путники прибыли в гостиницу «Гайар-Буа», что в улице Эшель. Любовники сильно устали, и Луиза прежде всего пожелала отдохнуть; она легла в постель, приказав Люсьену спросить для себя комнату вверху, над помещением, занятым ею. Люсьен проспал до четырех часов. Г-жа де Баржетон распорядилась разбудить его к обеду; Люсьен поспешно оделся, услыхав, который час, и застал Луизу в одной из омерзительных комнат, позорящих Париж, где, вопреки множеству притязаний на щегольство, нет ни одной гостиницы, в которой богатый путешественник мог бы себя чувствовать как дома. В этой холодной комнате, без солнца, с полинялыми занавесями на окнах, с паркетным полом, натертым до блеска, нелепого здесь, уставленной ветхой, допотопной или купленной по случаю мебелью дурного вкуса, Люсьен, правда, еще полусонный, не узнал своей Луизы. И точно, иные люди как бы утрачивают свой облик и значительность, стоит лишь им разлучиться с людьми, с вещами, со всем тем, что служило для них обрамлением. Человеческие лица окружает некое подобие атмосферы, присущей только им,— так светотень на фламандских картинах необходима для жизни образов, брошенных на холст гением живописца. Почти все провинциалы таковы. Притом г-жа де Баржетон проявляла более достоинства, более рассудительности, нежели то подобает проявлять в часы, когда близится безоблачное счастье.

Жаловаться Люсьен не мог: прислуживали Жантиль и Альбертина. Обед не имел ни малейшего притязания на обилие и отменное качество провинциальных трапез. Кушанья приносились из соседнего ресторана, они подавались к столу скромными порциями, урезанными спекуляцией; на всем лежал отпечаток скудости. Париж непригляден в том малом, что выпадает на долю людей среднего достатка. Люсьен ожидал конца обеда, чтобы спросить Луизу о причине перемены, казавшейся ему необъяснимой. Он не обманулся. Важное событие — ибо в душевной жизни размышления — те же события — произошло, покамест он спал.

Около двух часов пополудни в гостинице появился Сикст дю Шатле; он велел разбудить Альбертину, изъ-

явил желание повидаться с ее госпожою и воротился, едва г-жа де Баржетон успела окончить свой туалет. Анаис, крайне удивленная,— она была так уверена, что укрылась надежно,— приняла дю Шатле на исходе третьего часа.

— Я последовал за вами, пренебрегая гневом начальства,— сказал он, раскланиваясь с нею.— То, что я предвидел, случилось. Но пусть я потеряю должность, все же я не допущу вашей гибели!

— Что означают ваши слова? — вскричала г-жа де Баржетон.

— Я понял, вы любите Люсьена,— продолжал он ласково, с покорным видом.— Нужно до забвения рассудка полюбить человека, чтобы пренебречь всеми приличиями, а вам они хорошо известны! Милая моя, обожаемая Наис, неужели вы надеетесь быть принятою у госпожи д'Эспар или в каком-либо ином салоне, если пройдет молва, что вы чуть ли не сбежали из Ангулема с каким-то юнцом и тем более после дуэли господина де Баржетона с господином де Шандуром? Пребывание вашего мужа в Эскарба могут истолковать как разрыв. В подобных случаях порядочные люди сначала дерутся за честь жены, затем дают ей свободу. Любите господина де Рюбампре, опекайте его, делайте все, что вам вздумается, но не живите под одной кровлей с ним! Если кто-нибудь узнает, что вы вдвоем совершили путешествие в карете, на вас станут пальцем показывать в том кругу, где вы желаете быть принятой. И затем, Наис, не приносите жертв этому юноше; вы не имели еще случая с кем-либо его сравнить, он не выдержал еще ни одного испытания и, может статься, пренебрежет вами ради какой-нибудь парижанки, которую сочтет более необходимой для своих честолюбивых замыслов. Я не хочу порочить любимого вами человека, но позвольте мне ваши интересы поставить выше его интересов. Выслушайте же меня. Изучите его! Обдумайте хорошенько ваш поступок. И если двери перед вами будут закрыты, если женщины не пожелают вас принимать, оберегите себя хотя бы от раскаяния, решите твердо, что человек, ради которого вы принесли столько жертв, этого достоин и это оценит. Особенно щепетильна и взыскательна госпожа д'Эспар, она сама разошлась с мужем, и свет так и не

проник в тайну их размолвки: Наваррены, Бламон-Шоври, Ленонкуры, короче, все родственники окружили ее, самые чопорные дамы бывают у нее и оказывают ей почетный прием; право, можно подумать, что виновен маркиз д'Эспар! При первом же посещении ее дома вы убедитесь в правильности моих советов. Я знаю Париж и могу вам сказать заранее: в салоне маркизы вы окажетесь в отчаянном положении, если она узнает, что вы поселились в гостинице «Гайар-Буа» вместе с сыном аптекаря, называйся он даже де Рюбампре, коли ему так угодно. Здесь у вас отыщутся соперницы коварнее и хитрее Амели: они поспешат узнать, кто вы, знатны ли вы, откуда пожаловали, чем занимаетесь. Вы полагались на инкогнито, как я понимаю. Но вы из породы людей, для которых инкогнито невозможно. Не столкнетесь ли вы повсюду с Ангулемом? Депутаты ли съедутся на открытие палат, генерал ли заглянет в Париж во время отпуска,— довольно одному ангулемцу встретить вас, и участь ваша будет решена самым нелепым образом: впредь вы окажетесь лишь любовницей Люсьена. Я к вашим услугам всегда и во всем. Я остановился в улице Фобур-Сент-Оноре, в двух шагах от госпожи д'Эспар, у главноуправляющего сборами. Я достаточно коротко знаком с супругой маршала де Карильяно, с госпожою де Серизи и с председателем государственного совета, я могу вас представить; но вы и без меня войдете в свет через госпожу д'Эспар. Вам ли желать быть принятою в том или ином салоне? Вы будете желанны во всех салонах!

Дю Шатле говорил, и ни разу г-жа де Баржетон не прервала его: она была сражена, признав правоту его доводов. И точно, ангулемская королева полагалась на инкогнито.

— Вы правы, дорогой друг,— сказала она,— но как быть?

— Разрешите мне,— отвечал Шатле,— найти для вас пристойную квартиру с обстановкой; квартира станет дешевле гостиницы, и у вас будет дом; ежели вы меня послушаетесь, нынешнюю же ночь вы проведете там.

— Но как вы узнали мой адрес? — спросила она.

— Вашу карету узнать было нетрудно, к тому же я следовал за вами. Ваш адрес почтарь сказал моему воз-

нице во время остановки в Севре. Позвольте мне быть вашим квартирмейстером. Как только я вас устрою, извещу запиской.

— Хорошо,— сказала она.

Это слово, казалось, ничего не значило и значило все. Барон дю Шатле изъяснялся на светском языке с женщиной светской. Он предстал перед нею во всем блеске парижской моды. Щегольской кабриолет в красивой запряжке ожидал его. Г-жа де Баржетон, погруженная в размышления, нечаянно задержалась возле окна и видела, как отъезжал старый денди. Минутой позже Люсьен, проворно вскочивший с постели, проворно одевшийся, предстал ее взорам в старомодных нанковых панталонах, в поношенном сюртучке. Он был прекрасен, но смешно одет. Нарядите Аполлона Бельведерского или Антиноя водоносом, узнаете ли вы тогда божественное творение греческого или римского резца? Глаз сравнивает ранее, нежели сердце успевает внести свою поправку в невольный мгновенный приговор. Различие между Люсьеном и Шатле было чересчур резким и бросалось в глаза.

Было около шести часов, когда обед окончился, и г-жа де Баржетон жестом пригласила Люсьена сесть рядом с нею на скверный диван, обитый красным миткалем в желтых цветочках.

— Люсьен,— сказала она,— мы совершили безрассудство, пагубное для нас обоих. Не сочтешь ли ты разумным исправить наш поступок? В Париже мы не должны жить вместе, никто не должен заподозрить, что мы и приехали вместе. Твое будущее во многом зависит от моего положения в обществе, и я не хочу чем-либо тебе повредить. Вот отчего нынче же вечером я выеду из гостиницы. Я поселюсь в двух шагах отсюда. Ты останешься здесь. Встречаться мы будем каждый день, не подавая повода для сплетен.

Луиза посвящала Люсьена в законы большого света, а он смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Не постигнув еще того, что женщины, отрешаясь от своих безрассудств, отрешаются от любви, юноша все же понял, что для Луизы он не прежний, ангулемский Люсьен. Она говорила только о себе, о своих интересах, о своей репутации, о высшем свете и, оправдывая свое себя-

любие, пыталась внушить Люсьену, что ею руководит лишь забота о нем. У него не было никаких прав на Луизу, столь быстро преобразившуюся в г-жу де Баржетон, и, что самое главное, у него не было никакой власти. И он не мог остановить крупных слез, катившихся из глаз.

— Ежели я ваша слава, вы для меня нечто большее. Вы моя единственная надежда и все мое будущее. Я полагал, что, готовясь делить со мною мои успехи, вы могли бы разделить и мои невзгоды. И вот мы уже разлучаемся.

— Вы судите меня,— сказала она.— Вы меня не любите.

Люсьен посмотрел на нее так печально, что она не могла не сказать:

— Милый мальчик, я останусь, если ты этого хочешь. Мы погубим себя, лишимся опоры. Но, когда мы оба окажемся несчастными, отверженными, когда невзгоды,— предвидеть надо все,— загонят нас обратно в Эскарба, вспомни, любовь моя, что я предрекала такую развязку, я советовала тебе начать карьеру в согласии с законами света, подчиниться им.

— Луиза,— отвечал он, обнимая ее,— меня пугает твоя рассудительность. Вспомни, ведь я совершенный младенец, ведь я всецело отдался твоей, дорогой мне, воле. Я хотел с бою взять верх над людьми и обстоятельствами, но если твоя помощь послужит моему успеху, я буду счастлив сознанием, что обязан тебе всеми моими удачами. Прости! Я слишком многое связал с тобою, вот отчего я так боюсь всего. Разлука предвещает, что я буду покинут, а для меня это смерть.

— Милый мой мальчик, свет требует от тебя немногого,— отвечала она.— Лишь одного: ночь проводи здесь. Днем мы будем неразлучны, и в том нет греха.

Его приголубили, и он вполне успокоился.

Часом позже Жантиль подал записку, в которой Шатле сообщал г-же де Баржетон, что квартира для нее найдена в улице Нев-дю-Люксембур. Она спросила, где находится эта улица, и, узнав, что неподалеку от улицы Эшель, сказала Люсьену: «Мы соседи».

Два часа спустя Луиза села в карету, присланную дю Шатле, и отбыла к себе. Квартира — одна из тех,

которые торговцы обставляют мебелью и сдают внаем богатым депутатам или важным особам, наезжающим в Париж,— была роскошная, но неудобная. Люсьен воротился к одиннадцати часам в скромную гостиницу «Гайар-Буа», успев увидеть в Париже только часть улицы Сент-Оноре, что между улицей Нев-дю-Люксембур и улицей Эшель. Он лег спать в убогой комнатке, невольно сравнив ее с пышными покоями Луизы. Не успел он выйти от г-жи де Баржетон, как там появился барон дю Шатле во всей красе бального туалета: он возвращался от министра иностранных дел. Он спешил дать отчет в своих действиях г-же де Баржетон. Луиза казалась встревоженной, вся эта роскошь ее пугала. Провинциальные нравы все же сказались: она стала чересчур осторожна в денежных делах и проявляла столь излишнюю бережливость, что в Париже могла прослыть скупою. Она привезла с собою двадцать тысяч франков облигациями главного казначейства; эта сумма предназначалась на покрытие непредвиденных расходов и была рассчитана на четыре года: Луиза опасалась, достанет ли у нее денег и не случится ли ей войти в долги. Шатле сказал, что квартира обойдется шестьсот франков в месяц.

— Сущая безделица,— сказал он, заметив, что Наис вздрогнула.— Карета в вашем распоряжении. Это еще пятьсот франков в месяц; всего-навсего пятьдесят луидоров. Вам остается озаботиться туалетами. Женщина нашего круга не может жить по-иному. Ежели вы прочите господина де Баржетона на пост главноуправляющего сборами или мечтаете видеть его при дворе, вы не должны изображать собою нищую. Здесь подают лишь богатым. Счастье, что при вас Жантиль для выездов и Альбертина для услуг. В Париже слуги — разорение. Но так как вам предстоит вращаться в обществе, да еще столь блистательном, обедать дома вам придется редко.

Г-жа де Баржетон и барон заговорили о Париже. Дю Шатле рассказал злободневные новости, посвятил ее в тысячу пустяков, знать которые необходимо, иначе вас не сочтут парижанином. Затем он назвал Наис те модные лавки, где ей следует одеваться: для токов он указал мадам Эрбо, для шляп и чепцов — Жюльетту; он

сообщил адрес модистки, которая вполне могла заменить Викторину; одним словом, он дал почувствовать, что необходимо *разанглемиться*. Перед уходом его осенила остроумная мысль, счастливо пришедшая в голову.

— Завтра,— сказал он небрежно,— у меня, очевидно, будет ложа в каком-нибудь театре; я заеду за вами и господином де Рюбампре, вы сделаете мне большое одолжение, разрешив показать Париж вам обоим.

«Он великодушнее, нежели я полагала»,— подумала г-жа де Баржетон, услышав, что Шатле приглашает и Люсьена.

В июне министры не знают, что им делать со своими ложами в театрах: правительственные депутаты и избиратели поглощены виноградниками или пекутся об урожае; самые взыскательные знакомые или в деревне, или путешествуют,— вот отчего лучшие ложи в парижских театрах заняты в эту пору разношерстными пришельцами, завсегдатаи никогда не встретятся с ними здесь; и по милости этих гостей театральная толпа напоминает потертый ковер. Дю Шатле сообразил, что благодаря этому обстоятельству он может, не слишком потратившись, доставить Наис развлечение, столь приманчивое для провинциалов.

Поутру, когда Люсьен впервые зашел к Луизе, ее не было дома. Г-жа де Баржетон выехала, чтобы сделать необходимые покупки. Она отправилась на совет с теми важными и знаменитыми законодателями в области женских нарядов, о которых говорил Шатле; ведь она уже известила маркизу д'Эспар о своем приезде. И хотя г-жа де Баржетон была самоуверенна, как все люди, привыкшие властвовать, все же ее обуревал страх показаться провинциалкой. Она была умна и понимала, насколько отношения между женщинами зависят от первого впечатления. И хотя она была убеждена, что скоро встанет на одну ступень с такими великосветскими дамами, как г-жа д'Эспар, все же на первых порах она чувствовала потребность в дружественном участии и особенно опасалась упустить какое-либо условие успеха. Вот отчего она прониклась бесконечной признательностью к Шатле, который указал ей, как попасть в тон высшему парижскому свету. По странной случайности обстоятельства сложились так, что маркиза обрадовалась

возможности оказать услугу родственнице своего мужа. Маркиз д'Эспар без всякой видимой причины покинул общество; он отрешился от всех дел, и личных и политических, от семьи и от жены. Маркиза, став таким образом сама себе госпожою, нуждалась в признании света, и в настоящем случае она была счастлива заменить мужа, выступив покровительницею его родных. Она желала широко оповестить об этом покровительстве и тем подчеркнуть неправоту мужа. В тот же день она написала г-же *де Баржетон, урожденной Негрпелис*, обворожительнейшую записку, одно из тех светских посланий, в которых форма столь изящна, что надобно потратить немало времени, чтобы заметить всю пустоту слов.

...Она благодарит случай, сблизивший с ее семьей особу, о которой она так много слышала; она страстно желает познакомиться с нею; ведь парижские привязанности столь непрочны, и невольно мечтаешь полюбить еще кого-нибудь на земле; и если бы их пути разминулись, еще одну мечту пришлось бы похоронить! Она отдает себя в полное распоряжение кузины; она желала бы ее посетить, но недомогание приковало ее к дому; она почитает себя в долгу перед кузиной, вспомнившей о ней.

Люсьен, как и все новоприезжие, очутившись впервые на парижских бульварах и улице де-ла Пэ, дивился городу более, нежели людям. В Париже многое ошеломляет: чудеса модных лавок, высота зданий, поток карет и, более всего, непрестанное столкновение крайней роскоши и крайней нищеты. Подавленный впечатлениями от парижской толпы и чуждый ей, он впал в глубокое уныние. Люди, которые играли в провинции известную роль и на каждом шагу получали доказательства своей значительности, не могут примириться с полною и внезапною утратой своего положения. Быть чем-то в родном городе и ничем в Париже — эти два состояния нуждаются в переходной ступени, и тот, кому случится чересчур резко перейти от одного состояния к другому, невольно падает духом. Юный поэт привык встречать отклик на каждое свое чувство, наперсника для каждой своей мысли, душу, делившую с ним малейшее его ощущение, и Париж представился ему тягостною пустыней. Люсьен еще не съездил за прекрас-

ным синим фраком, и скромность, чтобы не сказать бедность, одежды смущала его, когда в условленный час он шел к г-же де Баржетон, уже вернувшейся к тому времени домой. Он застал у нее барона дю Шатле; барон пригласил обоих отобедать с ним в «Роше де Канкаль». Люсьен, ошеломленный бешеным парижским круговоротом, не мог слова вымолвить, да и в карете их было трое; но он сжал руку Луизы, и, угадав его мысли, она ответила дружеским пожатием. После обеда Шатле повез своих гостей в Водевиль. Присутствие Шатле бесило Люсьена; он проклинал случай, занесший барона в Париж. Управляющий сборами отнес причины своего приезда в Париж на счет внушений самолюбия; он надеялся получить место старшего секретаря в каком-нибудь министерстве и докладчика дел в государственном совете; он приехал, чтобы добиться подтверждения данных ему обещаний, ибо такой человек, как он, не может до скончания века оставаться управляющим сборами; лучше быть ничем, стать депутатом, вернуться на дипломатическое поприще. Он превозносил себя; Люсьен невольно признавал в этом щеголе превосходство светского человека, искушенного парижской жизнью, и ему не по душе было сознавать, что развлечениями он обязан дю Шатле. Там, где поэт смущался и робел, бывший секретарь для поручений чувствовал себя как рыба в воде. Дю Шатле подшучивал над нерешительностью, изумлением, вопросами и мелкими оплошностями неопытного соперника. Так старый морской волк подшучивает над новичком матросом, когда тот во время качки нетвердо держится на ногах. Но все же Люсьен впервые смотрел водевиль в парижском театре, и, наслаждаясь им, он несколько утешился в огорчениях от собственной неловкости. В этот примечательный вечер он втайне отрекся от многих предубеждений провинциалов. Круг жизни его расширился, общество принимало иные масштабы. Соседство прекрасных парижанок в обворожительных свежих нарядах открыло ему, что уборы г-жи де Баржетон, однако ж, довольно вычурные, устарели: ни ткань, ни покрой, ни цвет не отвечали моде. Прическа, так пленявшая его в Ангулеме, показалась ему безобразной в сравнении с причудливыми измышлениями парижанок. «Ужели она такой и останется?» — подумал он, не подозревая, что

весь день был ею потрачен на подготовку будущего превращения. В провинции не приходится выбирать и сравнивать: привычка к лицам наделяет их условной красотою. Женщина, слывшая красавицей в провинции, не удостаивается ни малейшего внимания в Париже, ибо она хороша лишь в силу поговорки: *в царстве слепых и кривому честь*. Люсьен был поглощен сравнением,— так накануне г-жа де Баржетон сравнивала его с Шатле. Меж тем и г-жа де Баржетон разрешала себе удивительные размышления по поводу своего возлюбленного. Бедный поэт, несмотря на редкостную красоту, отнюдь не блистал внешностью. Он был уморительно смешон рядом с молодыми людьми, сидевшими на балконе; на нем был сюртук с чересчур короткими рукавами, потешные провинциальные перчатки, куцый жилет; г-жа де Баржетон находила, что у него жалкий вид. Шатле старался занимать ее, он оказывал ей, ни на что не притязая, внимание, говорившее о глубокой страсти. Шатле, изящный, непринужденный, будто актер, вернувшийся на подмостки родного театра, отвоевал в два дня позиции, утраченные за шесть месяцев. Хотя общественное мнение не терпит резкой изменчивости в чувствах, все же известно, что любовники расходятся быстрее, нежели сходятся. И г-жу де Баржетон и Люсьена подстерегало взаимное разочарование, и причиной тому был Париж. Здесь жизнь ширилась в глазах поэта, общество принимало новый облик в глазах Луизы. Довольно было любой случайности, чтобы узы, соединявшие их, порвались. Удар секиры, страшный для Люсьена, не замедлил его поразить. Г-жа де Баржетон отвезла поэта в гостиницу и вернулась к себе в сопровождении дю Шатле, что весьма обескуражило бедного влюбленного.

«Что скажут они обо мне?» — думал он, поднимаясь в свою унылую комнату.

— Бедный мальчик на редкость скучен,— сказал, улыбаясь, Шатле, как только дверца кареты захлопнулась.

— Таковы все люди, взлелеявшие сердцем и умом целый мир мыслей. Люди, призванные выразить столь многое в прекрасных, глубоко обдуманных творениях, питают пренебрежение к болтовне. Ведь это занятие умаляет и обедняет ум,— сказала гордая Негрпелис, у которой

еще достало мужества защищать Люсьена, не столько ради него, сколько ради себя.

— Охотно соглашаюсь с вами,— отвечал барон,— но мы живем с людьми, а не с книгами. Послушайте, милая Наис, я вижу, между вами еще ничего не произошло, и я восхищен. Ежели вы отважитесь заполнить пустоту вашей жизни волнением чувств, да не падет ваш выбор на этого мнимого гения. А что, если вы обманулись, что, если через несколько дней, встретившись с людьми поистине замечательными, поистине одаренными талантом и сравнив его с этими людьми, вы поймете, милая, прекрасная сирена, что на своей ослепительной спине вы доставили в гавань не мужа, вооруженного лирою, а невоспитанную, жалкую обезьянку, глупую и напыщенную? В Умо он мог слыть гением, но в Париже этот юнец окажется посредственностью. Здесь каждую неделю выходят томы стихов, и любое стихотворение стоит больше, нежели вся поэзия господина Шардона. Умоляю вас, повремените, узнайте его покороче! Завтра пятница, оперный день,— сказал он, заметив, что карета въезжает в улицу Нев-де-Люксембур.— В распоряжении госпожи д'Эспар ложа придворных чинов, и вы, само собою, будете приглашены. Из ложи госпожи де Серизи я увижу вас во всей вашей славе. Дают «Данаиды».

— Прощайте,— сказала она.

Поутру г-жа де Баржетон прилежно обдумывала свой наряд, готовясь навестить кузину, г-жу д'Эспар. День стоял прохладный, и единственное, что она могла выбрать из своих ангулемских нарядов, было знаменитое зеленое бархатное платье, довольно нелепо разукрашенное. Люсьен же счел необходимым отправиться за пресловутым синим фраком: нещегольской его сюртук внушал ему ужас, а он в ожидании встречи с маркизой д'Эспар или нечаянного приглашения в ее дом мечтал разодеться щеголем. Он вскочил в фиакр, чтобы сейчас же съездить за своим узелком. Поездка продолжалась два часа, и он заплатил за фиакр три или четыре франка, что заставило его задуматься над финансовой стороной парижской жизни. Достигнув возможного совершенства в туалете, он пошел в улицу Нев-де-Люксембур и там, у подъезда особняка, повстречал Жантиля в обществе лакея в шляпе с великолепным плюмажем.

— А я к вам, сударь, с запиской от госпожи де Баржетон,— сказал Жантиль, не искушенный в правилах парижской учтивости, ибо он был воспитан в простодушии провинциальных нравов.

Лакей принял поэта за слугу. Люсьен распечатал конверт и узнал, что г-жа де Баржетон проводит день у маркизы д'Эспар, а вечером едет с нею в оперу; но она все же просит Люсьена быть в театре: кузина приглашает молодого поэта в свою ложу; маркиза желает доставить ему удовольствие.

«Значит, она меня любит! Мои тревоги безрассудны,— думал Люсьен.— Нынче же вечером она представит меня своей кузине».

Он подпрыгнул от радости и решил весело провести время, отделявшее от него счастливый вечер. Он понесся в Тюильри, мечтая погулять там, а затем пообедать у Вери. И вот Люсьен, припрыгивая и прискакивая, от счастья не чувствуя под собою ног, взбегает на террасу Фельянов и прохаживается по ней, заглядываясь на прекрасных женщин и на их спутников, на щеголей, гуляющих рука об руку и мимоходом улыбкой приветствующих друзей. Как отличается от Болье эта терраса: птицы с этого пышного насеста прекрасны и отнюдь не похожи на ангулемских. То был полное великолепие красок ослепительного оперения орнитологических семейств Индии или Америки, а не серые тона европейских птиц. Люсьен провел в Тюильри два мучительных часа: он жестоко судил себя и вынес приговор. Ни на одном щеголе он не заметил фрака. Фрак еще можно было встретить на старике, не притязавшем на моду, на мелком рантье из квартала Марэ, на канцеляристе. Он понял, что существуют костюмы утренние и костюмы вечерние. Живое воображение и взыскательный глаз поэта открыли ему безобразие его отрепий; изъяны только подчеркивали старомодный покрой и неудачный оттенок этого нелепого синего фрака, воротник был чрезвычайно неуклюж, фалды от долгой носки заходили одна на другую, пуговицы заржавели, складки обозначились роковыми белесыми полосами. Жилет был чересчур короток и в забавном провинциальном вкусе; Люсьен поспешно застегнул фрак, чтобы прикрыть жилет. Наконец, нанковые панталоны он встречал только на просто-

людинах. Люди приличные носили панталоны из восхитительной ткани, полосатые или безупречно белые. Притом панталоны у всех были со штрипками, а у него края панталон топорщились, не желая прикасаться к каблукам сапог. На нем был белый галстук с вышитыми концами: однажды Ева увидела подобный галстук на г-не дю Отуа и на г-не де Шандуре и поспешила вышить точно такой же своему брату. Но мало того, что никто, кроме людей почтенного возраста, нескольких старых финансистов, нескольких суровых чиновников, не носил утром белого галстука, надо же было случиться, чтобы за решетчатой оградой по тротуару улицы Риволи проходил разносчик из бакалейной лавки с корзиной на голове, и бедный Люсьен его увидел; ангулемец похолодел, приметив концы галстука, расшитые рукою какой-нибудь влюбленной швейки. Это зрелище было для Люсьена ударом в сердце, в тот еще плохо изученный орган, где таится наша чувствительность и к которому, с тех пор как существуют чувства, люди подносят руку и в радости и в печали. Не обвиняйте в ребячливости этот рассказ! Богачи, не испытавшие подобных терзаний, конечно, найдут в нем нечто жалкое и преувеличенное; однако тревоги бедняка достойны не меньшего внимания, нежели катастрофы, потрясающие жизнь сильных мира сего, баловней судьбы. Не равно ли обрушиваются горести и на тех и на других? Страдание все возвышает. Наконец измените слово: вместо слова «наряд», щегольской или менее щегольской, скажите «орденская лента» «чин», «титул». Не вносят ли эти мнимые безделицы терзаний в жизнь самую блистательную? Наконец одежда — вопрос важный для человека, желающего блеснуть тем, чего у него нет: нередко в этом кроется лучший способ когда-нибудь обладать всем. Люсьена в холодный пот бросило при мысли, что он предстанет в этом наряде перед маркизою д'Эспар, родственницею первого камергера двора, перед женщиной, которую посещают знаменитости всякого рода, знаменитости избранные.

«Я похож на сына аптекаря; настоящий лавочник!» — гневно подумал он, глядя на прохожих — изящных, жеманных молодых франтов из знати Сен-Жерменского предместья, точно созданных в одной манере,

схожих тонкостью линий, благородством осанки, выражением лица и все же не схожих по той причине, что каждый из них выбирал оправу по своему вкусу, желая выгоднее себя осветить. Все оттеняли свои достоинства неким подобием театрального приема; молодые парижане были искушены в том не менее женщин. Люсьен унаследовал от матери драгоценные физические дары, и преимущества их бросались в глаза, но золото было в россыпи, а не в слитке. Волосы его были дурно подстрижены; он чувствовал себя как бы погребенным в скверном воротнике сорочки, а ведь он мог высоко держать голову, будь у него галстук на подкладке из эластичного китового уса; его же галстук не оказывал ни малейшего сопротивления, и Люсьенова унылая голова клонилась, не встречая препятствий. Какая женщина могла подивиться красоте его ног в грубой обуви, привезенной из Ангулема? Какой юноша мог позавидовать стройности его стана, скрытого синим мешком, который он до сей поры именовал фраком? Он видел восхитительные запонки на манишках, сверкающих белизною, а у него сорочка пожелтела! Все эти щеголи были в дивных перчатках, а на нем были жандармские перчатки! Один играл тростью прелестной отделки, другой оправлял манжеты с обворожительными золотыми запонками. Этот, разговаривая с женщиной, гнул в руках чудесный хлыст; и по его широким сборчатым панталонам, чуть забрызганным грязью, по звенящим шпорам, по короткому облегающему сюртуку можно было догадаться, что он готов опять сесть в седло; неподалеку крохотный *тигр* держал под уздцы двух оседланных коней. А тот вынул из жилетного кармана часы, плоские, как пятифранковая монета, и озабоченно посмотрел, который час: он или опоздал на свидание, или пришел слишком рано. Люсьен, глядя на эти красивые безделицы, о существовании которых он и не подозревал, вообразил целый мир необходимых излишеств и содрогнулся, подумав, какие огромные средства нужны, чтобы вести образ жизни, подобающий юному красавцу. Чем более дивился он отменным манерам, счастливому виду этих молодых людей, тем более его удручало собственное нелепое обличье — обличье человека, который даже не знает, по какой улице он идет, не представляет,

где находится Пале-Руаяль, хотя до него рукою подать, спрашивает: «Где Лувр?» у прохожего, а тот отвечает: «Перед вами». Люсьен чувствовал между собою и этим миром глубокую пропасть и гадал, какими судьбами удастся ему перешагнуть через нее, ибо он мечтал уподобиться этой стройной, холеной парижской молодежи. Все эти патриции приветствовали поклонами божественно одетых и божественно прекрасных женщин; за поцелуй такой женщины Люсьен, подобно пажу графини Кенигсмарк, дал бы себя четвертовать. Образ Луизы померк в его воспоминаниях, вблизи этих властительниц она рисовалась ему старухой. Он встретил женщин, имена которых войдут в историю девятнадцатого века; умом, красотою, любовными страстями они будут не менее прославлены, нежели королевы минувших времен. Близ него прошла блистательная девушка, мадемуазель де Туш, выдающаяся писательница, известная под именем Камилла Мопена, столь же прекрасная, сколь и одаренная; ее имя шепотом передавалось из уст в уста.

«Вот она, поэзия!» — подумал он.

Что сталось бы с г-жой де Баржетон вблизи этого ангела с черными очами, огромными, как небо, пламенными, как солнце, осиянного красотою, надеждою, будущим? Она смеялась, разговаривая с г-жою Фирмиани, обворожительнейшей из парижанок. Какой-то голос говорил ему: «Ум — это рычаг, которым можно приподнять земной шар». Но другой голос говорил ему, что точкою опоры для ума служат деньги. Он не желал оставаться на месте гибели своих надежд, на театре поражения; он пошел в сторону Пале-Руаяля, прежде спросив дорогу, ибо он еще не ознакомился с топографией квартала. Он вошел к Вери, решив отведать от парижских приманок, и заказал обед, способный утешить в отчаянии. Бутылка бордо, остендские устрицы, рыба, куропатка, макароны, фрукты были nec plus ultra[1] его желаний. Он наслаждался скромным пиршеством и мечтал вечером отличиться умом перед маркизою д'Эспар и богатством духовных сокровищ искупить убожество шутовского наряда. Его мечтания были нарушены суммою счета, достигшей пятидесяти франков; а он по-

1 Крайним пределом *(лат.)*.

лагал, что в Париже ему этих денег достанет надолго. В Ангулеме на пятьдесят франков, которые он истратил на обед, можно было бы прожить целый месяц. Оттого-то он почтительно затворил за собою двери этого капища и подумал, что нога его больше сюда не ступит.

«Ева была права! — думал он, возвращаясь по Каменной галерее в гостиницу за деньгами.— Цены в Париже не те, что в Умо!..»

По пути он любовался лавками портных и, вспомнив о нарядах, пленявших его утром, вскричал: «Нет, госпожа д'Эспар не увидит меня в шутовском камзоле!». Он примчался быстрее оленя в гостиницу «Гайар-Буа», взбежал по лестнице в свою комнату, взял сто экю, опрометью спустился вниз и устремился в Пале-Руаяль, решив одеться там с ног до головы. Он уже приметил лавки торговцев обувью, бельем, жилетами, парикмахерские; в Пале-Руаяле будущее его изящество было рассеяно в десяти лавках. Первый портной, к которому он зашел, предложил ему примерить столько фраков, сколько душе угодно, и убедил его, что все они сшиты по самой последней моде. Люсьен вышел от него в зеленом фраке, белых панталонах и в диковинном жилете, истратив двести франков. Затем он купил щегольские сапоги, пришедшиеся ему по ноге. Наконец, сделав все необходимые покупки, он пригласил парикмахера в гостиницу, и туда же каждый поставщик доставил ему свои товары. В семь часов вечера он сел в фиакр и поехал в Оперу, кудрявый, точно святой Иоанн в церковной процессии, в отличном жилете, отличном высоком галстуке, слегка стесненный этим подобием футляра, в котором его шея очутилась впервые. Памятуя наставления г-жи де Баржетон, он спросил ложу придворных чинов. Контролер, взглянув на молодого человека, напоминавшего изяществом, взятым напрокат, первого шафера на свадьбе, попросил показать билет.

— У меня нет билета.

— Без билета вход запрещен,— был сухой ответ.

— Но я приглашен в ложу госпожи д'Эспар,— сказал Люсьен.

— Не могу знать,— сказал служащий, перемигнувшись с коллегами-контролерами.

В это время под перистилем остановилась карета; лакей, которого Люсьен уже однажды видел, откинул подножку, и две нарядные женщины вышли из экипажа. Люсьен, не ожидая грубого оклика контролера, уступил дамам дорогу.

— Сударь, ведь это ваша знакомая, маркиза д'Эспар! — насмешливо сказал Люсьену контролер.

Поэт окончательно растерялся. Г-жа де Баржетон, казалось, не узнала Люсьена в новом его оперении; однако, когда он приблизился, она улыбнулась и сказала:

— Вот и отлично! Пойдемте.

Контролеры опять обрели степенный вид. Люсьен последовал за г-жою де Баржетон, и, когда они взошли по высокой лестнице Оперы, она представила кузине своего Рюбампре. Ложа придворных чинов — угловая, в глубине театральной залы: из ложи все видно, и она видна отовсюду. Люсьен сел на стул позади кресла г-жи де Баржетон, радуясь, что очутился в тени.

— Господин де Рюбампре,— сказала маркиза приветливо,— вы в Опере впервые, вам надобно все посмотреть: садитесь впереди нас в кресла, мы разрешаем.

Люсьен повиновался; первый акт оперы подходил к концу.

— Вы не упустили времени,— сказала ему на ухо Луиза под обаянием первого впечатления.

Луиза не переменилась. Соседство светской женщины, маркизы д'Эспар, этой парижской г-жи де Баржетон, сильно ей вредило; блистательность парижанки безжалостно обнажала погрешности провинциалки, и Люсьен, просвещенный совокупным впечатлением от светского общества в пышной зале и от этой знатной дамы, увидел ее такой, какой видели ее парижане: то была самая обыкновенная женщина с красными пятнами на щеках, отцветшая, чересчур рыжая, сухопарая, угловатая, напыщенная, высокомерная, жеманная, изъяснявшаяся в провинциальной манере и, главное, дурно одетая. В старом парижском платье все, даже складки, свидетельствует о вкусе, оно говорит само за себя, можно вообразить, каким оно было прежде, тогда как старое провинциальное платье невообразимо, оно просто смешно. И в платье и в женщине не было ни преле-

сти, ни свежести; бархат местами выцвел, как и краски лица. Люсьен, устыдившись своей любви к этой выдре, решил при первом же приступе добродетели у Луизы с нею расстаться. Зрение у него было отличное, он заметил лорнеты, наведенные на сугубо аристократическую ложу. Светские красавицы, несомненно, рассматривали г-жу де Баржетон: недаром они, улыбаясь, разговаривали между собою. Если г-жа д'Эспар и догадывалась по женским улыбкам и жестам о причине веселья, она все же была совершенно к тому нечувствительна. Прежде всего каждый должен был признать в ее спутнице бедную родственницу, приехавшую из провинции, а это несчастье может случиться в любой парижской семье. Г-жа де Баржетон уже сокрушалась о своем наряде, высказывала опасения; маркиза успокоила ее, поняв, что Анаис быстро усвоит парижские вкусы, стоит лишь ее приодеть. Если г-же де Баржетон и недоставало навыков света, все же в ней чувствовалось врожденное высокомерие аристократки и то неуловимое, что принято называть *породой*. Итак, в будущий понедельник она возьмет свое. И затем маркиза знала, что насмешки прекратятся, как только в обществе станет известно, что эта женщина — ее кузина, суждение будет отсрочено до нового испытания. Люсьен не подозревал, как преобразит Луизу шарф, небрежно накинутый на плечи, модное платье, изящная прическа и советы г-жи д'Эспар. Маркиза, подымаясь по лестнице, посоветовала кузине не держать в руке носовой платок. Хороший или дурной тон зависит от множества подобных мелочей, которые умная женщина на лету схватывает, а иная никогда не усвоит. Г-жа де Баржетон, полная усердия, была умнее, нежели требовалось для того, чтобы понять свои погрешности. Г-жа д'Эспар была уверена, что ученица сделает ей честь, и не уклонилась от руководства. Короче сказать, между обеими женщинами состоялся союз, скрепленный взаимными интересами. Г-жа де Баржетон мгновенно предалась почитанию новоявленного идола, обольстившего, ослепившего, околдовавшего ее своим обращением, умом, всем тем, что ее окружало. Она почувствовала в г-же д'Эспар тайную власть честолюбивой знатной дамы и решила войти в свет спутником этого светила; итак, она была от нее в явном восхище-

нии. Маркиза была тронута этим наивным поклонением; она приняла участие в кузине, сочтя ее беспомощною и бедной; она была не прочь получить ученицу, создать школу и радовалась возможности обрести в г-же де Баржетон нечто вроде приближенной дамы, рабы, которая бы ее превозносила,— сокровище среди парижских женщин более редкое, нежели беспристрастный критик среди литературной братии. Однако ж любопытство стало слишком явным, и новоприезжая не могла этого не заметить; г-жа д'Эспар из учтивости пожелала утаить от нее причины общего волнения.

— Если нас посетят,— сказала она,— мы, верно, узнаем, чему обязаны честью столь явного внимания этих дам...

— Я подозреваю, что мое бархатное платье и ангулемская внешность забавляют парижанок,— сказала, смеясь, г-жа де Баржетон.

— Нет, причиною тому не вы; есть нечто, чего я еще не понимаю,— заметила маркиза, взглянув на поэта; она впервые взглянула на него и нашла, что он одет в высшей степени потешно.

— А вот и господин дю Шатле,— сказал Люсьен, указывая пальцем на ложу г-жи де Серизи, куда только что вошел заново отлакированный старый прелестник.

Заметив этот жест, г-жа де Баржетон с досады прикусила губу; маркиза не могла скрыть удивленного взгляда и улыбки, презрительно вопрошавших: «Откуда явился этот юнец?» Луиза почувствовала себя посрамленною в своей любви,— переживание самое обидное для француженки, и горе возлюбленному, повинному в том. В светском кругу, где ничтожное возрастает до великого, достаточно одного неловкого жеста, слова, чтобы погиб неопытный. Главное достоинство хороших манер и высшего тона — в их полной гармонии, когда все бесподобно сочетается и ничто не оскорбляет вкуса. Даже тот, кто по неведению или увлеченный какой-либо идеей не соблюдает законов светской науки, может легко понять, что в этой области, как и в музыке, диссонанс есть полное отрицание самого искусства, условия которого под угрозой небытия должны соблюдаться во всех утонченных подробностях.

— Кто этот господин? — спросила маркиза, указывая глазами на Шатле.— И неужели вы уже познакомились с госпожою де Серизи?

— Ах, так это знаменитая госпожа де Серизи, столь прогремевшая своими похождениями и, однако ж, принятая всюду?

— Неслыханная вещь, моя дорогая,— отвечала маркиза,— объяснимая, но не объясненная. Самые опасные мужчины — ее друзья. Отчего? Никто не осмеливается проникнуть в эту тайну. Стало быть, этот господин — ангулемский лев?

— Да, это барон дю Шатле,— сказала Анаис, из тщеславия возвратив своему поклоннику титул, право на который она оспаривала.— В свое время барон заставил говорить о себе. Он спутник де Монриво.

— Ах! Стоит мне услышать это имя,— сказала маркиза,— я всякий раз вспоминаю о бедной герцогине де Ланже, исчезнувшей, точно падающая звезда. А вот,— продолжала она, указывая на одну из лож,— господин де Растиньяк и госпожа де Нусинген, жена поставщика, банкира, дельца, торгаша, спекулятора, человека, проникшего в парижский свет лишь благодаря своему богатству; по слухам, он не слишком разборчив в средствах наживы; он всячески старается нас уверить в своей преданности Бурбонам; он уже пытался попасть ко мне. Его жена воображает, что, занимая ложу госпожи де Ланже, она заимствует и ее обаяние, ум, успехи в свете. Вечная история вороны в павлиньих перьях!

— На какие средства Растиньяки содержат в Париже своего сына? Ведь мы знаем, что у них нет и тысячи экю годового дохода,— сказал г-же де Баржетон Люсьен, пораженный изысканной роскошью наряда этого молодого человека.

— Сразу видно, что вы из Ангулема,— довольно иронически отвечала маркиза, не отводя лорнета от глаз.

Люсьен не понял; он был поглощен созерцанием пышных лож; он желал разгадать, какие приговоры в них выносились г-же де Баржетон и отчего он сам возбуждает столько любопытства. Меж тем Луиза была сильно задета пренебрежением маркизы к красоте Люсьена.

«Верно ли, что он так хорош собою, как мне показалось?» — думала она.

Отсюда был один шаг до признания, что он и не так умен. Занавес опустился. В ложе герцогини де Карильяно, соседней с ложею г-жи д'Эспар, появился дю Шатле. Он поздоровался с г-жой де Баржетон; она ответила ему наклонением головы. Светская женщина все видит, и маркиза заметила безупречные манеры дю Шатле.

В это время в ложу маркизы вошли, один из другим, четыре человека, четыре парижские знаменитости.

Первый был г-н де Марсе, возбуждавший пламенные страсти и тем прославленный, примечательный своей девичьей красою, томной и изнеженной, но его пристальный взгляд, спокойный, твердый и хищный, как взгляд тигра, вносил поправку в эту красоту; его любили и боялись. Люсьен тоже был красив, но взор его был так нежен, синие глаза так детски чисты, что нельзя было ожидать от него силы и непреклонности характера, столь привлекательных в глазах женщин. Притом поэт ничем не прославился; между тем де Марсе увлекательною живостью ума, искусством обольщать, нарядом, приноровленным к его облику, затмевал всех своих соперников. Судите же, чем мог быть в соседстве с ним Люсьен, напыщенный, накрахмаленный, нелепый, как и его новый наряд! Де Марсе тонкою игрою мысли и обворожительными манерами завоевал право говорить дерзости. Радушный прием, оказанный ему маркизою, нечаянно открыл г-же де Баржетон влиятельность этого человека. Второй был один из Ванденесов, тот, чье имя было замешано в истории леди Дэдлей, милый молодой человек, умный, скромный, преуспевавший благодаря качествам, резко противоположным тем, которыми славился де Марсе; г-жа де Морсоф, кузина г-жи д'Эспар, горячо рекомендовала его маркизе. Третий был генерал Монриво, виновник гибели герцогини де Ланже. Четвертый — г-н де Каналис, один из блистательных поэтов той эпохи, молодой человек на восходе славы; он гордился своею родовитостью более, нежели талантом, и рисовался *склонностью* к г-же д'Эспар, чтобы скрыть свою страсть к герцогине де Шолье. Несмотря на его очарование, уже и тогда омраченное притворством, в нем угадывалось чрезмерное честолюбие, позже бросившее его в политические бури. Красота, почти приторная, милые улыбки плохо маскировали глубокое се-

бялюбие и вечные расчеты существования, в ту пору загадочного; но, остановив свой выбор на г-же де Шолье, женщине за сорок лет, он снискал благосклонность двора, одобрение Сен-Жерменского предместья и вызвал нападки либералов, именовавших его поэтом алтаря.

Госпожа де Баржетон, глядя на этих четырех блестящих парижан, поняла причину пренебрежительного отношения маркизы к Люсьену. Когда же началась беседа и каждый из этих утонченных, изощренных умников щегольнул замечаниями, в которых было более смысла, более глубины, нежели во всем том, что Анаис слышала в провинции за целый месяц, и особенно, когда великий поэт произнес волнующие слова, в которых отразился позитивизм той эпохи, но позитивизм, позлащенный поэзией, Луиза поняла то, о чем накануне ей говорил дю Шатле: Люсьен был ничто. Все смотрели на бедного незнакомца с таким убийственным равнодушием, он так походил на чужестранца, не знающего языка, что маркиза сжалилась над ним.

— Позвольте мне,— сказала она Каналису,— представить вам господина де Рюбампре. Вы занимаете высокое положение в литературном мире, возьмите же под свое крыло начинающего. Господин де Рюбампре прибыл из Ангулема, и ему, без сомнения, понадобится ваше заступничество перед теми, кто выдвигает таланты. У него еще нет врагов, которые создали бы ему имя. Ужели это не забавно: помочь молодому человеку путем дружбы достичь того, чего вы достигли путем ненависти? Неужели вас не увлекает такая славная выдумка?

Когда маркиза произносила эти слова, взгляды четырех человек обратились к Люсьену. Де Марсе, хотя и стоял в двух шагах от новоприезжего, вооружился лорнетом, чтобы рассмотреть его; он переводил взгляд с Люсьена на г-жу де Баржетон и с г-жи де Баржетон на Люсьена, как бы сочетая их насмешливой догадкой, равно оскорбительной для обоих; он рассматривал их, как диковинных зверей, и улыбался. Улыбка его для провинциальной знаменитости была смертельным ударом. Лицо Феликса де Ванденеса изобразило сострадание. Монриво бросил на Люсьена пронизывающий взгляд.

— Маркиза,— сказал г-н де Каналис с поклоном,—

я повинуюсь. Личный интерес предписывает нам не помогать соперникам, но вы приучили нас к чудесам.

— Вот и отлично! Сделайте мне удовольствие, в понедельник приходите с господином де Рюбампре отобедать со мною; в моем доме вам будет удобнее, нежели здесь, побеседовать о литературных делах. Я постараюсь залучить кого-нибудь из диктаторов литературы, светил, покровительствующих ей, автора «Урики» и кое-кого из благомыслящих молодых поэтов.

— Маркиза,— сказал де Марсе,— если вы опекаете талант господина де Рюбампре, я позабочусь о его красоте. Я дам ему наставления, и он будет счастливейшим из парижских денди. А затем, если ему угодно, он может быть и поэтом.

Госпожа де Баржетон поблагодарила кузину взглядом, полным признательности.

— Я не знал, что вы ревнивы к талантам,— сказал Монриво г-ну де Марсе.— Счастье убивает поэтов.

— Не оттого ли вы, сударь, намереваетесь жениться? — заметил денди, обращаясь к Каналису и вместе с тем наблюдая, какое впечатление произведут его слова на г-жу д'Эспар.

Каналис пожал плечами, а г-жа д'Эспар, приятельница г-жи де Шолье, рассмеялась.

Парадно разодетый Люсьен чувствовал себя какой-то египетской мумией в пеленах и мучился молчанием. Наконец он сказал маркизе своим нежным голосом:

— Ваша доброта, маркиза, обязывает меня добиться успеха.

В ложу вошел дю Шатле; он воспользовался случаем представиться маркизе, заручившись поддержкой Монриво, одного из королей Парижа. Он поздоровался с г-жой де Баржетон и попросил у г-жи д'Эспар прощения за то, что позволил себе ворваться в ее ложу: он так давно не видел своего спутника. Он расстался с Монриво в пустыне и встретился с ним здесь, впервые после долгой разлуки.

— Расстаться в пустыне и свидеться в Опере! — сказал Люсьен.

— Поистине театральная встреча,— сказал Каналис.

Монриво представил барона дю Шатле, и маркиза оказала бывшему секретарю для поручений при авгу-

стейшей особе чрезвычайно любезный прием: ведь она заметила, как радушно встретили его в трех ложах, а г-жа де Серизи допускала к себе только людей с положением, и, помимо того, он был спутником де Монриво. Последнее обстоятельство имело столь большое значение, что четверо мужчин, как о том г-жа да Баржетон догадалась по их тону, взглядам и жестам, бесспорно признали дю Шатле человеком своего круга; Анаис сразу поняла, отчего в провинции Шатле держался с таким султанским достоинством. Шатле наконец заметил Люсьена и поклонился ему; это был сухой, оскорбительный поклон, который дает понять окружающим, что тот, кому так кланяются, занимает ничтожное место в обществе. Поклон сопровождался язвительною миной; казалось, барон желал спросить: «Какими судьбами он здесь очутился?» Шатле был прекрасно понят, ибо де Марсе, наклонясь к Монриво, сказал ему на ухо, но так, чтобы барон слышал: «Спросите, кто этот потешный юнец, похожий на разодетый манекен в витрине портного?»

Дю Шатле, как бы возобновляя знакомство, тоже что-то шептал на ухо своему спутнику, и, без сомнения, он по косточкам разобрал соперника. Люсьен дивился находчивости этих людей, изысканности формы, в которую они облекали свои мысли; он был ошеломлен так называемым французским остроумием, тонкими намеками, непринужденной прелестью обращения. Великолепие роскоши, ужасавшее его утром, управляло и суждениями. Он недоумевал, каким таинственным образом возникали у этих людей занимательные мысли, меткие замечания, ответы, ведь ему на это понадобились бы долгие размышления. И эти светские люди отличались непринужденностью не только в речах, но и в одежде: на них не было ничего чересчур нового и ничего старого. На них не было никакой мишуры, а все привлекало взгляд. Великолепие их было не случайным: таковы они были и вчера, таковы будут и завтра. Люсьен догадывался, что он похож на человека, нарядившегося впервые в жизни.

— Мой милый,— сказал де Марсе Феликсу де Ванденесу,— наш Растиньяк носится, как бумажный змей. Вот уж он в ложе маркизы де Листомэр: он пре-

успевает. Посмотрите-ка, он наводит на нас лорнет! Он, бесспорно, знает вас, господин де Рюбампре,— заметил денди, обращаясь к Люсьену, но не глядя на него.

— Трудно предположить,— отвечала г-жа де Баржетон,— чтобы до него не дошло имя человека, которым мы гордимся; лишь недавно сестра господина де Растиньяка слушала господина де Рюбампре, читавшего нам прекрасные стихи.

Феликс де Ванденес и де Марсе откланялись маркизе и пошли в ложу г-жи де Листомэр, сестры Ванденеса. Начался второй акт, и г-жа д'Эспар, ее кузина и Люсьен остались в одиночестве. Одни спешили объяснить любопытствующим дамам, кто такая г-жа де Баржетон, другие — рассказать о приезжем поэте и посмеяться над его нарядом. Каналис вернулся в ложу герцогини де Шолье и более не показывался. Люсьен был счастлив, что спектакль отвлек от него внимание. Маркиза оказала барону дю Шатле прием, носивший совсем иной характер, нежели ее покровительственная учтивость с Люсьеном. На второй акт в ложе г-жи де Листомэр оставалось много народа, и, несомненно, там шел оживленный разговор о г-же де Баржетон и Люсьене. Молодой Растиньяк был, очевидно, *увеселителем* в этой ложе; он дал выход парижской насмешливости, которая, питаясь каждый день новою пищей, спешит исчерпать очередную тему, тотчас же обращая ее в нечто старое и истрепанное. Г-жа д'Эспар встревожилась. Она понимала, что злословие ненадолго оставляет в неведении тех, кого оно ранит, и ожидала конца акта. Когда наши чувства обращаются на нас самих, как то случилось с Люсьеном и г-жою де Баржетон, в короткое время происходят странные явления: нравственные перевороты совершаются по законам быстрого действия; Луиза вспомнила мудрые и лукавые речи дю Шатле о Люсьене на обратном пути из Водевиля. Каждая его фраза была пророчеством, и Люсьен словно старался оправдать все эти пророчества. Прощаясь со своими мечтаниями о г-же де Баржетон, как и г-жа де Баржетон прощалась с мечтаниями о нем, юноша, судьба которого несколько сходствовала с судьбою Жан-Жака Руссо, уподобился ему, пленившись маркизой д'Эспар: он влюбился мгновенно. Молодые люди либо пожилые мужчины, которым памятны их юноше-

ские волнения, найдут, что такая страсть вполне вероятна и естественна. Эта хрупкая женщина с милыми манерами, любезными речами, мелодичным голосом, знатная, высокопоставленная, возбуждавшая столько зависти, эта королева пленила поэта, как некогда в Ангулеме пленила его г-жа де Баржетон. Слабость характера побуждала его искать высокого покровительства; самым верным средством для этого было обладание женщиной: это значило обладание всем. Успех баловал его в Ангулеме, отчего бы ему не баловать его и в Париже? Невольно, несмотря на волшебства оперы, вполне для него новые, Люсьен, завороженный этой блистательною Селименой, поминутно обращал к ней свой взгляд; и чем более он смотрел на нее, тем более желал смотреть. Г-жа де Баржетон заметила пылкие взгляды Люсьена; она стала за ним наблюдать и увидела, что он более занят маркизою, нежели спектаклем. Она охотно бы смирилась с участью возлюбленной, покинутой ради пятидесяти дочерей Даная, но когда пламенный взгляд честолюбца с особой горячностью выразил непреклонность его желания, она поняла, что творится в его сердце, и почувствовала ревность, даже не к будущему, а к прошлому. «Он никогда на меня так не смотрел,— подумала она.— Боже мой! Шатле прав». Итак, она призналась в любовном заблуждении. Когда женщина начинает каяться в слабостях, она как будто губкой проводит по своей жизни, чтобы все стереть. Она хранила спокойствие, хотя каждый взгляд Люсьена вызывал в ней гнев. В антракте де Марсе привел с собою г-на де Листомэра. И серьезный человек и молодой повеса не замедлили сообщить гордой маркизе, что разряженный шафер, которого она, к сожалению, пригласила в свою ложу, носит имя де Рюбампре с таким же правом, с каким иудей носит христианское имя. Люсьен — сын аптекаря Шардона. Г-н де Растиньяк, столь точно осведомленный об ангулемских делах, побывал уже в двух ложах; он потешал общество колкими замечаниями по адресу мумии, которую маркиза называет кузиною; эта особа столь предусмотрительна, что завела собственного аптекаря, для того, конечно, чтобы его снадобьями искусственно поддерживать свою жизнь. Короче, де Марсе повторил вечные шутки парижского остроумия,

которые так же быстро забываются, как и возникают; но за ними скрывался Шатле, виновник этого карфагенского предательства.

— Дорогая моя,— сказала г-жа д'Эспар, прикрываясь веером,— скажите, пожалуйста, ваш любимец действительно де Рюбампре?

— Он носит имя своей матери,— сказала смущенная Анаис.

— А имя его отца?

— Шардон.

— Кто был этот Шардон?

— Аптекарь.

— Друг мой, я была уверена, что парижская знать не станет насмехаться над женщиной, которую я признаю своей родственницей. А теперь эти ветреники без ума от радости, что застали меня в обществе сына аптекаря. Я не желаю больше видеть их здесь; послушайте, нам лучше уйти, и сейчас же.

Надменная и негодующая мина преобразила лицо г-жи д'Эспар, и Люсьен не мог понять, в чем причина этой перемены. Он подумал, что жилет у него дурного вкуса,— и это было истиной; что покрой его фрака излишне модный,—и это тоже было истиной. Он признал с тайной горечью, что одеваться должно у искусного портного, и решил завтра же отправиться к самому знаменитому, чтобы в будущий понедельник состязаться с щеголями, которых он встретит у маркизы. Хотя он был погружен в размышления, его взоры, очарованные третьим актом, не отрывались от сцены. Он любовался пышностью несравненного зрелища, предаваясь мечтаниям о г-же д'Эспар. Его повергла в отчаяние эта внезапная холодность, так противоречившая душевному жару, бросившему его в новую любовь, наперекор огромным помехам, которые он предвидел, но беспечно дал себе слово побороть. Он вышел из глубокой задумчивости, чтобы взглянуть на своего идола, но, оборотившись, увидел, что ложа пуста; он услышал легкий шум: дверь затворилась, г-жа д'Эспар исчезла и увлекла за собой кузину. Люсьен был крайне удивлен этим поспешным бегством, но он недолго раздумывал именно потому, что не находил объяснения. Когда обе женщины сели в карету и карета покатила по улице Ришелье к предместью

Сент-Оноре, маркиза заговорила, и в голосе ее прорывался сдержанный гнев.

— Дорогая! О чем вы думаете? Подождите, пусть сын аптекаря действительно станет знаменитостью, тогда и принимайте в нем участие. Герцогиня де Шолье все еще скрывает свою близость с Каналисом, а ведь он знаменит и хорошего рода. Этот мальчик вам не сын и не любовник, не правда ли? — спросила надменная женщина, бросив на кузину ясный испытующий взгляд. «Вот счастье,— подумала та,— что я ничего этому повесе не позволяла!»

— Послушайте, душа моя,— продолжала маркиза, приняв выразительный взгляд кузины за ответ,— расстаньтесь с ним, прошу вас! Какая дерзость,— присвоить знаменитое имя! Общество за это карает. Пусть это имя его матери, я допускаю; но помилуйте, моя дорогая, ведь только король личным указом может даровать право носить имя де Рюбампре сыну девицы из этого рода. Она вступила в неравный брак, значит этим указом будет оказана великая милость. И, чтобы ее заслужить, нужны огромные средства, известные заслуги и весьма высокое покровительство. Платье вырядившегося лавочника доказывает, что этот юнец не богат и не из хорошего рода; лицо у него красивое, но он мне показался глупым; он не умеет ни держаться, ни говорить — словом, *он невоспитан*. Чего ради вы о нем хлопочете?

Госпожа де Баржетон отреклась от Люсьена, как Люсьен отрекся от нее, и страшно боялась, как бы кузина не открыла всей истины о ее путешествии.

— Я в отчаянии, что повредила вам во мнении общества, дорогая кузина!

— Мне повредить нельзя,— улыбаясь, сказала г-жа д'Эспар.— Я думаю о вас.

— Но вы пригласили его отобедать у вас в понедельник?

— Я заболею,— живо отвечала маркиза.— Вы его известите, а я прикажу не принимать этого господина ни под тем, ни под другим его именем.

В антракте Люсьену вздумалось выйти в фойе,— он заметил, что все идут туда. Прежде всего ни один из четырех денди, побывавших в ложе г-жи д'Эспар, не по-

клонился ему и не удостоил своим вниманием; провинциальный поэт был весьма этим озадачен. Притом дю Шатле, украдкой наблюдавший за ним, исчезал, как только он намеревался к нему подойти. Люсьен рассматривал мужчин, гулявших в фойе, и убедился, что его наряд достаточно смешон; он забился в уголок ложи и просидел там до окончания спектакля, то упиваясь пышным зрелищем балета в пятом акте, столь прославленном своим *Аидом,* то зрелищем залы, которую он медленно обводил взглядом от ложи к ложе, то предаваясь размышлениям, углубленным близостью парижского общества. «Так вот оно, мое царство! — думал он.— Вот мир, который я должен покорить!» Он пешком воротился домой, обдумывая речи молодых людей, приходивших на поклон к г-же д'Эспар; их осанка, жесты, манера входить и выходить припоминались ему с удивительною ясностью. На другой день, около полудня, он прежде всего пошел к Штаубу, знаменитейшему портному того времени. Просьбами и обещанием уплатить наличными он вымолил у портного согласие приготовить платье к знаменательному понедельнику. Штауб снизошел до того, что обещал сшить к решающему дню восхитительный сюртук, жилет и панталоны. Люсьен заказал в бельевой лавке сорочки, носовые платки, словом, целое приданое, а знаменитый сапожник снял с его ноги мерку для башмаков и для сапог. Он купил красивую трость у Вердье, перчатки и запонки у мадам Ирланд,— короче сказать, во всем постарался уподобиться денди. Удовлетворив свои прихоти, он пошел в улицу Нев-де-Люксембур, но не застал Луизы.

— Мадам обедает у маркизы д'Эспар и вернется поздно,— сказала ему Альбертина.

Люсьен пообедал за сорок су в ресторане Пале-Рояля и лег спать. В воскресенье, в одиннадцать часов утра, он был уже у Луизы; она еще не вставала. Он зашел в два часа.

— Мадам еще не принимает,— сказала ему Альбертина,— а вот для вас записка.

— Она еще не принимает? — повторил Люсьен.— Но ведь я не первый встречный...

— Не знаю,— весьма дерзко ответила Альбертина.

Ответ Альбертины удивил Люсьена не менее, чем

письмо г-жи де Баржетон. Он взял записку и тут же на улице прочел обезнадеживающие строки:

«Г-жа д'Эспар нездорова и в понедельник не может Вас принять; я тоже чувствую недомогание, однако ж встану и поеду ее навестить. Я в отчаянии от этой досадной помехи, но Ваши таланты меня утешают; Вы пробьетесь и без покровительства».

«И нет подписи! — сказал себе Люсьен; он уже был в Тюильри, не заметив, как пришел туда. Дар провидения, присущий талантливым людям, навел его на мысль о катастрофе, возвещенной этой холодною запиской. Он шел, погрузившись в размышления, шел все вперед, окидывая взглядом памятники на площади Людовика XV. Стояла прекрасная погода. Щегольские кареты беспрерывно мелькали перед его глазами, направляясь в главную аллею Елисейских полей. Он следовал за толпою гуляющих; в хорошую погоду, по воскресным дням, сюда стекается не менее трех-четырех тысяч экипажей, образующих импровизированный Лоншан. Он шел все дальше, зачарованный роскошью выездов, нарядов, ливрей, и очутился на площади Этуаль перед Триумфальной аркою, которая строилась в ту пору. Что с ним сталось, когда на обратном пути он встретил великолепный выезд и увидел в коляске г-жу д'Эспар и г-жу де Баржетон; за кузовом коляски развевались перья на шляпе лакея; по зеленой, шитой золотом ливрее он узнал экипаж маркизы. Движение карет приостановилось, образовался затор; Люсьен увидел преображенную Луизу; она была неузнаваема: тона ее туалета были подобраны в соответствии с цветом ее лица; платье на ней было восхитительное; во всем ее уборе, прелестной укладке волос, в шляпе, заметной даже рядом со шляпой г-жи д'Эспар, этой законодательницы моды, запечатлелось самое тонкое сочетание вкуса. Есть непередаваемая манера носить шляпу: сдвиньте ее немного назад, и у вас будет дерзкий вид; надвиньте ее на лоб, у вас будет угрюмый вид; набок — вы примете вольный вид; светские женщины носят шляпу, как им вздумается, и неизменно сохраняют хороший тон. Г-жа де Баржетон сразу разрешила эту удивительную задачу. Красивый пояс обрисовывал ее стройный стан. Она переняла у кузины ее движения и

привычки; она сидела в той же позе, она так же играла изящным флакончиком с духами, висевшим на цепочке на пальце правой руки, и как бы нечаянно показывала божественную ручку в божественной перчатке. Словом, она уподобилась г-же д'Эспар, не обезьянничая; она была достойной кузиной маркизы, казалось, гордившейся своею ученицею. Женщины и мужчины, гулявшие по аллеям, засматривались на блистательную карету с объединенными гербами д'Эспаров и Бламон-Шоври. Люсьен удивился, заметив, что многие прохожие расклани·ваются с кузинами; он не знал, что *весь Париж*, состоящий из двадцати салонов, уже осведомлен о родстве г-жи де Баржетон и г-жи д'Эспар. Молодые всадники окружили коляску, чтобы сопровождать кузин в Булонский лес; среди них Люсьен заметил де Марсе и Растиньяка. По жестам этих двух фатов Люсьен легко догадался, что они выражают г-же де Баржетон свое восхищение по поводу совершившейся в ней перемены. Г-жа д'Эспар блистала красотою и здоровьем; стало быть, ее недомогание было лишь поводом для отказа в приеме именно ему: ведь она не отменила званого обеда. Разгневанный поэт направился к коляске; он шел медленно и, оказавшись в виду обеих дам, поклонился им; г-жа де Баржетон не пожелала его заметить, маркиза навела на него лорнет и не ответила на поклон. Парижская знать оказывала презрение по-иному, нежели ангулемские властелины: дворянчики, старавшиеся уязвить Люсьена, все же признавали его способности и почитали его за человека, между тем как для г-жи д'Эспар он просто не существовал. То не был приговор, то был отказ в правосудии. Когда де Марсе навел на него лорнет, бедного поэта охватил смертельный холод: парижский лев так уронил лорнет, что Люсьену показалось, будто опустился нож гильотины. Коляска тронулась. Ярость, жажда мщения овладели униженным человеком; будь то в его власти, он задушил бы г-жу де Баржетон; он перевоплотился бы в Фукье-Тенвиля, ради наслаждения отправить г-жу д'Эспар на эшафот; он был не прочь предать де Марсе какой-либо утонченной пытке, измышленной дикарями. Он видел, как мимо него, раскланиваясь с прекраснейшими женщинами, проскакал де Каналис, изящный, как то и подобает нежнейшему из поэтов.

«Бог мой! Золота, любою ценою! — сказал сам себе Люсьен.— Золото — единственная сила, перед которой склоняется мир».— «Нет,— вскричала его совесть,— не золото, а слава!» — «Но слава — это труд! Труд! Любимое слово Давида. Бог мой! Зачем я здесь? Но я добьюсь своего. Я буду разъезжать по этой аллее в коляске с лакеем на запятках. Моими будут маркизы д'Эспар!» Он мысленно произносил бешеные монологи, обедая за сорок су у Юрбена.

На другой день, в девять часов утра, он пошел к Луизе; он горел нетерпением обрушиться на Анаис за ее вероломство. Но мало того, что г-жи де Баржетон не оказалось для него дома, привратник даже на порог его не пустил. Люсьен сторожил у подъезда до полудня. В полдень от г-жи де Баржетон вышел дю Шатле; он искоса взглянул на поэта и хотел уклониться от встречи. Люсьен, задетый за живое, бросился вслед своему сопернику; дю Шатле, почувствовав погоню, оборотился и отдал Люсьену поклон; исполнив долг вежливости, он явно спешил исчезнуть.

— Умоляю вас,— сказал Люсьен,— уделите мне одну лишь минуту. Выслушайте! Вы относились ко мне с дружелюбием, я взываю к нему. Я прошу о ничтожной услуге. Вы только что видели госпожу де Баржетон. Скажите, чем я заслужил немилость и у нее и у госпожи д'Эспар?

— Господин Шардон,— отвечал дю Шатле с мнимым добродушием,— вам известно, отчего дамы покинули вас в Опере?

— Нет,— сказал бедный поэт.

— Так вот: вам сразу же удружил господин де Растиньяк. Когда о вас зашла речь, юный денди сказал коротко и ясно, что вы не Рюбампре, а Шардон, что ваша мать — повивальная бабка, что ваш отец был аптекарем в Умо, предместье Ангулема, а ваша сестра, милейшая девушка, бесподобно утюжит сорочки и помолвлена с ангулемским типографом Сешаром... Таков свет! Вы пожелали быть на виду. Вас пожелали изучить. Де Марсе зашел в ложу, чтобы вместе с госпожою д'Эспар посмеяться над вами, и тотчас же обе дамы обратились в бегство; они боялись, что ваше общество их унизит. Не ищите встречи ни с той, ни с другой. Если госпо-

жа де Баржетон пожелает встречаться с вами, кузина не станет ее принимать. У вас есть талант, попытайтесь отыграться. Свет пренебрег вами, пренебрегите светом. Укройтесь в мансарде, создайте великое произведение, станьте законодателем в какой-либо области, и свет будет у ваших ног; свет нанес вам раны, нанесите раны ему, и тем же оружием. Чем более дружбы оказывала вам госпожа де Баржетон, тем более она от вас отдалится. Но сейчас вопрос не в том, как вернуть дружбу Анаис, а в том, как бы не обрести в ней врага; я укажу к этому путь. Она вам писала, возвратите ей письма; ваш благородный поступок ее тронет; позже, ежели вам понадобится ее помощь, она отнесется к вам без неприязни. Что до меня касается, я столь высокого мнения о вашей будущности, что защищаю вас всюду; и ежели я могу быть для вас чем-либо полезен, располагайте мною, я к вашим услугам.

Люсьен побледнел, помрачнел и был так расстроен, что не ответил на сухой учтивый поклон старого щеголя, помолодевшего в парижской атмосфере. Он воротился в гостиницу и там застал самого Штауба, явившегося не столько ради примерки заказанного ему платья, сколько ради того, чтобы выведать у хозяйки «Гайар-Буа» о состоянии финансов безвестного заказчика. Люсьен прибыл на почтовых, г-жа де Баржетон прошлый четверг привезла его из Водевиля в карете. Сведения были благоприятны. Штауб величал Люсьена «графом» и хвалился своим талантом придать должное освещение обворожительным формам молодого человека.

— В таком наряде,— сказал он,— молодой человек смело может отправиться на прогулку в Тюильри; не пройдет и двух недель, как он женится на богатой англичанке.

Шутка немецкого портного и совершенство наряда, тонкость сукна, прелесть собственного обличья, отраженного в зеркале, все эти безделицы чуть развеяли грусть Люсьена. Он невольно подумал, что Париж — столица случая, и на мгновение поверил в случай. Разве у него не было тома стихов и в рукописи блестящего романа «Лучник Карла IX»? Он возложил надежды на свою счастливую звезду. Штауб обещал завтра же принести сюртук и остальные принадлежности наряда. Поутру

сапожник, бельевщик и портной предстали все со счетами в руках. Люсьен, не искушенный в искусстве отваживать кредиторов, еще скованный провинциальными обычаями, с ними рассчитался, но в кармане у него осталось не более трехсот шестидесяти франков из двух тысяч, что он привез с собою в Париж, а прожил он там всего лишь неделю! Однако ж он разоделся и пошел прогуляться по террасе Фельянов. Там он получил воздаяние. Он так отлично был одет, так мил, так прекрасен, что на него заглядывалось немало женщин, и две или три, плененные его красотой, обернулись ему вслед. Люсьен изучал поступь и жесты молодых людей и прошел курс изящных манер, не переставая думать о трехстах шестидесяти франках. Вечером, один в комнате, он вздумал разрешить задачу своего пребывания в гостинице «Гайар-Буа», где из бережливости заказывал теперь к завтраку самые простые кушанья. Он спросил счет, как бы намереваясь съехать с квартиры; оказалось, он задолжал сто франков. На другой день он помчался в Латинский квартал, он знал о его дешевизне со слов Давида. После долгих поисков он наконец набрел в улице Клюни на жалкую гостиницу, где и снял комнату, доступную его карману. Поспешно расплатившись с хозяйкой «Гайар-Буа», он в тот же день переселился в улицу Клюни. Переселение обошлось лишь в стоимость фиакра.

Вступив во владение своей убогой комнатой, он собрал все письма г-жи де Баржетон и, связав их в пачку, положил на стол; но прежде чем написать ей, он задумался о событиях этой роковой недели. Ему и на ум не приходило, что он первый опрометчиво отрекся от своей любви, не подозревая, какою станет его Луиза в Париже; он не видел своих ошибок, он видел лишь свое горестное положение; он обвинял г-жу де Баржетон: вместо того чтобы просветить, она его погубила! Ярость его обуяла, гордость заговорила, и в припадке гнева он написал такое письмо:

«Что сказали бы Вы, сударыня, о женщине, которая прельстилась бедным, робким ребенком, исполненным благородных надежд, именуемых в более зрелом возрасте мечтаниями, и которая совратила это дитя чарами кокетства, изысканностью ума, отменнейшим подобием

материнской любви? Ни обещаниями, самыми обольстительными, ни воздушными замками, от которых охватывает восторг,— она ничем не пренебрегает; она его увозит, она им завладевает, она попеременно то бранит его за недоверие, то осыпает лестью; когда же он покидает семью и бросается ей вслед, она приводит его к безбрежному морю, улыбкою манит ступить в утлый челн и отталкивает от берега, отдав его, одинокого, беспомощного, на волю стихий, а сама, стоя на скале, заливается смехом и посылает ему пожелания успехов. Эта женщина — Вы; ребенок — я. В руках этого младенца находится некий залог памяти, способный разоблачить преступность Вашей благосклонности и милость Вашего небрежения. Вам довелось бы покраснеть, столкнувшись с ребенком, борющимся с волнами, ежели бы Вы вспомнили, что прижимали его к своей груди. Когда Вам придется прочесть это письмо, Ваш дар будет Вам возвращен. Вы вольны все забыть. Вслед волшебным мечтам, указанным мне Вашим перстом, в небесах я созерцаю убогую действительность в грязи Парижа. В то время как Вы, блистательная и обожаемая, будете парить в высотах мира, к подножию которого Вы меня привели, я буду дрожать от стужи на нищенском чердаке, куда Вы загнали меня. Но, может быть, среди пиршеств и утех Вас охватят угрызения совести, Вы, может быть, вспомните о ребенке, которого Вы столкнули в пропасть. Пусть Вас не тревожит совесть, сударыня! Из глубины своего несчастья последним своим взглядом этот ребенок дарует Вам единственное, что у него осталось: прощение. Да, сударыня, благодаря Вам у него не осталось ничего. Ничего! Но разве мир не создан из ничего? Гений обязан подражать богу: я начал с того, что позаимствовал его милосердие, не зная, обрету ли его могущество. Но Вам придется трепетать, ежели я уклонюсь от правого пути: ведь Вы были бы соучастницей моих заблуждений. Увы! Мне Вас жаль, Вы не приобщитесь к славе, к которой я устремлюсь по пути труда».

Написав это письмо, напыщенное, но исполненное того мрачного достоинства, которым часто злоупотребляют поэты двадцати одного года от роду, Люсьен мысленно перенесся в круг своей семьи: ему пригрезились

красивые комнаты, обставленные для него Давидом, который пожертвовал ради этого своими сбережениями, видение скромных, мирных мещанских радостей, которые он вкушал, предстало перед ним; тени его матери, его сестры, Давида витали вкруг него, он вновь увидел их глаза, полные слез в минуты расставания, и сам заплакал, ибо он был одинок в Париже, без друзей, без покровителей.

Несколько дней спустя Люсьен писал своей сестре:

«Моя милая Ева, сестры обладают горестным преимуществом познать больше печали, нежели радости, приобщаясь к жизни братьев, посвятивших себя искусству, и я опасаюсь стать для тебя бременем. Разве я не употребил во зло вашу привязанность ко мне? Память прошлого, исполненного семейных радостей, поддерживала меня в одиночестве моего настоящего. С быстротою орла, летящего в свое гнездо, преодолевал я пространство, стремясь к источнику истинной любви и желая забыть первые горести и первые обманы парижского света! Не трещал ли фитиль вашей свечи? Не выпадал ли уголь из вашего очага? Не ощущали ли вы звона в ушах? Не говорила ли мать: «Люсьен о нас думает»? Не отвечал ли Давид: «Он борется с людьми и обстоятельствами»? Ева, я пишу это письмо только для тебя одной. Одной тебе осмелюсь я поверить все доброе и недоброе, что со мною может случиться, краснея и за то и за другое, ибо здесь добро встречается как редкость, меж тем редкостью должно было бы быть зло. Ты из немногих слов поймешь многое: г-жа де Баржетон устыдилась меня, отреклась от меня, выгнала, отвергла на девятый день по приезде. Встретившись со мною, она отвернулась, а я, ради того чтобы сопутствовать ей в свете, куда она пожелала меня ввести, истратил тысячу семьсот шестьдесят франков из двух тысяч, привезенных мною из Ангулема и с таким трудом добытых вами! «На что истратил?» — скажешь ты. Моя милая сестра, Париж — необычайная пропасть: здесь можно пообедать за восемнадцать су, но в порядочной *ресторации* самый простой обед стоит пятьдесят франков; здесь есть жилеты и панталоны ценою в четыре франка и даже в сорок су, но модные портные не сошьют их вам дешевле

ста франков. В Париже, ради того, чтобы перебраться через лужу во время дождя, платят одно су. Здесь самая короткая поездка в карете стоит тридцать два су. Я жил в роскошном квартале, но нынче переехал в гостиницу «Клюни», в улице Клюни, одной из самых жалких и самых мрачных улиц Парижа, затерявшейся меж трех церквей и старинных зданий Сорбонны. Я занимаю комнату в пятом этаже и, хотя она достаточно запущена и неопрятна, плачу за нее пятнадцать франков в месяц. Мой завтрак состоит из хлебца в два су и кружки молока за одно су. Но я отлично обедаю за двадцать два су в ресторации некоего Фликото, на площади той же Сорбонны. До наступления зимы мои издержки не превысят шестидесяти франков в месяц, я на это надеюсь по крайней мере. Итак, двухсот сорока франков достанет на четыре месяца. За это время я, без сомнения, продам «Лучника Карла IX» и «Маргаритки». Поэтому не тревожьтесь за меня. Пусть настоящее мрачно, пусто, убого,— будущее радужно, пышно и блистательно. Большинство великих людей претерпевало превратности судьбы, удручающие и меня, но невзгодам меня не сломить. Плавт, великий комический поэт, был работником на мельнице, Макиавелли писал «Государя» по вечерам, пробыв целый день среди мастеровых. Великий Сервантес, потерявший руку в битве при Лепанто, причастный к победе этого славного дня, прозванный писаками своего времени «убогим, одноруким стариком», обречен был, по вине издателей, ожидать десять лет выхода второй части своего вдохновенного «Дон-Кихота». Ныне не те времена. Печали и нищета — удел лишь безвестных талантов; но, достигнув славы, писатели становятся богатыми, и я буду богат. Впрочем, моя жизнь заполнена трудом, половину дня я провожу в библиотеке Сент-Женевьев: там я приобретаю необходимые познания, без которых я бы недалеко ушел. Итак, теперь я почти счастлив. В несколько дней я весело приноровился к своему положению. С самого утра отдаюсь любимой работе; на жизнь у меня денег достанет; я много размышляю, учусь, я не вижу, что могло бы причинить мне боль теперь, когда я отрекся от света, где мое самолюбие страдало ежеминутно. Знаменитые люди любой эпохи должны жить в одиночестве. Не подобны ли они птицам в лесу?

Они поют, они чаруют природу, никем не зримые. Так и я поступлю, ежели мне доведется осуществить мои честолюбивые замыслы. Я не сожалею о г-же де Баржетон. Женщина, которая могла так поступить, не заслуживает воспоминания. Я не сожалею о том, что покинул Ангулем. Эта женщина была права, заманив меня в Париж и там предоставив собственным силам. Здесь мир писателей, мыслителей, поэтов. Только здесь взращивают славу, и мне известно, какие дает она ныне чудесные всходы. Только здесь, в музеях и частных собраниях, писатели могут найти живые творения гениев, воспламеняющие и подстрекающие воображение. Только здесь обширные, всегда открытые библиотеки предлагают уму пищу и знания. Наконец в Париже в самом воздухе и в любом пустяке таится мысль, увековеченная в литературных творениях. Из разговоров в кафе, в театре почерпнешь более, нежели в провинции за десять лет. Поистине здесь все представляет зрелище, сравнение и поучение. Предельная дешевизна, предельная дороговизна — вот он, Париж, где каждая пчела находит свою ячейку, где каждая душа впитывает то, что ей родственно. Итак, если я сейчас страдаю, все же я ни в чем не раскаиваюсь. Напротив, прекрасное будущее вырисовывается передо мною и порою радует мое страждущее сердце. Прощай, моя милая сестра. Не ожидай от меня частых писем: одна из особенностей Парижа в том, что здесь совсем не замечаешь, как мчится время. Жизнь здесь ужасающе стремительна. Обнимаю мать, Давида и тебя нежнее, чем когда-либо.

Люсьен».

Фликото — имя, запечатленное в памяти у многих. Мало встретится студентов, которые, живя в Латинском квартале в первые двенадцать лет Реставрации, не посещали бы этот храм голода и нищеты. Обед из трех блюд с графинчиком вина или бутылкой пива стоил там восемнадцать су, а с бутылкой вина — двадцать два су. И только лишь один пункт его программы, перепечатанный конкурентами крупным шрифтом на афишах и гласивший: *Хлеба вволю,* короче говоря, до отвала,— помешал этому другу молодежи нажить огромное состояние. Много славных людей своего века вскормил Флико-

то. Несомненно, сердце не одного знаменитого человека должно ощутить радость от тысячи неизъяснимых воспоминаний при виде окон с мелкими стеклами, выходящих на площадь Сорбонны и в улицу Нев-де-Ришелье, еще сохранивших при Фликото II и Фликото III, вплоть до Июльских дней, во всей неприкосновенности и бурую окраску и древний, почтенный вид, которые свидетельствовали о глубоком презрении к шарлатанской мишуре, подобию рекламы, создаваемой почти всеми нынешними рестораторами для утехи глаз, но в ущерб желудку. Вместо нагроможденных чучел дорогой дичи, отнюдь не предназначенных для жаркого, вместо фантастических рыб, оправдывающих балаганную остроту: «Я видел славного карпа, собираюсь купить его на той неделе»; вместо этой *первины*, вернее сказать, тухлятины, выставленной в обманчивом убранстве ради прельщения капралов и их *землячек*, честный Фликото выставлял салатники, испещренные трещинами, но груды отварного чернослива радовали взгляд потребителя, внушая уверенность, что слово *десерт*, возвещаемое афишами конкурентов, здесь не окажется *Хартией*. Шестифунтовые хлебы, разрезанные на четыре части, подкрепляли обещание: «Хлеба вволю». Такова была роскошь заведения, которое мог бы в свое время прославить Мольер,— столь забавно звучало имя хозяина. Фликото существует, он будет жить, покуда живы студенты. Там всего-навсего едят; но там едят, точно работают, с мрачной либо веселой деловитостью, смотря по характеру или обстоятельствам. В ту пору это знаменитое заведение состояло из двух зал, расположенных под прямым углом, длинных, узких и низких,— одна окнами на площадь Сорбонны, другая в улицу Нев-де-Ришелье; обе залы были уставлены столами, вероятно попавшими сюда из трапезной какого-нибудь аббатства, ибо своей длиной они напоминали монастырские столы, и возле приборов чинно лежали салфетки, аккуратно продетые сквозь нумерованные металлические кольца. Фликото I менял скатерти по воскресеньям; но Фликото II, говорят, начал менять их два раза в неделю, лишь только его династии стала угрожать конкуренция. Этот ресторан — хорошо оборудованная мастерская, а не пиршественная зала, нарядная и предназначенная для утех чревоугодия.

Тут не засиживаются. Движения тут быстры. Тут без устали снуют слуги, все они заняты, все необходимы. Кушанья однообразны. Вечный картофель! Пусть не будет ни единой картофелины в Ирландии, пусть повсюду будет в картофеле недостаток, у Фликото вы его найдете. Вот уже тридцать лет, как он там подается, золотистый, излюбленного Тицианом цвета, посыпанный зеленью, и обладает преимуществом, завидным для женщин: каким он был в 1814 году, таким остался и в 1840 году. Бараньи котлеты, говяжья вырезка занимают в меню этого заведения такое же место, какое у Вери отведено глухарям, осетрине, яствам необычным, которые необходимо заказывать с утра. Там господствует говядина; телятина там подается под всякими соусами. Когда мерланы, макрель подходят к побережью океана, они тотчас приплывают к Фликото. Там все идет в соответствии с превратностями сельского хозяйства и причудами времен года. Там обучаешься вещам, о которых и не подозревают богачи, бездельники, люди, равнодушные к изменениям в природе. Студент, обосновавшийся в Латинском квартале, получает там чрезвычайно точные сведения о погоде; он знает, когда поспевает фасоль и горошек, когда рынок заполнен капустой, какой салат подвезли в изобилии и уродилась ли свекла. В ту пору, когда там бывал Люсьен, пошлая клевета по-прежнему приписывала появление у Фликото бифштексов мору лошадей. В Париже мало ресторанов, являющих столь чудесное зрелище. Здесь вы встретите лишь молодость и веру, нужду, переносимую весело, несмотря на то, что многие лица суровы, угрюмы, озабочены, скорбны. Большинство посетителей одето небрежно. Оттого-то завсегдатаи, явившись принаряженными, обращают на себя внимание. Каждый знает, что этот необычный наряд знаменует встречу с возлюбленной, посещение театра или выход в высшие сферы. Здесь, по уверению молвы, положено было начало студенческим Содружествам, и в будущем, как мы увидим в нашем повествовании, некоторые из их участников стали знаменитостями. Однако, исключая молодых людей, сидящих за одним столом и связанных между собою чувством землячества, большинство обедающих держится чинно и нелегко поддается веселью: как знать, тому причиною не церковное ли

вино, мало располагающее к сердечным излияниям? Тот, кто посещал Фликото, вспомнит немало мрачных и таинственных фигур, окутанных туманами самой холодной нищеты, приходивших туда обедать года два сряду и исчезнувших бесследно во мгле, которая укрыла эти парижские призраки от глаз самых любопытных завсегдатаев. Дружба, зарождавшаяся у Фликото, укреплялась в соседних кафе при пламени сладкого пунша или за чашкой кофе, освященного каким-нибудь ликером.

Переехав в гостиницу «Клюни», Люсьен, как все новички, в первые дни вел скромную и размеренную жизнь. После злополучной попытки пожить по-щегольски, поглотившей все его сбережения, он ушел в работу с юношеским рвением, которое так быстро охлаждают заботы и забавы, предоставляемые Парижем каждому человеку, и богатому и бедному, и устоять перед которыми может только буйная энергия подлинного таланта или мрачная воля честолюбца. Люсьен являлся к Фликото в пятом часу дня, заметив, что выгодно приходить одним из первых: кушанья в это время более разнообразны, можно еще получить то, что предпочитаешь. Как все поэтические души, он облюбовал себе место, и выбор его в достаточной мере свидетельствовал о проницательности. В первый же день своего появления у Фликото он приметил столик возле конторки, и по лицам сотрапезников, по обрывкам фраз, перехваченных на лету, он угадал собратьев по литературе. Затем некое чутье ему подсказало, что, поместившись близ конторки, он может вступить в разговор с хозяевами ресторана. Со временем установится знакомство, и в случае безденежья ему, несомненно, будет оказан необходимый кредит. Итак, он усаживался за квадратный столик возле конторки, накрытый на два прибора, с белыми салфетками без колец, предназначенный, конечно, для случайных посетителей. Против Люсьена сидел худощавый и бледный молодой человек, по-видимому, такой же нищий, как и он; его красивое, уже поблекшее лицо, говорило об утраченных надеждах, оставивших на его челе следы утомления, а в душе глубокие борозды, где брошенные семена не давали более всходов. Люсьен почувствовал влечение к незнакомцу в силу этих поэтических примет и необоримого порыва сочувствия.

Молодого человека, первого из сотрапезников, с которым ангулемскому поэту удалось через неделю, после взаимных мелких услуг, беглых слов и взглядов, завязать беседу, звали Этьеном Лусто. Тому два года он, как и Люсьен, покинул провинцию, городок в Берри. Нервные движения, блеск глаз, речь, порою отрывистая, изобличали горестное знакомство с литературной жизнью. Этьен приехал из Сансера с трагедией в кармане, увлекаемый тою же приманкой, что влекла и Люсьена: славой, властью, богатством. Этот молодой человек, прежде обедавший у Фликото каждый день, вскоре начал появляться все реже и реже. Когда Люсьену случалось после пяти или шести дней перерыва вновь встретиться со своим поэтом, он надеялся увидеться с ним и на завтрашний день; но на завтрашний день оказывалось, что его место занято каким-нибудь незнакомцем. У молодых людей, видевшихся накануне, огонь вчерашней беседы отражается в сегодняшней; но случайность встреч принуждала Люсьена каждый раз сызнова ломать лед, и тем самым замедлялось сближение. Первые недели оно мало подвинулось. Из беседы с дамой, сидевшей за конторкой, Люсьен узнал, что будущий его друг состоит сотрудником маленькой газетки, для которой он пишет отзывы на новые книги и дает отчеты о пьесах, идущих в Амбигю-комик, Гетэ или Драматической панораме. Молодой человек сразу стал видной персоной в глазах Люсьена, который решил завязать с ним задушевную беседу и пойти на кое-какие жертвы ради поддержания дружбы, столь нужной для начинающего литератора. Журналист отсутствовал две недели. Люсьен еще не знал, что Этьен только тогда обедал у Фликото, когда бывал не при деньгах, и в том крылась причина его мрачной разочарованности, той холодности, которой Люсьен противопоставлял льстивые улыбки, вкрадчивые слова. Однако ж эта дружба требовала серьезных размышлений, ибо безвестный журналист вел, по-видимому, широкий образ жизни, не уклоняясь от рюмочек вина, чашек кофе, от бокалов с пуншем, зрелищ, пирушек. Люсьен в первые дни своего пребывания в Латинском квартале держал себя как ребенок, ошеломленный первым уроком парижской жизни. Оттого-то, ознакомившись с ценами и взвесив свой кошелек, Люсьен не осмелился по-

дражать Этьену из боязни впасть в прежние ошибки, в которых он все еще раскаивался. Он жил под игом провинциальных законов: Ева и Давид, его ангелы-хранители, вставали перед ним при малейшем дурном побуждении, напоминая о возложенных на него надеждах, о том, что он обязан составить счастье своей старой матери, о всем том, что сулил его талант. Утренние часы он проводил в библиотеке Сент-Женевьев, изучая историю. При первых же изысканиях он заметил ужасающие ошибки в романе «Лучник Карла IX». Когда библиотека закрывалась, он шел в свою сырую и холодную комнату, исправлял свой труд, перестраивал его, выбрасывал целые главы. После обеда у Фликото он направлялся в Торговый пассаж, просматривал в литературном кабинете Блосса произведения современной литературы, газеты, периодические издания, сборники стихов, желая войти в жизнь искусства, и в полночь возвращался в свою жалкую комнату, не потратившись ни на освещение, ни на дрова.

Чтение, столь разнообразное, чрезвычайно изменило его вкусы, и он сызнова пересмотрел свой сборник сонетов о цветах, свои милые «Маргаритки», и так основательно их переделал, что едва ли сохранилось сто прежних строк. Итак Люсьен первое время вел простой, невинный образ жизни бедных питомцев провинции, которые даже обеды Фликото находят роскошными по сравнению с обычным столом родительского дома, довольствуются медлительными прогулками в аллеях Люксембургского сада, поглядывают искоса, с замиранием сердца, на красивых женщин, живут в пределах Латинского квартала и благоговейно предаются труду, мечтая о будущем. Но Люсьен, рожденный поэтом, скоро уступил непреклонности желания, не устояв перед обольщением театральных афиш. Французский театр, Водевиль, Варьетэ, Комическая опера, куда ох ходил в стулья партера, поглотили шестьдесят франков. Какой студент лишил бы себя счастья видеть Тальма в прославленных им ролях? Театр, первая любовь поэтических душ, очаровал Люсьена. Актеры и актрисы представлялись ему особыми людьми; он не верил в возможность переступить рампу и общаться с ними запросто. Им он был обязан духовными наслаждениями, они были для него существами вол-

шебными, о которых в газетах упоминалось наряду с делами государственной важности. Быть драматическим писателем, видеть свои творения на театре — какая пленительная мечта! Мечта эта осуществлялась людьми смелыми, как Казимир Делавинь! Плодотворные мысли, порывы веры в себя, за которыми следовали приступы отчаяния, волновали Люсьена и, невзирая на глухой ропот страстей, поддерживали его на священном пути труда и воздержания. Из чрезмерного благоразумия он дал себе обет не посещать Пале-Руаяль, то пагубное место, где он истратил в одно утро пятьдесят франков у Вери и около пятисот на наряды. Поэтому, когда его одолевало искушение посмотреть Флери, Тальма́, обоих Батистов или Мишо, он шел в узкую темную галерею, где с половины шестого уже стоял хвост за дешевыми билетами и опоздавшим надо было платить десять су за место у кассы. Часто, простояв в очереди часа два, разочарованные студенты слышали возглас: *«Билеты проданы!»* Из театра Люсьен возвращался, потупив взор, не глядя по сторонам, ибо улицы в этот час были полны живых соблазнов. Возможно, и ему случилось пережить одно из тех весьма обычных приключений, которые, однако, занимают огромное место в боязливом юном воображении. Однажды, пересчитав свои экю, Люсьен весь похолодел, напуганный быстрым истощением своих капиталов, и подумал, что ему необходимо побывать у какого-нибудь книгоиздателя и заручиться платной работой. Молодой журналист, которого он сам произвел в звание друга, не появлялся у Фликото. Люсьен ожидал счастливого случая, но случая не представлялось. В Париже случай благоприятствует лишь людям с обширным кругом знакомых: чем больше знакомых, тем больше возможностей к успеху в любой области; случай и здесь на стороне крупных армий. Сохранив еще свойственную провинциалам осторожность, Люсьен не желал ожидать того часа, когда у него останется лишь несколько экю: он решил сделать набег на книгоиздателей.

В одно прохладное сентябрьское утро Люсьен вышел в улицу Лагарпа с двумя рукописями в руках. Он дошел до набережной Августинцев, стал ходить вдоль набережной, посматривая то на воды Сены, то на книжные лавки, как будто добрый гений внушал ему, что лучше

броситься в воду, нежели в литературу. Наконец, внимательно изучив внешность людей, мелькавших за стеклами витрин или стоящих на пороге лавок, приветливых с виду, хмурых, забавных, веселых или грустных, преодолев мучительные колебания, он наметил себе дом, перед которым приказчики торопливо упаковывали книги. Там спешно отправляли товар, стены пестрели объявлениями:

Поступили в продажу:

Отшельник виконта д'Арленкура. Третье издание. *Леонид* Виктора Дюканжа. Пять томов в 12-ю долю листа, на лучшей бумаге. Цена 12 франков. *Нравственные наблюдения* Кератри.

— Вот счастливцы! — вскричал Люсьен.

Афиша, новое и своеобразное изобретение знаменитого Лавока̀, в ту пору впервые расцвела на парижских стенах. Вскоре подражатели такого способа рекламы изукрасили ею весь Париж, создав новый источник государственных доходов. Наконец Люсьен, поэт, столь славный в Ангулеме и столь ничтожный в Париже, едва дыша от волнения, проскользнул у самой стены дома и, собрав все свое мужество, вошел в лавку, переполненную служащими, клиентами, издателями... «И, может быть, авторами!» — подумал Люсьен.

— Я бы хотел поговорить с господином Видалем или господином Поршоном,— сказал он одному из продавцов.

Он только что прочел на вывеске крупными буквами:

ВИДАЛЬ И ПОРШОН, КНИГОПРОДАВЦЫ-КОМИССИОНЕРЫ
ДЛЯ ФРАНЦИИ И ЗАГРАНИЦЫ

— Они оба заняты,— отвечал продавец.

— Я обожду.

Поэт, оставшись в лавке, рассматривал связки книг. Он пробыл там два часа, изучая заголовки, перелистывая книги и читая отдельные страницы. Наконец Люсьен прислонился к застекленной перегородке с зелеными занавесками, за которой, как он подозревал, скрывался Видаль или Поршон, и услышал следующий разговор:

— Желаете взять пятьсот экземпляров? Для вас я

посчитаю их по пяти франков и на каждую дюжину накину лишний экземпляр.

— Во что же обойдется экземпляр?

— На шестнадцать су дешевле.

— Четыре франка четыре су? — сказал Видаль или Поршон тому, кто предлагал книги.

— Так точно,— послышался ответ.

— Расчет по распродаже? — спросил торговец.

— Как так? Э-ге-ге, старый шутник! Тогда вы разочтетесь года через полтора векселями сроком на год.

— Помилуйте, векселя сейчас же,— отвечал Видаль или Поршон.

— На какой срок векселя? На девять месяцев? — спросил издатель или автор, предлагавший книгу.

— Нет, мой любезный, на год,— отвечал один из книгопродавцев-комиссионеров.

Воцарилось молчание.

— Вы меня режете! — вскричал неизвестный.

— Но разве мы сбудем за год пятьсот экземпляров «Леонида»? — отвечал книгопродавец-комиссионер издателю Виктора Дюканжа.— Мой дорогой мэтр, мы были бы миллионерами, ежели бы книги расходились по воле издателей, но книги расходятся по прихоти публики. Романы Вальтера Скотта предлагают по восемнадцати су за том, три ливра двенадцать су за весь роман, а вы хотите, чтобы я ваши книжицы продавал дороже? Если вам угодно, чтобы я протолкнул ваш роман, пойдите мне навстречу. Видаль!

Из-за кассы встал толстяк и, заткнув перо за ухо, подошел к ним.

— Сколько ты сбыл Дюканжа в последнюю поездку?

— Две сотни «Старичка из Кале», но для этого пришлось снизить цену на две другие книги; спрос на них был невелик, и получились *соловьи*.

Позже Люсьен узнал, что *соловьями* книгопродавцы называют книги, которые залежались на полках в глубоком уединении книжных складов.

— Кстати, тебе известно,— продолжал Видаль,— что Пикар подготовляет серию романов? Он обещал нам двадцать процентов скидки против обычной книгопродавческой цены, чтобы мы обеспечили ему успех.

— Воля ваша! На год,— уныло отвечал издатель,

сраженный последним доверительным сообщением Видаля Поршону.

— Следовательно? — решительно спросил Поршон неизвестного.

— Я согласен.

Издатель вышел. Люсьен слышал, как Поршон сказал Видалю:

— Уже есть требование на триста экземпляров. Расчет с издателем задержим. «Леонида» пустим по сто су за штуку. А сами разочтемся за него через полгода и...

— Вот уже полторы тысячи франков барыша,— сказал Видаль.

— О! Я сразу заметил, что ему туго приходится.

— Он зарывается! Платит Дюканжу четыре тысячи франков за две тысячи экземпляров!

Люсьен прервал Видаля, появившись в дверях клетушки.

Книгопродавцы едва ответили на его поклон.

— Я автор романа, в манере Вальтера Скотта, из истории Франции, под заглавием «Лучник Карла IX». Предлагаю вам приобрести.

Поршон окинул Люсьена холодным взглядом и положил перо на конторку.

Видаль, свирепо посмотрев на автора, ответил:

— Мы, сударь, не издатели. Мы книгопродавцы-комиссионеры. Ежели мы издаем книги за свой счет, то это торговые операции, которые мы ведем только *со светилами*. Притом мы покупаем лишь серьезные книги, исторические сочинения, краткие обзоры.

— Но моя книга очень серьезная. Я пытался изобразить в истинном свете борьбу католиков, сторонников неограниченной монархии, и протестантов, желавших установить республику.

— Господин Видаль! — крикнул приказчик.

Видаль скрылся.

— Не спорю, сударь, что ваша книга — чудо искусства,— продолжал Поршон, сделав достаточно невежливый жест,— но мы интересуемся только вышедшими книгами. Обратитесь к тем, кто покупает рукописи: хотя бы к папаше Догро,— улица Дюкок, близ Лувра; он берет романы. Что бы вам прийти раньше! Только что ушел

Полле, конкурент Догро и издателей из Деревянных галерей.

— У меня есть еще сборник стихотворений...

— Господин Поршон! — крикнул кто-то.

— Стихотворений! — сердито вскричал Поршон.— За кого вы меня принимаете?— прибавил он, расхохотавшись, и исчез в помещении за лавкой.

Люсьен перешел через Пон-Неф, поглощенный своими думами. То немногое, что он понял из этого торгашеского жаргона, внушило ему, что книги для книгопродавцев то же самое, что вязаные колпаки для торговцев вязаными изделиями: товар, который надо сбыть подороже, купить подешевле.

— Я не туда попал,— сказал он самому себе; его ошеломила грубая, материальная сторона литературы.

Люсьен приметил в улице Дюкок скромную лавку, мимо которой он проходил и раньше; на ее зеленой вывеске желтыми буквами было выведено: *Книгоиздатель Догро*. Он вспомнил, что в литературном кабинете Блосса видел это имя на заглавном листе нескольких романов. Он вошел не без внутреннего трепета, охватывающего мечтателей перед неизбежностью борьбы. В лавке он увидел чудаковатого старика, одного из своеобразных представителей книжного дела времен Империи. На Догро был черный фрак с широкими прямоугольными фалдами, между тем как современная мода требовала, чтобы они своим покроем напоминали рыбий хвост; жилет из простой материи в цветную клетку с кармашком для часов, откуда свисала стальная цепочка с медным ключиком. Часы, наверно, были в форме луковицы. Шерстяные чулки серого цвета и башмаки, украшенные серебряными пряжками, завершали наряд старика; он был без шляпы, и лысый его череп обрамляли седеющие, довольно живописно растрепанные волосы. Папаша Догро, как звал его Поршон, своим фраком, панталонами и башмаками напоминал учителя словесности, жилетом, часами и чулками — купца. Внешность его ничуть не противоречила столь странному сочетанию: у него был вид наставника, начетчика, сухое лицо преподавателя риторики, живые глаза, недоверчивый рот и смутная встревоженность книгоиздателя.

— Господин Догро? — спросил Люсьен.

— Он самый..

— Я автор романа,— сказал Люсьен.

— Уж очень молоды,— сказал книгопродавец.

— Мой возраст, сударь, не имеет отношения к делу.

— Справедливо,—сказал старик и взял рукопись.— Ах, черт возьми! «Лучник Карла IX». Отличное заглавие. Ну-с, молодой человек, расскажите мне содержание в двух словах.

— Это исторический роман в духе Вальтера Скотта. Борьба протестантов и католиков изображается как борьба двух политических систем, причем престолу грозит серьезная опасность. Я принял сторону католиков.

— Э! Молодой человек, тут есть мысль. Отлично, я прочту ваш роман, обещаю вам. Я предпочел бы роман во вкусе госпожи Радклиф, но ежели вы потрудились над ним, ежели у вас есть кое-какой стиль, замысел, идеи, уменье развернуть действие, я с удовольствием вам помогу. Что требуется нам?.. Хорошие рукописи.

— Когда позволите наведаться?

— Вечером я уезжаю в деревню, ворочусь послезавтра. Тем временем я прочту ваше сочинение, и, ежели оно мне подойдет, мы тут же заключим договор.

Добродушие старика внушило Люсьену роковую мысль извлечь и рукопись «Маргариток».

— Господин Догро, у меня есть также сборник стихов.

— А! Так вы поэт! Тогда не надо мне и вашего романа,— сказал старик, возвращая ему рукопись.— Рифмоплетам проза не удается. Проза не терпит лишних слов, тут надобно говорить начистоту.

— Но Вальтер Скотт также писал стихи...

— Верно,— сказал Догро, смягчившись; он понял, что юноша нуждается, и оставил рукопись у себя.— Где вы живете? Я к вам зайду.

Люсьен дал адрес, не предполагая у старика какой-либо задней мысли; он не разглядел в нем книгопродавца старой школы, человека той эпохи, когда издатели мечтали о том, чтобы держать взаперти, где-нибудь в мансарде, умирающих от голода Вольтера и Монтескье.

— Я, кстати, возвращаюсь домой через Латинский квартал,— сказал старик, прочитав адрес.

«Хороший человек! — подумал Люсьен, откланиваясь

торговцу.— Встретил я все-таки друга молодежи, знатока, который смыслит кое-что в литературе. Каково? Я говорил Давиду, что в Париже успех таланту обеспечен». Счастливый, с легким сердцем Люсьен воротился домой, он грезил славой. Он забыл зловещие слова, поразившие его слух в конторе Видаля и Поршона, он мнил себя обладателем по меньшей мере тысячи двухсот франков. Тысяча двести франков, да ведь это целый год жизни в Париже, год творческого труда! Сколько замыслов строилось на этой надежде! Сколько сладостных дум о трудовой жизни! Он привел в порядок комнату, чуть было не купил кое-какие вещи и только чтением книг в кабинете Блосса заглушил свои нетерпеливые мечты. Старика Догро приятно удивил стиль первого произведения Люсьена, прельстила выспренность характеров, в духе той эпохи, когда развертывалась эта драма, и увлекла пылкость воображения, с которой молодой автор обычно развертывает действие,— на этот счет папаша Догро был не избалован,—и через два дня он зашел в гостиницу, где жил его подрастающий Вальтер Скотт. Он решил заплатить тысячу франков за приобретение в полную собственность «Лучника Карла IX» и связать Люсьена договором на несколько произведений. Увидев, какова эта гостиница, старая лиса одумалась. «У молодого человека, ежели он поселился здесь, вкусы скромные; он любит науку и труд. Дам ему франков восемьсот, и довольно». Хозяйка гостиницы, у которой он спросил, где живет г-н де Рюбампре, отвечала: «В пятом». Книгопродавец поднял голову и над пятым этажом увидел только небо. «Молодой человек,— подумал он,— красивый мальчик, даже очень красивый; ежели он получит лишние деньги, он начнет кутить, перестанет работать. В наших взаимных интересах я предложу ему шестьсот франков; но наличными, а не векселями». Он взошел по лестнице, постучал троекратно в дверь; Люсьен отворил. Комната была безнадежно убога. На столе стояла кружка молока, лежал хлебец в два су. Нищета гения бросилась в глаза старику Догро.

«Да сохранит он,— подумал старик,— простоту нравов, умеренность в пище, скромные потребности».

— Рад, душевно рад повидаться с вами,—сказал он Люсьену.—Вот так же жил и Жан-Жак, с которым у вас

есть общее не только в этом. В таких-то комнатах горит огонь таланта и создаются лучшие произведения. Вот так и подобает жить литераторам, вместо того чтобы кутить в кафе, ресторанах, растрачивать попусту время, свой дар и наши деньги.— Он сел.— Ваш роман, молодой человек, неплох. Я был учителем риторики, я знаю историю Франции. В романе встречаются отличные места. Короче, у вас есть будущее!

— О сударь!

— Поверьте мне, мы с вами будем делать дела. Я покупаю ваш роман.

Сердце Люсьена расцвело, он трепетал от радости: он вступит в мир литературы, он наконец появится в печати.

— Я даю четыреста франков,— сказал Догро медоточивым тоном и поглядел на Люсьена так, будто совершал великодушный поступок.

— За каждый том? — сказал Люсьен.

— За весь роман,— сказал Догро, ничуть не озадаченный замешательством Люсьена.— Но,— прибавил он,— я плачу наличными. Вы мне обяжетесь писать по два романа в год в продолжение шести лет. Ежели первый разойдется в ближайшие полгода, за следующие я заплачу по шестьсот франков. Таким образом, при двух романах в год вы будете получать сто франков в месяц. Ваша жизнь обеспечена, вы счастливы. У меня есть авторы, которым я плачу всего лишь триста франков за роман. За перевод с английского я даю двести франков. В былые времена такую цену сочли бы непомерной.

— Сударь, мы не сойдемся, прошу вернуть мне рукопись,— сказал Люсьен, похолодев.

— Извольте,— сказал старик.— Вы, сударь, ровно ничего не смыслите в делах. Издавая первый роман неизвестного автора, издатель рискует выбросить тысячу шестьсот франков за бумагу и набор. Легче написать роман, нежели добыть такую сумму. В рукописях у меня сотня романов, а в кассе нет ста шестидесяти тысяч франков! Увы! За двадцать лет, что я издаю романы, я не заработал таких денег. Издавая романы, богатства не наживешь. Видаль и Поршон берут книги на условиях, которые день ото дня становятся для нас тяжелее. Там, где вы рискуете только своим временем, я должен

выложить две тысячи франков. Ежели мы просчитаемся, ибо habent sua fata libelli [1], я теряю две тысячи франков, тогда как вы просто отделаетесь одой по поводу глупости публики. Поразмыслив о том, что я имел честь вам изложить, вы вернетесь ко мне. Да, вернетесь! — уверенно повторил книгопродавец в ответ на высокомерный жест, вырвавшийся у Люсьена.— Вам не найти не только издателя, который захочет рискнуть двумя тысячами франков ради молодого неизвестного автора, вы не найдете и приказчика, который потрудится прочесть вашу пачкотню. Я-то ее прочел, и я могу вам указать на некоторые погрешности против языка. Вы пишете *представлять из себя* вместо *представлять собою; несмотря что,— несмотря* требует предлога *на*.— Люсьен явно смутился.— Когда мы опять увидимся, я уже не дам вам более ста экю,— добавил старик,— вы потеряете сто франков.— Он встал, откланялся, но, стоя уже на пороге, сказал: — Кабы не ваш талант, не ваша будущность и не мое сочувствие прилежным юношам, я бы не предложил вам столь блестящих условий. Сто франков в месяц! Подумайте об этом! Впрочем, роман в ящике стола не то, что лошадь в стойле: корма не требует. Правда, и пользы никакой!

Люсьен взял рукопись, швырнул ее на пол, вскричал:

— Лучше я ее сожгу!

— У вас поэтический темперамент! — сказал старик.

Люсьен съел хлебец, выпил молоко и вышел на улицу. Ему недоставало места в комнате, он метался бы в ней, как лев к клетке зоологического сада. В библиотеке Сент-Женевьев, куда Люсьен намеревался пойти, он уже давно приметил молодого человека лет двадцати пяти, работавшего в своем углу с тем сосредоточенным вниманием, которого нельзя ни рассеять, ни отвлечь и по которому узнается истый труженик литературы. Молодой человек, очевидно, был завсегдатаем в библиотеке: и служащие и библиотекарь оказывали ему особую любезность; библиотекарь разрешал ему брать книги на дом, и Люсьен заметил, что трудолюбивый незнакомец возвращает их на следующий же день; поэт угадывал в нем собрата по нищете и надеждам. Небольшого роста,

---

[1] Книги имеют свою судьбу *(лат.)*.

бледный и худой, примечательный своими красивыми руками и прекрасным лбом, прикрытым прядью черных, густых, небрежно причесанных волос, он привлекал к себе внимание даже равнодушных смутным сходством с Бонапартом на гравированном портрете по рисунку Роберта Лефевра. Эта гравюра — целая поэма пламенной меланхолии, тайного властолюбия, скрытой жажды действия. Внимательно вглядитесь в лицо: вы увидите в нем гениальность и замкнутость, хитрость и величие. Взгляд одухотворен, как взгляд женщины. Взор ищет широкого простора, горит желанием побеждать препятствия. Если бы имя Бонапарта даже и не стояло под гравюрой, вы все же загляделись бы на это лицо. Молодой человек, живое воплощение гравюры, носил сюртук из грубого сукна, панталоны, обычно заправленные в башмаки на толстой подошве, серый с белыми крапинками суконный жилет, застегнутый доверху, черный галстук и дешевенькую шляпу. Было явно, что он пренебрегал ненужным щегольством. Таинственный незнакомец, отмеченный печатью, которую гений налагает на чело своих рабов, был самым исправным завсегдатаем у Фликото, где и встречал его Люсьен; он питался, чтобы жить, не обращая внимания на плохое качество пищи, с которой свыкся, пил только воду. Будь то в библиотеке или у Фликото, он обнаруживал во всем какое-то внутреннее достоинство, проистекавшее, несомненно, из сознания, что его жизнь посвящена великому делу, и создававшее впечатление недоступности. Взор его был взором мыслителя. Размышление избрало своим жилищем этот прекрасный лоб, благородно изваянный. Живые черные глаза, зоркие и проницательные, свидетельствовали о привычке проникать в сущность вещей. Жесты его были просты, но манера себя держать внушительна. Люсьен невольно чувствовал к нему уважение. Не один раз, встречаясь у входа в библиотеку или в ресторан, они обменивались взглядами, как будто желая заговорить, но оба не решались. Молчаливый юноша обычно проходил в глубину залы, в ту ее часть, которая выходит на площадь Сорбонны, и таким образом Люсьену не представлялось случая завязать с ним отношения, хотя он чувствовал влечение к этому юному труженику, по неизъяснимым признакам угадывая в нем нравственное превос-

ходство. Тот и другой, как они выяснили позже, представляли собой натуры девственные и робкие, подверженные всяким страхам, с их волнениями, свойственными людям одиноким. Не повстречайся они неожиданно в бедственный день неудачи, постигшей Люсьена, они, может быть, никогда бы не сошлись. Но Люсьен, входя в улицу де Грэ, увидел незнакомца, возвращавшегося из библиотеки Сент-Женевьев.

— Библиотека закрыта, а по какой причине, сударь, не знаю,— сказал незнакомец.

В эту минуту в глазах Люсьена стояли слезы, он поблагодарил его жестом более красноречивым, нежели слова, и открывающим путь к юношескому сердцу. Они вместе пошли по улице де Грэ, направляясь в улицу Лагарпа.

— Ну что ж, прогуляюсь в Люксембургском саду,— сказал Люсьен.— Как трудно, выйдя из дому, вернуться и опять сесть за работу!

— Нарушается течение мысли,— заметил незнакомец.— Вы чем-то огорчены?

— Со мной случилось любопытное происшествие,— сказал Люсьен.

Он рассказал о своем посещении набережной, лавки старого книгопродавца и о его предложениях; он назвал себя и в нескольких словах описал свое положение: не прошло и месяца, как он истратил на стол шестьдесят франков, тридцать франков — на гостиницу, двадцать — на театр, десять—в читальне, всего сто двадцать франков, и у него осталось всего лишь сто двадцать франков.

— Ваша история,— сказал незнакомец,— моя история, история тысяч юношей, приезжающих ежегодно из провинции в Париж. Мы с вами еще не самые несчастные. Видите этот театр? — сказал он, указывая на купол Одеона.— Однажды в одном из домов на площади Одеона поселился человек даровитый, но скатившийся в пропасть нищеты. В довершение несчастья он был женат на любимой женщине, что не постигло еще ни меня, ни вас. На радость или на горе, как вам угодно, у него родилось двое детей; он был обременен долгами, но уповал на свое перо. Он предложил театру Одеон комедию в пяти актах. Комедия одобрена, принята, актеры репетируют, директор торопит репетиции. Пять

удачных актов оказываются пятью драмами, пережить которые труднее, чем написать пять актов. Бедный автор живет на чердаке, отсюда вы можете увидеть его крышу. Он тратит последние гроши, жена закладывает одежду, семья ест один хлеб. В тот день, когда шла последняя репетиция, накануне первого представления, семья уже задолжала пятьдесят франков: булочнику, молочнику, привратнику, владельцу дома. Поэт оставил себе лишь самое необходимое: сорочку, фрак, панталоны, жилет и сапоги. Уверенный в успехе, он приходит домой, говорит, что настал конец их злоключениям. «Наконец-то все за нас!» — восклицает он. «Пожар! — вскричала жена.— Одеон горит!» Да, Одеон горел. Итак, не сетуйте на судьбу. Вы одеты, у вас нет ни жены, ни детей, у вас в кармане сто двадцать франков на всякий случай и нет долгов. Пьеса выдержала сто пятьдесят представлений в театре Лувуа. Король назначил автору пенсию. Бюффон сказал: «Гений — это терпение». И верно, из всех человеческих свойств терпение более всего напоминает тот метод, каким природа создает свои творения. Что такое искусство? Сгусток природы.

Молодые люди уже шагали по Люксембургскому саду. Люсьен скоро узнал имя незнакомца, пытавшегося его утешить, имя, прославленное впоследствии. Молодой человек был не кто иной, как Даниель д'Артез, один из самых известных писателей нашей эпохи, один из тех редких людей, которые, по слову поэта, представляют собою «созвучие прекрасного таланта с душой прекрасною...»

— Нельзя стать великим человеком малою ценою,— мягко сказал ему Даниель.— Гений орошает свои творения слезами. Талант — явление духовного порядка и. как все живое, в детстве подвержен болезням. Общество отвергает неполноценные таланты, как природа устраняет существа хилые или уродливые. Кто желает возвыситься над людьми, тот должен быть готовым к борьбе, должен не отступать ни перед какими трудностями. Великий писатель — это мученик, оставшийся в живых, вот и все. Ваш лоб отмечен печатью гения,— сказал д'Артез Люсьену, как бы охватывая его своим взглядом,— но если у вас нет воли, если вы не обладаете ангельским терпением и если вы, как бы далеко ни уводили вас от це-

ли превратности судьбы, не можете сызнова начать бесконечный путь к совершенству, уподобясь черепахе, которая, где бы ни очутилась, всегда стремится к родному океану, теперь же откажитесь от вашей задачи.

— Так вы готовы идти на муки? — сказал Люсьен.

— Готов к любым испытаниям, к любой клевете, предательству, зависти соперников, к наглости, коварству, алчности торгашей,— тоном смирившегося человека отвечал юноша.— Если ваше произведение прекрасно, первая неудача не значит ничего...

— Не пожелаете ли вы прочесть мой роман и высказать ваше мнение? — сказал Люсьен.

— Пожалуй! — сказал д'Артез.— Я живу в улице Катр-Ван, в доме, где один из замечательнейших, один из прекраснейших гениев нашего времени, необычайное явление в области науки, Деплен, величайший из хирургов, принял первые мучения в борьбе с первыми житейскими трудностями на пути к славе. Воспоминание об этом каждый вечер дает мне ту меру мужества, в которой я нуждаюсь поутру. Я живу в той комнате, где он нередко питался вишнями и хлебом, как Руссо, но возле него не было Терезы. Приходите через час: я буду дома.

Поэты расстались, пожав друг другу руки, в неизъяснимом порыве грусти и нежности. Люсьен пошел за рукописью. Даниель д'Артез пошел в ссудную кассу отдать в заклад часы и купить две вязанки дров, чтобы его новый друг мог погреться у камина в этот холодный день. Люсьен явился точно в срок и прежде всего увидел дом, еще менее приглядный, чем его гостиница, с длинными мрачными сенями, в конце которых виднелась темная лестница. Комната Даниеля д'Артеза находилась в шестом этаже; два узких окна, между ними черный крашеный книжный шкаф, забитый папками с наклеенными ярлычками, жалкая деревянная кровать, напоминавшая койки в спальной коллежа, ночной столик, купленный по случаю; два кресла, набитых волосом, стояли в глубине этой комнаты, оклеенной шотландскими обоями, которые лоснились от времени и копоти. Большой, длинный стол, заваленный бумагами, занимал пространство между камином и окном. Против камина у стены стоял ветхий комод красного дерева. Потертый ковер за-

стилал весь пол. Эта полезная роскошь уменьшала расходы на топливо. Перед столом — обычное канцелярское кресло, крытое красным, но добела вытертым сафьяном; полдюжины плохоньких стульев довершали убранство комнаты. На камине Люсьен заметил старинный пузатый подсвечник о четырех восковых свечах и с козырьком; Люсьен, чувствуя во всем жестокую нужду, спросил, на что такие дорогие свечи; д'Артез ответил, что не выносит запаха сальных свечей. В этом обстоятельстве сказывалась тонкость ощущений, признак изысканной чувствительности. Чтение романа длилось семь часов. Даниель слушал благоговейно, не вымолвив ни слова, не сделавши каких-либо замечаний — редчайшее доказательство чуткости, проявленной слушателем.

— Ваше мнение? — спросил Люсьен у Даниеля, кладя рукопись на камин.

— Вы на прекрасном и правильном пути,— торжественно отвечал юноша,— но ваш роман необходимо переработать. Если вы не желаете быть лишь слабым отголоском Вальтера Скотта, вам надобно не подражать ему, как вы это делали, а создать собственную манеру письма. Чтобы обрисовать ваших героев, вы, как и он, начинаете роман с пространных разговоров; когда ваши герои наговорились вдоволь, тогда только вы вводите описание и действие. Борьба противоположных начал, необходимая для драматизма в любом произведении, у вас оказывается на последнем месте. Переставьте в обратном порядке условия задачи. Замените бесконечные разговоры, красочные у Скотта и бесцветные у вас, описаниями, к которым так склонен наш язык. Пусть ваш диалог будет необходимым следствием, венчающим ваши предпосылки. Вводите сразу в действие. Беритесь за ваш сюжет то сбоку, то с хвоста: короче, обрабатывайте его в разных планах, чтобы не стать однообразным. Применив к истории Франции формы драматического диалога Шотландца, вы будете новатором. У Вальтера Скотта нет страсти: или она неведома ему, или запрещена лицемерными нравами его родины. Для него женщина — воплощенный долг. Героини его романов, за редкими исключениями, все одинаковы, все они, как говорят художники, сделаны по одному шаблону. Они все происходят от Клариссы Гарлоу. Его женские образы являют-

ся воплощением одной и той же идеи, и поэтому он мог показать только образцы одного типа, различной, более или менее яркой окраски. Женщина будит страсть и вносит в общество смятение. Формы страсти бесконечны. Описывайте человеческие страсти, и вы будете располагать теми огромными возможностями, от которых отказался этот великий гений ради того, чтобы его читали во всех семьях чопорной Англии. Во Франции, в самую бурную эпоху нашей истории, вы встретите очаровательные пороки и блистательные нравы у представителей католицизма и можете противопоставить им мрачные фигуры кальвинистов. Любое из прошлых царствований, начиная с Карла Великого, потребует по меньшей мере одного романа, а некоторые, как, например, царствование Людовика XIV, Генриха IV, Франциска I,— даже четырех-пяти романов. Вместо тягучего повествования о событиях, всем уже известных, вы создадите живописную историю Франции и, изображая костюмы, утварь, здания, внутреннее их убранство, домашнюю жизнь, воссоздадите дух эпохи. От вас зависит стать самобытным, рассеяв общепринятые заблуждения, искажающие образ большинства наших королей. Дерзните в первом же вашем произведении восстановить величественный и яркий образ Екатерины Медичи, которую вы принесли в жертву предрассудкам, еще тяготеющим над нею. Наконец покажите Карла IX таким, каким он был в самом деле, а не таким, каким его изобразили протестантские писатели. После десяти лет упорного труда вы достигнете славы и богатства.

Было уже девять. Люсьен, следуя тайному примеру своего будущего друга, предложил ему отобедать у Эдона и истратил там двенадцать франков. Пока они обедали, Даниель открыл Люсьену сущность своих занятий и надежд. Д'Артез не допускал, чтобы выдающийся талант мог обойтись без глубокого знания философии. В настоящее время он был занят тем, что усваивал богатое наследие философии древних и новых времен. Так же, как Мольер, прежде чем писать комедии, Даниель хотел сделаться глубоким философом. Он изучал жизнь по книгам и жизнь живых людей, мысли и события. Среди его друзей были ученые-натуралисты, молодые врачи, политические писатели, художники — целое общество тру-

долюбивых, вдумчивых людей с большим будущим. Он существовал на гонорар за добросовестные и плохо оплачиваемые статьи для словарей библиографических, энциклопедических или естественноисторических; он писал ровно столько, чтобы иметь возможность жить и осуществлять намеченную им цель. Д'Артез начал писать произведение, исполненное вымысла, исключительно для того, чтобы изучить изобразительные средства языка. Книга не была еще окончена; то принимаясь за нее, то вновь бросая, он оставлял ее на дни душевного упадка. То было произведение психологическое, широкого охвата, в форме романа. Несмотря на то, что Даниель держал себя очень скромно, Люсьену он все же представлялся гигантом. В одиннадцать часов, когда они выходили из ресторана, Люсьен уже чувствовал горячую дружбу к этой добродетели, чуждой напыщенности, к этой возвышенной натуре, не сознающей своего величия. Поэт не оспаривал советов Даниеля, он следовал им буквально. Прекрасный талант д'Артеза, созревший под влиянием уединенных размышлений и критики, предназначенной не для других, но для себя одного, внезапно распахнул перед Люсьеном дверь в великолепные чертоги фантазии. Пылающий уголь коснулся уст провинциала, и слово парижского труженика нашло в душе ангулемского поэта подготовленную почву. Люсьен принялся за исправление своего романа. Встретив в пустыне Парижа родственное сердце, исполненное великодушных чувств, великий человек из провинции повел себя так, как ведут себя все молодые люди, жаждущие любви: он привязался к д'Артезу, как хроническая болезнь; он заходил за ним, чтобы идти в библиотеку, в хорошую погоду гулял с ним в Люксембургском саду и, пообедав вместе с ним у Фликото, каждый вечер провожал его до его бедного жилища; словом, он жался к нему, как жались друг к другу французские солдаты в снежных российских равнинах. В первые же дни знакомства с Даниелем Люсьен заметил не без горечи, что его присутствие стесняет друзей, собиравшихся у д'Артеза: разговоры этих избранных существ, о которых д'Артез говорил с таким восторгом, отличались сдержанностью, вопреки явным признакам их тесной дружбы. Люсьен незаметно уходил, мучась этим невольным изгнанием, а также любо-

пытством, которое возбуждали в нем эти неизвестные ему люди, называвшие друг друга запросто, по именам. Все они, как и д'Артез, были отмечены печатью высоких дарований. Наконец Даниель, без его ведома, преодолел их тайное недоброжелательство к Люсьену, и поэт был признан достойным вступить в это Содружество возвышенных умов. Теперь Люсьен мог ближе узнать людей, собиравшихся почти каждый вечер у д'Артеза и связанных горячей дружбой, серьезностью умственных запросов. В д'Артезе все они предугадывали крупного писателя и считали его своим вождем, с тех пор как их покинул один из необычайнейших людей современности, гений с мистическим уклоном, их первый вождь, воротившийся к себе в провинцию по причинам, говорить о которых здесь излишне, но в их разговорах нередко упоминалось его имя: *Луи*. Нетрудно понять, какое участие и какое любопытство могли возбуждать в поэте его новые друзья, стоит лишь рассказать о тех, которые, подобно д'Артезу, успели достигнуть славы; но многие из них погибли слишком рано.

Среди тех, кто жив еще и поныне, был Орас Бьяншон, в ту пору студент-медик, практикант при больнице Отель-Дье, в будущем одно из светил парижской Медицинской школы и слишком известный сейчас, чтобы надо было описывать его наружность, характер, склад ума. Затем Леон Жиро, глубокий философ, смелый теоретик, который пересматривает все философские системы, судит их, излагает в ясной форме и несет к подножию своего кумира — *Человечества*. Великий во всем, даже в заблуждениях, всегда честных и потому благородных, этот неутомимый труженик и добросовестный ученый стал главой этико-политической школы; однако только время может дать ей настоящую оценку. Хотя убеждения направили его в области, чуждые его товарищам, все же он остался их верным другом. Искусство было представлено Жозефом Бридо, одним из лучших живописцев молодой школы. Если бы не его чересчур впечатлительная натура, обрекавшая его на тайные страдания, Жозеф, впрочем, не сказавший еще последнего слова, мог бы стать преемником великих итальянских мастеров: у него рисунок римской школы и венецианский колорит, но его губит любовь, нанося раны не только в сердце,—

она вонзает свои стрелы в его мозг, она вносит расстройство в его жизнь, бросает из одной крайности в другую. Смотря по тому, счастлив он или несчастлив в своей мимолетной любви, Жозеф посылает на выставку то этюды, где сила цвета преобладает над рисунком, то картины, завершенные под гнетом мнимых огорчений, когда он увлекается только рисунком, забыв о цвете, хотя владеет им вполне. Он то и дело обманывает ожидания друзей и публики. От его смелых поисков в области искусства, от его причуд, от богатства его фантазии был бы без ума Гофман. Если наиболее совершенные его вещи вызывают восхищение, он сам упивается своей удачей, но тут же начинает тревожиться о том, что его не восхваляют за другие картины, где он своим духовным взором видит то, что недоступно постороннему глазу. Жозеф в высшей степени своенравен: как-то в присутствии друзей он уничтожил законченную уже картину, находя ее чересчур «записанной».

— Уж очень разделана,— сказал он,— слишком поученически!

Он самобытен и порою непостижим, ему присущи все бедственные и все счастливые свойства нервных натур, у которых жажда совершенства становится болезнью. По уму он родной брат Стерна, но без его писательского дара. Остроты его, игра мысли — неподражаемы. Он красноречив и умеет любить, но в чувствах так же своенравен, как и в творчестве. В Содружестве его любили как раз за то, что мещане назвали бы его недостатками. Наконец, Фюльжанс Ридаль — писатель, один из самых вдохновенных юмористов; он, как поэт, беспечный к славе, швыряет на театральные подмостки лишь самые заурядные свои произведения и бережет лучшие сцены в серале своего мозга для себя и для друзей. Он берет от публики лишь столько денег, сколько необходимо для независимого существования, и, получив их, перестает работать. Плодовитый и ленивый, как Россини, Ридаль, подобно всем великим комическим поэтам, подобно Мольеру и Рабле, привык в любом явлении рассматривать все *за* и *против;* поэтому он был скептиком, он умел смеяться, и смеялся надо всем. Фюльжанс Ридаль — великий философ обыденной жизни. Знание света, дар наблюдательности, презрение к славе, к *мишуре,* как он говорит,

не иссушили его сердца. Столь же равнодушный к собственным интересам, сколь отзывчивый к чужим, он принимался действовать только ради друга. В полном согласии с духом Рабле, он любит хорошо поесть, но и не слишком за этим гонится. Он меланхолик и в то же время весельчак. Друзья зовут его *наш полковой пес*, и ничто лучше не обрисует его, как это прозвище. Трое остальных членов Содружества, не менее выдающихся, нежели эти четверо, чьи силуэты здесь показаны, сошли в могилу один вслед за другим: раньше всех умер Мэро, который вызвал знаменитый спор между Кювье и Жоффруа Сент-Илером, двумя равными гениями, и этой важной проблеме суждено было разделить ученый мир на два лагеря незадолго до смерти первого из них, аналитика, того, кто отстаивал ограниченное знание против пантеиста и поныне здравствующего и высокочтимого в Германии. Мэро был другом Луи, которого вскоре безвременная смерть похитила из мира умственной деятельности. К этим двум избранникам смерти, теперь забытым, несмотря на огромную широту их дарования и знаний, надобно причислить Мишеля Кретьена, республиканца большого размаха, мечтавшего об европейской федерации и в 1830 году игравшего большую роль в движении сен-симонистов. Политический деятель, по силе равный Сен-Жюсту и Дантону, но простодушный и кроткий, словно девушка, мечтатель, преисполненный любви, одаренный мелодичным голосом, который очаровал бы Моцарта, Вебера или Россини, он так певал иные песни Беранже, что сердце преисполнялось поэзии, любви и надежды. Мишель Кретьен, такой же нищий, как Даниель и Люсьен, как все его друзья, жил с диогеновской беспечностью. Он составлял указатели к большим сочинениям, проспекты для книгопродавцев, но о политических своих учениях молчал, как могила молчит о тайнах смерти. Этот веселый представитель ученой богемы, этот великий государственный человек, который мог бы преобразить облик общества, пал у стен монастыря Сен-Мерри, как простой солдат. Пуля какого-то лавочника сразила одно из благороднейших созданий, когда-либо существовавших на французской земле. Мишель Кретьен погиб не за свои идеи. Федерация, которую проповедовал Кретьен, представляла для аристократии Европы

более грозную опасность, чем республиканская пропаганда; она была более целесообразна и менее безрассудна, нежели страшные и туманные идеи свободы, провозглашенные юными безумцами, которые считают себя наследниками Конвента. Этого благородного плебея оплакивали все, кто знал его, и нет среди них ни одного, кто бы не вспоминал об этом великом, но безвестном политическом деятеле.

Эти девять человек образовали Содружество, где уважение и приязнь установили мир среди самых противоположных учений и идей. Даниель д'Артез, пикардийский дворянин, был таким же убежденным приверженцем монархии, как Мишель Кретьен — убежденным сторонником европейской федерации. Фюльжанс Ридаль смеялся над философскими доктринами Леона Жиро, который в свою очередь предсказывал д'Артезу крушение христианства и распад семьи. Мишель Кретьен, исповедовавший учение Христа, божественного основоположника Равенства, защищал бессмертие души от скальпеля Бьяншона, истого аналитика. Они обсуждали, но не осуждали. Тщеславие было им чуждо, потому что они были и ораторами и слушателями одновременно. Они поверяли друг другу свои труды и с милым юношеским чистосердечием спрашивали дружеского совета. И если вопрос стоял серьезно, тогда возражавший забывал о своих мнениях, чтобы войти в круг понятий друга и оказать помощь, тем более успешную, что он мог быть беспристрастен к произведению или вопросу, находившемуся вне сферы занимавших его мыслей. Мягкость и терпимость — качества, свидетельствующие о благородстве души,— были присущи почти каждому из них. Зависть, этот страшный дар наших обманутых надежд, наших погибших талантов, наших недостигнутых успехов, наших отвергнутых притязаний, была им незнакома. К тому же все они шли различными путями. Поэтому любой человек, принятый, как и Люсьен, в их общество, чувствовал себя легко. В истинном таланте всегда все просто, открыто, он чист и чужд самомнения, его эпиграмма приятно волнует ум, никогда не бьет по самолюбию. Как только исчезало первое благоговейное волнение, новичок чувствовал неизъяснимую отраду в обществе этих избранных молодых людей. Дружеские от-

ношения не исключали сознания собственного достоинства, глубокого уважения к своему соседу; наконец, каждый понимал, что может оказаться и благодетелем и должником другого, поэтому все принимали взаимные услуги, не стесняясь. Беседы, непринужденные и увлекательные, касались самых разнообразных тем. Слова, меткие, как стрелы, легко слетали с уст и проникали в глубь сердец. Крайняя скудость их жизни и великолепие умственных сокровищ являли разительное противоречие. Здесь вспоминали о жизненных невзгодах только тогда, когда они давали повод для дружеской шутки. Однажды ранней осенью выдался морозный день; одна и та же мысль осенила друзей д'Артеза: все пятеро зашли к нему и под плащами принесли дрова,— произошло то, что случается на загородных прогулках, где каждый участник обязан принести какое-нибудь блюдо, и все приходят с пирогами. В друзьях чувствовалась та внутренняя красота, что проявляется и во внешности и, наравне с трудами и бессонными ночами, налагает на лица дивный отпечаток, подобный блеску золота. Непорочность жизни и пламень мысли придавали их чертам, несколько неправильным, правильность и чисто-

ту. Поэтически высокий лоб говорил сам за себя. Живые, ясные глаза свидетельствовали о безупречной жизни. Когда лишения давали себя знать, молодые люди переносили их так весело и так дружно, так мужественно боролись с ними, что и лишения не омрачали ясного выражения их лиц, свойственного юношам, которые еще не ведают настоящих грехов, еще не унизили себя сделками с совестью, заключенными из малодушия перед нуждой, или из стремления возвыситься любыми средствами, или же по той покладистой снисходительности, с какою литераторы воспринимают всякие измены. Чувство уверенности, которого не знает любовь, скрепляет дружбу и увеличивает ее прелесть. У этих молодых людей была уверенность друг в друге: каждый пожертвовал бы самыми насущными своими интересами ради священного единства их сердец, враг одного становился врагом их всех. Не способные ни на какую низость, они могли любому обвинению противопоставить грозное «нет!» и смело защищать друг друга. Равно благородные сердцем и равной силы в вопросах чувств, они могли сво-

бодно мыслить и свободно говорить, ибо они жили в области науки и разума; отсюда искренность их отношений и живость речей. В уверенности, что каждое слово будет правильно понято, их мысль витала свободно; поэтому их отношения были просты, они поверяли друг другу и горести и радости, они думали и чувствовали от полноты сердца. Обаятельная чуткость, обратившая басню «Два друга» в сокровище для возвышенных душ, была им свойственна. Взыскательность, с которой они принимали в свою среду нового человека, была понятна: они слишком хорошо сознавали свое величие и были слишком счастливы друг другом, чтобы вводить в Содружество людей новых и неиспытанных.

Эта федерация чувств и интересов существовала без столкновений и разочарований в продолжение двадцати лет. Только смерть, вырвавшая из их среды Луи Ламбера, Мэро и Мишеля Кретьена, могла разлучить эту доблестную плеяду. В 1832 году, когда Мишель Кретьен погиб, Орас Бьяншон, Даниель д'Артез, Леон Жиро, Жозеф Бридо, Фюльжанс Ридаль пошли за его телом в Сен-Мерри, несмотря на опасность такого поступка в годы политических бурь, и отдали ему последний долг. Они ночью проводили дорогие останки на кладбище Пер-Лашез. Орас Бьяншон устранил все препятствия, не уклонившись ни от одного; он ходатайствовал перед министрами, сознавшись им в давней дружбе с погибшим федералистом. Трогательная сцена погребения запечатлелась в памяти немногочисленных друзей, которые сопровождали пятерых знаменитостей. Прогуливаясь по этому нарядному кладбищу, вы заметите зеленый холмик могилы с черным деревянным крестом, на котором красными буквами начертано: «Мишель Кретьен». Памятник примечательный. Друзья, купившие это место на вечные времена, решили, что именно простотой должно почтить память того, кто сам был прост.

Итак, в этой холодной мансарде осуществлялись прекраснейшие мечтания чувств. Там братья, одинаково сильные каждый в своей области, просвещали друг друга и чистосердечно высказывали все, даже самые дурные мысли; все они были люди глубоких знаний и закалены в горниле нужды. Принятый в среду этих избранных существ и признанный равным, Люсьен в их кру-

гу представлял поэзию и красоту. Он прочел им сонеты, вызвавшие восторг. Его просили прочесть сонет, как он сам просил Мишеля Кретьена спеть песню. Среди пустыни Парижа Люсьен обрел наконец оазис в улице Катр-Ван.

В начале октября Люсьен, истратив последние деньги на дрова, остался без средств в самый разгар работы над исправлением своего романа. Даниель д'Артез топил торфом камин и стоически переносил нищету: он никогда не жаловался, был аккуратен, как старая дева, и настолько педантичен, что порою казался скупым. Мужество д'Артеза воодушевляло Люсьена; он был новым членом Содружества, и признаться в своей отчаянной нужде было для него невыносимо. Однажды утром он пошел в улицу Дюкок, чтобы продать своего «Лучника Карла IX», но не застал Догро. Люсьен не знал, как снисходительны великие умы. Слабости, свойственные поэтам, упадок духа, наступающий вслед за напряжением души, взволнованной созерцанием натуры, которую они призваны воспроизвести,— все это было понятно его друзьям. Эти люди, такие стойкие в личных несчастьях, принимали близко к сердцу огорчения Люсьена. Они угадали, что он нуждается в деньгах. И тихие вечера дружеской беседы, глубоких размышлений, поэзии, признаний, вдохновенных полетов в области мысли, в грядущее народов, в прошлое истории кружок увенчал поступком, показавшим, как мало Люсьен знал своих друзей.

— Люсьен, друг мой,— сказал ему Даниель,— ты вчера не пришел к Фликото, и мы знаем, почему.

Люсьен не мог удержать слез, и они полились по его щекам.

— Ты не откровенен с нами,— сказал Мишель Кретьен,— мы сделали пометку крестиком на камине, и, когда дойдет до десяти...

— Неожиданно,— сказал Бьяншон,— нам всем представилась работа: я вместо Деплена дежурил у больного богача; д'Артез написал статью для «Энциклопедического обозрения»; Кретьен уже было собрался исполнять свои песенки в Елисейских полях, с платком и с четырьмя свечами, но ему заказал брошюру какой-то господин, пожелавший подвизаться на политическом

поприще, и Мишель отпустил ему на шестьсот франков Макиавелли; Леон Жиро занял пятьдесят франков у своего издателя. Жозеф продал эскизы, а в воскресенье шла пьеса Фюльжанса, и зал был полон.

— Вот двести франков,— сказал Даниель,— получай и впредь не греши.

— Пожалуй, он еще бросится к нам в объятия, точно мы невесть что для него сделали! — сказал Кретьен.

Чтобы понять, какое блаженство испытывал Люсьен среди этой живой энциклопедии возвышенных умов, среди молодых людей, украшенных различными дарами, которые каждый извлекал из своей науки, достаточно привести письма, полученные Люсьеном на следующий день от его близких в ответ на страшный крик, исторгнутый у него отчаянием:

«Давид Сешар Люсьену.

Милый Люсьен, прилагаю к письму вексель на твое имя на сумму двести франков, сроком на три месяца. Ты можешь учесть его у г-на Метивье, бумаготорговца, нашего парижского поставщика — улица Серпант. Люсьен, дорогой мой! У нас решительно ничего нет. Жена моя ведает теперь делами типографии и выполняет свою работу с такой самоотверженностью, терпением и энергией, что я благословляю небо, пославшее мне в жены этого ангела. Она сама убедилась в невозможности оказать тебе какую-либо помощь. Но, друг мой, ты стоишь на столь прекрасном пути, тебе сопутствуют сердца столь благородные и великодушные, что, я думаю, ты не уклонишься от прекрасного призвания при поддержке таких, почти божественных умов, как господа Даниель д'Артез, Мишель Кретьен и Леон Жиро, и следуя советам господ Мэро, Бьяншона и Ридаля, с которыми твое письмо нас познакомило.

Я подписал этот вексель без ведома Евы и найду способ выкупить его в срок. Не отступай от своего пути: он тернист, но ведет к славе. Я предпочту претерпеть тысячи бед, только бы знать, что тебя не засосало какое-нибудь парижское болото. Имей мужество и впредь избегать пагубных мест, злых людей, ветрениковв и литераторов известного разбора, которым я узнал истинную цену, живя в Париже.

Одним словом, будь достойным соперником этих возвышенных душ, которые благодаря тебе стали и мне дороги. Ты скоро будешь вознагражден за свое поведение. Прощай, возлюбленный брат мой! Ты восхитил мое сердце, я не ожидал от тебя такого мужества.

Давид».

«Ева Сешар Люсьену.

Мой друг, мы плакали, читая твое письмо. Пусть же знают эти благородные сердца, к которым направил тебя добрый ангел, что некая мать и некая бедная молодая женщина утром и вечером будут молить за них бога, и, если горячие молитвы доходят до его престола, он ниспошлет всем вам свои милости. Да, брат мой, их имена врезаны в мое сердце. О! Я когда-нибудь их увижу; я встречусь с ними, хотя бы пришлось идти пешком, чтобы поблагодарить их за дружбу к тебе, ибо она точно пролила бальзам на мои свежие раны. Мы, друг мой, работаем здесь, как чернорабочие. Мой муж, этот безвестный великий человек, которого я с каждым днем все больше люблю, открывая все новые сокровища его сердца, забросил типографию, и я догадываюсь, почему: твоя бедность, наша бедность, бедность нашей матери его убивает. Нашего обожаемого Давида, как Прометея, терзает коршун — черная тоска с острым клювом. Что касается его самого, этот благородный человек совсем не заботится о себе, он уповает на удачу. Все дни он посвящает опытам, изыскивая дешевое сырье для выделки бумаги; он просил меня заняться вместо него делами и помогает мне по мере возможности. Увы! Я беременна. Событие, которое в другое время исполнило бы нас радости, огорчает меня в том положении, в котором мы все находимся. Наша мать точно помолодела, она нашла силы вернуться к тяжелой работе сиделки. Если бы не заботы о деньгах, мы были бы счастливы. Старик Сешар не желает дать сыну ни лиара: Давид ходил к нему, надеясь занять хоть немного денег, чтобы помочь тебе, ибо твое письмо повергло его в отчаяние. «Я знаю Люсьена, он потеряет голову и натворит глупостей»,— сказал он. Я его побранила. «Чтобы мой брат не исполнил своего долга! — отвечала я ему.— Люсьен знает, что я умерла бы от горя». Мы с матушкой, без ведома

Давида, заложили кое-какие вещи; матушка выкупит их, как только получит деньги. Таким путем мы достали сто франков, которые и посылаем тебе с дилижансом. Не сетуй на меня, друг мой, что я не отвечала на твое первое письмо. Нам приходилось так тяжко, что случалось не спать по ночам, я работала, как мужчина. Ах! Я не думала, что у меня достанет силы. Госпожа де Баржетон— женщина бездушная и бессердечная: даже разлюбив тебя, она обязана была, ради себя самой, оказать тебе покровительство и помощь, ведь она вырвала тебя из наших объятий и бросила в это ужасное парижское море, где только по милости божьей можно встретить истинную дружбу в потоке людей и интересов. О ней жалеть не стоит! Моя мечта, чтобы подле тебя была преданная женщина, мой двойник; но теперь, когда я знаю, что ты в кругу друзей, родственных нам по их чувствам к тебе, я спокойна. Расправь свои крылья, мой любимый, мой прекрасный гений! Ты — наша любовь, ты будешь нашей славой!

Ева».

«Мое милое дитя, после того, что написала тебе сестра, мне остается только благословить тебя и сказать, что мои молитвы и мои мысли — увы! — полны только тобою, в ущерб тем, кто живет со мной: ибо есть сердца, которые отсутствующих не судят, и таково сердце

твоей матери».

Итак, дня два спустя Люсьен мог возвратить друзьям столь участливо предложенную ими ссуду. Никогда, пожалуй, жизнь не казалась ему такой прекрасной, но его самолюбивый порыв не ускользнул от внимательных взоров и тонкой чувствительности его друзей.

— Можно подумать, что ты боишься остаться у нас в долгу! — вскричал Фюльжанс.

— Да, его радость говорит о многом,— сказал Мишель Кретьен.— Мои наблюдения подтверждаются: Люсьен тщеславен.

— Он поэт,— сказал д'Артез.

— Неужели вы порицаете меня за чувство, столь естественное?

— Люсьен заслуживает снисхождения: ведь он не лукавил,— сказал Леон Жиро.— Он все же откровенен, но боюсь, что впредь он будет нас остерегаться.

— Почему? — спросил Люсьен.

— Мы читаем в твоем сердце,— отвечал Жозеф Бридо.

— В тебе заложен сатанинский дух,— сказал Мишель Кретьен,— ты в своих собственных глазах оправдываешь поступки, противные нашим взглядам; вместо того чтобы быть софистом в идеях, ты будешь софистом в действии.

— Боюсь, что это так,— сказал д'Артез.— Люсьен, ты станешь вести споры с самим собою, достойные восхищения, и в этом ты достигнешь совершенства, но завершится все это недостойными поступками... Ты никогда не придешь к согласию с самим собою.

— На чем основано ваше обвинение? — спросил Люсьен.

— Твое тщеславие, мой милый поэт, столь велико, что ты влагаешь его даже в дружбу! — вскричал Фюльжанс.— Подобное тщеславие обличает чудовищное себялюбие, а себялюбие — яд для дружбы.

— О боже мой! — вскричал Люсьен.— Стало быть, вы не знаете, как я вас люблю?

— Если бы ты нас любил, как мы любим друг друга, неужели ты стал бы возвращать нам так поспешно и торжественно то, что мы предложили тебе с такой радостью?

— Здесь не дают взаймы, а просто дают,— резко сказал Жозеф Бридо.

— Не думай, что мы жестоки, милый мальчик,— сказал ему Мишель Кретьен.— Мы прозорливы. Мы опасаемся, что ты когда-нибудь предпочтешь утехи мелкой мстительности радостям нашей дружбы. Прочти Гетева «Тассо», величайшее творение этого прекрасного гения, и ты увидишь, что поэт любит драгоценные ткани, пиршества, триумфы, блеск. Что ж! Будь Тассо, но без его безумств. Свет и его соблазны манят тебя? Останься здесь... Перенеси в область идей все то, чего алчет твоя суетность. Безумство за безумство! Вноси добродетель в поступки и порок в мысли, вместо того чтобы, как сказал тебе д'Артез, мыслить возвышенно, а поступать дурно.

Люсьен опустил голову: друзья были правы.

— Признаюсь, я не так силен, как вы,— сказал он, окинув их чарующим взглядом.— Не моим плечам выдержать Париж, и не мне мужественно бороться. Природа наделила нас различными натурами и способностями, и вам лучше, чем кому-либо, знакома изнанка пороков и добродетелей. А я, признаюсь вам, уже устал.

— Мы поддержим тебя,— сказал д'Артез.— Разве не в этом долг верной дружбы?

— Полноте! Помощь, которую я только что получил, временная, и мы все одинаково бедны. Нужда опять станет угнетать меня. Кретьен берет заказы от первого встречного, он не знаком с издателями. Бьяншон — вне этого круга интересов. Д'Артез знает лишь издателей научных и специальных трудсв, они не имеют никакого влияния на издателей литературных новинок. Орас, Фюльжанс Ридаль и Бридо работают в области, отстоящей на сто лье от издательских дел. Я должен принять решение.

— Решись, как и мы, страдать! — сказал Бьяншон.— Страдать мужественно и полагаться на труд.

— То, что для вас только страдание, для меня — смерть,— с горячностью сказал Люсьен.

— Прежде, нежели трижды пропоет петух,— сказал, улыбаясь, Леон Жиро,— этот человек отречется от труда и предастся праздности и парижским порокам.

— Куда же вас привел труд? — смеясь, сказал Люсьен.

— На полпути из Парижа в Италию еще не спрашивай, где Рим! — сказал Жозеф Бридо.— Ты ожидаешь какой-то манны небесной.

— Манна небесная достается лишь первенцам пэров Франции,— сказал Мишель Кретьен.— Но мы должны и посеять и собрать жатву и находим, что так полезнее.

Разговор принял шутливый оборот и перешел на другие темы. Эти прозорливые умы, эти нежные сердца старались, чтобы Люсьен позабыл размолвку, но он с тех пор понял, как трудно их обмануть. Вскоре его душу опять охватило отчаяние, но он таил свои чувства от друзей, почитая их неумолимыми наставниками. Его южный темперамент, столь легко пробегающий по кла-

виатуре чувств, побуждал его принимать самые противоречивые решения.

Не раз он высказывал желание взяться за газетную работу, и друзья неизменно отвечали ему:

— Остерегись!

— Газета будет могилой нашего милого, нашего прекрасного Люсьена, которого мы знаем и любим,— сказал д'Артез.

— Ты не устоишь против постоянной смены забав и труда, обычной в жизни журналиста, а стойкость — основа добродетели. Ты будешь так упоен своей властью, правом обрекать на жизнь и на смерть творения мысли, что месяца через два обратишься в настоящего журналиста. Стать журналистом — значит стать проконсулом в литературной республике. «Кто может все сказать, тот может все сделать!» — изречение Наполеона. И он прав.

— Но разве вас не будет подле меня? — сказал Люсьен.

— Нет! — воскликнул Фюльжанс.— Став журналистом, ты будешь думать о нас не больше, чем блистательная, избалованная балерина, развалясь в обитой шелком карете, думает о родной деревне, коровах и сабо. У тебя все качества журналиста: блеск и легкость мысли. Ты никогда не пренебрежешь остротой, хотя бы от нее пришлось плакать твоему другу. Я вижу журналистов в театральных фойе, они наводят на меня ужас. Журналистика — настоящий ад, пропасть беззакония, лжи, предательства; выйти оттуда чистым может только тот, кого, как Данте, будет охранять божественный лавр Вергилия.

Чем упорнее друзья препятствовали Люсьену вступить на путь журналистики, тем сильнее желание изведать опасность побуждало его отважиться на этот шаг, и он повел спор с самим собою: и впрямь, не смешно ли дозволить нужде еще раз одолеть его, застигнув врасплох, все таким же беззащитным? Обескураженный неудачной попыткой издать свой первый роман, Люсьен вовсе не спешил взяться за второй. К тому же на что жить, покамест он будет писать роман? Месяц нужды исчерпал запас его терпения. И разве нельзя внести достоинство в профессию, которую оскверняют журналисты, лишенные совести и достоинства? Друзья оскорб-

ляют его своим недоверием, он желает доказать им силу своего духа. Может быть, и он когда-нибудь окажет им помощь, станет глашатаем их славы!

— Притом какая же это дружба, если она боится соучастия? — спросил он однажды вечером Мишеля Кретьена, провожая его домой вместе с Леоном Жиро.

— Мы ничего не боимся,— отвечал Мишель Кретьен.— Если бы ты, к несчастью, убил свою возлюбленную, я бы помог тебе скрыть преступление и не перестал бы тебя уважать; но если я узнаю, что ты шпион, я убегу от тебя в ужасе, потому что подлость и трусость будут возведены тобой в систему. Вот в двух словах сущность журналистики. Дружба прощает проступок, необдуманное движение страсти, но она неумолима, ежели речь идет о торговле совестью, умом и мыслью.

— Но разве я не могу стать журналистом затем только, чтобы продать мой сборник стихов и роман и тотчас же бежать из газеты?

— Макиавелли так и поступил бы, но не Люсьен де Рюбампре,— сказал Леон Жиро.

— Ну, что ж! — вскричал Люсьен.— Я докажу, что стою Макиавелли.

— Ах! — вскричал Мишель, сжимая руку Леона.— Ты его погубил! Люсьен,— сказал он,— у тебя триста франков, ты можешь прожить спокойно три месяца; что ж, трудись, напиши второй роман. Д'Артез и Фюльжанс помогут тебе создать план. Ты приобретешь опыт, станешь настоящим романистом. А я проникну в один из этих *лупанариев мысли*, я сделаюсь на три месяца журналистом, продам твои книги какому-нибудь издателю, сперва разбранив его издания, я напишу статьи, я добьюсь хороших отзывов о тебе; мы создадим тебе успех, ты будешь знаменитостью и останешься нашим Люсьеном.

— Однако как ты меня презираешь, если думаешь, что я погибну там, где сам ты надеешься уцелеть! — сказал поэт.

— Прости ему, господи, ведь он младенец! — вскричал Мишель Кретьен.

Изощрив свой ум в долгие вечера, проведенные у д'Артеза, Люсьен принялся изучать статьи и зубоскальство мелких газет. Уверенный, что он по меньшей мере

окажется равным самым остроумным журналистам, он тайно упражнялся в этой гимнастике мысли и однажды утром вышел из дому с горделивым замыслом предложить свои услуги одному из командиров летучих отрядов прессы. Он оделся в самое приличное платье и отправился на правый берег Сены, рассчитывая, что писатели и журналисты, будущие его соратники, окажут ему более ласковый и великодушный прием, нежели те издатели, по вине которых разбились его надежды. Он встретит сочувствие, добрую и нежную привязанность в духе той дружбы, которую ему дарил кружок в улице Катр-Ван. Волнуемый предчувствиями, столь милыми людям с живым воображением, и оспаривая их, он вступил в улицу Сен-Фиакр, близ бульвара Монмартр, и остановился перед домом, где помещалась редакция маленькой газетки; вид этого дома привел юношу в трепет, точно он входил в какой-то вертеп. И все же он вошел в редакцию, помещавшуюся в антресолях. В первой комнате, разделенной надвое перегородкой, снизу дощатой, сверху решетчатой, упиравшейся в потолок, он увидел однорукого инвалида, который единственной своей рукой поддерживал на голове несколько стоп бумаги, а в зубах держал налоговую книжку управления гербовыми сборами. Этот бедняга, прозванный *Тыквой* ввиду сходства его лица с этим плодом,— такое оно было желтое и усеянное багровыми бородавками,— указал Люсьену на газетного цербера, восседавшего за перегородкой. То был отставной офицер с орденской ленточкой в петлице, кончик его носа утопал в седине усов, черная шапочка прикрывала его голову, выступавшую из просторного синего сюртука, точно голова черепахи из-под ее панциря.

— С какого числа вам угодно подписаться? — спросил его этот офицер времен Империи.

— Я пришел не ради подписки,— отвечал Люсьен.

Поэт увидел на двери, против входа, дощечку с надписью: *Редакция*, и ниже: *Посторонним вход воспрещается.*

— Стало быть, опровержение? — продолжал наполеоновский солдат.— О, да! Мы сурово обошлись с Марьеттой. Что поделаешь! Я и сам не знаю, в чем тут причина. Но, если вы потребуете удовлетворения, я го-

тов,— прибавил он, взглянув на рапиры и пистолеты, это оружие современного рыцарства, развешанное в углу комнаты.

— Отнюдь нет, сударь... Я желал бы поговорить с главным редактором.

— Раньше четырех здесь нє бывает никого.

— Послушайте-ка, старина Жирудо, я насчитал одиннадцать столбцов; мне полагается по сто су за столбец — это составит пятьдесят пять франков; я же получил сорок; стало быть, вы мне должны еще пятнадцать франков, как я и говорил...

Эти слова исходили из уст тщедушного и невзрачного молодого человека с лицом прозрачным, как белок яйца, сваренного всмятку, с нежно-голубыми, но страшно лукавыми глазами, выглядывавшего из-за плеча отставного военного, который своим плотным корпусом скрывал его. Люсьен похолодел, услышав этот голос: в нем сочеталось мяуканье кошки с астматической одышкой гиены.

— Те-те-те! Храбрый новобранец,— отвечал отставной офицер.— Да ведь вы считаете и заголовки и пробелы, а мне Фино отдал приказ подсчитывать только полные строчки и делить их на число строк, полагающихся в столбце. Когда я над вашей статьей произвел эту ущемляющую операцию, я выгадал три столбца.

— Он не платит за пробелы, вот арап! А своему компаньону, видите ли, все сплошь оплачивает под тем или иным предлогом. Поговорю-ка я с Этьеном Лусто, с Верну...

— Не смею нарушать приказ, голубчик,— сказал офицер.— Фу ты! Из-за пятнадцати франков вы бунтуете против своего кормильца! Да ведь вам написать статью проще, чем мне выкурить сигару! Полноте! Не угостите лишний раз друзей бокалом пунша или выиграете лишнюю партию на бильярде, вот и все!

— Фино вытягивает из нас каждое су, но это ему дорого обойдется,— отвечал сотрудник; он встал и вышел.

— Ну чем он не Вольтєр и не Руссо? — буркнул кассир, посмотрев на провинциального поэта.

— Сударь,— продолжал Люсьен,— так я зайду в четыре.

Покамест шел спор, Люсьен рассматривал висевшие по стенам вперемежку с карикатурами на правительство портреты Бенжамена Констана, генерала Фуа и семнадцати прославленных ораторов либеральной партии. Взор его приковывала дверь святилища, где, видимо, составлялся этот листок, потешавший его каждое утро, пользовавшийся правом вышучивать королей и важные государственные события, короче, не щадить ничего ради острот. Он пошел бродить по бульварам: удовольствие совсем новое для него и столь увлекательное, что он и не вспомнил о завтраке, а между тем стрелки часов в часовых магазинах уже подвинулись к четырем. Поэт поспешно воротился в улицу Сен-Фиакр, взбежал по лестнице, распахнул дверь: старого воина там не было, только инвалид восседал на листах проштемпелеванной бумаги и жевал корку хлеба; он стоял на посту у газеты так же покорно, как прежде стоял на часах, не рассуждая, как не рассуждал во время походов, маршируя по приказу императора. Люсьену пришла отважная мысль обмануть этого грозного служаку: он, не снимая шляпы, прошел мимо него и, точно был здесь своим человеком, отворил двери в святая святых. Его жадным взорам предстал круглый стол, покрытый зеленым сукном, и шесть стульев вишневого дерева с плетеными новенькими еще сиденьями. Паркетный пол не был натерт, но его чистота свидетельствовала о том, что посетители были здесь довольно редким явлением. На камине он увидел зеркало, дешевые часы, покрытые пылью, два подсвечника о двух свечах, небрежно вставленных, наконец визитные карточки, разбросанные повсюду. На столе вокруг чернильницы с высохшими чернилами, напоминавшими лак, и украшенной целым веером из перекрученных перьев, валялись старые газеты. На листках скверной бумаги он увидел несколько статей, написанных неразборчиво, почти иероглифами, надорванных сверху типографскими рабочими в знак того, что статья набрана. Потом он полюбовался на карикатуры, валявшиеся там и тут, довольно остроумные, нарисованные на обрывках серой бумаги людьми, без сомнения убивавшими все, что подвертывалось под руку, лишь бы убить время. На блекло-зеленоватых обоях были приколоты булавками девять рисунков пером — шаржи на «От-

шельника», книгу, пожинавшую неслыханный успех в Европе, но, видимо, достаточно наскучившую журналистам: «*Отшельник* пленяет провинциальных дам». «*Отшельника* читают в замке». «Влияние *Отшельника* на домашних животных». «В популярном изложении *Отшельник* стяжает блестящий успех у дикарей». «Автор *Отшельника* подносит богдыхану в Пекине свой труд, переведенный на китайский язык». «Элоди, лишенная чести на Дикой горе». Последняя карикатура показалась Люсьену весьма непристойной, но он невольно улыбнулся. «Торжественное шествие *Отшельника*, под балдахином, по редакциям газет». «*Отшельник* печатный станок сокрушает, Медведей убивает». «*Отшельник*, прочитанный наоборот, восхищает академиков возвышенными красотами». На газетной бандероли Люсьен заметил рисунок, изображавший человека со шляпой в протянутой руке, и подпись: *Фино, дай мне сто франков!* Под рисунком стояло имя, прогремевшее, но не приобщившееся к славе. Между камином и окном помещались бюро, кресло красного дерева, корзинка для бумаг, а на полу лежал продолговатый ковер, так называемый *предкаминный*, и все было покрыто густым слоем пыли. На окнах висели коротенькие занавески. На бюро лежало десятка два книг, накопившихся за день, гравюры, ноты, табакерки *в память Хартии*, экземпляр девятого издания «Отшельника» — книги, все еще забавлявшей умы, и десяток нераспечатанных писем. Пока Люсьен обозревал этот причудливый инвентарь и предавался необузданным мечтаниям, пробило пять, и он пошел потолковать с инвалидом. Тыква уже дожевал свою корку хлеба и, как покорный часовой, поджидал офицера с ленточкой Почетного легиона, а тот, возможно, прогуливался по бульвару. В эту минуту на лестнице послышалось шуршанье платья и легкие шаги, по которым нетрудно узнать женщину, и на пороге появилась посетительница. Она была недурна собой.

— Сударь,— сказала она Люсьену,— я знаю, почему вы так расхваливаете шляпы мадемуазель Виржини, и я подписываюсь на целый год! Скажите, на каких условиях...

— Сударыня, я не имею отношения к редакции.

— А-а!

— Вы желаете открыть подписку с октября? — спросил инвалид.

— Что прикажете, сударыня? — сказал старый воякa, входя в комнату.

Бывший офицер вступил в переговоры с красивой модисткой. Когда Люсьен, наскучив ожиданием, входил в контору редакции, он услышал заключительные слова:

— Я буду в восторге, сударь! Пусть мадемуазель Флорентина зайдет в мой магазин и выберет, что ей будет угодно. У меня есть и ленты. Значит, все устроено? Ни словом больше не упоминайте о Виржини! Эта старьевщица не способна придумать ни одной новой модели, а я-то их придумываю!

Люсьен услышал звон экю, упавших в кассу. Затем военный занялся подсчетом дневной выручки.

— Я ожидаю уже целый час, сударь,— сказал поэт довольно сердито.

— *Они* все еще не пришли? — сказал наполеоновский ветеран, из вежливости прикидываясь удивленным.— Впрочем, удивляться нечему. Вот уже несколько дней, как *они* не показываются. Видите ли, теперь середина месяца. А эти молодцы являются только за деньгами, так числа двадцать девятого или тридцатого.

— А господин Фино? — спросил Люсьен, запомнивший имя редактора.

— Он у себя, в улице Фейдо. Эй, Тыква, старина, отнеси-ка ты ему по пути сегодняшнюю почту, когда пойдешь с бумагой в типографию.

— Где же составляется газета? — сказал Люсьен, подумав вслух.

— Газета? — сказал служащий, получая из рук Тыквы остаток от гербового сбора.— Газета?.. брум!.. брум! — А завтра, старина, будь в шесть часов в типографии, наблюдай, как уходят разносчики. Газета, сударь, составляется на улице, в кабинете авторов и, между одиннадцатью и двенадцатью ночи, в типографии. Во времена императора, сударь, этих лавочек мараной бумаги не существовало. Да-с, он отрядил бы капрала да четырех солдат и вытряхнул бы отсюда весь этот хлам, он не позволил бы дурачить себя пустыми фразами. Но довольно болтать. Ежели моему племяннику выгодно, пусть

они стараются для сына *того*... брум!.. брум! Беды в том нет. Послушайте! Подписчики как будто не намерены ныне атаковать меня сомкнутыми рядами, я покидаю пост.

— Вы, сударь, как видно, осведомлены о редакционных делах?

— Только по части финансов, брум!.. брум!..— сказал солдат, откашливаясь.— В зависимости от таланта: сто су или три франка за столбец в пятьдесят строк по сорок букв, не считая пробелов. Вот оно как! Что касается сотрудников... это такие пистолеты! Такие молодчики! Я бы их и в обоз не взял! А они еще чванятся умением наставить каракулей на листе чистой бумаги и смотрят презрительно на старого драгунского капитана императорской гвардии, батальонного командира в отставке, вступавшего с Наполеоном во все столицы Европы...

Наполеоновский солдат усердно чистил щеткой свой синий сюртук и выражал явное намерение выйти, но Люсьен отважно заступил ему дорогу.

— Я желаю быть сотрудником вашей газеты,— сказал он,— и клянусь, что я преисполнен уважения к вам, капитану императорской гвардии; люди, подобные вам, увековечены в бронзе...

— Отлично сказано, шлюпик,— продолжал офицер, похлопывая Люсьена по животу.— Но какого же рода службу вы желаете нести? — спросил старый рубака и, отстранив Люсьена, стал спускаться с лестницы.

Он остановился возле привратницы, чтобы закурить сигару.

— Ежели явятся подписчики, примите их, тетушка Шолле, и запишите. Вечно эта подписка, только и знаешь что подписку! — продолжал он, оборачиваясь к Люсьену, который шел вслед за ним.— Фино — мой племянник, он единственный из всей родни позаботился обо мне. Стало быть, каждый, кто обидит Фино, будет иметь дело со стариком Жирудо, гвардии драгунского полка капитаном; а начал я службу простым кавалеристом в армии Самбры и Мезы, пять лет прослужил учителем фехтования в первом гусарском Итальянской армии! Раз-два, и обидчик отправляется к праотцам! — прибавил он, рассекая рукой воздух.— Так вот, юноша, у нас сотрудники разных родов оружия: один пи-

шет и жалованье получает, другой и пишет, а ничего не получает — мы таких зовем *добровольцами;* есть и такие, которые вовсе ничего не пишут, но в дураках не остаются, ребята не промах! Они выдают себя за писателей, пристраиваются к газете, угощают нас обедами, шатаются по театрам, содержат актрис и очень счастливы! Что вам угодно?

— Хорошо работать, а значит, хорошо зарабатывать.

— Настоящий новобранец! Все они желают сразу стать маршалами Франции! Поверьте старику Жирудо,— правое плечо вперед, шагом марш!—ступайте лучше собирать гвозди в канавах, вот как этот молодчина, а ведь он из служак, видно по выправке. Разве не ужасно, что старый солдат, который тысячу раз смотрел в глаза *курносой,* собирает теперь гвозди на улицах Парижа? Ах, канальство! Кто ты теперь? Нищий! Почему не поддержал императора? Так вот, юноша, тот штатский, которого утром вы у нас видели, заработал в месяц сорок франков. Заработаете ли вы больше? А по мнению Фино, он самый остроумный из наших сотрудников.

— Когда вы шли в армию Самбры и Мезы, разве вас не остерегали?

— Ну, уж само собою!

— Стало быть...

— Стало быть, ступайте к моему племяннику Фино, он славный малый, самый честный малый, какого только можно встретить, если только вам удастся его встретить: неуловим он, как угорь. Видите ли, его дело не в том, чтобы самому писать, а в том, чтобы заставлять писать других. Видно, здешним вертопрахам любезнее пировать с актрисами, чем бумагу марать. Настоящие пистолеты! Имею честь...

Кассир помахал увесистой тростью со свинцовым набалдашником, одной из защитниц «Германика», и Люсьен остался в одиночестве на бульваре, не менее ошеломленный картиной газетных дел, чем судьбами литературы после посещения лавки Видаля и Поршона. Люсьен раз десять прибегал в улицу Фейдо к Андошу Фино, главному редактору газеты, и ни разу его не застал. Рано утром Фино еще не возвращался. В полдень оказывалось, что Фино только что вышел: завтракает в таком-

то кафе! Люсьен шел туда, преодолевая отвращение, спрашивал о Фино у буфетчицы: Фино только что ушел. Наконец, измучившись, Люсьен уже начал почитать Фино за персонаж апокрифический, сказочный, и решил, что проще у Фликото поймать Этьена Лусто. Молодой журналист, конечно, объяснит ему причину таинственности, окружавшей газету, в которой он работал.

С того дня, стократ благословенного, когда Люсьен познакомился с Даниелем д'Артезом, он в ресторане Фликото изменил своему обычному месту: друзья обедали сидя рядом и вполголоса беседовали о высокой литературе, о возможных темах, о способах изложения, о приемах завязки и развязки сюжета. В то время Даниель правил рукопись «Лучника Карла IX», он заново переделывал целые главы, вписывал в книгу ее лучшие страницы, сохранившие значение еще и до наших дней. Он предпослал роману великолепное предисловие, может быть, более замечательное, чем сама книга, и внесшее такую ясность в юную литературу. Однажды, когда Люсьен садился рядом с Даниелем, который ждал его, и уже пожимал его руку, у входа показался Этьен Лусто. Люсьен выдернул свою руку из руки Даниеля и сказал лакею, что желает обедать на прежнем своем месте, подле конторки. Д'Артез бросил на Люсьена ангельский взгляд, в котором прощение затмевало собой укор, и этот взгляд тронул сердце поэта, он схватил руку Даниеля и пожал ее.

— Дело очень для меня важное, потом вам расскажу,— сказал он.

Люсьен уже сел на свое прежнее место, когда Лусто подходил к столу. Люсьен первый поклонился; разговор завязался быстро и протекал так живо, что Люсьен побежал за рукописью «Маргариток», пока Лусто кончал обедать. Он обрадовался случаю отдать на суд журналисту свои сонеты и, полагаясь на его показную благосклонность, рассчитывал при его помощи найти издателя или попасть в газету. Воротившись, Люсьен увидел в углу ресторана опечаленного д'Артеза, который, опершись о стол, задумчиво смотрел на него, но он, снедаемый нуждою и побуждаемый честолюбием, притворился, что не замечает своего брата по Содружеству, и последовал за Лусто. В час заката журналист и ново-

обращенный сели на скамью под деревьями в той части Люксембургского сада, которая от главной аллеи Обсерватории ведет к Западной улице. Улица в то время представляла собою сплошную трясину, окруженную болотистыми пустырями, вдоль которых тянулись дощатые мостки, и только близ улицы Вожирар встречались дома; этот узкий проезд был настолько безлюден, что в часы, когда Париж обедает, влюбленные могли под купами деревьев и ссориться и обмениваться залогами примирения, не опасаясь помехи. Единственным нарушителем утех мог оказаться только ветеран, стоявший на посту у калитки со стороны Западной улицы, если бы почтенному воину вздумалось удлинить на несколько шагов свою однообразную прогулку. В этой аллее, сидя под липами на деревянной скамье, Этьен слушал избранные сонеты из «Маргариток». Этьен Лусто, который после двухлетнего искуса устроился сотрудником в газету и считался другом некоторых знаменитостей той эпохи, был в глазах Люсьена внушительным лицом. Поэтому, развертывая рукопись «Маргариток», провинциальный поэт счел нужным начать с предисловия.

— Сонет,— сказал он,— одна из труднейших поэтических форм. Теперь этот род небольшой поэмы почти забыт. Во Франции не нашлось соперников Петрарки, его родной язык более гибок, нежели наш, он допускает игру мысли, которой не терпит наш *позитивизм* (да простится мне это слово!). Поэтому я счел более необычным выступить со сборником сонетов. Виктор Гюго избрал оду, Каналис увлечен лирикой, Беранже владычествует в песне, Казимир Делавинь завладел трагедией и Ламартин — элегией.

— Вы классик или романтик? — спросил Лусто.

Удивленное лицо Люсьена изобличило столь полное неведение о положении вещей в республике изящной литературы, что Лусто счел нужным его просветить.

— Дорогой мой, вы вступаете в литературу в самый разгар ожесточенной борьбы, вам надобно пристать к той либо другой стороне. В сущности, литература представлена несколькими направлениями, но наши знаменитости раскололись на два враждующих стана. Роялисты — романтики; либералы — классики. Различие

литературных мнений сопутствует различию во мнениях политических, и отсюда следует война, в ход пускаются все виды оружия — потоки чернил, отточенные остроты, колкая клевета, сокрушительные прозвища — война между славой рождающейся и славой угасающей. По странной случайности роялисты-романтики проповедуют свободу изящной словесности и отмену канонов, замыкающих нашу литературу в условные формы, между тем как либералы отстаивают три единства, строй александрийского стиха и классическую тему. Таким образом, литературные мнения в обоих лагерях противоречат мнениям политическим. Если вы эклектик, вы обречены на одиночество. К какой же стороне вы примкнете?

— Которая сильнее?

— Подписчиков у либеральных газет больше, нежели у роялистских и правительственных; Каналис, тем не менее, уже выдвинулся, хотя он монархист и правоверный католик и ему покровительствует двор и духовенство. Ну, а сонеты!.. Это литература эпохи, предшествующей Буало,— сказал Этьен, заметив, что Люсьена пугает необходимость выбрать себе знамя.— Будьте романтиком. Романтики сплошь молодежь, а классики поголовно — *парики;* романтики возьмут верх.

Прозвище «парики» было последней остротой журналистов-романтиков, обрядивших в парики классиков.

— Впрочем, послушаем вас.

— *Анемон!* — сказал Люсьен, выбрав один из двух сонетов, оправдывавших название сборника и служивших торжественным вступлением:

Мой анемон! Весной ты, украшая луг,
Влюбленных веселишь ковром цветов атласным,
Как песнь, рожденная огнем сердец прекрасным,
Влечений сладостных, обетов нежных друг.

Весь золотой внутри, серебряный вокруг,
Подобен венчик твой сокровищам всевластным,
И кровь твоя течет по жилкам бледно-красным
Живым прообразом ведущих к славе мук.

Не оттого ль расцвел ты в сумраке дубравы,
Когда Христос воскрес, венчанный нимбом славы,
И пролил благодать на обновленный мир, —

Не оттого ль цветешь ты осенью печальной,
Чтоб радостей былых блеснуть зарей прощальной,
Чтоб молодости нам напомнить вешний пир?

Люсьен был задет полной неподвижностью Лусто во время чтения сонета; ему было еще незнакомо то приводящее в замешательство бесстрастие, которое достигается привычкой к критике и отличает журналистов, пресыщенных прозой, драмами и стихами. Поэт, избалованный похвалами, снес разочарование и прочел второй сонет, любимый г-жою де Баржетон и некоторыми друзьями по кружку.

«Возможно, этот исторгнет из него хотя бы одно слово»,— подумал он.

Второй сонет

МАРГАРИТКА

Я — маргаритка. Мной, подругой нежной мая,
Создатель украшал лесных цветов семью.
Мила живым сердцам за красоту свою,
Я, как заря любви, сияла, расцветая.

Но краток счастья миг, и мудрость роковая
Вручила факел мне, — с тех пор я слезы лью.
Я знанье истины в груди своей таю
И принимаю смерть, вам дар мой открывая.

Утерян мой покой, я прорицать должна!
Любовь, чтобы узнать, любима ли она,
Срывает мой венец и грудь мою терзает.

Но к бедному цветку ни в ком участья нет,—
Влюбленный загадал — и вырвал мой ответ,
И, мертвую, меня небрежно в грязь бросает.

Окончив, поэт взглянул на своего Аристарха. Этьен Лусто созерцал деревья питомника.

— Ну, что? — сказал ему Люсьен.

— Ну, что ж, мой дорогой, продолжайте! Разве я не слушаю вас? В Париже, если вас слушают молча, это уже похвала.

— Не достаточно ли? — сказал Люсьен.

— Продолжайте,— отвечал журналист довольно резко.

Люсьен прочел следующий сонет; но он читал его, мертвый сердцем, ибо непостижимое равнодушие Лусто сковывало его. Нравы литературной жизни еще не коснулись юноши, иначе он бы знал, что среди литераторов молчание, равно как и резкость, в подобных обстоятель-

ствах знаменует зависть, возбуждаемую прекрасным произведением, тогда как восхищение обличает удовольствие прослушать вещь посредственную и потому утешительную для самолюбия.

Тридцатый сонет

КАМЕЛИЯ

Цветы — живая песнь из книги мирозданья:
Нам в розах мил язык любви и красоты,
В фиалках — тайный жар сердечного страданья,
В холодных лилиях — сиянье чистоты.

Но ты, камелия, искусных рук созданье,
Без блеска — лилия, без страсти — роза ты,
Подруга праздного девичьего мечтанья,
Осенним холодам дарящая цветы.

И все же в блеске лож мне всех цветов милее
Твой бледный алебастр на лебединой шее,
Когда сияешь ты, невинности венец,

Вкруг черных локонов причудницы небрежной,
Чья красота к любви зовет, как мрамор нежный,
В котором узнаем мы Фидия резец.

— Как же вы находите мои злосчастные сонеты? — спросил Люсьен из учтивости.

— Желаете выслушать правду? — сказал Лусто.

— Я слишком молод, чтобы любить ее, но мне слишком хочется удачи, и потому я выслушаю правду без гнева, хоть и не без огорчения,— отвечал Люсьен.

— Видите ли, дорогой мой, вычурность первого сонета изобличает его ангулемское происхождение, и, очевидно, он достался вам не дешево, ежели вы его сохранили; второй и третий уже навеяны Парижем. Прочтите еще один! — прибавил он, сопровождая свои слова движением, восхитившим провинциальную знаменитость.

Люсьен, ободренный этой просьбой, смелее прочел сонет, любимый д'Артезом и Бьяншоном, может быть, благодаря его красочности.

Пятидесятый сонет

ТЮЛЬПАН

Голландии цветок, я наречен тюльпаном.
Расчетливый торгаш готов, любуясь мной,
Как бриллиант, купить меня любой ценой,
Когда красуюсь я, надменный, стройный станом.

Как некий сюзерен в своем плаще багряном,
Стою среди цветов, пурпурный, золотой;
Гербами пестрыми наряд украшен мой,
Но холод сумрачный таится в сердце рдяном.

Когда земли творец произрастил меня,
Он в пурпур царский вплел лучи златого дня
И сотворил из них убор мой благородный.

Но, все цветы затмив, прославив мною сад,
Увы! забыл он влить хоть слабый аромат
В роскошный мой бокал, с кнтайской вазой сходный.

— Ну, что скажете? — спросил Люсьен, нарушая молчание, показавшееся ему чрезмерно долгим.

— А вот что, дорогой мой,—важно сказал Этьен Лусто, глядя на сапоги, которые Люсьен привез из Ангулема и теперь донашивал,— советую вам чернить сапоги чернилами, чтобы сберечь ваксу, обратить перья в зубочистки, чтобы показать, что вы обедали, когда, выйдя от Фликото, вы будете гулять по аллеям этого прекрасного сада, и подыщите какую-нибудь должность. Станьте писцом у судебного пристава, если у вас хватит мужества, приказчиком, если у вас крепкая поясница, солдатом, если вы любите военные марши. Таланта у вас достанет на трех поэтов; но, прежде нежели вы выйдете в люди, вы успеете десять раз умереть от голода, если рассчитываете жить плодами вашего творчества, ибо, судя по вашим юношеским речам, вы замышляете чеканить монету с помощью чернильницы. Я не хулю ваших стихов, они несравненно выше той поэзии, от которой ломятся полки книжных лавок. Эти изящные *соловьи*, которые стоят несколько дороже, чем прочие, благодаря веленевой бумаге, почти все попадают на берега Сены, где вы можете изучать их пение, если когда-либо вам вздумается с назидательной целью совершить паломничество по парижским набережным, начиная с развала старика Жерома, что у моста Нотр-Дам, и кончая мостом Рояль. Там вы найдете все эти *Поэтические опыты*, *Вдохновения*, *Взлеты*, *Гимны*, *Песни*, *Баллады*, *Оды*,— короче, всех птенцов, высиженных музами за последние семь лет, пропыленных, забрызганных грязью от проезжающих экипажей, захватанных прохожими, которые любопытствуют взглянуть на заставку титульного листа. Вы никого не знаете, у вас нет досту-

па ни в одну газету: ваши *Маргаритки* так и не расправят своих лепестков, смятых сейчас вашими руками; они никогда не расцветут под солнцем гласности на листах с широкими полями, испещренными заставками, на которые щедр известный Дориа, издатель знаменитостей, король Деревянных галерей. Бедный мальчик, я приехал в Париж, подобно вам исполненный мечтаний, влюбленный в искусство, движимый неодолимым порывом к славе; я натолкнулся на изнанку нашего ремесла, на рогатки книжной торговли, на неоспоримость нужды. Моя восторженность, ныне подавленная, мое первоначальное волнение скрывали от меня механизм жизни; мне довелось испытать на себе действие всей системы колес этого механизма, ударяться о его рычаги, пачкаться в масле, слышать лязг цепей и гул маховиков. Вы, подобно мне, откроете, что всеми этими чудесами, прекрасными в мечтаниях, управляют люди, страсти и необходимость. Вы поневоле вступите в жестокую борьбу книги с книгой, человека с человеком, партии с партией, и сражаться вам придется без передышки, чтобы не отстать от своих же. Эти омерзительные стычки разочаровывают душу, развращают сердце и бесплодно изнуряют силы, потому что ваши усилия нередко служат к успеху вашего врага, увенчивают какой-нибудь неяркий талант, вопреки вам возведенный в гении. В литературной жизни есть свои кулисы. Партер равно рукоплещет успеху нечаянному или заслуженному; нечистоплотные средства, нагримированные статисты, клакеры, прислужники — вот что скрывается за кулисами. Вы покамест в партере. Еще не поздно! Отрекитесь, прежде чем ваша нога коснется первой ступени трона, который оспаривают столько честолюбцев, и не исподличайтесь, как я, ради того, чтобы жить. (Слеза затуманила взор Этьена Лусто.) Знаете ли вы, как я живу?— в бешенстве продолжал он.— Небольшие деньги, которые я привез из дому, я скоро истратил. Я остался без средств, хотя моя пьеса была принята на Французском театре. Но во Французском театре, чтобы ускорить постановку пьесы, не поможет даже покровительство принца или камергера: актеры покоряются лишь тому, кто угрожает их самолюбию. Ежели в вашей власти пустить молву, что у первого любовника астма, что героиня

скрывает какую-нибудь фистулу, а у субретки дурной запах изо рта, ваша пьеса пойдет завтра же. Не знаю, буду ли я и через два года обладать подобной властью; для этого требуется слишком много друзей. Но где, как и чем зарабатывать на хлеб? Вот вопрос, который я себе поставил, когда почувствовал муки голода. После множества бесполезных попыток, после того как я написал роман, который выпустил без подписи и за который Догро заплатил мне всего двести франков и притом сам не нажился, я пришел к убеждению, что прокормиться можно только журналистикой. Но как проникнуть в эти лавочки? Я не стану рассказывать вам о моих хлопотах, о моих безуспешных просьбах, о том, как я полгода работал сверхштатным сотрудником и мне еще пытались внушить, будто я распугиваю подписчиков, тогда как, напротив, я их привлекал. Не стоит вспоминать о моих унижениях. Теперь я пишу, почти даром, о бульварных театрах для газеты, которую издает Фино; этот толстяк все еще два или три раза в месяц завтракает в «кафе Вольтер» (вы-то там не бываете!). Фино — главный редактор. Я живу продажей билетов, которые мне дают директора театров за благосклонные статьи в газете, и продажей книг, которые мне посылают на отзыв издатели. Наконец, когда Фино получит свою долю, я взимаю натурой с промышленников, *за* или *против* которых он разрешает мне писать статьи. *Жидкий кармин, Крем султанши, Кефалическое масло, Бразильская помада* платят за бойкую статью от двадцати до тридцати франков. Я вынужден бранить издателя, если он скупится на экземпляры для газеты: газета получает два экземпляра, но их продает Фино, а два экземпляра нужны мне для продажи. Скупец, издай он не роман, а настоящее чудо, все же будет разнесен в пух и прах. Подло, но я живу этим ремеслом, как и сотни мне подобных! Не думайте, что политическая деятельность лучше литературной: все растленно как там, так и тут,— в той и в другой области каждый или развратитель, или развращенный. Когда издатель задумывает какое-нибудь крупное издание, он мне платит, чтобы предотвратить нападки, и мои доходы находятся в прямой зависимости от издательских. Ежели проспекты выбрасывают тысячами, золото потоком течет в мой кар-

ман,— тогда я даю пир друзьям. Затишье в книжной торговле,— и я обедаю у Фликото. Актрисы тоже оплачивают похвалы, но более ловкие оплачивают критику, ибо молчания они боятся более всего. Критическая статья, написанная с целью вызвать полемику, больше ценится и дороже оплачивается, чем сухая похвала, которая завтра же забудется. Полемика, дорогой мой,— это пьедестал для знаменитостей. Ремеслом наемного убийцы идей и репутаций, деловых, литературных и театральных, я зарабатываю пятьдесят экю в месяц; теперь я уже могу продать роман за пятьсот франков и начинаю слыть опасным человеком. И вот, когда я поселюсь в собственной квартире, вместо того чтобы жить у Флорины на счет москательщика, изображающего собою лорда, перейду в крупную газету, где мне поручат отдел фельетона, тогда, дорогой мой, Флорина станет великой актрисой. А я?.. Разве я знаю, кем я буду: министром или честным человеком,— все еще возможно. (Он поднял поникшую голову, метнул в листву дерев отчаянный взгляд, таивший и обвинение и угрозу.) И у меня принята на театр прекрасная трагедия! И в рукописи у меня погибает поэма! И я был добр, был чист сердцем! А теперь живу с актрисой из драматической панорамы... я, мечтавший о возвышенной любви изысканной женщины большого света! И из-за того, что издатель откажет нашей газете в лишнем экземпляре, я браню книгу, которую нахожу прекрасной!

Люсьен, взволнованный до слез, пожал руку Этьена.

— Вне литературного мира,— сказал журналист, встав со скамьи и направляясь к главной аллее Обсерватории, по которой оба поэта стали прогуливаться, точно желая надышаться вволю,— никто не знает, какая страшная одиссея предшествует тому, что именуется, смотря по таланту, успехом, модой, репутацией, известностью, общим признанием, любовью публики: все это лишь различные ступени по пути к славе, но все же не самая слава. Это блистательнейшее явление нравственного порядка составляется из сцепления тысячи случайностей, подверженных столь быстрой перемене, что не было еще такого примера, когда два человека достигли бы славы одним и тем же путем. Каналис и Натан — два различных явления, и оба они неповторимы; д'Артез, изнуряю-

щий себя работой, станет знаменитым по воле иного случая. Слава, которой все так жаждут,— почти всегда венчанная блудница. На низах литературы она — жалкая шлюха, мерзнущая на панели; в литературе посредственной — содержанка, вышедшая из вертепов журналистики, причем я исполняю роль ее сутенера; в литературе преуспевающей она — блистательная и наглая куртизанка, у нее собственная обстановка, она платит государственные налоги, принимает вельмож, угощает их и командует ими; она держит ливрейных лакеев, имеет собственный выезд и бесцеремонно выпроваживает заимодавцев. Ах! Для того, кто, подобно вам или некогда мне, представляет ее яркокрылым серафимом в белом хитоне, с пальмовой ветвью в одной руке, с пылающим мечом в другой,— для того она мифологическая абстракция, обитающая на дне колодца, и вместе с тем юная девственница, заброшенная в трущобы, совершающая в лучах добродетели подвиги высокого мужества и непорочной возносящаяся на небеса, ежели только не совершает в убогой повозке свой последний путь на кладбище, попранная, обесчещенная, замученная, забытая всеми; такие люди, чья мысль окована бронзой, чье сердце не остужено снежными бурями опыта, редко встречаются на этой земле, что расстилается у наших ног,— сказал он, указывая на великий город, дымившийся в сумерках.

Образы друзей по кружку быстро прошли перед взволнованным взором Люсьена, но его увлекал Лусто, продолжавший свои страшные жалобы.

— Они встречаются редко и слишком одиноки в этом бродильном котле; так в мире влюбленных редко встречаются истинные любовники, так в мире финансистов редки честные дельцы, так в журналистике редки чистые люди. Опыт человека, который мне впервые сказал о том, о чем я вам говорю, ничему не послужил,— так и мой опыт, конечно, не послужит вам. Каждый год все с такой же непомерной горячностью из провинции в Париж устремляются все такие же, чтобы не сказать все нарастающие, толпы безусых честолюбцев, которые, высоко подняв голову, высокомерные сердцем, бросаются на приступ Моды, этой принцессы Турандот из *Тысячи и одного дня*, и каждый мечтает быть принцем Калафом! Но никто не в состоянии разгадать загадки. Всех поглощает

пучина несчастья, клоака газеты, болото книжной торговли. Они цепляются, эти нищие, и за библиографические заметки, и за трескучие монологи, за хронику парижских происшествий, за книги, обязанные своим выходом в свет логике торговцев печатной бумагой, предпочитающих любой вздор, который расходится в две недели, мастерскому произведению, требующему времени для сбыта. Все эти гусеницы, гибнущие ранее, чем они превратятся в бабочек, живут позором и подлостью, готовые уязвить или превознести нарождающийся талант по приказу какого-нибудь паши из «Конституционель», «Котидьен» или «Деба», по сигналу издателя, по просьбе завистливого собрата и часто ради обеда. Тот, кто преодолел препятствия, забывает обычно о первоначальных горестях. Я сам в продолжение полугода писал статьи, расточая цветы своего остроумия ради одного негодяя, который выдавал их за свои и моими трудами заработал отдел фельетона; а меня он не взял даже в сотрудники, он ста су мне не дал, и я вынужден пожимать ему руку.

— Как так? — надменно сказал Люсьен.

— А так вот... мне может понадобиться напечатать десяток строк в его листке,— холодно отвечал Лусто.— Короче, дорогой мой, тайна литературного успеха не в том, чтобы самому работать, а в умении пользоваться чужим трудом. Владельцы газет — подрядчики, а мы — каменщики. И вот, чем человек ничтожнее, тем он быстрее достигает успеха; он готов глотать самые горькие пилюли, сносить любые обиды, потворствовать низким страстишкам литературных султанов, как этот новоприезжий из Лиможа, Гектор Мерлен, который уже заведует политическим отделом в одном из органов правого центра и пишет в нашей газетке: я видел, как он поднял шляпу, которую уронил главный редактор. Никого не затрагивая, этот юноша проскользнет меж честолюбцами, покамест те будут друг с другом грызться. Мне вас жаль. Я вижу в вас повторение самого себя, и я уверен, что через год или через два вы станете таким же, каков я теперь. В моих горьких советах вы, может быть, заподозрите тайную зависть, какой-либо личный интерес: нет, они подсказаны отчаянием осужденного на вечные муки в аду. Никто не осмелится вам сказать того, о чем

я кричу, как человек, раненный в сердце, как новый Иов на гноище: «Вот язвы мои!»

— На том или на другом поприще, но мне предстоит борьба,— сказал Люсьен.

— Так знайте же,— продолжал Лусто,— борьба будет без передышки, если только у вас есть талант; поэтому выгоднее быть посредственностью. Стойкость вашей чистой совести поколеблется перед теми, от кого будет зависеть ваш успех, кто одним своим словом может даровать вам жизнь, но не пожелает произнести этого слова: потому что, поверьте мне, модный писатель ведет себя с новыми в литературе людьми более нагло и жестоко, нежели самый грубый издатель. Где торгаш видит только убыток, там автор опасается соперника; один просто вас обманет, другой готов уничтожить... Чтобы написать хорошую книгу, мой бедный мальчик, вам придется с каждым взмахом пера черпать из сердца все его силы, нежность, энергию и претворять их в страсти, в чувства, в слова! Вы будете писать, вместо того чтобы действовать, вы будете петь, вместо того чтобы сражаться, вы будете любить, ненавидеть, жить в ваших книгах; но, ревниво оберегая свои сокровища ради стиля ваших книг, свое золото и пурпур ради героев ваших романов, вы будете бродить в отрепьях по парижским улицам, утешенный тем, что, соперничая с актами гражданского состояния, вы узаконили существование Адольфа, Коринны, Клариссы или Манон Леско; вы испортите себе жизнь и желудок, даровав жизнь своему творению, которое на ваших глазах будет оклеветано, предано, продано, брошено журналистами в лагуны забвенья, погребено вашими лучшими друзьями. Достанет ли у вас духа ждать того дня, когда ваше творение воспрянет, воскрешенное—кем? когда? как? Есть замечательная книга, *pianto*[1] неверия, «Оберман», обреченная на одиночество в пустыне книжных складов, одна из тех книг, которые книгопродавцы в насмешку называют *соловьями*,— настанет ли для нее пасха? Кто знает! Прежде всего найдете ли вы издателя, достаточно отважного, чтобы напечатать ваши «Маргаритки»? Нечего и думать о том, что-

---

[1] Жалоба *(итал.)*.

бы вам заплатили,— лишь бы напечатали. Тогда вы насмотритесь любопытных сцен.

Жестокая тирада, произнесенная голосом страстей, которые она выражала, обрушилась, точно снежная лавина, на душу Люсьена и вселила в нее леденящий холод. Мгновение он стоял молча. Затем его сердце, точно пробужденное этой жестокой поэзией препятствий, загорелось. Люсьен пожал руку Лусто и вскричал:

— Я восторжествую!

— Отлично! — сказал журналист.— Еще один христианин выходит на арену на растерзание зверям. Дорогой мой, вечером первое представление в Драматической панораме; спектакль начнется в восемь часов, теперь шесть; ступайте, наденьте ваш лучший фрак, короче, примите приличный вид. Зайдите за мной. Я живу в улице Лагарпа, над кафе «Сервель», в пятом этаже. Сперва мы зайдем к Дориа. Вы продолжаете стоять на своем, не правда ли? Ну, что ж, вечером я познакомлю вас с одним из королей книжной торговли и кое с кем из журналистов. После спектакля мы поужинаем с друзьями у моей любовницы,— ведь наш обед нельзя счесть обедом. Вы там встретитесь с Фино, главным редактором и владельцем моей газеты. Вы слышали остроту Минетты из Водевиля: «Время — это богатый скряга»? Ну, что ж, для нас случай — тоже богатый скряга, надо его соблазнить.

— Я никогда не забуду этого дня,— сказал Люсьен.

— Вооружитесь вашей рукописью и являйтесь в полной парадной форме, не столько ради Флорины, сколько ради издателя.

Дружеское добродушие, которое пришло на смену неистовому воплю поэта, клявшего литературную войну, тронуло Люсьена столь же живо, как недавно, в той же самой аллее, его сердце было тронуто суровыми и возвышенными словами д'Артеза. Неопытный юноша, воодушевленный предвидением близкой борьбы, и не подозревал всей неотвратимости нравственных страданий, которые предрекал ему журналист. Он не знал, что стоит на перепутье двух различных дорог, делает выбор между двумя системами, представленными Содружеством и Журналистикой: один путь был долог, почетен, надежен; другой — усеян камнями преткновения и гибелен, оби-

лен мутными источниками, в которых погрязнет его совесть. Характер побуждал его избрать путь более короткий и внешне более приятный, действовать средствами решительными и быстрыми. В то время он не видел никакого различия между благородной дружбой д'Артеза и поверхностным дружелюбием Лусто. Подвижной ум Люсьена усмотрел в газете некое оружие, в меру своих сил и таланта, и пожелал за него взяться. Он был ослеплен предложениями своего нового друга, очарован развязностью, с которой тот похлопал его по руке. Мог ли он знать, что в армии печати каждый нуждается в друзьях, как генералы нуждаются в солдатах! Лусто, оценив его решимость, старался завербовать его в надежде привязать к себе. Журналист приобретал первого друга, Люсьен— первого покровителя; один мечтал быть капралом, другой желал стать солдатом. Новообращенный, ликуя, вернулся в гостиницу и тщательно занялся своим туалетом, как в тот злосчастный день, когда он возмечтал появиться в Опере в ложе маркизы д'Эспар; но теперь его наряд был ему уже более к лицу, он научился его носить. Он надел модные светлые панталоны в обтяжку, изящные сапоги, которые ему обошлись в сорок франков, и фрак. Белокурые волосы, густые и шелковистые, благоухали и рассыпались золотыми, искусно взбитыми локонами. Дерзкая самоуверенность и предвкушение блистательного будущего отражались на его лице. Миндалевидные ногти на его выхоленных, женственных руках приобрели блеск и розовый оттенок. На черном атласе воротника сверкала белизна округлого подбородка. Никогда еще с высот Латинского квартала не спускался более пленительный юноша. Прекрасный, как греческий бог, Люсьен сел в фиакр и без четверти восемь был у подъезда дома, где помещалось кафе «Сервель». Привратница направила его в пятый этаж, дав ему ряд сложных топографических примет. Благодаря этим указаниям он, впрочем не без труда, отыскал в конце длинного коридора открытую дверь и увидел классическую комнату Латинского квартала. Нищета молодежи преследовала его и тут, как в улице Клюни, как у д'Артеза, у Кретьена — везде! Но она везде принимает отпечаток, налагаемый отличительными свойствами ее жертвы! Тут нищета была зловещей. Ореховая кровать была без полога,

перед кроватью лежал дешевый коврик, купленный по случаю; на окнах занавески пожелтели от дыма сигар и неисправного камина; на камине лампа Карселя — дар Флорины, еще не попавший в заклад; затем потемневший комод красного дерева, стол, заваленный бумагами, и сверху два или три растрепанных пера, никаких книг, кроме принесенных накануне или в тот же день,— таково было убранство этой комнаты, лишенной каких-либо ценных вещей и представлявшей собою омерзительное собрание брошенных в одном углу дырявых сапог, старых чулок, превратившихся в кружево; в другом углу—недокуренных сигар, грязных носовых платков, разорванных рубашек, галстуков, трижды *переизданных*. То был литературный бивак, являвший в самой неприкрытой наготе отрицательную сторону вещей. На ночном столике среди книг, читанных утром, поблескивал красный цилиндрик Фюмада. На камине валялись бритва, два пистолета, сигарный ящик. На стене Люсьен увидел маску и под ней скрещенные рапиры. Три стула и два кресла, едва ли достойные самых дешевых меблированных комнат в этой улице, довершали обстановку. Эта комната, грязная и плачевная, свидетельствовала о жизни, не ведавшей ни покоя, ни достоинства: здесь спали, работали наспех, жили поневоле, мечтая вырваться отсюда. Какое различие между этим циническим беспорядком и опрятной, достойной бедностью д'Артеза!.. Воспоминание, таившее в себе и совет, не послужило Люсьену предостережением, ибо Этьен веселой шуткой прикрыл наготу порока:

— Вот моя берлога! Большие приемы в улице Бонди, в квартире, заново отделанной для Флорины богатым москательщиком; сегодня вечером мы там справляем новоселье.

Этьен Лусто был в черных панталонах, в начищенных до блеска сапогах; фрак был застегнут наглухо, бархатный воротник прикрывал сорочку, которую Флорина, наверно, должна была ему переменить, а шляпу он тщательно почистил щеткой, чтобы придать ей вид новой.

— Едемте,— сказал Люсьен.

— Повременим! Я жду одного издателя, он ссудит меня деньгами: пожалуй, будет игра, у меня же нет ни лиара; и притом мне нужны перчатки.

В это время новые друзья услышали шаги в коридоре.

— Вот и он,— сказал Лусто.— Вы увидите, дорогой мой, какой образ принимает провидение, являясь к поэтам. Прежде нежели созерцать Дориа, модного издателя, во всей его славе, вы увидите издателя с набережной Августинцев, книгопродавца-дисконтера, торговца литературным хламом, нормандца, бывшего зеленщика. Входите же, старый татарин! — вскричал Лусто.

— Вот и я,— послышался голос, дребезжащий, как надтреснутый колокол.

— Вы при деньгах?

— Да вы шутить изволите! Деньги нынче вывелись в книжных лавках,— отвечал вошедший в комнату молодой человек и с любопытством посмотрел на Люсьена.

— Короче, вы мне должны пятьдесят франков,—продолжал Лусто.— И вот пожалуйте еще два экземпляра «Путешествия в Египет»! Говорят, чудо как хороша книга. Гравюр не счесть, книга будет иметь успех. Фино уже получил гонорар за две статьи о ней, которые я еще должен только написать. Item два последних романа Виктора Дюканжа, автора, прославленного в квартале Марэ. Item два экземпляра романа начинающего писателя Поль де Кока, который пишет в том же жанре. Item два экземпляра «Изольды де Доль», занимательная провинциальная история. Товара по меньшей мере на сто франков! Стало быть, вы должны мне сто франков, голубчик Барбе!

Барбе тщательно рассматривал обрезы и обложки книг.

— О! Они в превосходной сохранности! — вскричал Лусто.— «Путешествие» не разрезано, как и Поль де Кок, и Дюканж, и та, что на камине: «Рассуждения о символах»; последняя вам в придачу. Прескучная книжица! Готов ее вам подарить,— боюсь, как бы моль не завелась!

— Но, помилуйте, как же вы напишете отзывы? — сказал Люсьен.

Барбе поглядел на Люсьена с глубоким удивлением и, усмехнувшись, перевел глаза на Этьена:

— Видно, что этот господин не имеет несчастья быть литератором.

— Нет, Барбе, нет! Этот господин — поэт, большой поэт! Он перещеголяет Каналиса, Беранже и Делавиня. Он пойдет далеко, если только не бросится в Сену, да и в этом случае угодит в Сен-Клу.

— Ежели позволите,— сказал Барбе,— я дал бы вам совет оставить стихи и взяться за прозу. Набережная не берет стихов.

На Барбе был надет потертый сюртук с засаленным воротником, застегнутый на одну пуговицу, шляпы он не снял; обут он был в башмаки; небрежно застегнутый жилет обнаруживал рубашку из добротного холста. Круглое лицо с пронзительными жадными глазами было не лишено добродушия; но в его взгляде чувствовалось смутное беспокойство состоятельного человека, привыкшего слышать вечные просьбы о деньгах. Он казался покладистым и обходительным, настолько его хитрость была залита жирком. Довольно долго он служил приказчиком, но уже два года как сам обзавелся убогой лавчонкой на набережной, откуда делал вылазки, скупая за бесценок у журналистов, авторов, типографов книги, полученные ими даром, и зарабатывал таким путем франков десять—двадцать в день. У него были сбережения, он чуял любую нужду, он подстерегал любое выгодное дело, учитывал нуждающимся авторам из пятнадцати или двадцати процентов векселя книгопродавцев и на следующий же день шел в лавки покупать якобы за наличный расчет какие-нибудь ходкие книги; затем вместо денег предъявлял книгопродавцам их же собственные векселя. Он кое-чему обучался, но преподанные уроки только научили его усердно избегать поэзии и новейших романов. Он любил мелкие дела, полезные книги, приобретение которых в полную собственность обходилось не свыше тысячи франков и которыми он мог распоряжаться по своей прихоти, как, например: «Французская история в изложении для детей», «Полный курс бухгалтерии в двадцати уроках», «Ботаника для молодых девиц». Он уже упустил две или три хорошие книги, заставив авторов раз двадцать ходить к нему и все же не решившись купить у них рукописи. Когда же его упрекали в трусости, он ссылался на отчет об одном громком процессе, перепечатанный им из газет, доставшийся ему даром, но принесший две или три тысячи прибыли. Барбе принад-

лежал к числу робких издателей, которые кое-как перебиваются, боятся выдавать векселя, любят поживиться на счетах, выторговать скидку; он сам размещал свои книги, неизвестно где и как, но всегда ловко и выгодно. Он наводил ужас на типографов, не знавших, как его укротить; он платил им в рассрочку и в трудную для них минуту урезывал их счета; затем, боясь западни, он уже не пользовался услугами тех, кого обобрал.

— Ну, что ж, продолжим нашу беседу? — сказал Лусто.

— Голубчик мой,— развязно сказал Барбе,— у меня в лавке шесть тысяч завалявшихся книг. Ну, а книги, как сострил один старый книгопродавец, не франки [1]. Книга идет плохо.

— Ежели вы, дорогой Люсьен, зайдете в его лавку,— сказал Этьен,— вы увидите на дубовой конторке, купленной на распродаже после банкротства какого-нибудь виноторговца, сальную свечу, с которой не снят нагар: так она медленнее сгорает. В полумраке, при мерцании этого условного светоча, вы все же заметите, что полки пусты. Мальчуган в синей куртке сторожит эту пустоту. Мальчик дышит на пальцы, притоптывает ногами, похлопывает рукою об руку, как кучера на козлах. Оглядитесь! Книг в лавке не более, чем здесь у меня. Непостижимо, чем в этой лавке торгуют.

— Вот вам вексель в сто франков сроком на три месяца,— сказал Барбе, невольно улыбнувшись, и извлек из кармана гербовую бумагу.— Я беру ваши книжонки. Видите ли, я уже не могу платить наличными, торговля идет туго. Я так и думал, что вы во мне нуждаетесь, а у меня нет ни одного су! Желая вам услужить, я и приготовил этот векселек, а я не любитель давать свою подпись.

— Пожалуй, я еще обязан вас благодарить? — сказал Лусто.

— Векселя хотя и не оплачивают чувствами, все же я приму вашу благодарность,— отвечал Барбе.

— Но мне нужны перчатки, а в парфюмерных лавках имеют наглость не принимать ваших векселей,— отвечал Лусто.— Постойте! В верхнем ящике комода лежит превосходная гравюра. Цена ей восемьдесят франков.

---

[1] По-французски livre — «книга» и название старинной монеты. Игра на созвучии.

Первые оттиски и хлесткая статья! Ведь я описал ее довольно забавно. Я прошелся насчет *Гиппократа, отвергающего дары Артаксеркса.* Каково! Эта чудесная гравюрка пригодится врачам, которые, конечно, тоже отказываются от чересчур пышных даров парижских сатрапов. Под гравюрой вы найдете еще десятка три романсов. Берите все и дайте мне сорок франков.

— Сорок франков! — заклохтал книгопродавец, как испуганная курица.— Самое большее — двадцать! И то, пожалуй, потерянные деньги,— прибавил Барбе.

— Давайте двадцать! — сказал Лусто.

— Право, даже не знаю, найдется ли у меня столько,— сказал Барбе, обшаривая карманы.— Э, вот они. Вы грабите меня, вы так умеете меня обойти...

— Едем,— сказал Лусто. Он взял рукопись Люсьена и провел чернилами черту под бечевкой.

— Нет ли у вас еще чего-нибудь? — спросил Барбе.

— Ничего нет, голубчик Шейлок. И устрою же я тебе блестящее дельце! Он потеряет на нем тысячу экю, и поделом, пусть не обкрадывает меня! — шепнул Этьен Люсьену.

— А ваши статьи? — сказал Люсьен, когда они ехали в Пале-Руаяль.

— Вздор! Вы не знаете, как строчат статьи. Что касается до «Путешествия в Египет», я перелистал книгу, не разрезая, прочел наудачу несколько страниц и обнаружил одиннадцать погрешностей против французского языка. Я напишу столбец и скажу, что если автор и изучил язык уток, вырезанных на египетских булыжниках. которые именуются обелисками, то родного языка он не знает, и я ему это докажу. Я скажу, что, вместо того чтобы разглагольствовать о естественной истории и древностях, он лучше бы занялся будущностью Египта, развитием цивилизации, научил бы, как сблизить Египет с Францией, которая, некогда покорив его и затем потеряв, все же может еще подчинить его своему нравственному влиянию. Затем я сделаю из этого патриотический монолог и начиню его тирадами насчет Марселя, Леванта и нашей торговли.

— А если он все это уже написал, что бы вы сказали?

— А вот что, душа моя: я сказал бы, что, вместо то-

го чтобы докучать нам политикой, ему следовало бы заняться искусством, изобразить страну со стороны ее красот и территориальных особенностей. Тут критик может дать волю жалобам. Политика, скажет он, буквально захлестнула нас, она нам наскучила, она все заполонила. Я пожалел бы об очаровательных описаниях путешествий, в которых вам рассказывали бы о трудностях мореплавания, о прелести выхода в открытое море, о наслаждении пересечь экватор — короче, обо всем, что надобно знать людям, которые никогда не путешествуют. Воздавая автору должное, можно посмеяться над путешественниками, которые прославляют, как великие события, и перелетную птицу, и летающую рыбу, и рыбную ловлю, и вновь открытые географические пункты, и знакомые отмели. Эти научные премудрости совершенно невразумительны, но пленяют, как все глубокомысленное, таинственное, непостижимое, и все ждешь нового. Подписчик доволен, ему угодили. Что касается до романов, Флорина самая усердная читательница, никто, кажется, на свете не читает столько романов; она высказывает свое суждение, и я строчу статейки, покорствуя ее мнению. Когда она находит скучным *авторское пустословие*, как она выражается, я сам беру книгу и требую от издателя лишний экземпляр, который он мне с восторгом присылает, предвкушая хвалебный отзыв.

— Боже мой, но где же критика? Священная критика? — сказал Люсьен, проникнутый заповедями Содружества.

— Дорогой мой,— сказал Лусто,— критика — это щетка, которой не следует чистить легкие ткани: она разрывает их в клочья. Послушайте, оставим в покое ремесло. Вы видите вот эту пометку? — сказал он, указывая на рукопись «Маргариток».— Я сделал эту пометку чернилами под самой бечевкой на обертке рукописи. Если Дориа прочтет вашу рукопись, он, конечно, перевяжет ее по-своему. Таким образом, ваша рукопись как бы запечатана. Это не лишнее для обогащения вашего опыта. И еще заметьте, что вы попадаете в лавку не с улицы и не без кумовства, не так, как те бедные юноши, которые побывают у десяти издателей раньше чем один наконец предложит им стул...

Люсьен уже испытал на себе справедливость этого

замечания. Лусто заплатил извозчику три франка, к великому изумлению Люсьена, пораженного подобным мотовством при крайней бедности. Затем друзья вошли в Деревянные галереи, где тогда царствовала торговля так называемыми книжными новинками.

В те времена Деревянные галереи представляли собою прославленную парижскую достопримечательность. Небесполезно описать этот гнусный базар, ибо в продолжение тридцати шести лет он играл в парижской жизни столь большую роль, что найдется не много людей в возрасте сорока лет, которым это описание, невероятное для юношей, не доставило бы удовольствия. На месте неприветливой, высокой и просторной Орлеанской галереи, подобия теплицы без цветов, стояли бараки или, точнее, дощатые лачуги, неряшливо крытые, скудно освещенные слабым светом, пробивающимся со стороны двора и сада сквозь щели, именуемые окнами, но более похожие на грязные отдушины харчевен за парижскими заставами. Лавки образовали две галереи высотою около двенадцати футов. Лавки, расположенные в центре здания, выходили окнами в обе галереи, откуда шел зловонный воздух и проникало немного света сквозь вечно грязные стекла крыши. Эти тесные конурки шириною неполных шесть футов и длиною от восьми до десяти футов так возросли в цене благодаря наплыву публики, что за наем их платили по тысяче экю. Лавки, выходившие в сад или во двор, были отгорожены низкой, обвитой зеленью решеткой,— может быть, для того, чтобы предохранить непрочные стены здания от напора толпы. Стало быть, перед ними оставалось пространство в два-три фута, где произрастали плоды самой диковинной ботанической породы, неизвестной в науке, наряду с плодами различных отраслей промышленности, не менее цветистыми. Обрывки оттисков книг увенчивали розовый куст, и тем самым цветы риторики заимствовали благоухание чахлых цветов этого сада, запущенного, но зато орошаемого нечистотами. Разноцветные ленты и афишки пестрели среди листвы. Отбросы модных мастерских глушили растительность: на зеленых стеблях виднелись пучки лент, и вы испытывали разочарование, когда, пленившись цветком, обнаруживали вместо георгина атласный бант. И со стороны двора и со стороны

сада вид этого причудливого дворца являл самый наглядный образец парижской неопрятности: облезшая клеевая краска, отвалившаяся штукатурка, ветхие вывески, фантастические объявления. Наконец парижская публика немилосердно пачкала зеленые решетки как во дворе, так и в саду. Казалось бы, омерзительное и тошнотворное окаймление галерей должно было отпугивать людей впечатлительных; но впечатлительные люди не отступали перед этими ужасами, как принцы волшебных сказок не отступают перед драконами и преградами, воздвигнутыми злыми духами, похитителями принцесс. Галереи были, как и поныне, прорезаны внутренним проходом, и чтобы туда попасть, нужно было пройти через два и поныне существующих перистиля, начатых постройкой до революции и неоконченных по недостатку средств. Прекрасная каменная галерея, ведущая к Французскому театру, представляла в ту пору узкий проход, чрезвычайно высокий и с плохим перекрытием, не защищавшим от дождя. Она называлась Стеклянной галереей в отличие от Деревянных галерей. Кровля над этими вертепами находилась в столь плохом состоянии, что против Орлеанов был возбужден процесс известным торговцем кашемировыми шалями и тканями, у которого в одну ночь было испорчено товаров на значительную сумму. Торговец выиграл тяжбу. Просмоленный холст, натянутый в два ряда, местами заменял крышу. В Деревянных галереях, где Шеве начинал свою карьеру, так же как и в Стеклянной галерее, полом служила натуральная парижская почва, удобренная слоем земли, занесенной на сапогах и башмаках прохожих. Тут люди поминутно проваливались в ямы, спотыкались о бугры затверделой грязи, без устали подчищаемой торговцами, и от новичка требовалась известная сноровка, чтобы не упасть.

Зловещее скопление нечистот, окна, загрязненные дождем и пылью, низкие лачуги, прикрытые рубищем, мерзость недостроенных стен — все это в совокупности напоминало цыганский табор, балаганы на ярмарке, временные сооружения, которые воздвигают в Париже вокруг недостроенных зданий; искаженная гримасами личина этого парижского торжища удивительно соответствовала всем видам торговли, кишевшим в этом бес-

стыдном, наглом, шумливом и охваченном бешеным весельем вертепе, где со времени революции 1789 года и до революции 1830 года вершились крупные дела. В продолжение двадцати лет биржа собиралась напротив, в нижнем этаже дворца. Стало быть, здесь составлялось общественное мнение, создавались и рушились репутации, заключались политические и финансовые сделки.

В галереях назначались встречи до и после биржи. Париж банкиров и коммерсантов часто наводнял двор Пале-Руаяля и спешил отхлынуть под прикрытие галерей, как только начинался дождь. Свойством этого здания, невесть как возникшего тут, была его чрезвычайная гулкость. Взрыв смеха разносился по всем галереям. Если в одном конце затевалась ссора, на другом об этом уже знали. Там были только книжные лавки, поэзия, политика, проза, модистки, а вечером там появлялись публичные женщины. Там процветали новости моды и книги, новые и старые светила, заговоры Трибуны и выдумки книжной торговли. Там продавались новинки, и парижане упорно желали их покупать только здесь. Там в один вечер расходился тысячами тот или иной памфлет Поля-Луи Курье или «Приключения дочери короля» — первый выстрел, направленный домом Орлеанов против хартии Людовика XVIII. В ту пору, когда там бывал Люсьен, в некоторых лавках встречались витрины, убранные довольно изящно; но эти лавки помещались в рядах, обращенных в сторону сада или двора. До того дня, когда эта удивительная колония погибла под молотом архитектора Фонтена, лавки, расположенные в среднем ряду, были совершенно открыты и подперты столбами, наподобие балаганов провинциальных ярмарок, и сквозь их выставки и стеклянные двери глаз охватывал обе галереи. Так как отопить помещение было невозможно, торговцы пользовались жаровнями, и каждый в своем лице представлял пожарную охрану, ибо при малейшей неосторожности в четверть часа могло сгореть все это царство досок, высушенных солнцем и как бы накаленных пламенем проституции, наполненных газом, муслином, бумагами, обвеваемых сквозным ветром. Модные лавки ломились от непостижимых шляпок: сотнями выставленные на металлических стержнях, увенчанных грибом, созданные, казалось, скорее для вит-

рин, чем для продажи, они оживляли галереи радугою красок. В течение двадцати лет прохожие спрашивали себя: на чьих головах эти пропитанные пылью шляпы окончат свое жизненное поприще? Мастерицы, обычно некрасивые, но разбитные, зазывали женщин лукавыми речами, следуя повадкам и жаргону рыночных торговок. Гризетки, острые на язык и развязные в обращении, взобравшись на табурет, приставали к прохожим: «Сударыня, купите красивую шляпку!» — «Сударь, не изволите ли купить что-нибудь?» Богатый и живописный словарь оживляли выразительные интонации, взгляды и гримасы вслед прохожим. Книгопродавцы и модистки жили в добром согласии. В пассаже, пышно именуемом Стеклянной галереей, гнездились самые своеобразные промыслы. Там обосновались чревовещатели, всякого рода шарлатаны, зрелища, где нечего было смотреть, и зрелища, где вам показывали весь мир. Там на первых порах приютился человек, наживший представлениями на ярмарках семьсот, а может быть, и восемьсот тысяч франков. Вместо вывески у него красовалось вертящееся солнце в черной раме, на которой красной краской была выведена надпись: «*Здесь человек увидит то, чего бог никогда не увидит. За вход два су*». Балаганный зазывала никогда не впускал одного посетителя, но также не впускал и более двух. Стоило туда войти, как вы оказывались перед огромным зеркалом. Внезапно раздавался голос, напоминавший треск механизма, в котором спущена пружина, голос, способный напугать берлинского Гофмана: *Вы видите то, чего бог во веки веков не увидит,— свое подобие; бог не имеет подобия!* Вы уходили пристыженным, не смея признаться в своей глупости. Подле всех дверей раздавались крикливые голоса, расхваливавшие косморамы, виды Константинополя, театр марионеток, автоматы, играющие в шахматы, собак, умеющих отличать первых красавиц. Там, в кафе Бореля, процветал чревовещатель Фиц-Джемс, покуда не перебрался на Монмартр доживать век среди студентов Политехнической школы. Там обитали продавщицы фруктов и цветочницы, знаменитый портной, на витрине которого при вечерних огнях сияло, подобно солнцу, шитье на военных мундирах. С утра и до двух часов пополудни Деревянные галереи были немы, мрач-

ны, пустынны. Торговцы беседовали, как дома. Встречи, которые назначали там парижские жители, приурочивались к трем часам дня — к открытию биржи. Лишь только собиралась публика, молодые люди, безденежные, изголодавшиеся по литературе, приступали к даровому чтению книг, выставленных у дверей книжных лавок. Приказчики, обязанные оберегать лотки с книгами, милосердно дозволяли бедным людям перелистывать страницы. Книги в двенадцатую долю листа, в двести страниц — такие, как «Смарра», «Петер Шлемиль», «Жан Сбогар», «Жоко»,— они проглатывали в два приема. В те времена еще не существовало читальных залов; чтобы прочесть книгу, надобно было ее купить, и поэтому романы тогда продавались в таком количестве, которое в наши дни показалось бы баснословным. Было нечто вполне французское в этой милостыне, подаваемой бедной и жадной к познанию молодежи. Поэзия этого ужасного базара приобретала блеск с наступлением сумерек. Со всех смежных улиц во множестве приходили и съезжались девицы, которым разрешалось прогуливаться тут невозбранно. Со всех концов Парижа спешили туда на промысел публичные женщины. Каменные галереи принадлежали привилегированным домам, которые оплачивали право выставлять разодетых, точно принцессы, девок между такой-то и такой аркадой и в определенном месте в саду, тогда как Деревянные галереи были свободной территорией для проституции, и Пале-Руаяль в те годы называли *храмом проституции*. Женщина могла входить, выходить в сопровождении своей жертвы и увлекать ее, куда только ей вздумается. Эти женщины по вечерам привлекали в Деревянные галереи толпу столь многочисленную, что приходилось двигаться медленно, как в процессии или на маскараде. Медлительность, никого не тяготившая, помогала разглядывать друг друга. Девицы одевались в манере, теперь уже вышедшей из моды: вырез платья до середины спины и столь же откровенный спереди; придуманное ради привлечения взоров затейливое убранство головы: в духе нормандской пастушки, в испанском стиле, кудряшки, как у пуделя, или гладкая прическа на пробор; белые чулки, туго облегающие икры, и уменье, как будто нечаянно, но всегда кстати, выставить ногу напоказ,— вся эта по-

стыдная поэзия ныне утрачена. Вольность вопросов и ответов, весь этот обнаженный цинизм, в полном соответствии с местом, не встречается более ни на маскарадах, ни на балах, столь прославленных в наше время. В этом было нечто страшное и разгульное. Блистающая белизна груди и плеч сверкала на темном фоне мужской толпы и создавала великолепное противопоставление. Гул голосов и шум шагов сливались в сплошной рокот, доносившийся до самой глубины сада, подобно непрерывной басовой ноте, расцвеченной взрывами женского смеха и заглушаемой изредка выкриками ссоры. Люди приличные, люди самые выдающиеся соприкасались здесь с людьми преступного вида. Это чудовищное сборище таило в себе нечто возбуждающее, и самые бесчувственные испытывали волнение. Оттого-то до последней минуты сюда стекался весь Париж, и когда архитектор прокладывал в фундаменте погреба, парижане еще гуляли по деревянному настилу над ними. Великими и единодушными сожалениями сопровождалось разрушение этих отвратительных дощатых бараков.

Лавока открыл свою книжную лавку всего только несколько дней назад, в углу внутреннего пассажа Деревянных галерей, напротив лавки Дориа, молодого человека, ныне забытого, но в свое время отважно расчистившего тот путь, где позже блистал его соперник. Лавка Дориа находилась в рядах, обращенных к саду, лавка Лавока выходила во двор. Лавка Дориа была разделена на две части: в одной помещался обширный книжный магазин, другая служила хозяину кабинетом. Люсьен, впервые появившийся здесь вечером, был поражен зрелищем, неотразимым для провинциалов и юнцов. Вскоре он потерял своего вожатого.

— Будь ты хорош собою, как этот мальчик, я бы тебя полюбила,— сказала какому-то старику одна из девиц, указывая на Люсьена.

Люсьен растерялся, точно собака слепого; он отдался людскому потоку в неописуемом состоянии беспомощности и возбуждения. Преследуемый взглядами женщин, ослепленный белизной округлых плеч, дерзостных грудей, привлекавших его внимание, он шел медленно, крепко держа в руках рукопись, опасаясь, как бы ее у него не украли, о наивный!

— Что вам угодно, сударь? — вскричал он, когда его кто-то схватил за руку: он решил, что на его поэзию покушается какой-нибудь автор. Но то был его друг Лусто. Он сказал Люсьену:

— Я знал, что вы не минуете этих мест.

Поэт стоял у дверей лавки, и Лусто ввел его внутрь помещения. Там толпились люди, ожидавшие момента, чтобы поговорить с султаном книжного дела. Типографы, поставщики бумаги и рисовальщики теснились вокруг продавцов, расспрашивали их о текущих и задуманных делах.

— Посмотрите-ка, вот Фино, редактор моей газеты! А тот, с кем он беседует,— Фелисьен Верну, плут, опасный, как секретная болезнь, но не лишен таланта.

— Послушай, ведь у тебя нынче первое представление, старина,— сказал Фино, подходя вместе с Верну к Лусто.— Я пристроил ложу.

— Ты ее продал Бролару?

— Ну и что ж? Для тебя-то место найдется. А на что тебе нужен Дориа? Ах, к слову сказать, мы решили пустить Поль де Кока. Дориа купил двести экземпляров. Виктор Дюканж отказал ему в романе, и Дориа хочет создать нового автора этого жанра. Ты объявишь Поль де Кока выше Дюканжа.

— Но у нас с Дюканжем идет пьеса в театре Гетэ,— сказал Лусто.

— Пустое! Скажи, что статью писал я, что статья была чересчур резкая, что ты ее смягчил, и он тебе будет еще благодарен.

— Не можешь ли ты пособить мне учесть у кассира Дориа вот этот вексель в сто франков? — сказал Этьен.— Не забудь, что мы нынче ужинаем на новоселье у Флорины.

— Ах, да! Ведь ты нас угощаешь,— сказал Фино, сделав вид, что припоминает с трудом.— Послушайте, Габюссон,— сказал Фино, взяв вексель Барбе и передавая его кассиру,— выдайте этому молодому человеку за мой счет девяносто франков. Поставь передаточную надпись, мой друг!

Лусто взял перо и, покамест кассир отсчитывал деньги, подписал вексель. Люсьен, весь обратясь в слух и зрение, не проронил ни одного слова из этого разговора.

— Но это еще не все, дорогой мой,—заметил Этьен.—Я не благодарю тебя, мы связаны с тобою до гробовой доски, но я должен представить Дориа вот этого юношу, и ты обязан склонить его выслушать нас.

— В чем дело? — спросил Фино.

— Сборник стихов,— отвечал Люсьен.

— А-а! — воскликнул Фино, отскочив.

— Сударь! — сказал Верну, глядя на Люсьена.— Вы неопытны в издательском деле, иначе вы забросили бы рукопись в самый дальний угол своей квартиры.

В это время вошел красивый молодой человек, Эмиль Блонде, начинавший карьеру в «Журналь де Деба» блестящими статьями; он подал руку Фино, Лусто и небрежно поклонился Верну.

— В двенадцать ужин у Флорины,— сказал ему Лусто.

— Приду! — сказал молодой человек.— А кто там будет?

— О! Там будут...—сказал Лусто,—Флорина и москательщик Матифа; дю Брюель, в пьесе которого выступает Флорина; старикашка Кардо и его зять Камюзо; затем Фино...

— Москательщик [1] прилично угощает?

— Не преподнес бы он нам какую-нибудь пилюлю! — сказал Люсьен.

— Юноша не лишен остроумия,— серьезно промолвил Блонде, поглядев на Люсьена.— Скажи, Лусто, он приглашен на ужин?

— Само собою!

— Стало быть, посмеемся...

Люсьен покраснел до ушей.

— Долго ты там будешь возиться, Дориа? — сказал Блонде, стукнув в окошечко кабинета Дориа.

— Сию минуту буду к твоим услугам, голубчик!

— Отлично,— сказал Лусто своему спутнику.— Этот молодой человек, почти ваш сверстник, пишет в «Деба». Он один из владык критики, человек опасный. Дориа выйдет к нему на поклон, и тогда мы доложим о нашем деле этому паше заставок и книгопечатания. Иначе нам

---

[1] Французское слово droquiste значит «москательщик», а также «торговец аптекарскими товарами».

пришлось бы ждать до одиннадцати часов вечера. Аудиенция принимает все более широкие размеры.

Люсьен и Лусто присоединились к Блонде, Фино, Верну, стоявшим в глубине лавки.

— Чем он занят? — спросил Блонде у главного кассира Габюссона, подошедшего с ним поздороваться.

— Покупает еженедельник. Хочет его восстановить, чтобы противодействовать влиянию «Минервы», всецело обслуживающей Эмери, и влиянию «Консерватора», пропитанного слепым романтизмом.

— Платить будут хорошо?

— Как всегда... Чересчур хорошо! — сказал кассир.

В эту минуту вошел молодой человек, недавно выпустивший превосходный роман, который быстро был распродан и пользовался чрезвычайным успехом; роман выходил вторым изданием у Дориа. Этот молодой человек, одаренный внешностью редкостной и примечательной, изобличающей артистическую натуру, произвел сильное впечатление на Люсьена.

— Вот и Натан! — сказал Лусто на ухо провинциальному поэту.

Натан, в ту пору в цвете молодости, подошел к журналистам, снял шляпу и, вопреки своему явному высокомерию, низко им поклонился; в присутствии Блонде, которого Натан знал лишь по внешности, он держался почти подобострастно. Блонде и Фино не потрудились снять шляп.

— Сударь, я счастлив, что мне случайно представился случай...

— От волнения он допустил плеоназм,— сказал Фелисьен Этьену Лусто.

— ...выразить благодарность за вашу прекрасную статью в «Журналь де Деба», посвященную мне. Успехом книги я наполовину обязан вам.

— Полно, дорогой мой, полно,— сказал Блонде, пряча под личиной добродушия покровительственное отношение к Натану.— У вас талант, черт возьми! Очень рад с вами познакомиться.

— Ваша статья уже опубликована, и меня не сочтут за льстеца; теперь мы можем чувствовать себя непринужденно. Надеюсь, вы окажете мне честь и удовольствие отобедать со мною завтра? Будет Фино. Лусто, ты

не откажешься, старина? — прибавил Натан, пожимая руку Этьену.— О, вы на отличной дороге, сударь,—сказал он Блонде.— Вы преемник Дюссо, Фьеве, Жоффруа. Гофман говорил о вас Клоду Виньону, своему ученику и другу; он сказал, что может умереть спокойно, ибо «Журналь де Деба» увековечен. Вам, наверно, платят огромные деньги?

— Сто франков за столбец,— отвечал Блонде.— Не бог весть какая оплата, когда приходится прочитывать столько книг. Из сотни едва ли отыщется одна, которой стоит заняться, как, например, вашей. Ваша книга, честное слово, доставила мне удовольствие.

— И принесла полторы тысячи франков,— сказал Лусто Люсьену.

— Но вы пишете и политические статьи? — спросил Натан.

— Да, время от времени,— отвечал Блонде

Люсьен представлял собою в их среде нечто вроде зародыша; он был восхищен книгой Натана, он почитал его как некоего бога, и подобное низкопоклонство перед критиком, имя и влияние которого были ему неизвестны, ошеломили его. «Ужели я дойду до подобного унижения? Ужели настолько поступлюсь своим достоинством? — говорил он самому себе.— Надень шляпу, Натан! Ты написал прекрасную книгу, а критик всего лишь статью». Кровь в нем закипела при этой мысли. Он видел, как в переполненной народом лавке добивались приема у Дориа робкие молодые люди, начинающие авторы, и как, потеряв надежду получить аудиенцию, они уходили, приговаривая: «Я зайду в другой раз». В центре группы, состоявшей из знаменитостей политического мира, два или три политических деятеля беседовали о созыве палат, о злободневных событиях. Еженедельный журнал, о котором вел переговоры Дориа, имел право писать о политике. В ту пору патенты на общественные трибуны становились редкостью. Газета была преимуществом, столь же желанным, как и театр. В кругу политических деятелей он увидел одного из самых влиятельных пайщиков газеты «Конститюсьонель». Лусто оказался удивительным чичероне. С каждой его фразой Дориа вырастал в воображении Люсьена, постигшего, что политика и литература сосредоточены в этой лавке.

Наблюдая, как поэт проституирует музу, раболепствуя перед журналистом, унижает искусство, уподобляя его падшей женщине, униженной проституцией под сводами этих омерзительных галерей, провинциальный гений постиг страшные истины. Деньги — вот разгадка всего. Люсьен чувствовал себя здесь чужим, ничтожным человеком, связанным с успехом и богатством лишь нитью сомнительной дружбы. Он обвинял своих нежных, своих истинных друзей из Содружества в том, что они изображали свет ложными красками и мешали ему броситься в бой с пером в руке. «Я соревновался бы с Блонде!» — мысленно вскричал он.

Лусто, еще так недавно стенавший на Люксембургских высотах, подобно раненому орлу, и представлявшийся ему столь великим, внезапно умалился в его глазах. Модный издатель, источник всех этих существований, показался ему значительным человеком. Поэт, держа рукопись в руках, ощущал трепет, родственный страху. Посреди лавки на деревянных, раскрашенных под мрамор пьедесталах стояли бюсты Байрона, Гете и г-на де Каналиса, от которого Дориа надеялся получить томик стихов; поэт, заглянув в лавку, должен был видеть, как высоко вознес его книгопродавец; Люсьен невольно терял чувство уверенности в себе, отвага его ослабевала, он предвидел, какое влияние может оказать Дориа на его судьбу, и с нетерпением ждал его появления.

— Так вот, дети мои,— сказал толстый, низенький человек с жирным лицом, похожий на римского проконсула; напускное простодушие, обманывавшее поверхностных людей, несколько смягчало выражение этого лица.— Наконец-то я владелец единственного еженедельного журнала, который можно было купить и у которого две тысячи подписчиков.

— Хвастун! Налог оплачивается за семьсот. Но и это недурно,— сказал Блонде.

— Клянусь, подписчиков тысяча двести. Я сказал «две тысячи»,— заметил толстяк вполголоса,— ради тех вот поставщиков бумаги и типографов. Я думал, что у тебя больше такта, Блонде! — добавил он громко.

— Принимаете пайщиков? — спросил Фино.

— Смотря по обстоятельствам,— сказал Дориа.— Желаешь одну треть за сорок тысяч франков?

— Согласен, если вы пригласите сотрудниками Эмиля Блонде, здесь присутствующего, Клода Виньона, Скриба, Теодора Леклера, Фелисьена Верну, Жэ, Жуи, Лусто...

— А отчего не Люсьена де Рюбампре? — отважно сказал провинциальный поэт, прерывая Фино.

— ...и Натана,— сказал Фино в заключение.

— А отчего не первого встречного? — сказал книгопродавец, нахмурив брови и оборачиваясь в сторону автора «Маргариток».— С кем имею честь?..— сказал он, нагло глядя на Люсьена.

— Минуту внимания, Дориа,— отвечал Лусто.— Это мой знакомый. Покамест Фино будет обдумывать ваше предложение, выслушайте меня.

Люсьен почувствовал, как от холодного пота увлажнилась рубашка на его спине под жестким и злым взглядом этого грозного падишаха книжного дела, обращавшегося к Фино на «ты», тогда как Фино говорил ему «вы», называвшего «голубчиком» опасного Блонде и милостиво протянувшего руку Натану в знак дружественного отношения к нему.

— Полно, мой милый! — воскликнул Дориа.— Ведь ты знаешь, что у меня тысяча сто рукописей. Да, сударь, мне представлено тысяча сто рукописей! Спросите у Габюссона!—кричал он.—Скоро понадобится особый штат для заведования складом рукописей, комиссия для их просмотра, заседания, дабы путем голосования определять их достоинства, жетоны для оплаты присутствующих членов и непременный секретарь для представления им отчетов. То будет филиальное отделение Французской академии, и академики Деревянных галерей будут получать больше, нежели институтские.

— Это мысль,— сказал Блонде.

— Дурная мысль,— продолжал Дориа.— Не мое дело разбирать плоды кропотливого сочинительства тех из вас, которые бросаются в литературу, отчаявшись стать капиталистами, сапожниками, капралами, лакеями, чиновниками, судебными приставами! Доступ сюда открыт лишь людям с именем! Прославьтесь, и вы найдете здесь золотое руно. За два года я создал трех знаменитостей, и все трое неблагодарны! Натан требует шесть тысяч франков за второе издание своей книги, между тем я вы-

бросил три тысячи франков за статьи о ней, а сам не заработал и тысячи. За две статьи Блонде я заплатил тысячу франков и на обед истратил пятьсот.

— Но если все издатели станут рассуждать, как вы, сударь, как же тогда напечатать первую книгу? — спросил Люсьен, в глазах которого Блонде страшно упал, когда он узнал, что Дориа заплатил за статьи в «Деба».

— Это меня не касается,— сказал Дориа, бросив убийственный взгляд на прекрасного Люсьена, мило ему улыбавшегося,— я не желаю печатать книги, которые при риске в две тысячи франков дают две тысячи прибыли; я спекулирую на литературе: я печатаю сорок томов в десяти тысячах экземпляров, как Панкук и Бодуэн. Благодаря моему влиянию и статьям друзей я делаю дело в сто тысяч экю и не стану продвигать том в две тысячи франков. Я не желаю тратить на это силы. Выдвинуть книгу неизвестного автора труднее, нежели обеспечить успех таким сочинениям, как «Иностранный театр», «Победы и завоевания» или «Мемуары о революции», а они принесут целое состояние. Я отнюдь не намерен служить подножкой для будущих знаменитостей, я желаю зарабатывать деньги и снабжать ими прославленных людей. Рукопись, которую я покупаю за сто тысяч, обходится мне дешевле, чем рукопись неизвестного автора, за которую тот просит шестьсот франков. Если я не вполне меценат, все же я имею право на признательность со стороны литературы: я уже удвоил гонорар за рукописи. Я излагаю вам свои доводы, потому что вы друг Лусто, мой мальчик,— сказал Дориа, похлопав поэта по плечу с возмутительной фамильярностью. — Ежели бы я так разговаривал со всеми авторами, желающими, чтобы я издал их труды, пришлось бы закрыть лавочку, ибо я растрачивал бы время на приятные, но чересчур дорогие беседы. Я еще не так богат, чтобы выслушивать монологи любого честолюбца. Это допустимо на театре в классических *трагедиях.*

Роскошь одеяния грозного Дориа подкрепляла в глазах провинциального поэта эту речь, полную жестокой логики.

— Что там у него? — спросил Дориа у Лусто.

— Томик великолепных стихов.

Услышав это, Дориа оборотился к Габюссону движением, достойным Тальма́.

— Габюссон, дружище! С нынешнего дня, если кто-либо явится с рукописью... Эй, вы! Послушайте-ка! — сказал он, обращаясь к трем продавцам, высунувшимся из-за кипы книг на гневный голос патрона, который разглядывал свои ногти и холеную руку.— Кто бы ни принес рукопись, спрашивайте — стихи это или проза. Если стихи, тотчас выпроваживайте. Стихи — смерть для книжного дела!

— Браво! Отлично сказано, Дориа! — вскричали журналисты.

— Клянусь честью! — восклицал издатель, шагая взад и вперед по лавке с рукописью Люсьена в руках.— Вы не знаете, господа, какое зло нам причинили лорд Байрон, Ламартин, Виктор Гюго, Казимир Делавинь, Каналис и Беранже. Их слава вызвала целое нашествие варваров. Я уверен, что в настоящее время у издателей находится в рукописях до тысячи томов стихов, начатых с середины прерванной истории, где нет ни начала, ни конца, в подражание «Корсару» и «Ларе». Под предлогом самобытности молодые люди сочиняют непостижимые строфы, описательные поэмы и воображают, что создали новую школу в духе Делиля. За последние два года поэтов развелось пропасть, точно майских жуков. Прошлый год я на них понес двадцать тысяч убытку. Спросите у Габюссона. В мире, может быть, и есть бессмертные поэты среди тех розовых и свежих, еще безбородых юнцов, что приходят ко мне,— сказал он Люсьену,— но в издательском мире существуют только четыре поэта: Беранже, Казимир Делавинь, Ламартин, Виктор Гюго; ибо Каналис... поэт, созданный газетными статьями.

Люсьен не нашел в себе мужества выпрямиться и принять независимый вид перед этими влиятельными людьми, смеявшимися от чистого сердца. Он понял, что его вышутят и погубят, если он возмутится; но он испытывал неодолимое желание схватить издателя за горло, нарушить оскорбительную гармонию его галстука, разорвать золотую цепь, сверкавшую на его груди, растоптать его часы, растерзать его самого. Уязвленное само-

любие открывало дверь мщению, и, улыбаясь издателю, он поклялся в смертельной ненависти к нему.

— Поэзия подобна солнцу, которое выращивает вековые леса и порождает комаров, мошек и москитов,— сказал Блонде.— Нет добродетели, оборотной стороной которой не являлся бы порок. Литература порождает книжную торговлю.

— И журналистов! — сказал Лусто.

Дориа расхохотался.

— Что же это наконец? — сказал он, указывая на рукопись.

— Сборник сонетов, в укор Петрарке,— сказал Лусто.

— Как это понять? — спросил Дориа.

— Как все понимают,— сказал Лусто, заметив тонкую усмешку на устах присутствующих.

Люсьен не мог обнаружить своей злобы, но пот проступил под его доспехами.

— Хорошо, я прочту,— сказал Дориа с царственным жестом, означавшим широту его милости.— Если твои сонеты на высоте девятнадцатого века, милый мальчик, я сделаю из тебя большого поэта.

— Если он столь же даровит, как и прекрасен, вы рискуете немногим,— сказал один из прославленных ораторов палаты, беседовавший с редактором «Конститюсьонель» и директором «Минервы».

— Генерал,— сказал Дориа,— слава — это двенадцать тысяч франков на статьи и тысяча экю на обеды: спросите у автора «Отшельника». Если господин Бенжамен Констан пожелает написать статью о молодом поэте, я тотчас же заключу с ним договор.

При слове «генерал» и имени знаменитого Бенжамена Констана лавка в глазах провинциальной знаменитости приняла размеры Олимпа.

— Лусто, мне надобно с тобою поговорить,— сказал Фино.— Мы встретимся в театре! Дориа, я принимаю предложение, но при одном условии! Идемте в ваш кабинет, побеседуем.

— Побеседуем, дружок,— сказал Дориа, пропуская Фино вперед и жестом давая понять ожидавшим его десяти посетителям, что он занят.

Он уже собирался исчезнуть, как вдруг нетерпеливый Люсьен остановил его.

— Вы взяли мою рукопись; когда ждать ответа?

— Зайди, мальчик, дня через три или четыре, тогда увидим.

Лусто увлек Люсьена, не дав ему времени раскланяться с Верну, Блонде, Раулем Натаном, генералом Фуа и Бенжаменом Констаном, книга которого «Сто дней» только что появилась. Люсьен вскользь успел рассмотреть его изящную фигуру, белокурые волосы, продолговатое лицо, умные глаза, приятный рот, короче сказать, весь облик того человека, который двадцать лет был Потемкиным при г-же де Сталь, боролся с Бурбонами после борьбы с Наполеоном и которому суждено было умереть сраженным своей победой.

— Что за лавочка! — вскричал Люсьен, садясь подле Лусто в кабриолет.

— В Драматическую панораму. Живей! Получишь тридцать су,— сказал Этьен кучеру.— Дориа—пройдоха, в год он продаст книг на полтора миллиона франков, а то и более. Он как бы министр от литературы,—отвечал Лусто, самолюбие которого было приятно польщено, и перед Люсьеном он изображал великого мастера.— В алчности он не уступит Барбе, но размах у него шире. Дориа соблюдает приличия; он великодушен, но тщеславен; что касается ума,— это вытяжки из всего, что вокруг него говорится; лавка его — любопытное место. Тут можно побеседовать с выдающимися людьми нашего времени. Тут, дорогой мой, за один час юноша почерпнет больше, нежели за десять лет кропотливого труда над книгами. Тут обсуждают статьи, тут находят темы, завязывают связи с влиятельными и знаменитыми людьми, которые могут оказаться полезными. Нынче, чтобы выдвинуться, необходимо заручиться знакомствами. Все случай, как видите! Самое опасное — философствовать, сидя в своей норе.

— Но какая наглость! — сказал Люсьен.

— Пустое! Мы все потешаемся над Дориа,— отвечал Этьен.— Если вы нуждаетесь в нем, он будет вас полировать; он нуждается в «Журналь де Деба»,—Эмиль Блонде заставляет его вертеться волчком. О! Если вы войдете в литературу, вы еще не то увидите. Неужто я вам не говорил?

— Да, вы были правы,— отвечал Люсьен.— Я сра-

дал в этой лавке более, нежели ожидал по вашим предсказаниям.

— К чему страдать? То, что мы оплачиваем нашей жизнью,— наши темы, иссушающие мозг, созданные в бессонные ночи, наши блуждания в области мысли, наш памятник, воздвигнутый на нашей крови,— все это для издателей только выгодное или убыточное дело. Для издателей наша рукопись — вопрос купли и продажи. Для них в этом — вся задача. Книга для них представляет капитал, которым они рискуют: чем книга лучше, тем менее шансов ее продать. Каждый выдающийся человек возвышается над толпой, стало быть, его успех в прямом соотношении с временем, необходимым для оценки произведения. Ни один издатель не желает ждать. Книга, вышедшая сегодня, должна быть продана завтра. Согласно этой системе, издатели отвергают книги содержательные, требующие высокой, неторопливой оценки.

— Д'Артез прав! — вскричал Люсьен.

— Вы знаете д'Артеза? — сказал Лусто.— По моему мнению, нет ничего опаснее одиноких мыслителей, подобных этому юноше, воображающих, что они могут увлечь за собою мир; эти фанатики совращают мечтателей, которые питают свое воображение самообольщением, уверенностью в своих силах, что свойственно всем нам в юности; эти люди с посмертной славой препятствуют нам выдвигаться вперед в том возрасте, когда продвижение возможно и полезно. Я предпочитаю систему Магомета, который, приказав горе придвинуться к нему, затем воскликнул: «Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе!»

Эта острота, представившая доводы в яркой форме, способна была поколебать Люсьена в выборе между стоической нищетой, которая проповедовалась Содружеством, и воинствующей доктриной в изложении Лусто. Вот отчего ангулемский поэт вплоть до бульвара Тампль хранил молчание.

Драматическая панорама помещалась на бульваре Тампль, напротив улицы Шарло, ныне на этом месте стоит жилой дом; то была очаровательная театральная зала, и хотя на ее подмостках впервые выступал Буффе, единственный из актеров, унаследовавший искусство

Потье, а также Флорина, актриса, стяжавшая пять лет спустя громкую славу, все же там погибли, не добившись ни малейшего успеха, две антрепризы. Театры, как и люди, покорствуют своей судьбе. Драматическая панорама соперничала с Амбигю, Гетэ, Порт-Сен-Мартен и с театрами водевилей; она не могла устоять против их происков, будучи ограничена в правах и в выборе пьес. Авторы не желали ссориться с существующими театрами ради театра, жизнеспособность которого казалась сомнительной. Однако ж дирекция рассчитывала на новую пьесу, в духе комической мелодрамы, молодого автора по имени дю Брюэль, сотрудничавшего с кем-то из знаменитостей, но утверждавшего, что пьеса написана им лично. Эта мелодрама была написана для Флорины, до той поры статистки театра Гетэ. Она целый год служила там на выходных ролях и, хотя была замечена, ангажемента получить все же не могла, и Панорама, так сказать, похитила ее у соседа. Там впервые выступала и другая актриса — Корали. Когда друзья вошли в театр, Люсьен подивился могуществу печати.

— Этот господин пришел со мною,— сказал Этьен, и все контролеры склонили головы.

— Вам будет трудно найти место, сударь,— сказал старший контролер.— Свободна только ложа директора.

Этьен и Люсьен бродили по коридору, вели переговоры с капельдинерами.

— Идем на сцену, поговорим с директором, он даст нам свою ложу. И я тебя представлю героине вечера, Флорине.

По знаку Лусто служитель при оркестре вынул ключик и открыл потайную дверь в толстой стене. Люсьен последовал за своим другом и внезапно из освещенного коридора попал в ту темную лазейку, которая почти во всех театрах служит путем сообщения между зрительной залой и кулисами. Затем, поднявшись по сырым ступенькам, провинциальный поэт очутился за кулисами, и перед его глазами открылось диковинное зрелище. Узкие подпорки для декораций, высота сцены, передвижные стойки с кенкетами, декорации вблизи столь безобразные, размалеванные актеры в причудливых одеяниях, сшитых из грубых тканей, рабочие в замасленных куртках, канаты, свисающие с потолка, подобранные

задники, режиссер, разгуливающий в шляпе, отдыхающие фигурантки, пожарные — весь этот шутовской реквизит, унылый, грязный, омерзительный, мишурный, весьма мало напоминал то, что Люсьен видел из зрительной залы, и удивлению его не было предела. Шел последний акт тягучей мелодрамы «Бертрам»—пьесы, написанной в подражание одной трагедии Матюрена, высоко ценимой Нодье, лордом Байроном и Вальтером Скоттом, но не имевшей успеха в Париже.

— Давайте вашу руку, коли не желаете свалиться в трап, опрокинуть себе на голову лес, разрушить дворец или зацепиться за хижину,— сказал Этьен Люсьену.— Скажи, мое сокровище, Флорина у себя в уборной? — спросил он актрису, которая в ожидании выхода на сцену прислушивалась к репликам актеров.

— Да, душенька! Спасибо, что замолвил за меня слово. Это тем более мило, что Флорина приглашена в наш театр.

— Смотри, деточка, не упусти выигрышной минуты,— сказал ей Лусто.—Бросайся на сцену, воздев руки! Произнеси с чувством: «*Остановись, несчастный!*» Ведь нынче сбор две тысячи.

Люсьен подивился на актрису, которая мгновенно преобразилась и вскричала: «*Остановись, несчастный!*» — голосом, леденящим кровь. То была другая женщина.

— Таков театр! — сказал ему Лусто.

— Такова в литературном мире лавка Дориа в Деревянных галереях, такова газета — настоящая кухня,— отвечал его новый друг.

Появился Натан.

— Ради кого вы тут себя утруждаете? — спросил Лусто.

— В ожидании лучшего я пишу для «Газетт» о маленьких театрах,— отвечал Натан.

— А-а! Отужинайте сегодня с нами и похвалите Флорину, буду премного вам обязан,— сказал ему Лусто.

— К вашим услугам,— отвечал Натан.

— Вы знаете, она живет теперь в улице Бонди.

— Лусто, душка, кто этот красивый молодой человек? — спросила актриса, возвратившись за кулисы.

— Э, моя дорогая, это большой поэт, будущая знаменитость. Господин Натан, мы ужинаем вместе, позвольте представить вам господина Люсьена де Рюбампре.

— Вы носите хорошее имя, сударь,— сказал Люсьену Рауль Натан.

— Люсьен! Господин Рауль Натан,— сказал Лусто своему новому другу.

— Тому два дня я прочел вашу книгу. Признаюсь, читая ее и ваш сборник стихов, я не мог вообразить себе, что вы способны так угодничать перед журналистом.

— Я отвечу вам, когда выйдет ваша первая книга,— с тонкой улыбкой отвечал Натан.

— Поглядите-ка, поглядите, роялисты и либералы пожимают друг другу руки! — вскричал Верну, увидев это трио.

— Поутру я солидарен с моей газетой,— сказал Натан,— но вечером я думаю что хочу: *ночью все журналисты серы.*

— Этьен,— сказал Фелисьен Верну, обратясь к Лусто,— Фино пришел со мной, он тебя ищет... А-а, вот и он!

— Что за вздор! Ни одного места! — сказал Фино.

— В наших сердцах для вас всегда есть место,— сказала актриса, нежно ему улыбаясь.

— Флорвиль, крошка моя, ты исцелилась от любви? Прошла молва, что тебя похитил русский князь?

— Неужто нынче похищают женщин? — сказала Флорвиль, актриса на ролях: *«Остановись, несчастный!»* — Мы провели десять дней в Сен-Манде, мой князь расквитался, возместив убытки администрации, и директор,— смеясь, прибавила Флорвиль,— молит бога, чтобы он почаще посылал русских князей: ведь возмещение превышает полный сбор.

— Ну, а ты, деточка,— сказал Фино красивой «поселянке», слушавшей их разговор,— где ты похитила алмазные бляшки, что у тебя в ушах? Обобрала индийского принца?

— Нет, англичанина, фабриканта ваксы, он уже уехал! Не всем везет, как Флорине и Корали, на миллионеров, скучающих в своей семье. Ведь вот счастливицы!

— Флорвиль, ты пропустишь свой выход! — вскричал Лусто.— Вакса твоей подруги ударила тебе в голову.

— Если желаешь иметь успех,— сказал ей Натан, — не завывай, точно фурия: «*Он спасен!*» Выйди совершенно просто, подойди к рампе, скажи грудным голосом: «*Он спасен!*», как Паста говорит в «Танкреде»: «*O patria!*» [1]. Выходи же! — прибавил он, подталкивая ее.

— Поздно, эффект упущен! — сказал Верну.

— Что она сделала? Зала гремит от рукоплесканий,— сказал Лусто.

— Встала на колени и показала грудь. Это ее выигрышное место,— сказала актриса, вдова фабриканта ваксы.

— Директор дает нам свою ложу. Мы там увидимся,— сказал Этьену Фино.

Тогда Лусто провел Люсьена за сцену, через лабиринт кулис, коридоров и лестниц, на третий этаж, в комнатку, куда за ними последовали Натан и Фелисьен Верну.

— Добрый день, вернее, добрый вечер, господа! — сказала Флорина и, оборотясь к толстому, коротконогому человеку, стоявшему в углу, прибавила: — Эти господа — вершители моей судьбы. Моя будущность в их руках; но я надеюсь, что завтра утром они очутятся у нас под столом, и если Лусто не забыл...

— Как забыл? У вас будет Блонде из «Деба»,— вскричал Этьен,— живой Блонде! Сам Блонде! Короче, Блонде!

— О милый мой Лусто! Я должна тебя расцеловать! — сказала актриса, бросаясь к нему на шею.

Наблюдая эту сцену, толстяк Матифа состроил грустную мину. Шестнадцатилетняя Флорина была худощава. Красота ее, как нераспустившийся цветок, сулила многое, она была во вкусе артистических натур, предпочитающих эскизы картинам. Обворожительная актриса с тонким личиком, столь ее отличающим, была в ту пору воплощением Гётевой Миньоны. Матифа, богатый москательщик с улицы Ломбар, полагал, что актриса маленького театра не будет для него разорительна, но за один-

---

[1] О родина! *(итал.)*

надцать месяцев Флорина обошлась ему в шестьдесят тысяч франков. Ничто не показалось Люсьену столь несоответствующим месту, как этот благодушный почтенный негоциант, стоявший, точно бог Терминус, в углу гостиной в десять квадратных футов, оклеенной красивыми обоями, устланной ковром, уставленной шкафами, диваном, двумя креслами, с зеркалом и камином. Горничная оканчивала облачение актрисы в испанский наряд. Пьеса была имброльо, и Флорина исполняла роль графини.

— Эта девушка лет через пять будет лучшей актрисой в Париже,— сказал Натан Фелисьену.

— Так вот, мои душеньки,— сказала Флорина, оборачиваясь к трем журналистам,— позаботьтесь-ка обо мне завтра: прежде всего я заказала кареты на всю ночь, ведь я напою вас, как на масленице. Матифа достал та-акие вина... О!.. Вина, достойные Людовика Восемнадцатого! И пригласил повара прусского посла.

— Судя по обличью господина Матифа, можно ожидать грандиозного пира,— сказал Натан.

— О, о!.. Ему известно, что он угощает самых опасных в Париже людей,— отвечала Флорина.

Матифа встревоженно посматривал на Люсьена: красота юноши возбуждала в нем ревность.

— А вот одного из вас я не знаю,— сказала Флорина, заметив Люсьена.— Кто вывез из Флоренции Аполлона Бельведерского? Нет, право, он мил, как картинка Жироде.

— Мадемуазель,— сказал Лусто.— Этот юноша — провинциальный поэт... Б-ба! Я забыл его представить вам. Как вы хороши нынче! Ну, можно ли тут помнить о какой-то вежливости и учтивости?..

— Разве он богат, что пишет стихи? — спросила Флорина.

— Беден, как Иов,— отвечал Люсьен.

— Соблазнительно! — сказала актриса.

В комнату вбежал дю Брюэль, автор пьесы, молодой человек в рединготе, маленький, юркий, с повадками чиновника и вместе с тем рантье и биржевого маклера.

— Флорина, милая, вы хорошо знаете роль, а? Не запамятуйте! Проведите второй акт тонко, с блеском! Фразу *«Я не люблю вас!»* скажите, как мы условились.

— Зачем вы играете роли, где встречаются подобные фразы? — сказал Матифа Флорине.

Замечание москательщика было встречено общим смехом.

— А вам какое дело? Я же не вам это говорю, глупое животное! — сказала она.— О! Своей глупостью он приносит мне счастье,— прибавила она, обращаясь к писателям.— Честное слово, я платила бы ему за каждую глупость, если бы не опасалась, что разорюсь.

— Да, но вы, репетируя роль, при этих словах смотрите на меня, и я боюсь,— отвечал москательщик.

— Хорошо, я буду смотреть на Лусто,— отвечала она.

В коридорах раздался звонок.

— Уходите прочь! — сказала Флорина.— Мне надо прочесть роль и постараться ее понять.

Люсьен и Лусто вышли последними. Лусто поцеловал Флорину в плечо, и Люсьен слышал, как актриса сказала:

— Сегодня невозможно. Старый дурачина сказал жене, что едет в деревню.

— Не правда ли, мила? — сказал Этьен Люсьену.

— Но, дорогой мой, этот Матифа!..— вскричал Люсьен.

— Э, дитя мое, вы еще не знаете парижской жизни,— ствечал Лусто.— Приходится мириться! Ведь любят же замужних. Так и тут! Находишь оправдание.

Этьен и Люсьен вошли в литерную ложу бенуара: там уже были директор театра и Фино. В ложе напротив сидел Матифа со своим приятелем Камюзо, торговцем шелками, покровителем Корали, и его тестем, почтенным старичком. Буржуа протирали стекла зрительных трубок, беспокойно поглядывая в партер, не в меру оживленный. В ложах была обычная для премьер публика: журналисты со своими возлюбленными, содержанки со своими любовниками, несколько старых театралов, лакомых до первых представлений, светские люди — любители волнений такого рода. В одной из литерных лож сидел со всей семьей начальник главного управления финансами, пристроивший дю Брюэля на жалованье по своему ведомству — чистейшая синекура для водевилиста. Люсьен начиная с обеда не переставал

изумляться. Жизнь литератора, представшая перед ним в эти два месяца столь бедственной, столь обездоленной, столь страшной в комнате Лусто, столь униженной и вместе с тем столь наглой в Деревянных галереях, теперь развертывалась в необычном великолепии и в новом свете. Соединение возвышенного и низменного, сделки с совестью, порабощение и господство, измены и утехи, величие и падение ошеломляли его, как ошеломляет впечатлительного человека невиданное зрелище.

— Как вы полагаете, пьеса дю Брюэля будет делать сборы? — спросил Фино директора.

— Пьеса — комедия, построенная на интриге; дю Брюэль соревнуется с Бомарше. Публика с бульваров не любит этого жанра, она жаждет пряных ощущений. Остроумие здесь не ценится Сегодня все зависит от Флорины и Корали, они восхитительно милы и красивы. Девчонки в коротких юбках пляшут испанский танец, они способны расшевелить публику. Это представление — ставка на карту. Если газета обеспечит успех хлесткими статьями, я могу заработать сто тысяч.

— Нет, я уже вижу, успеха большого не будет,— сказал Фино.

— Три соседних театра строят против меня козни, они посадили клакеров; свистеть будут обязательно; но я принял меры, можно пресечь их заговор. Я заплатил клакерам противников, они не станут усердствовать; два негоцианта, желая обеспечить торжество Корали и Флорины, купили по сто билетов каждый и роздали их знакомым, и те готовы вытолкать свистунов за дверь. Клака, дважды оплаченная, позволит себя вытолкать, а подобная расправа всегда хорошо действует на публику.

— Двести билетов! Вот драгоценные люди! — вскричал Фино.

— Да, будь у меня еще такие красивые актрисы, как Флорина и Корали, и с такими же богатыми покровителями, я бы выпутался.

Все то, что Люсьен слышал за эти два часа, сводилось к деньгам. В театре, как и в книжной лавке, как и в редакции газеты, настоящего искусства и настоящей славы не было и в помине. Удары пресса для чеканки монет неумолимо обрушивались на его голову и сердце, повергая его в трепет. Покамест оркестр исполнял увер-

тюру, Люсьен невольно противопоставлял рукоплесканиям и свисткам мятежного партера картины, полные мирной и чистой поэзии, услаждавшие его в типографии Давида, когда они оба грезили чудесами искусства, благородным торжеством гения, белокрылой славой. Поэт вспомнил вечера, проведенные в кружке, и на глазах его блеснули слезы.

— Что с вами? — сказал ему Этьен Лусто.

— Я вижу поэзию в грязи,— отвечал он.

— Эх, мой дорогой, вы все еще во власти мечтаний!

— Но неужто необходимо пресмыкаться и терпеть жирных Матифа и Камюзо, как актрисы терпят журналистов, как мы терпим издателей?

— Милый мой,— сказал ему на ухо Этьен, указывая на Фино,— посмотрите на этого неуклюжего малого, у него нет ни ума, ни таланта, но он алчен, жаждет богатства любою ценою; он ловок в делах. В лавке Дориа он взял с меня сорок процентов, и с таким видом, точно сделал мне одолжение! И эта бестия хранит письма, в которых будущие гении пресмыкаются перед ним из-за ста франков.

У Люсьена сердце сжалось от отвращения, он вспомнил подпись под рисунком, валявшимся на зеленом сукне в редакции: *Фино, дай мне сто франков!*

— Лучше умереть,— сказал он.

— Лучше жить,— отвечал Этьен.

Занавес поднялся, директор пошел за кулисы отдать какие-то распоряжения.

— Мой милый,— сказал тогда Фино Этьену,— Дориа дал мне слово, я получу треть паев в его еженедельном журнале. Я даю за это тридцать тысяч франков, при условии, что буду главным редактором и директором. Дело блестящее. Блонде сказал, что готовятся ограничительные законы для прессы, сохранят лишь существующие органы печати. Через полгода, чтобы издавать новую газету, понадобится миллион. Итак, я рискнул, хотя у меня всего десять тысяч. Послушай! Если ты устроишь так, что половину моей доли—одну шестую—Матифа купит за тридцать тысяч, я предоставлю тебе место главного редактора в моей газетке с окладом в двести пятьдесят франков в месяц. Ты будешь подставным лицом. Фактически я останусь главой редакции. Я

сохраню все права, делая вид, что стою в стороне. На оплату статей я буду давать тебе по пяти франков за столбец; ты можешь выгадать франков пятнадцать в день, заказывая статьи по три франка за столбец и пользуясь бесплатными сотрудниками. Вот тебе еще четыреста пятьдесят франков в месяц. Но я хочу остаться хозяином положения, защищать людей или нападать на них по своей воле. За тобой остается право топить врагов, поддерживать друзей, поскольку это не будет мешать моей политике. Возможно, я стану сторонником правительства или махровым роялистом, я еще не решил; но я хочу под шумок сохранить связи с либералами. Я с тобой говорю откровенно, ты славный малый. Возможно, я передам тебе отчеты о заседаниях палаты. Короче, поручи Флорине вмешаться в это дело и скажи, чтобы она поднажала на своего москательщика: через два дня я должен или отказаться, или внести деньги. Дориа продал другую треть за тридцать тысяч своему типографу и поставщику бумаги. Сам он получит свою треть gratis [1] и еще наживет тысяч десять франков: ведь он за все заплатил лишь пятьдесят тысяч. Но через год все пай можно продать двору за двести тысяч, если у двора достанет здравого смысла скупать газеты, как о том ходят слухи.

— Ты удачлив! — вскричал Лусто.

— Кабы на твою долю выпало столько терзаний, сколько я их вытерпел, ты не сказал бы этого. И меня, видишь ли, все еще преследует несчастье, непоправимое в наше время: я сын шляпочника, поныне еще торгующего шляпами на улице Дюкок. Выдвинуть меня может только революция, а раз нет социального переворота, надо стать миллионером. Может, я ошибаюсь, но из этих двух возможностей революция, пожалуй, осуществимее. Носи я имя твоего друга, я был бы в отличном положении. Молчок! Идет директор... До свиданья,— сказал Фино.— Я еду в Оперу. Возможно, у меня завтра будет дуэль; я напечатаю за подписью Ф. сокрушительную статью против двух танцовщиц, у которых покровители — генералы. Я нападу, и жестоко нападу на Оперу.

— А-а, вот как? — сказал директор.

---

[1] Даром *(лат.)*.

— Да, каждый скаредничает, — отвечал Фино. — Тот отказывает в ложе, другой скупится взять полсотни абонементов. Я поставил Опере ультиматум: я теперь требую подписки на сто экземпляров и четыре ложи в месяц. Если они согласятся, у моей газеты будет тысяча подписчиков — из них двести фиктивных. Я знаю средство добыть еще двести таких подписчиков, и к январю у нас будет тысяча двести...

— Вы нас окончательно разорите,— сказал директор.

— Вам нет причины жаловаться, у вас всего лишь десять абонементов. И я устроил вам две благожелательные статьи в «Конституционель».

— О, я не жалуюсь! — вскричал директор.

— До завтрашнего вечера, Лусто! — продолжал Фино.— Ты дашь мне ответ во Французском театре, там завтра премьера; а так как у меня нет времени написать статью, возьми в редакции мою ложу. Я отдаю тебе предпочтение: ты трудился ради меня, я признателен. Фелисьен Верну предлагает редактировать газету безвозмездно в течение года и сверх того дает двадцать тысяч за треть паев; но я хочу быть полным хозяином. Прощай!

— Недаром его имя Фино [1],— сказал Люсьен, обращаясь к Лусто.

— О, этот висельник выйдет в люди! — отвечал Этьен, не заботясь, что его слова могут быть услышаны: делец в это время затворял за собою дверь ложи.

— Он?..— сказал директор.— Он будет миллионером, он завоюет общее уважение и, может статься, приобретет друзей...

— Боже мой, какой вертеп! — сказал Люсьен.— И вы впутываете в это дело прелестную девушку,— сказал он, указывая на Флорину, бросавшую на них нежные взгляды.

— И она проведет его с успехом. Вы не знаете преданности и лукавства этих милых созданий,— отвечал Лусто.

— Они искупают все свои слабости, они заглаживают все свои проступки беззаветной любовью, когда им случится полюбить,— сказал директор.— Страсть актри-

---

[1] Фамилия Фино (Finot) звучит по-французски, как слово finaud — «хитрец».

сы тем более прекрасна, что она являет собою резкую противоположность со всем окружающим ее.

— Это все равно, что найти в грязи алмаз, достойный украшать самую горделивую корону,— сказал Лусто.

— Но,— продолжал директор,— Корали сегодня в полном рассеянии. Ваш друг, сам о том не подозревая, пленил бедняжку, и она провалит пьесу: она опаздывает подавать реплики; вот уже два раза она не слышала суфлера. Сударь, прошу вас, пересядьте в уголок,— сказал он Люсьену.— Если Корали влюбилась, я скажу ей, что вы уехали.

— О нет! Напротив! — вскричал Лусто.— Скажите, что он ужинает с нами, что она вольна делать с ним, что пожелает, и она сыграет роль, как мадемуазель Марс.

Директор вышел.

— Друг мой! — сказал Люсьен Этьену.— Как вам не совестно выманивать через мадемуазель Флорину у этого москательщика тридцать тысяч за половину доли Фино? Она вся-то обошлась ему в эту сумму!

Лусто не дал Люсьену окончить нравоучение.

— Из каких вы стран, дитя мое? Ведь москательщик не человек — это просто несгораемый шкаф, даро-ванный нам любовью.

— Но ваша совесть?

— Совесть, мой милый,— это палка, которою всякий готов бить своего ближнего, но отнюдь не самого себя. Какого дьявола вам еще нужно? Случай в первый же день совершил ради вас чудо, которого я добиваюсь два года, а вы занялись рассуждениями о качестве средств! К чему? Мне казалось, что вы человек умный, что вы достигли независимости мысли, столь необходимой в наше время для людей умственного труда, прокладывающих себе путь, а вы впадаете в ханжество, точно монахиня, бичующая себя за съеденное в свое удовольствие яичко... Если Флорина уговорит Матифа, я стану главным редактором, мне будут обеспечены двести пятьдесят франков в месяц, я возьму на себя большие театры, передам Верну театры водевилей, а вы унаследуете театры на Больших бульварах. Вы будете получать три франка за столбец изо дня в день; это составит тридцать столбцов или девяносто франков в месяц; на шестьдесят франков вы продадите Барбе книг; затем вы имеете право требовать

с ваших театров по десяти билетов ежемесячно,— всего сорок билетов,— и сбывать их за сорок франков театральному Барбе, с которым я вас познакомлю. Вот вам двести франков в месяц. Оказавшись полезным Фино, вы получите возможность помещать статьи, франков этак на сто, в его еженедельнике, если у вас обнаружится крупный талант, ибо там статьи идут за подписью, и нельзя нести всякий вздор, как в мелких газетках. Вот вам и сто экю в месяц! Милый мой, есть люди с талантом, как бедняга д'Артез, который неизменно обедает у Фликото, но им нужно трудиться лет десять, чтобы получить сто экю. Вы будете зарабатывать пером четыре тысячи в год, не считая доходов от издателей, если пожелаете писать для них. А ведь супрефект получает только тысячу экю жалованья и не очень развлекается в своем округе. Я уже не говорю об удовольствии посещать даром театры, ибо это удовольствие быстро становится обузой; но вы получите доступ за кулисы четырех театров. Будьте непреклонны и остроумны, и месяца через два вас одолеют приглашениями на ужины и увеселительные прогулки с актрисами; вас будут ублажать их любовники; вы будете обедать у Фликото только в те дни, когда у вас в кармане не найдется и тридцати су или приглашения на обед. Еще сегодня в пять часов, в Люксембургском саду, вы не знали, где приклонить голову, а теперь вы накануне того, чтобы стать одним из ста избранников, которые навязывают свои мнения Франции. Через три дня, ежели нам повезет, в вашей власти будет тридцатью остротами — по три остроты в день — так донять человека, что он проклянет свою жизнь; вы можете составить себе ренту любовных утех: ведь столько актрис в ваших театрах! В вашей власти провалить хорошую пьесу и поднять весь Париж на ноги ради скверной. Если Дориа откажется издать ваши «Маргаритки» и ничего вам не даст, в вашей власти принудить его явиться к вам покорным и смиренным, и он купит их у вас за две тысячи франков. Блесните талантом, пустите в трех разных газетах три статьи, угрожающие зарезать какую-нибудь спекуляцию Дориа или книгу, на которую он делает ставку, и вы увидите, как он приползет в вашу мансарду и будет увиваться вокруг вас. Наконец, ваш роман! Издатели до сей поры выпроваживали вас за дверь

более или менее учтиво, теперь они будут стоять в очереди у вашей двери и рукопись, за которую папаша Догро предлагал четыреста франков, оценят в четыре тысячи! Вот преимущества профессии журналиста. Вот отчего мы преграждаем доступ к газете всем новеньким; и нужен не только огромный талант, но и большое счастье, чтобы туда проникнуть. А вы в обиде на свое счастье! Ну, а если бы мы не встретились нынче у Фликото, ведь вы ждали бы еще невесть сколько лет и подыхали бы от голода, как д'Артез, где-нибудь на чердаке. Покамест д'Артез станет таким ученым, как Бейль, и таким великим писателем, как Руссо, мы уже устроим свою судьбу, мы станем владыками его благоденствия и славы. Фино будет депутатом, издателем крупного органа печати. А мы станем тем, чем пожелаем стать: пэрами Франции... или попадем в тюрьму Сент-Пелажи за долги.

— А Фино продаст свою газету министрам, если они хорошо заплатят, как он продает свои хвалы госпоже Бастьен, принося ей в жертву мадемуазель Виржини и доказывая, что шляпки госпожи Бастьен лучше тех, какие прежде расхваливала газета! — вскричал Люсьен, вспоминая сцену, свидетелем которой он был.

— Вы наивны, мой милый,— отвечал Лусто сухим тоном.— Фино три года назад сочинял проспекты по десяти франков за штуку, ходил без подметок, обедал у Табара́ за восемнадцать су, и одежда на нем держалась каким-то чудом, столь же непостижимым, как непорочное зачатие. А теперь Фино — владелец газеты, стоимость которой сто тысяч франков; он благодаря платным, но вымышленным подписчикам и подписчикам действительным да еще косвенным налогам, взимаемым его дядей, зарабатывает в год двадцать тысяч франков; он каждый день обедает по-княжески; вот уже месяц, как он купил кабриолет; наконец, завтра он станет во главе еженедельника, получит даром шестую долю паев, у него будет оклад в пятьсот франков ежемесячно, и к этому он еще прибавит тысячу франков за даровые статьи, которые ему оплатят компаньоны. Вы первый, ежели Фино пообещает вам гонорар в пятьдесят франков с листа, почтете за счастье преподнести ему безвозмездно три статьи. Право судить Фино вы получите только в том случае, если достигнете равного с ним положения: быть

судьей может только равный. Если вы беспрекословно станете исполнять его приказы, если приметесь нападать, когда Фино вам прикажет: «Нападай!» — приметесь славословить, когда он прикажет: «Славословь!» — да неужто же это не сулит вам блестящее будущее? Когда вы пожелаете отомстить кому-либо, в вашей власти будет растерзать друга или врага одним только словом, каждодневно повторяемым на страницах нашей газеты,— стоит вам только сказать: «Лусто, уничтожим этого человека!» Вы окончательно добьете вашу жертву большой статьей в еженедельнике. Наконец, если дело будет для вас очень существенным, Фино, которому вы уже станете необходимы, разрешит вам нанести последний смертоносный удар в обозрении с десятью или двенадцатью тысячами подписчиков.

— Стало быть, вы думаете, что Флорина склонит своего москательщика на эту сделку? — сказал обольщенный Люсьен.

— Убежден! Вот и антракт. Я пойду к ней, скажу два слова, и все будет кончено в эту же ночь. Флорина позаимствует мой ум, а при ее уме для этого достаточно одного урока.

— А почтенный толстосум, что сидит напротив нас и, разинув рот, любуется Флориной, конечно, и не подозревает, какое готовится покушение на его тридцать тысяч!..

— Какой вздор! Недостает только сказать, что мы хотим его ограбить! — вскричал Лусто.— Но, милый мой, если правительство купит газету, москательщик через полгода вместо своих тридцати тысяч, пожалуй, получит пятьдесят. Кстати, Матифа интересует не газета, а успехи Флорины. Когда станет известным, что Матифа и Камюзо совладельцы еженедельника (они, конечно, поделят паи), во всех газетах появятся статьи, благожелательные для Флорины и Корали. Флорина станет знаменитостью, возможно, получит ангажемент в другой театр на двенадцать тысяч франков, и Матифа сбережет тысячу франков в месяц, которую он потратил бы на подарки и обеды журналистам. Вы не знаете ни людей, ни дел!

— Бедняга! — сказал Люсьен.— Он предвкушает радости ночи.

— А вместо того,— добавил Лусто,— Флорина будет ему докучать, покамест он не поклянется, что уступит Фино шестую часть паев. Я завтра же стану главным редактором, мне обеспечена тысяча франков в месяц. Итак, конец моей нищете! — вскричал возлюбленный Флорины.

Лусто вышел, оставив Люсьена ошеломленным, погруженным в бездну мыслей: поэт увидел мир с изнанки, таким, каков он есть. После того как в Деревянных галереях для него открылись тайные уловки книжной торговли и кухня славы, после того как он побывал за кулисами театра, поэт познал оборотную сторону совести, ход машины парижской жизни, весь механизм общества. Он завидовал Лусто, любуясь Флориной на сцене. И через несколько мгновений он уже забыл о Матифа. Он пробыл в таком состоянии неопределенное время, может быть, минут пять. Но то была вечность. Страстные мысли воспламеняли его душу, подобно тому как чувства его разгорались от зрелища этих актрис со сладострастными глазами, сверкавшими из-под нарумяненных век, с блистающими плечами, в обольстительных баскинах умопомрачительного покроя, в коротких пышных юбках, открывающих ноги в красных с зелеными клиньями чулках, обутые так, что весь партер приходил в волнение. Два искушения надвигались по двум руслам, подобно двум потокам в половодье, стремящимся слиться; они снедали поэта, и, сидя в углу ложи, опершись о красный бархатный локотник, опустив кисть руки, он глаз не отрывал от занавеса; он был тем более подвластен очарованию этой жизни, с ее игрою света и тени, что она засверкала, как фейерверк, среди глубокой ночи его жизни, трудовой, безвестной, однообразной. Вдруг чей-то влюбленный взор, пробившись сквозь театральный занавес, опалил невнимательные глаза Люсьена. Поэт очнулся от оцепенения и встретил пламенный взгляд Корали; он опустил голову и увидел Камюзо, входившего в ложу напротив. Этот меценат был толстый и благодушный торговец шелками с улицы Бурдоне, член коммерческого суда, отец четверых детей, женатый вторично, богач, имевший восемьдесят тысяч дохода; он был в возрасте пятидесяти шести лет, седые волосы шапкой стояли на его голове, во всем его обличье сквозило ханжество человека, который пользуется последними го-

дами жизни и не желает с нею расстаться, не подведя крупного итога любовным утехам после тысячи одного огорчения на деловом поприще. Лоб цвета свежего масла, по-монашески румяные, пухлые щеки, казалось, не могли вместить его безудержного ликования. Камюзо был без жены, он слышал оглушительный плеск, поднявшийся со всех сторон при появлении Корали. В Корали сосредоточилось все тщеславие этого богатого буржуа, он разыгрывал при ней вельможу былых времен. В эту минуту ему казалось, что он разделяет успех актрисы, и разделяет по праву, ибо оплатил его. Поведение Камюзо было одобрено присутствием его тестя, старичка с напудренными волосами, с бойким взглядом и, тем не менее, весьма достойного. Люсьен вновь почувствовал отвращение. Он вспомнил свою чистую, восторженную любовь к г-же де Баржетон, одухотворявшую его жизнь весь тот год. Поэтическая любовь расправила свои белые крылья, тысячи воспоминаний окружили голубым небосклоном великого человека из Ангулема, и он погрузился в мечтания. Занавес поднялся. На сцене были Корали и Флорина.

— Дорогая моя, он думает о тебе столько же, сколько о турецком султане,— сказала тихо Флорина Корали, подававшей реплику.

Люсьен невольно улыбнулся и взглянул на Корали. Эта женщина, одна из самых обворожительных и превосходных парижских актрис, соперница г-жи Перен и мадемуазель Флерье, на которых она была похожа и судьба которых была сходна с ее судьбой, принадлежала к типу девушек, владеющих даром очаровывать мужчин. Корали являла совершенное выражение еврейской красоты: матовое овальное лицо цвета слоновой кости, красный, как гранат, рот, тонкий, как края чаши, подбородок. Из-за полуопущенных век пламенел черный агат зрачка; из-за изогнутых ресниц взгляд порою дышал зноем пустыни. Глаза под дугами бровей были обведены темной тенью. Смуглый лоб, божественно обрисованный волосами, блестящими, как полированное черное дерево, запечатлел великолепие мысли, заставлявшее верить в ее даровитость. Но, подобно многим актрисам, Корали не была умна, хотя и умела поострить за кулисами, и ей недоставало образования, несмотря на будуарный лоск;

она была умна умом чувств и добра добротою влюбленных женщин. И можно ли было думать о духовных ее качествах, когда она ослепляла взоры своими округлыми, блистающими руками, точеными пальцами, золотистыми плечами, грудью, воспетой «Песнью Песней», гибкой, стройной шеей, ногами обворожительного изящества, затянутыми в красный шелк? Красота ее, исполненная чисто восточной поэзии, выступала еще ярче в испанском наряде, принятом в наших театрах. Корали приводила в восторг всю залу, все взоры были прикованы к ее стану, ловко схваченному баскиной, все пленялись сладострастными движениями ее андалузских бедер, колыхавших юбку. Было мгновенье, когда Люсьен, любуясь этим созданием, плясавшим для него одного, и думая о Камюзо столько же, сколько мальчик в райке думает о кожуре яблока, поставил чувственную любовь выше чистой любви, наслаждение выше желания, и демон вожделения нашептывал ему жестокие мысли.

«Я не изведал любви среди роскоши, с изысканными яствами и винами,— сказал он себе.— Я более жил мечтаниями, нежели действительностью. Тот, кто желает творить, должен все познать. Вот он, мой первый пышный ужин, мое первое пиршество в необычайном обществе; отчего бы не вкусить мне от прославленных наслаждений, излюбленных вельможами прошлого века, предававшимися распутству? И ужели не пристало мне познать утехи, изысканность, исступление, все тонкости любви куртизанок и актрис, чтобы перенести уроки страсти в прекрасный мир истинной любви? И разве в чувственности нет поэзии? Тому два месяца эти женщины представлялись мне недоступными богинями, охраняемыми драконами; и вот одна из них, красотою затмившая Флорину,— предмет моей зависти к Лусто,— меня полюбила; отчего бы не ответить на ее причуду, ежели вельможи бесценными сокровищами оплачивают ночи этих женщин? Посланники, вступая в эти бездны, забывают о вчерашнем и завтрашнем дне. Я буду глупцом, оказавшись разборчивее принцев, тем более, что я никого не люблю».

Люсьен уже не думал более о Камюзо. Высказав Лусто свое глубочайшее отвращение к самому гнуснейше-

му дележу, он упал в ту же пропасть; он уступил желанию, плененный иезуитством страсти.

— Корали безумствует из-за вас,— сказал, входя в ложу, Лусто.— Ваша красота, достойная прославленных греческих изваяний, производит небывалое опустошение за кулисами. Вы счастливец, мой милый! Корали восемнадцать лет, она красавица! Стоит ей пожелать, и к ее услугам шестьдесят тысяч франков ежегодно. Но она большая скромница. Три года назад мать продала ее за шестьдесят тысяч франков, она знала одни лишь горести и ищет счастья. Она пошла на подмостки с отчаянья, она испытывала ужас перед де Марсе, ее первым владельцем; и, избавившись от этой пытки,— ибо король наших денди вскоре ее бросил,— она нашла добряка Камюзо; конечно, она его не любит, но он для нее вроде отца; она его терпит и позволяет себя любить. Она отказывается от самых выгодных предложений и дорожит Камюзо, потому что он ее не мучает. Стало быть, вы ее первая любовь. Да, любовь, словно пуля, пронзила ее сердце! Флорина пошла в уборную Корали утешать ее: ведь она глаз не осушает от вашей холодности. Пьеса провалится! Корали не помнит роли. Прощай ее ангажемент в Жимназ! А ведь Камюзо ее туда пристраивает!

— Вот как... Бедная девушка! — сказал Люсьен; тщеславие его было польщено, а сердце преисполнилось чувством себялюбивой радости.— Дорогой мой, столько происшествий в один вечер! Больше чем за восемнадцать лет жизни!

И Люсьен поведал о своей любви к г-же де Баржетон и о своей ненависти к барону дю Шатле.

— Вот кстати... Нашей газете недостает темы для насмешек, мы вцепимся в него. Барон, этот щеголь времен Империи, из сторонников правительства: он нам подходит. Я часто встречал его в Опере. Как сейчас, я вижу и вашу знатную даму, она неизменно появляется в ложе маркизы д'Эспар. Барон ухаживает за вашей бывшей возлюбленной; она сущая выдра. Постойте! Фино только что прислал мне сказать, что для газеты материала нет: нас подвел один из сотрудников, этот мошенник Гектор Мерлен, у него вычли за пробелы. Фино с отчаянья строчит статью против Оперы. Так вот, мой милый,

пишите рецензию об этой пьесе, прослушайте ее, обдумайте. Я пойду в кабинет директора поработать над статейкой: займусь вашим бароном и вашей спесивой красавицей. Завтра им будет не сладко...

— Так вот где и вот как создается газета? — сказал Люсьен.

— Да, вот как! — отвечал Лусто.— Я у Фино работаю уже десять месяцев, и, вечная история, в газете к восьми часам еще нет копий.

На типографском языке рукопись, приготовленная для набора, называется *копией,* по той причине, без сомнения, что авторы предпочитают давать только копии своих произведений. Но возможно, что это иронический перевод латинского слова copia (изобилие), ибо в рукописях всегда недостаток...

— У нас широкий, но неосуществимый замысел готовить заранее несколько номеров,— продолжал Лусто.— Вот уже десять часов, и нет ни строчки. Надо сказать Верну и Натану, пусть они для блестящей концовки номера дадут нам десятка два эпиграмм на депутатов, на канцлера *Крузо,* на министров и, ежели понадобится, на наших друзей. В подобных случаях не щадишь родного отца, уподобляешься корсару, который заряжает орудия награбленными экю, только бы не погибнуть. Блесните остроумием в своей статье, и вы завоюете расположение Фино: он признателен из расчета. Это лучший вид признательности, надежный, как квитанция ссудной кассы!

— Что за народ журналисты! — вскричал Люсьен.— Как же так! Сесть за стол и вдруг загореться остроумием?

— Точно так же, как загорается кенкет... и горит, пока не иссякнет масло.

В то время как Лусто отворял дверь ложи, вошли директор и дю Брюэль.

— Сударь,— сказал автор пьесы Люсьену,— разрешите от вашего имени сказать Корали, что вы после ужина поедете к ней, иначе моя пьеса провалится. Бедная девушка не соображает, что она говорит и что делает; она станет рыдать, когда надо смеяться, и смеяться, когда надо рыдать. Уже раздавались свистки. Вы можете еще спасти пьесу. И, кстати, удовольствие, которое вас ожидает, отнюдь нельзя назвать бедой.

— Сударь, я не имею привычки терпеть соперников,— отвечал Люсьен.

— Не передавайте ей нашего разговора! — вскричал директор, взглянув на автора.— Корали выставит Камюзо за дверь и погибнет. Уважаемый владелец «Золотого кокона» дает Корали две тысячи франков в месяц, оплачивает ее костюмы и клакеров.

— Обещание меня ни к чему не обязывает. Спасайте вашу пьесу,— величественно сказал Люсьен.

— Но вы и виду не показывайте этой прелестной девушке, что она вам не нравится,— умоляюще сказал дю Брюэль.

— Стало быть, я должен написать рецензию о вашей пьесе и улыбаться вашей юной героине? Согласен! — вскричал поэт.

Автор удалился, подав знак Корали, и с той минуты она играла превосходно. Буффе, исполнявший роль старого алькальда и впервые обнаруживший талант изображать стариков, вышел и под гром рукоплесканий сказал:

— *Авторы пьесы, которую мы имеем честь сегодня исполнять,— господин Рауль и господин де Кюрси.*

— Кто мог подумать! Натан — соавтор пьесы! — сказал Лусто.— Теперь я не удивляюсь, что он здесь.

— Корали! Корали! — кричал весь партер, поднявшись с мест.

Из ложи, где сидели торговцы, кто-то громовым голосом закричал:

— Флорину!

— Флорину! Корали! — подхватило несколько голосов.

Занавес взвился. Буффе появился с обеими актрисами, и Матифа и Камюзо бросили каждой из них по венку: Корали подняла венок и протянула его Люсьену. Для Люсьена эти два часа, проведенные в театре, пронеслись, как сон. Кулисы, несмотря на всю их гнусность, таили в себе какое-то странное очарование. Поэт, еще не совращенный, вдохнул там воздух распущенности и сладострастия. Как проказа, снедающая душу, порок владычествует в этих грязных, загроможденных машинами коридорах, где чадят масляные кенкеты. Там жизнь утрачивает чистоту и реальность. Там смеются над вещами серьезными и неправдоподобное кажется правдопо-

добным. Для Люсьена все это было наркотиками, и Корали завершила его веселое опьянение. Люстра погасла. В зале остались только капельдинерши, слышно было, как они собирают скамеечки для ног и запирают ложи. Рампа, погасшая, точно сальная свеча, распространяла смрадный запах. Занавес поднялся. Фонарь опустили с колосников. Пошли в обход пожарные и служители. Волшебство сцены, зрелище лож, переполненных прекрасными женщинами, потоки света, чары пышных декораций и ослепительных нарядов сменили холод, мрак, страх. Мерзость запустения. Невыразимое недоумение овладело Люсьеном.

— Милый, где же ты? — крикнул Лусто со сцены.— Прыгай сюда прямо из ложи.

Одним прыжком Люсьен очутился на сцене. Он едва узнал Флорину и Корали: закутанные в салопы и плащи, в шляпах с черными вуалями, они походили на бабочек, вновь обратившихся в личинки.

— Вы позволите мне опереться на вашу руку? — трепеща сказала Корали.

— С охотою,— сказал Люсьен, чувствуя, как сердце актрисы бьется под его рукой, точно пойманная птица.

Актриса прижималась к поэту со сладострастием кошки, что, ластясь, льнет к ногам хозяина.

— Значит, мы ужинаем вместе! — сказала она.

Все четверо вышли; у актерского подъезда, со стороны улицы Фоссе-дю-Тампль, стояли два фиакра. Корали усадила Люсьена в карету, где уже сидели Камюзо и его тесть, милейший Кардо. Они предложили также место дю Брюэлю. Директор поехал с Флориной, Матифа и Лусто.

— Что за гадость эти фиакры! — сказала Корали.

— Отчего вы не держите экипажа? — заметил дю Брюэль.

— Отчего? — с досадой вскричала она.— Я не хочу об этом говорить при господине Кардо; ведь, конечно, это он так воспитал своего зятя. Взгляните на него, как он невзрачен и стар, а Флорентине он дает всего лишь пятьсот франков в месяц, ровно столько, чтобы достало на квартиру, похлебку и сабо! Старый маркиз де Рошгюд, у которого шестьсот тысяч ливров ренты, вот уже два ме-

сяца, как предлагает мне в подарок карету. Но я артистка, а не девка.

— Послезавтра у вас будет карета,— ласково сказал Камюзо,— ведь вы никогда меня об этом не просили.

— А неужто об этом просят? И неужто любимой женщине позволяют шлепать по грязи, не опасаясь, что она искалечит себе ноги о камни? Фи!.. Только рыцарям торговли мила грязь на подолах платьев.

Произнося эти слова с горечью, разрывавшей у Камюзо сердце, Корали коснулась ноги Люсьена и сжала ее своими ногами; она взяла его руку. Она умолкла и, казалось, погрузилась в бесконечное наслаждение, вознаграждающее эти бедные создания за все прошлые горести, за все несчастья и рождающее в их душах поэзию, неведомую женщинам, к своему счастью, не испытавшим столь жестоких противоположностей.

— В последнем акте вы играли, как мадемуазель Марс,— сказал дю Брюэль.

— Да,— сказал Камюзо,— вначале мадемуазель Корали была, вероятно, чем-то раздосадована; но с середины второго акта она играла восхитительно. Вы ей наполовину обязаны своим успехом.

— А она мне наполовину своим,— сказал дю Брюэль.

— Ах, все это пустое! — сказала Корали взволнованным голосом.

В темноте актриса поднесла к губам руку Люсьена и поцеловала ее, обливаясь слезами. Люсьен был растроган до глубины души. В смирении влюбленной куртизанки есть какое-то ангельское величие души.

— Сударь, вы будете писать статью о пьесе,— сказал дю Брюэль, обращаясь к Люсьену.— Вы, конечно, посвятите несколько благосклонных строк прелестной Корали.

— Да, сделайте одолжение, напишите,— сказал Камюзо заискивающим тоном.— И я всегда готов буду вам услужить.

— Пусть господин де Рюбампре пишет, что он желает! — разгневанно вскричала актриса.— Не посягайте на его независимость. Камюзо, покупайте мне кареты, но не похвалы.

— Вам они обойдутся недорого,— учтиво отвечал

Люсьен.— Я никогда не писал в газетах, мне неведомы их обычаи, вам я посвящу мое девственное перо...

— Это будет забавно,— сказал дю Брюэль.

— Вот мы и на улице Бонди,— сказал старый Кардо, совершенно уничтоженный вспышкой Корали.

— Если ты посвящаешь мне свое перо, я посвящаю тебе мое сердце,— сказала Корали в то краткое мгновение, когда они оставались в карете вдвоем.

Корали пошла в спальню Флорины переодеться в вечерний туалет, заранее присланный ей из дому. Люсьен и не представлял себе, какою роскошью окружают актрис и любовниц разбогатевшие коммерсанты, желающие наслаждаться жизнью. Матифа не обладал столь крупным состоянием, как его приятель Камюзо, и был в расходах достаточно осторожен; однако Люсьена поразило убранство столовой, артистически отделанной, обитой зеленым сукном, на котором поблескивали бронзовые шляпки гвоздиков, освещенной дивными лампами, полной цветов в роскошных жардиньерках; гостиной, задрапированной желтым шелком и обставленной великолепной мебелью в духе того времени; там была люстра от Томира, персидский ковер. Часы, канделябры, камин — все было хорошего вкуса. Матифа убранство квартиры поручил молодому архитектору Грендо, который строил его особняк и, зная назначение этих покоев, проявил о них особую заботу. Матифа, всегда остававшийся торговцем, прикасался к любой безделке чрезвычайно бережно: ему мерещилась сумма счета, и он смотрел на все эти роскошные вещи, как на драгоценности, безрассудно вынутые из ларца.

«Однако и я буду вынужден потратиться ради Флорентины!» — вот мысль, которую можно было прочесть в глазах старика Кардо.

Люсьен вдруг понял, отчего убожество комнаты, где жил Лусто, ничуть не расстраивало влюбленного журналиста. Тайный владыка этих сокровищ, Этьен наслаждался здесь изысканной роскошью. Он покойно, точно хозяин дома, расположился перед камином, беседуя с директором, который поздравил дю Брюэля.

— Копии! Копии! — вскричал Фино, входя в гостиную.— В портфеле редакции пусто. В типографии набирают мою статью и скоро кончат.

— Приступим к делу,— сказал Этьен.— В будуаре Флорины есть стол и горит камин. Ежели господин Матифа отыщет нам бумаги и чернил, мы состряпаем газету, покамест Флорина и Корали одеваются.

Кардо, Камюзо и Матифа исчезли, кинувшись разыскивать перья, перочинные ножи и все необходимое для двух писателей. В эту минуту одна из самых красивых танцовщиц того времени, Туллиа, взошла в гостиную.

— Мое возлюбленное чадо,— сказала она Фино.— Дирекция согласна подписаться на сто экземпляров твоей газеты; они ничего не будут ей стоить: их сбыли хору, оркестру и кордебалету. Впрочем, твоя газета так остроумна, что никто не станет сетовать. Получишь и ложи. Короче, вот тебе плата за первый квартал,— сказала она, подавая два банковых билета.— Итак, пощади меня!

— Я погиб! — вскричал Фино.— У меня нет передовицы: ведь я должен снять мой проклятый памфлет...

— Какое чудное мгновенье! Божественная Лаиса!— восклицал Блонде, взойдя вслед за танцовщицей в сопровождении Натана, Верну и Клода Виньона, которого он привел с собой.—Любовь моя! Оставайся с нами ужинать, или я тебя раздавлю, как мотылька. Ведь ты мотылек! Оставайся. В качестве танцовщицы ты здесь не пробудишь зависти к своему таланту. А что до красоты... Вы все умные девочки и в обществе не покажете себя завистницами.

— Бог мой! Друзья! Дю Брюэль, Натан, Блонде, спасайте меня! — вскричал Фино.— Мне необходимы пять столбцов.

— Я займу два рецензией,— сказал Люсьен.

— У меня материала достанет на один,— сказал Лусто.

— Отлично! Натан, Верну, дю Брюэль, сочините что-нибудь позабавнее на закуску. А милый мой Блонде подарит мне два небольших столбца для первой страницы. Бегу в типографию. По счастью, Туллиа, у тебя карета?

— Но там сидит герцог с германским послом,— сказала она.

— Пригласим герцога и посла,— сказал Натан.

— Немец? Стало быть, изрядно пьет и внимательно слушает. Мы ему наговорим таких ужасов, что он сообщит об этом своему двору! — вскричал Блонде.

— У кого из нас достаточно внушительный вид? Кто пойдет их приглашать? — сказал Фино.— Ступай-ка ты, дю Брюэль, ты чиновник; приведи герцога де Реторе и посла да предложи же руку Туллии. Бог мой, как хороша нынче Туллиа!..

— Но нас будет тринадцать за столом! — побледнев, сказал Матифа.

— Нет, четырнадцать!—вскричала Флорентина, входя в комнату.— Я буду опекать милорда Кардо.

— И кстати Блонде привел Клода Виньона,— сказал Лусто.

— Я привел его, чтобы напоить,— отвечал Блонде, взяв чернильницу.— Послушайте! Не жалейте остроумия ради тех пятидесяти шести бутылок вина, что нам предстоит выпить,— сказал он Натану и Верну.— Особенно подстрекайте дю Брюэля, он водевилист и способен подпустить шпильку.

Люсьен, одушевленный желанием выдержать испытание перед столь замечательными людьми, написал свою первую статью за круглым столом в будуаре Флорины, при свете розовых восковых свечей, зажженных Матифа:

«ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА

Первое представление: «Алькальд в затруднении», имбролью в трех актах.— Дебют мадемуазель Флорины, мадемуазель Корали.— Буффе.

Входят, выходят, говорят, чего-то ищут и ничего не находят, все в волнении. У алькальда пропала дочь, а он находит шляпу, шляпа ему не по голове: должно быть, это шляпа похитителя. Где же похититель? Входят, выходят, говорят, ходят, усердно чего-то ищут. Наконец алькальд находит мужчину без своей дочери и дочь свою без мужчины; это удовлетворяет судью, но не публику. Водворяется спокойствие, алькальд желает допросить мужчину. Старый алькальд усаживается в большое алькальдово кресло, оправляет свои алькальдовы нарукавники. Испания — единственная страна, где алькальд утопает в широчайших рукавах с нарукавниками и где еще носят брыжжи, представляющие на парижских театрах половину обязанностей алькальда. И этот алькальд, старик, семенящий ногами, страдающий одышкой,— не кто иной, как Буффе. Буффе, преемник Потье, молодой актер,

но он столь искусно изображает стариков, что вызывает смех у самых древних старцев. Будущность тысячи старцев таит в себе этот лысый лоб, этот дрожащий голос, эти тонкие дряблые ноги и торс Жеронта. Он так дряхл, этот молодой актер, что становится страшно,— боишься, что его старость прилипчива, как заразная болезнь. И какой изумительный алькальд! Какая прелестная беспокойная улыбка! Какая чванная глупость! Какая дурацкая важность! Какая нерешительность в суждениях! Как хорошо знает этот человек, что поочередно все может стать и правдой и ложью! Он достоин быть министром конституционного короля! На каждый вопрос алькальда незнакомец отвечает вопросом; Буффе в свой черед ему отвечает, и таким путем, вопросами и ответами, алькальд все разъясняет. Эта сцена, в высшей степени комическая, где все овеяно духом Мольера, развеселила залу. Казалось, все пришли к соглашению, но я не в состоянии сказать вам, что именно разъяснилось и что осталось неясным. Дочь алькальда изображала чистокровная андалузка, испанка с испанскими глазами, испанским цветом кожи, испанским станом, испанской походкой, испанка с головы до ног, с кинжалом за подвязкой, любовью в сердце и крестом на груди. В конце акта кто-то спросил меня, как идет пьеса, я ответил: «Она в красных чулках с зелеными клиньями, в таких вот крохотных лаковых башмачках, во всей Андалузии не сыщешь ножек столь божественных!» Ах, эта дочь алькальда! При виде ее слова любви срываются с уст, она внушает жестокие желания; готов прыгнуть на сцену и предложить ей свою хижину и сердце или тридцать тысяч ливров ренты и свое перо. Эта андалузка — самая красивая актриса в Париже, Корали — приходится открыть ее имя — способна предстать и графиней и гризеткой. И трудно сказать, в каком обличье она более пленительна. Она будет такой, какой пожелает быть, она создана для любой роли. Разве это не лучшая похвала для актрисы?

Во втором акте появилась парижская испанка, с лицом камеи и сокрушительными глазами. Я, в свою очередь, спросил, откуда она, и мне ответили, что она явилась из-за кулис и имя ее Флорина; но, клянусь, я тому не поверил,— столько огня было в каждом ее движении,

столь яростна была ее любовь. Это соперница дочери алькальда.—жена сеньора, скроенного из плаща Альмавивы, а этого материала достанет для сотен вельмож с Больших бульваров. Если Флорина не надела красных чулок с зелеными клиньями и лакированных башмачков, то у нее была мантилья и вуаль, и в качестве светской дамы она пользовалась ими с удивительным мастерством. Она великолепно доказала, что тигрица может стать кошкой. По колким словам, которыми обменивались обе испанки, я понял, что происходит какая-то драма ревности. Затем, когда все распуталось, глупость алькальда снова все перепутала. Весь этот мир факелов, богачей, слуг, фигаро, сеньоров, алькальдов, девушек и женщин пришел в движение: ходили, приходили, уходили, искали, кружились. Узел снова завязался, я дал ему волю развязываться, ибо эти две женщины, ревнивая Флорина и счастливица Корали, снова опутали меня своими сборчатыми баскинами и мантильями, и я попал к ним под башмак.

Мне удалось просмотреть третий акт, не натворив бед, не вызвав вмешательства полицейского комиссара и возмущения зрительной залы, и я поверил с той поры в могущество общественной и религиозной нравственности, предмета сугубой заботы палаты депутатов, как будто во Франции уже иссякла нравственность! Я понял, что речь идет о мужчине, который любит двух женщин, не будучи любим, или любим, но сам не любит, который не любит и алькальдов или алькальды его не любят; но он, несомненно, достойный сеньор и кого-то любит: себя ли самого, или хотя бы бога, ибо он идет в монахи. Ежели вы желаете узнать больше, спешите в Драматическую панораму, вы уже достаточно подготовлены к тому, чтобы пойти туда и в первое же посещение насладиться победоносными красными чулками с зелеными клиньями, многообещающей ножкой, глазами, излучающими солнечный свет, изяществом парижанки, переряженной андалузкой, и андалузки, переряженной парижанкой; затем вы придете вторично, чтобы насладиться пьесой, и образ старого алькальда заставит вас смеяться до слез, а образ влюбленного сеньора—плакать. Пьеса заслужила успех двоякого рода. Автор, как говорят, написал ее в сотрудничестве с одним из наших крупных поэтов, избрав приманкою успеха двух влюбленных красавиц. Взволнованный

партер едва не умер от восторга. Казалось, ноги девушек были красноречивее автора. Тем не менее, когда обе соперницы удалились, нашли, что диалог остроумен, а это достаточно доказывает превосходное качество пьесы. Имя автора было встречено оглушительными рукоплесканиями, встревожившими архитектора — строителя залы; но автор, привычный к извержениям опьяненного Везувия под театральной люстрой, не дрогнул: то был господин де Кюрси. Актрисы проплясали знаменитое севильское болеро,— некогда этот танец пощадили отцы Вселенского собора, и ныне на него не наложила запрета цензура, несмотря на его сладострастие. Довольно одного этого болеро, чтобы привлечь всех старцев, не ведающих, как пристроить остатки своей любви, и из чувства милосердия я советую им тщательно протереть стекла лорнетов».

В то время как Люсьен писал эти строки в новой, необычной манере, вызвавшей целый переворот в журналистике, Лусто писал статью, трактовавшую о нравах, озаглавленную *Бывший щеголь*, и начиналась она так:

«Щеголь времен Империи, как водится, высокий и стройный мужчина, прекрасно сохранившийся; он носит корсет и орден Почетного легиона. Имя его что-то вроде Потле: желая быть любезным нынешнему двору, барон времен Империи пожаловал себя частицей «дю»; ныне он дю Потле, а в случае революции опять обратится в Потле. Человек, переменчивый, как его фамилия, он волочится теперь за одной дамой из Сен-Жерменского предместья, меж тем как ранее он был достойным, полезным и приятным шлейфоносцем у сестры некой особы, имени которой я не называю из скромности. Нынче дю Потле отрицает свою службу при дворе ее императорского высочества, но он все еще распевает романсы своей любезной покровительницы...»

Статья представляла сплетение намеков, достаточно вздорных, обычных в ту пору для газет; впоследствии этот жанр был удивительно усовершенствован газетами, и особенно «Фигаро». Лусто проводил между г-жой де Баржетон, за которой волочился Шатле, и костлявой выдрой шутовскую параллель, забавлявшую, независимо от того, кто именно скрывался за этими фигурами, избран-

ными предметом насмешек. Шатле был уподоблен цапле. Любовь цапли не шла впрок выдре: стоило к выдре прикоснуться, она сгибалась в три погибели. Статья вызывала безудержный смех. Эти вышучивания, продолжавшиеся из номера в номер и, как известно, наделавшие много шуму в Сен-Жерменском предместье, были одною из тысячи и одной причин введения суровых законов против печати. Часом позже Блонде, Лусто и Люсьен вернулись в гостиную, где беседовали гости: герцог, министр и четыре женщины, три коммерсанта, директор театра и Фино. Типографский ученик в бумажном колпаке уже явился за материалом для газеты.

— Наборщики разойдутся, если я им ничего не принесу,— сказал он.

— Вот тебе десять франков, пусть подождут,— отвечал Фино.

— Если я им отдам деньги, сударь, они займутся пьянографией, а тогда прощай газета!

— Здравый смысл этого мальчугана приводит меня в ужас,— сказал Фино.

В ту минуту, когда посол предсказывал мальчику блестящую будущность, вошли три автора. Блонде прочел чрезвычайно остроумную статью против романтиков. Статья Лусто всех позабавила. Герцог Реторе советовал воздать косвенно хвалу г-же д'Эспар, дабы не чересчур прогневить Сен-Жерменское предместье.

— А ну-ка, прочтите, что вы написали,— сказал Фино Люсьену.

Когда Люсьен, замирая от страха, кончил чтение, гостиная огласилась рукоплесканиями, актрисы целовали новообращенного, три негоцианта едва его не задушили в объятиях, дю Брюэль, пожимая ему руку, прослезился, а директор пригласил его к себе на обед.

— Нет больше детей! — сказал Блонде.— Шатобриан уже прозвал Виктора Гюго «вдохновенным ребенком», и я могу лишь прибавить, что вы человек большого ума, отваги и вкуса.

— Итак, сударь, вы теперь сотрудник нашей газеты,— сказал Фино, поблагодарив Лусто и окинув Люсьена взглядом эксплуататора.

— А что вы придумали? — спросил Лусто у дю Брюэля и Блонде.

— Вот произведение дю Брюэля,— сказал Натан.

«Заметив, что виконт д'А... успешно занимает общество, виконт Демосфен вчера сказал: «Возможно, меня теперь оставят в покое».

«Некая дама сказала ультрароялисту, бранившему речь г-на Паскье как развитие системы Деказа: «Да, но у него чисто монархические икры».

— Если таково начало, дальше и слушать не надо. Все идет отлично,— сказал Фино.— Беги отнеси копии,— приказал он ученику.— Газета сшита на живую нитку, но это наш лучший номер,— сказал он, оборачиваясь к группе писателей, уже искоса поглядывавших на Люсьена.

— Юноша остроумен,— сказал Блонде.

— Да, статья хороша,— сказал Клод Виньон.

— Прошу к столу! — возвестил Матифа.

Герцог подал руку Флорине, Корали приняла руку Люсьена, танцовщицу сопровождали Блонде и немецкий посланник.

— Не понимаю, отчего вы нападаете на госпожу де Баржетон и барона дю Шатле; он, говорят, назначен префектом Шаранты и докладчиком дел.

— Госпожа де Баржетон выпроводила Люсьена за дверь, точно какого-нибудь шалопая,— сказал Лусто.

— Такого-то красавца! — заметил дипломат.

Ужин, поданный на новом серебре, на севрском фарфоре, на камчатной скатерти, отличался обилием и пышностью. Блюда готовил сам Шеве, вина выбирал знаменитый виноторговец с набережной Сен-Бернар, приятель Камюзо, Матифа и Кардо. Люсьен, впервые столкнувшись с парижской роскошью в действии, непрерывно изумлялся, но скрывал свое изумление, как «человек большого ума, отваги и вкуса», каким он был, по словам Блонде.

Проходя по гостиной, Корали шепнула Флорине:

— Прошу, подпои хорошенько Камюзо, и пусть он проспится у тебя.

— Ты уже *поймала* журналиста? — отвечала Флорина, употребляя слово, обычное на языке этих девиц.

— Нет, милая, я в него влюбилась! — возразила Корали, очаровательно поводя плечами.

Слова эти уловило ухо Люсьена, и донес их до него пятый смертный грех. Корали была одета обворожительно, и тщательно обдуманный наряд подчеркивал особенности ее красоты, ибо каждая женщина неповторима в своей прелести. Платье ее, как и платье Флорины, было сшито из восхитительной ткани, так называемого шелкового муслина — новинки, переданной на несколько дней лионскими фабрикантами в распоряжение Камюзо, их парижского покровителя и главы фирмы «Золотой кокон». Итак, любовь и туалет, женские прикрасы и духи еще усугубили обольстительную красоту счастливой Корали. Предвкушаемые радости, притом доступные, являют огромный соблазн для молодых людей. Может быть, в этой доступности и кроется притягательность порока, может быть, в этом и тайна длительной верности? Любовь чистая, искренняя, короче, первая любовь в соединении с порывом вулканических страстей, обуревающих порою эти бедные создания, а также преклонение перед несравненной красотою Люсьена взволновали ум и сердце Корали.

— Я любила бы тебя, будь ты дурен собою и тяжко болен,— шепнула она Люсьену, когда все садились за стол.

Какие слова для поэта! Камюзо точно исчез: Люсьен, глядя на Корали, уже его не замечал. И мог ли уклониться от этого пышного пиршества человек, алчущий чувственных наслаждений, истосковавшийся в однообразии провинции, вовлеченный в парижские бездны, измученный нуждой, истомленный невольным целомудрием, изнемогавший от монашеской жизни в улице Клюни и от бесплодных трудов? Люсьена неудержимо влекло ложе Корали, и он уже вкусил от приманок журналистики, прежде недоступных для него. *Газету*, которую он долго и напрасно подкарауливал на улице Сантье, он подстерег теперь за столом в образе пирующих веселых малых. Газета отомстит за все его горести, она завтра же пронзит два сердца; а как желал он, но, увы, тщетно, напоить их тем же бешенством и отчаянием, каким они его напоили! Глядя на Лусто, он говорил про себя: «Вот это друг!» — не подозревая, что Лусто уже боится его как опасного соперника. Люсьен совершил оплошность, обнаружив всю остроту своего ума: бледная статья прекрасно ему бы

послужила. Блонде, не в пример Лусто, снедаемому завистью, сказал Фино, что приходится склониться перед талантом, столь явным. Приговор этот определил поведение Лусто, он решил остаться другом Люсьена и вместе с Фино эксплуатировать опасного новичка, не давая ему выбиться из нужды. Решение было быстро принято и вполне понято обоими журналистами, судя по кратким фразам, которыми они вполголоса обменялись:

— У него есть талант.

— Он будет требователен.

— А-а!..

— Э-э-э!..

— Я всегда испытываю некоторый страх, ужиная с французскими журналистами,— сказал германский дипломат, с безмятежным и полным достоинства добродушием глядя на Блонде, с которым встречался у графини де Монкорне.— Вам предстоит осуществить предсказание Блюхера.

— Какое предсказание? — сказал Натан.

— Когда Блюхер вместе с Сакеном достиг высот Монмартра в 1814 году,— простите, господа, что я напоминаю об этом роковом для вас дне,— Сакен, человек грубый, сказал: «Теперь мы сожжем Париж!» — «И не помышляйте об этом! Франция погибнет вот от чего!» — отвечал Блюхер, указывая на огромный гнойник, зиявший у их ног в огнях и дыме в долине Сены.—Я благодарю бога, что у меня на родине нет газет,— помолчав, продолжал посол.— Я еще не оправился от ужаса, который вызвал во мне этот человечек в бумажном колпаке: он в десять лет рассуждает, как старый дипломат. И, право, мне кажется, что нынче вечером я ужинаю с львами и пантерами, которые оказали мне честь, спрятав свои когти.

— И точно,—сказал Блонде.—Мы могли бы заявить и доказать Европе, что нынче вечером вы, ваше превосходительство, изрыгнули змия, что этот змий соблазнил мадемуазель Туллию, самую красивую нашу танцовщицу, и отсюда перейти к истолкованию библии, истории Евы и первородного греха. Но будьте покойны, вы наш гость.

— Это было бы забавно,— сказал Фино.

— Мы могли бы обнародовать научные диссертации

о всех видах змиев, таящихся в сердце и корпусе человеческом, и затем перейти к дипломатическому корпусу,— сказал Лусто.

— Мы могли бы доказать, что некий змий притаился и в этом бокале, под вишнями в спирту,— сказал Верну.

— И в конце концов вы бы этому поверили,— сказал Виньон дипломату.

— Господа, не выпускайте своих когтей! — воскликал герцог де Реторе.

— Влияние, могущество газеты лишь на своем восходе,— сказал Фино.— Журналистика еще в детском возрасте, она вырастет; через десять лет все будет подлежать гласности. Мысль все озарит, она...

— Она все растлит,— сказал Блонде, перебивая Фино.

— Совершенно верно,— сказал Клод Виньон.

— Она будет возводить на престол королей,— сказал Лусто.

— И низвергать монархии,— сказал дипломат.

— Итак,— сказал Блонде,— если бы пресса не существовала, ее не следовало бы изобретать. Но она существует, мы ею живем.

— Она вас и погубит,— сказал дипломат.— Разве вы не видите, что господство масс, ежели предположить, что вы их просвещаете, затруднит возвышение личности, что, сея зерна самосознания в умах низших классов, вы пожнете бурю и станете первыми ее жертвами? Что в Париже сокрушают прежде всего?

— Уличные фонари,— сказал Натан,— но мы чрезвычайно скромны и этого не опасаемся; самое большее, мы дадим трещину.

— Вы народ чересчур остроумный и ни одному правительству не дадите укрепиться,— сказал посол.— Иначе вы своими перьями завоевали бы Европу, тогда как не могли ее удержать мечом.

— Газета — зло,— сказал Клод Виньон.— Зло можно было бы обратить в пользу, но правительство желает с ним бороться. Пусть попробует. Кто потерпит поражение? Вот вопрос.

— Правительство,— сказал Блонде.— Я всегда буду это утверждать. Во Франции остроумие превыше все-

го, а газеты обладают тем, что превыше остроумия всех вместе взятых остроумцев,— лицемерием Тартюфа.

— Блонде, Блонде, поосторожнее! — сказал Фино.— Здесь сидят наши подписчики.

— Ты владелец одного из таких складов ядовитых веществ, ты и трепещи; но я смеюсь над нашими лавочками, хотя и живу ими.

— Блонде прав,— сказал Клод Виньон,— газета, вместо того чтобы возвыситься до служения обществу, стала орудием в руках партий; орудие обратили в предмет торговли; и, как при любом торгашестве, не стало ни стыда ни совести. Всякая газета, как сказал Блонде,— это лавочка, где торгуют словами любой окраски, по вкусу публики. Издавайся газета для горбунов, и утром и вечером в ней доказывались бы красота, доброта, необходимость людей горбатых. Газета существует не ради того, чтобы направлять общественное мнение, но ради того, чтобы потворствовать ему. И недалек час, когда все газеты станут вероломны, лицемерны, бесчестны, лживы и смертоносны; они станут губить мысль, доктрины, людей, и в силу этого будут процветать. У них преимущество всех отвлеченных существ: зло будет совершено, и никто в том не будет повинен. Я, Виньон, ты, Лусто, ты, Блонде, и ты, Фино, будем Аристидами, Платонами, Катонами, мужами Плутарха, мы все будем невиновны, мы омоем руки от всякой скверны. Наполеон назвал причину этого нравственного, а ежели угодно, безнравственного явления — вот великолепные слова, подсказанные ему изучением деятельности Конвента: «Коллективные преступления ни на кого не возлагают ответственности». Газета может позволить себе самые гнусные выходки, и никто из виновников не сочтет себя лично запятнанным.

— Но власть издает карательные законы,— сказал дю Брюэль,— они уже подготовляются.

— Б-ба! — сказал Натан.— Что же может сделать закон против французского остроумия, самого ядовитого из всех ядовитых веществ?

— Идеи могут быть обезврежены только идеями,— продолжал Виньон.— Только террор и деспотизм могут удушить французский гений; наш язык чудесно приспособлен к намекам, к выражению двойного смысла вещей. Чем жестче будут законы, тем разрушительнее будет си-

ла остроумия, как взрывы пара в котле с закрытым предохранительным клапаном. Допустим, король сделает что-либо для блага страны; если газета настроена против короля, все будет приписано министру, и наоборот. Если газета измыслила наглую клевету, она сошлется на неверные сведения. Если оскорбленный ею человек вздумает жаловаться, она попросит простить ей вольность. Если подадут в суд, она будет возражать, что от нее не требовали опровержений; но, ежели бы потребовали опровержения, натолкнулись бы на отказ в шутливой форме,— она сочтет свое преступление вздором. Наконец, она высмеет свою жертву, если та восторжествует. Ежели газете случится понести наказание, заплатить слишком крупный штраф, она представит жалобщика врагом свободы, родины и просвещения. Она скажет, что такой-то, допустим, вор, а потом разъяснит, что он самый честный человек в королевстве. Итак, ее преступление — милая шутка! Ее обидчики — чудовища! И в ее власти в тот или иной срок заставить людей, читающих газету, всему поверить. Затем все, что ей не по нраву, окажется непатриотичным, и она всегда будет права. Она обратит религию против религии, хартию против короля; она вышутит судебные власти, когда те ее затронут, и станет их восхвалять, когда они будут потакать страстям толпы. Чтобы привлечь подписчиков, она сочинит самые трогательные сказки, будет паясничать, точно Бобеш перед балаганом. Газета ради хлесткого слова не пожалеет родного отца, только бы заинтересовать или позабавить читателей. Она уподобится актеру, который в бутафорскую урну положил прах своего сына, чтобы на сцене плакать настоящими слезами, или возлюбленной, готовой пожертвовать всем ради своего милого.

— Словом, это народ in folio! [1] — вскричал Блонде, прерывая Виньона.

— Народ лицемерный и лишенный великодушия,— продолжал Виньон,— он изгонит из своей среды талант, как афиняне изгнали Аристида. Мы увидим, что газеты, руководимые вначале честными людьми, попадут в руки людей посредственных, эластичных, как гуттаперча,

---

[1] Буквально: в лист *(лат.)*.

отличающихся податливостью и малодушием — качествами, которых недостает гению, либо в руки лавочников, достаточно богатых, чтобы покупать наше перо. Мы уже наблюдаем нечто подобное. Но через десять лет любой мальчишка, вышедший из коллежа, возомнит себя великим человеком, он взберется на газетный столбец, чтобы надавать пощечин своим предшественникам; он стащит их оттуда за ноги, чтобы занять их место. Наполеон был прав, надев на печать намордник. Держу пари, что оппозиционные листки, когда им удастся провести своих людей в правительство, сбросят его при помощи тех же доводов и тех же статей, какие нынче выдвигаются против короля, и это не замедлит случиться, как только новое правительство в чем-либо им откажет. Чем больше будет поблажек журналистам, тем требовательнее станут газеты. На смену журналистам-выскочкам придут журналисты голодные, нищие. Язва неисцелима, она станет еще злокачественнее, еще нестерпимее; и чем более будет угнетать зло, тем безропотнее будут его сносить до той поры, когда из-за обилия газет произойдет вавилонское столпотворение. Мы все, сколько тут нас есть, знаем, что в отсутствии чувства благодарности газеты перещеголяют королей, в спекуляциях и расчетах они перещеголяют самых грязных торгашей, и они пожрут наше дарование, принуждая нас каждое утро продавать экстракт нашего мозга; но мы все будем работать для них, как рабочие на ртутных рудниках, зная, как и они, что нас ждет смерть. Вот там, подле Корали, сидит молодой человек... Как его имя? Люсьен! Он красив, он поэт и, что для него важнее, умный человек; и что ж, он вступит в грязный притон продажной мысли, именуемый газетами, он расточит свои лучшие замыслы, иссушит мозг, развратит душу, ступит на путь анонимных низостей, которые в словесной войне заменяют военные хитрости, грабежи, поджоги и переходы в другой лагерь, по обычаю *кондотьеров*. Когда же он, подобно тысяче других, растратит свой прекрасный талант на потребу пайщиков газеты, эти торговцы ядом предоставят ему умирать от голода, если он будет жаждать, и от жажды, если он будет голодать.

— Благодарю,— сказал Фино

— Но, боже мой,— сказал Клод Виньон,— я все это

знаю, я сам на каторге, а появление нового каторжника меня радует. Блонде и я, мы выше таких-то и таких-то, спекулирующих на наших талантах, и, тем не менее, они всегда будут нас эксплуатировать. Под нашим интеллектом скрыто сердце, нам недостает жестоких свойств эксплуататора. Мы ленивы, мы созерцатели, мечтатели, ценители; развратив нашу мысль, они нас же обвинят в беспутстве!

— Я думала, что вы будете забавнее! — вскричала Флорина.

— Флорина права,— сказал Блонде,— предоставим врачевание общественных зол шарлатанам — государственным деятелям. Как говорит Шарле: «Плевать в колодец? Да никогда!»

— Знаете, кого напоминает Виньон? — сказал Лусто, кивнув в сторону Люсьена.— Жирную бабу с улицы Пеликан, когда она говорит школьнику: «Милок, ты еще слишком молод, чтобы ходить сюда...»

Острота была встречена смехом, но она пришлась по душе Корали. Торговцы, слушая, пили и ели.

— Что за нация! Добро и зло мирно уживаются в ней,—сказал посланник герцогу де Реторе.—Господа, вы моты, которые не в силах промотать свои сокровища.

Итак, по милости судьбы Люсьен не мог сетовать на отсутствие предостережений на скользком пути, ведущем в бездну. Д'Артез указал поэту иной, благородный путь труда, стремился пробудить в нем чувства, сокрушающие все преграды. Сам Лусто, из эгоистических побуждений, пытался оттолкнуть его от журналистики, изображая журналистов и литераторов в истинном свете. Люсьен не желал верить в столь глубокое растление; но он слышал стенания журналистов, обнажающих свои язвы, он наблюдал, как они работают. Он видел, как они анатомируют свою кормилицу, он знал их прорицания будущего. В тот вечер мир журналистики предстал перед ним таким, каков он есть. Перед ним раскрылась вся глубина парижской растленности, столь ярко охарактеризованной Блюхером, но он не отшатнулся от страшного зрелища, он в упоении наслаждался остроумным обществом. Эти необыкновенные люди под дамасской сталью своих пороков, под сверкающим шлемом холодного

анализа таили какое-то очарование и были ему милее серьезных и строгих членов Содружества. И тут он впервые познал услады богатства, он познал обаяние роскоши, власть плотских наслаждений; пробудились его прихотливые инстинкты, он впервые пил отборные вина, вкушал от изысканных яств высшей кулинарии, он встретил посланника, герцога и его танцовщицу в обществе журналистов, и оба вельможи воздавали должное их страшной власти; он чувствовал неодолимое желание владычествовать в этом мире владык, он ощущал в себе силу восторжествовать над ними. Наконец, тут была Корали, осчастливленная его небрежными словами; он изучал ее при блеске пиршественных свечей, сквозь пар от яств и туман опьянения, и она казалась ему совершенством, любовь сделала ее еще краше! И в самом деле, эта девушка была самой красивой и обворожительной парижской актрисой. Содружество, этот небосвод благородного разума, должно было померкнуть перед лицом столь сильного искушения. Тщеславие, присущее всем писателям, было польщено одобрением знатоков: Люсьена расхвалили его будущие соперники. Два таких торжества, как успех статьи и победа, одержанная над Корали, могли вскружить и не столь юную голову. Покамест шла беседа, все отлично ели и еще лучше пили. Лусто, сосед Камюзо, несколько раз тайком подливал ему в вино киршу и, подзадорив его самолюбие, уговорил пить побольше. Он так искусно все это проделал, что торговец ничего не заметил, хотя и думал, что по этой части он не менее хитер, чем журналисты. Когда были поданы сласти и пошли в ход шампанское и ликеры, остроты приняли чересчур вольный характер. Дипломат, человек искушенный, подал знак герцогу и танцовщице, лишь только услышал первые вольности, возвещавшие, что эти остроумцы дойдут и до разнузданных сцен, завершающих оргии; и все трое исчезли. Заметив, что Камюзо совсем пьян, Корали и Люсьен, которые за ужином вели себя, как влюбленные подростки, сбежали с лестницы и бросились в фиакр. Камюзо лежал под столом, и Матифа решил, что он уехал вместе с актрисой; он предоставил своим гостям курить, пить, смеяться, спорить, а сам пошел вслед за Флориной в ее спальню. Рассвет застиг врасплох сражающихся, вернее, одного Блонде, неугомон-

ного пьяницу: он один еще в состоянии был говорить и предложил спящим тост во славу розоперстой Авроры.

Люсьен не привык к парижским оргиям; разум еще служил ему, покамест он спускался с лестницы, но на свежем воздухе он совершенно опьянел, и опьянел отвратительно. Корали и ее горничная принуждены были втащить поэта на второй этаж прекрасного дома в улице Вандом, где жила актриса; на лестнице Люсьен едва не лишился чувств, и ему стало совсем скверно.

— Живей, Береника! — вскричала Корали.— Чаю! Приготовь скорей чай!

— Ничего, это от воздуха,— лепетал Люсьен,— ведь я никогда столько не пил.

— Бедный мальчик! Он невинен, как агнец,— сказала Береника, толстая нормандка, столь же дурная собою, сколь хороша была Корали.

Наконец Люсьен, сам того не ведая, очутился в постели Корали. При помощи Береники актриса заботливо и любовно, как мать раздевает ребенка, раздела своего поэта, который все твердил:

— Ничего! Это от воздуха! Благодарю, мама!

— Как он мило говорит «мама»! — вскричала Корали, целуя его волосы.

— Какая радость любить такого ангела! И где вы его поймали? Я не думала, что мужчина может быть так красив,— сказала Береника.

Люсьену хотелось спать, он не понимал, где он, и ничего не видел. Корали дала ему выпить несколько чашек чаю, затем оставила его в покое.

— Ни привратница, ни кто-либо другой нас не видел? — спросила Корали.

— Нет, я вас ждала.

— Виктория ничего не знает?

— Откуда же ей знать! — сказала Береника.

Десять часов спустя, около полудня, Люсьен пробудился под взглядом Корали, любовавшейся спящим. Поэт это почувствовал. Актриса была все в том же прекрасном, но отвратительно испачканном платье, и она желала сохранить его как реликвию. Люсьен узнал преданность, чуткость истинной любви, ожидающей награды; он взглянул на Корали. Корали быстро разделась и, как змейка, скользнула к Люсьену. В пять часов поэт

спал, убаюканный божественными наслаждениями; он мельком видел комнату актрисы, восхитительное творение роскоши, всю белую и розовую, целый мир чудес и неизъяснимого изящества, превосходивших все, чему Люсьен дивился у Флорины. Корали уже встала. Она должна была в семь часов быть в театре, где ей предстояло выступить в роли андалузки. Она пожелала еще раз взглянуть на своего поэта, заснувшего среди утех, она была в упоении и не смела предаться той благородной любви, что, соединяя чувственность и сердце, сердце и чувственность, воспламеняет и то и другое. В этом обоготворении любимого, когда два земных существа чувствуют себя на небесах, слитыми воедино любовью, было оправдание Корали. И кому бы не послужила оправданием сверхчеловеческая красота Люсьена? Опустившись на колени, Корали смотрела на спящего, счастливая самой любовью; актриса чувствовала себя освященной ею. Эти радости были нарушены Береникой.

— Камюзо пришел! Он знает, сударь, что вы здесь! — вскричала она.

Люсьен встал и, по врожденному великодушию, решил пойти на все, лишь бы не повредить Корали. Береника откинула занавес. Люсьен очутился в прелестной уборной; Береника и ее госпожа с удивительной быстротой перенесли туда его одежду. Камюзо уже входил в комнату, как вдруг взгляд Корали упал на сапоги поэта. Береника тайком почистила их и поставила посушить у камина. Служанка и госпожа забыли про эти уличающие сапоги. Береника ушла, обменявшись с хозяйкой тревожным взглядом. Корали опустилась на козетку, пригласив Камюзо сесть в кресло напротив нее. Добряк, обожавший Корали, глядел на сапоги, не смея глаз поднять на свою любовницу.

«Должен ли я рассердиться из-за этой пары сапог и бросить Корали? Это значит рассориться попусту. Сапоги есть везде. Конечно, было бы лучше, если бы эти сапоги красовались на выставке у сапожника или разгуливали по бульварам, надетые на мужские ноги. Однако, очутившись здесь, они и при отсутствии ног отнюдь не свидетельствуют о верности. Правда, мне пятьдесят лет, я должен быть слеп, как сама любовь».

Малодушный монолог был неизвинителен. Пара са-

пог не походила на нынешние полусапожки, которые человек рассеянный мог бы и не заметить: сапоги были во вкусе того времени, высокие сапоги с кисточками, весьма элегантные, из тех, чей блеск особенно ослепителен на фоне светлых панталон и в которых предметы отражаются, как в зеркале. Итак, сапоги кололи глаза почтенному торговцу шелками, и, скажем прямо, они кололи ему и сердце.

— Что с вами? — спросила его Корали.

— Ничего,— отвечал он.

— Позвоните,— сказала Корали, издеваясь над малодушием Камюзо.— Береника,— сказала она норманде, когда та вошла,— дайте мне крючки, я еще раз примерю эти проклятые сапоги. Не забудьте принести их вечером ко мне в уборную.

— Как!.. Это ваши сапоги?..— сказал Камюзо, вздохнув с облегчением.

— А что же вы думали? — спросила она высокомерно.— Грубое животное, уж не вообразили ли вы?.. Ах! Он, конечно, вообразил, что...— сказала она Беренике.— Какова потеха! В новой пьесе у меня мужская роль, а я никогда не носила мужского костюма. Театральный сапожник принес сапоги, чтобы я приучилась ходить в них, покамест сошьют новые, по ноге; я уже пыталась их примерить, но я так с ними измучилась! А все же надо еще раз попробовать.

— Не надевайте, если вам в них не по себе,— сказал Камюзо, которому было не по себе от этих сапог.

— Мадемуазель,—сказала Береника,—бросьте вы их, ради чего вам мучить себя? Она сейчас только что плакала из-за них, сударь! Будь я мужчиной, у меня никогда бы любимая женщина не плакала. Я бы ей заказала сапожки из тончайшего сафьяна. Дирекция у нас такая скаредная! Вы сами должны, сударь, заказать...

— Да, да,— сказал торговец.— Когда вы встали? — спросил он Корали.

— Только что. Я воротилась в шесть часов, искала вас повсюду, из-за вас держала карету целых семь часов. Вот ваша заботливость! Позабыть обо мне ради бутылок! Я должна себя поберечь; покуда «Алькальд» делает сборы, у меня все вечера будут заняты. Я не желаю, чтобы статья молодого человека оказалась вздором.

— Мальчик красив,— сказал Камюзо.

— Неужели? Я не люблю таких мужчин, они слишком похожи на женщин; и притом они не умеют любить; не то, что вы, старые дурачины, торгаши! Ведь вы умираете от скуки.

— Сударь, вы откушаете вместе с мадемуазель? — спросила Береника.

— Нет, у меня скверно во рту.

— Вчера вы порядком были навеселе. Ах, папаша Камюзо! Во-первых, я не люблю, когда пьют...

— Ты должна сделать подарок этому молодому журналисту,— сказал торговец.

— Право, я предпочитаю дарить, нежели делать то, что делает Флорина. Фи! Несносный человек, подите прочь или преподнесите карету, чтобы мне даром не терять времени.

— Вы завтра же получите карету и поедете в ней на обед с директором в «Роше де Канкаль». В воскресенье новой пьесы давать не будут.

— Пойдемте, мне надо пообедать,— сказала Корали, уводя Камюзо.

Часом позже Люсьена освободила Береника, подруга детства Корали, женщина столь же ловкая и сообразительная, сколь и дородная.

— Подождите здесь. Корали вернется одна. Она и вовсе спровадит Камюзо, если он вам станет досаждать,— сказала Береника Люсьену.— Но вы радость ее сердца, вы сущий ангел, и вы не пожелаете ее разорить. Она мне сказала, что решила все бросить, уйти из этого рая и жить с вами в мансарде. Ах, ревнивцы и завистники уже сказали ей, что у вас нет ни гроша, что вы живете в Латинском квартале! Я, видите ли, вас не брошу, я буду вести ваше хозяйство. Но я хочу утешить бедную девочку. Не правда ли, сударь, вы слишком умны, чтобы натворить глупостей? Ах, вы скоро поймете: с этим толстяком она — настоящий труп, а вы для нее — нежно любимый возлюбленный, божество, ради вас она душу отдаст. Если бы вы знали, как мила моя Корали, когда я с ней репетирую ее роли! Сколько в ней детской прелести! Она заслуживает, чтобы бог послал ей одного из своих ангелов: ведь она разочарована в жизни. Она была несчастна в детстве, мать ее била, а потом продала! Да,

сударь, родная мать продала собственное дитя! Будь у меня дочь, я ухаживала бы за ней, как за моей Корали, я считаю ее своим ребенком. И вот впервые настало для нее хорошее время, в первый раз ей так хлопали. Вы что-то там написали, так вот на второе представление наняли славную клаку. Покуда вы спали, приходил Бролар условиться с Корали.

— Кто такой Бролар? — спросил Люсьен; ему показалось, что он уже слышал это имя.

— Начальник клакеров, он советовался с Корали, в каких местах роли ее вызывать. Флорина хоть и выдает себя за подругу Корали, однако может сыграть какую-нибудь скверную шутку и приписать успех всецело себе. На Бульварах только и говорят, что о вашей статье. Ну, что за постель, просто княжеская!..— сказала она, оправляя кружевное покрывало.

Она зажгла свечи. При зажженных свечах ошеломленный Люсьен и впрямь поверил, что он в чертоге из волшебных сказок «Сокровищницы фей». Для убранства спальни, для занавесей Камюзо выбрал драгоценнейшие ткани «Золотого кокона». Поэт ступал по королевскому ковру. Палисандровое дерево отражало трепещущий свет, преломлявшийся в резьбе украшений. Камин из белого мрамора блистал безделушками баснословной ценности. На полу, подле постели, лежал коврик из лебяжьего пуха, отороченный куницей. Черные бархатные туфельки, подбитые алым шелком, сулили радости поэту «Маргариток». Прелестная лампа спускалась с потолка, обтянутого шелком. Повсюду, в дивных жардиньерках, виднелись изысканные цветы: нежный белый вереск, безуханные камелии. Все здесь являло воплощенный образ невинности. Как можно было вообразить здесь актрису и театральные нравы? Береника заметила смятение Люсьена.

— Не правда ли, мило? — сказала она вкрадчивым голосом.— Не лучше ли любить здесь, нежели на чердаке? Не потворствуйте ее безрассудству,— добавила она, подкатывая к Люсьену великолепный столик, уставленный яствами, которые припрятаны были от обеда хозяйки, чтобы повариха не догадалась о присутствии любовника.

Люсьен отлично пообедал; обед был подан Береникой на чеканном серебре, на расписном фарфоре — по луидору за тарелку. Роскошь обстановки взволновала его душу, подобно тому как уличная девка волнует школьника обнаженными прелестями и ногами в белых чулках, обтягивающих икры.

— Вот счастливец Камюзо! — вскричал он.

— Счастливец? — повторила Береника.— Да он отдал бы все свое богатство, чтобы быть на вашем месте и променять седые волосы на ваши золотые кудри.

Угостив Люсьена чудеснейшим вином, которое Бордо приберегает для богатых англичан, она предложила ему снова прилечь и вздремнуть в ожидании Корали; Люсьену, и верно, хотелось понежиться в этой восхитительной постели. Береника прочла это желание в глазах поэта и порадовалась за свою госпожу. Было десять с половиною часов, когда Люсьен проснулся, почувствовав любящий взгляд Корали. Она была в умопомрачительном ночном наряде. Люсьен выспался, Люсьен был пьян лишь любовью. Береника ушла, спросив:

— В котором часу вас завтра будить?

— В одиннадцать; завтрак подать в постель. До двух часов я никого не принимаю.

В два часа следующего дня актриса и ее возлюбленный были одеты и вели себя так чопорно, точно поэт приехал с визитом к особе, которой он покровительствует. Корали выкупала, причесала, приукрасила, приодела Люсьена, она приказала купить для него дюжину щегольских сорочек, дюжину галстуков, дюжину носовых платков у Кольо, двенадцать пар перчаток в кедровой шкатулке. Услышав стук экипажа около подъезда, Корали и Люсьен бросились к окну. Они увидели Камюзо, выходившего из роскошной маленькой кареты.

— Я не думала,— сказала Корали,— что можно так возненавидеть человека и всю эту мишуру...

— Я слишком беден, я не смею обречь вас на разорение,— сказал Люсьен, пробираясь таким путем через Кавдинское ущелье.

— Милый котеночек,— сказала она, прижимая Люсьена к груди,— значит, ты меня любишь? Я просила господина де Рюбампре,— сказала она Камюзо,— наве-

стить меня утром; я полагала поехать всем вместе в Елисейские поля и обновить карету.

— Поезжайте одни,— печально сказал Камюзо,— я не могу обедать с вами: нынче день рождения моей жены, я и забыл об этом.

— Бедный Мюзо, как ты будешь скучать! — сказала она, бросаясь обнимать купца.

Она опьянела от счастья, узнав, что обновит эту прелестную карету вдвоем с Люсьеном; вдвоем поедут они в Булонский лес! И от радости она так ласкала Камюзо, что могло показаться, будто она его любит.

— Желал бы я иметь возможность дарить вам каждый день по карете,— сказал со вздохом несчастный Камюзо.

— Уже два часа, нам надо спешить,— сказала актриса Люсьену и, заметив, что юноша приуныл, утешила его обворожительным взглядом.

Корали бежала вниз по лестнице, увлекая за собой Люсьена, Камюзо тащился за ними, точно тюлень, и не мог их нагнать. Поэт испытывал опьяняющие радости: Корали, преображенная счастьем, очаровывала взоры нарядом, полным вкуса и изящества. Париж Елисейских полей восхищался любовниками. В одной из аллей Булонского леса их карета повстречалась с коляской г-жи д'Эспар и г-жи де Баржетон; обе дамы удивленно посмотрели на Люсьена, но он ответил им презрительным взглядом: то был взгляд поэта, предвкушавшего близкую славу и власть. Мгновение, когда он взглядом выдал свои мечты о мщении, столь долго мучившие его сердце, было одним из самых сладостных мгновений в его жизни и, быть может, оно решило его участь. Фурии тщеславия вновь овладели Люсьеном: он вновь пожелал вступить в большой свет, блистательно отпраздновать отмщение, и все суетные светские заботы, пренебрежительно попранные ногами труженика, члена Содружества, вновь обуяли его душу. Он понял всю ценность нападения, предпринятого Лусто ради него: Лусто потворствовал его страстям, между тем как кружок, этот многоликий ментор, обуздывал их во имя унылых добродетелей и труда, которые Люсьен склонен был уже почитать бесполезными. Труд! Разве это не смерть для душ, жаждущих наслаждений? Вот отчего писатели так легко предаются

far niente[1], кутежам, уступают соблазнам сумасшедшей роскоши актрис и женщин полусвета! Люсьен чувствовал неодолимое желание продлить образ жизни этих двух безумных дней.

Обед в «Роше де Канкаль» был превосходен. Люсьен повстречал там всех гостей Флорины, исключая посла, герцога и танцовщицы, исключая Камюзо; вместо них были два знаменитых актера и Гектор Мерлен со своей возлюбленной, прелестной женщиной, именовавшей себя г-жою дю Валь-Нобль, самой красивой и элегантной среди женщин, представлявших в ту пору в Париже особый мир и ныне из учтивости именуемых *лоретками*. Люсьен, прожив последние сорок восемь часов в раю, теперь пожинал успех своей статьи. Встретив восхищение и зависть, поэт вновь обрел самоуверенность, мысль его заискрилась, и он стал тем Люсьеном де Рюбампре, который в продолжение нескольких месяцев блистал в литературном и в артистическом мире. Фино, этот знаток талантов, который чуял их, как людоед чует свежее мясо, обхаживал Люсьена, решив завербовать его в отряд подвластных ему журналистов. Люсьен поддался на лесть. Корали заметила уловки этого пожирателя дарований и пожелала остеречь Люсьена.

— Не связывай себя обязательствами, милый,— сказала она своему поэту.— Тебя желают эксплуатировать. Мы поговорим вечером.

— Не тревожься,— отвечал Люсьен.— Я достаточно силен, чтобы, под стать им, быть и злым и коварным.

Фино, который, видимо, не повздорил из-за пробелов с Гектором Мерленом, представил Мерлена Люсьену и Люсьена Мерлену. Корали и г-жа дю Валь-Нобль встретились дружески, щедро расточали нежности и были полны предупредительности. Г-жа дю Валь-Нобль пригласила Люсьена и Корали на обед. Гектор Мерлен, самый опасный из всех присутствующих на обеде журналистов, был человек маленького роста, сухой, с поджатыми губами, исполненный безмерного честолюбия, беспредельной зависти; он радовался чужому несчастью и умел извлекать выгоду из любых раздоров, созданных его же происками; он был одарен недюжинным умом, но

---

[1] Праздность *(итал.)*.

лишен силы воли,— впрочем, последнюю ему вполне заменял инстинкт, безошибочно указывающий всем проходимцам путь к золоту и власти. Люсьен и он не понравились друг другу,— нетрудно было объяснить почему. Мерлен, к несчастью, говорил вслух то, о чем Люсьен втайне думал. Когда был подан десерт, казалось, узы самой трогательной дружбы связывали всех этих людей, из которых каждый считал себя выше других. Люсьен, как новое лицо, был предметом их внимания. Беседа велась чересчур вольно. Не смеялся один Гектор Мерлен. Люсьен полюбопытствовал узнать о причине его сдержанности.

— Я вижу, вы вступаете в литературный мир и в журналистику, не расставшись с юношескими мечтаниями. Вы верите в дружбу. Мы все друзья либо враги в зависимости от обстоятельств. Мы, не задумываясь, поражаем друг друга оружием, которое должно служить лишь против врагов. Вы скоро убедитесь, что добрыми чувствами ничего не добьешься. Ежели вы добры станьте злым. Будьте сварливым из расчета. Ежели никто не посвятил вас в тайну этого верховного закона, я вам это говорю и тем самым оказываю немалое доверие. Желаете быть любимым, никогда не расставайтесь со своей возлюбленной, не заставив ее поплакать; желаете быть удачливым в литературе, постоянно всех оскорбляйте, даже друзей, бейте по их самолюбию, доводите их до слез,— и вы будете всеми обласканы.

Гектор Мерлен был счастлив, заметив по лицу Люсьена, что его слова пронзили новичка, как клинок кинжала. Началась игра. Люсьен проиграл все, что у него было. Его увезла Корали, и среди любовных утех он забыл жестокие волнения игры, уже наметившей в нем свою будущую жертву. На другой день, расставшись с Корали и возвращаясь в Латинский квартал, Люсьен нашел в кошельке проигранные деньги. Прежде всего такая заботливость его разгневала, он хотел воротиться и вернуть актрисе оскорбительный подарок; но он был уже в улице Лагарпа, на пути в гостиницу «Клюни». Он шел, раздумывая о поступке Корали, он видел в нем проявление материнского чувства, которое такие женщины вносят в свою страсть. Мысль сменялась мыслью, и Люсьен наконец решил, что он вправе принять пода-

рок; он сказал себе: «Я ее люблю, мы будем жить вместе, как муж и жена, я никогда ее не брошу!» И кто, кроме Диогена, не поймет чувств, обуревавших Люсьена, когда он всходил по грязной и зловонной лестнице гостиницы, отпирал скрипучий затвор двери, вновь увидел неопрятные плиты пола, жалкий камин, страшную нищету и наготу этой комнаты? На столе лежала рукопись его романа и записка Даниеля д'Артеза:

«Наши друзья почти довольны вашим произведением, дорогой поэт. Они говорят, что вы можете смело показать его друзьям и врагам. Мы прочли вашу прекрасную статью о Драматической панораме; в литературном мире вы возбудите столько же зависти, сколько сожалений возбудили в нас.

Даниель».

— Сожалений! Что он этим хочет сказать? — вскричал Люсьен, удивленный чересчур учтивым тоном записки. Ужели он стал чуждым для кружка? Вкусив изысканных плодов, предложенных ему Евой театральных кулис, он еще более дорожил уважением и дружбой своих друзей с улицы Катр-Ван. На несколько мгновений он погрузился в раздумье; он сопоставил свое настоящее, заключенное в стенах этой комнаты, и будущее — в покоях Корали. Волнуемый попеременно то благородными, то порочными побуждениями, он сел и стал просматривать рукопись. Каково же было его изумление! Из главы в главу искусное и преданное перо этих великих, еще безвестных людей обратило его скудость в богатство. Яркий, сжатый, краткий, нервный диалог заменил рассуждения, которые, как он теперь понял, были пустословием в сравнении с речами, овеянными духом времени. Портреты, несколько расплывчатые по рисунку, стали четкими, когда их коснулась размашистая и красочная кисть; все это было связано с важными явлениями человеческой жизни и основано на наблюдениях физиолога, без сомнения, исходивших от Бьяншона, мастерски изложенных и получивших жизнь. Многословные описания стали содержательными и яркими. Он вручил нескладного, плохо одетого ребенка, а получил обратно очаровательную девчурку в белом одеянии, опо-

ясанную лентой, с розовой повязкой на голове,—обворожительное создание! Ночь настигла его в слезах: он был сражен величием этого поступка, осознал цену подобного урока и восхищался исправлениями, которые в литературе и искусстве научили его большему, чем могут дать за четыре года чтение, сравнение и исследование. Беспомощный рисунок, преображенный рукою мастера, мазок кисти с живой натуры всегда скажут больше, нежели всякие теории и наблюдения.

— Вот это друзья! Вот это сердца! Какое мне выпало счастье! — вскричал он, пряча в стол рукопись.

В естественном порыве поэтической и кипучей натуры он бросился к Даниелю. Всходя по лестнице, он подумал, что все же теперь он менее достоин этих сердец, которых ничто не могло бы совратить с пути чести. Какой-то голос говорил ему, что если бы Даниель полюбил Корали, он не примирился бы с Камюзо. Он знал также о глубоком отвращении Содружества к журналистам, а он уже почитал себя до некоторой степени журналистом. Он нашел всех своих друзей в сборе, кроме Мэро, который только что ушел; на их лицах отражалось отчаяние.

— Что с вами, друзья мои? — сказал Люсьен.

— Мы получили весть о страшной катастрофе; величайший ум нашей эпохи, любимый наш друг, тот, кто два года был нашим светочем...

— Луи Ламбер? — сказал Люсьен.

— В состоянии каталепсии, и нет никакой надежды,— сказал Бьяншон.

— Он умрет, не ощущая тела, уже витая в небесах,— торжественно добавил Мишель Кретьен.

— Он умрет, как жил,— сказал д'Артез.

— Любовь, охватившая, подобно огню, его могучий мозг, сожгла его,— сказал Леон Жиро.

— Да,— сказал Жозеф Бридо,— она вознесла его на высоты, недоступные нашему взору.

— Мы достойны сожаления, —сказал Фюльжанс Ридаль.

— Он, возможно, выздоровеет! — вскричал Люсьен.

— Судя по тому, что нам сказал Мэро, излечение невозможно,— отвечал Бьяншон.— Его мозг стал ареной таких явлений, перед которыми медицина бессильна.

— Однако ж существуют средства,— сказал д'Артез.

— Да,— сказал Бьяншон,— сейчас он в каталепсии, а можно привести его в состояние идиотизма.

— Если бы можно было гению зла предложить взамен другую голову, я отдал бы свою! — вскричал Мишель Кретьен.

— А что сталось бы с европейской федерацией? — сказал д'Артез.

— И точно,— отвечал Мишель Кретьен,— каждый человек прежде всего принадлежит человечеству.

— Я пришел сюда с сердцем, преисполненным благодарности ко всем вам,— сказал Люсьен.— Вы обратили мою медь в золото.

— Благодарность! За кого ты нас принимаешь? — сказал Бьяншон.

— Нам это доставило удовольствие,— заметил Фюльжанс.

— Так вы теперь, стало быть, заправский журналист? — сказал Леон Жиро.— Отголосок вашего литературного выступления дошел до Латинского квартала.

— Не вполне еще,— отвечал Люсьен.

— О, тем лучше! — сказал Мишель Кретьен.

— Я был прав,— заметил д'Артез.— Сердце Люсьена знает цену чистой совести. Неужто это не лучшее вечернее напутствие, когда, склонив голову на подушку, имеешь право сказать: «Я не осудил чужого произведения, я никому не причинил горя; мой ум не ранил, подобно кинжалу, ничью невинную душу; мои насмешки не разбили ничьего счастья, они даже не встревожили блаженной глупости, они не принесли напрасной докуки гению; я пренебрег легкими победами эпиграмм; наконец — я ни в чем не погрешил против своих убеждений!»

— Но, я думаю,— сказал Люсьен,— что все это доступно и для того, кто пишет в газете. Ежели бы я решительно не нашел иного средства к существованию, я должен был бы пойти на это.

— О! О! О! — возвышая тон при каждом восклицании, сказал Фюльжанс.— Мы сдаемся?

— Он станет журналистом,— серьезно сказал Леон Жиро.— Ах, Люсьен! Если бы ты пожелал работать с нами! Ведь мы готовимся издавать газету, где никогда не будут оскорблены правда и справедливость, где мы бу-

дем излагать доктрины, полезные для человечества, и, может быть...

— У вас не будет ни одного подписчика,— с макиавеллиевским коварством заметил Люсьен, прерывая Леона.

— У нас их будет пятьсот, но таких, что стоят пятисот тысяч! — отвечал Мишель Кретьен.

— Вам потребуется много денег,— отвечал Люсьен.

— Нет,— сказал д'Артез,— не денег, а преданности.

— Пахнет парфюмерной лавкой! — дурачась, вскричал Мишель Кретьен, понюхав волосы Люсьена.— Тебя видели в нарядной карете, запряженной лошадьми, достойными денди, с княжеской любовницей Корали.

— Что ж в том дурного? — сказал Люсьен.

— Дурно уже то, что ты об этом спрашиваешь! — вскричал Бьяншон.

— Я для Люсьена желал бы Беатриче,— сказал д'Артез,— благородную женщину, опору в жизни...

— Но, Даниель, разве любовь не повсюду одинакова? — сказал поэт.

— Ах, в этом я аристократ,— сказал республиканец.— Я не мог бы любить женщину, которую актер целует на подмостках на глазах зрителей, женщину, которой за кулисами говорят «ты», которая унижается перед партером, улыбается, пляшет, подымая юбки, носит мужской костюм, выставляет напоказ красоту, которую я желаю видеть один. Ежели бы я полюбил подобную женщину, она должна была бы бросить театр, и я очистил бы ее своей любовью.

— А если она не могла бы бросить театр?

— Я умер бы от печали, от ревности, от тысячи терзаний. Любовь нельзя вырвать из сердца, как вырывают зуб.

Люсьен помрачнел и задумался. «Когда узнают, что я терплю Камюзо, они станут меня презирать»,— сказал он про себя.

— Видишь ли,— с ужасающим простодушием сказал ему неистовый республиканец,— ты можешь стать серьезным писателем, но ты всегда останешься несерьезным человеком.

Он взял шляпу и вышел.

— Как жесток Мишель Кретьен,— сказал поэт.

— Жесток и спасителен, как инструмент дантиста,— сказал Бьяншон.— Мишель предвидит твое будущее и, может быть, в эту минуту, идя по улице, оплакивает тебя.

Д'Артез был нежен и внимателен, он пытался ободрить Люсьена. Не прошло и часа, как Люсьен покинул Содружество, мучимый совестью; она кричала ему: «Ты будешь журналистом!», как ведьма кричала Макбету: «Ты будешь королем!» Выйдя на улицу, он взглянул на окна трудолюбивого д'Артеза, в которых мерцал слабый свет, и воротился домой с опечаленным сердцем и встревоженной душой. У него было какое-то предчувствие, что он в последний раз прижимал к сердцу своих истинных друзей... Войдя в улицу Клюни с площади Сорбонны, он увидел экипаж Корали. Только для того, чтобы взглянуть на своего поэта, пожелать ему доброго вечера, актриса приехала с бульвара Тампль к Сорбонне. Люсьен застал свою возлюбленную в слезах, растроенную убожеством его мансарды; она желала быть нищей, как ее милый, она плакала, укладывая его рубашки, перчатки, галстуки и платки в дрянной гостиничный комод. Отчаяние ее было так искренне, так глубоко и свидетельствовало о такой силе любви, что Люсьен, которого упрекали за его связь с актрисой, открыл в Корали святую, готовую облечься во власяницу нищеты. Очаровательное создание нашло предлог, чтобы оправдать свое посещение: надо было известить друга о том, что компания Камюзо, Корали и Люсьена дает ответный ужин компании Матифа, Флорины и Лусто, а также спросить Люсьена, не сочтет ли он нужным пригласить кого-либо из людей, полезных ему; Люсьен ответил, что он посоветуется с Лусто. Несколько минут спустя актриса ушла, утаив от Люсьена, что Камюзо ждет ее внизу в экипаже. На другой день в восемь часов Люсьен отправился к Этьену, не застал его и бросился к Флорине. Журналист и актриса приняли своего приятеля в красивой спальне, где они расположились по-семейному и втроем пышно позавтракали.

— Милый мой,— сказал Лусто, когда они сели за стол и Люсьен возвестил об ужине у Корали.— Советую тебе пойти со мною к Фелисьену Верну, пригласить его и сблизиться с ним, если только можно сблизиться с таким

прохвостом, как он. Фелисьен, быть может, откроет тебе доступ в политическую газету, где он печет фельетоны, там ты можешь процветать, печатая большие статьи в верхних столбцах газеты. Этот листок, как и наш, принадлежит либеральной партии, ты станешь либералом, эта партия популярна; а если ты пожелаешь потом перейти на сторону правительства, ты тем больше выиграешь, чем больше тебя будут бояться. Неужто Гектор Мерлен и госпожа дю Валь-Нобль, у которой бывают многие сановники, молодые денди и миллионеры, не пригласили тебя и Корали на обед?

— Ну, конечно,— отвечал Люсьен,— я приглашен с Корали, как и ты с Флориной.

После совместного кутежа в пятницу и обеда в воскресенье Люсьен и Лусто перешли на «ты».

— Отлично, мы, стало быть, встретимся с Мерленом в редакции. Этот молодчик пойдет по стопам Фино; ты отлично сделаешь, если поухаживаешь за ним. Пригласи на ужин Мерлена вместе с его возлюбленной; ведь ненавистники нуждаются во всех, и он окажет тебе услугу, чтобы при случае воспользоваться твоим пером.

— Ваше первое выступление в печати наделало шуму, теперь на вашем пути нет никаких преград, — сказала Флорина Люсьену.— Не упустите случая, иначе о вас скоро забудут.

— Совершилось событие,— продолжал Лусто.— Великое событие! Фино, этот бесталанный человек, стал директором и главным редактором еженедельного журнала Дориа, владельцем шестой части паев, доставшейся ему даром, и будет получать шестьсот франков в месяц. А я, мой милый, с нынешнего утра старший редактор нашей газетки. Все произошло, как я и предполагал в тот вечер. Флорина была на высоте, она даст десять очков вперед князю Талейрану.

— Мы властвуем над мужчинами, пользуясь их страстями,— сказала Флорина.— Дипломаты играют на их самолюбии, дипломаты видят их ухищрения,— мы видим их слабости, поэтому мы сильнее.

— В заключение,— сказал Лусто,— Матифа сострил единственный раз за всю свою жизнь, он изрек: «Что ж, это дело коммерческое!»

— Я подозреваю, что эту мысль подсказала ему Флорина! — вскричал Люсьен.

— Итак, душа моя,— продолжал Лусто,— теперь ты расправишь крылья.

— Вы родились в сорочке,— сказала Флорина.— Сколько молодых людей в Париже многие годы обивают пороги редакций, покамест им удастся поместить статью в газете! У вас судьба Эмиля Блонде. Не пройдет и полугода, как вы станете задирать нос,— насмешливо улыбнувшись, добавила она на своем наречии.

— Я в Париже уже три года,— сказал Лусто,— и только со вчерашнего дня Фино дает мне, как редактору, твердых триста франков в месяц, платит по сто су за столбец и по сто франков за лист в своем еженедельнике.

— Что же вы молчите?..— вскричала Флорина, глядя на Люсьена.

— Будущее покажет...— сказал Люсьен.

— Милый мой,— отвечал Лусто обиженно,— я все для тебя устроил, как для родного брата, но я не отвечаю за Фино. Дня через два Фино будут осаждать десятки шалопаев с предложениями дешевых услуг. Я ему дал слово за тебя; если хочешь, можешь отказаться. Ты сам не понимаешь своего счастья,— продолжал журналист, помолчав.— Ты станешь членом сплоченной группы, где товарищи нападают на своих врагов сразу в нескольких газетах и взаимно помогают друг другу..

— Прежде всего навестим Фелисьена Верну,— сказал Люсьен: он спешил завязать связи с этими опасными хищными птицами.

Лусто послал за кабриолетом, и оба друга отправились на улицу Мандар, где жил Верну, в доме с длинными наружными сенями. Он занимал квартиру в третьем этаже, и Люсьен был очень удивлен, застав этого желчного, надменного и чопорного критика в самой мещанской столовой, оклеенной дешевыми обоями, которые изображали кирпичную стену, симметрично поросшую мхом; на стенах висели плохие гравюры в позолоченных рамах; Верну завтракал в обществе некрасивой женщины — несомненно его законной супруги — и двух детишек, усаженных в высокие кресла с перекладиной, чтобы шалуны не упали. Фелисьен, застигнутый врасплох, в ситце-

вом халате, сшитом из остатков от платья жены, всем своим видом выражал неудовольствие.

— Ты завтракал, Лусто? — сказал он, предлагая стул Люсьену.

— Мы только что от Флорины,— сказал Этьен.— Мы там позавтракали.

Люсьен внимательно рассматривал г-жу Верну, похожую на добродушную, толстую кухарку, белотелую, но чрезвычайно вульгарную. Г-жа Верну поверх ночного чепца, завязанного под подбородком тесемками, из которых выпирали пухлые щеки, носила фуляровую косынку. Нескладный сборчатый капот, застегнутый у ворота на одну пуговицу, превращал ее фигуру в какую-то бесформенную глыбу, напоминавшую тумбу. От избытка здоровья, приводящего в отчаянье, румянец на толстых щеках принимал фиолетовый оттенок, при взгляде на пальцы ее рук невольно вспоминались сосиски. Наружность этой женщины сразу объяснила Люсьену, отчего Верну в обществе играл столь незавидную роль. Он стыдился своей жены и не мог бросить семью; но он был слишком поэт, чтобы не страдать от своей семейной обстановки, и, чувствуя постоянно недовольство самим собою, был недоволен всем: вот отчего этот писатель никому не прощал успеха. Люсьен понял причину желчного выражения, застывшего на лице этого завистника, язвительность насмешек, отличающих этого журналиста, резкость его слов, метких и отточенных, как стилет.

— Пожалуйте в кабинет,— сказал Фелисьен, вставая,— речь идет, несомненно, о литературных делах.

— И да, и нет,— отвечал Лусто.— Речь идет об ужине, старина.

— Я пришел,— сказал Люсьен,— по просьбе Корали...

При этом имени г-жа Верну подняла голову.

— ...пригласить вас отужинать у нее в будущий понедельник,— продолжал Люсьен.— Вы встретите то же общество, что у Флорины, а кстати и госпожу дю Валь-Нобль, Мерлена и некоторых других. Будем играть.

— Но, мой друг, в этот день мы приглашены к госпоже Магудо,— сказала жена.

— Ну и что ж? — сказал Верну.

— Если мы не придем, она будет обижена, а ты радо-

вался, что можешь учесть через нее векселя твоего издателя.

— Дорогой мой, вот женщина! Она не понимает, что ужин, который начинается в полночь, не может помешать вечеринке, которая кончается в одиннадцать часов! И я должен работать подле нее! — добавил он.

— У вас столько воображения! — отвечал Люсьен и благодаря одной этой фразе нажил в Верну смертельного врага.

— Стало быть, ты придешь,— продолжал Лусто,— но это еще не все. Господин де Рюбампре наш сторонник, устрой его в свою газету, представь как человека, способного заняться высокой литературой, чтобы ему можно было рассчитывать по крайней мере на две статьи в месяц.

— Да, если он пожелает быть нашим союзником, защищать наших друзей, нападать на наших врагов, как мы станем нападать на его врагов. Если так, я поговорю о нем сегодня вечером в Опере,— отвечал Верну.

— Итак, до завтра, мой милый,— сказал Лусто, пожимая руку Верну с изъявлениями самой горячей дружбы.— Скоро ли выйдет твоя книга?

— Все зависит от Дориа,— сказал отец семейства.— Я ее окончил.

— И ты доволен?

— И да, и нет...

— Мы обеспечим успех,— сказал Лусто, вставая и откланиваясь жене своего собрата.

Внезапное бегство было вызвано криком детей, учинивших ссору; они дрались ложками, брызгали друг другу в лицо бульоном.

— Ты видел, дружок, женщину, которая, сама того не ведая, творит великие опустошения в литературе,— сказал Этьен Люсьену.— Несчастный Верну не может простить нам своей жены. Следовало бы его избавить от нее, в интересах общества, разумеется. Мы тогда избегли бы целого потопа убийственных статей, эпиграмм по поводу чужого успеха, чужой удачи. Что делать с подобной женой да с двумя несносными малышами в придачу? Помнишь Ригодена в пьесе Пикара «Дом разыгрывается в лотерею»?.. Как и Ригоден, Верну сам не будет драться, а заставит драться других; он способен выколоть

себе глаз, лишь бы выколоть оба глаза у своего лучшего друга; вы увидите, как он попирает любой труд, радуется любому несчастью, нападает на герцогов, князей, маркизов, дворян оттого, что сам он разночинец; он, по вине жены, нападает на всех холостяков, и притом вечно твердит о нравственности, о семейных радостях и обязанностях гражданина. Короче, этот высоконравственный критик не ведает снисхождения даже в отношении детей. Живет он в улице Мандар, в обществе жены, созданной для роли «мамамуши» в «Мещанине во дворянстве», и двух маленьких Верну, отвратительных, как лишаи; он готов высмеивать Сен-Жерменское предместье, куда его нога не ступит, и вложить в уста герцогинь просторечье своей жены. Вот человек, который рад случаю поднять кампанию против иезуитов, поносить двор, приписывая ему намерение восстановить права феодалов, право первородства; он будет проповедовать нечто вроде крестового похода в защиту равенства — он, который не верит, что кто-либо ему равен! Если бы он был холост, выезжал в свет, имел внушительный вид роялистских поэтов, получающих субсидии, украшенных орденом Почетного легиона, он был бы оптимистом. В журналистике отыщется тысяча подобных точек отправления. Эта огромная катапульта приводится в действие мелочной ненавистью. Не пропала у тебя охота жениться? Верну утратил сердце, он — сплошная желчь. Он настоящий журналист, двуногий тигр, готовый всех растерзать, точно его пером овладело бешенство.

— Он женоненавистник,— сказал Люсьен.— А есть у него талант?

— Нет, но он умен, он *типичный* журналист. Верну начинен статьями, он вечно будет писать статьи, и ничего, кроме статей. Даже самым упорным трудом нельзя создать книги из его прозы. Фелисьен не способен вынашивать свое произведение, расположить материал, гармонически ввести действующих лиц в план повествования, развить его, довести до развязки; у него есть замыслы, но он не знает жизни; его герои нежизненны независимо от их умонастроения, философического или либерального. Наконец его стиль грешит надуманной оригинальностью, напыщенная фраза распадается от булавочного укола критики. Вот отчего он боится газет, как боится

их всякий, кто держится на поверхности лишь при помощи глупцов и лести.

— Ты сочинил целую статью! — вскричал Люсьен.

— Мой милый, такие статьи можно сочинять изустно, но никогда не следует их писать.

— Ты уже говоришь, как редактор,— сказал Люсьен.

— Куда тебя отвезти? — спросил Лусто.

— К Корали.

— А-а! Мы влюблены! — сказал Лусто.— Напрасно. Пусть для тебя Корали будет тем же, чем для меня Флорина: экономкой. Свобода превыше всего!

— Ты совратишь и святого! — сказал Люсьен, смеясь.

— Демонов не совращают,— отвечал Лусто.

Легкий, непринужденный тон нового друга, его манера принимать жизнь, его парадоксы, преподносившие правила истинно парижского макиавеллизма, неприметно действовали на Люсьена. В теории поэт сознавал опасность подобного образа мысли, практически он находил его полезным. Доехав до бульвара Тампль, друзья условились встретиться между четырьмя и пятью часами в редакции, куда должен был явиться и Гектор Мерлен. Люсьен и впрямь был очарован непритворной любовью куртизанок, которые овладевают самыми нежными тайниками вашей души и, повинуясь с непостижимой податливостью любым вашим желаниям, потворствуя вашим слабостям, черпают в них свою силу. Он уже жаждал парижских удовольствий, ему полюбилась легкая жизнь, беззаботная и пышная, созданная для него актрисой.

У Корали он застал Камюзо; они оба были в превосходном расположении духа: театр Жимназ предлагал с пасхи ангажемент, и условия контракта превзошли все ожидания Корали.

— Этой победой мы обязаны вам,— сказал Камюзо.

— О, конечно! «Алькальд» без него бы провалился,— вскричала Корали.— Не будь статьи, мне пришлось бы еще лет шесть играть на Бульварах.

Она бросилась к Люсьену, обняла его, пренебрегая присутствием Камюзо. В горячности актрисы прорывалась нежность, в ее одушевлении было нечто пленительное: она любила! Как и все люди в минуты глубокой скорби, Камюзо опустил глаза, и вдруг на сапогах Лю-

сьена он заметил вдоль шва цветную нитку, обычную приметy творений прославленных сапожников того времени; она вырисовывалась темно-желтой полоской на блестящих черных голенищах. Цвет этой коварной нитки уже привлек его внимание во время монолога по поводу необъяснимого появления сапог у камина Корали. На белой и мягкой коже подкладки он тогда же прочел отпечатанный черными буквами адрес знаменитого сапожника: «Ге, улица Мишодьер».

— У вас прекрасные сапоги, сударь,— сказал он Люсьену.

— У него все прекрасно,— отвечала Корали.

— Я желал бы заказать у вашего сапожника.

— О, как это отзывается улицей Бурдоне! — сказала Корали.— Спрашивать адрес сапожника! Ужели вы будете носить такие сапоги, точно молодой человек? То-то выйдет из вас красавец! Оставайтесь-ка лучше при своих сапогах с отворотами, они более к лицу человеку солидному, у которого есть жена, дети, любовница.

— А все же, если бы вы пожелали снять один сапог, вы оказали бы мне великую услугу,— сказал упрямый Камюзо.

— Я потом его не надену без крючков,— покраснев, сказал Люсьен.

— Береника найдет крючки, и тут они будут кстати,— с невыразимой насмешливостью сказал торговец.

— Папаша Камюзо,— сказала Корали, бросив на него взгляд, полный презрения,— будьте мужественны. Говорите откровенно. Вы находите, что эти сапоги похожи на мои? Я вам запрещаю снимать сапоги,— сказала она Люсьену.— И точно, господин Камюзо, это именно те самые сапоги, что на днях красовались перед моим камином, а он сам прятался от вас в моей уборной; да, да, он ночевал здесь. Не правда ли, вы так думаете? И продолжайте думать, я рада! И это чистая правда! Я вам изменяю. Ну и что же? Мне так нравится! Слышите!

Она говорила, не гневаясь, поглядывая на Камюзо и Люсьена с самым непринужденным видом, а они не смели взглянуть на нее.

— Я поверю всему, в чем вам угодно будет меня уверить,— сказал Камюзо.— Полноте шутить, я ошибся.

— Или я бесстыдная распутница и сразу бросилась

ему на шею, или я бедное, несчастное существо и впервые почувствовала настоящую любовь, которой жаждут все женщины. В обоих случаях надо или бросить меня, или принимать меня такой, какая я есть,— сказала она с царственным жестом, сокрушившим торговца шелками.

— Что она говорит? — сказал Камюзо, который понял по взгляду Люсьена, что Корали не шутит, и все же молил об обмане.

— Я люблю мадемуазель Корали,— сказал Люсьен.

Услышав эти слова, сказанные взволнованным голосом, Корали бросилась на шею своему поэту, обняла его и обернулась к торговцу шелками, явив перед ним прелестную любовную группу.

— Бедный Мюзо, возьми все, что ты мне подарил; мне ничего твоего не надо, я люблю как сумасшедшая этого мальчика, и не за его ум, а за его красоту. Нищету с ним я предпочитаю миллионам с тобой.

Камюзо рухнул в кресло, обхватил руками голову и не проронил ни слова.

— Желаете, чтобы мы ушли отсюда? — сказала она с непостижимой жестокостью.

Люсьена в озноб бросило при мысли, что он должен будет взвалить на свои плечи женщину, актрису, хозяйство.

— Оставайся, Корали, тут все принадлежит тебе,— сказал торговец исходившим от души тихим и печальным голосом,— я ничего не возьму обратно. Правда, обстановки тут на шестьдесят тысяч франков, но я и мысли не могу допустить, что моя Корали будет жить в нужде. А ты все же будешь нуждаться! Господин де Рюбампре, как ни велик его талант, не в состоянии содержать тебя. Вот что нас ждет, стариков! Позволь мне, Корали, хоть изредка приходить сюда: я могу тебе пригодиться. Притом, признаюсь, я не в силах жить без тебя.

Нежность этого человека, лишившегося нечаянно всего, что составляло его счастье, да еще в ту минуту, когда он чувствовал себя наверху блаженства, живо тронула Люсьена, но не Корали.

— Приходи, мой бедный Мюзо, приходи, когда захочешь,— сказала она.— Я буду больше тебя любить, когда мне не придется тебя обманывать.

Камюзо, казалось, был доволен, что он все же не из-

гнан из земного рая, где его, несомненно, ожидали страдания, но где он надеялся вновь войти в свои права, рассчитывая на случайности парижской жизни и на соблазны, предстоящие Люсьену. Старый торговец, продувная бестия, думал, что рано или поздно этот молодой красавец позволит себе неверность, и, чтобы следить за ним, чтобы погубить его в глазах Корали, он решил остаться их другом. Эта низость истинной страсти ужаснула Люсьена. Камюзо предложил отобедать у Вери, и предложение было принято.

— Какое счастье!—вскричала Корали, когда Камюзо ушел.— Прощай, мансарда в Латинском квартале, ты будешь жить здесь, мы не станем разлучаться; ради приличия ты снимешь небольшую квартирку в улице Шарло, и... что будет, то будет!

Она принялась танцевать испанское болеро с увлечением, которое обнаруживало неукротимую страсть.

— Работая усидчиво, я могу получать пятьсот франков в месяц,— сказал Люсьен.

— Столько же получаю и я в театре, не считая разовых. Камюзо будет меня одевать, он меня любит! На полторы тысячи франков в месяц мы будем жить, как крезы.

— А лошади, а кучер, а лакей? — сказала Береника.

— Я войду в долги! — воскликнула Корали.

И она опять принялась танцевать с Люсьеном джигу.

— Стало быть, надо принять предложение Фино! — вскричал Люсьен.

— Едем,— сказала Корали.— Я оденусь и провожу тебя в редакцию; я обожду тебя в карете на бульваре.

Люсьен сел на диван, он смотрел, как актриса совершает свой туалет, и предавался серьезным размышлениям. Он предпочел бы предоставить Корали свободу, чем связать себя обязательствами подобного брака, но она была так красива, так стройна, так пленительна, что он увлекся живописными картинами этой жизни богемы и бросил перчатку в лицо фортуны. Беренике был отдан приказ позаботиться о переезде и устройстве Люсьена. Затем торжествующая, прекрасная, счастливая Корали повезла своего возлюбленного, своего поэта через

весь Париж в улицу Сен-Фиакр. Люсьен быстро взбежал по лестнице и хозяином вошел в контору редакции. Тыква по-прежнему торчал с кипой проштемпелеванной бумаги на голове; старый Жирудо все так же лицемерно сказал Люсьену, что в редакции никого нет.

— Но сотрудники газеты должны же где-нибудь встречаться по редакционным делам,— сказал Люсьен.

— Вероятно, но редакция меня не касается,— сказал капитан императорской гвардии и принялся проверять бандероли, напевая свое вечное «брум, брум!».

В эту минуту, по счастью или по несчастью, явился Фино, чтобы объявить Жирудо о своем мнимом отречении и поручить ему охрану своих интересов.

— С этим господином можно обойтись без дипломатии, он наш сотрудник,— сказал он своему дядюшке, пожимая руку Люсьену.

— А-а, он сотрудник? — вскричал Жирудо, дивясь любезности племянника.— Если так, то попасть сюда вам удалось без труда.

— Я хочу сам все устроить, чтобы Этьен вас не провел,— сказал Фино, хитро взглянув на Люсьена.— Вы будете получать три франка за столбец за любую статью, в том числе и за театральные рецензии.

— Ты еще никогда и ни с кем не заключал таких условий,— сказал Жирудо, с любопытством посмотрев на Люсьена.

— Ему будет поручено четыре театра на Бульварах, ты позаботишься, чтобы у него не перехватывали ложи и доставляли ему билеты на спектакли. Все же я советую распорядиться, чтобы вам их присылали на дом,— сказал он, оборачиваясь к Люсьену.— Помимо критики, вы обязуетесь за пятьдесят франков писать ежемесячно в продолжение года десять статей на разные темы, размером около двух столбцов. Согласны?

— Да,— сказал Люсьен, соглашаясь, под давлением обстоятельств.

— Дядюшка,— сказал Фино кассиру,— составьте договор. Перед уходом мы подпишем его.

— А кто этот господин? — спросил Жирудо, вставая и снимая черную шелковую шапочку.

— Люсьен де Рюбампре, автор статьи об «Алькальде»,— сказал Фино.

— Молодой человек! — вскричал старый вояка, похлопывая Люсьена по лбу.— У вас тут золотая руда! Я не литератор, но вашу статью я прочел, и она доставила мне удовольствие. Вот это статья! Что за живость! Я так и подумал: «Статья даст нам подписчиков!» И верно! Мы пристроили пятьдесят экземпляров.

— Мой договор с Этьеном Лусто готов для подписи? Оба экземпляра? — спросил Фино у своего дядюшки.

— Да,— сказал Жирудо.

— Договор с господином де Рюбампре пометь вчерашним днем, пусть Лусто встанет перед лицом фактов.

Фино дружески взял своего нового сотрудника под руку, что подкупило поэта, и повел его вверх по лестнице, говоря:

— Теперь ваше положение прочно. Я сам познакомлю вас с *моими* сотрудниками. А вечером Лусто представит вас в театрах. Вы можете зарабатывать сто пятьдесят франков в месяц в нашей газетке; ею будет руководить Лусто, поэтому старайтесь жить с ним в дружбе. Этот бездельник будет недоволен, что я договором с вами связал ему руки, но у вас талант, и я не желаю, чтобы вы зависели от капризов редактора. Короче говоря, вы можете давать мне до двух листов в месяц для моего еженедельника, я буду вам платить за них двести франков. Но только никому ни слова, иначе я стану жертвой всех этих честолюбцев, оскорбленных удачей новичка. Выкройте из ваших двух листов четыре статьи, две статьи подписывайте своим именем, а две — псевдонимом, чтобы не создалось впечатления, будто вы отбиваете хлеб у других. Вы обязаны своим положением Блонде и Виньону, они предрекают вам будущее. Итак, оправдайте наши надежды. Особенно остерегайтесь друзей. Что касается до нас с вами, мы споемся. Услужите мне, а я услужу вам. От продажи лож и билетов у вас наберется франков сорок, да еще книг спустите франков на шестьдесят. Затем ваш гонорар в редакции; стало быть, четыреста пятьдесят франков в месяц вам обеспечены. Действуя с умом, вы получите по меньшей мере франков двести от книгопродавцев за статьи и проспекты. Но ведь вы мой союзник, не правда ли? Я могу на вас рассчитывать?

Люсьен пожал руку Фино в порыве неописуемой радости.

— Не подавайте вида, что мы с вами поладили,— шепнул ему на ухо Фино, открывая дверь мансарды, расположенной в конце длинного коридора, в пятом этаже дома.

И Люсьен увидел Лусто, Фелисьена Верну, Гектора Мерлена и еще двух журналистов, которых он не знал; они сидели перед пылающим камином на стульях и в креслах, вокруг стола, покрытого зеленым сукном, курили, смеялись. Стол был завален бумагами; на нем стояла настоящая чернильница, наполненная чернилами, лежали довольно скверные перья, но сотрудники довольствовались ими. Все говорило новому журналисту, что здесь создавалась газета.

— Господа,— сказал Фино,—цель нашего собрания — передача нашему дорогому Лусто моих полномочий главного редактора, ибо я принужден оставить газету. Мои мнения подвергнутся, разумеется, необходимой перемене, без чего я не мог бы стать редактором журнала, предназначение которого вам известно, однако мои убеждения останутся все те же, и мы будем друзьями. Я весь ваш, относитесь и вы ко мне по-прежнему. Обстоятельства переменчивы, принципы неизменны. Принципы — это ось, вокруг которой движутся стрелки политического барометра.

Сотрудники расхохотались.

— У кого ты позаимствовал эти перлы? — спросил Лусто.

— У Блонде,— отвечал Фино.

— Ветер, дождь, бурю, хорошую погоду,— сказал Мерлен,— мы все переживем вместе.

— Короче,— продолжал Фино,— не будем вдаваться в метафоры: приносите свои статьи, и вы увидите во мне прежнего Фино. Господин де Рюбампре ваш новый коллега,— сказал он, представляя Люсьена.— Я заключил с ним договор, Лусто.

Каждый поздравил Фино с повышением и блестящим будущим.

— Теперь ты оседлал и нас и прочих,— сказал ему один из сотрудников, неизвестных Люсьену.— Ты стал Янусом...

— Если бы только Янусом,— сказал Верну.

— Ты разрешишь нам обстреливать наши мишени?

— Все, что вы пожелаете! — сказал Фино.

— Ну, понятно, газета не может отступать,— сказал Лусто.— Господин Шатле взбешен, мы ему не дадим покоя целую неделю.

— Что случилось? — сказал Люсьен.

— Он приходил требовать объяснений,—сказал Верну.— Бывший щеголь времен Империи наткнулся на Жирудо, и тот самым хладнокровным образом сказал ему, что автор статьи — Филипп Бридо, а Филипп предложил барону назначить час и род оружия. На этом дело и кончилось. В завтрашнем номере мы хотим извиниться перед бароном: что ни фраза, то удар кинжала!

— Ужальте его покрепче, тогда он прибежит ко мне,— сказал Фино.— Я притворюсь, что, укрощая вас, оказываю ему услугу; он близок к министерству, и мы можем кое-что урвать — место сверхштатного учителя или патент на табачную лавку. Наше счастье, что статья задела его за живое. Кто из вас желает написать для моего нового журнала основательную статью о Натане?

— Поручите Люсьену,— сказал Лусто.— Гектор и Верну дадут статьи в своих газетах...

— До свиданья, господа! Мы *встретимся сегодня у Барбена*,— сказал Фино, смеясь.

Люсьен выслушал поздравления по поводу того, что он вступает в грозный корпус журналистов, и Лусто рекомендовал его как человека, на которого можно положиться.

— Люсьен приглашает нас всех, господа, на ужин к своей возлюбленной, прекрасной Корали.

— Корали переходит в Жимназ,— сказал Люсьен Этьену.

— В таком случае решено, мы поддержим Корали. Не правда ли? Надо дать во всех ваших газетах несколько строк об ее ангажементе и указать на ее талант. Похвалите дирекцию Жимназ за вкус и догадливость. Нельзя ли наделить ее и умом?

— Умом мы ее наделили,— отвечал Мерлен.— Фредерик вместе со Скрибом написал пьесу для Жимназ.

— О! Тогда директор Жимназ самый предусмотрительный и самый проницательный из дельцов,— сказал Верну.

— Послушайте! Повремените писать статьи о книге

Натана, пока мы не сговоримся,— и я скажу вам почему,— сказал Лусто.— Сперва поможем нашему новому собрату; Люсьену надо пристроить две книги: сборник сонетов и роман. Клянусь честью газетной заметки, не пройдет и трех месяцев, мы сделаем из него великого поэта! «Маргаритки» нам пригодятся, чтобы унизить все эти *Оды, Баллады, Размышления,*— короче, всю романтическую поэзию.

— Вот будет потеха, если сонеты никуда не годятся,— сказал Верну.— Какого вы мнения о своих сонетах, Люсьен?

— Да, какого вы о них мнения? — сказал один из незнакомых сотрудников.

— Господа, сонеты превосходные,— сказал Лусто.— Даю слово!

— Отлично. Я удовлетворен,— сказал Верну.— Я ими собью с ног этих поэтов алтаря, они надоели мне.

— Если Дориа нынче вечером не возьмет «Маргаритки», мы двинем статью за статьей против Натана.

— А что скажет Натан? — вскричал Люсьен.

Все пять журналистов расхохотались.

— Он будет восхищен,— сказал Верну.—Вы увидите, как мы все уладим.

— Итак, сударь, вы наш? — сказал один из сотрудников, которого Люсьен не знал.

— Да! Да! Фредерик, довольно шутить. Вот видишь, Люсьен,— сказал Этьен новопосвященному,— как мы действуем ради тебя; и ты не увильнешь при случае. Мы все любим Натана, а собираемся напасть на него. Теперь приступим к разделу «империи Александра». Фредерик, желаешь Французский театр и Одеон?

— Ежели господа журналисты не возражают,— сказал Фредерик.

В знак согласия все наклонили голову, но Люсьен приметил, как в их глазах блеснула зависть.

— Я оставлю за собой Оперу, Итальянцев и Комическую оперу,— сказал Верну.

— Отлично! Гектор возьмет театры водевилей,— сказал Лусто.

— А что же мне? У меня нет ни одного театра? — вскричал сотрудник, незнакомый Люсьену.

— Ладно, тебе Гектор уступит Варьете, а Люсьен —

Порт-Сен-Мартен,— сказал Лусто.— Отдай ему Порт-Сен-Мартен, он без ума от Фани́и Бопре,— сказал он Люсьену,— ты взамен получишь цирк Олимпиа. Я беру себе Бобино, Фюнамбюли и мадам Саки́... Что у нас есть для завтрашнего номера?

— Ничего.

— Ничего?

— Ничего.

— Господа, блесните ради моего первого номера! Барона Шатле и его выдры не хватит на всю неделю. Автор «Отшельника» уже изрядно всем наскучил.

— Состен-Демосфен уже не забавен,— сказал Верну.— Все набросились на эту тему.

— Да, нам нужны новые покойники,— сказал Фредерик.

— Господа, а что, если мы примемся за добродетельных мужей правой? Объявим, допустим, что у господина Бональда запах от ног? — вскричал Лусто.

— Не начать ли серию портретов прославленных ораторов из лагеря правительства? — сказал Гектор Мерлен.

— Начни, дружок,— сказал Лусто.— Ты их знаешь, они из твоей партии, ты можешь удовлетворить какую-нибудь междоусобную ненависть. Вышути Беньо, Сириеса де Мейринака и других. Статьи можно готовить заранее, тогда мы не будем бедствовать из-за материала.

— Не изобрести ли какой-нибудь отказ в погребении с более или менее отягчающими вину обстоятельствами? — сказал Гектор.

— Нет, мы не пойдем по стопам крупных конституционных газет, у которых *папка с фельетонами о священниках* битком набита *утками*,— отвечал Верну.

— Утками? — удивленно сказал Люсьен.

— Мы называем «уткой»,— отвечал ему Гектор,— случай вполне правдоподобный, но на самом деле вымышленный ради того, чтобы оживить отдел «Парижские новости», когда эти новости оскудевают. «Утка» — это выдумка Франклина, который изобрел громоотвод, «утку» и республику. Этот журналист так ловко обманывал своими заморскими «утками» энциклопедистов, что две из них Рейналь в своей «Философической истории Индии» приводит как подлинные факты.

— Я этого не знал,— сказал Верну,— что это за «утки»?

— История с англичанином, продавшим за солидную сумму свою спасительницу негритянку и своего ребенка от нее. Затем прекрасная защитительная речь одной беременной девушки, выигравшей судебный процесс. Когда Франклин, будучи в Париже, посетил Неккера, он сознался в истории с «утками», к великому смущению французских философов. Вот как Новый Свет дважды надул Старый!

— Газета,— сказал Лусто,— считает правдой все правдоподобное. Это наша исходная точка.

— Уголовное судопроизводство исходит из того же,— сказал Верну.

— Итак, в девять вечера здесь,— сказал Мерлен.

Все встали, пожали друг другу руки, и совещание было закрыто при самых трогательных изъявлениях дружбы.

— Чем ты околдовал Фино? — сказал Этьен Люсьену, сходя по лестнице.— Он подписал с тобой договор! Он допустил ради тебя исключение.

— Я? Помилуй! Да он сам мне предложил,— сказал Люсьен.

— Короче, вы столковались. Что же, я очень рад. Мы оба от этого выиграем.

В нижнем этаже Лусто и Люсьен застали Фино, и тот увел Этьена в официальный кабинет редакции.

— Подпишите договор. Пусть новый редактор думает, что это было сделано вчера,— сказал Жирудо, подавая Люсьену два листа гербовой бумаги.

Читая текст договора, Люсьен прислушивался к горячему спору, который вели Этьен и Фино по поводу газетных доходов натурою: Этьен желал иметь долю в податях, взимаемых Жирудо. Несомненно, Фино и Лусто пришли к соглашению, ибо они вышли, беседуя вполне миролюбиво.

— В восемь часов будь в Деревянных галереях, у Дориа,— сказал Этьен Люсьену.

Люсьен с затаенной радостью наблюдал, как Жирудо теми же шутками, какими он отваживал от редакции его самого, угощал теперь молодого человека, смущенного и взволнованного, явившегося с предложением сотрудни-

чества; собственная выгода заставила Люсьена понять необходимость подобного приема, создававшего почти непроницаемую преграду между новичками и мансардой, куда проникали избранные.

— И без того для сотрудников недостает денег,—сказал он Жирудо.

— Ежели вас станет больше, каждый будет получать меньше,— отвечал капитан.— Итак...

Бывший военный повертел своей дубинкой и вышел, бурча «брум, брум!» Он явно был поражен, увидев, что Люсьен садится в щегольской экипаж, поджидавший его на бульваре.

— Нынче они, видно, люди военные, а мы шлюпики,— сказал солдат.

— Право, журналисты, по-моему, удивительно славные люди,— сказал Люсьен своей возлюбленной.— Вот я и журналист, у меня есть возможность, работая, как вол, зарабатывать шестьсот франков в месяц; но теперь мои первые книги увидят свет, и я напишу еще новые. Друзья обеспечат мне успех! Поэтому я скажу, как и ты, Корали: «Что будет, то будет!»

— Конечно, ты прославишься, мой милый. Но, красавец мой, не будь таким добрым. Иначе ты себя погубишь. Будь зол с людьми. Это хорошее правило.

Корали и Люсьен поехали в Булонский лес; они опять встретили маркизу д'Эспар, г-жу де Баржетон и барона дю Шатле. Г-жа де Баржетон так выразительно взглянула на Люсьена, что этот взгляд можно было счесть за поклон. Камюзо заказал изысканнейший обед. Корали, почувствовав себя свободной, была чрезвычайно ласкова с несчастным торговцем шелками; за четырнадцать месяцев их связи он не видал ее такой обаятельной и милой.

«Ну, что ж,— сказал он про себя,— я не расстанусь с ней, несмотря ни на что!»

Камюзо, улучив минуту, предложил Корали внести на ее имя шесть тысяч ливров ренты, втайне от своей жены, лишь бы Корали пожелала остаться его возлюбленной, и обещал закрыть глаза на ее любовь к Люсьену.

— Обманывать такого ангела?.. Несчастное чучело, да ты посмотри на него и на себя! — сказала она, указывая на поэта, которого Камюзо слегка подпоил.

Камюзо решил ждать, покуда нужда не возвратит ему эту женщину, которую уже однажды нищета предала в его руки.

— Хорошо, я останусь твоим другом,— сказал он, целуя ее в лоб.

Люсьен расстался с Корали и Камюзо и пошел в Деревянные галереи. Какая перемена произошла в его сознании после посвящения в таинства журналистики! Он бесстрашно отдался потоку толпы в галереях, он держался уверенно оттого, что у него была любовница, и непринужденно вошел к Дориа, оттого что чувствовал себя журналистом. Он застал там большое общество, он подал руку Блонде, Натану, Фино и всем литераторам, с которыми сблизился за эту неделю; он возомнил себя выдающимся человеком и льстил себя надеждой превзойти сотоварищей; легкий хмель, воодушевлявший его, оказывал превосходное действие, он блистал остроумием и показал, что с волками умеет выть по-волчьи. Однако ж Люсьен не вызвал безмолвных или высказанных похвал, на которые он рассчитывал, и даже заметил первые признаки зависти; но все эти люди испытывали не столько тревогу, сколько любопытство: они желали знать, какое место в их мире займет новое диво и какая доля падет на него в общем разделе добычи. Улыбкой встретили его только Фино, который смотрел на Люсьена, как эксплуататор на золотую руду, и Лусто, считавший, что имеет на него права. Лусто, уже усвоивший приемы главного редактора, резко постучал в окно кабинета Дориа.

— Сию минуту, мой друг,— отвечал книгопродавец, показавшись из-за зеленых занавесок.

Минута длилась час, наконец Люсьен и его друг вошли в святилище.

— Так вот, подумали вы о книге нашего друга? — сказал новый редактор.

— Конечно,— сказал Дориа, раскинувшись в креслах, точно какой-нибудь султан.— Я просмотрел сборник и дал его на прочтение человеку высокого вкуса, тонкому ценителю,— сам я не притязаю на роль знатока. Я, мой друг, покупаю проверенную славу, как один англичанин покупал любовь. Вы столь же редкий поэт, сколь редкостна ваша красота,—сказал Дориа.—Клянусь, я говорю не как книгопродавец. Ваши сонеты великолепны, в них

не чувствуется никакого напряжения, они естественны, как все, что создано по наитию и вдохновению. И наконец вы мастер рифмы,— это одно из достоинств новой школы. Ваши «Маргаритки» — прекрасная книга, но это еще не *дело*, а я могу заниматься лишь крупным делом. Стало быть, я не возьму ваших сонетов, на них нельзя заработать, а потому не стоит и тратиться на создание успеха. Притом вы скоро бросите поэзию, ваша книга — книга-одиночка. Вы молоды, юноша! Вы предложили мне извечный первый сборник первых стихов; так начинают по выходе из коллежа все будущие писатели, и вначале они дорожат своими стихами, а впоследствии сами над ними смеются. Ваш друг Лусто, наверно, хранит поэму, спрятанную среди старых носков. Неужто у тебя нет поэмы, в которую ты верил, Лусто? — дружески сказал Дориа, глядя на Этьена.

— А иначе как бы я научился писать прозой? — сказал Лусто.

— Вот видите, он мне никогда о ней не говорил; но ваш друг знает книжное дело и вообще коммерческие дела,— продолжал Дориа.— Для меня,— сказал он, чтобы польстить Люсьену,— вопрос не в том, большой вы поэт или нет; у вас много, очень много достоинств; если бы я был неопытен, я бы сделал ошибку и издал вас. Но прежде всего мои вкладчики и пайщики нынче сильно урезали меня; ведь не далее как в прошлом году я на стихах потерял двадцать тысяч. Теперь они и слышать не хотят ни о какой поэзии, а они — мои хозяева. Однако вопрос не в этом. Охотно допускаю, что вы великий поэт, но плодовитый ли? Можно ли рассчитывать на ваши сонеты? Напишете ли вы десять томов? Станете ли вы представлять *дело?* Нет. Из вас выйдет превосходный прозаик; вы слишком умны, чтобы баловаться пустословием, вы будете зарабатывать в газетах тысяч тридцать франков в год, так для чего же нужны вам те жалкие три тысячи, что вы с трудом сколотите, кропая ваши полустишия, строфы и прочую ерунду!

— Вы знаете, Дориа, что он сотрудник нашей газеты? — спросил Лусто.

— Да,— отвечал Дориа,— я прочел статью; и я отказываюсь издать «Маргаритки», разумеется, в его же интересах! Да, сударь, в полгода за ваши статьи, которые

я сам закажу вам, я заплачу больше, нежели за вашу бесполезную поэзию!

— А слава? — вскричал Люсьен.

Дориа и Лусто рассмеялись.

— Вот видите,— сказал Лусто,— он все еще предается юношеским мечтаниям.

— Слава,— отвечал Дориа,— это десять лет упорства, а для издателя — либо убыток, либо прибыль в сто тысяч франков. Пусть даже отыщется безумец, который издаст ваши стихи, все равно через год, узнав о последствиях этой операции, вы проникнетесь ко мне уважением.

— Моя рукопись у вас? — сказал Люсьен холодно.

— Вот она, мой друг,— отвечал Дориа, и в его обращении с Люсьеном появилась какая-то вкрадчивость.

Поэт взял сверток, не проверив состояние перевязи, настолько вид Дориа внушал уверенность в том, что он прочел «Маргаритки». Люсьен вышел вместе с Лусто; казалось, он не был ни удручен, ни раздосадован. Дориа проводил обоих друзей в лавку, беседуя о своем журнале и о газете Лусто. Люсьен небрежно играл рукописью «Маргариток».

— Ты в самом деле думаешь, что Дориа прочел или давал кому-нибудь прочесть твои сонеты? — шепнул ему Этьен.

— Само собою,— сказал Люсьен.

— Посмотри на перевязь.

Люсьен взглянул и убедился, что пометка и шнур вполне совпадали.

— Какой сонет вам более всего пришелся по вкусу?— сказал Люсьен издателю, побледнев от гнева и досады.

— Они все замечательны, мой друг,— отвечал Дориа,— но сонет, посвященный маргаритке, просто прелесть! Он завершается тонкой и восхитительной мыслью. Оттого я и предвижу, какой успех будет иметь ваша проза. Оттого-то я сейчас же и рекомендовал вас Фино. Пишите статьи, мы их хорошо оплатим. Мечтать о славе, разумеется, очень увлекательно, но не забывайте о существенном и берите все, что можно взять. Когда вы разбогатеете, пишите стихи.

Поэт, боясь вспылить, выскочил из лавки: он был взбешен.

— Полно, дружок,— сказал Лусто, выходя вслед за ним,— будь спокойнее, принимай людей такими, каковы они есть, смотри на них как на средство. Желаешь отомстить?

— Во что бы то ни стало,— сказал поэт.

— Вот экземпляр книги Натана, мне только что ее дал Дориа; второе издание выйдет завтра, прочти книгу и настрочи убийственную статью. Фелисьен Верну не выносит Натана, он боится, что успех книги повредит в будущем успеху его собственных сочинений. Люди ограниченного ума—маньяки, они воображают, что под солнцем недостанет места для двоих. Фелисьен постарается, чтобы твою статью поместили в большой газете, где он работает.

— Но что можно сказать против этой книги? Она прекрасна! — вскричал Люсьен.

— Ты неисправим! Дорогой мой, обучайся своему ремеслу,— смеясь, сказал Лусто.— Книга, будь она даже чудом мастерства, должна под твоим пером стать пошлым вздором, произведением опасным и вредным.

— Но каким образом?

— Обрати достоинства в недостатки.

— Я неспособен на подобную проделку.

— Дорогой мой, журналист — это акробат; тебе надо привыкать к неудобствам своей профессии. Слушай! Я добрый малый! Вот как надо действовать в подобных обстоятельствах. Внимание, дружок! Начни с того, что произведение превосходно, и тут ты можешь излить свою душу, написав все, что ты и впрямь думаешь. Читатель скажет: «Критик беспристрастен, в нем нет зависти». Итак, публика сочтет твою критическую статью добросовестной. Заручившись уважением читателя, ты выразишь сожаление по поводу приемов, которые подобные книги вносят во французскую литературу. «Неужто Франция,— скажешь ты,— в области мысли не господствует над всем миром? Доныне французские писатели из века в век направляли Европу на путь анализа, философского мышления благодаря могуществу стиля и блестящей форме, в которую они облекали идеи». Тут, в угоду мещанскому вкусу, ты скажешь похвальное слово Вольтеру, Руссо, Дидро, Монтескье, Бюффону. Ты разъяснишь, как неумолим французский язык, ты докажешь, что он

точно лаком покрывает мысль. Ты бросишь несколько истин в таком роде: «Во Франции великий писатель — всегда великий человек: самый язык обязывает его мыслить, тогда как в других странах...» и так далее. Ты наглядно объяснишь свое положение, сравнив Рабенера, немецкого моралиста и сатирика, с Лабрюйером. Ничто так не придает важности критику, как ссылка на неизвестного иностранного автора. Кант послужил пьедесталом Кузену. Ступив на эту почву, ты пустишь в ход словцо, которое в сжатой форме передает и объясняет простакам сущность творчества наших гениев прошлого века: ты определишь их литературу как *литературу идей*. Вооруженный этой формулой, ты обрушишь на голову ныне здравствующих писателей всех уже почивших знаменитостей. Ты объяснишь, что в наши дни возникла новая литература, злоупотребляющая диалогом (самой легкой из литературных форм) и описаниями, избавляющими от обязанности думать. Ты противопоставишь романы Вольтера, Дидро, Стерна, Лесажа, столь содержательные, столь язвительные современному роману, где все передается образами и который Вальтер Скотт чересчур *драматизировал*. Подобный жанр годен только для вымыслов. «Роман в духе Вальтера Скотта — это жанр, а не направление»,—скажешь ты. Ты разгромишь этот пагубный жанр, разжижающий мысль, пропускающий ее сквозь прокатный стан, жанр для всех доступный: каждый может легко стать писателем этого жанра; короче, ты назовешь этот жанр *литературой образов*. Затем ты обратишь все эти доводы против Натана, доказав, что он простой подражатель и что у него лишь видимость таланта. Высокий выразительный стиль восемнадцатого века чужд его книге, ты докажешь, что автор подменил чувства событиями; движение-де еще не есть жизнь, картина не есть мысль! Побольше таких сентенций, публика их подхватывает. Несмотря на достоинства произведения, ты все же признаешь его роковым и пагубным, ибо оно открывает для толпы двери в храм Славы, и ты провидишь в будущем целую армию писак, стремящихся подражать столь легкой форме. Тут ты можешь предаться стенаниям и жалобам по поводу упадка вкуса и вскользь воздашь хвалу Этьену, Жуи, Тиссо, Госсу, Дювалю, Жэ, Бенжамену Констану, Эньяну, Баур-

Лормиану, Вильмену, корифеям партии либеральных бонапартистов, под покровительством коих находится газета Верну. Ты покажешь, как эта доблестная фаланга противостоит вторжению романтиков, защищает идеи и стиль против образа и пустословия, продолжает традиции Вольтера и выступает против школы английской и школы немецкой, подобно тому как семнадцать ораторов левой ведут борьбу за народ против крайней правой. Под защитой этих имен, уважаемых огромным большинством французов, которые всегда будут на стороне левой оппозиции, ты можешь раздавить Натана, творение которого, хотя оно и таит в себе высокие красоты, все же дает во Франции право гражданства литературе, лишенной идей. Затем речь пойдет уже не о Натане, не о его книге — понимаешь? — но о славе Франции. Долг честного и мужественного критика горячо противодействовать иноземным новшествам. И тут ты польстишь подписчику. Скажешь, что французский читатель — тонкий знаток, что его не так-то легко обмануть. Если издатель, по каким-либо причинам, в которые ты не желаешь входить, рекламирует негодную книгу, разумные читатели поспешат исправить ошибки пяти сотен простаков, представляющих их передовые отряды. Ты скажешь, что книгопродавец, которому посчастливилось распродать первое издание, проявил излишнюю отвагу, решившись переиздать книгу, и ты выразишь сожаление, что столь опытный издатель так плохо знает состояние умов в нашей стране. Вот тебе основы. Приправь эти рассуждения язвительными остротами, и Дориа поджарится на углях твоей статьи. Но не забудь в заключение пожалеть о заблуждениях Натана, которому современная литература будет обязана прекрасными творениями, ежели он сойдет с ложного пути.

Люсьен, затаив дыхание, слушал речи Лусто: под влиянием откровений журналиста упала пелена с его глаз, он открыл литературные истины, о которых и не подозревал.

— Но ведь то, что ты сказал,— вскричал он,— умно и справедливо!

— А иначе разве можно было бы пробить брешь в книге Натана? — сказал Лусто.— Вот тебе, дружок, первая форма статей, предназначенных для разгрома про-

изведения. Это критический *таран*. Но есть и другие формы! Всему обучишься. Когда тебе прикажут говорить о человеке, которого ты не любишь, а владелец газеты, в силу необходимости, принужден дать о нем отзыв, ты прибегнешь к тому, что мы называем редакционной статьей. В заголовке ставят название книги, данной на отзыв; статью начинают общими фразами,— тут можно говорить о греках, о римлянах, а затем в конце сказать: «Эти соображения обязывают нас обсудить книгу такого-то, что и послужит темой второй нашей статьи». А эта вторая статья так и не появится. И вот книга задушена двумя обещаниями. В настоящем случае тебе надо написать статью не против Натана, но против Дориа; значит, требуется таран. Для хорошей книги таран безвреден, дурную книгу он пробьет до самой сердцевины; в первом случае он бьет только по издателю; во втором оказывает услугу публике. Эти формы литературной критики применяются также в критике политической.

Жестокий урок Этьена вскрыл тайны журналистики, и впечатлительный Люсьен с удивительной ясностью понял сущность этого ремесла.

— Поедем в редакцию,— сказал Лусто,— мы там встретим наших друзей и условимся, как повести атаку против Натана; ты увидишь, они будут хохотать.

Приехав в улицу Сен-Фиакр, они поднялись в мансарду, где составлялась газета, и Люсьен был удивлен, восхищен, увидев, с какой радостью его товарищи приняли предложение разгромить книгу Натана. Гектор Мерлен взял листок бумаги и написал следующие строки, предназначавшиеся для его газеты:

Вторым изданием выходит книга г-на Натана. Мы полагали умолчать об этом сочинении, но его мнимый успех принуждает нас поместить статью не столько о самой книге, сколько о новых направлениях в нашей литературе.

В «Отделе юмора» для ближайшего номера Лусто поместил заметку:

Книгоиздатель Дориа выпускает вторым изданием книгу г. Натана. Разве ему не ведома судейская аксиома: «Non bis in idem»? [1] *Отважным неудачникам слава!*

[1] Дважды за одну вину не карают (*лат.*).

Речи Лусто были для Люсьена подобны факелу, желание отомстить Дориа заступило место и совести и вдохновения. Три дня он, не отрываясь, работал над статьей в комнате Корали, сидя перед камином; Береника ему прислуживала, притихшая и внимательная, Корали оберегала его покой. Наконец Люсьен набело переписал критическую статью, занявшую почти три столбца и отмеченную высокими качествами. Он поспешил в редакцию: было девять часов вечера. Он застал там сотрудников и прочел им свой труд. Все слушали серьезно. Фелисьен, не сказав ни слова, взял рукопись и сбежал вниз по лестнице.

— Что с ним? — вскричал Люсьен.

— Он понес твою рукопись в типографию,— сказал Гектор Мерлен,— это верх мастерства, слова не выкинешь, строчки не прибавишь.

— Тебе только укажи путь! — сказал Лусто.

— Желал бы я видеть, какую мину состроит Натан, прочтя завтра вашу статью,— сказал другой сотрудник, сияя от удовольствия.

— С вами опасно ссориться,— сказал Гектор Мерлен.

— Хлестко? — с живостью спросил Люсьен.

— Блонде и Виньон упадут в обморок, — сказал Лусто.

— А я еще написал для вас статейку; в случае удачи можно дать целую серию этого жанра.

— Прочти,— сказал Лусто.

И Люсьен прочел одну из тех прелестных статей, создавших благоденствие газетки, где он на двух столбцах описывал какую-нибудь подробность парижской жизни, рисовал какой-либо портрет, тип, обычное явление или курьез. Эта проба пера, озаглавленная *Парижские прохожие*, была выполнена в новой и своеобразной манере, где мысль рождалась от звучания слов и блеск наречий и прилагательных возбуждал внимание. Эта статья так же отличалась от серьезной и вдумчивой статьи о Натане, как «Персидские письма» отличаются от «Духа законов».

— Ты прирожденный журналист,— сказал Лусто.— Статья пойдет завтра. Писать можешь, сколько душа пожелает.

— Ну! — сказал Мерлен.— Дориа в ярости от двух снарядов, которые мы метнули в его лавку. Я только что от него; он изрыгал проклятия, срывал злобу на Фино; ведь тот ему сказал, что газету он продал тебе. А я, отведя его в сторонку, сказал ему на ухо: «Маргаритки» вам дорого обойдутся! К вам приходит талантливый человек, а вы его выпроваживаете. Мы же встречаем его с распростертыми объятиями!»

— Дориа как громом будет поражен статьей, которую мы только что прослушали, — сказал Лусто Люсьену. — Видишь, дружок, что такое газета? А твое отмщение идет своим чередом! Барон Шатле утром спрашивал твой адрес: ведь сегодня напечатана убийственная для него статья, бывший щеголь потерял голову, он в отчаянье. Ты не читал газеты? Статья препотешная. Вот читай: «Погребение Цапли, оплакиваемой Выдрой». В свете госпожу де Баржетон зовут не иначе, как *Выдра*, а Шатле прозвали: *Барон Цапля.*

Люсьен взял газету и не мог без смеха прочесть этот шуточный шедевр Верну.

— Они сдадутся,— сказал Гектор Мерлен.

Люсьен принял живое участие в составлении острот и заметок для газеты; болтали, курили, рассказывали о событиях дня, подшучивали над товарищами, подмечая смешные или своеобразные черты их характера. Эта в высшей степени остроумная, злая, шутливая беседа познакомила Люсьена с литераторами и литературными нравами.

— Покамест набирают газету,— сказал Лусто,— мы обойдем театры, я тебя представлю контролерам и введу за кулисы всех тех театров, которые тебе поручены; потом мы навестим Флорину и Корали в Драматической панораме и подурачимся в их уборных.

И они рука об руку пошли из театра в театр, где Люсьена уже принимали как сотрудника газеты; директора говорили ему любезности, актрисы умильно на него поглядывали, ибо все они знали, какую роль сыграла его статья в судьбах Флорины и Корали, получивших приглашение — одна в Жимназ на двенадцать тысяч франков в год, другая в Панораму на восемь тысяч франков. То были скромные овации, возвеличившие Люсьена в его собственных глазах и укрепившие его уверенность в сво-

ем могуществе. В одиннадцать часов оба друга появились в Драматической панораме, и Люсьен держал себя столь непринужденно, что вызывал восхищение. Там был Натан. Натан протянул руку Люсьену, и тот пожал ее.

— Итак, владыки мои,— сказал он, глядя на Люсьена и Лусто,— вы желаете меня зарезать?

— Подожди до завтра, мой дорогой, ты увидишь, как Люсьен тебя разнес! Поверь, будешь доволен. Когда критика настолько серьезна, как у него, книга только выигрывает.

Люсьен покраснел от стыда.

— Полный разгром? — спросил Натан.

— Ничуть,— сказал Лусто

— Значит, ничего дурного? — продолжал Натан.— Гектор Мерлен говорил в фойе Водевиля, что насмерть.

— Пускай говорит, а вы потерпите до завтра! — вскричал Люсьен, спасаясь бегством в уборную Корали вслед за актрисой, одетой в обворожительный испанский наряд и в ту минуту уходившей со сцены.

На другой день, когда Люсьен завтракал с Корали, он услышал мягкий шум колес, возвещавший, что в их пустынную улицу въехал элегантный экипаж, и лошадь, судя по рыси и сноровке останавливаться, несомненно, была чистокровной породы. В окно Люсьен и в самом деле увидел великолепную английскую лошадь. Дориа бросил вожжи груму и взбежал на крыльцо.

— Издатель! — воскликнул Люсьен, взглянув на свою возлюбленную.

— Попроси обождать,— живо приказала Корали Беренике.

Люсьен улыбнулся самоуверенности юной девушки, столь удивительно вошедшей в его интересы; он обнял ее от чистого сердца: она поступила умно.

Проворство наглого книгопродавца, нежданное унижение этого князя шарлатанов было вызвано обстоятельствами, ныне почти забытыми,— настолько изменились условия книжного дела за пятнадцать лет. Начиная с 1816 по 1827 год до той поры, когда литературные кабинеты, открытые сначала лишь для чтения газет и журналов, стали за известную плату давать на прочтение книжные новинки и когда нажим налоговой системы на периодическую печать породил в ней отделы объявлений,

книжной торговле не оставалось иного пути для публикаций, как включать их в текст статьи, либо печатать в виде фельетона, или даже среди основного материала газеты. До 1822 года французские газеты выходили в листах небольшого размера, и самые крупные из них едва превышали размеры малой прессы наших дней. Чтобы противостоять тирании журналистов, Дориа и Лавока первые изобрели афиши, привлекая внимание Парижа причудливым шрифтом, яркой раскраской, заставками, позже литографиями, обратившими афиши в подлинную поэму для глаз и зачастую в обман, опустошительный для кошелька любителей. Афиши отличались таким удивительным разнообразием, что пленили одного из маньяков, именуемых коллекционерами, и он стал обладателем полного собрания парижских афиш. Этот способ оповещения вначале довольствовался окнами парижских лавок, витринами на бульварах, но позже охватил всю Францию и наконец был вытеснен объявлениями. Однако ж афиша все еще бросается в глаза, тогда как объявление, а часто и сама книга уже давно забыты; ей дана долгая жизнь особенно с тех пор, как придумали рисовать афиши на стенах зданий. Объявление, доступное каждому при условии оплаты наличными и обратившее четвертую страницу газеты в поле, равно плодоносное и для казны и для спекулянтов, родилось под гнетом гербовых, почтовых сборов и залогов. Ограничения печати, изобретенные во времена Виллеля, который мог бы убить спекуляцию, сделав издание газет общедоступным, сыграли, наоборот, роль некоего преимущества, ибо основание новой газеты стало почти невозможным. Итак, в 1821 году газеты были вершителями судьбы всех творений мысли и издательских предприятий. Объявление в несколько строк, втиснутых в хронику парижских происшествий, стоило бешеных денег. Интриги в конторах редакций и вечером на поле сражения — в типографиях, в тот час, когда уже верстается номер газеты и наспех решают вопрос, поместить или выбросить ту или иную статью,— приняли такие размеры, что богатые книжные фирмы были принуждены нанимать литераторов для составления заметок, где немногими словами надо было сказать многое. Эти безвестные журналисты, оплачиваемые лишь по напечатании их ма-

териала, часто всю ночь просиживали в типографии, наблюдая, пойдет ли большая статья, принятая бог весть каким путем, или же несколько строчек, получивших с той поры название *рекламы*. Ныне нравы в литературном мире и книжном деле столь резко изменились, что многие почитают за вымысел те огромные усилия, те подкупы, подлости, происки, какими добивались этих реклам издатели и авторы — мученики славы, каторжники, приговоренные пожизненно к погоне за успехом. Обеды, ласкательства, подношения — все пускалось в ход в угоду журналистам. Вот анекдот, который лучше, нежели все уверения, осветит тесный союз критики и книгоиздательства.

Человек с выспренним слогом, метивший в государственные деятели, в дни своей молодости, будучи сотрудником одной крупной газеты и большим волокитой, стал баловнем известного издательства. Однажды в воскресенье на даче, где богатый издатель угощал именитых сотрудников газет, хозяйка дома, молодая и красивая, увела прославленного писателя в парк. Старший служащий фирмы, холодный, важный, аккуратный немец, всецело погруженный в дела, прогуливался рука об руку с фельетонистом, обсуждая какое-то предприятие; беседуя, они вышли из парка и оказались на опушке леса. В глубине чащи немец заметил нечто напоминавшее его хозяйку; он поднес к глазам лорнет, сделал знак юному спутнику молчать и бесшумно удалился.

— Что вы увидели? — спросил фельетонист.

— Почти ничего,— отвечал он.— Наша большая статья прошла. Завтра в «Деба» у нас будет по меньшей мере три столбца.

А вот и другой факт, объясняющий могущество реклам. Книга Шатобриана о последнем Стюарте валялась на складе, как залежавшийся товар. Одна-единственная статья в «Журналь де Деба», написанная неким молодым человеком, помогла распродать книгу в неделю. В те времена, чтобы прочесть книгу, требовалось ее купить, а не взять в библиотеке, и некоторые либеральные произведения, расхваленные всеми оппозиционными листками, расходились в десяти тысячах экземпляров,— правда, тогда еще не было бельгийской контрафакции. Нападки друзей Люсьена и его статья могли сорвать продажу книги Натана. Для Натана это был лишь вопрос

самолюбия, он ничего не терял, книга была оплачена; но Дориа мог потерять тридцать тысяч франков. В самом деле, торговля так называемыми *новинками* сводилась к коммерческой теореме: стопа чистой бумаги стоит пятнадцать франков, напечатанная, она стоит или сто су, или сто экю, в зависимости от успеха. Статья *за* или *против* часто разрешала в ту пору этот финансовый вопрос. Итак, Дориа, которому необходимо было продать пятьсот стоп, поспешил сдаться на милость Люсьена. Из султана издатель обратился в раба. Ему пришлось несколько подождать, он ворчал, шумел по мере сил, вступал в переговоры с Береникой и наконец был допущен к Люсьену. Спесивый издатель уподобился угодливому царедворцу, явившемуся на прием ко двору, но все же он еще не вполне освободился от обычного для него чванства и грубости.

— Не беспокойтесь, мои милые,— сказал он.— Как они трогательны! Два голубка!.. Право, вы похожи на голубков! Кто мог бы сказать, мадемуазель, что этот юный красавец с девичьим лицом — настоящий тигр; у него стальные когти, он разрывает репутации, как ему подобало бы разрывать пеньюары, когда вы не спешите их сбросить.

И он расхохотался, не кончив шутки.

— Друг мой...— сказал он, продолжая свой монолог и подсаживаясь к Люсьену.— Мадемуазель, я — Дориа,— сказал он, прерывая самого себя.

Книгопродавец почел необходимым выстрелить, как из пистолета, своим именем, находя, что Корали оказывает ему недостаточно любезный прием.

— Сударь, вы завтракали? Не желаете ли составить нам компанию? — сказала актриса.

— О, беседа за столом идет веселее,— отвечал Дориа.— Притом, принимая ваше приглашение, я вправе просить вас откушать у меня вместе с моим другом Люсьеном, ибо нам следует теперь жить душа в душу.

— Береника! Устриц, лимонов, свежего масла и шампанского! — приказала Корали.

— Вы человек умный и, конечно, понимаете, что, собственно, меня к вам привело,— сказал Дориа, глядя на Люсьена.

— Вы желаете купить мой сборник сонетов?

— Совершенно верно,—отвечал Дориа.—Прежде всего сложим оружие, как вы, так и я.

Он вынул из кармана элегантный бумажник, достал три банковых билета в тысячу франков каждый, положил их на тарелку и с церемонным поклоном поднес Люсьену, сказав:

— Вы довольны?

— Да,— сказал поэт, преисполнившись неизъяснимого блаженства при виде столь баснословной суммы.

Люсьен овладел собою, но он готов был петь, прыгать, он поверил в волшебную лампу чародеев, короче, он поверил в свой гений.

— Итак, «Маргаритки», само собою, мои,—сказал издатель,—но вы не станете нападать на мои издания?

— «Маргаритки» ваши, но я не могу продать мое перо, оно принадлежит моим друзьям так же, как их перья принадлежат мне.

— Но ведь теперь вы *мой* автор. Мои авторы — мои друзья. Вы не пожелаете вредить моим делам. Готовясь на меня напасть, вы поставите меня в известность, чтобы я мог предотвратить неприятность.

— Согласен.

— За вашу славу! — сказал Дориа, поднимая бокал.

— Я вижу, что вы прочли «Маргаритки»,— сказал Люсьен.

Дориа не смутился.

— Друг мой, купить «Маргаритки», не ознакомившись с ними, самая лучшая лесть, какую только может себе позволить издатель. Через полгода вы будете великим поэтом; появятся ваши статьи, вас станут бояться; мне не придется хлопотать, чтобы продать вашу книгу. Нынче не я изменился, а вы. Я все тот же коммерсант, как и четыре дня назад; на прошлой неделе ваши сонеты были для меня не более чем листы капусты; нынче, благодаря вашему положению, они обратились в «Мессенские элегии».

— Отлично,—сказал Люсьен, чувствуя себя султаном, обладателем красивой одалиски, баловнем успеха; он вновь обрел насмешливость и пленительное безрассудство.— Но если вы не читали моих сонетов, вы прочли мою статью?

— Да, мой друг, иначе я не явился бы так поспешно!

К несчастью, она чересчур хороша, ваша ужасная статья. Да, у вас огромный талант, мой дружок. Верьте мне, ловите удачу,— сказал он, пряча под личиной добродушия колкость слов.— Вы прочли газету?

— Нет еще,— сказал Люсьен.— А между тем нынче вышла первая моя большая статья; Гектор, видимо, послал газету мне на дом, в улицу Шарло.

— Читай! — сказал Дориа, подражая Тальма в «Манлии».

Люсьен взял газету, Корали вырвала ее у него из рук.

— Вы отлично знаете, что ваше перо посвящено мне,— смеясь, сказала она.

Дориа был чрезвычайно искателен и любезен; он боялся Люсьена; он пригласил его и Корали на званый обед, который давал журналистам в конце недели. Он взял рукопись «Маргариток» и попросил поэта зайти, когда тому будет угодно, в Деревянные галереи подписать договор, который он приготовит. Верный своей обычной, царственной манере, полагая, что этим он внушает почтение легковерным людям и напоминает более мецената, нежели торговца, он оставил три тысячи франков, отказавшись небрежным жестом от предложения Люсьена написать расписку, и ушел, поцеловав руку Корали.

— Любовь моя, много ли таких бумажек увидел бы ты, сидя на своем чердаке в улице Клюни и роясь в старых книгах библиотеки Сент-Женевьев? — сказала Корали, знавшая из рассказов Люсьена всю его прошлую жизнь.— Право, твои друзья с улицы Катр-Ван большие простофили!

Братья по кружку оказались простофилями! Люсьен, смеясь, выслушал этот приговор. Он прочел свою статью, он вкусил от неизъяснимой радости писателей, испытал то высшее наслаждение самолюбия, что лишь однажды в жизни ласкает наше сознание. Читая и перечитывая статью, он вполне понял ее значение и смысл. Печать для рукописей то же самое, что театр для женщин,— она освещает все прелести и все изъяны, убивает и дает жизнь; промах бросается в глаза столь же резко, как и яркая мысль. Люсьен в своем опьянении не думал более о Натане, Натан был для него только ступенью, он утопал в блаженстве, он мнил себя Крезом. Для мальчика, который, бывало, скромно спускался по склонам Болье

в Ангулеме, возвращаясь в Умо, на чердак к Постэлю, где ютилась его семья, тратившая в год тысячу двести франков, сумма, полученная от Дориа, была *Потози*. Воспоминание, столь еще живое, но которому суждено было угаснуть среди парижских соблазнов, перенесло его на площадь Мюрье. Он вспомнил свою великодушную сестру, Давида и бедную мать; он тотчас же приказал Беренике разменять один билет, а тем временем написал домой письмо; затем он послал Беренику в контору почтовых дилижансов, приказав ей отправить пятьсот франков матери, опасаясь, что позже у него недостанет воли выполнить свое желание. Он возвращал долг, но для него и для Корали поступок этот казался добрым делом. Актриса поцеловала Люсьена, она считала его примерным сыном и братом, она осыпала его ласками, ибо подобные поступки восхищают этих добрых девушек, у которых сердце как на ладони.

— А теперь,— сказала она,— что ни день, то званый обед. Так пройдет целая неделя, настоящий карнавал! Ну, что ж, ты немало поработал.

Корали, желавшая похвалиться красотою Люсьена, причиной зависти к ней всех женщин, повезла его к Штаубу: ей казалось, что Люсьен недостаточно хорошо одет. Оттуда влюбленные отправились в Булонский лес и воротились к обеду у г-жи дю Валь-Нобль; там Люсьен встретил Растиньяка, Бисиу, де Люпо, Фино, Блонде, Виньона, барона Нусингена, Боденора, Филиппа Бридо, великого музыканта Конти — вошел в мир артистов, спекулянтов, всех этих людей, склонных после волнений и забот искать рассеяния в острых впечатлениях; и все они радушно приняли Люсьена. Люсьен, уверенный в себе, расточал свое остроумие, словно им и не торговал, и был провозглашен *человеком без предрассудков*,— модная в ту пору похвала в этой полутоварищеской среде.

— Те-те-те! Полезно исследовать его сущность,— сказал Теодор Гайар, снискавший покровительство двора; он носился с планом издания роялистской газетки, позже столь известной под названием «Ревей».

После обеда оба журналиста в обществе своих любовниц направились в Оперу, где у Мерлена была ложа; в ней уже собралась вся компания. Итак, Люсьен предстал победителем там, где несколько месяцев назад он был

столь тяжко унижен. Он прохаживался в фойе под руку с Мерленом и Блонде, он смотрел в лицо денди, некогда над ним издевавшимся. Шатле был в его руках! Де Марсе, Ванденес, Манервиль, львы той эпохи, обменялись с ним высокомерными взглядами. В ложе г-жи д'Эспар речь, разумеется, шла о прекрасном, изящном Люсьене: Растиньяк пробыл там очень долго, маркиза и г-жа де Баржетон наводили лорнеты на Корали. Не пробудил ли Люсьен в сердце г-жи де Баржетон сожалений об утраченном? Эта мысль занимала поэта; стоило ему встретить Коринну из Ангулема, и жажда мести взволновала его сердце, как и в тот день в Елисейских полях, когда он испытал на себе презрение этой женщины и ее кузины.

— Не с амулетом ли вы прибыли из провинции? — сказал Блонде Люсьену несколькими днями позже, входя к нему около одиннадцати часов утра, когда Люсьен был еще в постели.

— Красота его,— сказал он Корали, целуя ее в лоб и указывая на Люсьена,— производит опустошения от подвала до чердака, от верхов до низов. Я пришел похитить вас,— сказал он, пожимая руку поэта.— Вчера у Итальянцев графиня де Монкорне изъявила желание с вами познакомиться. Вы, конечно, не откажете прелестной молодой женщине, у которой бывает избранное общество.

— Если Люсьен будет милым,— сказала Корали,— он не пойдет к вашей графине. Что за охота шататься по великосветским гостиным? Он там от скуки умрет.

— Вы желаете держать его взаперти?—сказал Блонде.— Вы его ревнуете к светским женщинам?

— Да,— вскричала Корали,— они гаже нас!

— Откуда ты это знаешь, кошечка?—сказал Блонде.

— От их мужей,— отвечала она.— Вы забыли, что я полгода была близка с де Марсе.

— Не думаете ли вы, дитя мое,— сказал Блонде,— что я только и мечтаю ввести в дом госпожи де Монкорне такого красавца? Ежели вы тому противитесь, сочтем, что я ничего не говорил. Но я знаю, что здесь дело не в женщине, а в том, чтобы добиться от Люсьена мира и снисхождения в отношении одного бедняги—посмешища вашей газеты. Барон дю Шатле по глупости принимает ваши

статьи всерьез. Маркиза д'Эспар, госпожа де Баржетон и салон графини де Монкорне покровительствуют Цапле, и я обещал примирить Лауру и Петрарку — госпожу де Баржетон и Люсьена.

— Ах! — вскричал Люсьен, у которого утоленная жажда мести пьянящим наслаждением разлилась по жилам.— Вот когда они оказались у моих ног! Я готов обожать мое перо, обожать моих друзей, обожать роковое могущество печати. Но ведь сам я не написал еще ни одной статьи против Выдры и Цапли. Я поеду к ней, мой милый,— сказал он, обнимая Блонде за талию.— Да, я поеду, но тогда лишь, когда эта чета почувствует всю тяжесть вот этой легкой вещицы!

Он взял перо, которым писал статью о Натане, и потряс им.

— Завтра я швырну в них двумя столбцами. Потом посмотрим! Не тревожься, Корали! Речь идет не о любви, а о мести, и я отомщу вполне.

— Вот человек! — сказал Блонде.— Если бы ты, Люсьен, знал, как редко можно встретить в пресыщенном парижском свете подобный взрыв чувств, ты больше бы себя ценил. Не оплошай,— сказал он, употребив выражение более энергичное,— ты на пути к власти.

— Он достигнет своего,— сказала Корали.

— Он уже многого достиг в эти полтора месяца.

— Если случится, что его будет отделять от скипетра лишь пространство не шире могилы, к его услугам труп Корали.

— Ваша любовь достойна Золотого века,— сказал Блонде.— Прими мои поздравления; твоя статья превосходна,— продолжал он, глядя на Люсьена,— в ней столько свежести! Ты проявил себя мастером этого жанра.

Явился Лусто вместе с Гектором Мерленом и Верну; Люсьен был в высшей степени польщен, почувствовав себя предметом их внимания. Фелисьен принес Люсьену сто франков за его статью. Газета сочла необходимым вознаградить столь блестящий труд, чтобы приманить автора. Корали, увидев этот капитул журналистов, послала заказать завтрак в «Кадран Бле», ближайшем ресторане; как только Береника доложила, что завтрак подан, она пригласила всех в нарядную столовую. В разгаре пиршества, когда шампанское бросилось в голову,

выяснилась причина посещения Люсьена его товарищами.

— Ты, конечно, не желаешь,— сказал ему Лусто,— нажить в лице Натана врага? Натан журналист, у него есть друзья, он сыграет с тобой скверную шутку при выходе твоей книги. Ведь ты хочешь продать «Лучника Карла IX»? Утром мы видели Натана, он в отчаянье, но ты напишешь еще одну статью и окропишь его похвалами.

— Как! После моей статьи против него вы желаете?..— спросил Люсьен.

Эмиль Блонде, Гектор Мерлен, Этьен Лусто, Фелисьен Верну прервали слова Люсьена веселым смехом.

— Послезавтра у тебя ужин. Ты пригласил его? — сказал Блонде.

— Статья пошла без подписи,— сказал Лусто,— Фелисьен не так наивен, как ты, и поставил вместо подписи внизу только «Ш»; ты можешь и дальше так печататься в его газете; она левого направления. Мы все в оппозиции. Но Фелисьен столь тактичен, что не желает насиловать твоих убеждений. Газета Гектора — орган правого центра, там ты можешь подписываться буквой «Л». Анонним необходим при нападении, похвальное слово идет за подписью.

— Подпись меня не заботит,— сказал Люсьен.— Я не знаю, что сказать в пользу книги.

— Ты, значит, написал то, что думал?—спросил Гектор Люсьена.

— Да.

— Эх, мой милый,— сказал Блонде,— я считал тебя более сильной натурой! Клянусь, я полагал, глядя на твой лоб, что ты одарен способностью великих умов рассматривать любую вещь с двух сторон. В литературе, мой милый, каждое слово имеет изнанку, и никто не может сказать, что́ именно есть изнанка. В области мысли все двусторонне. Мысль двойственна. Янус — мифологический образ, олицетворяющий критику, и вместе с тем символ гения. Троичен только бог! Отчего, как не в силу таланта, Мольер и Корнель, люди выдающиеся, заставили Альцеста сказать *да*, а Филинта — *нет*, или же Октавия и Цинну? Руссо в «Новой Элоизе» написал одно письмо за дуэль, другое — против дуэли; кто может решить, в котором из них высказано его истинное мнение? Кто из нас пред-

почтет Клариссу Ловласу, Ахилла — Гектору? Кто поистине герой Гомера? Что руководило Ричардсоном? Критика обязана рассматривать произведение со всех точек зрения. Мы просто докладчики.

— Итак, вы придерживаетесь того, что написали? — насмешливо сказал Верну.— Но мы торгуем словом и живем нашей торговлей. Когда вы пожелаете создать серьезное произведение, короче говоря, книгу, вы можете в ней излить ваши мысли, вашу душу, вложить в книгу всего себя, защищать ее. Но статья!.. Сегодня она будет прочтена, завтра забудется; по-моему, статьи стоят лишь того, что за них платят. Если вы дорожите такими пустяками, вам придется осенять себя крестным знамением и призывать на помощь святого духа прежде, нежели написать самое обычное объявление.

Казалось, все были удивлены, встретив в Люсьене столько щепетильности, и принялись совлекать с него отроческие одежды и облекать в одеяние зрелого мужа и журналиста.

— Знаешь, чем утешился Натан, прочтя твою статью? — сказал Лусто.

— Как я могу об этом знать?

— Натан изрек: «Статьи забываются, книги живут!» Он через два дня придет сюда ужинать, он падет к твоим ногам, будет лобызать твои стопы, скажет, что ты великий человек.

— Вот будет забава,— сказал Люсьен.

— Забава? — сказал Блонде.— Необходимость.

— Друзья мои, я бы рад был душою,— сказал Люсьен, слегка опьянев,— но не знаю, как это сделать?

— А вот как,— сказал Лусто,— напиши для газеты Мерлена три полных столбца и опровергни самого себя. Мы, насладившись яростью Натана, в утешение скажем ему, что он сам будет благодарен нам за жестокую полемику, ибо его книга разойдется в неделю. Сейчас ты в его глазах предатель, скотина, негодяй; завтра ты будешь великий человек, могучий талант, муж Плутарха! Натан облобызает тебя, как лучшего друга. Дориа уже был у тебя, ты получил три билета по тысяче франков: дело сделано. Теперь ты должен заслужить уважение и дружбу Натана. Удар предназначался торговцу. Приносить в жертву, преследовать мы должны только врагов. Пусть

бы речь шла о человеке чужом, составившем себе имя помимо нас, о неудобном таланте, который следует истребить, мы не стали бы настаивать; но Натан наш друг. Блонде в свое время обрушился на него в «Меркюр», чтобы иметь удовольствие ответить в «Деба». Таким путем разошлось первое издание.

— Друзья мои, уверяю вас, я неспособен написать и двух слов в похвалу этой книги...

— Ты получишь еще сто франков,— сказал Мерлен.— Натан уже принес тебе десять луидоров. Затем ты можешь поместить статью в «Обозрении» Фино, за которую сто франков тебе заплатит Дориа и сто франков — редакция: итого двадцать луидоров!

— Но что сказать? — спросил Люсьен.

— Выйти из положения, мой милый, можно вот каким путем,— подумав, сказал Блонде.— «Зависть,— скажешь ты,— сопутствующая всем прекрасным произведениям, как червь, подтачивающий самые прекрасные плоды, пыталась уязвить и эту книгу. Критика, желая отыскать в ней недостатки, была вынуждена изобрести теории о двух якобы существующих литературных направлениях: литературе идей и литературе образов». Тут, мой милый, ты скажешь, что высшая степень мастерства писателя в том, чтобы выразить мысль в образе. Стараясь доказать, что вся суть поэзии в образе, ты пожалеешь, что наш язык мало пригоден для поэзии,—ты припомнишь упрек иностранцев по поводу *позитивизма* нашего стиля, и ты похвалишь господина де Каналиса и Натана за услуги, которые они оказали Франции, совершенствуя наш язык. Опровергни свою прежнюю аргументацию, доказав, что мы ушли далеко вперед против восемнадцатого века. Сошлись на *прогресс* (отличная мистификация для мещан!). Наша юная словесность представлена полотнами, где сосредоточены все жанры: комедия и драма, описания, характеристики, диалог в блестящей оправе увлекательной интриги. Роман, требующий чувства, слога и образа,— самое крупное достижение современности. Он наследник комедии, построенной по законам прошлого времени и неприемлемой при современных нравах. Он вмещает и факт и идею, для его замыслов надобно и остроумие Лабрюйера и его язвительные нравоучения, характеры, обрисованные в манере Мольера, грандиоз-

ные замыслы Шекспира и изображение самых тонких оттенков страсти — единственное сокровище, оставленное нам нашими предшественниками. Итак, роман неизмеримо выше холодного, математического исследования и сухого анализа в духе восемнадцатого века. «Роман,— наставительно скажешь ты,— занимательная эпопея». Приведи цитаты из «Коринны», ссылайся на госпожу Сталь. Восемнадцатый век поставил все под вопрос; девятнадцатый век принужден делать выводы: он основывается на действительности, на живой действительности в ее движении; затем он живописует страсти — элемент, неизвестный Вольтеру. (Тирада против Вольтера.) «Что касается до Руссо, он просто обряжал в пышные фразы рассуждения и доктрины. Юлия и Клара — чистейшая схема без плоти и крови». Ты можешь развить эту тему и сказать, что молодой и самобытной литературой мы обязаны наступлению мира и Бурбонам, ибо ты пишешь для газеты правого центра. Вышути сочинителей всяких доктрин. Наконец ты можешь в благородном порыве воскликнуть: «Сколько заблуждений, сколько лжи у нашего собрата! И ради чего? Ради того, чтобы умалить значение прекрасного произведения, обмануть читателя и привести его к такому выводу: «Книга, которая имеет у читателей успех, совсем не имеет успеха». «Proh pudor!»[1] Так и напиши: «Proh pudor!» — пристойная брань воодушевляет читателя. Наконец оповести об упадке критики! Вывод: «Нет иной литературы, кроме литературы занимательной». Натан вступил на новый путь, он понял свою эпоху и отвечает ее потребностям. Потребность эпохи — драма. Именно драмы жаждет наш век, век политики, этой сплошной мимодрамы. «Ужели мы не пережили за двадцать лет,— скажешь ты,— четыре драмы: Революцию, Директорию, Империю и Реставрацию?» Тут ты разразишься щедрыми дифирамбами,—и второе издание живо расхватают! Так вот: к будущей субботе ты сделаешь лист для нашего еженедельника и подпишешься полным именем — *де Рюбампре*. В этой хвалебной статье ты скажешь: «Выдающимся произведениям свойственно возбуждать страстные споры. На нынешней неделе какая-то газета сказала то-то о кни-

---

[1] Какой позор! *(лат.)*

ге Натана, другая ответила весьма веско». Ты раскритикуешь обоих критиков, Ш. и Л., мимоходом скажешь несколько приятных слов по поводу моей первой статьи в «Деба», в заключение возвестишь, что книга Натана — превосходнейшая книга нашего времени. Сказать так — значит ничего не сказать, так говорят о всех книгах. Ты заработаешь в неделю четыреста франков и получишь удовольствие кое-где высказать и правду. Умные люди согласятся либо с Ш., либо с Л., либо с Рюбампре, а быть может, и со всеми троими! Мифология, несомненно, одно из великих изобретений человечества, она поместила Истину на дне колодца. Чтобы ее оттуда извлечь, надобно зачерпнуть хотя бы ведро воды. Вместо одного ты преподнесешь публике целых три. Ну так вот, видите, друг мой... Действуйте!

Люсьен был ошеломлен. Блонде расцеловал его, сказав:

— Спешу в свою лавочку.

Каждый спешил в свою «лавочку». Для этих даровитых людей газета была лишь лавочкой. Условились встретиться вечером в Деревянных галереях, где Люсьену предстояло подписать договор с Дориа. В этот день Флорина и Лусто, Люсьен и Корали, Блонде и Фино обедали в Пале-Руаяле: дю Брюэль угощал там директора Драматической панорамы.

— Они правы! — вскричал Люсьен, оставшись наедине с Корали.— В руках выдающихся людей все прочие — лишь средство, не более. Четыреста франков за три статьи! Догро с трудом соглашался дать столько за целую книгу, над которой я работал два года.

— Займись критикой, позабавься! — сказала Корали.— Нынче вечером я буду андалузкой, завтра обращусь в цыганку, а затем стану изображать юношу! Поступай, как я, паясничай ради денег, и будем счастливы.

Люсьен, увлеченный парадоксом, оседлал своенравного мула, сына Пегаса и Валаамовой ослицы. Не замечая прелести Булонского леса, он пустился вскачь по просторам мысли и открыл удивительные красоты в тезисах Блонде. Он пообедал, как обедают счастливые люди, подписал у Дориа договор, по которому уступал в его полную собственность рукопись «Маргариток», не провидя в том никаких неудобств; затем он зашел в редак-

цию газеты, написал два столбца и воротился на улицу Вандом. Поутру он заметил, что вчерашние мысли окрепли в его мозгу: так всегда бывает, когда мозг еще полон соков и ум не истощил своих дарований. Люсьен испытывал радость, обдумывая новую статью, и принялся за нее с воодушевлением. Под его пером заискрились красоты, порождаемые противоречием. Он стал остроумен и насмешлив, он даже возвысился до оригинальных рассуждений относительно чувств, идей и образов в литературе. Изобретательный и тонкий, он, желая похвалить Натана, восстановил свои первые впечатления при чтении этой книги в Литературном кабинете Блоса. Из резкого и желчного критика, из язвительного юмориста он превратился в поэта, ритмическими фразами воскуряющего похвалы, подобные фимиаму перед алтарем.

— Сто франков, Корали! — сказал он, показывая восемь страниц, написанных им, пока она одевалась.

В воодушевлении он написал обещанную Блонде гневную статью против Шатле и г-жи де Баржетон. В то утро он испытал одно из сокровенных и самых острых пережи-

вании журналиста — наслаждение оттачивать эпиграмму, полируя ее холодный клинок, который вонзится в сердце жертвы, и разукрашивая рукоятку в угоду читателям. Публика дивится искусной работе рукоятки, она не подозревает о коварстве, не ведает, что сталь острот, отточенных местью, наносит тысячи ран самолюбию, изученному до тонкостей. То было ужасающее наслаждение, мрачное и уединенное, вкушаемое без свидетелей, поединок с отсутствующим,— когда острием пера убивают на расстоянии, как будто журналист наделен волшебной властью осуществлять то, чего он желает, подобно обладателям талисманов в арабских сказках. Эпиграмма — остроумие ненависти, той ненависти, что наследует всем порочным страстям человека, подобно тому как любовь соединяет в себе все его добрые качества. Нет человека, которого жажда мщения не одарила бы остроумием, равно как нет человека, в любви не познавшего наслаждения. Несмотря на пустоту, на пошлость подобного остроумия, во Франции оно неизменно пожинает успех. Статья Люсьена должна была довершить и довершила злую и предательскую роль газеты; она глу-

боко уязвила два сердца: она тяжко ранила г-жу де Баржетон, бывшую его Лауру, и барона дю Шатле, его соперника.

— Что ж, поедем кататься в Булонский лес, карета заложена, кони горячатся,— сказала ему Корали,— полно убивать себя работой.

— Отвезем Гектору статью о Натане. Решительно, газета подобна копью Ахилла, она исцеляет наносимые ею же раны,— сказал Люсьен, исправляя некоторые выражения.

Влюбленные пустились в путь и предстали во всем своем великолепии перед Парижем, так недавно отвергавшим Люсьена, а ныне склонным оказывать ему внимание. Оказаться предметом внимания Парижа, когда понимаешь величие этого города и трудность играть в нем роль,— вот в чем крылась причина опьяняющей радости Люсьена.

— Милый мой,— сказала актриса,— заедем к портному, надо его поторопить, а если платье готово, следует примерить. Ежели тебе вздумается навестить своих прекрасных дам, я желаю, чтобы ты затмил это чудовище де Марсе, Растиньяка, Ажуда-Пинто, Максима де Трай, Ванденесов—словом, всех щеголей. Помни, что твоя возлюбленная — Корали! Но ведь ты мне не изменишь, нет?

Двумя днями позже, накануне ужина, который устраивали для друзей Люсьен и Корали, в Амбигю давали новую пьесу, и рецензия была поручена Люсьену. После обеда Люсьен и Корали пешком пошли с улицы Вандом в Драматическую панораму, мимо «Турецкого кафе», по бульвару Тампль, излюбленному в ту пору месту прогулок. Люсьен слышал восторженные возгласы по поводу его удачи и красоты его возлюбленной. Одни говорили, что Корали красивейшая женщина в Париже, другие находили Люсьена вполне ее достойным. Поэт чувствовал себя в своей сфере. Эта жизнь была его жизнью. Воспоминания о Содружестве тускнели. Великие мыслители, тому два месяца столь восхищавшие его, нынче вызывали в нем сомнение: не наивны ли они со своими идеями и пуританством? Прозвище «простофили», небрежно брошенное Корали, запало в ум Люсьена и уже принесло плоды. Он проводил Корали в ее уборную и остался за кулисами; он, точно султан, прохаживался в

кругу актрис, даривших его ласковыми взглядами и льстивыми речами.

— Надо идти в Амбигю, приниматься за свое ремесло,— сказал он.

Зала в Амбигю была переполнена. Для Люсьена не нашлось места. Люсьен пошел за кулисы и стал жаловаться, что ему негде сесть. Режиссер, еще не знавший его, отвечал, что в редакцию посланы две ложи, и попросил его удалиться со сцены.

— Я напишу о пьесе с чужих слов,—сказал уязвленный Люсьен.

— Какая опрометчивость! — сказала режиссеру юная героиня.— Ведь он возлюбленный Корали.

Режиссер тотчас же оборотился к Люсьену и сказал:

— Сейчас переговорю с директором.

Итак, мельчайшие обстоятельства доказывали Люсьену огромную власть газеты и ласкали его тщеславие. Директор явился, заручившись согласием герцога де Реторе и балерины Туллии, занимавших литерную ложу, принять у себя Люсьена. Герцог дал согласие, вспомнив Люсьена.

— Вы повергли в отчаяние двух особ,— сказал ему герцог, разумея барона дю Шатле и г-жу де Баржетон.

— Что же будет завтра? — сказал Люсьен.— До сего дня их обстреливали мои друзья, но нынче ночью я сам на них нападу. Завтра вы поймете, отчего мы потешаемся над Шатле. Статья озаглавлена: «*Потле* в 1811 г. и *Потле* в 1821 г.». Шатле изображен типичным представителем господ, отрекшихся от своего благодетеля и вставших на сторону Бурбонов. Как только я дам им почувствовать свою силу, я появлюсь у госпожи де Монкорне.

Люсьен повел с молодым герцогом разговор, блещущий остроумием; он желал доказать этому вельможе, что г-жи д'Эспар и де Баржетон совершили грубую оплошность, когда пренебрегли им; но как только герцог де Реторе умышленно назвал его Шардоном, Люсьен выдал свои тайные помыслы, пытаясь отстоять свое право носить имя де Рюбампре.

— Вы должны стать роялистом,— сказал ему герцог.— Вы проявили остроумие, проявите здравый смысл. Единственное средство добиться королевского указа, возвращающего вам титул и имя ваших предков с мате-

ринской стороны,— это испросить его в награду за услуги, оказанные вами двору. Либералы никогда не возведут вас в графы. Реставрация в конце концов обуздает печать, единственную опасную для нее силу. Слишком долго ее терпели, пора надеть на нее узду. Ловите последние мгновения ее свободы, станьте грозой. Через несколько лет знатное имя и титул во Франции окажутся сокровищами более надежными, нежели талант. Вы обладаете всем: умом, талантом, красотой; перед вами блестящая будущность. Итак, оставайтесь покуда либералом, но лишь для того, чтобы выгодно продать свой роялизм.

Герцог просил Люсьена принять приглашение на обед, которое ему собирался прислать дипломат, присутствовавший на ужине у Флорины. Люсьен был мгновенно обольщен суждениями вельможи и очарован мыслью, что перед ним открываются двери салонов, откуда еще тому несколько месяцев он, казалось, был изгнан навсегда. Он дивился могуществу слова. Итак, печать и талант были источниками существования в современном обществе. Люсьен понял, что Лусто, может статься, раскаивается в том, что отворил перед ним врата храма; он, в свою очередь, убедился в необходимости воздвигать непреодолимые преграды безудержному честолюбию тех, кто устремляется из провинции в Париж. Явись какой-нибудь поэт и упади к нему в объятия, как некогда сам Люсьен бросился в объятия Этьена, он не смел себе признаться, какой он оказал бы этому новичку прием. Молодой герцог заметил, что Люсьен погрузился в раздумье, и, отыскивая тому причины, не ошибся; он открыл перед этим честолюбцем, лишенным воли и полным вожделений, широкий политический горизонт, подобно тому как журналисты показали ему, словно сатана Иисусу с кровли храма, литературный мир и его сокровища. Люсьен не подозревал о заговоре, подготовлявшемся против него людьми, оскорбленными в ту пору его газетой, и о том, что де Реторе был к этому причастен. Молодой герцог испугал общество г-жи д'Эспар своими рассказами об уме Люсьена. Г-жа де Баржетон поручила ему выведать намерения журналиста, и герцог надеялся с ним повстречаться в Амбигю-Комик. Не предполагайте здесь умышленного предательства: ни великосветские люди, ни журналисты не отличались глубокомыслием. Ни те,

ни другие не разрабатывали плана, их макиавеллизм, так сказать, питался случаем и состоял в том, чтобы всегда быть в готовности пользоваться злом, равно как и добром, подстерегать момент, когда страсть предаст человека в их руки. За ужином у Флорины молодой герцог разгадал натуру Люсьена, он решил сыграть на его тщеславии и теперь испытывал на нем свое искусство дипломата.

Как только спектакль окончился, Люсьен поспешил в улицу Сен-Фиакр и написал рецензию о пьесе. Критика его была умышленно резка и язвительна, его забавляло испытывать меру своей власти. Мелодрама была лучше пьесы, поставленной в Драматической панораме, но он желал проверить, возможно ли, как ему говорили, провалить хорошую пьесу, а плохой создать успех. На другой день, завтракая с Корали, он развернул газету, заранее уже сказав, что разгромил Амбигю-Комик. Каково же было его изумление, когда вслед за своей статьей о г-же де Баржетон и Шатле он прочел рецензию на Амбигю, но столь подслащенную за ночь, что, несмотря на остроумный разбор пьесы, выводы получились благоприятные. Рецензия обеспечила пьесе полные сборы. Ярость его была неописуема; он решил поговорить с Лусто. Он уже почитал себя незаменимым человеком, он не желал, чтобы им помыкали, эксплуатировали его, как какого-то простака. Чтобы вполне упрочить свою власть, он написал для обозрения Дориа и Фино статью, в которой собрал воедино и взвесил все суждения, высказанные по поводу книги Натана. Затем, войдя во вкус, он тут же написал первую из своих статей для отдела *смеси* газетки Лусто. В порыве увлечения молодые журналисты строчат первые свои статьи с любовью и безрассудно расточают цвет своего дарования. Директор Драматической панорамы давал первое представление водевиля, желая освободить вечер для Флорины и Корали. Перед ужином предполагались карты. Лусто заехал за статьей Люсьена, написанной о пьесе заранее, сразу же после генеральной репетиции, чтобы не задерживать набор номера. Когда Люсьен прочел один из своих очаровательных набросков, рисующих парижские нравы и создававших славу газете, Этьен поцеловал его в оба глаза и назвал газетным провидением.

— Чего ради ты извращаешь смысл моих статей? — сказал Люсьен, написавший этот блестящий очерк лишь для того, чтобы придать больше силы своему протесту.

— Я?! — вскричал Лусто.

— Но кто же извратил мою статью?

— Милый мой,— смеясь, отвечал Этьен,— ты еще не в курсе дел. Амбигю подписалось на двадцать экземпляров, а доставляются лишь десять: директору, капельмейстеру, режиссеру, их любовницам и трем совладельцам театра. Таким путем каждый театр на Бульварах платит газете восемьсот франков. Столько же дают ложи, которые посылают Фино; я уж не считаю подписки актеров и авторов. Следовательно, эта шельма получает на Бульварах восемь тысяч франков. По малым театрам суди о больших. Понял? Мы обязаны быть весьма снисходительными.

— Я понял, что не волен писать то, что думаю...

— Э! Не все ли тебе равно, если ты из этой кормушки кормишься? — вскричал Лусто.— Но позволь, мой милый, за что ты разгневался на театр? Должна же быть какая-нибудь причина для разгрома вчерашней пьесы. Громить ради того, чтобы громить, значило бы порочить газету! Если бы газета клеймила за дело, она бы утратила своих влиятельных покровителей. Директор чем-нибудь тебя обидел?

— Он мне не предоставил места.

— Куда ни шло! — сказал Лусто.— Я покажу твою статью директору, скажу, что я ее смягчил; для тебя это полезнее, чем напечатанная статья. Завтра проси у него билеты, и он будет их тебе выписывать по сорок штук ежемесячно, а я тебя сведу с одним человеком, ты с ним условишься относительно сбыта; он будет у тебя скупать билеты со скидкой в пятьдесят процентов против стоимости. Театральными билетами торгуют, как книгами. Ты увидишь разновидность Барбе — главаря клаки. Он живет неподалеку отсюда; у нас есть время, пойдем к нему.

— Но, позволь, мой милый, Фино пускается на гнусные проделки, он практикует косвенные налоги... Рано или поздно...

— Какой вздор! Откуда ты свалился? — вскричал

Лусто.— За кого ты принимаешь Фино? Под мнимым простодушием, под личиной Тюркаре, под невежеством и глупостью скрывается лукавство шляпочника,— ведь Фино его потомок. Неужто ты не видел в конторе газеты старого солдата времен Империи, дядю Фино? Дядя этот не только с виду приличный человек, но еще, к счастью для него, слывет дурнем. Он-то и опорочен во всех денежных сделках. В Париже для честолюбца сущий клад иметь подручного, готового набросить на себя тень. В политике, как и в журналистике, бывает множество случаев, когда начальство должно стоять в стороне. Будь Фино политическим деятелем, его дядя состоял бы при нем секретарем, взимал бы в его пользу дань, как это водится в департаментах при проведении каждого крупного дела. Дядюшку Жирудо с первого взгляда можно принять за простака, но он достаточно лукав, чтобы быть негласным сообщником. Он стоит на страже, он ограждает нас от докучных новичков, от жалоб, от скандалов, и я не думаю, чтобы в какой-либо другой редакции нашелся ему равный.

— Он отлично играет роль,— сказал Люсьен,— я вижу его в деле.

Этьен и Люсьен отправились на улицу Фобур-дю-Тампль, и там Лусто остановился перед одним красивым зданием.

— Господин Бролар дома? — спросил он привратника.

— Ка-ак? — сказал Люсьен.— Главарь клакеров и вдруг *господин?*

— Милый мой, у Бролара двадцать тысяч ливров ренты, все драматурги с Больших бульваров у него в руках: у него, как у банкира, открыт на каждого из них личный счет. Авторские билеты, контрамарки продаются. Бролар сбывает этот товар. Займись немного статистикой: наука довольно полезная, если ею не злоупотреблять. Пятьдесят даровых билетов в каждый театр — это составит двести пятьдесят билетов в день; стало быть, если в среднем они стоят по сорок су, Бролар ежедневно выплачивает авторам сто двадцать пять франков и столько же сам наживает. Стало быть, одни авторские билеты приносят ему около четырех тысяч франков в месяц, сорок восемь тысяч франков в год! Предположим, убытку

двадцать тысяч, ведь ему не всегда удается сбыть билеты...

— Отчего?

— О! Билеты, поступающие в театральную кассу, подрывают торговлю даровыми билетами, которые не обеспечивают нумерованных мест. Короче, театр сохраняет за собой право располагать местами. Притом выдаются погожие дни и идут скверные пьесы. Стало быть, по этой статье Бролар имеет тысяч тридцать годового дохода. Затем клакеры — еще один промысел. Флорина и Корали его данницы; откажись они платить этот оброк, им не срывать рукоплесканий, обязательных при их выходе и уходе со сцены.

Лусто давал разъяснения вполголоса, всходя по лестнице.

— Париж—удивительный город,— сказал Люсьен, открывая повсюду какую-нибудь корысть.

Опрятная служанка ввела обоих журналистов к «господину» Бролару. Торговец билетами, важно восседавший в кабинетном кресле перед большим секретером с цилиндрической крышкой, встал, увидев Лусто. Бролар был одет в серый мелитоновый сюртук, панталоны со штрипками и красные домашние туфли, точно доктор или адвокат. Люсьен признал в нем разбогатевшего простолюдина: руки клакера, лукавые глаза, обыденное бесцветное лицо, на котором разгул, точно дождь на крыше, оставил свои следы, седеющие волосы и довольно глухой голос.

— Вы, конечно, пожаловали ради мадемуазель Флорины, а вы ради мадемуазель Корали? — сказал он.— Я хорошо вас знаю. Будьте покойны,— сказал он Люсьену,— я покупаю клиентуру Жимназ, я позабочусь о вашей возлюбленной и оберегу ее от всяких козней.

— От этого не отказываемся, дорогой Бролар,— сказал Лусто,— но мы пришли по поводу редакционных билетов, предоставленных нам театрами на Бульварах: мне — в качестве главного редактора, моему другу — в качестве рецензента.

— Ах, да! Фино продал свою газету. Мне об этом говорили. Везет же этому Фино! Я в его честь даю обед в конце недели. Если вам угодно доставить мне удовольствие, пожалуйте вместе с супругами; будет пир горою; у

меня соберутся Адель Дюпюн, Дюканж, Фредерик дю Пти-Мере, мадемуазель Милло, моя возлюбленная. Вдоволь повеселимся! И тем более вдоволь выпьем!

— Дюканж, видимо, в стесненном положении: он проиграл процесс.

— Я ему одолжил десять тысяч франков, успех «Каласа» вернет деньги; а я достаточно его подогрел! Дюканж — человек с головой, с большими способностями...

Люсьен, слушая суждения этого человека о писателях, подумал, что он грезит.

— Корали преуспевает,— сказал Бролар с видом знатока.— Если мы с нею поладим, я ее тайно поддержу против возможных интриг при ее первом выступлении в Жимназ. Послушайте: ради нее я посажу на галерею прилично одетых людей, они будут смеяться и одобрительно перешептываться, словом, всячески вызывать на рукоплескания. Прием для женщины весьма выгодный. Корали мне нравится. Вы, должно быть, ею довольны, она сердечная девушка. О, я могу провалить, кого хочу...

— Но покончим вопрос с билетами,— сказал Лусто.

— Что ж, я буду заходить за ними в первых числах каждого месяца. Вашему другу я предложу те же условия, что и вам. У вас пять театров, вам дадут тридцать билетов: это примерно семьдесят пять франков в месяц. Не желаете ли получить аванс? — сказал торговец билетами, подходя к секретеру и выдвигая ящик, наполненный экю.

— О, нет, нет,— сказал Лусто,— мы это прибережем на черный день.

— В ближайшие дни, сударь,— сказал Бролар, обращаясь к Люсьену,— я приду к Корали, и мы с ней столкуемся.

Люсьен с глубоким удивлением рассматривал кабинет Бролара, он там увидел библиотеку, гравюры, пристойную мебель. Проходя через гостиную, он заметил обстановку, равно далекую от скудости и от расточительности. Столовая показалась ему отделанной с особой тщательностью. Он пошутил на этот счет.

— Бролар — хлебосол,— сказал Лусто.— Обеды его упоминаются в драматургии и соответствуют его капиталам.

— Вина у меня хороши,— скромно отвечал Бролар.— А вот и мои поджигатели! — вскричал он, услыхав сиплые голоса и топот ног на лестнице.

Люсьен, спускаясь к выходу, видел, как мимо него проследовал смрадный отряд клакеров и театральных барышников; все они были в картузах, в поношенных штанах, потертых сюртуках; физиономии висельников, посиневшие, позеленевшие, грязные, неприглядные, обросшие бородой; глаза свирепые и вместе с тем плутовские,— страшное племя, обитающее на парижских бульварах; утром они продают предохранительные цепочки для дверей, золотые безделки в двадцать пять су, а вечером бьют в ладоши под театральными люстрами, короче, приспособляются ко всем нечистоплотным нуждам Парижа.

— Вот они, римляне! — смеясь, сказал Лусто.— Вот она, слава актрис и драматургов! Вблизи она не краше славы газетчиков.

— Трудно сохранить в Париже какие-нибудь обольщения,— сказал Люсьен по пути к дому.— Тут со всего взимают дань, тут все продается, все фабрикуется, даже успех.

Гостями Люсьена были Дориа, директор Панорамы, Матифа и Флорина, Камюзо, Лусто, Фино, Натан, Мерлен и г-жа дю Валь-Нобль, Фелисьен Верну, Блонде, Виньон, Филипп Бридо, Мариетта, Жирудо, Кардо с Флорентиной, Бисиу. Люсьен пригласил и своих друзей по кружку. Танцовщица Туллиа — молва приписывала ей склонность к дю Брюэлю — приехала в этот вечер без своего герцога; были также издатели газет, где сотрудничали Натан, Мерлен, Виньон и Верну. Общество состояло из тридцати человек, большего количества гостей столовая Корали не могла вместить. К восьми часам при огнях зажженных люстр мебель, обои, цветы в квартире приняли тот праздничный вид, когда парижская роскошь кажется воплощением мечты. Люсьен, почувствовав себя хозяином этих владений, испытал неизъяснимое ощущение радости, удовлетворенного тщеславия и надежды и уже не доискивался, кто и ради кого взмахнул здесь волшебной палочкой. Флорина и Корали, одетые с головокружительной роскошью и причудливой изысканностью, принятыми среди актрис, улыбались провинциальному

поэту, словно два ангела, посланные распахнуть перед ним двери в чертог мечтаний. Люсьен и впрямь грезил. За несколько месяцев его жизнь так круто переменилась, так внезапно перешел он от величайшей нужды к величайшему достатку, что порою он томился тревогой подобно тому, кто грезит во сне и сознает, что это только сон. Однако ж в его взоре, когда он созерцал эту прекрасную действительность, было столько уверенности, что завистники могли бы счесть ее за самодовольство. Он сильно изменился. Изо дня в день предаваясь любовным утехам, он побледнел, томное выражение неги затуманило его взор; словом, как говорила г-жа д'Эспар, у него был *вид счастливого любовника*. Красота Люсьена выиграла. В этом лице, просветленном любовью и опытом, сквозило сознание своей силы и власти. Наконец-то увидел он лицом к лицу литературный мир и высший свет и уже был убежден, что войдет туда завоевателем. Поэту, которому суждено было задумываться лишь под гнетом горестей, настоящее представлялось безоблачным. Успех надувал паруса его челна, ему предоставлены были все средства к осуществлению его замыслов: открытый дом, любовница на зависть всему Парижу, собственный выезд, наконец несметные сокровища, таившиеся в его чернильнице. Его душа, его сердце, его ум равно претерпели превращение: он и не думал более о выборе средств, ведь достижения были так блестящи. Широкий образ жизни в этом доме вполне основательно покажется подозрительным экономистам, изучившим парижскую жизнь, и не лишним будет обрисовать тот фундамент, каким бы шатким он ни был, на котором покоилось благоденствие актрисы и ее поэта. Камюзо удалось, не набрасывая на себя тени, уговорить поставщиков Корали открыть ей кредит хотя бы на три месяца. Лошади, слуги, словом, решительно все появилось, точно по волшебству, перед этими детьми, которые спешили всем насладиться и с упоением наслаждались. Корали, взяв Люсьена за руку, заранее посвятила его в тайну превращения столовой, преображенной пышно сервированным столом с канделябрами о сорока свечах, и в чудеса меню с десертом, по-царски изысканным,— творением Шеве. Люсьен поцеловал Корали в лоб, прижав ее к груди.

— Я выбьюсь на дорогу, дитя мое, и отблагодарю тебя за твою любовь и преданность,— сказал он.

— Ну, полно! — сказала она.— Доволен ли ты?

— Могу ли я требовать большего?

— Ах, пустое! Твоя улыбка за все вознаграждает,— отвечала она и змеиным движением приблизила свои губы к губам Люсьена.

Они застали Флорину, Лусто, Матифа и Камюзо за расстановкой карточных столов. Друзья Люсьена начали съезжаться. Все эти люди уже величали себя его друзьями. Игра продолжалась от девяти до полуночи. К счастью, Люсьен не умел играть ни в одну игру; но Лусто проиграл тысячу франков и занял ее у Люсьена, который не счел себя вправе отказать другу в этом одолжении. Около десяти часов появились Мишель, Фюльжанс и Жозеф. Люсьен, беседуя, отошел с ними в сторону и тут заметил, что они холодны, серьезны, чтобы не сказать замкнуты. Д'Артез не мог прийти, он кончал свою книгу, Леон Жиро был занят выпуском первого номера журнала. Кружок прислал трех художников, полагая, что присутствие на пиршестве смутит их менее, чем остальных.

— Итак, дети мои,— сказал Люсьен несколько занос-чиво,— вы увидите, что *безвестный виршеплет* может стать *известным политиком.*

— Охотно признаю свою ошибку,— сказал Мишель.

— А в ожидании лучшего ты живешь с Корали? — спросил Фюльжанс.

— Да,— ответил Люсьен с притворным простодушием.— У Корали был богатый старик, обожавший ее; она его выгнала. Я удачливее твоего брата Филиппа: он никак не может прибрать к рукам Мариетту,— прибавил Люсьен, глядя на Жозефа Бридо.

— Короче говоря, ты стал умным человеком,— сказал Фюльжанс.— Ты проторишь себе дорогу.

— Человеком, который для вас останется тем же, какое бы положение он ни занял.

Мишель и Фюльжанс переглянулись, усмехнувшись, и Люсьен, перехватив эту усмешку, понял, как глупы были его слова.

— Корали так и просится на картину! — воскликнул Жозеф Бридо.— Чудо как хороша!

— И добра,— заметил Люсьен.— Клянусь, она сущий

ангел; но ты сделаешь ее портрет; пиши с нее, ежели тебе угодно, свою венецианку, которую старая сводня приводит к сенатору.

— Все они, когда любят, сущие ангелы,— сказал Мишель Кретьен.

Тут к Люсьену бросился Рауль Натан и, в пылу дружеских чувств, схватив его за руки, стал крепко их пожимать.

— Дорогой друг, вы не только большой человек, но у вас еще и доброе сердце, а это теперь встречается реже, чем талант. Вы преданы вашим друзьям. Короче, я ваш до гроба. Я никогда не забуду, что вы сделали для меня на этой неделе.

Люсьен, восхищенный льстивыми речами человека, до которого снисходила Слава, взглянул на своих друзей из кружка с некоторым высокомерием. Порыв Натана был вызван тем, что Мерлен показал ему оттиск хвалебной статьи Люсьена о его книге; статья должна была появиться в завтрашнем номере.

— Я согласился написать против вас,— шепнул Люсьен на ухо Натану,— лишь с условием, что сам на эту статью и отвечу. Я ваш союзник!

Он вернулся к трем друзьям из кружка, радуясь, что случай оправдал его слова, только что осмеянные Фюльжансом.

— Пусть только выйдет книга д'Артеза, я и ему могу быть полезен. Одно это уже побуждает меня не порывать с газетами.

— А ты свободен в своих действиях? — спросил Мишель.

— Настолько же, насколько я необходим,— ответил Люсьен с притворной скромностью.

Около полуночи гости сели за стол, и оргия началась. Застольные речи у Люсьена звучали вольнее, нежели у Матифа, ведь никто не подозревал, что между тремя посланцами Содружества и представителями печати существовало расхождение во взглядах. Молодые остроумцы, столь развращенные привычкой выступать *за* и *против*, схватились друг с другом, обмениваясь самыми беспощадными правовыми истинами, в ту пору зарождавшимися в журналистике. Клод Виньон, желавший сохранить за критикой ее возвышенный характер, восстал против

стремления маленьких газет затрагивать личности, говоря, что в конце концов писатели перестанут уважать самих себя. Лусто, Мерлен и Фино открыто выступили в защиту системы, называвшейся на жаргоне журналистов *разносом*, и уверяли, что это проба, по которой можно отличить талант.

— Тот, кто выдержит испытание, докажет, что он действительно сильный человек,— сказал Лусто.

— Кроме того,— вскричал Мерлен,— когда мы чествуем великих людей, вокруг них, как вокруг римских триумфаторов, наряду с хвалами должны хором звучать хуления.

— Ну, вот,— сказал Люсьен,— так, пожалуй, все, кого будут поносить, вообразят себя триумфаторами.

— Не о себе ли ты хлопочешь? — вскричал Фино.

— А ваши сонеты! — сказал Мишель Кретьен.— Неужто они не создадут вам триумфа Петрарки?

— Без Лауры [1] здесь не обойтись,— сказал Дориа, и его каламбур был встречен одобрительными возгласами пирующих.

— Faciamus experimentum in anima vili [2],— отвечал Люсьен, улыбаясь.

— И горе тому, кто будет обойден критикой и увенчан лаврами при первом же выступлении! Этих писателей, как святых, упрячут в ниши, и никто не будет обращать на них внимания,— заметил Верну.

— Им будут говорить,— заметил Блонде,— как сказал Шансене маркизу де Жанлис, когда тот слишком уж влюбленно смотрел на его жену: «Приятель, вы уже свое получили!»

— Во Франции успех убивает,— сказал Фино.— Мы слишком завистливы, мы стараемся заставить себя и других забыть о блестящих победах ближнего.

— Поистине, в литературе противоречие и создает жизнь,— сказал Клод Виньон.

— Как и в природе, где жизнь возникает из борьбы двух начал! — вскричал Фюльжанс.— Победа одного над другим есть смерть.

---

[1] L'aure — «Лаура» и l'or — «золото» по-французски произносятся одинаково.

[2] Сделаем опыт на животных *(лат.)*.

— Как и в политике,— добавил Мишель Кретьен.

— Мы это только что доказали,— подхватил Лусто.— Дориа продаст на этой неделе две тысячи экземпляров книги Натана. Почему? На книгу нападали, ее будут упорно защищать.

— А после подобной статьи,— сказал Мерлен, держа в руках оттиск завтрашнего номера своей газеты,— как не распродать всего издания?

— Не прочтете ли вы эту статью? — спросил Дориа.— Я остаюсь издателем, даже когда ужинаю.

Мерлен прочел победоносную статью Люсьена, вызвавшую общие рукоплескания.

— Ну, разве могла бы появиться эта статья, не будь первой? — спросил Лусто.

Дориа вынул из кармана корректуру третьей статьи Люсьена и стал читать. Фино внимательно слушал: статья предназначалась для второго номера его журнала, и в качестве главного редактора он преувеличивал свой восторг.

— Господа! — сказал он.— Живи Боссюэ в наше время, он написал бы именно так.

— Охотно верю,— сказал Мерлен.— Нынче Боссюэ был бы журналистом.

— За Боссюэ Второго! — возгласил Клод Виньон, подымая бокал и отвешивая шутовской поклон Люсьену.

— За моего Христофора Колумба! — сказал Люсьен, провозглашая тост за Дориа.

— Браво! — вскричал Натан.

— Это что же, прозвище? [1]— лукаво спросил Мерлен, переводя взгляд с Фино на Люсьена.

— Если вы будете продолжать в том же духе,— сказал Дориа,— нам за вами не угнаться, а господа негоцианты,— прибавил он, указывая на Матифа и Камюзо,— перестанут вас понимать. «Шутка подобна пряже,— сказал Бонапарт,— где тонко, там и рвется».

— Господа! — возгласил Лусто.— Мы свидетели примечательного случая, непостижимого, неслыханного, поистине изумительного. Все восхищены, что друг наш столь быстро превратился из провинциала в журналиста.

---

[1] Bravo — наемный убийца *(итал.)*.

— Он родился журналистом,— сказал Дориа.

— Дети мои,— сказал Фино, вставая с бутылкой шампанского в руке,— мы поддерживали и поощряли первые шаги нашего амфитриона, успехи которого превзошли наши надежды. Он выдержал экзамен, написав за два месяца ряд блестящих статей, всем нам известных; предлагаю посвятить его в журналисты.

— Венок из роз в ознаменование его двойной победы! — вскричал Бисиу, глядя на Корали.

Корали сделала знак Беренике, и та ушла разыскивать старые искусственные цветы в картонках актрисы. Венок из роз был свит, как только дородная горничная принесла цветы; захмелевшие гости также не преминули нелепо разукраситься цветами. Фино, первосвященник, пролил несколько капель шампанского на златокудрую голову Люсьена и с уморительной торжественностью произнес сакраментальные слова: «Во имя Гербового сбора, Залога и Штрафа нарекаю тебя журналистом. Да будут твои статьи легки!»

— И оплачены без вычета пробелов! — добавил Мерлен.

Тут Люсьен заметил расстроенные лица Мишеля Кретьена, Жозефа Бридо и Фюльжанса Ридаля; взяв шляпы, друзья вышли, напутствуемые негодующими возгласами.

— Вот ханжи! — сказал Мерлен.

— Фюльжанс был славный малый, но *они* совратили его.

— Кто? — спросил Клод Виньон.

— Мрачные юноши, посещающие религиозно-философский кабачок в улице Катр-Ван, где они трудятся над отысканием смысла жизни человечества...— пояснил Блонде.

— О! о! о!

— Они пытаются узнать, вращается ли человечество вокруг своей оси или движется вперед. Их очень затруднял выбор между прямой и кривой. Библейский треугольник показался им бессмысленным, и тогда явился неведомый пророк, высказавшийся за спираль.

— Когда люди объединяются, они могут додуматься и до более опасных глупостей! — вскричал Люсьен, которому хотелось защитить Содружество.

— Ты считаешь эти теории праздной болтовней? — спросил Фелисьен Верну.— Но наступит час, когда они превратятся в ружейные залпы или гильотину.

— Покамест эти юнцы только лишь черпают высшее вдохновение в шампанском, разгадывают гуманитарное значение панталон и ищут ту пружинку, которая движет вселенной,— сказал Бисиу.— Они подбирают поверженных кумиров вроде Вико, Сен-Симона, Фурье. Боюсь, вскружат они голову моему бедному Жозефу Бридо!

— Из-за них-то и охладел ко мне Бьяншон, мой земляк и школьный товарищ,— сказал Лусто.

— Не обучают ли они умственной гимнастике и не вправляют ли мозги? — спросил Мерлен.

— С них станется,— отвечал Фино.— Растиньяк говорил мне, что Бьяншон предается подобным мечтам.

— Стало быть, их вождь д'Артез? — сказал Натан.— Тот юноша, который должен нас всех проглотить?

— Д'Артез настоящий гений! — вскричал Люсьен.

— Предпочитаю настоящий шартрез,— сказал Клод Виньон, улыбаясь.

Настала минута, когда каждый пытался раскрыть свою душу соседу. Если умные люди доходят до того, что начинают откровенничать и предлагать ключ к своему сердцу, можно не сомневаться, что хмель овладел ими; часом позже все участники пиршества, ставшие короткими приятелями, величали друг друга великими талантами, знаменитостями, людьми, которым принадлежит будущее. Люсьен, как хозяин дома, сохранял некоторую ясность мысли; он выслушивал удивительные софизмы, довершавшие его нравственное растление.

— Дети мои,— сказал Фино,— либеральной партии необходимо оживить свою полемику, ведь ей сейчас не за что бранить правительство, и вы понимаете, в каком затруднительном положении оказалась оппозиция. Кто из вас согласен написать брошюру о необходимости восстановить право первородства, чтобы можно было поднять шум против тайных замыслов двора? За работу хорошо заплатят.

— Я! — отозвался Гектор Мерлен.— Это соответствует моим убеждениям.

— Твоя партия, пожалуй, скажет, что ты порочишь

ее,— возразил Фино.— Фелисьен, возьмись-ка ты за это дело. Дориа издаст брошюру, мы сохраним все в тайне.

— А сколько дадут? — спросил Верну.

— Шестьсот франков. Ты подпишешься: граф К...

— Согласен! — сказал Верну.

— Итак, вы хотите пустить «утку» в политику? — снова начал Лусто.

— Это дело Шабо, перенесенное в сферу идей,— подхватил Фино.— Правительству приписывают невесть какие замыслы и натравливают на него общественное мнение.

— Меня всегда будет глубоко изумлять правительство, которое доверяет руководство общественным мнением таким щелкоперам, как мы,— сказал Клод Виньон.

— Если правительство по глупости вступит в открытый бой,— продолжал Фино,— его встретят в штыки; если оно выдаст свою обиду, полемику обострят, а это вызовет в массах недовольство правительством. Газета никогда ничем не рискует, тогда как власть рискует всем.

— Франции нет и не будет, пока газеты не будут объявлены вне закона,— продолжал Клод Виньон.— Вы с каждым часом преуспеваете,— обратился он к Фино.— Вы уподобитесь иезуитам, но без их фанатизма, неуклонности намерений, дисциплины и сплоченности.

Все вернулись к игорным столам. В отблесках рассвета скоро померкли свечи.

— Твои друзья с улицы Катр-Ван были печальны, как приговоренные к смерти,— сказала Корали своему возлюбленному.

— Они были судьями,— ответил Люсьен.

— Судьи много занятнее,— сказала Корали.

Вот уже целый месяц Люсьен растрачивает время на ужины, обеды, завтраки, балы, втянутый неодолимым течением в круговорот забав и легкого труда. Он перестал рассчитывать. Способность рассчитывать в сложных житейских обстоятельствах — это печать большой воли, которой поэты, люди безвольные или слишком увлеченные духовными интересами, никогда не будут отмечены. Подобно большинству журналистов, Люсьен жил со дня на день, сорил деньгами, не задумываясь над трудностями парижской жизни, время от времени угнетающими

богему. Щегольством и манерами он состязался с самыми записными денди. Корали, как все фанатики, любила украшать своего идола; она разорялась, чтоб предоставить своему милому поэту щегольской реквизит щеголя, о котором он мечтал в первую свою прогулку в Тюильри. И вот у Люсьена завелись ослепительные трости, очаровательный лорнет, алмазные запонки, кольца для утренних галстуков, перстни с печаткой и немало восхитительных жилетов, под цвет каждого костюма. Скоро он прослыл денди. В тот день, когда он появился среди приглашенных на приеме у немецкого дипломата, его превращение пробудило тайную зависть молодых людей, таких законодателей моды, как де Марсе, Ванденес, Ажуда-Пинто, Максим де Трай, Растиньяк, герцог де Мофриньез, Боденор, Манервиль и другие. В высшем свете мужчины завидуют друг другу чисто по-женски. Графиня де Монкорне и маркиза д'Эспар, в честь которой давался обед, сидели по обе стороны Люсьена и любезничали с ним.

— Почему вы покинули свет? — спросила его маркиза.— С какой охотой он готов был принять вас, обласкать. Я должна вас пожурить. Вы передо мною в долгу: я все еще ожидаю вашего визита. На днях я видела вас в Опере, но вы не удостоили меня ни посещением, ни поклоном.

— Маркиза, ваша кузина так решительно порвала...

— Вы не знаете женщин,— сказала г-жа д'Эспар, перебивая Люсьена.— Вы ранили сердце самое ангельское и душу самую благородную, какую я только знаю. Вы и не подозреваете, что́ Луиза хотела сделать для вас и сколько тонкого ума вложила она в свой замысел! О! Он удался бы ей,— сказала маркиза в ответ на недоверчивый взгляд Люсьена.— Неужели ее муж, который недавно умер от несварения желудка, как и следовало ожидать, неужели он, рано или поздно, не вернул бы ей свободу? Неужели вы полагаете, что ее прельщало стать госпожой Шардон? Но титул графини де Рюбампре стоит того, чтобы его завоевать. Любовь, видите ли, это великое тщеславие, и оно должно сочетаться, особенно в браке, со всеми иными видами тщеславия. Если бы я любила вас до безумия,— словом, настолько, чтобы выйти за вас замуж,—мне все же было бы нелегко именоваться госпо-

жой Шардон. Согласитесь с этим! Теперь вам знакомы трудности парижской жизни, вы знаете, какими обходными путями надо было идти, чтобы достичь цели; так признайтесь, что хлопоты Луизы о вас, человеке без имени и средств,— это притязание на удачу почти невозможную, и поэтому-то она не должна была ничем пренебрегать. Вы очень умны, но когда мы любим, мы становимся умнее самого умного мужчины. Моя кузина хотела действовать через этого нелепого Шатле... Кстати, я вам признательна за развлечение: читая ваши статьи, направленные против него, я так смеялась! — неожиданно прервала она свою речь.

Люсьен не знал, что думать. Посвященный в предательство и вероломство, царящие среди журналистов, он не подозревал о вероломстве высшего света; и несмотря на всю его проницательность, ему предстояло получить суровый урок.

— Как, маркиза, разве вы не покровительствуете Цапле? — спросил Люсьен, задетый за живое.

— Свет обязывает быть учтивыми с самыми злейшими врагами, притворяться веселыми в обществе скучных людей и нередко делать вид, что жертвуешь своими друзьями, чтобы тем вернее им помогать. Неужели вы так неопытны? Как это вы, готовясь стать писателем, не изучили самых обычных уловок света? Пусть кузина и пренебрегла вами ради Цапли, но она поступила так для того лишь, чтобы обратить его влияние в вашу пользу! Ведь к нему чрезвычайно благоволит нынешнее министерство. Мы внушаем Шатле — в надежде когда-нибудь вас примирить,— что ваши нападки на него даже послужили ему на пользу. Шатле вознагражден за ваши преследования. Де Люпо недаром говорил министрам: «Покамест газеты издеваются над Шатле, они оставляют в покое правительство».

— Господин Блонде меня уверил, что я буду иметь удовольствие видеть вас у себя,— сказала графиня де Монкорне, когда маркиза умолкла, предоставив Люсьена его размышлениям.—Вы встретите у меня некоторых художников, писателей и женщину, давно мечтавшую с вами познакомиться,— мадемуазель де Туш, одну из тех талантливых натур, которые так редки среди женщин; вы непременно посетите ее! Мадемуазель де Туш — если

угодно, Камилл Мопен,— славится в Париже своим салоном; она баснословно богата; ей сказали, что вы столь же красивы, как и умны, и она умирает от желания вас увидеть.

Люсьену оставалось только рассыпаться в благодарностях, и он окинул Блонде завистливым взглядом. Между графиней де Монкорне, этой знатной великосветской женщиной, и Корали существовало такое же глубокое различие, как между Корали и уличной девкой. Лицо графини, молодой, прекрасной, остроумной, пленяло ослепительной белизной, свойственной северянкам; ее мать была урожденная княжна Шербелова, и перед обедом посланник оказал ей самое почтительное внимание. Маркиза тем временем небрежно обсасывала крылышко цыпленка.

— Моя бедняжка Луиза была так привязана к вам,— сказала маркиза Люсьену.— Она поверяла мне свои мечты о вашем прекрасном будущем. Она многое готова была вынести, но какое презрение вы проявили, вернув ее письма. Мы прощаем жестокости; если нам причиняют боль — значит, о нас все же думают. Но равнодушие!.. Равнодушие подобно полярным льдам, оно сковывает. Ну признайтесь же, вы потеряли сокровище по собственной вине. Зачем было порывать? Пусть даже вами пренебрегли, ужели не было вашим долгом заботиться о своем благополучии, о восстановлении своего имени? Луиза обо всем этом подумала.

— Отчего было не сказать мне? — отвечал Люсьен.

— Ах, боже мой! Ведь это я посоветовала ей не открываться вам. Признаюсь, я испугалась вас, поняв, как вы мало знакомы с большим светом: я опасалась, как бы ваша неопытность, ваша юная горячность не разрушили или не спутали бы ее расчетов и наших замыслов. Вспомните, каким вы были тогда? Право же, вы поняли бы меня, предстань сейчас перед вами двойник прежнего Люсьена. Вы стали совсем другим человеком. И в этом единственная наша вина перед вами. Но найдется ли мужчина, хотя бы один на тысячу, сочетавший в себе такой ум и такую изумительную способность воспринимать вкус и привычки окружающей среды? Как могла я догадаться, что именно вы этот феномен? Вы преобразились так быстро, так легко усвоили манеры парижанина, что

месяц назад, встретившись с вами в Булонском лесу, я вас не узнала.

Люсьен слушал эту знатную даму в каком-то неизъяснимом блаженстве; она произносила свои льстивые слова с таким доверчивым, с таким простодушным видом, так наивно; казалось, она так глубоко озабочена его судьбой, что он было поверил чуду, как поверил чуду в день своего появления в Драматической панораме. Начиная с того счастливого вечера ему все улыбалось, он приписывал своей молодости чудодейственную силу и решил испытать маркизу, поклявшись не допустить оплошности.

— Каковы же были, маркиза, эти замыслы, ставшие ныне пустыми мечтаниями?

— Луиза желала добиться королевского указа, который дал бы вам право носить имя и титул де Рюбампре. Она желала похоронить Шардона. Этот первый шаг был тогда так же прост, как почти немыслим сейчас; а между тем это сулило вам счастье. Вы назовете наши мечтания пустыми и вздорными; но у нас все же есть жизненный опыт, и мы знаем, какую значительность придает титул графа элегантному, обаятельному юноше! Пусть в присутствии юных английских миллионерш и богатых наследниц доложат: «Господин Шардон!» или «Граф де Рюбампре!» — это произведет далеко не одинаковое впечатление. Граф, будь он кругом в долгу, найдет доступ ко всем сердцам, его красота в свете его титула будет блистать, как алмаз в дорогой оправе. Шардона никто и не приметит. Не нами установлены эти условности, они существуют во всех слоях общества, даже среди буржуа. Счастье отвернулось от вас. Взгляните на этого юного красавца, виконта Феликса де Ванденеса, он один из двух личных секретарей короля. Король благоволит к даровитым юношам, а у Ванденеса, когда он приехал из провинции, багаж был не тяжелее вашего, и вы в тысячу раз его умнее; но разве вы хорошего рода? Вы знаете де Люпо, его имя Шарден, оно похоже на ваше; но он не продал бы и за миллион отцовскую мызу,— рано или поздно он сделается графом де Люпо, а его внук, пожалуй, станет придворным. Если вы не сойдете с ложного пути, на который вступили, вы человек погибший. Подумайте, насколько разумнее вас Эмиль Блонде! Он пишет в газете, которая поддерживает правительство, он на хорошем счету у силь-

ных мира сего; он может невозбранно общаться с либералами — он человек благонамеренный; он рано или поздно добьется своей цели; но он сумел выбрать и убеждения и покровителей. В семье вашей соседки, прелестной женщины, урожденной де Труавиль, два пэра Франции и два депутата. Благодаря своему имени она сделала блестящую партию; у нее открытый дом, она будет пользоваться влиянием и ради этого юнца Эмиля Блонде поставит на ноги весь политический мир. А куда вас увлечет Корали? Не пройдет и нескольких лет, и вы окажетесь в долгах, будете пресыщены наслаждениями. Вы плохо распорядились своим сердцем и плохо устроили свою жизнь. Вот что на днях сказала о вас в Опере одна женщина, которую вы позволили себе оскорбить. Сокрушаясь о судьбе вашего таланта и вашей прекрасной юности, она печалилась о вас, а не о себе.

— О, если бы ваши слова, маркиза, были правдой! — вскричал Люсьен.

— Чего ради стала бы я лгать? — сказала маркиза, бросив на Люсьена высокомерный и ледяной взгляд, совершенно его уничтоживший.

Люсьен, смутившись, не возобновлял беседы; разгневанная маркиза с ним больше не разговаривала. Он был уязвлен, но сознавал свою оплошность и дал себе слово ее исправить. Он обратился к г-же де Монкорне и повел с нею беседу о Блонде, превознося достоинства этого молодого писателя. Графиня слушала благосклонно и, по знаку маркизы д'Эспар, пригласила его посетить ее дом в ближайший приемный день, осведомившись, не желает ли он повидать г-жу де Баржетон, которая, несмотря на траур, собирается ее навестить: приглашены только близкие друзья.

— Маркиза уверяет, что я один виновен во всем,— сказал Люсьен.— Ее кузина могла бы отнестись ко мне снисходительнее.

— Избавьте Луизу от газетных нападок: ведь они нелепы и к тому же порочат ее, связывая ее имя с именем человека, над которым, к слову сказать, она потешается, и вы скоро заключите с нею мир. Вы, говорят, обижены, вы полагаете, что вами играли; я же застала ее одинокой, в большой грусти. Правда ли, что она уехала из провинции с вами и ради вас?

Люсьен, улыбаясь, взглянул на графиню, не осмеливаясь ответить.

— Как могли вы сомневаться в женщине, которая ради вас принесла столько жертв? Но, если бы даже этого не было, такая прекрасная и умная женщина, как она, достойна любви *сама по себе*. Госпожа де Баржетон любила не столько вас, сколько ваш талант. Поверьте, женщины влюбляются в ум прежде, чем в красоту,— сказала она, взглянув украдкой на Эмиля Блонде.

В особняке посла Люсьен понял, какая резкая черта отделяет высший свет от того своеобразного мира, в котором он последнее время жил. Эти два образа великолепия ни в чем не были сходны, между ними не было ни одной точки соприкосновения. Высота и расположение комнат этого дома, одного из самых блистательных в Сен-Жерменском предместье, старинная позолота зал, пышность убранства, строгая изысканность отделки — все для него было ново, чуждо; но столь быстро усвоенная привычка к роскоши позволила ему скрыть свое изумление. Его поведение было так же далеко от самонадеянности и фатовства, как от лести и раболепства. Поэт держал себя с достоинством и завоевал расположение всех, кто не имел причины питать к нему неприязнь, подобно молодым франтам, что позавидовали красоте и успеху Люсьена в тот вечер, когда он неожиданно появился в высшем обществе. Встав из-за стола, Люсьен предложил руку г-же д'Эспар, и та ее приняла. Растиньяк, заметив, как благосклонна маркиза д'Эспар к Люсьену, подошел к нему и, отрекомендовавшись земляком, напомнил об их первой встрече у г-жи дю Валь-Нобль. Молодой аристократ, казалось, желал завязать дружбу с провинциальной знаменитостью; он пригласил Люсьена к себе на завтрак, пообещал ввести его в круг великосветской молодежи. Люсьен принял приглашение.

— Я ожидаю и нашего милого Блонде,— сказал Растиньяк.

Маркиз де Ронкероль, герцог де Реторе, де Марсе, генерал де Монриво, Растиньяк и Люсьен беседовали, когда к ним подошел посол.

— Вот и отлично,— сказал он Люсьену с немецким добродушием, под которым таилась опасная проницательность,— вы заключили мир с госпожой д'Эспар, она

очарована вами, а мы все знаем,— сказал он, обводя взглядом стоявших вокруг него мужчин,— как трудно ей понравиться.

— Да, она обожает ум, а у моего прославленного земляка ума — палата! — сказал Растиньяк.

— Он скоро поймет, как неумно пользуется он своим умом,— живо сказал Блонде,— он примкнет к нам, он скоро будет наш.

Вокруг Люсьена заговорили на эту тему. Люди серьезные наставительным тоном изрекли несколько глубокомысленных истин, молодежь подсмеивалась над либеральной партией.

— Я уверен,— сказал Блонде,— что он бросал кости, решая вопрос, примкнуть ли ему к правым или к левым; теперь он сделает выбор обдуманно.

Люсьен рассмеялся, вспомнив разговор с Лусто в Люксембургском саду.

— Он избрал вожатаем,— продолжал Блонде,— некоего Этьена Лусто, бреттера, мелкого журналиста, для которого газетный столбец — это сто су, а политика — вера в возвращение Наполеона и, что мне кажется еще глупее,— вера в признательность и патриотизм всех этих господ из левых партий. Как Рюбампре, Люсьен должен тяготеть к аристократии; как журналист, он должен быть на стороне власти, иначе он не станет никогда ни Рюбампре, ни государственным секретарем.

Люсьен, которому посол предложил сыграть партию в вист, вызвал всеобщее изумление, признавшись, что он не умеет играть.

— Друг мой,—шепнул ему на ухо Растиньяк,—в тот день, когда вы соблаговолите разделить со мной мой скромный завтрак, приходите пораньше, я научу вас играть в вист; вы позорите наш королевский город Ангулем, и я повторю слова Талейрана, сказав, что, не выучившись играть в вист, вы готовите себе печальную старость.

Доложили о прибытии де Люпо, советника по делам юстиции, любимца двора, оказывавшего тайные услуги правительству, человека лукавого и честолюбивого, втиравшегося повсюду. Он приветствовал Люсьена, с которым уже встречался у г-жи дю Валь-Нобль, и почтительность его поклона говорила о желании снискать располо-

жение юноши. Встретив молодого журналиста в таком великосветском обществе, этот человек, боявшийся попасть впросак и друживший с людьми любых политических убеждений, понял, что в свете, как и в литературе, успех Люсьену обеспечен. Он угадал, что этот поэт — честолюбец, и, угодничая, расточал льстивые уверения в дружбе и преданности, точно они были с ним старинными друзьями; Люсьен готов был поверить в искренность его слов. Де Люпо поставил себе за правило изучать слабости соперника, от которого он хотел избавиться. Итак, Люсьен был благосклонно принят в свете. Он понял, что многим обязан герцогу де Реторе, послу, г-же д'Эспар, г-же де Монкорне. Прежде чем покинуть дом посла, он побеседовал с дамами, блеснув перед ними очарованием своего ума.

— Какое самодовольство! — сказал де Люпо маркизе, как только Люсьен отошел.

— Он испортится раньше, чем созреет,— улыбаясь, сказал маркизе де Марсе.— У вас были, видимо, тайные причины вскружить ему голову.

Люсьен застал Корали в карете, ожидавшей его возле дома. Он был тронут этим вниманием и рассказал ей, как провел вечер. К великому изумлению Люсьена, актриса одобрила замыслы, уже бродившие в его голове, и настойчиво советовала ему встать под знамена правительства.

— С либералами ты только наживешь беду, они замышляют заговоры, они убили герцога Беррийского. Неужто им удастся свергнуть правительство? Да никогда! С ними ты ничего не добьешься, меж тем как, сблизившись с другими, ты получишь титул графа де Рюбампре. Ты можешь выслужиться, стать пэром Франции, жениться на богатой. Стань крайним правым! И в этом хороший тон,— прибавила она, произнеся наконец слово, служившее для нее самым неотразимым доводом.— Валь-Нобль, когда я у нее обедала, сказала мне, что Теодор Гайар действительно решил издавать маленькую роялистскую газетку «Ревей», чтобы отражать нападки вашей газеты и «Мируар». По ее словам, не пройдет и года, как господин де Виллель и его партия будут у власти. Постарайся воспользоваться случаем и торопись перейти на их сторону, покамест они еще ничто; но ни словом не об-

молвись Этьену и твоим друзьям: они способны сыграть с тобой скверную шутку.

Неделей позже Люсьен появился в салоне г-жи де Монкорне; он испытал жестокое волнение, встретив у нее женщину, которую столь нежно любил и сердце которой он истерзал своими насмешками. Луиза тоже преобразилась. Она стала великосветской дамой, какой и должна была быть, если бы не жила в провинции. Она была полна прелести в своем трауре, и изысканность его выдавала счастливую вдову. Люсьен почитал себя несколько повинным в ее кокетстве, и он не ошибался; но он, точно людоед, отведавший свежего мяса, весь тот вечер колебался в выборе между прекрасной, влюбленной, пламенной Корали и чопорной, надменной, коварной Луизой. Он не решался пожертвовать актрисой ради знатной дамы. Этой жертвы весь тот вечер ожидала от него г-жа де Баржетон, вновь воспылавшая любовью к Люсьену, заметив, как он умен и прекрасен. Но напрасны были ее вкрадчивые речи, ее обольстительные взгляды, и она покинула гостиную в непоколебимом желании отомстить.

— Послушайте, дорогой Люсьен,— сказала она милостиво, с достоинством и чисто парижской грацией,— вам предназначалось быть моей гордостью, а вы избрали меня своей первой жертвой. Я простила вас, полагая, что ваша месть — отголосок любви.

Госпожа де Баржетон этими словами и царственной своей осанкой вновь обрела власть: Люсьен, вполне уверенный в своей правоте, вдруг открыл, что он ошибся. Не было сказано ни слова ни о прощальном отчаянном письме, которым он порывал с нею, ни о причинах разрыва. Женщины высшего света наделены удивительным талантом — шутя умалять свою неправоту. Они могут и умеют все сгладить улыбкой, вопросом, притворным изумлением. Они ничего не помнят, они все объясняют, они удивляются, они спрашивают, они истолковывают, они негодуют, они спорят и кончают тем, что смывают свои грехи, как при чистке смывают пятна: вы знавали их черными, они становятся белыми в одно мгновение и невинными. А вы? Вы должны быть счастливы, если не признаете себя виновным в каком-либо непростительном преступлении. На одно мгновение Люсьен и Луиза заговорили на языке дружбы, припомнив свои мечтания; но Люсьен,

опьяненный тщеславием, опьяненный Корали, создавшей ему беззаботную жизнь, не нашел нужного ответа на вопрос Луизы, сопутствуемый томным взглядом: «Вы счастливы?» Меланхолическое «нет!» завершило бы его успех. Но он счел остроумным заговорить о Корали, рассказал о том, что его любят ради него самого, короче, повторил все глупости влюбленных. Г-жа де Баржетон кусала губы. Все было кончено. Г-жа д'Эспар подошла к кузине вместе с г-жой де Монкорне. Люсьен почувствовал, что он, так сказать, герой вечера: он был радушно принят, обласкан, очарован этими тремя женщинами, обольщавшими его с невыразимым искусством. Итак, его успехи в большом свете не уступали его успехам в журналистике. Прекрасная мадемуазель де Туш,—столь известная под именем Камилла Мопен,— когда г-жа д'Эспар и г-жа де Баржетон представили ей Люсьена, пригласила его отобедать у нее в одну из ее сред и, казалось, была взволнована его красотой, по праву прославленной. Люсьен старался доказать, что его ум превосходит его красоту. Мадемуазель де Туш высказывала свое удивление с той простодушной веселостью, с тем милым восторгом поверхностной дружбы, что вводят в заблуждение всех, кто не изучил парижан, столь алчных к новизне, ищущих непрерывных развлечений.

— Если бы она пленилась мною так же, как я пленен ею,— сказал Люсьен Растиньяку и де Марсе,— мы сократили бы роман...

— Вы оба так хорошо пишете романы, что вряд ли пожелаете их заводить в действительности,— отвечал Растиньяк.— Ужели пристало писателям влюбляться друг в друга? Неизбежно настанет время, когда пойдут в ход обидные колкости.

— Ваши мечтания недурны,— смеясь, сказал ему де Марсе.— Правда, этой прелестной девушке тридцать лет, но у нее около восьмидесяти тысяч ливров ренты. Она обворожительно капризна, и красота подобного типа сохраняется долго. Корали, мой друг, глупышка, годная лишь на то, чтобы создать вам положение, ибо не подобает юному красавцу обходиться без любовницы; но если вы не одержите какой-либо блестящей победы в свете, актриса со временем станет вам помехой. Ну, заступите же, мой друг, место Конти, который намеревается петь

дуэт с Камиллом Мопен. Во все времена поэзию предпочитали музыке.

Когда Люсьен услышал пение мадемуазель де Туш и Конти, его надежды рухнули.

— Конти поет прекрасно,— сказал он де Люпо.

Люсьен воротился к г-же де Баржетон, и она повела его в гостиную, где находилась г-жа д'Эспар.

— Не пожелаете ли вы принять его под свое покровительство? — сказала г-жа де Баржетон своей кузине.

— Но пусть господин Шардон,— сказала маркиза с дерзкой и вместе с тем милой миной,— пусть он займет положение, при котором покровительство не причинит неудобств покровителям. Ежели он желает добиться королевского указа, расстаться с злополучным именем своего отца и принять имя матери, он должен прежде всего стать *нашим*.

— Не пройдет и двух месяцев, как я это сделаю,— сказал Люсьен.

— Хорошо,— сказала маркиза,— я обращусь к отцу и дяде, они служат при дворе: они замолвят о вас слово перед канцлером.

Дипломат и обе женщины отлично разгадали чувствительную сторону Люсьена. Этот поэт, восхищенный аристократическим великолепием, испытывал невыразимое унижение, слыша имя Шардон, в то время когда в гостиную входили люди титулованные и носившие громкие имена. Огорчение неизменно повторялось каждый раз, когда он бывал в свете. И не менее тягостное чувство он переживал, возвращаясь к заботам своего ремесла после раута в высшем обществе, куда он выезжал, как и подобает, в карете и со слугами Корали. Он обучился верховой езде, чтобы скакать подле дверцы кареты г-жи д'Эспар, мадемуазель де Туш и графини де Монкорне,— преимущество, возбуждавшее в нем зависть в первые дни его жизни в Париже. Фино с большой готовностью устроил своему главному сотруднику свободный вход в Оперу, где Люсьен в праздности провел много вечеров; и с той поры он стал причастен к особому кругу щеголей того времени. Поэт дал роскошный завтрак в честь Растиньяка и своих светских друзей, но совершил оплошность, устроив его у Корали,— он был слишком молод, слишком поэт и слишком неопытен, чтобы знать известные

оттенки поведения; и неужели могла его научить жизни актриса, прелестная, но не получившая никакого воспитания девушка? Провинциал вполне простодушно открыл молодым людям, недоброжелательно к нему относившимся, общность интересов между ним и актрисой, чему втайне завидует любой юноша и что явно каждый порицает. В тот же вечер Растиньяк весьма жестоко потешался над Люсьеном; и хотя сам он держался в свете теми же средствами, но он настолько соблюдал приличия, что мог злословие назвать клеветой. Люсьен скоро обучился висту. Игра стала его страстью. Корали, желая устранить всякое соперничество, не только не осуждала Люсьена, но поощряла его мотовство в том ослеплении истинного чувства, когда существует лишь настоящее и ради наслаждения жертвуют всем, даже будущим. Истинная любовь в своих поступках являет несомненное сходство с ребяческими выходками: то же безрассудство, неосторожность, непосредственность, смех и слезы.

В ту пору процветало общество молодых людей, богатых, а подчас и бедных, праздных, прозванных *прожигателями жизни* и, верно, живших чрезвычайно беспечно, отъявленных гурманов и тем более отъявленных кутил. В свое существование, не столько веселое, сколько бурное, все эти повесы вносили грубые забавы: для них не было ничего невозможного, они похвалялись своими проказами, впрочем не выходившими за известные пределы; редкостная живость ума извиняла их шалости, невозможно было на них досадовать. Нет более яркого свидетельства *илотизма*, на который Реставрация обрекла молодежь. Молодые люди, не находя выхода для своих сил, бросались не только в журналистику, заговоры, литературу и искусство, они расточали их в разгуле: так много было соков и плодоносной силы в молодой Франции! Трудолюбивая — эта прекрасная молодежь жаждала власти и развлечений; артистическая — она жаждала сокровищ; праздная — она жаждала возбуждения страстей; всеми путями она стремилась создать себе положение, но политика всюду ставила ей преграды. Прожигатели жизни почти все были люди высоких дарований; одни погибли в этой расслабляющей атмосфере, другие устояли. Самый известный среди них, самый остроумный, Растиньяк, кончил тем, что под руководством де

Марсе вступил на поприще серьезной деятельности и был отличен. Забавы, которым эти молодые люди предавались, были столь прославлены, что послужили сюжетом для многих водевилей. Люсьен, введенный Блонде в это общество молодых повес, блистал там наравне с Бисиу, одним из самых злых и неутомимых насмешников того времени. Всю зиму жизнь Люсьена была сплошным кутежом, прерываемым легкой работой журналиста. Он по-прежнему печатал небольшие статейки, и ему стоило неимоверных усилий написать время от времени несколько прекрасных, строго продуманных страниц. Но занятия были исключением, поэт отдавался им под давлением нужды; завтраки, обеды, увеселительные прогулки, великосветские вечера, карты поглощали почти все его время. Корали отнимала остальное. Люсьен не решался думать о завтрашнем дне. И притом он видел, что его мнимые друзья вели себя так же, как и он: на кутежи находились средства, и от забот о будущем избавляли дорого оплачиваемые проспекты издательств и «премии», выдававшиеся за некоторые статьи, необходимые для их рискованных спекуляций. Люсьен, некогда принятый в журналистику и литературу на равных правах с другими, понял, какие непреодолимые преграды возникнут, если он пожелает возвыситься: каждый согласен был признать его равным, но никто не хотел признать его превосходства. Неприметно он отступился от литературной славы, полагая, что легче достичь удачи на политическом поприще.

«Интриганство возбуждает страсти менее, нежели талант, ибо скрытые происки не привлекают ничьего внимания,— сказал ему однажды Шатле, с которым Люсьен примирился.— Интриганство выше таланта: из ничего оно создает нечто, меж тем как огромные возможности таланта чаще всего составляют несчастье человека».

В этой жизни, когда день наступал вслед бессонной ночи, проведенной в разгуле, и для обещанной работы не находилось времени, Люсьен преследовал свою главную цель; он усердно посещал свет, он волочился за г-жой де Баржетон, маркизою д'Эспар, графиней де Монкорне и не пропускал ни одного вечера мадемуазель де Туш; он появлялся в свете перед увеселительной прогулкой, пос-

ле званого обеда, данного авторами или издателями; он покидал великосветские гостиные ради ужина, проигранного на пари; пустые парижские разговоры и игра губили его дарование, и без того ослабленное излишествами. Поэт утратил ту ясность ума, то равновесие мысли, что помогают наблюдать окружающее, выказывать особый такт, необходимый выскочкам; он разучился отличать те мгновения, когда г-жа де Баржетон возвращалась к нему, отдалялась уязвленная, прощала его и обвиняла вновь. Шатле подметил, какие надежды может еще питать соперник, и стал приятелем Люсьена, вовлекая его в кутежи, истощавшие его силы. Растиньяк, из зависти к земляку и полагая, что барон более надежный и полезный союзник, нежели Люсьен, сблизился с Шатле. Таким образом, спустя несколько дней после встречи Петрарки и Лауры из Ангулема Растиньяк примирил поэта и старого красавца времен Империи за великолепным завтраком в «Роше де Канкаль». Люсьен, возвращавшийся на рассвете и просыпавшийся среди дня, не мог противостоять соблазнам домашней, всегда ожидающей его любви. Итак, леность порождала равнодушие к самым прекрасным решениям, принятым в те минуты, когда положение представлялось ему в истинном свете; внушения его воли ослабевали, и вскоре она перестала подавать свой голос даже при самом сильном давлении нужды. Рассеянная жизнь Люсьена сперва радовала Корали, и она даже поощряла это рассеяние, видя в нем залог долгой привязанности, а в житейских потребностях, созданных ею,— прочные узы, но все же эта кроткая и нежная женщина нашла в себе мужество напомнить своему возлюбленному о необходимости работать, и ей не раз пришлось повторять, что за месяц он мало заработал. Поэт и его возлюбленная с ужасающей быстротой входили в долги. Тысяча пятьсот франков, оставшихся от гонорара за «Маргаритки», и первые пятьсот франков, выигранных Люсьеном, были скоро истрачены. В три месяца статьи принесли Люсьену не более тысячи франков, и все же он считал, что работал чрезмерно. Но Люсьен уже усвоил шутливый дух законов прожигателей жизни и их отношение к долгам. Долги к лицу очаровательному юноше не старше двадцати пяти лет, позже их никто не прощает. Замечено, что истинно поэтиче-

ские, но слабые волей души, поглощенные тем, чтобы в образах запечатлевать свое мироощущение, крайне поступаются нравственным чувством, столь необходимым при изучении жизни. Поэты предпочитают вбирать в себя впечатления, нежели вникать в ощущения других и изучать механизм чувств. Так, Люсьен не расспрашивал прожигателей жизни о тех, кто исчезал из их круга; он не задумывался над будущностью своих мнимых друзей; у одних были наследства, у других — верные надежды, у тех — признанные таланты, а у иных — упорная вера в судьбу и твердое намерение обходить законы. Люсьен верил в свою будущность, полагаясь на глубокомысленные истины Блонде: «В конце концов все устраивается», «Кто ничего не имеет, тому нечего терять», «Мы можем утратить только то, что ищем», «Плывя по течению, куда-нибудь приплывешь», «Умный человек, вступив в свет, добьется удачи, если пожелает!»

Ту зиму, щедрую на забавы, Теодор Гайар и Гектор Мерлен провели в поисках средств для основания «Ревей»; первый номер газеты вышел только в марте 1822 года. Вопрос этот обсуждался у г-жи дю Валь-Нобль. Эта элегантная и остроумная куртизанка, говорившая, когда ей случалось показывать свои пышные покои: «Вот счета[1] «Тысячи и одной ночи»,— пользовалась известным влиянием среди банкиров, вельмож и писателей из роялистской партии, завсегдатаев ее гостиной, собиравшихся у нее для обсуждения некоторых проектов, не подлежавших обсуждению в ином месте. Гектору Мерлену было обещано место главного редактора «Ревей». Правой рукой его прочили Люсьена, ставшего его близким другом; ему также был обещан *подвал* в одной из правительственных газет. Перемену фронта Люсьен обдумывал украдкой, среди светских развлечений. Этот юноша мнил себя великим политиком, подготовляя столь театральную развязку, и весьма рассчитывал на щедрость правительства, чтобы уладить денежные затруднения и рассеять тайные заботы Корали. Актриса неизменно улыбалась и ни слова не говорила о своем разорении; но Береника, более решительная, просветила

---

[1] Игра слов: les comptes — «счета» и les contes — «сказки» по-французски произносятся одинаково.

Люсьена. Как все поэты, этот будущий гений повздыхал минуту над невзгодами, пообещал работать, быстро забыл обещание и развеял на пиршестве мимолетное огорчение. В тот день, когда Корали уловила тень на челе своего возлюбленного, она пожурила Беренику и сказала поэту, что все устроилось. Г-жа д'Эспар и г-жа де Баржетон ожидали обращения Люсьена, чтобы испросить у министра — через Шатле, как они говорили,— столь желанный указ о перемене имени. Люсьен обещал посвятить свои «Маргаритки» маркизе д'Эспар, и она, казалось, была польщена этой честью, очень редкой с той поры, как поэты вошли в силу. Когда Люсьен вечером заходил к Дориа узнать о судьбе своей книги, издатель, приводя неотразимые доводы, возражал против выхода ее в свет. Дориа был вечно поглощен срочными делами, отнимавшими все его время: то он выпускал новые стихи Каналиса, с которым не желал ссориться, то он печатал новый том «Размышлений» Ламартина, а двум крупным сборникам стихов невыгодно появляться одновременно; наконец автор обязан доверять опытности своего издателя. Между тем Люсьен дошел до столь крайней нужды, что прибег к помощи Фино, и тот дал ему небольшой аванс под статьи. Вечером, за ужином, поэт-журналист рассказал друзьям, прожигателям жизни, о своем положении, но они утопили его тревоги в потоках шампанского, замороженного шутками. Долги! Неужто возможно стать великим человеком, не входя в долги? Долги — это наши неотложные нужды, это прихоти наших пороков. Человек достигает успеха только под давлением железной руки необходимости.

— Великим людям — признательный ломбард! — вскричал Блонде.

— Всего желать — значит, всем должать,— сказал Бисиу.

— Нет, всем должать — значит, всем обладать! — ответил Лусто.

Прожигатели жизни сумели убедить этого младенца, что его долги — всего лишь золотое копье, которым он горячит коней, запряженных в колесницу его счастья. Затем на сцену выступил неизменный Цезарь с его сорока миллионами долга, Фридрих II, получавший от своего отца всего лишь один дукат в месяц,— эти пресловутые,

растлевающие примеры великих людей, показанных в их пороках, а не в могуществе их духа и замыслов! И вот карета, лошади и обстановка Корали были описаны кредиторами за долги, общая сумма которых доходила до четырех тысяч франков. Когда Люсьен обратился к Лусто с просьбой вернуть взятую им в долг тысячу франков, тот показал гербовые бумаги, доказывающие, что положение Флорины не лучше положения Корали; но благодарный Лусто предложил ему предпринять необходимые шаги, чтобы напечатать «Лучника Карла IX».

— Как дошла до этого Флорина? — спросил Люсьен.

— Матифа испугался,— отвечал Лусто,— мы его лишились; но если Флорина пожелает, он дорого заплатит за измену! Я тебе все расскажу...

Через три дня после тщетного обращения Люсьена к помощи Лусто любовники печально завтракали у камина в своей очаровательной спальне. Береника поджарила на углях в камине яичницу; повариха, кучер, все слуги были рассчитаны. Опечатанную мебель продать было невозможно. В доме не осталось ни одной золотой или серебряной вещи, ни одной существенной ценности, но все это было представлено ломбардными квитанциями, образовавшими весьма поучительный томик в восьмую долю листа. Береника сохранила два прибора. Газета оказала Люсьену и Корали неоценимые услуги: боязнь рассердить журналиста, способного обесславить их заведения, обуздывала портного, модный магазин, модистку. Лусто явился во время завтрака.

— Ура! Да здравствует «Лучник Карла IX»! — вскричал он.— Я сбыл на сто франков книг, дети мои! Поделимся!

Он передал пятьдесят франков Корали и послал Беренику за сытным завтраком.

— Вчера Гектор Мерлен и я обедали с издателями и подготовили искусными намеками продажу твоего романа. Ты якобы ведешь переговоры с Дориа; но Дориа — скряга, он не желает дать тебе более четырех тысяч франков за две тысячи экземпляров, а ты просишь шесть тысяч. Мы превознесли тебя превыше Вальтера Скотта. О! У тебя в запасе бесподобные романы! Ты предлагаешь не книгу, а целое дело: ты не просто автор более или менее талантливого романа, ты даешь полное

собрание сочинений. Фраза «собрание сочинений» попала в цель. Итак, не забывай своей роли, у тебя в портфеле: «Фаворитка, или Франция при Людовике XIV».— «Котильон I, или первые дни Людовика XV».— «Королева и кардинал, или Париж во времена Фронды».— «Сын Кончини, или интрига Ришелье»... Названия романов будут объявлены на обложке. Такой маневр мы называем *раздувать успех*. Заглавия книг красуются на обложке до тех пор, покамест не приобретут известность, а известность скорее приносят произведения не написанные, чем написанные. *Находится в печати* — это литературная закладная! Ну, что же, повеселимся! Вот и шампанское. Ты понимаешь, Люсьен, наши издатели сделали такие большие глаза, точно блюдца... Кстати, блюдца у вас еще целы?

— Они описаны,— сказала Корали.

— Понимаю и продолжаю,— сказал Лусто.— Издатели поверят в существование всех твоих рукописей, ежели увидят хотя бы одну. Они вечно требуют на просмотр рукописи и утверждают, что читают их. Простим издателям хвастовство, они не читают книг, иначе они не издавали бы их в таком количестве. Мы с Гектором намекнули, что за пять тысяч франков ты уступишь три тысячи экземпляров в двух изданиях. Дай мне рукопись «Лучника»; на днях мы будем завтракать у издателей и *вдохновим* их.

— Кто они? — сказал Люсьен.

— Два компаньона, славные малые, довольно покладистые в делах, по имени Фандан и Кавалье. Один из них — бывший главный приказчик фирмы Видаль и Поршон, другой — самый ловкий агент на набережной Августинцев; фирма существует около года. Потерпев некоторые убытки на издании переводных английских романов, эти франты желают теперь поживиться на отечественных. Ходит молва, что оба эти торговца печатным хламом рискуют лишь чужими капиталами, но тебе, я думаю, безразлично, кому принадлежат деньги, которые ты получишь.

Днем позже оба журналиста были званы на завтрак в улицу Серпант, в бывший квартал Люсьена, где Лусто оставил за собою комнату в улице Лагарпа; и Люсьен, зайдя за своим другом, увидел его комнату в том

же состоянии, как и в тот вечер, когда вступил в литературный мир, но теперь он более ничему не удивлялся: школа, которую он прошел, открыла ему все превратности жизни журналистов, он все постиг. Провинциальный гений получил, поставил на карту и проиграл не один гонорар за статьи, утратив, кстати, охоту их писать; не один столбец заполнил он согласно остроумным рецептам, некогда сообщенным ему Лусто по пути с улицы Лагарпа в Пале-Руаяль. Попав в зависимость к Барбе и Бролару, он торговал книгами и театральными билетами; он не отступал ни перед какой хвалою, ни перед каким поношением; в ту минуту он даже испытывал некую радость, надеясь извлечь из Лусто наибольшую пользу, прежде нежели оборотиться спиною к либералам, напасть на которых теперь ему было легче, так как он их хорошо изучил. Со своей стороны, Лусто получил, в ущерб Люсьену, пятьсот франков наличными от Фандана и Кавалье в качестве комиссионных за то, что отыскал этого будущего Вальтера Скотта для двух издателей, жаждавших обрести Скотта французского.

Фирма «Фандан и Кавалье» была одним из тех книгоиздательств, основанных без наличного капитала, каких в ту пору возникало множество и какие будут возникать, покуда бумажные фабрики и типографии станут оказывать кредит издателям на срок, необходимый им для того, чтобы сделать семь-восемь карточных ходов, именуемых изданиями.

В ту пору, как и теперь, произведения оплачивались авторам векселями сроком на шесть, девять или двенадцать месяцев; система расчета между издателями предопределялась природой сделок, производившихся по продаже книг, притом в векселях еще более долгосрочных; и той же монетой издатели расплачивались с фабрикантами и типографами, которые, таким образом, в течение года имели в своих руках gratis целый книжный склад, состоявший из дюжины или двух десятков произведений. При двух или трех удачах прибыль от выгодных сделок покрывала убыток от невыгодных, и издатели спасались тем, что выбрасывали книгу за книгой. Если операции все были сомнительными или на беду попадались хорошие книги, спрос на которые подымался лишь после того, как их прочли и оценили истинные зна-

токи, если учет векселей был разорителен или сами издатели становились жертвами банкротства, они спокойно, без всякого стеснения объявляли о своей несостоятельности, заранее подготовленные к подобному концу. Итак, все вероятности успеха были в их пользу: они бросали на зеленое сукно спекуляции чужие деньги, не свои. В таком положении находились Фандан и Кавалье: Фандан вкладывал в дело изворотливость, Кавалье играл на знании ремесла. Это товарищество на паях оправдывало свое наименование, ибо основной капитал компаньонов состоял из нескольких тысяч франков, накопленных с трудом их любовницами, у которых они выговорили себе довольно солидное содержание, весьма рачительно растрачивая его на пиршества в честь журналистов и авторов, на театры, где, как они говорили, люди обделывают свои дела. Оба полуплута были ловкачами, но Фандан был хитрее Кавалье. Достойный своего имени, Кавалье [1] разъезжал по провинции, Фандан управлял делами в Париже. Это товарищество было тем, чем всегда будет любое товарищество двух издателей: поединком.

Издательство помещалось в улице Серпант, в нижнем этаже старого особняка, и кабинет директоров находился в конце анфилады обширных зал, превращенных в склады. Компаньоны уже издали много романов, таких, как «Северная башня», «Купец из Бенареса», «Фонтан у гробницы», «Текели», романы Гальта, английского писателя, не имевшего успеха во Франции. Успех Вальтера Скотта приковал внимание издателей к английской литературе, они, как истые норманны, желали завоевать Англию; они искали там второго Вальтера Скотта, как позже дельцы стали искать твердый асфальт в кремнистой почве и жидкий в болотистых местностях или стали реализовать доходы проектируемых железных дорог. Одним из наиболее крупных промахов французской торговли является стремление искать удачу по сходству, тогда как следовало бы искать ее по противоположности. Чужой успех убивает, особенно в Париже. Так, Фандан и Кавалье издали роман под заголовком «Стрельцы, или Россия сто лет назад», и на титульном листе крупным шриф-

[1] Cavalier — всадник *(франц.)*.

том смело напечатали: «В духе Вальтера Скотта». Фандан и Кавалье жаждали успеха: хорошая книга помогла бы им распродать весь залежавшийся на складе хлам; возможность обеспечить успех книги газетными статьями — в ту пору основное условие сбыта — прельщала их, ибо весьма редко книга приобреталась издателем ради ее собственной ценности, почти всегда она выходила в свет по соображениям, не зависящим от ее достоинств. Фандан и Кавалье видели в Люсьене журналиста, а в его книге — товар, продажа которого на первых порах дала бы им возможность свести баланс за месяц. Журналисты застали компаньонов в их кабинете, договор был готов, векселя подписаны. Эта поспешность изумила Люсьена. Фандан был малого роста, худощав, у него была мрачная физиономия, обличие калмыка: маленький низкий лоб, приплюснутый нос, сжатые губы, живые черные узкие глаза, угловатый оклад лица, лимонный цвет кожи, голос, напоминающий звон надтреснутого колокола,— словом сказать, внешность отъявленного плута; но он искупал эти изъяны медоточивостью речи, он достигал цели даром слова. Кавалье, круглый, точно шар, более походил на возницу дилижанса, нежели на издателя, у него были рыжеватые волосы, лицо багровое, жирный затылок и характерный для коммивояжера жаргон.

— У нас не будет разногласия,— сказал Фандан, обращаясь к Люсьену и Лусто.— Я прочел книгу, она весьма литературна и настолько нам подходит, что я уже сдал рукопись в типографию. Договор составлен на обычных основаниях: впрочем, мы никогда не отступаем от указанных там условий. Векселя наши выписаны сроком на шесть, девять и двенадцать месяцев, вы легко их учтете, а потери при учете мы вам возместим. Мы сохранили за собою право дать произведению другое заглавие: нам не нравится «Лучник Карла IX», это не заинтересует читателя, имя Карл носили многие короли, и в средние века было столько стрелков из лука! Вот если бы вы сказали: «Наполеоновский солдат»! Но «Лучник Карла IX»!.. Кавалье вынужден был бы читать лекции по истории Франции при продаже каждого экземпляра в провинции.

— Если бы вы знали, с какими людьми нам приходится иметь дело! — вскричал Кавалье.

— «Варфоломеевская ночь» звучало бы лучше,— заметил Фандан.

— «Екатерина Медичи» или «Франция при Карле IX»,— сказал Кавалье,— более напоминало бы заглавия романов Вальтера Скотта.

— Короче, мы это решим, когда книга будет напечатана,— отвечал Фандан.

— Как желаете,— сказал Люсьен,— лишь бы мне понравилось название.

Когда договор был прочитан и подписан, Люсьен, обменявшись с издателями копиями, положил векселя в карман с чувством невыразимого удовлетворения. Затем все четверо поднялись в квартиру Фандана, где им был предложен самый обыкновенный завтрак: устрицы, бифштексы, почки в шампанском и сыр бри; но яствам сопутствовали превосходные вина, припасенные Кавалье, который был знаком с представителем фирмы, торгующей винами. Когда садились за стол, явился типограф, которому было доверено печатание романа,— он хотел встретиться с Люсьеном, чтобы передать ему гранки первых двух листов его книги.

— Время не терпит,— сказал Фандан Люсьену,— мы рассчитываем на вашу книгу и чрезвычайно нуждаемся в успехе.

Завтрак, начавшийся около полудня, затянулся до пяти часов дня.

— Где достать денег? — спросил Люсьен у Лусто.

— Идем к Барбе,— отвечал Этьен.

Друзья, возбужденные и слегка опьяневшие, пошли на набережную Августинцев.

— Корали до крайности поражена утратой, постигшей Флорину. Флорина только вчера рассказала ей о своем несчастье. Она винит тебя и так раздражена, что готова тебя бросить,— сказал Люсьен.

— Ну вот, подите!..— сказал Лусто, забыв осторожность и открываясь Люсьену.— Друг мой,— ведь ты мне друг, Люсьен! — ты дал мне взаймы тысячу франков и всего один раз напомнил о моем долге. Остерегайся игры. Если бы я не играл, я был бы счастлив. Я в долгу у бога и дьявола. И сейчас меня преследуют агенты коммерческого суда; когда я иду в Пале-Руаяль, я принужден *огибать опасный мыс.*

На языке прожигателей жизни «огибать мыс» в Париже значило сделать крюк или для того, чтобы миновать дом кредитора, или для того, чтобы избежать места, где можно с ним встретиться. Люсьен, также предпочитавший окольные пути, уже знал этот маневр, не зная его названия.

— Ты много должен?

— Пустое,— отвечал Лусто.— Тысяча экю, и я спасен. Я хотел остепениться, бросить игру и для уплаты долгов совершил маленький *шантаж*.

— Что такое шантаж? — сказал Люсьен, услышав незнакомое слово.

— Шантаж — изобретение английской печати, ввезенное недавно во Францию. *Шантажисты* — это люди, по своему положению располагающие газетами. Но никогда владелец газеты или ее редактор не будут заподозрены в шантаже. Для этого существуют такие личности, как Жирудо и Филиппы Бридо. Эти bravi находят человека, который по каким-либо причинам не желает, чтобы им интересовались. Ведь у многих на совести лежат те или иные любопытные грехи. В Париже много сомнительных состояний, приобретенных не совсем законными, а часто и преступными путями и достойных послужить темой для восхитительных анекдотов, вроде анекдота о жандармерии Фуше, выследившей шпионов префекта полиции: не будучи посвящены в тайну подделки английских банкнот, они собирались захватить печатные станки тайной типографии, состоявшей под покровительством министра; затем история с брильянтами князя Галатиона, дело Мобрей, наследство Помбретона и так далее. Шантажист, раздобыв какой-нибудь документ, важную бумагу, испрашивает свидания у новоявленного богача. Если опороченный человек не дает требуемой суммы, шантажист напоминает ему о печати, готовой разоблачить его тайны. Богач пугается и выкладывает деньги. Дело сделано. Или, например, человек пускается в какое-нибудь рискованное предприятие, которое может провалиться из-за газетных статей; к нему тогда подсылают шантажиста с предложением *выкупить* эти статьи. Шантажистов подсылают иной раз и к министрам, и те ублажаются с ними, что газета в своей кампании против их политической деятельности не коснется лич-

ной жизни, а если коснется, то пощадит их любовниц. Де Люпо, этот красавец чиновник — ты с ним знаком,— вечно занят такого рода переговорами с журналистами! Этот скоморох благодаря связям создал себе блестящее положение у кормила власти: он одновременно поверенный прессы и посланец министров, он маклачит на самолюбии; он простирает свою торговлю даже на политические дела, покупает молчание газет о таком-то займе, о той или другой концессии, проведенной негласно и без торгов, причем часть добычи перепадает банковским хищникам из либералов. Ты сам пошел на небольшой шантаж, получив от Дориа тысячу экю за то, что пощадил Натана. В восемнадцатом веке, когда журналистика была еще в пеленках, шантаж выражался в форме памфлетов, за уничтожение которых брали деньги с фавориток и вельмож. Изобретатель шантажа — Аретино, великий итальянец, внушавший трепет королям, как в наши дни какая-нибудь газета внушает трепет актерам.

— Но что ты затеял против Матифа, чтобы получить тысячу экю?

— Я обрушился на Флорину в шести газетах, а Флорина пожаловалась Матифа. Матифа просил Бролара выяснить причину нападок. Фино разыграл Бролара. Фино, в пользу которого я шантажирую, сказал москательщику, что это ты подкапываешься под Флорину в интересах Корали. Жирудо под секретом сказал Матифа, что все уладится, если он продаст за десять тысяч франков свою шестую долю паев в «Обозрении» Фино. Фино обещал мне тысячу экю в случае удачи. Матифа готов был вступить в сделку, почитая за счастье получить обратно хотя бы десять тысяч из тридцати, вложенных, по его мнению, в рискованное дело. Флорина уже несколько дней внушала ему, что «Обозрение» Фино провалится. Вместо прибыли будто бы возникал вопрос о новых взносах. Директору Драматической панорамы понадобилось перед объявлением о своей несостоятельности учесть несколько дружеских векселей, и он, желая, чтобы Матифа их пристроил, предупредил его о коварной затее Фино. Матифа, прожженный коммерсант, бросает Флорину, сохраняет за собой паи и знать нас теперь не желает. Мы с Фино просто воем с отчаянья. К несчастью, мы напали на человека, не дорожащего своей любовницей,

на бессердечного, бездушного негодяя. И вот канальство!.. Торговые дела Матифа не подсудны печати, он неуязвим с этой стороны. Москательщика не раскритикуешь, как критикуют шляпы, модные вещи, театры и произведения искусства. Какао, перец, краски, красильное дерево, опиум нельзя обесценить. Флорина в отчаянном положении. Она не знает, что придумать; Панорама завтра закрывается.

— Панорама закрывается, но через несколько дней Корали выступает в Жимназ,— сказал Люсьен.— Она устроит туда и Флорину.

— Полноте! — сказал Лусто.— Корали не умна, но она не настолько глупа, чтобы пожертвовать собою ради соперницы. Наши дела чрезвычайно расстроены! Но Фино так цепляется за эти паи...

— На что они ему?

— Блестящее дело, мой милый! Есть надежда продать «Обозрение» за триста тысяч франков. Фино получит треть да еще комиссионные с пайщиков; он поделится с де Люпо, оттого-то я и хочу предложить ему шантаж.

— Стало быть, шантаж — это *кошелек или жизнь?*

— Страшнее,— сказал Лусто,— *кошелек или честь.* Тому три дня в одной газетке, владельцу которой было отказано в кредите, появилось сообщение, что по странной случайности в руках солдата королевской гвардии очутились часы с репетицией, изукрашенные брильянтами, принадлежащие одному знатному лицу, и было обещано рассказать об этом происшествии, достойном «Тысячи и одной ночи». Знатное лицо поспешило пригласить главного редактора к себе на обед. Разумеется, редактор кое-что выиграл, но история современности лишилась анекдота о часах. Всякий раз, когда ты заметишь, что газета донимает кого-нибудь из власть имущих, знай, что за этим кроется или отказ учесть векселя, или нежелание оказать услугу. Богатые англичане более всего боятся шантажа, касающегося личной жизни; значительная доля секретных доходов британской прессы исходит отсюда,— она развращена еще более нашей. Мы еще младенцы! В Англии платят за опорочивающее письмо, чтобы его перепродать, пять-шесть тысяч франков.

— На чем ты хочешь поймать Матифа? — сказал Люсьен.

— Мой милый,— продолжал Лусто,— этот презренный лавочник писал Флорине преуморительные письма: орфография, стиль, мысли — все совершенная потеха. Матифа боится своей жены; мы можем, не называя имени, чтобы он не вздумал обратиться в суд, поразить его под сенью его собственных ларов и пенатов, где он почитает себя в безопасности. Вообрази его ярость, когда он увидит первую главу нравоучительного романа «Любострастие москательщика», после честного предупреждения, что в руки редактора такой-то газеты случайно попали письма, в которых говорится о купидоне, в которых вместо «никогда» пишется «никахда» и сказано, что Флорина помогает ему пройти пустыню жизни, а это наводит на мысль, что автор письма принимает ее за верблюда. Словом сказать, в этой уморительной переписке материала достанет, чтобы недели две забавлять подписчиков. Торгаша припугнут анонимным письмом, пообещав растолковать эти шуточки его супруге. Но примет ли на себя Флорина роль преследовательницы Матифа? У нее есть еще принципы, вернее сказать, надежды. Она, пожалуй, прибережет письма для себя и сама захочет сыграть на них. Флорина коварна, она моя ученица. Но когда она узнает, что пристав коммерческого суда отнюдь не шутка, когда Фино преподнесет ей существенный дар или подаст надежду на ангажемент, она отдаст мне письма, а я их передам Фино в обмен на золотые экю. Фино вручит письма своему дядюшке, и Жирудо принудит москательщика сдаться.

Это признание отрезвило Люсьена; прежде всего он подумал, что у него весьма опасные друзья; затем он решил, что с ними не следует ссориться, ибо их страшное воздействие может ему понадобиться на тот случай, если г-жа д'Эспар, г-жа де Баржетон и Шатле не сдержат слова. Увлеченные беседой, Этьен и Люсьен шли по набережной, направляясь к жалкой лавчонке Барбе.

— Барбе,— сказал Этьен книгопродавцу,— у нас на пять тысяч франков векселей Фандана и Кавалье, сроком на шесть, девять и двенадцать месяцев; желаете их учесть?

— Беру за тысячу экю,— сказал Барбе с невозмутимым спокойствием.

— Тысяча экю?! — вскричал Люсьен.

— Никто вам столько не даст,— сказал книгопродавец.— Не пройдет и трех месяцев, как эти господа обанкротятся; но я знаю, у них есть прекрасные произведения, а продажа идет туго, ждать они не могут. Я куплю за наличные и уплачу их же собственными векселями: операция принесет мне две тысячи на покупке товара.

— Согласен потерять две тысячи франков? — сказал Этьен Люсьену.

— О нет! — вскричал Люсьен, испуганный этой первой сделкой.

— Напрасно,— отвечал Этьен.

— Никто не учтет этих векселей,— сказал Барбе.— Ваша книга — последняя ставка Фандана и Кавалье; они могут ее выпустить только при условии, что тираж будет храниться на складе типографии; успех спасет их лишь на полгода, ибо рано или поздно они вылетят в трубу! Эти молодцы больше опоражнивают рюмок, нежели продают книг! Для меня их векселя представляют некое *дело*, и поэтому я даю вам наивысшую цену против той, что вам дадут дисконтеры, которые станут еще взвешивать, что стоит каждая подпись. Расчет дисконтера в том и заключается, что он должен знать, даст ли тридцать процентов, в случае несостоятельности, каждая из трех подписей. А ведь вы представляете всего лишь две подписи, и каждая из них не даст и десяти процентов.

Друзья в изумлении переглянулись, услышав из уст этого педанта суждения, раскрывавшие в немногих словах всю мудрость учета.

— Довольно пустословия, Барбе,— сказал Лусто.— К кому же из дисконтеров нам обратиться?

— Папаша Шабуассо (набережная Сен-Мишель), как известно, заканчивал в прошлом месяце дела Фандана. Ежели вы отклоняете мое предложение, ступайте к нему; но вы вернетесь ко мне, и тогда я дам всего лишь две с половиной тысячи франков.

Этьен и Люсьен пошли на набережную Сен-Мишель, где обитал Шабуассо, один из дисконтеров в книжной торговле, и он принял их во втором этаже своего особнячка, в помещении, обставленном с большой причудливо-

стью. Этот второразрядный банкир и, однако ж, миллионер любил греческий стиль. Карниз в комнате был греческий, кровать отменно строгой формы, задрапированная тканью пурпурного цвета и поставленная по-гречески вдоль стены, как на картине Давида, была изделием мастеров времен Империи, когда все создавалось в античном вкусе. Кресла, столы, лампы, подсвечники, мельчайшие принадлежности убранства, без сомнения, терпеливо подобранные в антикварных лавках, дышали утонченным изяществом хрупкой, но изысканной старины. Этой манере, мифологической и легкой, причудливо противоречили нравы ростовщика. Замечено, что самые прихотливые характеры встречаются среди людей, торгующих деньгами. Эти люди — своеобразные сибариты мысли. Обладая неограниченными возможностями и вследствие того пресыщенные, они прилагают огромные усилия, чтобы преодолеть свое равнодушие. Кто сумеет их изучить, тот всегда откроет какую-нибудь манию, какой-нибудь уязвимый уголок в их сердце. Шабуассо, казалось, укрылся в древности, как в неприступной твердыне.

— Он несомненно достоин своего имени [1],— улыбаясь, сказал Этьен Люсьену.

Шабуассо был человек маленького роста, с напудренными волосами, в зеленоватом сюртуке, в жилете орехового цвета, в коротких черных панталонах, в полосатых чулках, в башмаках, скрипевших при каждом шаге. Он взял векселя, пересмотрел, затем важно возвратил их Люсьену.

— Фандан и Кавалье — милые юноши, весьма умные молодые люди, но я не при деньгах,— сказал он сладким голосом.

— Мой друг согласен немного потерять при учете,— отвечал Этьен.

— Я не возьму этих векселей, как бы выгодно ни было,— сказал человек, и его слова, точно нож гильотины, оборвали речи Лусто.

Друзья откланялись. Проходя через прихожую, куда их предусмотрительно провожал Шабуассо, Люсьен заметил кучу старых книг, купленных дисконтером, бывшим книгопродавцем, и среди них на глаза роману

---

[1] Chaboisseau (шабуассо) — голавль *(франц.)*.

вдруг попалось сочинение архитектора Дюсерсо, который описывал французские королевские дворцы и знаменитые замки, планы которых были нарисованы в этой книге с большой точностью.

— Не уступите ли это сочинение? — спросил Люсьен.

— Пожалуй,— сказал Шабуассо, превращаясь из дисконтера в книгопродавца.

— Цена?

— Пятьдесят франков.

— Дорого, но книга мне нужна; а заплатить я могу только векселями, которые вы не желаете принять.

— У вас есть вексель в пятьсот франков на шесть месяцев, я могу его принять,— сказал Шабуассо; вероятно, он на такую же сумму был в долгу у Фандана и Кавалье по остатку какого-нибудь счета.

Друзья воротились в греческую комнату, где Шабуассо написал целый меморандум, начислив шесть процентов за учет векселя и комиссию, что составило тридцать франков вычета, добавил к этой сумме пятьдесят франков — стоимость книги Дюсерсо — и вынул четыреста двадцать франков из кассы, наполненной новенькими экю.

— Господин Шабуассо, ведь все наши векселя одинаково надежны или безнадежны! Отчего вы не желаете учесть остальные?

— Я не учитываю, а получаю за проданное,— сказал старик.

Этьен и Люсьен, не разгадав Шабуассо, все еще потешались над ним, когда пришли к Дориа, где Лусто попросил Габюссона указать им какого-нибудь дисконтера. Друзья взяли кабриолет по часам и направились на бульвар Пуассоньер, снабженные рекомендательным письмом Габюссона, предупреждавшего их, что они увидят самого диковинного, самого чудаковатого *статского*, как он выразился.

— Если Саманон не возьмет векселей,— сказал Габюссон,— никто вам их не учтет.

Букинист — в нижнем этаже, торговец старой одеждой — во втором, продавец запрещенных гравюр — в третьем, Саманон был к тому же ростовщиком. Ни одно существо, выведенное в романах Гофмана, ни один

зловещий скупец Вальтера Скотта не мог бы выдержать сравнения с тем чудовищем, в которое природа парижского общества обратила этого человека, если только Саманон был человеком. Люсьен не мог скрыть своего ужаса при виде этого маленького высохшего старика, у которого кости, казалось, готовы были прорвать кожу, совершенно выдубленную, испещренную множеством зеленых и желтых пятен, точно полотна Тициана или Паоло Веронезе, если смотреть на них вблизи. Один глаз у Саманона был неподвижный и тусклый, другой — живой и блестящий. Скряга, казалось, пользовался омертвелым глазом при учете векселей, а живым — при продаже непристойных гравюр; он носил на голове плоский паричок из черных с красноватым оттенком волос, из-под которого выбивались седые пряди; желтый его лоб создавал угрожающее впечатление, щеки провалились, челюсть выдавалась под прямым углом, зубы, еще белые, были оскалены, как у лошади, когда она зевает. Разность глаз и гримаса рта придавали ему изрядно свирепый вид. Жесткая и заостренная борода была колючей, точно щетка из булавок. Изношенный сюртучок, черный вылинявший галстук, истертый о бороду, приоткрывавший шею, морщинистую, как у индюка, свидетельствовали о небольшой охоте скрасить нарядом зловещий облик. Когда журналисты вошли, старик сидел за конторкой, невообразимо грязной, и приклеивал ярлыки к корешкам старых книг, купленных на аукционе. Обменявшись взглядом, таившим тысячу вопросов, порожденных недоумением, как может существовать в природе подобное чудище, Люсьен и Лусто поздоровались со стариком и передали ему письмо Габюссона и векселя Фандана и Кавалье. Покамест Саманон читал, в эту мрачную лавку вошел человек высоких дарований, одетый в сюртучок, казалось, скроенный из оцинкованного железа, настолько он отвердел от примеси множества инородных веществ.

— Мне нужны мой фрак, черные панталоны и атласный жилет,— сказал он Саманону, подавая ярлычок с номером.

Саманон дернул медную ручку звонка, и сверху тотчас же сошла женщина, нормандка, судя по свежести ее румяного лица.

— Ссуди этого господина его одеждой,— сказал он, протягивая руку клиенту.— Просто удовольствие иметь с вами дело; но один из ваших друзей привел ко мне молодого человека, который меня ловко обошел.

— Его обошел! — сказал художник журналистам, указывая на Саманона глубоко комическим движением.

И этот великий человек, подобно лаццарони, чтобы получить на один день свое праздничное платье из monte de pieta [1], отдал тридцать су, которые дисконтер взял желтой, шершавой рукой и бросил в ящик конторки.

— Странные обороты ты делаешь! — сказал Лусто этому великому мастеру, который, предавшись курению опиума и погрузившись в созерцание волшебных замков, не желал или уже не мог ничего создать.

— Этот человек дает под заклад вещей больше, нежели ссудная касса, и по своему чудовищному человеколюбию разрешает закладчику пользоваться ими, когда тому понадобится быть хорошо одетым,— отвечал он.— Я приглашен сегодня вечером на обед к Келлерам вместе с моей возлюбленной. Тридцать су мне легче достать, нежели двести франков, и вот я пришел за своим платьем, которое в полгода принесло сто франков этому человеколюбивому ростовщику. Саманон пожрал уже мою библиотеку, книга за книгой.

— И су за су,— смеясь, сказал Лусто.

— Я могу дать вам полторы тысячи франков,— сказал Саманон Люсьену.

Люсьен подскочил, точно дисконтер воткнул в его сердце раскаленный железный вертел. Саманон внимательно разглядывал векселя, проверяя сроки платежей.

— Притом,— сказал торговец,— мне необходимо повидать Фандана, пусть он покажет свои торговые книги. С вас спрос невелик,— сказал он Люсьену,— вы живете с Корали, и у вас описана мебель.

Лусто взглянул на Люсьена, а тот, взяв векселя, выскочил из лавки на бульвар, крикнув:

— Не дьявол ли он?

Поэт созерцал несколько мгновений эту лавчонку; проходя мимо нее, люди невольно улыбались, настолько она была жалка, настолько полки с книгами, снабженны-

---

[1] Ломбард *(итал.)*.

ми наклейками, были бедны и грязны, и каждый думал: «Чем же здесь торгуют?»

Через несколько минут вышел и великий незнакомец, которому по истечении десяти лет суждено было участвовать в крупном, но лишенном твердой основы начинании сен-симонистов; теперь он был отлично одет. Улыбнувшись журналистам, он вместе с ними направился к пассажу Панорамы, где завершил свой туалет, приказав почистить себе обувь.

— Если Саманон входит к книгопродавцу, поставщику бумаги или типографу,— это знак, что они погибли,— сказал художник писателям.— Саманон подобен гробовщику, который является, чтобы снять мерку с покойника.

— Тебе не учесть векселей,— сказал тогда Этьен Люсьену.

— Там, где отказывает Саманон,— сказал незнакомец,— никто не учтет, ибо он ultima ratio [1]. Он из *ищеек* Жигонне, Пальма́, Вербруста, Гобсека и прочих крокодилов, обитающих на стогнах Парижа; каждый человек, наживающий или проживающий состояние, должен рано или поздно с ними познакомиться.

— Если ты не согласен учесть векселя из пятидесяти процентов,— продолжал Этьен,— надо обменять их на звонкую монету.

— Каким образом?

— Поручи Корали, она их сплавит Камюзо. Ты возмущаешься? — продолжал Лусто, увидев, что Люсьен при этих словах в ужасе от него отшатнулся.— Какое ребячество! Можно ли положить на одни весы твою будущность и подобный пустяк?

— Надобно хотя бы эти деньги отдать Корали,— сказал Люсьен.

— Экий вздор! — вскричал Лусто.— Четыреста франков не спасут, когда нужны четыре тысячи. Прибережем часть на вино в случае проигрыша, остальное — на карту!

— Совет хорош,— сказал незнакомец.

В четырех шагах от Фраскати эти слова оказали магическое действие. Друзья отпустили кабриолет и вошли

---

1 Последний довод (*лат.*); здесь — последнее средство.

в игорный дом. Вначале они выиграли три тысячи франков, спустились до пятисот, вновь выиграли три тысячи семьсот; затем спустились до ста су, очутились опять при двух тысячах франков и рискнули на *чет*, надеясь сразу удвоить ставку: чет не выходил уже пять раз сряду, они поставили на него всю сумму. Снова вышел *нечет*. После двух часов жестоких волнений Люсьен и Лусто, не помня себя, сбежали по ступеням лестницы этого знаменитого особняка. У них осталось сто франков. Когда они очутились под железным навесом подъезда о двух колоннах, на котором не один взор останавливался с любовью или отчаяньем, Лусто, заметив горящий взгляд Люсьена, сказал:

— Проедим только пятьдесят франков.

Журналисты опять взошли по лестнице. Часом позже они были в выигрыше и всю выигранную сумму — тысячу экю — поставили на красное, хотя оно уже выходило пять раз: они уповали на ту же случайность, по вине которой проиграли. Вышло черное. Было шесть часов.

— Проедим только двадцать пять франков,— сказал Люсьен.

Новая попытка длилась недолго: двадцать пять франков были проиграны в десять ставок. Люсьен в неистовстве бросил последние двадцать пять франков на цифру, соответствующую его возрасту, и выиграл; нельзя описать, как дрожала его рука, когда он взял лопаточку, чтобы сгрести золото, которое крупье бросал монета за монетой. Он дал десять луидоров Лусто и сказал:

— Беги к Вери!

Лусто понял Люсьена и пошел заказывать обед. Люсьен, оставшись один у игорного стола, поставил свои тридцать луидоров на красное и выиграл. Ободряемый тайным голосом, который порою слышится игрокам, он поставил всю сумму на красное и выиграл. В груди у него полыхал костер. Не внимая внутреннему голосу, он перенес сто двадцать луидоров на черное и проиграл. Он пережил тогда сладостное, знакомое игрокам чувство, которое приходит на смену мучительным волнениям, когда уже нечем более рисковать и они покидают огненный дворец, где им грезились быстролетные сны. Он отыскал Лусто у Вери и, по выражению Лафонтена, «накинулся на яства и утопил заботы в вине». В девять часов он

был настолько пьян, что не мог понять, отчего привратница с улицы Вандом посылает его в Лунную улицу.

— Мадемуазель Корали съехала с квартиры. Новый ее адрес написан вот на этой бумажке.

Люсьен был чересчур пьян, чтобы чему-нибудь удивляться; он сел в фиакр, в котором приехал, приказал везти себя в Лунную улицу и в пути сочинял каламбуры насчет названия улицы. В то утро было объявлено о банкротстве Драматической панорамы. Актриса, испугавшись, поспешила, с согласия кредиторов, продать всю обстановку папаше Кардо, который, чтобы не изменять назначения этой квартиры, поместил там Флорентину. Корали все распродала, со всеми расплатилась, разочлась с хозяином. Покамест совершалась эта операция,— *чистка*, как она говорила,— Береника, купив по случаю необходимую мебель, обставила квартиру из трех комнат в четвертом этаже дома в Лунной улице, в двух шагах от Жимназ. Корали ждала Люсьена, она спасла при кораблекрушении неосквернённую любовь и кошелек, в котором было тысяча двести франков. Люсьен в хмелю рассказал Корали и Беренике о своих невзгодах.

— Ты хорошо сделал, мой ангел,— сказала актриса, обнимая его.— Береника сумеет учесть твои векселя у Бролара.

Поутру Люсьена пробудили пленительные ласки Корали. Актриса была сама любовь и нежность: казалось, великолепием сокровищ сердца она желала искупить убожество их нового приюта. Она была восхитительно хороша: волосы выскользнули из-под фуляровой повязки, глаза сияли, голос звучал весело; в блистании свежести она напоминала утренний луч, проникший в окно, чтобы позолотить эту очаровательную нищету. Комната, довольно приличная, была оклеена обоями водянисто-зеленого цвета с красной каймой и украшена двумя зеркалами — над камином и комодом. Ковер, вопреки запрету Корали, купленный по случаю Береникой на собственные деньги, прикрывал плитки каменного, холодного пола. Одежда любовников хранилась в шкафу с зеркалом и в комоде. Мебель красного дерева была обита синей бумажной тканью. Береника спасла при разгроме стенные часы, две фарфоровые вазы, четыре серебряных при-

бора и полдюжины чайных ложек. Столовая, расположенная перед спальней, напоминала столовые мелких чиновников с окладом в тысячу двести франков. Кухня помещалась отдельно, через лестничную площадку. Береника спала наверху, в мансарде. Плата за наем не превышала ста экю. В этом ужасном доме были фальшивые ворота. Одна половина ворот была наглухо заколочена, и за ней, в каморке, помещался привратник, следивший сквозь маленькое оконце за семнадцатью жильцами дома. Этот улей, на языке нотариусов, назывался доходным домом. Люсьен заметил письменный стол, кресло, чернильницу, перья и бумагу. Веселость Береники, обрадованной предстоящим выступлением Корали в Жимназ, веселость актрисы, которая разучивала роль по тетрадке, скрепленной шелковой голубой ленточкой, рассеяли тревоги и уныние протрезвившегося поэта.

— Только бы в свете не узнали о нашем падении, а мы выкарабкаемся,— сказал он.— Ведь у нас впереди четыре с половиной тысячи франков! Я воспользуюсь своим новым положением в роялистских газетах. Завтра мы открываем «Ревей»: теперь у меня есть опыт в журналистике, я не оплошаю!

Корали, усмотрев в этих словах только любовь, поцеловала уста, произносившие их. Тем временем Береника накрыла на стол подле камина и подала скромный завтрак, состоявший из яичницы, двух котлет и кофе со сливками. В дверь постучали. Три верных друга — д'Артез, Леон Жиро и Мишель Кретьен — предстали перед удивленным Люсьеном; он был глубоко тронут и предложил друзьям разделить с ним завтрак.

— Нет,— сказал д'Артез,— мы пришли ради дела более серьезного, нежели простое утешение; ведь мы знаем все, мы пришли с улицы Вандом. Вам известны мои взгляды, Люсьен. При других обстоятельствах я был бы рад видеть в вас сторонника моих политических убеждений; но я полагаю, что вам, писавшему в либеральных газетах, нельзя стать в ряды крайних роялистов, не посрамив своего достоинства. Мы пришли умолять вас, во имя нашей дружбы, как бы она ни ослабела, не позорьте себя. Вы восставали против романтиков, правых и правительства; вы не можете теперь защищать правительство, правых и романтиков.

— Моими действиями руководят соображения высшего порядка; цель оправдывает все,— сказал Люсьен.

— Вы, видимо, не понимаете, в каком положении мы находимся,— сказал ему Леон Жиро.— Правительство, двор, Бурбоны, партия абсолютизма, или, если вы желаете определить одним общим выражением,— система, противоположная конституционной, разбита на множество фракций, придерживающихся различных взглядов относительно способов удушения революции, но согласных по крайней мере в том, что необходимо удушить печать. Издание таких газет, как «Ревей», «Фудр» и «Драпо блан», вызвано желанием отразить нападки, наветы, насмешки либеральной печати — приемы, которых я не одобряю, ибо они умаляют величие нашего призвания, и именно это натолкнуло нас на мысль издавать газету серьезную и достойную; вскоре наша газета окажет ощутимое, внушительное и благородное влияние,— сказал он как бы вскользь.— Так вот эта роялистская и министерская артиллерия представляет собою первую попытку сведения счетов, преследующую одну цель — дать отпор либералам: слово за слово, оскорбление за оскорбление. Как вы думаете, Люсьен, чем все это кончится? Подписчики в большинстве на стороне левых. В печати, как на войне, победа остается на стороне больших армий. Вы окажетесь предателем, лжецом, врагом народа, а ваши противники — защитниками родины, людьми уважаемыми, мучениками, хотя они, может быть, лицемернее и вероломнее вас. Подобная система усугубит тлетворное влияние печати, оправдав и узаконив самые ее гнусные приемы. Поношения, клевета получат права гражданства, они будут признаны ради удовольствия подписчиков и войдут в силу благодаря применению их обеими сторонами. Когда зло вскроется во всем объеме, снова появятся ограничительные и карательные законы, цензура, введенная после убийства герцога Беррийского и отмененная со времени открытия палат. Вы знаете, какой вывод сделает из этих споров французский народ? Он поверит измышлениям либеральной печати, он решит, что Бурбоны желают посягнуть на материальные достижения и завоевания революции, и в один прекрасный день он восстанет и свергнет Бурбонов. Вы не только запятнаете себя, но вы очутитесь в рядах побежден-

ной партии. Вы слишком молоды, слишком недавно вошли в мир журналистики, вам неизвестны ее скрытые пружины и ее уловки; вы возбудили величайшую зависть, вам не устоять против бури негодования, которая поднимется против вас в либеральных газетах. Вы будете увлечены неистовством партий, которые все еще находятся в пароксизме горячки; но эта горячка вызывает не дикие жестокости, как в 1815—1816 годах, а борьбу идей, словесные битвы в палате и газетную полемику.

— Друзья мои,— сказал Люсьен,— я вовсе не ветреник, не беспечный поэт, каким вы меня считаете. Что бы ни произошло, я одержу победу. И с этой победой не сравнится никакой триумф в рядах либеральной партии. Пока вы победите, я своего уже добьюсь.

— Мы тебе отрежем... волосы,— смеясь, сказал Мишель Кретьен.

— У меня тогда будут дети,— отвечал Люсьен,— и, отрезав мне голову, вы ничего не достигнете.

Три друга не поняли Люсьена; его великосветские связи в высшей степени развили в нем дворянскую спесь и аристократическое тщеславие. Поэт не без основания приписывал своей красоте, своему таланту, поддержанным именем и титулом графа де Рюбампре, великие возможности. Г-жа д'Эспар, г-жа де Баржетон и г-жа де Монкорне держали его за эту ниточку, как ребенок держит майского жука. Люсьен вращался лишь в определенном кругу. Слова: «Он наш», «Он благонамеренный»,— сказанные три дня назад в салоне мадемуазель де Туш, пьянили его, равно как и поздравления герцогов де Ленонкура, де Наваррена и де Гранлье, Растиньяка, Блонде, прекрасной герцогини де Мофриньез, графа Эгриньона, де Люпо — людей самых влиятельных в роялистской партии и близких ко двору.

— Значит, все кончено! — отвечал д'Артез.— Оставаться чистым, сохранить чувство самоуважения тебе будет труднее, чем всякому другому. Я знаю тебя, Люсьен, ты сильно будешь страдать, почувствовав презрение людей, которым ты предался.

Три друга простились с Люсьеном, не протянув ему руки. Люсьен несколько мгновений был задумчив и печален.

— Ах! Позабудь этих глупцов! — сказала Корали и, вскочив на колени к Люсьену, обвила его шею своими свежими, прекрасными руками.— Они принимают жизнь всерьез, а жизнь — забава. Притом ты будешь графом Люсьеном де Рюбампре. Если понадобится, я пококетничаю в министерстве. Я знаю, как обойти этого распутника де Люпо, и он представит на подпись указ насчет тебя. Разве я не говорила, что, когда тебе нужна будет ступень, чтобы схватить добычу, к твоим услугам труп Корали!

На другое утро имя Люсьена появилось в списке сотрудников «Ревей». Об этом оповещалось как о некой победе в объявлении, распространенном заботами министерства в ста тысячах экземпляров. Люсьен отправился на торжественный обед, длившийся девять часов, у Робера, в двух шагах от Фраскати. На обеде присутствовали корифеи роялистской печати: Мартенвиль, Оже, Дэстен и сонмы поныне здравствующих писателей, которые в те времена *выезжали на монархии и религии,* согласно принятому тогда выражению.

— Мы покажем либералам! — сказал Гектор Мерлен.

— Господа,— воскликнул Натан, который тоже встал под эти знамена, ибо домогался получить разрешение на открытие театра и решил, что лучше иметь власть имущих на своей стороне, чем против себя,— если мы поведем войну — поведем ее серьезно, не станем стрелять пробками вместо пуль! Нападем на поборников классицизма и на либеральных писателей без различия возраста и пола; прогоним их сквозь строй насмешек, не дадим пощады!

— Будем честны, не поддадимся на подкупы издателей, будь то книги, подношения, деньги. Займемся возрождением журналистики.

— Отлично! — сказал Мартенвиль.— Justum et tenacem propositi virum! [1] Будем разить беспощадно. Я превращу Лафайета в то, что он есть: в Жиля Первого! [2]

— Я,— сказал Люсьен,— беру на себя героев «Кон-

---

[1] «Кто прав и твердо к цели идет» *(лат.)* — начало оды Горация (Оды, III, 3).

[2] Gilles (Жиль) — имя и gille — «шут» по-французски произносятся одинаково.

ститюсьонель», сержанта Мерсье, полное собрание сочинений господина Жуи, прославленных ораторов левой.

Война насмерть была в час ночи решена и принята единодушно журналистами, утопившими все оттенки своих взглядов и все идеи в пылающем пунше.

— *Попойка удалась на славу! Воистину монархическая и клерикальная,*— сказал, переступая порог двери, один из виднейших писателей романтической школы.

Эти знаменательные слова, подхваченные кем-то из издателей, присутствовавших на обеде, появились на другой день в «Мируар»; разглашение их было приписано Люсьену. Отступничество его подало повод к страшному шуму в либеральных газетах; Люсьен стал для них козлом отпущения, его поносили самым жестоким способом; рассказана была злополучная история его сонетов, читателей извещали, что Дориа предпочтет потерять тысячу экю, нежели их напечатать; его прозвали «стихотворцем без стихов».

Однажды утром в той самой газете, где Люсьен столь блистательно начал свою карьеру, он прочел следующие строки, написанные исключительно для него, так как читатели не могли понять смысла насмешки:

Если книгоиздательство Дориа будет упорствовать и не выпустит в свет сонетов будущего французского Петрарки, мы поступим, как великодушные враги: мы откроем наши столбцы для этих стихов, очевидно острых, судя по сонету, сообщенному нам одним из друзей поэта.

И под этой жестокой заметкой поэт прочел сонет, который заставил его плакать горькими слезами:

На грядке выросло невзрачное растенье.
Оно клялось цветам: дни лета пролетят —
Я облекусь тогда в прекраснейший наряд,
Какого требует высокое рожденье.

Цветы поверили, но в полном восхищенье
Бахвал, на их убор скосив надменный взгляд,
Так начал оскорблять гостеприимный сад,
Что выдал дерзостью свое происхожденье.

И вот расцвел цветок. Но, право, меж людей
Так не был посрамлен и скверный лицедей,
Сад над уродиной нещадно издевался.
Садовник взял его и выполол, как мох,

И вскоре им осел блаженно насыщался,
Крича над мертвецом. То был *Чертополох*[1].

Верну оповестил о страсти Люсьена к игре и заранее отозвался о романе «Лучник» как о произведении антинациональном, ибо автор принял сторону убийц-католиков против их жертв — кальвинистов. В течение недели распря все более ожесточалась. Люсьен надеялся на своего друга Лусто, который был у него в долгу, затем их связывал тайный договор; но Лусто стал его ярым врагом. И вот почему: Натан уже три месяца был влюблен во Флорину и не знал, как ее отбить у Лусто, для которого она, кстати сказать, была провидением. Оставшись без ангажемента, актриса находилась в нужде и впала в отчаянье; Натан, сотрудничавший с Люсьеном в одной газете, предложил Флорине через Корали роль в своей новой пьесе, пообещав устроить актрисе, оказавшейся вне театра, условный ангажемент в Жимназ. Флорина, опьяненная честолюбием, не колебалась. Времени у нее было достаточно, чтобы изучить Лусто. Натан был честолюбцем в литературе и в политике, человеком, энергия которого не уступала его желаниям, между тем как у Лусто пороки убивали волю. Актриса, желая вновь появиться во всем своем блеске, передала Натану письма москательщика, а Натан продал их Матифа за шестую долю паев «Обозрения», которой так добивался Фино. Флорина сняла великолепную квартиру на улице Отвиль и перед лицом всего газетного и театрального мира признала Натана своим покровителем. Лусто был жестоко поражен этим событием и к концу обеда, данного ему в утешение друзьями, расплакался. На этом пире было решено, что Натан вел игру по всем правилам. Некоторые писатели, как Фино и Верну, знали о страсти драматурга к Флорине; но Люсьен, по общему мнению, своим посредничеством в этой истории погрешил против священных законов дружбы. Ни дух партии, ни желание услужить новым друзьям — ничто не извиняло поведения новоявленного роялиста.

— Натан был увлечен логикой страстей, а провинциальная знаменитость, как называет его Блонде, действовала из расчета! — вскричал Бисиу.

И вот гибель Люсьена, этого выскочки, этого прохо-

---

[1] Chardon («шардон») — чертополох *(франц.)*.

димца, желавшего всех поглотить, была единодушно решена и прилежно обдумана. Верну, ненавидевший Люсьена, поклялся его уничтожить. Фино, желая избавиться от уплаты обещанной Этьену Лусто тысячи экю, обвинил Люсьена в том, что он выдал Натану тайну их заговора против Матифа и тем самым помешал ему нажить пятьдесят тысяч франков. Натан, по совету Флорины, заручился поддержкой Фино, продав ему за пятнадцать тысяч франков *свою* шестую долю паев. Лусто потерял тысячу экю и не мог простить Люсьену такого ущерба своим интересам. Раны самолюбия становятся неисцелимыми, если их тронуть окисью серебра. Никакими словами, никакими красками не изобразить ни той ярости, что овладевает писателями, когда страдает их самолюбие, ни той энергии, что просыпается в них, когда они уязвлены ядовитыми стрелами насмешки. Но тот, у кого энергия и дух сопротивления загораются при нападках, быстро угасает. Люди спокойные и убежденные в том, что оскорбительные статьи неизбежно будут преданы глубокому забвению, обнаруживают подлинное писательское мужество. Случается, что слабые люди с первого взгляда кажутся сильными, но их стойкости достает ненадолго. Первые две недели Люсьен бесновался; он разразился целым потоком статей в роялистских газетах, где разделял труды по критике с Гектором Мерленом. День за днем из бойниц «Ревей» он открывал огонь своего остроумия, поддержанный, впрочем, Мартенвилем, единственным человеком, который бескорыстно оказывал ему помощь и не был посвящен в тайны соглашений, заключенных за шутливой беседой на пирушке, или у Дориа, в Деревянных галереях, или за кулисами театров, между журналистами обоих лагерей, негласно связанных между собою приятельскими отношениями. Когда Люсьен входил в фойе театра Водевиль, его не встречали, как прежде, приветствиями, и руку ему подавали только люди его партии, меж тем как Натан, Гектор Мерлен, Теодор Гайар невозбранно дружили с Фино, Лусто, Верну и еще с некоторыми журналистами, пожалованными прозвищем *славных малых*. В ту эпоху фойе театра Водевиль было средоточием литературного злословия, подобием модного будуара, где встречались люди всех партий, политические деятели и чиновные особы. Председатель су-

дебной палаты, в совещательной комнате распекавший члена суда за то, что тот своей мантией обметает пыль театральных кулис, сталкивался в фойе Водевиля лицом к лицу с получившим выговор. Лусто в конце концов стал подавать руку Натану. Фино появлялся там чуть ли не каждый вечер. Люсьен, если у него доставало на то времени, изучал там расположение сил в стане своих врагов, неизменно испытывая на себе их неумолимую холодность.

В ту пору дух партий порождал ненависть более глубокую, нежели в наши дни. С течением времени все мельчает от перенапряжения сил. В наши дни критик, *заклав книгу*, протягивает автору руку. Жертва должна лобызать жертвоприносителя под угрозой насмешек. В противном случае писателя объявят сварливым, неуживчивым, чересчур самолюбивым, упрямым, злым, мстительным. В наши дни, если автор получит в спину предательский удар кинжалом или, претерпевая самые коварные козни, однако ж избегнет сетей, расставленных для него гнусным лицемерием, он не преминет ответить на приветствия своих палачей и не даст отпора их притязаниям на его дружбу. Все прощается и все оправдывается в наш век, когда добродетель обращена в порок, как многие пороки обращены в добродетель. Приятельские отношения стали священнейшей из вольностей. Вожди самых враждебных направлений, изъясняясь друг с другом, облекают колкости в учтивую форму. Но в те времена, если оживить их в памяти, для некоторых роялистских писателей и для иных либеральных писателей было великим мужеством появиться в одном и том же театре. Слышались возгласы самые ненавистнические. Взгляды были грозны, как заряженные пистолеты, и от малейшей искры могла вспыхнуть ссора. Кто не был озадачен проклятиями своего соседа по креслу при появлении людей, избранных жертвою нападок той или иной партии? В те времена существовали только две партии — роялисты и либералы, романтики и классики; две формы ненависти, непримиримой ненависти, вполне объяснявшей эшафоты Конвента. Люсьен, обратившийся из либерала и яростного вольтерьянца, каким он был раньше, в роялиста и неистового романтика, ощутил на себе все бремя вражды, тяготевшей над головой человека, в ту пору самого ненавистного

для либералов,— Мартенвиля, который один его защищал и любил. Близость с ним вредила Люсьену. Партии неблагодарны в отношении своих сторожевых отрядов, они охотно отрекаются от своих смелых дозорных. Тот, кто желает преуспеть, и тем более в области политики, должен идти вместе с главными силами. Особенно злобствовали маленькие газеты, соединяя воедино Люсьена и Мартенвиля. Либералы бросили их друг другу в объятия. Дружба, мнимая или истинная, стоила им обоим написанных желчью статей Фелисьена Верну, который был огорчен успехами Люсьена в высшем свете и, как все прежние друзья поэта, верил в его близкое возвышение. Мнимое предательство поэта было усилено и прикрашено самыми отягчающими обстоятельствами. Люсьена называли: Иуда-младший, Мартенвиля — Иуда-старший, ибо, правильно или ошибочно, Мартенвиля обвиняли в том, что он сдал Пекский мост иностранным армиям. Однажды Люсьен шутя сказал де Люпо, что лично он сдал мост только ослам. Роскошь Люсьена, хотя и призрачная, основанная на надеждах, возмущала его друзей, они не прощали ему ни его былого экипажа, ибо для них он все еще в нем разъезжал, ни его пышной квартиры в улице Вандом. Все они безотчетно чувствовали, что человек молодой и прекрасный собою, остроумный и ими же развращенный может достигнуть всего, и, чтобы его уничтожить, они не гнушались никакими средствами.

За несколько дней перед выступлением Корали в Жимназ Люсьен вошел рука об руку с Гектором Мерленом в фойе театра Водевиль. Мерлен распекал друга за его участие в истории Флорины и Натана.

— Вы нажили в лице Лусто и Натана смертельных врагов. Я давал вам добрые советы, но вы ими пренебрегли. Вы расточали хвалы и осыпали всех благодеяниями, вы будете жестоко наказаны за свое благодушие. Флорина и Корали, выступая на одних и тех же подмостках, окажутся соперницами; одна пожелает затмить другую. Для защиты Корали вы можете пользоваться только вашими газетами, меж тем Натан, помимо больших преимуществ сочинителя пьес, располагает, когда дело идет о театре, влиянием либеральной печати, и наконец в журналистике он подвизается несколько долее, нежели вы.

Эта фраза подтвердила тайные опасения Люсьена, не встретившего со стороны Натана и Гайара той откровенности, на которую он имел право рассчитывать; но он не мог жаловаться, он был новообращенный. Гайар огорчал Люсьена, говоря ему, что новички должны пройти долгий искус, прежде чем собратья станут им доверять. Поэт натолкнулся в кругах роялистских и правительственных газетчиков на зависть, которой не ожидал, на зависть, присущую всем людям, участвующим в дележе общественного пирога; они напоминают тогда свору собак, которые грызутся из-за кости: то же рычание, та же хватка, те же свойства. Эти писатели втайне чинили тысячи самых отвратительных подлостей, стараясь очернить один другого в глазах власть имущих, они обвиняли друг друга в нерадивости и, чтобы избавиться от соперников, изобретали самые вероломные козни. Либералы были лишены повода для междоусобной распри, стоя вдали от власти и ее милостей. Открыв это нерасторжимое сплетение честолюбий, Люсьен не нашел в себе достаточно отваги, чтобы обнажить меч и разрубить узел, и у него не было также достаточного терпения, чтобы его распутать; он не мог стать ни Аретино, ни Бомарше, ни Фрероном своего времени, у него было единственное желание: добиться указа. Он понимал, что восстановление титула ведет к выгодной женитьбе. Счастье тогда будет зависеть только от случая, а тут уже поможет его красота. Лусто, который оказывал ему столько доверия, хранил про себя его тайну: журналист знал способ смертельно ранить ангулемского поэта; и в тот день, когда Мерлен появился вместе с ним в Водевиле, Этьен подготовил страшную ловушку, в которую Люсьен неминуемо должен был попасть.

— Вот наш прекрасный Люсьен,— сказал Фино, подводя к нему де Люпо, с которым он в ту минуту беседовал, и принялся пожимать руку поэта с кошачьей нежностью обманчивой дружбы.— Я не знаю примера столь быстрого успеха, как его успех,— говорил Фино, поглядывая поочередно то на Люсьена, то на докладчика прошений.— В Париже возможны два рода успеха: успех материальный — деньги, которые любой может нажить, и успех моральный — связи, положение, доступ в известный мир, недосягаемый для иных, хотя бы они и добились материального успеха; но мой друг...

— Наш друг,— заметил де Люпо, кинув на Люсьена ласковый взгляд.

— Наш друг,— продолжал Фино, похлопывая руку Люсьена, которую он не выпускал из своих рук,— достиг в этом отношении блестящего успеха. Правда, у Люсьена большие преимущества: он более даровит, более умен, нежели его завистники, притом он обворожительно хорош собою; прежние друзья не могут ему простить его успехов, они говорят, что ему просто выпала удача.

— Подобная удача,— сказал де Люпо,— не выпадает на долю глупцов и людей бесталанных. Кто дерзнет назвать удачей судьбу Бонапарта? До него было двадцать генералов, которые могли бы возглавить Итальянскую армию, как и сейчас есть сотни молодых людей, которые желали бы проникнуть к мадемуазель де Туш; кстати, в свете ее уже прочат вам в жены, мой дорогой,— сказал де Люпо, похлопывая Люсьена по плечу.— О, вы в большой чести! Госпожа д'Эспар, госпожа де Баржетон и госпожа де Монкорне бредят вами! Сегодня вы приглашены на вечер к госпоже Фирмиани, не правда ли? А завтра вы на рауте у герцогини де Гранльe?

— О да! — сказал Люсьен.

— Позвольте мне представить вам молодого банкира, господина дю Тийе, человека, достойного вас: он в короткое время составил блестящее состояние.

Люсьен и дю Тийе раскланялись, разговорились, и банкир пригласил Люсьена к себе отобедать. Фино и де Люпо, два человека, равно дальновидные и достаточно изучившие друг друга, чтобы всегда оставаться приятелями, возобновили прерванный разговор; они отошли от Люсьена, Мерлена, дю Тийе и Натана, продолжавших беседу, и направились к одному из диванов, стоявших в фойе театра.

— Послушайте, дорогой друг,— сказал Фино,— скажите правду: Люсьен действительно под высоким покровительством? Сотрудники моей газеты избрали его мишенью; прежде нежели помочь им в этом заговоре, я хочу посоветоваться с вами: не лучше ли их обуздать и услужить ему?

Тут докладчик прошений и Фино с великим вниманием посмотрели друг на друга, сделав короткую паузу.

— Как могли вы, мой милый, вообразить,— сказал

де Люпо,— что маркиза д'Эспар, Шатле и госпожа де Баржетон, которая исхлопотала для барона назначение префектом Шаранты и графский титул, желая во всей своей славе воротиться в Ангулем, простят Люсьену его нападки? Они вовлекли его в роялистскую партию для того, чтобы его уничтожить. Они теперь ищут повода нарушить свое обещание, данное этому молокососу. Придумайте предлог. Вы окажете великую услугу двум женщинам, при случае они об этом вспомнят. Мне известна их тайна, и я просто поражен, как ненавидят они этого мальчишку. Люсьен мог бы избавиться от самого лютого своего врага — госпожи де Баржетон, прекратив нападки на тех условиях, которые все женщины готовы выполнить, поняли? Он прекрасен собою, он молод, он мог бы утопить ненависть в потоках любви и стал бы графом де Рюбампре. Выдра нашла бы для него какую-нибудь должность при дворе, синекуру! Люсьен был бы прелестным чтецом для Людовика XVIII, он мог бы стать библиотекарем или еще кем-то, скажем, докладчиком прошений, директором управления театрами в дворцовом ведомстве. Глупец упустил случай. Может быть, это-то ему и вменяют в вину. Вместо того, чтобы самому поставить условия, он принял их условия. Тот день, когда Люсьен поверил обещанию исходатайствовать для него королевский указ, ускорил успехи барона Шатле. Корали погубила этого младенца. Не будь актриса его возлюбленной, он опять стал бы охотиться за Выдрой и завладел бы ею.

— Стало быть, мы можем прикончить его? — сказал Фино.

— Каким способом? — спросил небрежно де Люпо, который желал похвалиться перед г-жою д'Эспар этой услугой.

— Существует договор, согласно которому он обязан сотрудничать в газетке Лусто; у него пусто в кошельке, и тем легче принудить его писать статьи. Если хранитель печати почувствует себя уязвленным насмешливой статьей и если будет доказано, что автор статьи — Люсьен, он почтет его недостойным милостей короля. А для того, чтобы эта провинциальная знаменитость несколько умерила свою спесь, мы устроим Корали провал: возлюбленная его будет освистана и лишена ролей. А коль ско-

ро подписание указа отсрочат на неопределенное время, мы поднимем на смех аристократические притязания нашей жертвы, заговорим о его матери — повивальной бабке и об его отце — аптекаре. Мужество Люсьена поверхностное, он не устоит против нас, мы отправим его туда, откуда он явился. Натан через Флорину помог мне откупить у Матифа его паи в «Обозрении». Я откуплю также паи поставщика бумаги; мы останемся с Дориа вдвоем, я могу с вами условиться и передать наш журнал двору. Я обещал покровительствовать Флорине и Натану единственно при условии выкупа *моей* шестой доли, они мне ее продали, и я должен сдержать обещание; но ранее я желал бы узнать возможности Люсьена...

— Вы достойны своего имени,— сказал, смеясь, де Люпо.— Ну что ж! Я люблю таких людей.

— Скажите, вы действительно можете устроить ангажемент Флорине? — спросил Фино докладчика прошений.

— Да, но сначала избавьте нас от Люсьена. Растиньяк и де Марсе слышать о нем не могут.

— Будьте покойны,— сказал Фино.— Гайар обещал пропускать все статьи Натана и Мерлена, а Люсьен не получит ни строчки, и тем самым мы отрежем ему путь к провианту. Для самозащиты и защиты Корали к его услугам будет лишь газета Мартенвиля, одна газета против всех,— бороться невозможно.

— Я укажу вам чувствительные стороны министра, но дайте мне прочесть рукопись статьи, которую вы закажете Люсьену,— отвечал де Люпо; он все же остерегался сказать Фино, что обещание, данное Люсьену, было шуткой.

Де Люпо покинул фойе. Фино подошел к Люсьену и тем добродушным тоном, на который попадается столько людей, объяснил ему, что раз Люсьен связан обязательствами, отступиться от сотрудничества нельзя. Фино отказывается от мысли о судебном процессе, ведь это разрушило бы надежды его друга на покровительство роялистской партии. Фино любит людей сильных, смело меняющих убеждения. Неужели им не суждено еще встречаться в жизни, оказывать друг другу тысячи услуг? Люсьен нуждается в помощи верного человека из либеральной партии, чтобы иметь возможность напасть на край-

них роялистов и на сторонников правительства, когда они откажут ему в каком-либо одолжении.

— Если вас обманут, что вы станете делать? — сказал наконец Фино.— Если какой-либо министр, полагая, что вы своим отступничеством сами надели на себя недоуздок, перестанет вас опасаться, разве не понадобится напустить на него свору собак, чтобы вцепиться ему в икры? А вы повздорили насмерть с Лусто, и он требует вашей головы. С Фелисьеном вы уже не разговариваете. Я один у вас? Основное правило моей профессии— жить в добром согласии с людьми истинно сильными. В свете, где вы вращаетесь, вы можете оказать мне услуги, равноценные тем, какие я буду оказывать вам в прессе. Но дело прежде всего! Присылайте мне статьи чисто литературные, они вас не опорочат, и вы выполните наши условия.

В предложении Фино Люсьен усмотрел лишь дружбу в соединении с тонким расчетом. Лесть Фино и де Люпо привели его в прекрасное расположение духа; он поблагодарил Фино.

В жизни честолюбцев и всех тех, кто может достичь успеха единственно при помощи людей и благоприятных обстоятельств, руководствуясь более или менее сложным, последовательно проводимым, точным планом действий, неизбежно наступает жестокая минута, когда какая-то непостижимая сила подвергает их суровым испытаниям: ничто им не удается, со всех концов обрываются или запутываются нити, несчастья приходят со всех сторон. Стоит только уступить смятению, потерять голову, и гибель неминуема. Люди, умеющие противостоять первому мятежу обстоятельств и с неколебимым мужеством перенести налетевшую бурю, способные ценою неимоверных усилий подняться в высшие сферы,— поистине сильные люди. Каждый человек, кроме родившихся в богатстве, переживает то, что можно назвать *роковой неделей.* Для Наполеона роковой неделей было отступление из Москвы. Такой момент наступил и для Люсьена. До той поры все для него удивительно счастливо складывалось и в свете и в литературе; он был слишком удачлив, и вот ему пришлось узнать, что люди и обстоятельства обратились против него. Первое горе было самое острое, самое жестокое, оно коснулось того, в чем Лю-

сьен считал себя неуязвимым — его сердца и его любви. Корали была не очень умна, но, будучи одарена прекрасной душой, она порой преображалась в порывах вдохновения, отличающих великих актрис. Этот редкостный дар природы, покамест он под влиянием опыта не обратится в привычку, зависит от причуд характера и нередко от милой застенчивости, свойственной молодым актрисам. Внутренне простодушная и робкая, по внешности дерзкая и легкомысленная, как и подобает актрисе, влюбленная Корали все еще жила сердцем, хотя и носила маску комедиантки. Искусство изображать чувства, это возвышенное притворство, еще не восторжествовало в ней над природой. Ей было совестно одаривать зрителей тайными сокровищами сердца. И она не была чужда слабости, присущей настоящим женщинам. Чувствуя себя избранницей сцены, созданная для того, чтобы царить на подмостках, она, однако, не умела подчинить очарованию своего таланта зрительную залу, к ней равнодушную, и, выходя на сцену, всегда жестоко волновалась: холодность зрителей могла ее обескуражить. Каждую новую роль она воспринимала как первое выступление, и это было мучительно. Рукоплескания были ей необходимы: они не столько тешили самолюбие, сколько вдохновляли ее; шепот неодобрения или молчание рассеянной публики лишали Корали всех ее способностей; переполненная, внимательная зала, восторженные и благосклонные взгляды окрыляли ее; тогда она вступала в общение с зрителями, пробуждая благородные качества всех этих душ, и чувствовала в себе силу увлечь их и взволновать. Такая впечатлительность, свойственная натуре нервной и даровитой, говорила также о тонкости чувств и хрупкости этой бедной девушки. Люсьен оценил наконец сокровища, таившиеся в этом сердце, он понял, что его возлюбленная еще совсем юная девушка. Корали, не испорченная театральными нравами, была бессильна защитить себя против соперничества и закулисных происков, которым предавалась Флорина, девушка столь же лживая, столь же порочная, насколько ее подруга была чистосердечна и великодушна. Роли должны были сами приходить к Корали: она была чересчур горда, чтобы вымаливать их у авторов или принимать бесчестные условия, отдаваться первому встречному журналисту,

пригрозившему ей любовью и пером. Талант, явление столь редкое в своеобразном комедийном искусстве, представляет лишь одно из условий успеха, талант нередко даже вредит, если ему не сопутствует известная склонность к интриганству, а ее совсем не было у Корали. Предвидя страдания, которые ожидали его подругу при вступлении в Жимназ, Люсьен желал любою ценой обеспечить ей успех. Деньги, оставшиеся от продажи обстановки, и деньги, заработанные Люсьеном, все были истрачены на костюмы, на устройство уборной актрисы, на прочие расходы, связанные с ее первым выступлением в этом театре. Тому несколько дней Люсьен, из любви к Корали, решился на унизительный поступок: взяв векселя Фандана и Кавалье, он отправился в улицу Бурдоне, в «Золотой кокон», просить Камюзо учесть их. Поэт не был еще настолько развращен, чтобы спокойно пойти на этот штурм. Путь был для него сплошным терзанием, устлан самыми мучительными мыслями, он твердил попеременно «да» и «нет». Однако ж он вошел в тесный, холодный, мрачный кабинет, обращенный окнами во внутренний дворик. Но там всседал не прежний возлюбленный Корали, добродушный, ленивый, распущенный, недоверчивый Камюзо, каким он его знал, а почтенный отец семейства, купец, ханжески украшенный добродетелями, член коммерческого суда, в обличье показной судейской суровости, огражденный от просителей покровительственным холодком, глава фирмы, окруженный приказчиками, книжными полками, зелеными папками, накладными и образцами товаров, опекаемый женою и скромно одетой дочерью. Люсьен, подходя к нему, дрожал с головы до ног, ибо почтенный торговец взглянул на него тем откровенно равнодушным взглядом, который ему случалось подмечать у дисконтеров.

— Вот векселя, я буду премного вам обязан, если вы их возьмете, сударь! — сказал Люсьен, стоя перед развалившимся в кресле купцом.

— Вы и у меня кое-что взяли, сударь,— сказал Камюзо.— Я не забыл!

Тут Люсьен, наклонившись над самым ухом торговца шелками, так, что тот слышал биение сердца униженного поэта, тихим голосом рассказал ему о положении Корали. В замыслы Камюзо не входило, чтобы Корали

потерпела неудачу. Слушая Люсьена, Камюзо с усмешкой рассматривал подписи на векселях: будучи членом коммерческого суда, он знал положение книгопродавцев. Он дал Люсьену четыре с половиной тысячи франков и потребовал оговорить в передаточной надписи на векселе: *Получено шелковыми товарами.* Люсьен немедленно пошел к Бролару и, не скупясь, заплатил ему, чтобы обеспечить Корали полный успех Бролар обещал наведаться в театр и явился на генеральную репетицию условиться, в каких местах пьесы его «римляне» должны будут во славу актрисы ударить в свои мясистые литавры. Оставшиеся деньги Люсьен отдал Корали, умолчав о своем посещении Камюзо; он успокоил тревоги Корали и Береники, не знавших, на какие средства вести хозяйство. Мартенвиль, один из лучших в ту пору знатоков театра, не раз приходил разучивать роль с Корали. Люсьен получил от нескольких сотрудников роялистских газет обещание напечатать благожелательные отзывы; он не предчувствовал несчастья. Канун выступления Корали был гибельным для него днем. Вышла книга д'Артеза. Главный редактор газеты Гектора Мерлена послал книгу на отзыв Люсьену, как наиболее ядовитому критику: роковою известностью мастера этого жанра он был обязан своим статьям о Натане. В редакции было полно народа, все сотрудники были в сборе. Мартенвиль пришел уточнить один пункт в общей полемике, поднятой роялистскими газетами против газет либеральных. Натан, Мерлен, все сотрудники «Ревей» обсуждали успех газеты Леона Жиро, выходившей два раза в неделю,— успех тем более опасный, что тон газеты был спокойный, благоразумный, умеренный. Зашел разговор о кружке в улице Катр-Ван, его называли Конвентом. Решено было, что роялистские газеты поведут систематическую и смертельную войну с этими опасными противниками, ибо они стали на деле осуществлять доктрину той роковой секты, которая впоследствии низвергла Бурбонов, когда к ней, из чувства мелкой мстительности, присоединился самый видный из роялистских писателей. Д'Артез, монархические убеждения которого никому не были известны, подпал под отлучение, объявленное всем членам кружка, и стал первой жертвой. Книга его была обречена *на растерзание,* согласно классической формуле. Люсьен отка-

зался написать статью. Отказ его вызвал неистовую бурю среди главных членов роялистской партии, явившихся на это собрание. Люсьену прямо было сказано, что новообращенный должен поступиться своей волей, а если ему не угодно служить монархии и церкви, пусть он возвращается в свой прежний лагерь; Мерлен и Мартенвиль отвели Люсьена в сторону и дружески посоветовали ему действовать осмотрительно: Корали во власти либеральных газет, поклявшихся в ненависти к нему; защитить ее могут лишь роялистские и правительственные газеты. Первое выступление актрисы, без сомнения, подаст повод к жаркому спору в печати, и это принесет ей известность, о которой вздыхают женщины театрального мира.

— Вы ничего в этом не понимаете,— сказал ему Мартенвиль,— она три месяца будет играть под перекрестным огнем наших статей и летом, за три месяца гастролей в провинции, заработает тридцать тысяч франков. Из-за вашей щепетильности, которая вам мешает стать политическим деятелем и от которой вам следует избавиться, погибнет и Корали и ваша будущность: вы лишите себя куска хлеба.

Люсьен оказался вынужденным выбирать между д'Артезом и Корали: его возлюбленная погибнет, если он не зарежет д'Артеза в крупной газете и в «Ревей». Бедный поэт воротился домой, мертвый душою; он сел подле камина в своей комнате и стал читать книгу д'Артеза, одну из самых замечательных книг в современной литературе. Он проливал слезы над ее страницами, он долго колебался и наконец написал издевательскую статью,— а он мастерски писал такие статьи; он обошелся с этой книгой, подобно детям, которые, поймав красивую птицу, мучают ее, ощипывая перья. Его жестокая насмешливость способна была нанести урон книге. Когда Люсьен стал перечитывать это прекрасное произведение, все добрые чувства в нем пробудились: в полночь он прошел пешком через весь Париж и, подойдя к дому д'Артеза, увидел в окне трепетный, целомудренный и неяркий свет. Как часто ему случалось смотреть на это освещенное окно с чувством восхищения перед благородным упорством поистине великого человека; он не находил в себе силы войти в дом и несколько минут неподвижно сидел на тум-

бе. Наконец, движимый добрым ангелом, он постучался; д'Артез читал, сидя у холодного камина.

— Что случилось? — спросил молодой писатель, увидев Люсьена и догадываясь, что только страшное несчастье могло привести его сюда.

— Твоя книга прекрасна! — вскричал Люсьен со слезами на глазах.— А они приказали мне ее зарезать.

— Бедный мальчик, тяжело тебе достается хлеб! — сказал д'Артез.

— Прошу вас об одной милости: сохраните в тайне мое посещение и оставьте меня в аду моей проклятой работы. Может быть, нельзя ничего достичь, покамест не зачерствеет сердце.

— Все тот же! — сказал д'Артез.

— Вы считаете меня негодяем? Нет, д'Артез, нет, я ребенок, опьяненный любовью.

И Люсьен рассказал, в каком положении он очутился.

— Покажите статью,— сказал д'Артез, взволнованный рассказом Люсьена о Корали.

Люсьен подал рукопись, д'Артез прочел и невольно улыбнулся.

— Какое роковое применение ума! — воскликнул он.

Но он замолк, взглянув на удрученного горем Люсьена, сидевшего в кресле.

— Вы позволите мне это исправить? Я возвращу вам рукопись завтра,— продолжал он.— Насмешка бесчестит произведение, серьезная критика порою служит похвалой; я изложу ваши мысли в такой форме, что ваша статья окажет честь и вам и мне. Свои недостатки знаю только я один!

— Нередко, поднимаясь на гребень холма, находишь на пыльной дороге плод и утоляешь им мучительную жажду; вот он, этот плод! — сказал Люсьен, бросившись в объятия д'Артеза; рыдая, он поцеловал его в лоб и сказал: — Мне кажется, я вам вручаю мою совесть, чтобы когда-нибудь вы мне ее возвратили.

— Для меня раскаяние от случая к случаю — великое лицемерие,— торжественно сказал д'Артез,— подобное раскаяние нечто вроде награды за скверные поступки. Раскаяние — это душевная чистота, которую наша душа обязана блюсти перед богом; человек, дважды рас-

каявшийся,— страшный фарисей. Боюсь, что для тебя раскаяние — только отпущение грехов.

Слова эти потрясли Люсьена; медленно шел он, возвращаясь в Лунную улицу. На другой день поэт отнес в редакцию статью, исправленную д'Артезом; но с того времени им овладела тоска, и он не всегда мог скрыть ее. Вечером, когда он вошел в переполненную залу Жимназ, он испытывал жестокое волнение, обычное перед театральным дебютом близкого существа. Все виды его тщеславия были затронуты, его взгляд впивался в лица зрителей, как взгляд обвиняемого впивается в лица присяжных и судей; он вздрагивал от малейшего звука; малейшая оплошность на сцене, выход и уход Корали, малейшее изменение в ее голосе приводили его в крайнее возбуждение. Пьеса, в которой выступала Корали, была из тех пьес, что проваливаются и вновь появляются на театре; пьеса провалилась. Выход Корали на сцену не вызвал рукоплесканий, и холодность партера ее сразила. В ложах хлопал один Камюзо. Люди, посаженные на балконе и в галерее, оборвали рукоплескания торговца шелками, зашикав на него: «Тише!» Галерея вынуждала клакеров умолкнуть, как только они принимались хлопать с чрезмерной нарочитостью. Мартенвиль отважно рукоплескал, и вероломная Флорина, Натан и Мерлен вторили ему. Когда стало ясно, что пьеса провалилась, в уборной Корали собрались утешители, но своими соболезнованиями они лишь растравляли рану. Актриса была в отчаянии, и не столько из-за себя, сколько из-за Люсьена.

— Бролар нам изменил,— сказала она.

Корали заболела, ее мучила лихорадка, она была ранена в самое сердце. На другой день она не могла играть. Она чувствовала, что ее карьера кончена. Люсьен прятал от нее газеты, он читал их в столовой. Провал пьесы все фельетонисты приписывали Корали: она-де была чересчур высокого мнения о своем таланте; она могла блистать на Бульварах, но в Жимназ оказалась не на месте; ее увлекало похвальное честолюбие, но она переоценила свои способности и взяла роль не по силам. Люсьену пришлось прочесть посвященные Корали искусные тирады, которые были составлены в духе лицемерных статей, когда-то написанных им о Натане. Люсьена обуяла

ярость, достойная Милона Кротонского, когда тот почувствовал, что его руки ущемлены в стволе дуба, который он сам расщепил. Он побледнел: его друзья давали советы Корали, и за их словами, пленяющими сердечностью, любезностью, участием, скрывалось жестокое коварство. Они рекомендовали ей играть роли, которые, как хорошо было известно вероломным авторам этих гнусных фельетонов, находились в полном противоречии с ее дарованием. Таковы были отзывы роялистских газет, написанные, без сомнения, по указке Натана. Что касается либеральных газет и мелких листков, они изощрялись в язвительных намеках и насмешках — излюбленный прием Люсьена. Корали, услышав подавленные рыдания Люсьена, вскочила с постели, увидела газеты, пожелала просмотреть их и все прочла. Потом она опять легла, не вымолвив ни слова. Флорина участвовала в заговоре, она предугадала его исход, она выучила роль Корали, она репетировала ее под руководством Натана. Администрация, не желая снимать пьесы, решила роль Корали передать Флорине. Директор пришел к бедной актрисе и застал ее в слезах, в удрученном состоянии; но когда он в присутствии Люсьена сказал ей, что спектакль отменить невозможно и что Флорина приготовила роль, Корали приподнялась, вскочила с постели.

— Я буду играть! — вскричала она.

Она упала без чувств. Флорина получила роль и составила себе имя, ибо она спасла пьесу; газеты устроили ей настоящие овации, и с той поры она стала великой актрисой, какой вы ее знаете. Торжество Флорины в высшей степени ожесточило Люсьена.

— Презренная, ведь ты дала ей кусок хлеба! Если Жимназ желает, пусть порвет контракт с тобою. Я стану графом де Рюбампре, составлю состояние, женюсь на тебе.

— Какой вздор! — сказала Корали, печально взглянув на него.

— Вздор? — вскричал Люсьен.— Хорошо, потерпи еще несколько дней, и ты будешь жить в прекрасном особняке, у тебя будет карета, и я создам для тебя роль!

Он взял две тысячи франков и бросился к Фраскати. Несчастный пробыл там семь часов, пожираемый фури-

ями, но его лицо оставалось спокойным и холодным. В течение того дня и части той ночи счастье было для него переменчиво: он был в выигрыше до тридцати тысяч, но вышел без единого су. Воротясь домой, он застал там Фино, который пришел за *статейками*. Люсьен имел неосторожность ему пожаловаться.

— Ах, в жизни не все одни розы! — отвечал Фино.— Вы сделали такой крутой поворот, что должны были лишиться поддержки либеральной печати, а ведь она куда сильнее печати правительственной и роялистской. Никогда не следует переходить из одного лагеря в другой, не приготовив себе заранее мягкого ложа, где можно было бы залечить раны, а к ним нужно быть готовым; благоразумный человек в таких случаях предварительно обращается за советом к друзьям, излагает свои доводы и склоняет их простить его отступничество, обращает их в своих сообщников, вызывает к себе жалость, а затем, подобно Натану и Мерлену, входит с товарищами в соглашение о взаимных услугах. *Свой своему поневоле брат*. Вы обнаружили в этом деле невинность агнца. Вам придется показать вашей новой партии когти, если вы пожелаете урвать малую толику добычи. Вас, натурально, принесли в жертву Натану. Не скрою, ваша статья против д'Артеза подняла целую бурю, шум, скандал. Марат в сравнении с вами — святой. На вас готовится нападение, ваша книга провалится. Что слышно о вашем романе?

— Вот последние листы,— сказал Люсьен, показывая пачку корректур.

— Безыменные статьи против д'Артеза в правительственных газетах и в крайних правых приписывают вам. «Ревей» теперь изо дня в день направляет свои шпильки против кружка в улице Катр-Ван, а остроты, чем они потешнее, тем больнее ранят. За газетой Леона Жиро стоит политическая группа — внушительная и серьезная группа, которая рано или поздно придет к власти.

— В «Ревей» ноги моей не было вот уже неделя.

— Так вот, подумайте о статейках, приготовьте сразу полсотни, я оплачу оптом; но пишите в духе нашей газеты.

И Фино дал Люсьену тему юмористической статьи о министре юстиции, небрежно рассказав ему забавный

случай в качестве анекдота, по его словам, обошедшего все салоны.

Люсьен так жаждал возместить проигрыш, что, несмотря на утрату сил, вновь обрел воодушевление, свежесть мысли и написал тридцать статей, в два столбца каждая. Когда статьи были окончены, Люсьен пошел к Дориа, надеясь встретить там Фино и украдкой вручить ему рукопись; притом нужно было потребовать от издателя объяснения о причине задержки выпуска «Маргариток». Лавка была полна его врагов. Когда он вошел, разговоры оборвались, водворилось глубокое молчание. Поняв, что он отлучен от журналистики, Люсьен ощутил прилив мужества, и, как некогда в аллее Люксембургского сада, он мысленно воскликнул: «Я восторжествую!» Дориа не оказал ему ни покровительства, ни внимания, принял насмешливый тон, ссылался на свои права: он-де выпустит «Маргаритки», когда ему вздумается, он обождет, пока положение Люсьена не обеспечит успеха, он ведь купил книгу в полную собственность. Когда Люсьен возразил, что Дориа обязан издать «Маргаритки» согласно самой природе договора и положению договаривающихся сторон, издатель стал утверждать противное и заявил, что юридически его нельзя принудить к операции, которую он считает убыточной; он один может судить о своевременности издания. И наконец есть исход, который допустит любой суд: Люсьен волен вернуть тысячу экю, взять обратно свое произведение и напечатать его в каком-нибудь роялистском издательстве.

Люсьен ушел, обиженный сдержанным тоном Дориа более, нежели его важностью при их первом свидании. Итак, сомнения не было: «Маргаритки» не выйдут в свет, покуда Люсьен не обретет вспомогательной силы в лице влиятельных друзей или сам не станет грозным противником. Поэт медленно возвращался домой, охваченный унынием, которое привело бы его к самоубийству, если бы за мыслью следовало действие. Он застал Корали в постели, она лежала бледная и совсем больная.

— Достаньте ей роль, или она умрет,— сказала ему Береника, когда Люсьен одевался, собираясь направиться в улицу Монблан к мадемуазель де Туш, которая давала большой вечер; там ему предстояло встретить де Люпо, Виньона, Блонде, г-жу д'Эспар и г-жу де Баржетон.

Вечер давался ради Конти, великого композитора и прославленного камерного певца, а также ради Чинти, Паста, Гарсиа, Левассера и двух-трех великосветских певцов. Люсьен проскользнул в уголок, где сидели маркиза, ее кузина и г-жа де Монкорне. Несчастный юноша принял беспечный вид, казалось, он был доволен, счастлив; он острил, держал себя, как в дни своего торжества, он не желал чем-либо обнаружить, что нуждается в опоре высшего света. Он пространно говорил о своих заслугах перед роялистской партией и в доказательство указывал на бешеный вой, поднятый против него либералами.

— Вы будете щедро вознаграждены, мой друг,— сказала г-жа де Баржетон, ласково ему улыбаясь.— Ступайте послезавтра в министерство вместе с Цаплей и де Люпо, и вы получите указ, подписанный королем. Хранитель печати завтра повезет его во дворец; но завтра заседание совета, он вернется поздно, все же, ежели я вечером узнаю о результате, я вас извещу. Где вы живете?

— Я сам зайду,— отвечал Люсьен, устыдившись сказать, что он живет в Лунной улице.

— Герцог де Ленонкур и герцог де Наваррен говорили о вас королю,— заметила маркиза,— они отозвались с похвалой о вашей безграничной преданности, достойной блестящей награды в воздаяние за те преследования, которым вы подверглись со стороны либералов. Вы прославите имя и титул графа де Рюбампре, на которые вы имеете право по материнской линии. Вечером король приказал канцлеру приготовить указ, дарующий господину Люсьену Шардону право носить имя и титул графов де Рюбампре, как внуку последнего Рюбампре по женской линии. «Надобно поощрить щеглят с Пинда»,— сказал он, прочтя ваш сонет, посвященный лилии (к счастью, моя кузина вспомнила о нем и передала его герцогу). «Тем более, что король властен совершить чудо, обратив их в орлят»,— заметил господин де Наваррен.

Люсьен отвечал сердечными излияниями, которые могли бы растрогать женщину, не столь глубоко оскорбленную, как Луиза д'Эспар де Негрпелис. Чем ярче выступала красота Люсьена, тем сильнее Луиза жаждала мести. Де Люпо был прав, Люсьену недоставало чут-

кости: он не догадывался, что указ, о котором ему говорили, был одной из тех шуток, которые так мастерски изобретала г-жа д'Эспар. Окрыленный успехом и лестным вниманием, оказанным ему мадемуазель де Туш, он пробыл в ее доме до двух часов ночи, желая побеседовать с нею наедине. В редакциях роялистских газет Люсьен узнал, что мадемуазель де Туш была негласным автором одной пьесы, в которой должна была выступать маленькая Фэ, чудо того времени. Когда гостиные опустели, он усадил мадемуазель де Туш на диван в будуаре и так трогательно рассказал ей о несчастье Корали и о своем собственном, что эта знаменитая гермафродитка от литературы обещала ему исхлопотать для Корали главную роль.

Утром, после этого вечера, когда Корали, осчастливленная обещанием мадемуазель де Туш, возвратившись к жизни, завтракала со своим поэтом, Люсьен прочел газету Лусто, где был помещен издевательский пересказ вымышленной истории о министре юстиции и его жене. Самое язвительное остроумие маскировало самый темный умысел. Король Людовик XVIII был так замечательно выведен и осмеян, что прокуратура не могла к чему-либо придраться. Вот история, которой либеральная партия пыталась придать правдоподобие, но лишь умножила коллекцию остроумных вымыслов.

Пристрастие Людовика XVIII к изысканной, галантной переписке, полной мадригалов и блеска, истолковывалось как последнее проявление его любви, становившейся чисто теоретической: он переходил, как говорится, от действия к рассуждениям. Знаменитая его любовница, которую так жестоко высмеял Беранже под именем Октавии, испытывала самые серьезные опасения. Переписка не ладилась. Чем более изощрялась в остроумии Октавия, тем холоднее и бесцветнее становился ее возлюбленный. Октавия наконец открыла причину немилости: ее власти угрожала новизна и пряность новой переписки августейшего автора с женою министра юстиции. Эта милейшая женщина слыла неспособной написать даже самую простую записку, стало быть, она только была ответственным издателем какого-то дерзновенного честолюбца. Кто мог скрываться за ее юбками? После некоторых наблюдений Октавия открыла, что король перепису-

вается со своим министром. План действия был готов. Однажды она задерживает министра в палате, вызвав там при помощи верного друга бурные прения, устраивает свидание с королем и возмущает его самолюбие, рассказав, как его обманывают. Людовика XVIII охватывает приступ бурбонского и королевского гнева, он обрушивается на Октавию, он ей не верит; Октавия предлагает тотчас же представить доказательства: она просит написать записку, требующую неотложного ответа. Несчастная женщина, застигнутая врасплох, шлет за помощью к мужу в палату; но все было предусмотрено: он в это время выступал с трибуны. Женщина в отчаянии трудится до седьмого пота, ломает голову и отвечает с присущим ей остроумием.

— Ваш министр вам расскажет остальное! — вскричала Октавия, потешаясь над разочарованием короля.

Статья, как бы лжива она ни была, задевала за живое министра юстиции, его жену и короля. Автором анекдота был, по слухам, де Люпо, но Фино не выдал его тайны. Эта остроумная и злая статья порадовала либералов и партию брата короля. Сочиняя эту статью, Люсьен веселился, он видел в ней премилую «утку». На другой день он зашел за де Люпо и бароном дю Шатле. Барон ехал благодарить министра: г-н Шатле, произведенный в государственные советники для особых поручений, получил графский титул и должен был занять место префекта Шаранты, как только его предшественник дослужит несколько последних месяцев до срока, необходимого для назначения пенсии в повышенном размере. Граф дю Шатле — частица *дю* была внесена в указ — усадил Люсьена в свою карету и отнесся к нему, как к равному. Если бы не статьи Люсьена, возможно, он не возвысился бы так скоро: преследование со стороны либералов послужило для него как бы пьедесталом. Де Люпо находился в министерстве, в кабинете старшего секретаря министра. Увидев Люсьена, чиновник привскочил как бы от удивления и переглянулся с де Люпо.

— Как вы осмелились явиться сюда, сударь? — сказал грозно старший секретарь ошеломленному Люсьену.— Его высокопревосходительство уничтожил указ, вот он! — И чиновник положил руку на какой-то лист бумаги, разорванный на четыре части.— Министр поже-

лал узнать имя автора вчерашнего чудовищного пасквиля, и вот оригинал,— сказал он, показывая Люсьену рукопись его статьи.

— Вы называете себя роялистом, сударь, а между тем сотрудничаете в гнусной газете, от которой у министров седеют волосы, которая досаждает деятелям центра и увлекает нас в бездну! Вы завтракаете с сотрудниками «Корсара», «Мируар», «Конститюсьонель», «Курьера», вы обедаете с людьми из «Котидьен» и «Ревей», а ужинаете с Мартенвилем, с этим злейшим врагом правительства, с человеком, толкающим короля на путь абсолютизма, что привело бы к революции столь же скоро, как если бы он доверился крайней левой. Вы весьма остроумный журналист, но вам никогда не быть политическим деятелем. Министр доложил королю, что вы автор статьи, и его величество, разгневавшись, разбранил герцога де Наваррена, своего камергера. Вы нажили себе врагов тем более непримиримых, чем более они вам покровительствовали. Поступок, весьма естественный со стороны недруга, становится чудовищным, когда исходит от друга.

— Ужели вы малый ребенок, мой дорогой? — сказал де Люпо.—Вы поставили меня в ужасное положение. Госпожа д'Эспар и госпожа де Баржетон, госпожа де Монкорне, поручившиеся за вас, будут возмущены. Герцог, несомненно, выместил гнев на маркизе, а маркиза сделала выговор своей кузине. Не показывайтесь туда! Повремените.

— Вот идет его высокопревосходительство! Прошу вас выйти,— сказал секретарь.

Люсьен очутился на площади Вандом, ошеломленный, точно его ударили молотом по голове. Он пешком возвращался по Бульварам, пытаясь понять, в чем была его вина. Он почувствовал себя игрушкой в руках завистливых, алчных, вероломных людей. Кем он был в этом мире честолюбцев? Ребенком, который гнался за суетными удовольствиями и наслаждениями, ради них жертвуя всем; легкомысленным поэтом, порхавшим, точно мотылек, от огонька к огоньку, без определенной цели; рабом обстоятельств, преисполненным добрых намерений, которые неизменно завершались дурными поступками. Совесть была его неумолимым судьей. Притом у него

не было денег, и он чувствовал, что изнемог от работы и горя. Статьи его помещали во вторую очередь, после статей Мерлена и Натана. Он шел наугад, погруженный в свои размышления; в витринах некоторых читальных зал, начинавших выдавать для чтения книги вместе с газетами, он заметил объявление, где под нелепым, незнакомым ему заглавием красовалось его имя: *Люсьен Шардон де Рюбампре*. Книга его издана, он ничего об этом не знал, газеты о ней молчали. Он остановился, опустив руки, недвижимый, не замечая группы молодых щеголей, среди которых были Растиньяк, де Марсе и некоторые другие его знакомые. Он не заметил и Мишеля Кретьена и Леона Жиро, подходивших к нему.

— Вы господин Шардон? — спросил Мишель таким тоном, что в груди Люсьена точно струны порвались.

— Вы меня не узнаете? — отвечал он, побледнев.

Мишель плюнул ему в лицо.

— Вот гонорар за ваши статьи против д'Артеза. Если бы каждый, защищая себя или своих друзей, следовал моему примеру, печать была бы тем, чем она должна быть: священным делом, достойным уважения и уважаемым.

Люсьен пошатнулся и, опершись о руку Растиньяка, сказал ему и де Марсе:

— Господа, не откажитесь быть моими секундантами. Но прежде я хочу полностью воздать должное и сделать случившееся непоправимым.

И Люсьен дал пощечину Мишелю, который никак того не ожидал. Денди и друзья Мишеля бросились между республиканцем и роялистом, опасаясь, чтобы ссора не обратилась в драку. Растиньяк взял под руку Люсьена и увел его к себе, в улицу Тетбу, которая находилась в двух шагах от места этой сцены, случившейся на Гентском бульваре в обеденный час. Вот отчего происшествие не привлекло обычной в подобных случаях толпы. Де Марсе последовал за Люсьеном, и оба денди уговорили его весело отобедать с ними в Английском кафе, где они и напились.

— Вы хорошо владеете шпагой? — спросил де Марсе.

— В руках никогда не держал.

— А пистолетом? — сказал Растиньяк.

— В жизни своей ни разу не стрелял из пистолета.

— Случай на вашей стороне, вы страшный противник, вы можете убить этого человека,— сказал де Марсе.

Корали, к счастью, уже спала, когда Люсьен вернулся домой. В этот вечер актрисе неожиданно случилось выступить в маленькой пьесе, и она утешилась в неудаче, заслужив на этот раз законные, неоплаченные рукоплескания. После спектакля, непредвиденного для ее врагов, директор поручил ей главную роль в пьесе Камилла Мопен, ибо он открыл в конце концов причины неудачи первого выступления Корали. Раздраженный происками Флорины и Натана, желавших провалить актрису, которой он дорожил, директор обещал Корали покровительство администрации театра.

В пять часов утра Растиньяк заехал за Люсьеном.

— Ну, дорогой, ваша конура под стать вашей улице,— сказал он вместо приветствия.— Явимся первыми к месту встречи, на Клиньянкурской дороге, это хороший тон, и мы обязаны подавать пример.

— Программа такова,— сказал де Марсе, как только фиакр въехал в предместье Сен-Дени.— Вы деретесь на пистолетах, расстояние двадцать пять шагов, сходитесь на пятнадцать шагов. Каждый делает пять шагов и три выстрела, не более. Что бы ни случилось, вы оба должны на этом покончить. Мы заряжаем пистолеты вашего противника, а его секунданты заряжают ваши. Оружие выбрано у оружейника всеми четырьмя секундантами. Будьте уверены, что мы помогли случаю: пистолеты кавалерийские.

Жизнь для Люсьена обратилась в дурной сон; жить или умереть — для него было одинаково безразлично. Мужество, присущее самоубийцам, помогло ему, он предстал перед секундантами в благородном облачении храбрости. Он не тронулся со своего места. Беззаботность его была принята за холодный расчет: поэта сочли человеком смелым. Мишель Кретьен подошел к самому барьеру. Противники выстрелили одновременно, ибо оскорбление было признано равным с обеих сторон. При первом выстреле пуля Кретьена задела подбородок Люсьена, пуля Люсьена пролетела на высоте десяти футов над головою противника. При втором выстреле пуля Мишеля застря-

ла в воротнике сюртука поэта: к счастью, воротник был стеганый и подбитый проклеенным холстом. При третьем выстреле Люсьен был ранен в грудь и упал.

— Убит? — спросил Мишель.

— Нет,— сказал хирург,— он выживет.

— Жаль! — отвечал Мишель.

— О да, жаль! — повторил Люсьен, обливаясь слезами.

В полдень этот несчастный мальчик лежал в своей комнате и в своей постели; понадобилось пять часов времени и много предосторожностей, чтобы доставить его домой. Хотя прямой опасности не было, все же состояние раненого трёбовало заботливого ухода; горячка могла вызвать пагубные осложнения. Корали подавляла отчаяние и скорбь. Все ночи, пока ее друг был в тяжелом положении, она с Береникой проводила подле его постели, разучивала роли. Так прошли два месяца. Бедному созданию приходилось играть роли, которые требовали веселости, меж тем как ее не оставляла мысль: «Быть может, в эту минуту мой бедный Люсьен умирает!»

Все это время Люсьена лечил Бьяншон; жизнью поэт был обязан преданности этого глубоко оскорбленного друга, которому д'Артез, оправдывая несчастного поэта, доверил тайну посещения Люсьена. Однажды, когда Люсьен пришел в сознание,— у него была нервная горячка в тяжелой форме,— Бьяншон, подозревая д'Артеза в великодушной лжи, сам допросил больного; Люсьен сказал ему, что он не писал никаких статей о книге д'Артеза, кроме одной серьезной и основательной статьи, напечатанной в газете Гектора Мерлена.

В исходе первого месяца фирма «Фандан и Кавалье» объявила себя несостоятельной. Бьяншон посоветовал актрисе скрыть от Люсьена этот страшный удар. Пресловутый роман «Лучник Карла IX», изданный под нелепым заглавием, не имел ни малейшего успеха. Чтобы сколотить немного денег, прежде нежели прекратить платежи, Фандан, без ведома Кавалье, оптом продал это произведение букинистам, которые его перепродали по низкой цене для торговли вразнос. В ту пору книга Люсьена украшала парапеты мостов и парижские набережные. Книжные лавки на набережной Августинцев приоб-

рели некоторое количество экземпляров этого романа и понесли значительные убытки вследствие внезапного падения цены: четыре тома в двенадцатую долю листа, купленные за четыре франка пятьдесят сантимов, приходилось отдавать за пятьдесят су. Книгопродавцы вопили, газеты по-прежнему хранили глубокое молчание. Барбе не ожидал подобной *передряги*, он верил в талант Люсьена; вопреки своему обыкновению, он рискнул купить двести экземпляров, и теперь предвидение убытка приводило его в бешенство, он всячески поносил Люсьена. Барбе принял героическое решение: из упрямства, свойственного скупцам, он сложил свои экземпляры в уголок склада и предоставил собратьям спускать роман за бесценок. Позднее, в 1824 году, когда прекрасное предисловие д'Артеза, достоинства книги и две статьи Леона Жиро завоевали ей заслуженное признание, Барбе продал свои экземпляры, один за другим, по десяти франков. Несмотря на бдительность Береники и Корали, все же нельзя было запретить Гектору Мерлену навестить умирающего друга; и он дал ему испить капля за каплей горькую чашу, описывая *канитель*, как называют на жаргоне издателей злополучную операцию, на которую решились Фандан и Кавалье, издавая книгу начинающего писателя. Мартенвиль, единственный верный друг Люсьена, написал великолепную хвалебную статью; но и либералы и приверженцы правительства настолько были восстановлены против главного редактора «Аристарха», «Орифламмы» и «Драпо блан», что усилия этого отважного борца, всегда сторицею воздававшего либералам за оскорбления, только повредили Люсьену. Ни одна газета не подняла перчатки и не открыла полемики, как ни энергичны были нападки этого роялистского *bravo*. Корали, Береника и Бьяншон запирали двери перед всеми мнимыми друзьями Люсьена, подымавшими по этому случаю страшный шум, но они не могли запереть их перед судебным исполнителем. Крах Фандана и Кавалье давал право на немедленное взыскание по их векселям, в силу одной из статей торгового кодекса, посягающей на права третьих лиц, которые тем самым лишаются льгот в отношении сроков. Камюзо стал настойчиво преследовать Люсьена. Услышав это имя, актриса поняла, на какой страшный и унизительный посту-

пок решился ее поэт, по-ангельски ее оберегавший; она полюбила его в десять раз сильнее и не стала умолять Камюзо о пощаде. Агенты коммерческого суда, явившиеся арестовать Люсьена, застали его в постели и не осмелились увезти больного; прежде чем обратиться к председателю суда за указанием, в какую больницу поместить должника, они направились к Камюзо. Камюзо тотчас же побежал в Лунную улицу. Корали вышла к нему и вернулась с исполнительным листом: согласно передаточной надписи на векселе, Люсьен объявлялся коммерсантом. Как удалось ей получить эти бумаги от Камюзо? Какое обещание она дала? Она угрюмо молчала, но она вернулась полуживая. Корали играла в пьесе Камилла Мопен и много способствовала успеху прославленной литературной гермафродитки. Создание этой роли было последней вспышкой прекрасной лампады. Шло двадцатое представление пьесы; Люсьен уже совершал небольшие прогулки, у него появился аппетит, он мечтал о работе, как вдруг Корали заболела: тайная печаль снедала ее. Береника подозревала, что ради спасения Люсьена Корали обещала Камюзо вернуться к нему. Актриса была в отчаянии,— ей пришлось уступить свою роль Флорине. Натан грозил войною Жимназ, если театр не заменит Корали Флориной. Корали играла до последней минуты, не желая отдать роли, и совсем надорвала свои силы; пока Люсьен был болен, Жимназ выдавал ей авансы, и она не могла ничего требовать от театра; Люсьен, несмотря на горячее желание, еще не мог работать, и к тому же он вместе с Береникой ухаживал за больной Корали; злосчастная чета впала в крайнюю нужду, но у них в лице Бьяншона был искусный и преданный врач, он устроил им кредит в аптеке. Положение Корали и Люсьена вскоре стало известно поставщикам и владельцу дома. Мебель их была описана. Модистка и портной, не опасаясь более журналиста, безжалостно преследовали этих несчастных детей богемы. Наконец только аптекарь да колбасник согласились оказывать им кредит. Люсьен, Береника и больная Корали были вынуждены почти целую неделю питаться свининой во всех тех видах, какие придают ей затейливые колбасники. Колбасные изделия, отнюдь не полезные, ухудшили состояние больной. Нищета принудила Люсьена пойти к Лусто и потре-

бовать от своего бывшего друга, от предателя, возврата долга в тысячу франков. Из всех бедствий этот шаг был для него наиболее тягостен. Лусто не смел уже появляться дома, в улице Лагарпа, он ночевал у приятелей; заимодавцы не давали ему покоя и травили его, точно зайца. Наконец у Фликото Люсьен нашел своего рокового проводника в литературный мир. Лусто сидел за тем же столом, как и в тот день, когда Люсьен, на свое горе, встретил его, отвратившись от д'Артеза. Лусто пригласил его отобедать с ним, и Люсьен согласился. В тот день у Фликото обедали Клод Виньон и великий незнакомец, заложивший свою одежду у Саманона; но когда, окончив обед, они решили пойти в «Кафе Вольтер» выпить по чашке кофе, у них не нашлось даже тридцати су, хотя они и вытряхнули всю медь, бренчавшую в их карманах. Они бродили по Люксембургскому саду в надежде встретить какого-нибудь книгоиздателя и действительно повстречали одного из знаменитых типографов того времени. Лусто попросил у него взаймы сорок франков, и тот их дал. Лусто разделил эту сумму на четыре равные части, и каждый из них получил свою долю. Нищета убила в Люсьене всю его гордость, все чувства; он плакал, рассказывая спутникам о своем положении; но и они, в свою очередь, могли рассказать ему такие же жестокие драмы; когда каждый из них поведал свою повесть, поэт почувствовал, что из всех четверых он наименее несчастен. Все они испытывали потребность заглушить боль и угасить сознание, удваивавшее несчастье. Лусто побежал в Пале-Руаяль — поставить на карту девять франков из десяти, выпавших на его долю. Великий незнакомец, хотя у него была божественная возлюбленная, пошел в гнусный вертеп, чтобы окунуться в омут опасных наслаждений. Виньон отправился в «Роше де Канкаль» в намерении выпить бутылки две бордоского и утопить в вине разум и воспоминания. Люсьен расстался с Клодом Виньоном на пороге ресторана, отказавшись разделить с ним ужин. Провинциальная знаменитость и единственный журналист, не питавший к нему вражды, обменялись рукопожатием, и сердце Люсьена болезненно сжалось.

— Что делать? — спросил он.

— Война есть война,— сказал ему великий критик.—

Ваша книга прекрасна, но она возбудила зависть; борьба будет долгой и трудной. Талант — страшный недуг. Каждый писатель носит в своем сердце тлетворного паразита, подобного солитеру в кишечнике; он пожирает все чувства, по мере того как они расцветают. Кто восторжествует? Болезнь над человеком или человек над болезнью? Воистину надобно быть великим человеком, чтобы хранить равновесие между гениальностью и характером. Талант расцветает, сердце черствеет. Надобно быть гигантом, надобно обладать мощью Геркулеса, иначе погибнет либо сердце, либо талант. Вы существо слабое и хрупкое, вы погибнете,— прибавил он, входя в ресторан.

Люсьен воротился домой, размышляя об этом страшном приговоре, представившем литературную жизнь в истинном свете.

«Денег!» — кричал ему какой-то голос.

Он сам написал три векселя своему приказу, в тысячу франков каждый, сроком на один, два и три месяца, и с удивительным мастерством подделал подпись Давида Сешара; поставив передаточную подпись на векселях, он на следующий день понес их к Метивье, поставщику бумаги в улице Серпант, и тот учел их без малейшего возражения. Люсьен написал несколько строк зятю, чтобы предупредить его об этом нападении на его кассу, пообещав, как водится, выкупить векселя в срок. Долги Корали и долги Люсьена были уплачены. Осталось триста франков, поэт вручил их Беренике, приказав ей не давать ему ни сантима, пусть бы он даже стал просить: он знал свою страсть к игре. Ночами, при свете лампы, бодрствуя у постели Корали, Люсьен в порыве мрачной, холодной, безмолвной ярости написал свои самые остроумные статьи. Обдумывая их, он глаз не отрывал от обожаемого существа; белая, точно фарфоровая, красивая особой красотой умирающих, с улыбкой на бледных устах, она смотрела на него блестящими глазами — глазами женщины, погибающей от недуга и тоски. Люсьен посылал свои статьи во все газеты; но так как он не мог ходить по редакциям и надоедать редакторам, его статьи не печатались. Однажды он решился зайти в редакцию «Ревей»; Теодор Гайар, когда-то столь предупредительный к нему и в дальнейшем воспользо-

вавшийся его литературными перлами, принял Люсьена холодно.

— Берегитесь, мой милый, вы исписались; но не падайте духом, больше жизни! — сказал он ему.

— За душою у Люсьена только и было, что его роман да первые статьи,— кричали Фелисьен Верну, Мерлен, все его ненавистники, когда о нем заходила речь у Дориа или в театре Водевиль.— Он посылает нам жалкие вещи.

Исписался — обиходное слово на языке журналистов, верховный приговор, который трудно оспаривать, когда он произнесен. Это суждение, широко разглашенное, убивало Люсьена без его ведома, ибо он был всецело поглощен горестями, превышавшими его силы. В разгар изнурительной работы на него было подано ко взысканию по векселям Давида Сешара, и он прибег к опытности Камюзо. Бывший друг Корали проявил великодушие и помог Люсьену. Отчаянное положение длилось два месяца, и немало гербовых бумаг за эти два месяца Люсьен, по совету Камюзо, посылал Дерошу, приятелю Бисиу, Блонде и де Люпо.

В начале августа месяца Бьяншон сказал поэту, что Корали обречена, дни ее сочтены. Эти роковые дни Береника и Люсьен провели в слезах, не умея таить свое горе от бедной девушки, а ее приводила в отчаяние мысль, что, умирая, она разлучается с Люсьеном. По необъяснимому движению чувств, Корали потребовала, чтобы Люсьен привел к ней священника. Актриса пожелала примириться с церковью и умереть в мире. Кончина ее была христианской, ее покаяние было искренне. Эта агония и эта смерть лишили Люсьена последних сил и мужества. Поэт в полном изнеможении сидел в кресле подле постели Корали, он не сводил с нее взгляда до того мгновения, когда очей актрисы коснулась рука смерти. Было пять часов утра. Птичка вспорхнула на цветы, стоявшие снаружи за оконной рамой, и прощебетала свои песенки. Береника, опустившись на колени, целовала руку Корали, холодевшую под ее слезами. На камине лежало одиннадцать су. Люсьен вышел, гонимый отчаянием; ради того, чтобы предать земле свою возлюбленную, он был готов просить милостыню, броситься к ногам маркизы д'Эспар, графа дю Шатле, г-жи де Баржетон, мадемуазель де Туш или жестокого денди де Марсе: у

него не было более ни сил, ни гордости. Чтобы добыть хоть немного денег, он пошел бы в солдаты. Неверной, знакомой несчастным, расслабленной походкой он дошел до особняка Камилла Мопен; он вошел, не обращая внимания на небрежность своей одежды, и попросил о себе доложить.

— Мадемуазель еще почивает, она легла в три часа утра. Покуда она не позвонит, никто не осмелится ее потревожить,— отвечал лакей.

— Когда же она позвонит?

— Не раньше десяти.

Тогда Люсьен написал одно их тех отчаянных писем, в которых нищие щеголи ни с чем более не считаются. Однажды вечером, слушая рассказы Лусто о том, с какими унизительными просьбами обращаются к Фино молодые таланты, Люсьен не поверил ему, и вот собственное перо увлекло его по пути унижения, может быть еще далее, нежели его злополучных предшественников. Он возвращался домой в лихорадочном состоянии, равнодушный ко всему, не подозревая, какое страшное произведение продиктовало ему отчаяние; на Больших бульварах он встретил Барбе.

— Барбе, пятьсот франков! — сказал он, протягивая руку.

— Желаете двести? — отвечал издатель.

— Помилуйте! Вы человек добрый!

— Но и деловой! Вы причинили мне ущерб,— прибавил он и рассказал о банкротстве Фандана и Кавалье.— Дайте мне заработать.

Люсьен вздрогнул.

— Вы поэт, стало быть, умеете писать веселые стихи,— продолжал издатель.— Сейчас мне нужны веселые песенки, чтобы поместить их среди песен, позаимствованных у других авторов; тогда я могу не опасаться преследования за контрафакцию, и я выпущу для уличной продажи отличный сборник стишков за десять су. Ежели вы завтра принесете мне десяток хороших песенок — застольных и вольных... понимаете? — я вам заплачу двести франков.

Люсьен воротился домой. Корали, вытянувшаяся и застывшая, лежала на складной кровати, обернутая грубой простыней, которую, обливаясь слезами, зашива-

ла Береника. Толстая нормандка зажгла четыре свечи по углам постели. На лицо Корали легло сияние той красоты, что глубоко поражает живых как выражение совершенного покоя; она была похожа на юную девушку, больную белокровием; казалось порою, что ее лиловые губы раскроются и прошепчут имя Люсьена; это имя, как и имя бога, сопутствовало ее последнему вздоху. Люсьен послал Беренику заказать похороны, которые обошлись бы не дороже двухсот франков, включая службу в убогой церкви Бон-Нувель. Когда Береника ушла, поэт сел к столу подле тела бедной своей подруги и сочинил десять песенок на веселые темы и излюбленные парижские мотивы. Он испытал неизреченные муки, прежде чем приневолил себя взяться за работу; но он все же принудил свое дарование служить необходимости, будто и не страдал. Он уже осуществлял страшный приговор Клода Виньона о разладе между сердцем и мозгом. Какую ночь провел бедный мальчик, как надрывал он свою душу, сочиняя стихи для кабацких пирушек и записывая рифмованные строки при свете восковых свечей, близ священника, молившегося за Корали!.. Поутру, окончив последнюю песню, Люсьен пытался положить ее на модный в ту пору мотив; священник и Береника, услышав его пение, испугались, подумав, что он сошел с ума.

Друзья, на что мораль стихам?
С ней только скука и усталость.
Рассудок неуместен там,
Где председательствует шалость.
Все песни годны за вином,
Нам Эпикур — свидетель в том.
  Где чаши зазвучали,
Где Бахус — кравчий за столом,
Там покидают музы дом.
  Мы пьем, поем,
А что потом — нам нет печали.

Сулил гулякам Гиппократ,
Что долгий век пошлют им боги.
И мы с тобой не плачем, брат,
Что дни не те, не резвы ноги,
Что от красотки отстаем,
Зато от пьяниц за столом
  Еще мы не отстали.
Зато в кругу друзей хмельном
Мы в шестьдесят, как в двадцать, пьем.
  Мы пьем, поем,
А что потом — нам нет печали.

Откуда в мир мы все пришли,
Узнать — не мудрена наука.
Узнать, куда уйдем с земли,
Вот это потруднее штука.
Но для чего, друзья, гадать?
Пошли нам, боже, благодать
В конце, как и в начале.
Когда-нибудь мы все умрем,
Но будем жить, пока живем.
Мы пьем, поем,
А что потом — нам нет печали.

В то время как поэт пел последние страшные куплеты, вошли Бьяншон и д'Артез; они нашли его в полном изнеможении. Он обливался слезами, у него не было сил переписать набело свои песенки. Когда сквозь рыдания он рассказал о случившемся, на глазах присутствующих он увидел слезы.

— Да,— сказал д'Артез,— много грехов этим искупится!

— Блаженны познавшие ад на земле,— торжественно сказал священник.

Мертвая красавица, улыбающаяся вечности, возлюбленный, окупающий ее могилу непристойными песнями, Барбе, оплачивающий гроб, четыре свечи вокруг тела актрисы, которая еще недавно, в испанской баскине и в красных чулках с зелеными клиньями, приводила в трепет всю залу, и в дверях священник, примиривший ее с богом и направляющийся в церковь отслужить мессу по той, что так умела любить! Зрелище величия и падения, скорбь, раздавленная нуждой, потрясли великого писателя и великого врача; они сели, не проронив ни слова. Вошел грум и доложил о приезде мадемуазель де Туш. Эта прекрасная девушка с возвышенной душой поняла все. Она подбежала к Люсьену, пожала ему руку и вложила в нее два билета по тысяче франков.

— Поздно,— сказал он, кинув на нее угасший взгляд.

Д'Артез, Бьяншон и мадемуазель де Туш покинули Люсьена, убаюкав его отчаяние нежнейшими словами, но все силы его были подорваны. В полдень весь кружок, исключая Мишеля Кретьена, который, однако ж, убедился в невиновности Люсьена, собрался в маленькой церкви Бон-Нувель; там были Береника и мадемуазель

де Туш, две статистки из Жимназ, костюмерша Корали и несчастный Камюзо. Мужчины проводили актрису на кладбище Пер-Лашез. Камюзо плакал горькими слезами; он торжественно обещал Люсьену купить могилу на вечные времена и воздвигнуть колонну с надписью:

КОРАЛИ

Умерла девятнадцати лет

Август 1822 г.

Люсьен в одиночестве пробыл до заката солнца на этом холме, откуда его взорам открывался Париж. «Кто будет меня любить? — спрашивал он себя.— Истинные друзья меня презирают. Все, что бы я ни делал, казалось прекрасным и благородным той, что здесь лежит. У меня остались только сестра, Давид и моя мать. Что они там вдали думают обо мне?»

Несчастный провинциальный гений воротился в Лунную улицу, но опустевшие комнаты удручали его, и он ушел ночевать в скверную гостиницу в той же улице. Две тысячи франков мадемуазель де Туш и деньги, вырученные от продажи обстановки, позволили ему расплатиться со всеми долгами. На долю Береники и Люсьена пришлось сто франков, и достало их на два месяца, которые Люсьен провел в подавленном, болезненном состоянии; он не мог ни думать, ни писать, он весь ушел в скорбь. Береника жалела его.

— Вам было бы лучше вернуться в свои края, но как? — сказала она однажды в ответ на стенания Люсьена, упомянувшего о сестре, матери и Давиде.

— Пешком,— сказал он.

— Но ведь в пути все же надо чем-то питаться и платить за ночлег. Если вы даже будете делать в день двенадцать миль, вам надобно иметь при себе не менее двадцати франков.

— Я добуду деньги,— сказал он.

Он взял свою одежду и лучшее белье, оставив только самое необходимое, пошел к Саманону, и тот предложил за все его вещи пятьдесят франков. Он молил ростовщика прибавить хотя бы немного, чтобы оплатить дилижанс, но Саманон был неумолим. В ярости Люсьен помчался к Фраскати попытать счастья и воротился

без единого су. Очутившись опять в своей жалкой комнате в Лунной улице, он попросил у Береники шаль Корали. Добрая девушка, выслушав признание Люсьена в проигрыше, догадалась о намерении бедного поэта: с отчаяния он решил повеситься.

— Вы с ума сошли, сударь,— сказала она.— Ступайте-ка прогуляйтесь и к полуночи возвращайтесь обратно,— деньги я достану, но гуляйте на Бульварах, не ходите на набережные.

Люсьен, убитый горем, бродил по Большим бульварам; перед ним мелькали экипажи, прохожие, и в круговороте толпы, подхлестываемой несчетными парижскими интересами, он переживал свое унижение и одиночество. Он перенесся мыслями на берега Шаранты, он мечтал найти утешение подле своих близких, он ощутил прилив энергии, столь обманчивой в этих женственных натурах, он отказался от решения расстаться с жизнью, он желал прежде излиться в жалобах перед Давидом Сешаром, испросить совета трех ангелов, оставшихся при нем. На углу грязного бульвара Бон-Нувель и Лунной улицы он натолкнулся на принаряженную Беренику, беседующую с каким-то мужчиной.

— Что ты тут делаешь?! — вскричал Люсьен, с ужасом глядя на нормандку.

— Вот двадцать франков! Они могут дорого мне обойтись, но вы все же уедете,— отвечала она, сунув в руку поэта четыре монеты по сто су.

Береника исчезла так поспешно, что Люсьен не заметил, куда она скрылась; к чести его следует сказать, что эти деньги жгли ему руку и он хотел их возвратить; но он был вынужден принять их как знак последнего бесчестия парижской жизни.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СТРАДАНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

На другой день Люсьен засвидетельствовал паспорт, купил вязовую палку и сел на стоянке, что в улице Анфер, в кукушку, которая за десять су доставила его в Лонжюмо, а далее он пошел пешком. На первом привале он ночевал в конюшне какой-то фермы, в двух лье от Арпажона. Когда он пришел в Орлеан, силы уже его оставляли, так он был утомлен, но лодочник переправил его за три франка в Тур, и во время этого переезда он истратил всего лишь два франка на пищу. От Тура до Пуатье Люсьен шел пять дней. Пуатье было уже далеко позади, в кармане у него оставалось всего лишь сто су, но Люсьен, собрав последние силы, продолжал путь. Однажды ночь настигла его среди поля, и он уже решил было ночевать под открытым небом, как вдруг заметил карету, подымавшуюся по склону горы. Украдкой от почтаря, путешественников и лакея, сидевшего на козлах, он примостился на запятках экипажа, между двумя тюками, и, устроившись поудобнее, чтобы не упасть при толчках, заснул. Поутру, разбуженный солнцем, светившим ему прямо в глаза, и шумом голосов, он узнал Манль, тот самый городок, где тому полтора года он ожидал г-жу де Баржетон,—как ликовало тогда его сердце от избытка любви и надежды! Он был весь в пыли, а вокруг него толпились зеваки и почтари, и он понял, что его в чем-то подозревают; он вскочил на ноги и хо-

тел было заговорить, но, увидев двух путешественников, выходивших из кареты, лишился дара речи: перед ним стояли новый префект Шаранты граф Сикст дю Шатле и его жена Луиза де Негрпелис.

— Если бы мы знали, что случай пошлет нам такого спутника! — сказала графиня.— Пожалуйте к нам в карету, сударь.

Люсьен холодно поклонился этой чете и, метнув в нее взгляд униженный и одновременно угрожающий, скрылся на проселочной дороге, огибавшей Манль; он надеялся встретить там какую-нибудь ферму, где бы он мог позавтракать молоком и хлебом, отдохнуть и подумать в тиши о будущем. У него оставалось еще три франка. Автор «Маргариток», гонимый нервным возбуждением, быстрыми шагами прошел немалое расстояние; он шел вниз по течению реки, любуясь окрестностью, которая становилась все живописнее. Около полудня он очутился близ заводи, образовавшей некое подобие озера, осененного ивами. Он остановился, чтобы полюбоваться свежей и тенистой рощицей, взволновавшей его душу своей сельской прелестью. Из-за вершин деревьев виднелась соломенная, поросшая молодилом, кровля домика, прилегавшего к мельнице, которая приютилась у излучины реки. Единственным украшением этого незатейливого строения были кусты жасмина, жимолости и хмеля, а вокруг, среди тучных, густых трав, пестрели флоксы. На вымощенной щебнем плотине, выведенной на крепких сваях, способных выдерживать самые сильные паводки, сушились на солнце сети. За мельницей, у запруды, в прозрачном водоеме, между двумя бурлящими потоками, плавали утки. Доносился задорный шум мельничных колес. Поэт увидел сидевшую на простой скамье толстую добродушную женщину; она вязала, приглядывая за ребенком, который гонялся за курами.

— Голубушка,— сказал Люсьен, подходя к ней,— я страшно устал, меня лихорадит, а в кармане всего лишь три франка; не согласитесь ли вы покормить меня неделю хлебом и молоком и не разрешите ли поспать на сеновале? А я тем временем напишу родным, и они пришлют мне денег или приедут за мной.

— С охотой,— сказала она,— только бы муж согласился. Эй, муженек!

Мельник вышел, оглядел Люсьена и, вынув трубку изо рта, сказал:

— Три франка в неделю? Да лучше ничего с вас не брать.

«Как знать, не кончу ли я батраком на мельнице?»— сказал про себя поэт, наслаждаясь прелестным пейзажем, прежде чем лечь в постель, постланную для него мельничихой, и он заснул таким непробудным сном, что напугал хозяев.

— Ну-ка, Куртуа, поди погляди-ка, не помер ли наш гость? Вот уже четырнадцать часов, как он спит; я даже заглянуть к нему боюсь,— говорила на другой день около полудня мельничиха.

— А по мне,— отвечал мельник жене, оканчивая расставлять сети и рыболовные снасти,— так этот пригожий малый не иначе как какой-нибудь бродячий комедиант без единого су за душой.

— С чего ты это взял, муженек? — сказала мельничиха.

— Фу ты, да ведь он не князь, не министр, не депутат, не епископ, почему же у него руки, как у белоручки?

— Удивительно, как только голод его не пробудит,— сказала мельничиха, готовившая завтрак для гостя, посланного ей накануне случаем.— Комедиант? — повторила она.— Куда же он путь держит? Ярмарка в Ангулеме еще не открыта.

Ни мельник, ни мельничиха не могли представить себе, что, помимо комедианта, князя и епископа, существует человек, и князь и комедиант одновременно, человек, на которого возложена высокая миссия поэта, который, казалось бы, ничего не делает и, однако ж, властвует над человечеством, ежели сумеет его живописать.

— Кто же он такой? — сказал Куртуа жене.

— И не опасно ли его в доме держать? — спросила мельничиха.

— Э-э! Вор, тот зевать не стал бы, он бы уже обчистил нас,— возразил мельник.

— Я не князь, не вор, не епископ, не комедиант,— печально сказал внезапно появившийся Люсьен, который, как видно, услышал через окно разговор жены с мужем.— Я беден, иду пешком от самого Парижа и очень устал. Мое имя Люсьен де Рюбампре, я сын покойного

господина Шардона, бывшего аптекаря в Умо; господин Постэль его преемник. Моя сестра замужем за Давидом Сешаром, типографом, что живет на площади Мюрье в Ангулеме.

— Постойте-ка,— сказал мельник,— а не отцом ли ему приходится старый плут, что нажил себе изрядное именьице в Марсаке?

— Увы, да!

— Ну, и отец же, можно сказать,— продолжал Куртуа.— Говорят, он вконец разорил сына, а у самого добра, пожалуй, тысяч на двести, да еще в кубышке кое-что припрятано.

Когда душа и тело разбиты в долгой и мучительной борьбе, час наивысшего напряжения сил влечет за собой или смерть, или изнеможение, подобное смерти; однако натуры, способные к сопротивлению, черпают в нем свежие силы. Люсьен, находившийся в состоянии именно такого припадка, едва не умер, услыхав о несчастье, постигшем его зятя, Давида Сешара, хотя известие это не вполне дошло до его сознания.

— Сестра! — вскричал он.— Ах, что я натворил, презренный!

И, смертельно побледнев, он упал на деревянную скамью; мельничиха проворно принесла кувшин с молоком и заставила его выпить, но он обратился к мельнику с просьбой помочь ему добраться до постели, извиняясь заранее в том, что причинит ему хлопоты своей смертью,— он думал, что пришел его последний час. Чувствуя близ себя призрак смерти, этот прелестный поэт проникся религиозным настроением: он пожелал пригласить кюре, исповедаться и причаститься. Столь жалобные просьбы, высказанные слабым голосом и исходившие от такого очаровательного и стройного юноши, как Люсьен, тронули за живое г-жу Куртуа.

— А ну-ка, муженек, садись на коня и скачи в Марсак за врачом, господином Марроном, пускай он поглядит, что приключилось с мальчуганом; по мне, так он при последнем издыхании; заодно привези кюре; они, пожалуй, лучше твоего знают, что стряслось с типографом с площади Мюрье; ведь Постэль зятем приходится господину Маррону.

Куртуа пустился в путь; мельничиха, как все деревен-

ские люди, держалась того мнения, что больных прежде всего надо усиленно питать, а потому принялась усердно кормить Люсьена, и тот покорно принимал ее заботы. Жестокие угрызения совести терзали его; однако ж они оказались спасительными в его унынии, ибо послужили своего рода нравственной встряской.

Мельница Куртуа находилась на расстоянии одного лье от Марсака, главного местечка кантона, лежащего на полпути между Манлем и Ангулемом, поэтому добрый мельник быстро доставил врача и кюре из Марсака. Оба они слышали о связи Люсьена с г-жой де Баржетон, ведь в ту пору весь департамент Шаранты только и говорил, что об ее замужестве и возвращении в Ангулем с новым префектом Шаранты, графом Сикстом дю Шатле, а потому и врач и кюре, услыхав, что Люсьен находится у мельника, почувствовали неодолимое желание узнать, какие причины помешали вдове г-на де Баржетона выйти замуж за юного поэта, с которым она бежала, и разузнать, не для того ли он воротился на родину, чтобы выручить своего зятя, Давида Сешара. Таким образом, любопытство и человечность соединились, чтобы оказать помощь умирающему поэту. И вот через два часа после отъезда Куртуа Люсьен услыхал, как по мощеной плотине мельницы продребезжала плохонькая пролетка деревенского врача. Господа Марроны (врач приходился племянником кюре) не замедлили прибыть. Итак, Люсьен встретился с людьми, близкими к отцу Давида Сешара, насколько могут быть близки соседи в маленьком винодельческом поселке. Врач, осмотрев умирающего, проверив пульс, попросив его показать язык, взглянул на мельничиху с улыбкой, способной рассеять все тревоги.

— Госпожа Куртуа,— сказал он,— если у вас в погребе найдется бутылка доброго вина, в чем я не сомневаюсь, а в садке жирный угорь, угостите-ка больного. Он просто-напросто переутомлен, и мы быстро поставим на ноги нашего великого человека.

— Ах, сударь,— сказал Люсьен,— я болен не телом, а душой; эти славные люди убили меня, рассказав о несчастье, постигшем мою сестру, госпожу Сешар. Ваша дочь, судя по словам госпожи Куртуа, замужем за Постэлем; вы должны знать о делах Давида Сешара. Ради бога...

— Он, должно быть, арестован,— отвечал врач,— отец не пожелал ему помочь.

— Арестован! — сказал Люсьен.— По какой причине?

— Из-за каких-то векселей, присланных из Парижа. Он, видимо, о них забыл; говорят, он большой ротозей.

— Прошу вас, оставьте меня наедине со священником,— сказал поэт, сильно изменившись в лице.

Врач, мельник и его жена вышли. Когда Люсьен остался наедине со старым священником, он вскричал:

— Я достоин смерти и чувствую ее близость! Я презренный из презренных и лишь покаянием могу заслужить прощение. Я палач моей сестры и моего брата, ведь Давид Сешар был братом для меня! Я подделал подпись на векселях, которые Давид не мог оплатить... Я разорил его. Я жил в страшной нужде и забыл об этом подлоге. Дело, возбужденное в связи с этими векселями, было на время улажено благодаря помощи одного богача... Я думал, что он погасил векселя, но он, оказывается, ничего не сделал.

И Люсьен рассказал о своих несчастьях. Когда эта поэма, переданная в горячечной, поистине достойной поэта форме, была закончена, Люсьен стал умолять кюре съездить в Ангулем и выведать у Евы, его сестры, и у его матери, г-жи Шардон, истинное положение вещей, ибо он желал знать, возможно ли еще помочь им.

— До вашего возвращения, сударь,— сказал он, обливаясь горькими слезами,— я не умру. Ежели моя мать, ежели моя сестра, ежели Давид не отрекутся от меня, я буду жить!

Красноречие парижанина, слезы этого горького раскаяния, красота бледного, чуть ли не умирающего юноши, его отчаяние, рассказ о несчастьях, превышающих человеческие силы, все это возбудило в кюре сострадание и участие.

— В провинции, как и в Париже, сударь,— отвечал он ему,— слухам надобно верить лишь наполовину; не приходите же в отчаяние от пересудов, которые в трех лье от Ангулема, разумеется, чрезвычайно раздуты. Старик Сешар, наш сосед, несколько дней тому уехал из Марсака; он, очевидно, решил заняться делами сына. Я съезжу в Ангулем и на обратном пути сообщу, возможно

ли вам воротиться в семью. Ваше признание и раскаяние помогут мне заступиться за вас.

Кюре не знал, сколько раз за последние полтора года Люсьен раскаивался, и что его раскаяние, каким бы ни было оно горячим, было всего лишь превосходно разыгранной комедией, притом разыгранной искренне! Священника сменил врач. Признав у больного нервный припадок, опасность которого почти миновала, племянник, как и дядя, стал утешать больного и в конце концов убедил своего пациента подкрепить силы.

Кюре, зная край и привычный его уклад, воротился в Манль, куда вскоре должна была прибыть почтовая карета, идущая из Рюфека в Ангулем; в ней оказалось свободное место. Старый священник рассчитывал получить сведения о Давиде Сешаре от своего внучатого племянника Постэля, аптекаря в Умо, бывшего соперника типографа в любви к прекрасной Еве. Увидев, с какой предупредительностью толстяк-фармацевт бросился помочь старику выйти из ужасающей колымаги, которая в те времена обслуживала Рюфек и Ангулем, самый ненаблюдательный человек догадался бы, что супруги Постэль усматривали свое благосостояние в наследстве дядюшки.

— Вы завтракали? Не желаете ли закусить? А мы и не ждали вас, какая приятная неожиданность...

И сразу посыпались бесконечные вопросы. Г-же Постэль самой судьбой предопределено было стать женой аптекаря в Умо. Ростом с коротышку Постэля, мощного сложения, краснощекая, она была настоящая деревенская девушка, и вся ее красота состояла в чрезвычайной свежести. Рыжие волосы, почти скрывавшие лоб, повадки и говор, вполне соответствовавшие простоватому выражению ее круглого лица, глаза чуть ли не желтые — короче, все в ней говорило, что женились на ней в надежде на деньги. Итак, после первого же года замужества она командовала в доме и, видимо, полновластно управляла Постэлем, который был чрезвычайно счастлив, обретя такую богатую наследницу. Г-жа Леони Постэль, урожденная Маррон, кормила грудью сына, безобразного младенца, похожего и на отца и на мать, любимца старого кюре, врача и Постэля.

— Какие же у вас, дядюшка, дела в Ангулеме, что

вы даже отведать ничего не желаете? — сказала Леони.— Едва переступили порог и уже собираетесь уйти.

Когда почтенный церковнослужитель произнес имена Евы и Давида Сешара, Постэль покраснел, а Леони метнула в муженька ревнивый взгляд, присущий женщинам, которые держат мужей под башмаком и в интересах будущего всегда настороженно относятся к прошлому.

— Чем вы обязаны этим людям, дядюшка, что так печетесь о их делах? — сказала Леони с явной досадой.

— Они несчастны, дочь моя,— отвечал кюре и рассказал Постэлю, в каком положении он нашел Люсьена на мельнице Куртуа.

— Те-те-те! Так вот в каком виде он возвращается из Парижа! — вскричал Постэль.— Бедняга! А ведь он неглуп и к тому же честолюбив! Тянулся за хлебом — получил камень. Но зачем он воротился? Сестра его в страшной нужде, потому что все эти гении, все эти Давиды и Люсьены ничего не смыслят в делах. В коммерческом суде мы рассматривали его дело, и мне, как судье, пришлось подписать приговор! Тяжело мне было! Не знаю, можно ли Люсьену при нынешних обстоятельствах явиться к сестре; но, во всяком случае, комнатка, которую он когда-то занимал, свободна, и я ему с охотою ее предложу.

— Хорошо, Постэль,— сказал священник, надевая свою треуголку, и прежде чем выйти из лавки, он поцеловал младенца, спавшего на руках Леони.

— Вы, конечно, отобедаете с нами, дядюшка,— сказала г-жа Постэль.— Ведь вам немало предстоит хлопот, ежели вы желаете распутать дела этих людей. Муж отвезет вас в своей двуколке.

Супруги смотрели вслед своему дражайшему дядюшке, который направился в Ангулем.

— А он еще глядит молодцом для своих лет,— сказал аптекарь.

Покамест почтенный пастырь подымается по ангулемским склонам, небесполезно разъяснить, в какое сплетение интересов он намеревался войти.

После отъезда Люсьена в Париж Давид Сешар, этот мужественный и разумный вол, подобный тому, которо-

го живописцы дают в спутники евангелисту, задумал быстро составить большое состояние не столько ради себя сколько ради Евы и Люсьена, о чем он стал мечтать в тот вечер, когда они с Евой сидели у плотины на берегу Шаранты и она отдала ему руку и сердце. Окружить жену вниманием и роскошью, среди которой ей так пристало жить, мудро руководить честолюбием своего брата — такова была программа, начертанная огненными письменами перед его умственным взором. Газеты, политика, мощное развитие книжной торговли и литературы, развитие науки, стремление ставить на общее обсуждение все нужды страны, общественное движение, вспыхнувшее в то время, когда Реставрация, по-видимому, упрочилась,— все это требовало бумаги чуть ли не в десять раз больше по сравнению с тем количеством ее, на которое в начале Революции рассчитывал знаменитый Уврар, движимый подобными же соображениями. Но в 1821 году бумажные фабрики во Франции были чересчур многочисленны, чтобы надеяться объединить их в одних руках, как это сделал Уврар, который завладел самыми крупными фабриками, предварительно скупив всю их продукцию. Притом у Давида не было ни предприимчивости, ни капиталов, необходимых для подобной спекуляции. В ту пору в Англии уже вводились машины для производства рулонной бумаги. Стало быть, самой насущной нуждой было приспособить бумажную промышленность к потребностям французской цивилизации, которая грозила все подвергнуть обсуждению и покоилась на постоянном обмене личными мнениями,— истинное бедствие, ибо народы, предающиеся рассуждениям, чрезвычайно мало действуют. Итак,— удивительное дело!—в то время как Люсьена втягивал в себя гигантский механизм журналистики, грозя в прах стереть его честь и разум, Давид Сешар изучал в тиши своей типографии развитие периодической печати со стороны ее технического процесса. Он желал согласовать средства техники и развитие печати в соответствии с духом времени. Он был совершенно прав, полагая найти свое благосостояние в производстве дешевой бумаги, ибо события оправдали его предвидение. За последние пятнадцать лет в контору по выдаче патентов на изобретения поступило более ста заявлений от лиц, притязавших на открытие

нового способа изготовления бумаги. Уверенный, как никогда ранее, в полезности этого скромного, но чрезвычайно прибыльного открытия, Давид, после отъезда шурина в Париж, весь ушел в те бесконечные заботы, которые причиняла эта задача каждому, кто пытался бы ее разрешить. Расходы, связанные с женитьбой и отъездом Люсьена, поглотили все его сбережения; и с первых же дней своей семейной жизни он оказался в чрезвычайно стесненном положении. Он отложил тысячу франков на нужды типографии и столько же занял под вексель у аптекаря Постэля. Итак, двойная задача стояла перед этим глубоким мыслителем: надо было изобрести дешевый состав бумаги, и изобрести без промедления; словом, требовалось приложить выгоды открытия к нуждам своих близких и своего дела. Каким же эпитетом наградить ум, способный отрешиться от мучительных забот, причиняемых нищетой, тщательно скрываемой, и зрелищем голодной семьи, повседневными требованиями труда, столь кропотливого, как труд печатника, и парить в области неведомого, пытаясь с самозабвенной страстью ученого уловить тайну, изо дня в день ускользающую от самых искусных изысканий? Увы! Как будет видно, немало еще других горестей выпадает на долю изобретателей, не говоря уже о неблагодарности толпы, которой всякие бездарности и лентяи твердят о гениальном человеке: «Он родился изобретателем и никем иным быть не мог. За его открытия мы обязаны ему не больше, нежели принцу за то, что он родился принцем. Он воспользовался своими природными дарованиями! Да он уже и обрел награду в своем труде».

Замужество для девушки является большим нравственным и физическим переломом; притом замужество в условиях мещанской жизни обязывает девушку войти в круг совершенно новых для нее интересов и дел, стало быть, какое-то время она обречена наблюдать, а не действовать. Любовь Давида к жене отдалила, к сожалению, ее участие в делах мужа, ибо он не осмелился посвятить в них Еву ни на другой день после свадьбы, ни в последующие дни. Несмотря на отчаянную нужду, на которую обрекла его скупость отца, он не решался омрачить медовый месяц унылым обучением Евы своему трудному ремеслу и преподать ей сведения, необходи-

мые для жены всякого коммерсанта. Таким образом, тысяча франков — все их состояние — была поглощена не столько типографией, сколько хозяйством. Беспечность Давида и неведение его жены длились четыре месяца! Пробуждение было ужасно. Когда наступил срок уплаты по векселю, выданному Давидом аптекарю Постэлю, у молодоженов не оказалось денег, но причина, по которой они очутились в долгу, была хорошо известна Еве, и, чтобы вовремя рассчитаться, она пожертвовала и свадебными подарками и семейным серебром. В тот день, когда вексель был погашен, Ева решилась вечером поговорить с Давидом о делах, так как заметила, что он вовсе забросил типографию ради изобретения, о котором говорил ей недавно. Шел всего только второй месяц со дня свадьбы, а Давид уже стал проводить большую часть времени в пристройке в глубине двора, в конурке, приспособленной для отливки валиков. Через три месяца по своем возвращении в Ангулем он заменил мацы для накатки краски — кипсеем с доской и цилиндром, который механически растирает краску и наносит ее на форму с помощью эластичных валиков, сваренных из рыбьего клея и патоки. Это первое усовершенствование в типографском деле было столь неоспоримым, что братья Куэнте воспользовались им, лишь только увидели все его выгоды. Давид установил у внутренней стены своей своеобразной кухни печь с медным котлом, полагая таким путем уменьшить расход угля при переливке валиков, заржавевшие формы которых выстроились вдоль стены, но, впрочем, он не переливал их и двух раз. Он не только оградил эту конурку крепкой дубовой дверью, изнутри обитой листовым железом, но еще заменил грязные оконные стекла, сквозь которые все же проникал взгляд, рифленьми, чтобы со двора не было видно, над чем он трудится. Но как только Ева заговорила о их будущем, Давид с тревогой взглянул на жену и, прервав ее, сказал:

— Дитя мое, я знаю, на какие мысли должна тебя наводить заброшенная мастерская и видимость застоя в моих торговых делах. Но, видишь ли,— продолжал он, подводя ее к окну спальни и указывая на таинственную лачугу,— наше богатство там... Нам доведется помучиться еще несколько месяцев; но будем терпеливы! Дозволь

мне разрешить промышленную задачу, известную тебе, и тогда все наши бедствия окончатся.

Давид был так добр, в преданность его можно было поверить на слово, и бедная женщина, волнуемая, как все женщины, повседневными расходами, приняла на себя труд избавить мужа от хозяйственных забот. Итак, она покинула прелестную бело-голубую комнату, где, беседуя с матерью, занималась рукоделием, и спустилась в одну из двух деревянных клеток в углу мастерской, чтобы изучить деловой механизм типографии. И разве это не было героизмом со стороны женщины, уже беременной? В течение первых месяцев после женитьбы Давида рабочие, до той поры необходимые в деле, покинули один за другим бездействующую типографию. Братья Куэнте, заваленные заказами, нанимали не только местных мастеровых, прельщенных возможностью хорошего поденного заработка, но и рабочих из Бордо, откуда являлись преимущественно подмастерья, считавшие себя мастерами достаточно искусными, чтобы миновать годы ученичества. Исследуя средства, какими еще располагала типография Сешара, Ева обнаружила, что там всего лишь три работника. Прежде всего Серизе — подмастерье, которого Давид привез с собою из Парижа; потом Марион, привязанная к дому, как дворовый пес; наконец Кольб, эльзасец, в прошлом чернорабочий в типографии господ Дидо. Будучи призван на военную службу, Кольб случайно попал в Ангулем, и там, на военном параде, незадолго до окончания срока его службы, Давид увидел его и узнал. Кольб навестил Давида и пленился толстухой Марион, открыв в ней все качества, какие человек его сословия ищет в женщине: могучее здоровье, пышущее на щеках румянцем кирпичного оттенка, мужскую силу, которая позволяла Марион с легкостью подымать тяжелую форму с набором, щепетильную честность, которую весьма ценят эльзасцы, преданность хозяевам, что свидетельствует о покладистом характере, и наконец бережливость, которой она обязана была капитальцем в тысячу франков, бельем, платьями и кое-какими другими вещами, которые она содержала с чисто провинциальной опрятностью. Марион, дородная и мощная женщина лет тридцати шести, была польщена вниманием статного, крепкого, как бастион, кирасира, ростом

в пять футов семь дюймов, и, естественно, надоумила его стать печатником. Когда эльзасец отбыл срок службы, Марион и Давид сделали из него довольно благовоспитанного Медведя, не умевшего, однако ж, ни читать, ни писать. Набор так называемых городских заказов в эти три месяца не настолько был обременителен, чтобы Серизе один не мог с ним справиться. Одновременно наборщик, метранпаж и фактор, Серизе осуществлял то, что Кант именует чудесной тройственностью: он набирал, сам правил корректуру, записывал заказы и составлял счета; но чаще он сидел без дела и читал романы в своей клетке в углу мастерской в ожидании заказа на какую-нибудь афишу или пригласительные билеты. Марион, вышколенная Сешаром-отцом, подготовляла бумагу, смачивала ее, помогала Кольбу печатать, складывать и обрезать листы, притом она хлопотала в кухне, а поутру ходила на рынок.

Когда Ева потребовала у Серизе отчета за первые полгода, оказалось, что доход был равен восьмистам франкам. Расход же только на поденную оплату Серизе и Кольба,— что составляло три франка в день, из которых первый получал два франка, а второй один франк в день,— достигал шестисот франков. А так как стоимость материала по выполненным и сданным заказам доходила до ста с лишним франков, для Евы стало ясно, что в первое полугодие их семейной жизни Давид понес ущерб, выразившийся в том, что он не оплатил помещение, лишился процентов с капитала, представляемого ценностью оборудования и патента, словом, того дохода, который обычно имеет печатник; он не выдал жалованье Марион, израсходовался на краску, на множество мелочей, именуемых печатниками *прикладом*,— выражение, обязанное своим происхождением тем квадратным кускам сукна или шелка, что употребляются в качестве прокладки между пианом печатного станка и бумагой (декельная обтяжка), чтобы придать больше упругости винту при нажиме на шрифт. Представив себе в общих чертах возможности типографии и ее производительность, Ева поняла, какие малые блага сулит эта мастерская, истощенная всепожирающей деятельностью братьев Куэнте, одновременно бумажных фабрикантов, издателей, печатников, обслуживающих епископство, го-

род и префектуру. Газетка, которую два года назад Сешары, отец и сын, продали за двадцать две тысячи франков, нынче приносила годового дохода восемнадцать тысяч франков. Ева угадала расчеты, скрытые под мнимым великодушием братьев Куэнте, которые предоставляли типографии Сешара достаточно работы, чтобы она могла существовать, но не настолько, чтобы с ними соперничать. Приняв на себя ведение дел, Ева прежде всего составила полную опись типографского оборудования. Она приказала Кольбу, Марион и Серизе прибрать в мастерской, вычистить и привести все в порядок. Затем однажды вечером, когда Давид после прогулки по полям воротился домой в сопровождении старухи, которая несла за ним огромный узел с травами, Ева обратилась к нему за советом, каким образом извлечь пользу из той рухляди, что им оставил отец Сешар, и обещала самостоятельно вести дело. По совету мужа г-жа Сешар рассортировала всю бумагу, какая еще оставалась в типографии, и пустила ее в ход, чтобы печатать в две колонки, на одной стороне листа, популярные народные легенды с раскрашенными картинками, которые крестьяне наклеивают на стенах своих хижин, как-то «Вечный Жид», «Роберт-Дьявол», «Прекрасная Магелона», сказания о чудесах. Кольб стал у Евы разносчиком. Серизе не терял ни минуты; с утра до вечера он набирал эти наивные тексты с грубыми рисунками. Марион их печатала. Г-жа Шардон взяла на себя все заботы по дому, в то время как Ева раскрашивала картинки. В два месяца, благодаря предприимчивости Кольба и его честности, три тысячи лубочных картинок г-жи Сешар были распространены на двенадцать лье в окружности Ангулема и принесли доходу триста франков, из расчета по два су за экземпляр, между тем как изготовление их обошлось в тридцать франков. Но когда все окрестные лачуги и кабачки расцветились этими легендами, надо было затеять какое-нибудь новое дело, так как эльзасец не мог выезжать за пределы округа. Ева, перетряхнув решительно все в типографии, нашла там полный набор клише, необходимых для напечатания так называемого «Пастушеского календаря», в котором все содержание представлено в знаках, рисунках, гравюрах в красную, черную и голубую краску. Старик Сешар, который сам не умел

ни читать, ни писать, нажил в свое время немало денег на этом издании, предназначенном для неграмотных. Этот календарь, который продается за одно су, состоит из листа, сложенного в шестьдесят четыре раза, что представляет собой книгу в шестьдесят четвертую долю листа в сто двадцать восемь страниц. Обрадованная успехом своих лубочных картинок, изданием которых занимаются главным образом мелкие провинциальные типографии, г-жа Сешар задумала поставить издание «Пастушеского календаря» на широкую ногу, вложив в него все свои барыши. Бумага «Пастушеского календаря», который расходится ежегодно во Франции в многомиллионном тираже, грубее бумаги «Льежского календаря» и стоит около четырех франков за стопу. По выходе из печати эта стопа, содержащая в себе пятьсот листов, продается, стало быть, по одному су за лист и приносит двадцать пять франков прибыли. Г-жа Сешар решила истратить на первое издание сто стоп, что дало бы пятьдесят тысяч календарей и прибыль в две тысячи франков. Рассеянный, как всякий человек, поглощенный своей работой, Давид был изумлен, когда, заглянув в мастерскую, услыхал скрип станка и увидел за работой Сеизе, который, не присаживаясь, набирал под наблюдением г-жи Сешар. День, когда он зашел в мастерскую, заинтересовавшись начинанием Евы, был днем ее великого торжества, ибо ее муж нашел, что издание календаря — превосходное дело. Притом Давид обещал ей помочь советом в выборе красок, требующихся для расцветки рисунков этого календаря, где все должно говорить глазу. Наконец он взялся собственноручно перелить валики в своей таинственной мастерской, чтобы по мере сил помочь жене в этом небольшом, но важном для нее предприятии.

В начале этой кипучей деятельности Сешары стали получать от Люсьена отчаянные письма, в которых он жаловался матери, сестре и зятю на невзгоды и свое бедственное положение в Париже. Понятно, что, посылая тогда этому балованному ребенку триста франков, Ева, г-жа Шардон и Давид лишались ради поэта буквально своего последнего куска хлеба. Удрученная письмами брата и обескураженная тем, что ее самоотверженный труд так мало приносит ей пользы, Ева со стра-

хом ожидала события, которое обычно приносит столько радости молодой чете. Зная, что ей предстоит стать матерью, она спрашивала себя: «Что станется с нами, если до рождения ребенка мой милый Давид не завершит своих изысканий? Дела нашей бедной типографии лишь начинают налаживаться, кто же ими займется?»

«Пастушеский календарь» должен был выйти в свет гораздо раньше первого января, но Серизе, на котором лежал весь набор, запаздывал и приводил г-жу Сешар в отчаяние, тем более что она не настолько знала типографское дело, чтобы делать ему выговоры, и довольствовалась тем, что наблюдала за молодым парижанином. Серизе, питомец парижского Воспитательного дома, попал в ученики к господам Дидо. С четырнадцати до семнадцати лет он был Сеидом Сешара, который отдал его под начало одному из самых искусных мастеров и обратил его в своего баловня, в своего типографского пажа; Давид принял участие в Серизе, подметив в нем живой ум, и завоевал его привязанность, доставляя ему кое-какие развлечения и угощая сластями, недоступными беднякам. Природа наделила Серизе неправильной, но смазливой рожицей, копной рыжих волос, тусклыми голубыми глазами, а Париж привил ему замашки уличного мальчишки, от которых он не освободился и в столице Ангумуа. Живой, насмешливый ум и лукавство делали его опасным. В Ангулеме Давид ослабил надзор за своим питомцем, потому ли, что, войдя в возраст, Серизе внушал больше доверия своему наставнику, потому ли, что типограф понадеялся на влияние провинции, но его питомец, таясь, впрочем, от опекуна, обратился в настоящего Дон-Жуана в фуражке, обольстил трех-четырех молоденьких мастериц и совершенно развратился. Нравственность его, дочь парижских кабачков, вменяла личную выгоду в единственный закон. Потому-то Серизе, который в следующем году должен был, по народному выражению, тянуть жребий, жил в свое удовольствие; он вошел в долги, рассудив, что через шесть месяцев его возьмут в солдаты и тогда никакой заимодавец его не сыщет. Давид сохранил еще некоторую власть над Серизе не потому, что был его хозяином, не потому, что принимал в нем участие, но потому, что бывший парижский мальчишка уважал Давида за его светлый ум. Серизе

не замедлил завязать дружбу с мастеровыми братьев Куэнте, привлеченный обаянием рабочей куртки и блузы, короче, сословным духом, выраженным, пожалуй, острее в низших слоях общества, нежели в высших. В этом общении он утратил и то немногое из добрых правил, которые сумел внушить ему Давид; все же, когда кто-нибудь пробовал подтрунить над *деревяшками*,— как Медведи презрительно именовали допотопные станки Сешаров,— и начинал кичиться целой дюжиной великолепных металлических станков, которые обслуживали мастерскую Куэнте, где на единственном деревянном станке тискали лишь корректурные листы, Серизе все же становился на сторону Давида и гордо бросал в лицо зубоскалам: «На своих *деревяшках* мой Простак ускачет дальше, чем вы на ваших стальных *прыгунчиках*, от которых только и толку, что церковные требники! Он ищет разгадку одной тайны, а ежели найдет, так за пояс заткнет всех печатников Франции и Наварры!..» — «А покуда, горе-фактор, платят тебе сорок су и командует тобой прачка!» — отвечали ему. «Ну, что ж, она красотка,— возражал им Серизе,— посмотреть на нее любо, не то что на рожи ваших хозяев».— «Что ж, ты сыт ее красотой?» Из кабачка и от ворот типографии, где происходили эти дружеские пререкания, до братьев Куэнте дошли кое-какие слухи о положении дел в типографии Сешара; узнали они и о предприятии Евы и сочли необходимым положить конец ее затее, которая могла вывести бедную женщину из нужды. «Дадим-ка ей по рукам, чтобы отбить охоту к торговым делам»,— сказали себе братья Куэнте. Один из братьев Куэнте, а именно тот, который руководил типографией, нашел случай встретиться с Серизе и предложил ему править для них корректуры, под предлогом, что их корректор якобы не справляется с чересчур большой работой. Серизе, потрудившись несколько часов ночью, получил от братьев Куэнте гораздо больше, чем он получал у Давида Сешара, работая целый день. Между Куэнте и Серизе установились некоторые отношения, и братья не преминули похвалить его блестящие способности и посетовать, что такой смышленый малый поставлен в такие незавидные условия.

— Вы могли бы,— сказал ему однажды один из Ку-

энте,— работать фактором в солидной типографии и получать шесть франков в день, а при вашей сметливости вы вошли бы в конце концов участником в дело.

— А какой мне толк в том, что я сметлив? — отвечал Серизе.— Я сирота, в будущем году меня призывают, и если я вытяну жребий, кто поставит за меня рекрута?..

— Ежели вы будете полезны,— отвечал богач-типограф,— почему бы вам отказать в сумме, необходимой для вашего освобождения?

— Уж не мой ли Простак меня освободит? — сказал Серизе.— Разве что он откроет секрет...

Фраза эта была сказана таким тоном, что могла пробудить самые дурные мысли у того, кто ее слышал: недаром Серизе окинул бумажного фабриканта взглядом, красноречивей любого вопроса.

— Не знаю, чем он занят,— осторожно заговорил Серизе, видя, что буржуа молчит,— но не такой он человек, чтобы искать золото в наборной кассе!

— Послушайте-ка, любезный,— сказал типограф, протягивая ему шесть листов молитвенника, печатавшегося для епархии,— ежели вы успеете выправить эти листы к завтрашнему дню, получите восемнадцать франков. Мы люди не зловредные и не будем препятствовать фактору нашего соперника заработать несколько лишних су! Кстати, госпожа Сешар решила, как видно, вложить все свои средства в «Пастушеский календарь»... Да ведь для нее это чистое разоренье!.. Казалось бы, затея нам на руку? Ан, нет! Напротив, можете предупредить, что мы тоже издаем «Пастушеский календарь»... Пускай знает, что не она первая будет на рынке...

Теперь не мудрено понять, почему Серизе так медлил с набором календаря.

Еву охватил ужас, когда она узнала, что Куэнте расстраивают ее скромное начинание, и все же в довольно лицемерном сообщении Серизе о грозящем ей соперничестве она пыталась усмотреть доказательство преданности; однако она скоро приметила, что ее единственный наборщик проявляет чересчур живую любознательность, которую, впрочем, она склонна была оправдать его возрастом.

— Серизе,— сказала она ему однажды утром,— вместо того, чтобы закончить набор нашего календаря, вы

вечно торчите подле двери, поджидая господина Сешара. Любопытствуя узнать, что он там скрывает, вы выслеживаете его во дворе, когда он выходит из мастерской для отливки валиков. Как все это дурно! Ведь даже я, его жена, уважаю, как вы видите, его тайну и несу непосильный труд, лишь бы он мог спокойно окончить работу. Если бы вы не теряли попусту столько времени, календарь был бы уже издан, Кольб продавал бы его. Куэнте не могли бы причинить нам вреда.

— Э-э, полно вам, сударыня,— отвечал Серизе.— Неужто для вас мало того, что я, за ваши сорок су в день, набираю на сто су? Помилуйте, не вычитывай я вечерами корректуру для братьев Куэнте, мне пришлось бы питаться воздухом!

— Так молоды и так неблагодарны! Вы далеко пойдете,— отвечала Ева, глубоко уязвленная не столько упреками Серизе, сколько грубостью его тона, вызывающей позой и дерзким взглядом.

— Далеко ли уйдешь, коли хозяин — баба; у них на неделе семь пятниц!

Ева, оскорбленная в своем женском достоинстве, кинула на Серизе негодующий взгляд и поднялась к себе. Когда Давид пришел обедать, она сказала ему:

— Ты уверен, мой друг, в этом сорванце Серизе?

— В Серизе? — отвечал он.— Но, помилуй, я воспитал этого мальчугана, за наборную кассу его поставил, приучил держать корректуру, словом, он мне всем обязан! Неужто спрашивают у отца, уверен ли он в своем сыне?

Ева сказала мужу о том, что Серизе правит корректуру для Куэнте.

— Бедный мальчуган! Нужно же ему на что-то жить,— отвечал Давид с покорностью хозяина, который чувствует свою вину.

— Да, мой друг, но как не схожи между собой Кольб и Серизе! Кольб каждый день исхаживает по двадцать лье, расходует пятнадцать — двадцать су, домой приносит семь-восемь, а порой и девять франков выручки за проданные картинки и никогда ничего не попросит сверх двадцати су — оплаты его расходов. Кольб скорее даст себе руку отсечь, чем прикоснется к станку Куэнте. Озолоти его, он не станет рыться в отходах, ко-

торые ты выбрасываешь во двор, а Серизе подбирает их и рассматривает.

Высокие души с трудом допускают существование зла и неблагодарности, и нужны жестокие жизненные уроки, чтобы они познали всю глубину человеческой низости; потом, когда их обучение в этом смысле закончено, они возвышаются до той снисходительности, которая является высшей степенью презрения.

— Э-э, полно! Пустое любопытство парижского мальчишки,— сказал Давид.

— А ну-ка, друг мой, сделай одолжение, сойди в мастерскую да посмотри, насколько преуспел в наборе твой мальчишка в последний месяц, и скажи мне, можно ли было за это время выпустить наш календарь...

Окончив обед, Давид получил возможность убедиться, что календарь можно было выпустить за неделю; притом он узнал, что Куэнте готовят подобный же календарь, и решил оказать помощь жене: он приказал Кольбу приостановить продажу лубочных картинок и сам взялся руководить мастерской; он пустил станок, на котором Кольб должен был работать вместе с Марион, а сам стал с Серизе за другой, наблюдая за многокрасочной печатью. Каждая окраска требует отдельного отпечатка. Так, рисунок в четыре краски надо тиснуть четыре раза. «Пастушеский календарь» обходится, таким образом, чрезвычайно дорого, и выпускают его исключительно провинциальные типографии, где стоимость рабочих рук и проценты на вложенный в дело капитал чересчур низки. Вот почему это весьма незатейливое издание недоступно типографиям, выпускающим изящные издания. Впервые с той поры, что старик Сешар вышел из дела, в старой мастерской заработали два станка. Хотя календарь был в своем роде образцовым произведением, Ева, однако, вынуждена была пустить его в продажу по два лиара за штуку, потому что братья Куэнте уступали разносчикам свой календарь по три сантима; убытки она возместила на розничной торговле, заработав на календарях, проданных непосредственно Кольбом; но все же затея не оправдала себя. Заметив недоверчивое к себе отношение прекрасной хозяйки, Серизе переложил всю вину на нее и сказал про себя: «А-а! Ты меня подозреваешь? Так я же тебе отомщу!» Таков уж нрав париж-

ского мальчишки. Итак, Серизе стал принимать от братьев Куэнте явно чрезмерное вознаграждение за правку корректур, которые он получал каждый вечер в конторе типографии и которые поутру сдавал. Сталкиваясь с братьями Куэнте изо дня в день, он сблизился с ними и в конце концов поверил в возможность освобождения от военной службы, послужившую ему приманкой, и, прежде чем братья Куэнте успели его подкупить, он сам предложил им шпионить за Давидом и воспользоваться его изобретением.

Ева, встревоженная тем, что она так мало могла положиться на Серизе, и, не надеясь найти другого Кольба, решила отказать единственному наборщику, в котором внутренним зрением любящей женщины видела предателя; но это было бы равносильно смерти для типографии, и она приняла мужественное решение: она написала письмо г-ну Метивье, парижскому посреднику Давида Сешара, Куэнте и почти всех местных бумажных фабрикантов, и попросила его поместить в парижском «Журналь де либрери» следующее объявление: «Продается типография на полном ходу, со всем оборудованием и патентом, в Ангулеме. Об условиях справиться у г. Метивье, улица Серпант». Получив номер газеты, где напечатано было это объявление, Куэнте сказали себе: «Эта женщина не лишена сметливости, пришло время нам самим взять в руки эту типографию, а ей предоставить кое-какие средства на жизнь, иначе в преемнике Давида мы рискуем получить соперника, а в наших интересах держать соглядатая в этой мастерской». Утвердившись в подобных мыслях, братья Куэнте явились однажды для переговоров с Давидом Сешаром. Ева — а именно к ней обратились братья — почувствовала живейшую радость, видя, какое быстрое действие оказала ее уловка, ибо Куэнте не скрыли от нее, что целью их посещения служит намерение предложить господину Сешару работать на них: они, дескать, загружены заказами, чтобы с ними справиться, их станков недостаточно; они выписывают мастеров из Бордо и могут загрузить работой все три станка Давида.

— Господа,— говорила она братьям Куэнте, пока Серизе ходил извещать Давида о приходе его собратьев по ремеслу,— мой муж знавал у господ Дидо превосходных

мастеров, честных и деятельных, он, конечно, выберет преемника из их числа... Не лучше ли продать предприятие за двадцать тысяч франков, что сулит тысячу франков годовой ренты, чем терять тысячу франков в год на заказах, которые вы будете нам передавать? И почему календарь, наше маленькое, скромное предприятие, вызывает такую зависть? Ведь, к слову сказать, он всегда печатался нашей типографией.

— Да почему же вы не предупредили нас, сударыня? Мы не стали бы вам поперек дороги,— любезно сказал тот из братьев, которого прозвали Куэнте-большой.

— Помилуйте, господа, вы начали издание своего календаря, как только узнали от Серизе, что мы уже издаем такой календарь...

Она произнесла эти слова с горячностью, устремив взгляд на Куэнте-большого, и он опустил глаза. Тут она убедилась в измене Серизе.

Этот Куэнте, ведавший и бумажной фабрикой и всеми оборотами фирмы, был дельцом гораздо более ловким, нежели его брат Жан, который, впрочем, с большим уменьем руководил типографией, но способности его можно было уподобить таланту полковника, между тем как Бонифас был генералом, которому Жан уступал главное командование. Бонифас, сухой и тощий, с лицом желтым, как восковая свеча, к тому же испещренным красными пятнами, с поджатыми губами, с кошачьими глазами, никогда не выходил из себя; он выслушивал с невозмутимостью святого самые обидные оскорбления и отвечал на них елейным голосом. Он исправно ходил в церковь ко всем службам, исповедовался и причащался. Под вкрадчивыми манерами, под внешней вялостью он таил упорство, властолюбие священника и алчность купца, томимого жаждой обогащения и почестей. В 1820 году Куэнте-большой мечтал о том, что буржуазия завоевала лишь после революции 1830 года. Исполненный ненависти к аристократии, равнодушный к вопросам религии, он был таким же святошей, как Бонапарт монтаньяром. Он гнул спину с чудесной гибкостью перед знатью и начальством, изображая собою ничтожество, смиренника и угодника. Короче, чтобы обрисовать этого человека одним штрихом, значение которого оценят искушенные в делах люди, надобно сказать, что он носил си-

ние очки по той якобы причине, что они защищают глаза от солнечного света, обычно резкого в городе, где почва известковая и столько белых зданий, притом расположенного в высокой местности. В действительности же под этими синими очками он прятал свой взгляд. Хотя он был немного выше среднего роста, он казался высоким из-за своей худобы, которая свидетельствовала о здоровье, надорванном работой, и о постоянной взволнованности мысли. Его иезуитский облик довершали прямые, длинные, бесцветные волосы, подстриженные, как у церковнослужителя, и одежда, которая вот уже семь лет состояла из черных панталон, черных чулок, черного жилета и коричневого суконного *левита* (так на юге называют сюртук). Прозвали его Куэнте-большой в отличие от брата, которого звали Куэнте-толстый, подчеркивая тем различие как во внешности, так и в способностях братьев, равно, впрочем, опасных. И верно, Жан Куэнте, благодушный толстяк с обличьем фламандца, обожженный ангулемским солнцем, коренастый и коротконогий, толстобрюхий, как Санчо, с вечной ухмылкой, широкоплечий, являл собою полную противоположность старшему брату. Жан отличался от Бонифаса не только складом лица и свойствами ума, он щеголял своими воззрениями, чуть ли не либеральными, он принадлежал к *левому центру*, слушал мессу лишь в воскресенье и превосходно уживался с либеральным купечеством. В Умо находились торговые люди, которые утверждали, что расхождение братьев во мнениях было явным комедиантством. Куэнте-большой ловко пользовался обманчивой внешностью брата; Жан служил для него своего рода дубинкой. Жан возлагал на себя щекотливые разговоры, продажу имущества с торгов, короче, все то, что претило кроткому нравом брату. В ведении Жана был департамент гневливости, он горячился, он выкрикивал столь несуразные предложения, что даже условия его братца начинали казаться приемлемыми, и таким путем они рано или поздно достигали своего.

Ева чисто женским чутьем вскоре разгадала характер братьев; она держалась настороженно в присутствии столь опасных противников. Давид, предупрежденный женой, выслушивал предложения своих врагов с крайне рассеянным видом.

— Вам следует говорить об этом с моей женой,— сказал он обоим Куэнте, выходя из застекленной клетки и вновь направляясь в свою крошечную лабораторию,— она ведет дела типографии лучше меня самого. Я поглощен делом более прибыльным, нежели это жалкое предприятие, и надеюсь в скором времени возместить убытки, которые я понес по вашей вине...

— Как вы изволили сказать? — спросил, смеясь, Куэнте-толстый.

Ева взглянула на мужа, как бы умоляя его соблюдать осторожность.

— Да, да, вы еще будете мне дань платить, вы и вкупе с вами все потребители бумаги,— отвечал Давид.

— Но позвольте, что же вы такое изобретаете? — спросил Бенуа-Бонифас Куэнте.

Когда Бонифас, состроив самую елейную мину, сладчайшим голосом задал этот вопрос, Ева опять взглянула на мужа, пытаясь этим взглядом внушить ему, что отвечать не надо, а если и отвечать, то какой-нибудь незначащей фразой.

— Я ищу способ наполовину снизить стоимость производства бумаги...

И он вышел, не заметив, как переглянулись между собою братья, словно говоря: «Он, безусловно, изобретатель; человек такого склада не может быть бездельником!» «Воспользуемся его изобретением»,— сказал Бонифас. «Но каким путем?» — спросил Жан.

— Давид держит себя с вами так же, как и со мной,— сказала г-жа Сешар.— Когда я любопытствую, он, конечно, помня, что меня зовут Ева, отвечает мне подобными же фразами: но, право, все это лишь мечтания...

— Ежели ваш супруг надеется осуществить свои мечтания, он, бесспорно, разбогатеет скорее, чем работая в типографии, и меня больше не удивляет, что он не радеет об этом заведении,— заметил Бонифас и, оборотившись, заглянул в мастерскую, где Кольб, в одиночестве сидя на доске для обрезывания бумаги, натирал зубчиком чеснока ломоть хлеба.— Однако ж мы отнюдь не радовались бы, видя вашу типографию в руках расторопного соперника, пронырливого, честолюбивого; возможно, мы с вами еще столкуемся? Допустим,— я говорю это только к примеру,— вы согласитесь за определенную

сумму отдать ваше оборудование в аренду какому-нибудь нашему мастеру, который будет работать под вашей фирмой, как водится в Париже. Мы поддержали бы малого, дали бы ему возможность платить вам солидную сумму за аренду, да и ему оставались бы кое-какие барыши...

— Все зависит от суммы,— отвечала Ева Сешар.— Сколько же вы предлагаете? — прибавила она, взглядом давая понять Бонифасу, что отлично понимает его уловки.

— А каковы ваши претензии? — с живостью отозвался Жан Куэнте.

— Три тысячи франков в полугодие,— сказала она.

— Помилуйте, хорошая вы моя дамочка! Ведь вы только что сказали, что готовы продать типографию за двадцать тысяч франков,—вкрадчивым голосом сказал Бонифас.— Доход с двадцати тысяч франков при шести процентах годовых составит всего лишь тысячу двести франков.

На минуту Ева смутилась и тут только поняла, какое драгоценное качество — умение молчать.

— Вы воспользуетесь нашими станками, шрифтами, а они, как вы знаете, служат мне для кое-каких попутных дел,— возразила она,— притом мы должны платить за наем помещения отцу, господину Сешару, который не балует нас подарками.

После двух часов борьбы Ева настояла на двух тысячах франков в полугодие, из которых тысяча вносилась вперед. Когда все было уже условлено, братья доложили ей о своем намерении поручить типографию со всем оборудованием не кому иному, как Серизе. Ева не могла скрыть своего изумления.

— Посудите же, не самое ли разумное доверить мастерскую тому, кто ее знает? — сказал Куэнте-толстый.

Ева молча попрощалась с братьями, а про себя решила, что теперь она сама будет наблюдать за Серизе.

— Ну вот, подите! Неприятель уже в крепости! — смеясь, говорил Давид жене, которая во время обеда подала ему договор для подписи.

— Послушай,— сказала она.— Я ручаюсь, что Кольб и Марион преданны нам; вдвоем они за всем присмотрят. Затем мы получим четыре тысячи франков годового дохода с оборудования типографии, которое обо-

шлось нам недешево. У тебя впереди целый год, чтобы осуществить свои надежды...

— Тебе суждено быть женой изобретателя, как ты сама мне говорила однажды, там, у плотины,— сказал Сешар, с нежностью сжимая руку жены.

Хотя полученные деньги и обеспечили семье Давида спокойную зиму, все же он очутился под надзором Серизе и, сам того не подозревая, в зависимости от Куэнте-большого.

— Он в наших руках! — сказал, выходя, бумажный фабрикант своему брату-типографу.— Эти нищие привыкнут жить на арендную плату с типографии, будут на нее рассчитывать и влезут в долги. Но на второе полугодие договора мы не возобновим. Поглядим, что запоет сей гениальный муж, когда мы поставим ему одно условьице: желаем-де вступить в деловое содружество по применению вашего изобретения!.. А нет, так...

Если бы какой-нибудь шустрый делец услышал, как Куэнте-большой произнес: *деловое содружество*, он понял бы, что опасность брачного договора, заключенного в мэрии, ничтожна в сравнении с опасностью торгового договора, заключенного в коммерческом суде. Разве не достаточно того, что эти кровожадные охотники напали на след дичи? Разве в состоянии были Давид и его жена, и с Кольбом, и с Марион, противостоять козням Бонифаса Куэнте?

Когда г-же Сешар пришло время родить, билет в пятьсот франков, посланный Люсьеном, а также деньги по второму платежу Серизе позволили покрыть все расходы. Ева, ее мать и Давид, решившие, что Люсьен их совсем забыл, радовались, как и в дни первых успехов поэта, выступления которого в мире журналистики подняли в Ангулеме еще больший шум, чем в Париже.

Убаюканный обманчивым покоем, Давид сразу потерял почву под ногами, получив от шурина следующее безжалостное письмо:

«Дорогой мой Давид, я учел у Метивье три векселя за твоей подписью, выданные мне тобою сроком на один, два и три месяца. У меня не было иного выхода: самоубийству я предпочел это страшное средство спасения, хотя знаю, как это стеснит тебя. Позже я объясню тебе,

в каком отчаянном положении я нахожусь, и, конечно, постараюсь выслать деньги к сроку платежа.

Сожги мое письмо; ни словом не обмолвись сестре и матери, ибо, признаюсь тебе, я рассчитываю на твое мужество, хорошо известное
твоему несчастному брату *Люсьену де Рюбампре*».

— Твой бедный брат,— сказал Давид жене, когда она поправилась после родов,— в страшной нужде, я послал ему три векселя по тысяче франков, сроком на один, два и три месяца; занеси это в счета.

И он ушел в поле, чтобы избежать неминуемого объяснения с женой. Но, обсуждая с матерью эту зловещую фразу, Ева, и ранее того чрезвычайно встревоженная молчанием брата, от которого вот уже полгода не было писем, была полна самых дурных предчувствий и, желая их рассеять, решила сделать шаг, подсказанный отчаянием. Именно в это время молодой Растиньяк, приехавший на несколько дней к своим родным, распускал о Люсьене достаточно дурные слухи, и эти парижские новости, попав на язык местных сплетников, не могли не дойти, и притом в самом приукрашенном виде, до сестры и матери журналиста. Ева бросилась к г-же де Растиньяк и как милости просила о свидании с ее сыном, с которым она и поделилась всеми своими тревогами, умоляя его сказать правду о положении Люсьена в Париже. И тут-то Ева узнала о связи брата с Корали, о дуэли с Мишелем Кретьеном, вызванной предательской статьей Люсьена против д'Артеза,— короче, о жизни Люсьена со всеми ее злоключениями в ядовитом изложении остроумного денди, преподнесшего свою ненависть и зависть под видимостью сожаления, в пышной форме дружественного участия соотечественника, встревоженного за будущность великого человека и искренне восхищенного талантом одного из детищ Ангулема, столь тяжко, однако, опорочившего себя. Растиньяк говорил об ошибках, совершенных Люсьеном, о том, что поэт по своей вине лишился покровительства высокопоставленных лиц и по этой причине был отменен указ о пожаловании ему герба и имени де Рюбампре.

— Сударыня, ежели бы ваш брат прислушивался к добрым советам, он был бы теперь на пути к почестям,

стал бы мужем госпожи де Баржетон... Но, помилуйте!.. Он покинул ее, оскорбил!.. Она стала графиней Сикст дю Шатле, к великому своему огорчению,— ведь она любила Люсьена.

— Возможно ли?..— вскричала г-жа Сешар.

— Ваш брат — орленок, ослепленный первыми лучами роскоши и славы. Когда орел падает, кто может знать, в какие бездны он низринется? Чем выше взлет великого человека, тем глубже его падение.

Ева воротилась домой, испуганная этой последней фразой, поразившей ее, точно стрела, в самое сердце. Задеты были самые чувствительные стороны ее души; она хранила глубокое молчание, но крупные слезы катились на щечки и лобик ребенка, которого она кормила грудью. Так трудно отрешиться от заблуждений, которые вкореняются в вас, словно какая-нибудь семейная традиция, от самой колыбели, и Ева не поверила Эжену де Растиньяку. Пожелав услышать голос истинного друга, она написала трогательное письмо д'Артезу, адрес которого дал ей Люсьен в те времена, когда еще был почитателем Содружества, и вот какой ответ она получила:

«Сударыня!

Вы просите меня сказать правду о жизни вашего брата в Париже, вы желаете знать, каково его будущее, и, побуждая меня к откровенности, повторяете слова господина де Растиньяка, чтобы удостовериться, насколько они правдивы? Что касается до меня, сударыня, я должен в дружеское сообщение господина де Растиньяка внести поправку в пользу Люсьена. Вашего брата мучили угрызения совести, и он сам показал мне критическую статью о моей книге, признавшись, что не может решиться опубликовать ее, хотя ослушание приказу роялистской партии угрожает неприятностями дорогому для него существу. Увы, сударыня, назначение писателя — постигать страсти, поскольку его слава основана на том, с каким мастерством он их изображает; итак, я понял, что ради возлюбленной, когда приходится выбирать, жертвуют другом. Я отнесся снисходительно к преступлению вашего брата, сам выправил его *статью-книгоубийцу* и вполне ее одобрил. Вы спрашиваете, сохранил ли я уважение и дружбу к Люсьену? Сейчас мне трудно говорить об этом.

Ваш брат на пути, который приведет его к гибели. Покамест я еще сожалею о нем, но скоро сознательно должен буду забыть о Люсьене, не столько из-за того, что он уже сделал, сколько из-за того, что он неминуемо сделает. Ваш Люсьен — поэтическая натура, но не поэт; он мечтает, но не творит. Короче, он точь-в-точь хорошенькая женщина, которая желает нравиться,— главный порок французов. Ради удовольствия блеснуть умом Люсьен неизбежно пожертвует самым лучшим другом. Он с охотою завтра же подписал бы договор с дьяволом, ежели бы это сулило ему несколько лет жизни блистательной и пышной. Не поступил ли он и того хуже, променяв свою будущность на преходящие утехи открытой связи с актрисой? Молодость, красота, преданность этой женщины, ибо она его боготворит, мешали ему понять всю опасность положения, с которым ни слава, ни успех, ни богатство не примиряют свет. Представится какое-нибудь новое искушение, и ваш брат, как и теперь, не устоит. Успокойтесь, Люсьен никогда не дойдет до преступления, на это у него недостанет смелости; но он примет содеянное преступление как нечто должное, он разделит его выгоды, не разделив его опасностей, а это именно и кажется особенно ужасным всякому, даже злодею. Он будет презирать себя, раскаиваться; но представится случай, он опять начнет сызнова, ибо воля у него отсутствует, он бессилен перед соблазном наслаждения, перед требованиями собственного тщеславия. Ленивый, как все поэтические натуры, он почитает себя великим искусником, играя с трудностями, вместо того, чтобы их преодолевать. Иной раз он проявит мужество, но иной раз держит себя как трус, и напрасно было бы превозносить его за храбрость, как и упрекать за трусость. Люсьен — арфа, струны которой натягиваются и ослабевают по воле ветра. Он может в порыве гнева или восторга создать прекрасную книгу и остаться равнодушным к успеху, которого, однако, жаждал. В первые же дни своего пребывания в Париже он подпал под влияние одного молодого человека, крайне безнравственного, пленившего его той изворотливостью и опытностью, с какими этот юноша преодолевал трудности парижской литературной жизни. Этот фигляр совершенно совратил Люсьена, вовлек его в беспутную жизнь, в которую, к несчастью, любовь внесла свое оча-

рование. Чересчур легкий успех, возгласы удивления — признак недолговечности славы; нельзя оплачивать одной и той же монетой канатного плясуна и поэта. Мы все были оскорблены тем предпочтением, которое Люсьен оказал светским интригам и литературному шарлатанству перед мужеством и честью тех, кто советовал ему завоевывать успех, вместо того, чтобы его похищать, выступать на арене, вместо того, чтобы быть трубачом в оркестре. И что чрезвычайно удивительно, сударыня, общество относится крайне снисходительно к молодым людям этой породы; оно их любит, оно принимает всерьез их притворство, внешний блеск; оно ничего от них не требует, оно, закрывая глаза на их недостатки, прощает все их грехи, дарит им свое благоволение, достойное лишь натур цельных, словом, оно делает из них своих баловней. И, напротив, к натурам сильным и цельным оно относится чересчур сурово. В этой оценке, по видимости столь несправедливой, общество проявляет, пожалуй, высшую справедливость. Шуты его развлекают, от них не требуют ничего иного, кроме забавы, и о них скоро забывают; но прежде, чем склонить колена перед гением, от него требуют божественного великолепия. На все есть свои законы: вечный алмаз должен быть безупречным, создание капризной моды вольно быть легкомысленным, прихотливым, непостоянным. Стало быть, для Люсьена, несмотря на его ошибки, еще, пожалуй, вполне возможна полная удача, ежели ему представится счастливый случай или он попадет в достойное общество; но ежели ему повстречается какой-нибудь злой гений, он опустится на самое дно преисподней. Он—блистательное соединение прекрасных качеств, возложенных на чересчур легкую основу; годы унесут цветы, наступит день, когда останется лишь одна выцветшая ткань; а если ткань плоха, она превращается в отрепья. Покуда Люсьен молод, он будет нравиться; но в каком положении окажется он в тридцать лет? Таков вопрос, который должен задать себе каждый, кто искренне его любит. Если бы я один думал так о Люсьене, пожалуй, я не стал бы огорчать вас своей откровенностью; но ограничиться пустыми фразами в вопросе, поставленном вами с такой тревогой, я счел недостойным ни вас, ибо ваше письмо — вопль отчаяния, ни меня самого, раз вы оказываете мне такое доверие, тем более, что

мои друзья, знавшие Люсьена, единодушно разделяют мое мнение. Итак, я почитаю своим долгом сообщить вам истину, как бы ни была она ужасна. От Люсьена можно ожидать всего, как хорошего, так и дурного. Таково наше общее мнение о Люсьене, изложенное в кратких словах в этом письме. Если превратности жизни, покамест чрезвычайно жалкой, чрезвычайно неустойчивой, приведут поэта в ваши края, употребите все ваше влияние, чтобы удержать его в кругу семьи, ибо, покуда не окрепнет его характер, Париж будет для него гибелен. Он называл вас и вашего мужа своими ангелами-хранителями; он, без сомнения, о вас позабыл, но он вспомнит вас в ту минуту, когда, сломленный бурей, станет искать убежища в родной семье; итак, приютите его тогда в вашем сердце, сударыня, он будет в этом нуждаться.

Примите, сударыня, дань искреннего уважения от человека, которому известны ваши редкие достоинства, который высоко чтит вашу материнскую тревогу и просит вас считать его

вашим преданным слугою

Д'Артез».

Два дня спустя после получения этого ответа Еве пришлось взять кормилицу: у нее пропало молоко. Когда-то она сотворила себе кумира из своего брата, и вот теперь он осквернил себя, злоупотребив своими самыми высокими дарованиями; короче, в ее глазах он упал в грязь. Это благородное создание не могло поступиться честностью, щепетильностью, всеми семейными святынями, взлелеянными у домашнего очага, еще столь непорочного, столь лучезарного в провинциальной глуши. Итак, Давид был прав в своем предвидении. Когда скорбь, наложившая свинцовые тени на ее нежное лицо, побудила Еву открыться мужу в одну из тех светлых минут, в которые влюбленные супруги говорят по душе, Давид нашел слова утешения. Хотя он без слез не мог видеть прекрасную грудь жены, иссушенную горем, видеть эту мать, отчаявшуюся исполнить свой материнский долг, все же он старался ободрить ее, подав ей некоторую надежду.

— Полно, дитя мое, твой брат грешил от избытка воображения. Так естественно, что поэт жаждет нарядов

из пурпура и лазури; его так страстно влечет к пиршествам! Этот птенец так доверчиво попадается на приманку роскоши, внешнего блеска, что бог простит его, если общество его и осудит!

— Но он нас губит!..— вскричала несчастная женщина.

— Нынче он нас губит, а тому несколько месяцев он нас спас, послав нам свой первый заработок! — отвечал добрый Давид, который понимал, что, как ни велико отчаянье жены, все же ее любовь к Люсьену скоро вернется.— Мерсье, пятьдесят лет назад, сказал в своих «Картинах Парижа», что литература, поэзия, искусство и наука, эти детища человеческого мозга, никогда не могли прокормить человека; а Люсьен, как поэт, не поверил опыту пяти веков. Посев, орошенный чернилами, дает всходы (если только он их дает!) лет десять, двенадцать спустя, и Люсьен принял плевелы за пшеницу. Однако он познал жизнь. Помимо того, что он обманулся в женщине, ему суждено было обмануться в свете и в мнимых друзьях. Познание далось ему дорогой ценою, вот и все. Наши деды говорили: «Береги честь смолоду...»

— Честь!..— вскричала бедная Ева.— Увы! Сколько бесчестного натворил Люсьен!.. Писать против совести! Нападать на своего лучшего друга!.. Жить на средства актрисы!.. Открыто показываться с ней! Пустить нас по миру!..

— Ну, это еще пустяки!..— вскричал Давид и умолк.

Он чуть было не обмолвился о подложных векселях своего шурина, но, к несчастью, Ева заметила, что он что-то скрывает, и ею овладело смутное беспокойство.

— Пустяки? — отвечала она.— А откуда возьмем мы три тысячи франков, чтобы оплатить векселя?

— Прежде всего,— отвечал Давид,— Серизе возобновит договор на аренду типографии. В течение полугода пятнадцать процентов с заказов, предоставляемых ему Куэнте, принесли шестьсот франков дохода, да на городских заказах он заработал еще пятьсот франков.

— Если Куэнте узнают об этом, они, пожалуй, побоятся возобновить договор,— сказала Ева,— ведь Серизе — человек опасный.

— Э, пустое! — вскричал Сешар.— Еще несколько

дней — и мы будем богачами! А раз Люсьен будет богат, мой ангел, он станет воплощенной добродетелью...

— Ах, Давид! Друг мой, друг мой, какое слово сказал ты! Стало быть, в тисках нужды Люсьен бессилен против зла? Ты о нем такого же мнения, как и господин д'Артез! Гениальность и бессилие несовместимы, а Люсьен слаб... Ангел, которого не должно искушать, какой же это ангел?

— Надобно знать, что это натура прекрасная лишь в своей среде, в своей области, на своем небосводе. Люсьен не создан для борьбы, я избавлю его от необходимости бороться. Видишь ли, я так близок к цели, что могу посвятить тебя в свою работу.— Он извлек из кармана несколько листков белой бумаги размером in octavo [1], торжествующе взмахнул ими и положил их на колени жены.— Стопа такой бумаги, формата «большой виноград», будет стоить не дороже пяти франков,— сказал он, передавая образцы Еве, которая рассматривала их с ребяческим удивлением.

— Ну, хорошо! А как же ты производил свои опыты? — спросила Ева.

— Я взял у Марион старое волосяное сито и воспользовался им,— ответил Давид.

— И ты все же не удовлетворен? — спросила она.

— Вопрос не в способе производства, а в стоимости бумажной массы. Увы, дитя мое! Я лишь один из последних, вступивших на этот тернистый путь. Госпожа Массон еще в 1794 году пыталась переработать макулатуру в чистую бумагу; она добилась своего, но чего это ей стоило! В 1801 году маркиз Солсбери в Англии, а Сеген во Франции пробовали вырабатывать бумагу из соломы. Наш обыкновенный тростник arundo phragmitis послужил материалом для тех листов бумаги, которые ты держишь в руках. Но я хочу испробовать и крапиву и чертополох,— чтобы добиться дешевизны сырья, надо его искать среди растений, произрастающих на земле, не пригодной для обработки, или на болотах: даровое сырье! Весь секрет в том, как обрабатывать стебли. Мой способ пока что еще недостаточно прост. Ну что же! Несмотря на все трудности, я хочу поставить французское бумаж-

---

[1] В восьмую долю листа *(лат.)*.

ное производство в особое положение, подобное тому, какое занимает наша литература; я хочу добиться, чтобы производство бумаги стало исключительным правом нашей страны, как монополией Англии стало железо, каменный уголь, гончарные изделия. Я хочу стать Жаккаром бумажного производства.

Ева встала, онемев от восторга, восхищенная простотой Давида; она обняла его и прижала к своему сердцу, склонив голову ему на плечо.

— Ты вознаграждаешь меня, точно я уже сделал открытие,— сказал он.

Вместо ответа Ева обратила к нему прекрасное лицо, все в слезах, и несколько секунд не могла вымолвить слова.

— Я обнимаю не гения,— сказала она,— а утешителя! Славе падшей ты противопоставляешь славу восходящую, скорби, которую причинило мне падение брата, ты противопоставляешь величие мужа... Да, ты будешь велик, как Грендорж Руве, ван Робе, как тот персианин, который открыл марену, как все те люди, о которых ты мне рассказывал и чьи имена остались безвестными, потому что, совершенствуя промышленность, они в тиши трудились на благо человечества.

— Чем они заняты в такой час?..— сказал Бонифас.

Куэнте-большой прохаживался вместе с Серизе по площади Мюрье, вглядываясь в освещенные окна, где на муслиновых занавесях вырисовывались тени Евы и ее мужа: Куэнте каждый вечер в полночь приходил к Серизе, на обязанности которого было следить за малейшим шагом его бывшего хозяина.

— Не иначе, как он показывает ей бумагу, которую изготовил утром,— отвечал Серизе.

— Какое он применяет сырье? — спросил бумажный фабрикант.

— Ума не приложу,— отвечал Серизе.— Я пробил дыру в кровле, взобрался наверх и наблюдал всю ночь напролет, как мой Простак варил какое-то месиво в медном чане; но как я ни вглядывался в материалы, сваленные в углу, я заметил только, что сырье это напоминает кудель...

— Не заходите чересчур далеко,— вкрадчивым голосом сказал Бонифас Куэнте своему шпиону,— излишнее

любопытство было бы нечестно!.. Госпожа Сешар предложит вам возобновить договор на аренду типографии, скажите ей, что вы-де сами желаете стать хозяином, предложите половину стоимости патента и оборудования и, если она на это согласится, сообщите мне. Во всяком случае тяните канитель... ведь у них ни шиша? А?

— Ни шиша! — подтвердил Серизе.

— Ни шиша,— повторил Куэнте-большой. «Они в моей власти»,— сказал он про себя.

Торговый дом Метивье и торговый дом братьев Куэнте, помимо своих прямых занятий в качестве поставщиков бумаги и бумажных фабрикантов-типографов, подвизались и в качестве банкиров; впрочем, они и не помышляли платить за патент на право заниматься банковскими операциями. Государственная казна не изыскала еще средств контролировать коммерческие сделки и понуждать всех, кто тайно занимается банковскими операциями, брать патент банкира, который в Париже, например, стоит пятьсот франков. Но братья Куэнте и Метивье, хотя и были, что называется, *биржевыми зайцами*, однако каждые три месяца пускали в оборот на биржах Парижа, Бордо и Ангулема несколько сот тысяч франков. Именно в этот вечер торговый дом братьев Куэнте получил из Парижа три векселя по тысяче франков, подделанных Люсьеном. Куэнте-большой тотчас же построил на этих векселях чудовищное злоумышление, направленное, как будет видно, против терпеливого и бесхитростного изобретателя.

На другой день в семь часов утра Бонифас Куэнте прогуливался у запруды, питавшей его обширную бумажную фабрику и шумом своим заглушавшей голоса. Он ожидал тут молодого человека, лет двадцати девяти, по имени Пьер Пти-Кло, который вот уже шесть месяцев состоял стряпчим при суде первой инстанции в Ангулеме.

— Вы обучались в ангулемском лицее вместе с Давидом Сешаром, не так ли? — спросил Куэнте-большой, поздоровавшись с молодым стряпчим, который поспешил явиться на зов богатого фабриканта.

— Да, сударь,— отвечал Пти-Кло, стараясь шагать в ногу с Куэнте-большим.

— И вы, понятно, возобновили старое знакомство?

— Мы виделись раза два, не более, после его возвращения в Ангулем. А то как же иначе? В будни я сижу в конторе или в суде, а в воскресенье и прочие праздники занимаюсь, пополняю свое образование; посудите сами, рассчитывать я могу только на свои собственные силы...

Куэнте-большой кивнул головой в знак одобрения.

— В первую нашу встречу с Давидом он спросил меня, чем я занимаюсь. Я сказал, что, окончив юридический факультет в Пуатье, служил старшим клерком у мэтра Оливе и что надеюсь, рано или поздно, стать его преемником... Я более коротко знаком с Люсьеном Шардоном, или с господином де Рюбампре, как теперь называет себя возлюбленный госпожи де Баржетон, с нашим великим поэтом, короче говоря, с шурином Давида Сешара.

— Почему бы вам не известить Давида о вашем назначении и не предложить ему свои услуги,— сказал Куэнте-большой.

— Это не принято,— сказал молодой стряпчий.

— Он никогда не судился, у него нет своего поверенного, почему бы вам не стать таковым,— отвечал Куэнте и под прикрытием своих очков смерил взглядом щуплого стряпчего с головы до ног.

Сын портного из Умо, презираемый товарищами по коллежу, Пьер Пти-Кло, казалось, страдал разлитием желчи. Землистый цвет лица изобличал застарелые недуги, ночные бдения нищеты и безусловно низкие страсти. На обиходном языке существует выражение, способное обрисовать этого малого в двух словах: колючий, как заноза. Надтреснутый голос был в полном соответствии с его кислой физиономией, тщедушной фигуркой и неопределенным цветом сорочьих глаз. Сорочий глаз, по наблюдению Наполеона, признак криводушия. «Поглядите на такого-то,— сказал он Ласказу, будучи на острове св. Елены, об одном из приближенных, которого он отстранил от должности за разные неблаговидные дела.— Как могло случиться, что я столь долгое время ошибался в нем. Ведь у него сорочий глаз». Вот почему Куэнте-большой, вглядевшись внимательно в невзрачного, хилого адвоката с лицом, изрытым оспой, с волосами столь редкими, что лысина, начавшаяся со лба, обнажила уже и темя, сказал про себя: «Такой, как ты, мне и надобен». И в самом деле, Пти-Кло, вполне познавший всю тя-

жесть людского презрения, пожираемый жгучим желанием возвыситься, дерзнул купить за тридцать тысяч франков дело своего патрона единственно в расчете на выгодную женитьбу, надеясь, что невесту, как водится, подыщет ему сам патрон, ибо кто же, как не он, более всего заинтересован женить поскорее своего преемника и тем самым помочь ему рассчитаться за приобретенную контору? Но еще более Пти-Кло рассчитывал на самого себя, ибо он все же был человеком незаурядных качеств, хотя в основе их лежала ненависть. Великая ненависть— великая сила! Существует огромное различие между парижским стряпчим и стряпчим провинциальным, и Куэнте-большой был чересчур хитер, чтобы не извлечь выгоды из страстишек мелких ходатаев по делам. В Париже видный ходатай по делам, а таких там много, обладает в некоторой степени качествами, отличающими дипломата; крупные дела, широта интересов, значительность доверяемых ему вопросов избавляют его от необходимости видеть в судопроизводстве лишь источник обогащения. Судопроизводство, как оружие наступательное или оборонительное, уже не составляет для него, как в былое время, средства наживы. В провинции, напротив, ходатаи по делам занимаются тем, что в парижских конторах именуется *крючкотворством*, короче сказать, составлением тьмы мелких актов, которые обременяют дела судебными пошлинами и попусту поглощают гербовую бумагу. Подобные мелочи весьма занимают провинциального стряпчего, он искусственно увеличивает расходы, связанные с судопроизводством, между тем как парижский стряпчий довольствуется вознаграждением. Вознаграждение — это то, что клиент обязан уплатить, сверх судебных издержек, своему стряпчему за более или менее успешное ведение его дела. Государственная казна взимает в свою пользу половину судебных издержек, вознаграждение же полностью поступает стряпчему. Скажем прямо! Вознаграждение выплаченное редко находится в соответствии с вознаграждением, обусловленным и достойным услуг, оказанных искусным стряпчим. Парижские стряпчие, врачи, адвокаты относятся к обещаниям своих клиентов с чрезвычайной осторожностью, как куртизанки к посулам случайных любовников. Клиент до и после судебного разбирательства может

послужить темою для двух восхитительных жанровых картинок, достойных кисти Мейсонье, и они, конечно, пришлись бы по вкусу почтенным стряпчим. Существует еще одно различие между парижскими стряпчими и стряпчими провинциальными. Парижский стряпчий редко защищает дело в суде, самое большее, если он выступит при докладе дела; но в 1822 году в большей части округов (позже защитников развелось великое множество) стряпчие начинают уже совмещать обязанности защитников и сами выступают в суде. Из этой двойной роли проистекает и двойная работа, порождающая в провинциальном стряпчем профессиональные пороки адвоката, не освобождая его от тягостных обязанностей стряпчего. Провинциальный стряпчий становится пустословом, утрачивает ясность мысли, столь нужную для ведения дела. Нередко даже недюжинный человек должен чувствовать себя при подобном раздвоении какой-то двуликой посредственностью. В Париже стряпчий не разменивается на словоблудие в суде, не злоупотребляет доводами за и против и может, стало быть, сохранить прямоту мнений. Пускай он владеет баллистикой права, пускай находит себе оружие в арсенале противоречий юриспруденции, он все же сохраняет свое личное мнение о деле, которому он с таким рвением старается доставить торжество. Короче сказать, мысль опьяняет гораздо менее, нежели слово. Опьяненный собственными речами, человек сам начинает в конце концов верить в то, что он говорит; между тем можно действовать против своих мнений, однако не утрачивая их, и можно выиграть неправое дело, не доказывая его правоты, как это делает в суде адвокат. Стало быть, старый парижский стряпчий скорее может оказаться справедливым судьей, нежели старый адвокат. Итак, у провинциального стряпчего достаточно причин стать человеком дюжинным: он погрязает в мелких страстишках, ведет мелкие дела, кормится за счет судебных издержек, злоупотребляет судопроизводством и сам защищает дело в суде! Словом, у него много слабостей. Но если встречается среди провинциальных стряпчих человек выдающийся, то это поистине человек недюжинный!

— Я полагал, сударь, что вы приглашали меня ради личных дел,— сказал Пти-Кло, обращая это замечание

в колкость одним лишь взглядом, который он бросил на непроницаемые очки Куэнте-большого.

— Без обиняков...— отвечал Бонифас Куэнте,— скажу вам...

При этих словах, чреватых доверительностью, Куэнте сел на скамью, приглашая Пти-Кло последовать его примеру.

— В 1804 году, изволите видеть, господин дю Отуа, по пути в Валенсию, куда он был назначен консулом, оказался проездом в Ангулеме; тут-то он и сошелся с госпожой де Сенонш, в то время еще девицей Зефириной, и прижил с нею дочь,— сказал Куэнте на ухо своему собеседнику.— Да-да,— продолжал он, отвечая на недоуменное движение Пти-Кло,— свадьбу девицы Зефирины с господином де Сенонш сыграли вскоре после ее тайных родов. Так вот эта самая Франсуаза де Ляэ, с которой нянчится госпожа де Сенонш, выдавая себя, как водится, за ее крестную мать, и есть та девчурка, которую в деревне выпестовала моя матушка. Мать моя, фермерша старой госпожи де Кардане, бабушки Зефирины, была посвящена в тайну единственной наследницы рода де Кардане и старшей ветви рода де Сенонш. Когда понадобилось повыгоднее пристроить капиталец, которым господин Франсис дю Отуа рассудил обеспечить будущее своей дочери, дело это было препоручено мне. Вот этито десять тысяч франков, возросшие к нынешнему дню до тридцати тысяч, и положили начало моему благосостоянию. Госпожа де Сенонш, само собой, даст за своей питомицей приданое, серебро и кое-какую мебель; ручаюсь, я сосватаю тебя, голубчик!—сказал Куэнте, хлопнув Пти-Кло по коленке.— Женитьба на Франсуазе де Ляэ сулит практику среди доброй половины ангулемской знати. Родство с побочной ветвью аристократического рода обеспечит блестящее будущее... А со званием адвоката-стряпчего родня примирится: о большем они и не мечтают, поверьте мне!

— Что же прикажете делать? — с живостью сказал Пти-Кло.— Ведь ваш стряпчий — мэтр Кашан...

— К чему тут Кашан? Неужто ради вас я так сразу и распрощусь с ним? Вам я препоручу ведение моих дел чуть позже,— любезно вставил Куэнте-большой.— А что мы вам препоручаем, мой друг? Дела Давида Се-

шара. Бедняга должен нам заплатить по векселям тысячу экю и, конечно, не заплатит; вам надобно защищать его от преследования по суду таким манером, чтобы вогнать в огромные издержки... Будьте покойны, действуйте смело, нагромождайте осложнения. Дублон, пристав коммерческого суда, на котором лежит обязанность взыскивать издержки, не будет сидеть сложа руки... Умному человеку с одного слова все понятно. Итак, молодой человек?..

Наступило красноречивое молчание, а тем временем собеседники поглядывали друг на друга.

— Мы с вами никогда не встречались,— опять заговорил Куэнте,— я вам ничего не сказал, вы ничего не знаете ни о господине дю Отуа, ни о госпоже де Сенонш, ни о девице де Ляэ; но когда придет время,— так месяца через два, вы попросите руки этой молодой особы. Ежели вам потребуется встретиться со мною, пожалуйте сюда, ввечеру. Никакой переписки.

— Вы, значит, хотите разорить Сешара? — спросил Пти-Кло.

— Не вполне так; но на некоторое время недурно бы посадить его в тюрьму...

— А зачем, смею спросить?

— Неужто я такой простофиля, что так вам все и выложу? Если у вас достанет ума догадаться, достанет и смекалки помолчать.

— Папаша Сешар богат,— сказал Пти-Кло, входя в интересы Бонифаса и предусматривая причину возможной неудачи дела.

— Покуда папаша жив, он ни лиара не даст сыну, а этот бывший печатник не собирается еще протянуть ноги.

— Быть тому! — сказал Пти-Кло, живо склонившись на уговоры.— Я не прошу у вас никакого залога, я стряпчий: ежели вы меня обманете, мы с вами посчитаемся.

«Далеко пойдет, каналья!» — подумал Куэнте, прощаясь с Пти-Кло.

На другой день после этого совещания, 30 апреля, братья Куэнте предъявили к оплате первый из трех векселей, подделанных Люсьеном. К несчастью, вексель вручили бедной г-же Сешар, которая, признав в подлож-

ной подписи мужа руку Люсьена, позвала Давида и в упор спросила его:

— Это не твоя подпись?

— Нет! — отвечал он.—Дело не терпело отлагательства, и твой брат подписался вместо меня...

Ева возвратила вексель служащему торгового дома братьев Куэнте, сказав ему:

— Мы не в состоянии заплатить.

И, чувствуя, что силы ее оставляют, она поднялась в свою комнату; Давид последовал за нею.

— Друг мой,— угасающим голосом сказала Ева Давиду,— ступай поскорее к господам Куэнте, они тебе окажут снисхождение; попроси их обождать и кстати напомни, что договор с Серизе скоро кончается и при возобновлении его им все равно придется уплатить нам тысячу франков.

Давид сейчас же пошел к своим врагам. Фактор всегда может стать типографом, но не всегда искусный типограф бывает купцом. Итак, Давид, мало сведущий в торговых делах, дал маху перед Куэнте-большим, и в ответ на свои довольно неловкие извинения, с которых он, едва переводя дыхание, путаясь в словах, начал изложение своей просьбы, услышал:

— Нас это не касается, вексель мы получили от Метивье, Метивье нам и заплатит. Обращайтесь к Метивье.

— Ну,— сказала Ева, услышав такой ответ,— если все дело в Метивье, мы можем быть спокойны.

На другой день Виктор-Анж-Эрменежильд Дублон, судебный пристав господина Куэнте, опротестовал вексель в два часа пополудни, именно в то время, когда площадь Мюрье полна народу; и, несмотря на любезность, какую он выказал, беседуя в дверях дома с Марион и Кольбом, к вечеру все ангулемское купечество уже знало о протесте векселя. Но разве лицемерное обхождение мэтра Дублона, которому Куэнте-большой наказал вести себя с отменной учтивостью, могло спасти Еву и Давида от бесчестия в торговом мире, связанного с отказом в платеже? Судите о том сами! Тут и длинноты покажутся краткими. Девяносто читателей из ста будут увлечены подробностями, следующими ниже, как самой увлекательной новинкой. Тем самым лишний раз

будет доказана истина: ничто так плохо мы не знаем, как то, что каждый из нас должен знать: *закон!*

Бесспорно, толковое описание механизма одного из колесиков банковского дела представит собою для огромного большинства французов такой же интерес, как глава из путешествия в неведомую страну. Как только купец пересылает свои векселя из города, в котором он живет, лицу, живущему в другом городе, что якобы сделал Давид, желая выручить Люсьена, он обращает операцию, столь несложную, как расчет векселями по торговым сделкам между местными купцами, в нечто похожее на переводной вексель, короче сказать, на вексель, выданный в одном месте, с платежом в другом. Стало быть, приняв от Люсьена три векселя, Метивье, чтобы получить по ним деньги, должен был переслать их своим доверителям, братьям Куэнте. Отсюда первый урон для Люсьена, так называемая *комиссия за перевод*, что выражается в определенной надбавке на учетный процент с каждого векселя. Таким путем векселя Сешара перешли в разряд банковских дел. Вы не можете представить себе, до какой степени звание банкира в соединении со священным титулом заимодавца изменяет положение должника. Так, например, по *банковским правилам* (вдумайтесь хорошенько в это выражение!) банкиры обязаны, в случае если вексель, присланный из Парижа в Ангулем, остается неоплаченным, прибегнуть к тому, что закон именует *обратным счетом*. Шутки в сторону! Романистам никогда не выдумать сказки более неправдоподобной, чем этот счет: поистине презабавные шутки в духе Маскариля допускают некоторые статьи торгового кодекса, и разоблачение их покажет вам, сколько жестокости кроется в страшном слове: *законность!*

Мэтр Дублон, зарегистрировав опротестованный вексель, тотчас же сам понес его к господам Куэнте. Судебный пристав вел свои счеты с этими матерыми ангулемскими хищниками и работал для них на веру, предъявляя денежные претензии раз в полугодие, но Куэнте-большой и тут ухитрялся растягивать платеж на год, откладывая его из месяца в месяц, и притом всякий раз спрашивал полуматерого хищника: «Дублон, нужны вам деньги?..» И это еще не все! Дублон делал скидку этому влиятельному торговому дому, который таким образом

выигрывал кое-что на каждом деле, сущую безделицу, пустяк, какие-нибудь полтора франка на каждом протесте! Куэнте-большой покойно расположился за конторкой, взял четвертушку гербовой бумаги в тридцать пять сантимов и, болтая с Дублоном, выпытывал у него сведения об истинном положении дел ангулемского купечества.

— Ну-с, как вам нравится молодой Ганнерак?..

— Как говорится, круто пошел в гору. Еще бы! Транспортная контора...

— Ха-ха!.. Он возит, а на нем ездят! Идет молва, что жена вводит его в большие расходы...

— Его-то?..— вскричал Дублон, состроив насмешливую мину.

И хищник, окончив линовать бумагу, выписал круглым прописным шрифтом зловещий заголовок, а ниже проставил следующий счет (Sic!).

Обратный счет и издержки.

По векселю на сумму *одна тысяча* франков, от десятого февраля тысяча восемьсот двадцать второго года, выданному и подписанному в Ангулеме *Сешаром-сыном* приказу *Люсьена Шардона*, именуемого *де Рюбампре*, переданного приказу *Метивье* и нашему приказу, срок коему истек тридцатого апреля сего года, и опротестованному *Дублоном* первого мая тысяча восемьсот двадцать второго года.

Сумма долга	1000 фр. 00 сант.
Протест	12 » 35 »
Комиссия 0,5%	5 » 00 »
Посредничество 0,25% . . .	2 » 50 »
Гербовый сбор по обратному векселю и настоящему счету	1 » 35 »
Проценты на капитал и почтовые расходы	3 » 00 »
	1024 фр. 20 сант.
Комиссия за перевод из расчета 1,25% с 1024,20 . . .	13 фр. 25 сант.
Итого:	1037 фр. 45 сант.

Тысяча тридцать семь франков сорок пять сантимов, каковую сумму мы возмещаем переводным векселем на имя господина Метивье, проживающего в улице Серпант в Париже, приказу господина Ганнерака из Умо.

Ангулем, второго мая тысяча восемьсот двадцать второго года.

Братья Куэнте.

Под этим небольшим счетом, составленным привычной рукою человека, знающего свое дело, ибо Куэнтебольшой ни на минуту не прерывал своей болтовни с Дублоном, он приписал следующее заявление:

Мы, нижеподписавшиеся, Постэль, аптекарь в Умо, Ганнерак, владелец транспортной конторы, купцы сего города, свидетельствуем, что комиссия за перевод в Париж составляет один с четвертью процента.

Ангулем, третьего мая тысяча восемьсот двадцать второго года.

— Послушайте, Дублон, сделайте одолжение, сходите-ка к Постэлю и Ганнераку, попросите их подписать это заявление и верните мне его завтра утром.

И Дублон, приученный к этим орудиям пытки, пошел, как если бы дело шло о самой обычной вещи. Ясно, что будь даже протест вручен в закрытом конверте, как это делается в Париже, все же весь Ангулем узнал бы, в каком бедственном состоянии находятся дела несчастного Сешара. И не послужило ли это поводом для стольких обвинений в бездеятельности? Одни говорили, что его погубила чрезмерная любовь к жене; другие винили его за чересчур большую привязанность к шурину. И любая из этих предпосылок влекла за собою самые ужасные выводы: никогда, дескать, не следует принимать близко к сердцу интересы своей родни! Оправдывали суровость Сешара-отца в отношении сына, восхищались им!

Теперь все вы, которые по каким-нибудь причинам забываете выполнять свои *обязательства*, рассмотрите хорошенько те вполне законные способы, при помощи которых банковские операции в течение десяти минут приносят двадцать восемь франков прибыли на капитал в тысячу франков.

Первая статья этого *обратного счета* — единственно неоспоримая статья.

Вторая статья — дань казне и судебному приставу. Шесть франков, взимаемые казной за счет бедственного положения должника и за гербовую бумагу, долго еще будут давать пищу разным злоупотреблениям! Вы уже видели, что эта статья приносит банкиру один франк пятьдесят сантимов барыша благодаря скидке, которую делает ему Дублон.

Комиссия в полпроцента, предмет третьей статьи, взимается под тем ловко придуманным предлогом, что якобы неполучение платежа в банковском деле равносильно учету векселя. Хотя это две совершенно противоположные операции, все же оказывается, что для банка не получить тысячи франков равноценно тому, что их выдать. Всякий, кто предъявлял векселя к учету, знает, что сверх законных шести процентов учетчик взимает под скромным наименованием комиссионных еще какой-то процент, представляющий собою прибыль на капитал, а это всецело зависит от степени таланта, с которым банкир оборачивает свои капиталы. Чем он изобретательней, тем больше он с вас дерет. Стало быть, учитывать векселя надобно у глупцов, это обходится дешевле. Но много ли среди банкиров глупцов?

Закон обязывает банкира подтвердить через биржевого маклера размер процента за перевод векселя. В городах настолько захолустных, что там нет биржи, обязанности биржевого маклера возлагаются на двух купцов. Комиссия в пользу биржевого маклера, так называемый *куртаж*, устанавливается в четверть процента с суммы опротестованного векселя. Принято считать, что этот куртаж получают торговцы, заменяющие маклера, на самом же деле банкир просто кладет его в свой карман. Отсюда третья статья этого поразительного счета.

Четвертая статья включает стоимость четвертушки гербовой бумаги, на которой выписывается обратный счет, и четвертушки гербовой бумаги, на которой банкир выписывает новый вексель на имя своего собрата для возмещения долга, именуемый встречным векселем.

Пятая статья — почтовые расходы и законные проценты, набегающие в течение того времени, пока деньги не поступят в кассу банкира.

Наконец процент за перевод, то есть за право получить деньги в каком-нибудь другом месте,— в чем и состоит основная задача банка.

Теперь разберите по статьям этот счет, в котором, согласно вычислению Полишинеля в неаполитанской песне, столь удачно исполняемой Лаблашем, пятнадцать и пять составляют двадцать два! Конечно, господа Постэль и Ганнерак ставили свои подписи лишь в виде дружеской услуги: Куэнте в случае нужды засвидетель-

ствовали бы для Ганнерака то, что Ганнерак свидетельствовал для Куэнте. Так осуществлялась на практике известная пословица *рука руку моет*. Братья Куэнте, пользуясь текущим счетом у Метивье, не имели нужды выписывать вексель. Обратный вексель для них всего только лишняя строчка в *кредите* или *дебете*.

Этот фантастический счет в сущности сводился к долгу в тысячу франков, к тринадцати франкам за протест и полупроценту за месячную просрочку платежа, что составляет тысячу восемнадцать франков, не более.

Если солидный банкирский дом в среднем ежедневно выписывает хотя бы один *обратный счет* на сумму в тысячу франков, то и тогда он получает ежедневно двадцать восемь франков прибыли по милости бога и банка, грозной державы, выдуманной иудеями в двенадцатом веке и ныне господствующей над тронами и народами. Словом, тысяча франков приносит такому торговому дому двадцать восемь франков в день, или десять тысяч двести двадцать франков в год. Утройте среднюю цифру *обратных счетов*, и вы получите прибыль в тридцать тысяч франков на эти мнимые капиталы. Стало быть, ничто так любовно не оберегается, как обратный счет. Если бы Давид Сешар пришел уплатить по своему векселю третьего мая или даже на другой день после протеста, господа Куэнте сказали бы: «Мы возвратили ваш вексель господину Метивье!» — хотя бы вексель еще лежал у них на столе. Обратный счет составляется тут же вечером в день протеста. На языке провинциальных банкиров это называется *выжимать монету*. Банкирскому дому Келлер, который ведет дела со всем миром, одни почтовые расходы приносят около двадцати тысяч франков прибыли, а обратные счета оплачивают ложу у Итальянцев, собственный выезд и туалеты баронессы Нусинген. *Почтовые расходы* являются злоупотреблением тем более страшным, что банкиры касаются сразу десяти однородных дел в десяти строчках одного письма. Удивительное дело! Казна получает свою долю из этой дани, вырванной у Несчастья, и государственное казначейство обогащается таким образом за счет торговых бедствий. Что касается банков, они бросают с высоты своих конторок полный здравого смысла вопрос: «Зачем вы довели себя до банкротства?» — на который, к несчастью, и

ответить нечего. Итак, *обратный счет* — сказка, полная страшных вымыслов, перед которыми, если должники призадумаются над этой назидательной страницей, они впредь будут испытывать спасительный ужас.

Четвертого мая Метивье получил от братьев Куэнте обратный счет и приказ преследовать до последней крайности в Париже господина Люсьена Шардона, именуемого господином де Рюбампре.

Несколько дней спустя Ева получила ответ на свое письмо господину Метивье, коротенькую записку, вполне ее успокоившую:

«Господину Сешару-сыну, типографу в Ангулеме.

Я своевременно получил ваше уважаемое письмо от пятого сего месяца. Из ваших объяснений по поводу векселя, не оплаченного вами тридцатого апреля сего года, я понял, что вы ссудили деньгами вашего шурина, господина де Рюбампре, который входит в такие расходы, что принудить его к платежу значит оказать вам услугу: он попал в безвыходное положение. Если бы ваш уважаемый шурин отказался от платежа, я положился бы на добросовестность вашей старинной фирмы. Остаюсь, как всегда,

вашим преданным слугою

Метивье».

— Что ж,— сказала Ева Давиду,— брат поймет, когда ему предъявят иск, что мы не могли заплатить.

О какой перемене в душе Евы не говорили только эти слова? Любовь, которую ей внушал характер Давида, возрастала по мере того, как она ближе его узнавала, и тем самым вытесняла из ее сердца привязанность к брату. Но скольким мечтаниям пришлось ей сказать прости?..

Проследим теперь путь, который проделывает *обратный счет* на парижской бирже. Векселедержатель, как называют в деловом мире владельца векселя по передаточной надписи, по закону вправе обратить взыскание по векселю на того из своих должников, с которого он рассчитывает скорее всего получить деньги. В силу этого права судебный пристав г-на Метивье предъявил иск Люсьену. Вот каковы были ступени развития этих действий, совершенно, впрочем, бесполезных. Метивье, за

спиной которого скрывались Куэнте, знал о несостоятельности Люсьена; но по смыслу закона несостоятельность *действительная* не признается *юридически*, пока не будет доказана. Итак, невозможность добиться от Люсьена оплаты векселя была доказана следующим способом.

Судебный пристав г-на Метивье вручил 5 мая Люсьену обратный счет, ангулемский акт протеста и вызов в парижский коммерческий суд, где ему надлежало выслушать множество неприятных вещей и кстати же узнать, что ему, как коммерсанту, грозит арест. Когда Люсьен, метавшийся, как затравленный олень, прочел всю эту тарабарщину, ему вручена была и копия вынесенного против него заочного решения коммерческого суда. Корали, его возлюбленная, не зная сути дела, вообразила, что Люсьен ссудил деньгами своего зятя; она передала ему все бумаги одновременно и чересчур поздно. Актрисы слишком часто видят в водевилях актеров в роли судебных приставов, чтобы придавать значение гербовой бумаге.

У Люсьена слезы застилали глаза, он жалел Сешара, он стыдился своего проступка, и он желал заплатить. Разумеется, он посоветовался с друзьями насчет того, что надобно сделать, чтобы выиграть время. Но покамест Лусто, Блонде, Бисиу, Натан поучали Люсьена, что нечего поэту бояться коммерческого суда, института, установленного для лавочников, поэта уже постиг удар: на имущество был наложен арест. Он увидел на своей двери то небольшое желтое объявление, которое отбрасывает свой отсвет на портьеры, действует подобно вяжущему средству на кредит, вселяет ужас в сердца мелких поставщиков и в особенности леденит кровь поэтов, достаточно чувствительных, чтобы привязаться ко всем этим кускам дерева, обрывкам шелка, ко всей этой куче разноцветных тканей и безделицам, именуемым обстановкой. Когда пришли, чтобы вынести из дому мебель Корали, автор «Маргариток» бросился к одному из друзей Бисиу, стряпчему Дерошу, который расхохотался, узнав, из-за каких пустяков так отчаивается Люсьен.

— Полноте, мой милый! Вы желаете выиграть время?

— Насколько возможно.

— Это дельно. Опротестуйте судебное решение. Ступайте к моему приятелю, поверенному при коммерческом суде Массону, отнесите ему свои бумаги, он опротестует решение, выступит от вашего имени и объявит дело неподсудным коммерческому суду. Тут не встретится ни малейшего затруднения: вы достаточно известный журналист. А если вас вызовут в гражданский суд, обратитесь ко мне, это по моей части: не поздоровится тому, кто вздумает огорчить прекрасную Корали.

Двадцать восьмого мая Люсьен предстал перед гражданским судом, и приговор был вынесен гораздо скорее, чем думал Дерош, ибо преследовали Люсьена беспощадно. Когда опять наложен был арест на имущество, когда желтое объявление опять позолотило пилястры дверей Корали и уже хотели было вывезти мебель, Дерош, слегка обескураженный тем, что позволил собрату по ремеслу (как он выразился) *поддеть* себя, представил возражения, утверждая с полным, впрочем, основанием, что движимое имущество принадлежит мадемуазель Корали, и предъявил встречный иск. По постановлению председателя суда дело было опять назначено к слушанию, и судебное решение признало, что обстановка принадлежит актрисе. Метивье обжаловал это решение, но постановлением от тридцатого июля жалоба его была отклонена.

Седьмого августа дилижанс доставил мэтру Кашану пухлую папку с делом, озаглавленным: *Иск Метивье к Сешару и Люсьену Шардону.*

Первым документом был небольшой изящный счет, точность которого бесспорна, ибо с него снята копия.

Вексель от 30 апреля сего года, выданный Сешаром-сыном приказу Люсьена де Рюбампре (2 мая). Обратный счет: 1037 фр. 45 сант.

5 мая. Предъявление обратного счета и протеста с вызовом в парижский коммерческий суд на 7 мая	8 фр.	75 сант.
7 мая. Суд, заочное постановление об аресте . .	35 »	00 »
10 мая. Уведомление о решении суда	8 »	50 »
12 мая. Исполнительный лист	5 »	50 »
14 мая. Протокол описи имущества	16 »	00 »
18 мая. Протокол о наклейке объявлений . . .	15 »	25 »
19 мая. Публикация в газете	4 »	00 »

24 мая.	Протокол проверки по описи имущества, предшествующей изъятию и содержащей возражение господина Люсьена де Рюбампре против исполнения судебного решения	12 » 00	»
27 мая.	Постановление суда, коим, на основании надлежащим образом предъявленного отвода судебного решения, дело передается в гражданский суд	35 » 00	»
28 мая.	Ходатайство Метивье о вызове ответчика в гражданский суд, о рассмотрении дела на ближайшем заседании, а также о назначении стряпчего	6 » 50	»
2 июня.	Постановление суда о присуждении Люсьена Шардона к уплате по статьям *обратного счета* и об отнесении на счет истца издержек, произведенных в коммерческом суде	150 » 00	»
6 июня.	Копия вышеупомянутого постановления суда	10 » 00	»
15 июня	Исполнительный лист	5 » 50	»
19 июня.	Протокол о наложении ареста на имущество и содержащий возражение против сего ареста со стороны девицы Корали, заявившей свое право на движимость и ходатайствующей о рассмотрении вопроса в срочном порядке, в случае если истец будет настаивать на исполнении	20 » 00	»
	Распоряжение председателя суда о рассмотрении вопроса в срочном порядке	40 » 00	»
19 июня.	Постановление, признающее движимость собственностью означенной девицы Корали	250 » 00	»
20 июня.	Апелляционная жалоба Метивье . . .	17 » 00	»
30 июня.	Подтверждение постановления . . .	250 » 00	»
	Итого	889 фр. 20 сант.	
	Вексель от 31 мая	1037 фр. 45 сант.	
	Предъявление Люсьену Шардону	8 » 75	»
		1046 фр. 20 сант.	
	Вексель от 30 июня, обратный счет . . .	1037 » 45	»
	Предъявление Люсьену Шардону	8 » 75	»
	Итого	1046 фр. 20 сант.	

К бумагам было приложено письмо, в котором Метивье предписывал мэтру Кашану, ангулемскому стряпчему, преследовать Давида Сешара всеми законными мерами. Итак, мэтр Виктор-Анж-Эрменежильд Дублон вы-

звал Давида Сешара 3 июля в ангулемский коммерческий суд для уплаты общей суммы долга в четыре тысячи восемнадцать франков восемьдесят пять сантимов по трем векселям и в возмещение издержек. Утром, в тот самый день, когда Дублон должен был вручить Еве исполнительный лист на эту огромную для нее сумму, она получила громовое письмо от самого Метивье:

«Господину Сешару-сыну, типографу в Ангулеме.

Ваш шурин, господин Шардон, показал себя человеком самых дурных правил: он перевел свою движимость на имя актрисы, с которой он живет; а вам, милостивый государь, следовало бы честно меня предуведомить об этом обстоятельстве и тем самым избавить от бесполезного обращения в суд, но вы даже не потрудились ответить мне на письмо от 10 сего мая. Посему не взыщите, если я попрошу вас о немедленной уплате по трем векселям и о покрытии всех моих издержек.

Примите мои уверения

Метивье».

Ева, не искушенная в торговом праве, думала, что, поскольку их оставили в покое, значит, брат искупил свое преступление, оплатив подделанные им векселя.

— Друг мой,— сказала она мужу,— ступай прежде всего к Пти-Кло, объясни ему наше положение и посоветуйся с ним.

— Друг мой,— сказал несчастный типограф, входя в кабинет своего школьного товарища, к которому он бежал, не чувствуя под собою ног,— когда ты, будучи у меня, рассказал о своем назначении и предложил свои услуги, мне и в голову не могло прийти, что я так скоро буду в них нуждаться.

Пти-Кло изучал прекрасное лицо мыслителя, сидевшего в креслах против него, не слушая подробностей дела, знакомых ему лучше, чем тому, кто их излагал. Увидя взволнованного Сешара, входившего к нему, он сказал про себя: «Клюнуло!» Подобные сцены нередко разыгрываются в тиши кабинетов стряпчих. «За что Куэнте его преследует?» — спрашивал себя Пти-Кло. Стряпчим свойственно искусство в равной мере проникать в души своих клиентов и их противников: они должны одинако-

во хорошо знать как лицо, так и изнанку судебной кляузы.

— Ты желаешь выиграть время? — спросил Пти-Кло, когда Сешар кончил.— Сколько тебе нужно? Месяца три-четыре?

— О-о! Четыре месяца! Тогда я спасен! — вскричал Давид, которому Пти-Кло представился ангелом.

— Так вот! Три-четыре месяца твоего имущества не тронут и тебя самого не арестуют... Но это тебе дорого станет, любезный,— сказал Пти-Кло.

— Э, не все ли мне равно! — вскричал Сешар.

— Ты ожидаешь каких-то платежей, уверен ли ты в них?..— спросил стряпчий, изумляясь той легкости, с какой его клиент попался в расставленные ему сети.

— Через три месяца я буду богат,— отвечал Давид с уверенностью изобретателя.

— Твой отец еще не на погосте,— отвечал Пти-Кло,— он предпочитает копошиться в своем винограднике.

— Неужто я рассчитываю на смерть отца?..— отвечал Давид.— Я близок к открытию, которое позволит мне изготовлять без единого волокна хлопка бумагу не менее прочную, чем голландская, и притом она обойдется вдвое дешевле, нежели нынче обходится только хлопковая масса.

— Да это ж целое состояние! — вскричал Пти-Кло, который понял теперь замысел Куэнте-большого.

— Огромное состояние, друг мой, ибо в ближайшие десять лет понадобится в десять раз больше бумаги, чем потребляется теперь. Журналистика станет страстью нашего века!

— Никто не посвящен в твою тайну?..

— Никто, кроме жены.

— А не говорил ли ты о своем замысле, планах кому-нибудь... Куэнте, скажем?

— Возможно, обмолвился, но очень туманно!

Проблеск великодушия промелькнул в злобной душе Пти-Кло, и он попытался все примирить: корыстолюбие Куэнте, личную корысть и благо Сешара.

— Послушай, Давид, мы с тобой школьные товарищи, я берусь тебя защищать, но наперед знай: защита в обход закона станет тебе в пять-шесть тысяч франков... Не сори деньгами! И уж не разумнее ли было бы поде-

литься доходом от твоего изобретения с кем-нибудь из наших фабрикантов? Не доведется ли тебе крепко призадуматься, прежде нежели купить или построить бумажную фабрику? Притом надобно будет взять патент на изобретение. На все это потребуется и время и деньги. А судебные приставы, как ни измышляй мы всякие лазейки, могут все же нагрянуть чересчур рано...

— Я уже овладел тайной,— отвечал Давид с наивностью ученого.

— Ну, что ж! Твоя тайна — твой якорь спасения,— продолжал Пти-Кло, обескураженный в своей первоначальной и честной попытке избежать тяжбы при помощи полюбовной сделки.— Я не желаю в нее вникать, но выслушай меня внимательно: постарайся укрыться со своей работой в недра земли, чтобы ни одна живая душа тебя не видела и не могла догадаться о твоих изысканиях, иначе якорь спасения выскользнет из твоих рук... Изобретатель нередко оказывается настоящим простофилей! Уж чересчур вы поглощены вашими изобретениями, чтобы подумать обо всем прочем. Все кончится тем, что откроют твою тайну, ведь ты окружен фабрикантами! Сколько фабрикантов, столько и врагов! Ты точно ценный бобер, подстерегаемый охотниками, побереги же свою шкуру...

— Благодарю, дорогой мой друг, я сам обо всем этом думал,— вскричал Сешар,— но я благодарю тебя за разумный совет и заботу!.. Я хлопочу не о себе. Что касается меня, ренты в тысячу двести франков было бы достаточно, притом отец оставит мне со временем втрое больше... Я живу любовью и мыслью!.. Витаю в небесах... Я забочусь о Люсьене и о жене, ради них-то я и работаю...

— Так вот что, выдай мне доверенность на ведение дела и занимайся всецело своим изобретением. Накануне того дня, когда тебе во избежание ареста понадобится скрыться, я тебя предупрежу; ведь надо предусмотреть все. И позволь посоветовать: не впускай в дом ни одного человека, в котором ты не был бы уверен, как в самом себе.

— Серизе не пожелал возобновить договор на аренду типографии, и отсюда исходят наши денежные невзгоды. Итак, при мне остаются лишь Марион и эльзасец Кольб, который предан мне, как пес, жена и теща...

— Послушай,— сказал Пти-Кло,— не доверяй псу...

— Ты не знаешь Кольба! — вскричал Давид.— Я верю ему, как самому себе.

— А ты позволишь мне испытать его?

— Изволь,— сказал Сешар

— Ну, прощай; но пришли ко мне свою красавицу супругу, ее доверенность необходима. И не забывай, друг мой, что твои дела порядочно запутаны,— сказал Пти-Кло товарищу, предупреждая его таким путем о судебных бедствиях, готовых обрушиться на его голову.

«Вот подите же! Одна нога в Бургундии, другая — в Шампани»,— сказал про себя Пти-Кло, проводив своего друга Давида Сешара до дверей конторы.

Измученный заботами, связанными с отсутствием денег, измученный тревогой, которую вызывало в нем состояние жены, убитой бесчестным поступком Люсьена, Давид все же не оставлял мысли о своем изобретении; так, идя к Пти-Кло, он в рассеянии жевал стебель крапивы, которую только что вымачивал в воде, с тем чтобы размягченные волокна применить в качестве сырья для бумажной массы. Он желал применить обычные способы переработки пряжи, тряпья, лоскута к любым волокнистым веществам, поддающимся размельчению и вымачиванию. На обратном пути, достаточно успокоенный беседой со своим другом Пти-Кло, он вдруг заметил, что у него во рту находится комочек какого-то теста; он положил его на ладонь, раскатал и обнаружил бумажную массу, превосходящую собою все составы, которые он когда-либо получал, потому что главным недостатком массы, вырабатываемой из растений, была ее слабая вязкость. Так, из соломы получается ломкая, шуршащая, точно металлическая бумага. Неожиданные открытия выпадают лишь на долю отважных исследователей явлений природы! «Я осуществлю,— сказал себе Давид,— посредством машины и химической обработки то, что я открыл безотчетно». И он явился к жене, обрадованный своей уверенностью в победе.

— Ангел мой, не волнуйся! — сказал Давид, увидев, что жена плакала.— Пти-Кло ручается, что несколько месяцев мы можем быть спокойны. Надо только примириться с издержками, но, как он сказал на прощание, «всякий француз имеет право оттянуть расплату с заимодавцами,

лишь бы в свое время он покрыл долг, проценты и издержки!..» Ну, что ж! Покроем...

— А на что жить?..— сказала бедная Ева, думавшая обо всем.

— Ты права! — отвечал Давид, почесывая за ухом,— движение непроизвольное и свойственное почти всем людям в затруднительных обстоятельствах.

— Матушка присмотрит за нашим маленьким Люсьеном, а я опять стану работать,— сказала она.

— Ева, о моя Ева! — вскричал Давид, обнимая жену и прижимая ее к груди.— Ева! В двух шагах отсюда, в Сенте, в шестнадцатом веке жил один из величайших людей Франции; он был не только изобретателем эмали, но и славным предтечей Бюффона, Кювье, ибо этот простодушный человек еще до них положил начало геологии! Бернар де Палисси был одержим страстью исследования, но против него восстала жена, дети, весь городок. Жена продавала его инструменты... Он бродил по полям, не понятый людьми, всеми гонимый!.. На него указывали пальцами!.. Но я, я любим...

— Горячо любим,— отвечала Ева с кротостью уверенной в себе любви.

— Тогда можно перенести все, что переносил несчастный Бернар де Палисси, творец экуанского фаянса, которого пощадил в Варфоломеевскую ночь Карл IX и который позже, уже будучи старцем, богатым и всеми уважаемым, читал перед лицом всей Европы публичные лекции, посвященные *науке о почвах*, как он называл геологию.

— Пока я буду в силах держать утюг, ты не будешь знать нужды ни в чем! — воскликнула бедная женщина в порыве бесконечной преданности.— В ту пору, когда я служила первой мастерицей у госпожи Приер, я была дружна с одной славной девушкой, двоюродной сестрой Постэля, Базиной Клерже; так вот эта самая Базина только что принесла из прачечной мое тонкое белье и кстати сказала, что заступит место госпожи Приер. Я стану у нее работать...

— Работать тебе придется у нее недолго,— отвечал Давид.— Я открыл...

Впервые высокая уверенность в успехе, которая поддерживает изобретателей и придает им мужество в их по-

исках пути в девственных лесах страны открытий, вызвала у Евы почти печальную улыбку, и Давид скорбно опустил голову.

— Друг мой, я не смеюсь, я не насмехаюсь, я не усомнилась в тебе,— вскричала прекрасная Ева, опускаясь перед мужем на колени.— Но я вижу, как ты был прав, окружая полной тайной свои опыты и упования. Да, мой друг, изобретатель должен таить муки рождения своей славы от всех, даже от жены. Женщина прежде всего женщина! Твоя Ева невольно улыбнулась, услыхав твои слова: «Я открыл!..» — которые она слышит от тебя семнадцатый раз в этот месяц.

Давид так добродушно начал подшучивать над собою, что Ева взяла его руку и благоговейно ее поцеловала. То было восхитительное мгновение, когда у края самых каменистых дорог нищеты и порою в глубине бездны расцветают розы любви и нежности.

Мужество Евы удваивалось по мере того, как увеличивались их несчастья. Величие ее мужа, его наивность изобретателя, слезы, которые она иногда замечала на глазах Давида, такой сердечной и поэтической натуры,— все это развивало в ней небывалую силу сопротивления. Она еще раз прибегла к средству, которое однажды так отлично ей помогло. Она обратилась к г-ну Метивье с просьбой дать объявление о продаже типографии и обещала из денег, вырученных таким путем, заплатить долг, умоляя не разорять Давида излишними судебными издержками. Г-н Метивье ответил на это отчаянное письмо мертвым молчанием, а его старший конторщик известил, что «ввиду отсутствия господина Метивье он не берет на себя смелость приостановить взыскание по суду, тем более что это не входит в обычаи его патрона». Ева предложила переписать векселя, принимая на себя все издержки, и конторщик согласился; но он поставил условием, что отец Давида Сешара даст поручительство по векселям. Ева вместе с матерью и Кольбом отправилась пешком в Марсак. Она смело вошла в дом к старому виноделу, она обворожила его, ей удалось разгладить морщины на его старческом лице; но стоило ей с сердечным трепетом заговорить о поручительстве, как выражение этого *пьянографического* лица сразу и резко изменилось.

— Да ежели бы я позволил моему сыну тронуть хотя бы пальцем краешек моей кассы, он запустил бы туда всю клешню и начисто выпотрошил бы нутро! — вскричал он.— Дети падки до родительского кошелька. А как поступал я сам? Я и лиара не стоил моим родителям. Ваша типография пустует. Только мыши да крысы оставляют там свои отпечатки... Вы у меня красавица, вас-то я люблю; вы женщина работящая и бережливая; ну, а мой сын!.. Что такое Давид, смею вас спросить? Ученый бездельник, вот он кто! Держал бы я его в ежовых рукавицах, как нас держали, да не пустил бы по ученой части, стал бы он Медведем, как его отец, и нажил бы уже капиталец... Ох! Не сынок, а крест тяжкий! И на беду единственный, не перепечатаешь! Он и вас-то измучил... (Ева движением выразила свое решительное несогласие.) И полноте! — продолжал старик в ответ на ее жест.— Ведь от огорчения у вас пропало молоко, и вам пришлось взять кормилицу. Неужто я ничего не знаю? Вас потащили в суд и раструбили об этом по всему городу. Я простой Медведь, неуч; я не работал у господ Дидо, типографских знаменитостей, а в таком деле никогда еще не оказывался: гербовой бумаги отроду не получал! Сказать вам, что я говорю себе, когда иду в свой виноградник, обрабатываю его, собираю урожай или улаживаю свои дела по хозяйству?.. Я все твержу себе: «Бедняк, ты трудишься! Трудись, старик, копи добро, собирай экю, ну, и что же далее? Далее! Все прахом пойдет, на судебных приставов, стряпчих, на всякие там фантазии... пустые бредни...» Полноте, доченька! Вы ведь мать, у вашего малыша на мордашке торчит такой же трюфель, как у деда,— так мне показалось, когда я принимал его от купели вместе с госпожой Шардон. А ну-ка, не лучше ли подумать вам об этом плутишке, чем о Давиде?.. На вас только и надежда... Вы не дадите расхитить мое добро... мое несчастное добро...

— Но, дорогой папаша Сешар, ваш сын прославит ваше имя, и, вот поглядите, он будет богат, получит крест Почетного легиона...

— И что же он для этого сделает? — спросил винодел.

— Потерпите, увидите! Ну, а покамест тысяча экю неужто вас разорит? А имея тысячу экю, можно приоста-

новить судебное дело... Ну, что ж! Если вы не доверяете сыну, ссудите мне, я возвращу долг; в обеспечение возьмите мое приданое, мой заработок...

— Так-с! Давид Сешар под судом! — промолвил винодел, удивленный тем, что молва, которую он объяснял клеветой, оказалась правдой.— Вот к чему приводит умение подписывать свое имя!.. А как же мои арендные взносы?.. Надобно мне сходить в Ангулем, доченька, привести в порядок дела, посоветоваться с Кашаном, моим стряпчим... Вы хорошо сделали, что пришли... За одного ученого двух неученых дают!

Два часа длилась борьба, и Ева вынуждена была отступить, побежденная неотразимым доводом: «Женщины не знают толку в делах». Ева шла в Марсак в смутной надежде на успех и возвращалась в Ангулем почти разбитая. Она воротилась в то время, когда принесли извещение о судебном решении, по которому Сешар обязан был полностью выплатить свой долг Метивье. В провинции появление в доме судебного пристава является событием; а Дублон в последнее время приходил чересчур часто, и было естественно, что среди соседей начались пересуды. Ева остерегалась выходить из дому, боясь услышать вслед себе шушуканье.

— Ах, мой брат, мой брат! — вскричала бедная Ева, вбегая в подъезд и подымаясь по лестнице.— Я простила бы тебя, если бы речь шла только о твоей...

— Увы,— сказал Сешар, вышедший ей навстречу,— речь шла о спасении его жизни.

— Ни слова больше об этом,— тихо отвечала она.— Женщина, вовлекшая его в этот парижский омут, преступница!.. А твой отец, Давид, безжалостен!.. Будем страдать молча.

Осторожный стук в дверь не позволил Давиду сказать те нежные слова, что готовы были сорваться с его уст; появилась Марион, а вслед за ней в соседней комнате показался большой и толстый Кольб.

— Сударыня,— сказала она,— мы с Кольбом знаем, какая мучит вас забота, а у нас обоих вместе сбережений тысяча сто франков. Вот мы и думаем: как бы их получше пристроить? И рассудили препоручить их вам, сударыня...

— *Та, сутарыня,*— с одушевлением повторил Кольб.

— Кольб,— вскричал Давид Сешар,— мы не разлучимся никогда! Беги к Кашану, стряпчему, отдай ему эту тысячу франков в счет долга, только возьми расписку; остальное покуда побережем. И гляди, Кольб, чтобы никакая человеческая сила не принудила тебя проговориться насчет того, что я делаю, зачем отлучаюсь из дому, что с собой приношу. А когда я посылаю тебя собирать травы, помни, что ни одна живая душа не должна тебя видеть... Попробуют соблазнить тебя, мой добрый Кольб, попробуют, возможно, предложить тебе тысячи, десятки тысяч франков, чтобы ты рассказал...

— *Тавай мне мильоны, я ни слова не скашу! Разве я не знаю караульни устав?*

— Ну, я тебя предостерег; ступай и попроси господина Пти-Кло присутствовать при вручении денег господину Кашану.

— *Та,*— сказал эльзасец,— *я натеюсь, что стану когда-нибуть товольно погат, штоп наколотить шею этому сутейски! Не нравится мне его морта!*

— Ну вот, подите! Силен, как турок, и смирен, как овца. Он добрейший человек, сударыня,— сказала толстая Марион.— Вот уж кто может составить счастье женщины. Ведь это ему пришло на ум пристроить таким манером наши, как он говорит, *теньги!* Бедняга! Он несладно говорит, но складно думает, я-то всегда его пойму! Он вздумал наняться работать на стороне, чтобы ничего вам не стоить...

— Право, не худо бы разбогатеть, ну, хоть ради того, чтобы вознаградить этих славных людей,— сказал Сешар, взглянув на жену.

Ева находила их поступок вполне естественным, она не удивлялась, встречая души, столь же возвышенные, как ее душа. И, наблюдая ее отношение к людям, даже самый тупой и равнодушный человек чувствовал все благородство ее натуры.

— Вы еще разбогатеете, сударь, у вас есть верный кусок хлеба! — вскричала Марион.— Намедни ваш отец купил ферму, и вот поглядите, вам достанется рента...

Слова, сказанные Марион при таких обстоятельствах, с целью умалить значение своего поступка, разве не изобличали в ней удивительную чуткость?

Как все человеческие установления, французское су-

допроизводство имеет недостатки; однако, подобно обоюдоострому оружию, оно служит как для защиты, так равно и для нападения. И забавная особенность! Когда два стряпчих сговорятся действовать заодно (а они могут сговориться, не сказав и двух слов, понимая друг друга уже по самому ходу дела!), тогда судебный процесс уподобляется действиям в духе маршала Бирона, который при осаде Руана ответил сыну, предлагавшему способ взять город в два дня: «Ты, видимо, торопишься уйти на покой!» Два полководца могут вести войну без конца, избегая решительных сражений и щадя войска, согласно тактике австрийских генералов, которые упустят стратегически выгодный маневр, но накормят солдат похлебкой, и придворный совет не вменяет им это в вину. Мэтр Кашан, Пти-Кло и Дублон перещеголяли австрийских генералов, они брали за образец австрийца древних времен, Фабия Кунктатора.

Пти-Кло, хитрый, как мул, скоро понял все выгоды своего положения. Лишь только Куэнте-большой взял на себя расходы, связанные с судопроизводством, он принял твердое решение перехитрить Кашана и блеснуть перед бумажным фабрикантом своими талантами, искусственно создавая препятствия, ложившиеся дополнительным бременем на Метивье. Но, в ущерб славе этого молодого Фигаро от адвокатуры, бытописатель принужден пробежать по арене его подвигов, как если бы он ступал по раскаленным углям. К тому же одного счета судебных издержек в духе сочиненного в Париже, без сомнения, достаточно для истории нравов современного общества. Итак, попробуем писать в стиле сводок наполеоновской армии; ибо, для ясности повествования, чем короче будет изложение деяний и подвигов Пти-Кло, тем более выиграет страница, сплошь посвященная судопроизводству.

Получив извещение ангулемского коммерческого суда, Давид 3 июля не явился в суд по вызову; 8 июля ему было вручено судебное решение. 10 июля Дублон предъявил исполнительный лист, а 12-го пытался наложить арест на имущество, чему Пти-Кло воспротивился и получил двухнедельную отсрочку. Метивье нашел, что срок этот чересчур велик, и, с своей стороны, на другой же день потребовал рассмотрения дела в срочном порядке; 19 июля он добился постановления, отклонившего возра-

жения Сешара. 21-го было объявлено решение суда, 22-го выдан исполнительный лист, 23-го вручена повестка о личном задержании, а 24-го составлен протокол описи имущества. Неистовство истца Пти-Кло укротил, подав апелляционную жалобу в королевский суд. Жалоба эта, возобновленная после 15 июля, вынудила Метивье отправиться в Пуатье. «Скатертью дорога! — сказал себе Пти-Кло.— А мы покуда передохнем». Поскольку гроза была отведена на Пуатье, Пти-Кло, этот двуликий защитник, дал нужные указания одному из стряпчих окружного суда, а сам в срочном порядке возбудил от имени г-жи Сешар иск к Давиду Сешару о разделе имущества. Пти-Кло, как говорят судейские, *одним махом* выиграл дело, так что уже 28 июля было вынесено постановление о разделе имущества, которое он тут же тиснул в «Шарантский листок», затем надлежащим образом уведомил стороны, и 1 августа в присутствии нотариуса был произведен выдел личного имущества г-жи Сешар, ставшей заимодавцем своего мужа на круглую сумму в десять тысяч франков, которую влюбленный Давид признавал в брачном договоре ее приданым и в обеспечение которой теперь предоставлял ей оборудование типографии и домашнюю обстановку. Обеспечив таким путем сохранность движимого имущества, Пти-Кло попутно отстоял в Пуатье свои претензии, на которых была основана апелляционная жалоба. Согласно его толкованию, Давид Сешар тем менее мог отвечать за издержки по делу Люсьена де Рюбампре в Париже, что гражданский суд департамента Сены своим постановлением отнес их на счет Метивье. Это соображение было принято судом, который подтвердил приговор, вынесенный ангулемским коммерческим судом об уплате исковой суммы Сешаром-сыном, за вычетом шестисот франков парижских издержек, с отнесением последних на счет Метивье и возложением некоторых расходов на обе тяжущиеся стороны на основании апелляционной жалобы Сешара. Постановление это, объявленное Сешару-сыну 17 августа, повлекло 18 августа предъявление исполнительного листа на всю сумму долга, включая проценты и судебные издержки, а 20 августа последовал протокол о наложении ареста на имущество. Тут-то Пти-Кло и выступил от имени г-жи Сешар и потребовал изъятия из описи движимости личной ее собственности,

выделенной по закону из общего имущества. Сверх того, Пти-Кло привлек к делу и Сешара-отца, ставшего его клиентом. И вот по какой причине.

На другой день после посещения невестки виноградарь пришел к своему ангулемскому стряпчему, мэтру Кашану, посоветоваться, каким путем взыскать с сына, попавшего в этакую передрягу, плату за наем помещения.

— Я не могу вести дело отца, раз я уже выступаю против сына,— сказал Кашан.— Обратитесь к Пти-Кло, он чрезвычайно ловок, и, пожалуй, его услуги вам будут полезнее, нежели мои...

В суде Кашан сказал Пти-Кло:

— Я послал к тебе Сешара-отца. Займись-ка им, но не забудь: услуга за услугу!

Между стряпчими услуги подобного рода обычны как в провинции, так и в Париже.

На другой день после того как Сешар-отец выдал доверенность Пти-Кло, Куэнте-большой, сидя в кабинете своего сообщника, сказал:

— Проучите хорошенько Сешара-отца! Человек такого пошиба никогда не простит сыну потери в тысячу франков; это убьет в его сердце последнее великодушие, ежели оно вообще там существовало!

— Возвращайтесь в свои виноградники,— сказал Пти-Кло своему новоявленному клиенту,— вашему сыну и без того тяжко, не объедайте же его. Я вас вызову, когда потребуется.

Итак, действуя от имени Сешара-отца, Пти-Кло заявил, что станки, прикрепленные к полу, являются по назначению своему недвижимостью, тем более что дом этот еще при Людовике XIV был отведен под типографию. Кашан, как защитник интересов Метивье, взбешенный тем, что в Париже движимость Люсьена оказалась собственностью Корали, а в Ангулеме движимость Давида оказалась собственностью его жены и отца (сколько теплых слов было сказано по этому поводу на судебном заседании!), вызвал в суд и отца и сына, чтобы опровергнуть подобные притязания. «Мы хотим,— восклицал он,—обличить в обмане этих господ, которые прибегают к самым опасным, самым недостойным способам защиты, искажают самые простые, самые ясные статьи

кодекса и пользуются ими как рогатками! И ради чего? Ради того, чтобы уклониться от уплаты каких-то трех тысяч франков! Притом взятых у кого? У бедняги Метивье. И еще смеют обвинять заимодавцев!.. В какое время мы живем!.. Короче, я спрашиваю вас: неужто это не равносильно тому, что ограбить своего ближнего? Неужто вы поддержите притязания, которые вносят растление в самое сердце правосудия?..» Ангулемский суд, взволнованный блестящей защитительной речью Кашана, рассмотрев притязания сторон, признал собственницей движимого имущества только г-жу Сешар, отклонил притязания Сешара-отца и присудил его к уплате судебных издержек в сумме четырехсот тридцати четырех франков шестидесяти пяти сантимов.

— Хорош папаша Сешар! Вот-то дал маху! — подшучивали стряпчие.— Хотел урвать кусок, пускай поплатится!..

26 августа было объявлено постановление суда, предоставлявшее право наложить 28 августа арест на станки и оборудование типографии. Расклеили объявления!.. Ходатайствовали и получили разрешение продать имущество по месту его нахождения. Объявление о продаже было помещено в газетах, и Дублон надеялся уже 2 сентября приступить к проверке имущества по описи и продаже. К этому времени Давид Сешар, согласно вошедшему в законную силу постановлению суда и по исполнительным листам, был должен Метивье уже пять тысяч двести семьдесят пять франков двадцать пять сантимов, не считая процентов. Он был должен Пти-Кло тысячу двести франков, помимо вознаграждения за ведение дела, в отношении которого стряпчий, уподобясь вознице, лихо прокатившему седока, всецело полагался на щедрость клиента. Г-жа Сешар была должна Пти-Кло около трехсот пятидесяти франков, помимо вознаграждения. Сешар-отец был должен четыреста тридцать четыре франка шестьдесят пять сантимов, и Пти-Кло требовал у него сто экю вознаграждения. Итак, общая сумма достигала десяти тысяч франков. Не говоря уже о полезности этих сведений для других наций, которые по ним могут судить о мощности французской судебной артиллерии, необходимо, чтобы законодатель,— если, впрочем, у законодателя есть время для чтения,— знал, до

какой степени могут доходить злоупотребления судопроизводства. Не следует ли издать на скорую руку какой-нибудь подходящий закон, которым воспрещалось бы стряпчим превышать в иных случаях сумму иска издержками судопроизводства? И не смешно ли приравнивать земельное владение площадью в один сантиар к землям миллионной стоимости! Из этого крайне сухого перечня всех стадий судебной тяжбы станет понятно значение слов: *формальности, суд, издержки,* над которыми большинство французов не задумывается! Вот что на судейском жаргоне называется судебной волокитой! Типографские шрифты весом в пять тысяч фунтов шли по цене лома, за две тысячи франков. Три станка оценены были в шестьсот франков. Остальное оборудование расценивалось как железная и деревянная рухлядь. От продажи домашней обстановки можно было выручить самое большее тысячу франков. Стало быть, имущество, принадлежащее Сешару-сыну и оцененное в сумме около четырех тысяч франков, дало Кашану и Пти-Кло повод израсходовать семь тысяч франков, не считая будущих издержек, а, как мы видим, цветочки сулили достаточно крупные ягодки. Конечно, практикующие юристы Франции и Наварры, и даже Нормандии принесут Пти-Кло дань своего уважения и восхищения; но неужто люди отзывчивые не будут тронуты до слез поведением Кольба и Марион?

Покамест шла эта война, Кольб, если Давиду не требовались его услуги, сидел на стуле у двери подъезда, исполняя обязанности сторожевого пса. Он принимал судебные извещения, впрочем, под неусыпным надзором подручного Пти-Кло. Когда объявления возвещали о продаже типографского оборудования, Кольб сразу же, едва разносчик успевал их наклеить, срывал их, бежал в город, срывал их и там и кричал:

— *Шельмы! За што терзают такой славный шеловек! И это называют правосутием!*

Марион утром работала на бумажной фабрике, где вертела ручку машины и получала за это десять су, которые и тратила на повседневные нужды. Г-жа Шардон безропотно взялась опять за утомительное занятие сиделки и в конце недели приносила дочери свой заработок. Она уже заказала две девятины, удивляясь, что господь

бог глух к ее мольбам и слеп к сиянию возжигаемых ею свечей.

2 сентября Ева получила наконец от Люсьена письмо, ибо то письмо, которым он извещал зятя о существовании трех подложных векселей, Давид скрыл от жены.

«Вот третье письмо со дня его отъезда в Париж»,— сказала про себя несчастная сестра, медля вскрыть роковое послание.

В эту минуту она кормила младенца из рожка, ибо нужда вынудила ее отказать кормилице. Можете судить, в какое состояние привело ее это письмо, а позже и Давида, которого она приказала разбудить. Проведя всю ночь за изготовлением бумаги, изобретатель заснул только на рассвете.

«Париж, 29 августа.

Милая сестра!

Два дня тому назад, в пять часов утра, я принял последний вздох прекраснейшего божьего создания, единственной женщины, любившей меня так, как любишь ты, как любят меня Давид и мать, но вместе с этим бескорыстным чувством дававшей мне то, чего ни мать, ни сестра не могут дать: высшее счастье любви! Пожертвовав для меня всем, бедная Корали, может быть, и умерла из-за меня!.. А мне не на что похоронить ее!.. Она была моим утешением в жизни, и только у вас, милые мои ангелы, я могу искать утешения в ее смерти. Я верю, что бог простит этому невинному созданию все грехи, ибо она умерла, как христианка. О Париж!.. Париж, моя Ева, это вместе и вся слава и все бесчестие Франции! Сколько мечтаний погибло здесь и сколько их еще погибнет, пока я, как подаяния, выпрашиваю жалкие гроши, которые нужны мне, чтобы предать освященной земле прах ангела!

Твой несчастный брат
Люсьен.

P. S. Много причинил я тебе огорчений своим легкомыслием; со временем ты узнаешь все и простишь меня. Впрочем, будь покойна: один добрый человек, купец Камюзо, которому я доставил столько волнений, зная, как мы с Корали страдали, взялся, как он выразился, уладить это дело».

— Письмо еще влажное от слез! — сказала она Давиду, и в ее взгляде, исполненном жалости, промелькнуло нечто от ее прежней любви к Люсьену.

— Бедный мальчик, как он должен страдать, если его любили так, как он пишет! — вскричал счастливый супруг Евы.

И муж и жена забыли все свои горести при этом стенании безысходного горя. В эту минуту вбежала Марион, крича:

— Сударыня, вот и они!.. Вот и они!..

— Кто?

— Дублон со своими людьми, лукавый их принес! Кольб там воюет с ними, сейчас вывезут...

— Полно, полно! Не волнуйтесь, не вывезут! — донесся из комнаты, смежной со спальней, голос Пти-Кло.— Я только что подал апелляционную жалобу. Мы не можем согласиться с постановлением, обвиняющим нас в недобросовестности. Я и не подумал защищаться в этой инстанции. Чтобы выиграть время, я предоставил Кашану тешиться болтовней. Я уверен, что еще раз одержу победу в Пуатье...

— Но во что станет эта победа? — спросила г-жа Сешар.

— Вознаграждение, если вы выиграете дело, и тысяча франков, если проиграете.

— Боже мой! — вскричала бедная Ева.— Не страшнее ли болезни такое лекарство?

Услыхав этот крик невинности, прозревшей при свете правосудия, Пти-Кло смутился, столь прекрасной показалась ему Ева. Но тут вошел Сешар-отец, вызванный Пти-Кло. Присутствие старика в спальне его детей, подле колыбели внука, улыбавшегося несчастью, придало законченность всей сцене.

— Папаша Сешар,— сказал молодой стряпчий,— вы должны мне семьсот франков за выступление по вашему делу; вы, разумеется, взыщете их с вашего сына, попутно с платой за наем мастерской.

Старый винодел уловил колкую насмешку в тоне голоса и выражении лица Пти-Кло.

— Вам выгоднее было бы поручиться за сына! — сказала Ева, отходя от колыбели, чтобы поцеловать старика.

Давид, удрученный зрелищем толпы зевак, собравшихся перед его домом, где шло сражение между Кольбом и людьми Дублона, молча пожал отцу руку.

— А какими судьбами я мог задолжать вам семьсот франков? — спросил старик у Пти-Кло.

— А такими, что я вел ваше дело. А поскольку речь идет о квартирной плате, вы, стало быть, в долгу передо мной заодно с вашим должником. Ежели ваш сын не покроет эти издержки, придется их покрыть вам... Но все это вздор! А вот дело посерьезнее: не пройдет и двух-трех часов, как Давид может очутиться в тюрьме. Неужто вы это допустите?

— А велик ли долг?

— Да что-то около пяти или шести тысяч франков, не считая того, что он должен вам и жене.

Старик насторожился; он недоверчиво поглядел на трогательную картину, представшую перед его глазами в этой белой и голубой комнате: прекрасная женщина, вся в слезах, склонилась над колыбелью, Давид, вконец изнемогший под гнетом горестей, стряпчий, который, надо полагать, заманил его сюда, как в ловушку... Медведь подумал: «А полно, не желают ли сыграть на моих родительских чувствах?» — и побоялся попасть впросак. Он подошел к колыбели, приласкал младенца, протянувшего к нему ручонки. Среди всех волнений последних дней ребенка по-прежнему холили, как какого-нибудь наследника английского пэра, и на его головке красовался вышитый чепчик на розовой подкладке.

— Э, Давид — человек ученый, он должен знать способ расчесться. Умел войти в долги, сумеет и выпутаться из них! А с меня довольно забот о внуке! — сказал этот дедушка.— И его мать меня одобрит.

— Я позволю себе переложить на чистый французский язык ваши истинные чувства,— с язвительной миной сказал стряпчий.— Полноте, папаша Сешар! В вас говорит зависть к сыну. Сказать вам все начистоту? Давид своим нынешним положением обязан только вам: вы втридорога всучили ему вашу типографию, вы разорили его этой поистине ростовщической сделкой! Да, да! Нечего качать головой, ведь вы прикарманили денежки за газету, проданную братьям Куэнте, а это была единственная ценность вашей типографии... Вы ненавидите сы-

на не только потому, что ограбили его, но и потому, что из него вышел человек на голову выше вас! Вы рисуетесь любящим дедушкой, чтобы скрыть равнодушие к сыну и невестке: любовь к ним обошлась бы вам недешево hic et nunc [1], тогда как внук будет нуждаться в вашей любви только in extremis [2]. Вы выказываете любовь к малышу, вы боитесь, как бы не сказали, что вы не любите никого и своих родных. Ну, а вы не желаете прослыть человеком бездушным! Вот какова подоплека ваших чувств, папаша Сешар...

— Вы позвали меня затем, чтобы все это мне выложить? — сказал старик, угрожающе глядя то на стряпчего, то на невестку и сына.

— Неужели, сударь,— вскричала бедная Ева, обращаясь к Пти-Кло,— вы поклялись нас погубить? Никогда мой муж не жаловался на отца...— Винодел угрюмо посмотрел на Еву.— Давид сто раз мне говорил, что вы по-своему любите его,— сказала она старику, понимая причины его подозрительности.

Следуя наказу Куэнте-большого, Пти-Кло старался окончательно рассорить отца с сыном, чтобы отец не вздумал помочь Давиду выйти из бедственного положения, в котором он находился.

«В тот день, когда мы упрячем Давида в тюрьму,— сказал ему накануне Куэнте-большой,— вы будете представлены госпоже де Сенонш».

Прозорливость, свойственная любви, подсказала г-же Сешар, откуда исходит эта купленная враждебность, как раньше она почувствовала измену Серизе. Легко вообразить себе, как удивлен был Давид столь непонятной осведомленностью Пти-Кло о характере и делах его отца. Прямодушный изобретатель не подозревал о связи своего защитника с Куэнте и тем более не мог знать, что в лице Метивье он имеет дело с братьями Куэнте. Молчание Давида показалось оскорбительным старому виноделу; стряпчий воспользовался замешательством своего клиента и почел своевременным откланяться.

— Прощайте, дорогой Давид! Теперь вы предупреждены: апелляционная жалоба не в силах приостановить

---

[1] Сейчас *(лат.)*.
[2] В последний момент *(лат.)*.

вашего ареста, а у ваших заимодавцев нет иного выхода, и они им воспользуются. Итак, спасайтесь!.. А еще лучше, поверьте мне, повидайтесь-ка с братьями Куэнте, они народ денежный, и ежели ваша работа по изобретению закончена, ежели оно оправдывает возлагаемые на него надежды, войдите-ка с ними в товарищество. Право, они, что ни говори, славные ребята!..

— Какое изобретение? — спросил Сешар-отец.

— Неужто вы думали, что ваш сын — такой фофан, что очертя голову забросил типографию? — вскричал стряпчий.— Давид на пороге открытия дешевого способа изготовления бумаги: стопа бумаги будет обходиться в три франка вместо десяти, он сам мне говорил...

— Еще новый способ меня одурачить! — вскричал Сешар-отец.—Рыбак рыбака видит издалека! Ежели Давид это открыл, какая ему во мне нужда? Тогда он миллионер! Прощайте, любезные, почивайте покойно!

И старик стал спускаться вниз по лестнице.

— Постарайтесь скрыться,— сказал Пти-Кло Давиду и бросился вслед старому Сешару, чтобы окончательно его взбесить.

Адвокат догнал винодела, все еще продолжавшего что-то брюзжать себе под нос, на площади Мюрье, проводил его до Умо и на прощанье пригрозил, что взыщет издержки по исполнительному листу, если они не будут оплачены в течение недели.

— Я вам заплачу, ежели вы изыщете средство, как мне лишить сына наследства, без ущерба для внука и снохи!..— сказал старый Сешар и рысцой побежал от Пти-Кло.

— Как хорошо изучил Куэнте-большой свой мирок!.. Ах, как был он прав, говоря: из-за этих семисот франков издержек старик откажется уплатить за сына семь тысяч долгу! — вскричал этот щуплый стряпчий, возвращаясь в Ангулем.— Тем не менее мы не позволим себя перехитрить этой старой лисе — фабриканту; пора потребовать кое-что посущественнее обещаний.

— Давид, друг мой, что же нам делать?..— сказала Ева мужу, когда Сешар-отец и стряпчий ушли.

— Поставь самый большой горшок на огонь, голубушка! — вскричал Давид, обращаясь к Марион.— Я открыл...

Услыхав эти слова, Ева с лихорадочной живостью надела башмаки, шляпу, шаль.

— Одевайтесь, друг мой,— сказала она Кольбу,— вы проводите меня; надо же узнать, есть ли какой-нибудь выход из этого ада...

— Сударь! — вскричала Марион, когда Ева ушла.— Образумьтесь, а не то ваша жена умрет от горя. Достаньте денег, расплатитесь с долгами, а потом уже ищите вволю ваш клад.

— Замолчи, Марион,— отвечал Давид,— осталось преодолеть последнее препятствие. Я сразу получу патент на изобретение и патент на усовершенствование.

Во Франции патент на усовершенствование является самым уязвимым местом для изобретателя. Человек лет десять трудится над каким-нибудь изобретением в области промышленности, будь то машина или какое-либо открытие; он берет патент, он мнит себя хозяином своих трудов, но вот если он что-нибудь упустил, его побивает соперник: он усовершенствует его изобретение каким-нибудь винтиком и таким образом отнимает у него все права. Поэтому найти дешевый состав бумаги далеко еще не все! Другие могут усовершенствовать этот состав. Давид Сешар старался все предусмотреть, чтобы никто не мог вырвать у него из рук богатство, завоеванное среди стольких невзгод. Голландская бумага (это название сохранилось за бумагой, изготовляемой исключительно из льняного тряпья, хотя Голландия ее более не выделывает) слегка проклеена, но проклеивают ее лист за листом ручным способом, что удорожает производство. Если бы ему удалось проклеивать бумагу в чане и при помощи какого-нибудь недорогого клея (что уже практикуется сейчас, но еще далеко не совершенным способом), вопрос о дальнейшем усовершенствовании естественно бы отпал. Итак, вот уже месяц Давид искал способ проклейки бумажной массы в чане. Он желал разрешить сразу две задачи.

Ева пошла к матери. По счастливой случайности г-жа Шардон ухаживала за женой старшего товарища прокурора, которая только что произвела на свет сына, долгожданного наследника рода Мило де Невер. Ева, чувствуя недоверие ко всем должностным лицам, исполняющим обязанности судебных приставов, стряпчих и прочая, ре-

шила посоветоваться с законным заступником вдов и сирот, спросить, не может ли она выручить Давида, приняв на себя его обязательства и продав свои права; она надеялась, что кстати узнает причину двойственного поведения Пти-Кло. Судейский чиновник, пораженный красотою г-жи Сешар, был не только почтителен, как и подобает быть с женщиною, но и рыцарски учтив, к чему Ева вовсе не привыкла. Она уловила в глазах судейского то выражение, которое со времени своего замужества порою замечала только у Кольба и которое для таких красивых женщин, как Ева, служит мерилом их суждения о мужчине. Когда страсти, когда расчет или возраст погасят в глазах мужчины огонь беззаветного преклонения, что так ярко горит в дни молодости, он начинает внушать женщине недоверие, и она склонна уже настороженно присматриваться к нему. Куэнте, Пти-Кло, Серизе, все мужчины, в которых Ева угадывала своих врагов, смотрели на нее сухими, холодными глазами, но она не испытывала ни малейшего стеснения, беседуя с товарищем прокурора, который, однако ж, несмотря на его любезное обхождение, разрушил все ее надежды.

— Сомнительно, сударыня,— сказал он Еве,— чтобы королевский суд изменил решение, которое уже ограничило домашней обстановкой перевод имущества на ваше имя, предпринятый вашим супругом ради ограждения ваших прав при разделе. Ваше преимущество не должно служить прикрытием обмана. Но раз вы в качестве заимодавца имеете право получить свою долю из выручки от продажи описанного имущества и раз ваш свекор также пользуется подобным преимуществом в размере долга по найму помещения, вам, стало быть, представится возможность, когда суд вынесет приговор, возбудить другую претензию, короче говоря, потребовать, выражаясь юридическим языком, *конкурса*.

— Стало быть, господин Пти-Кло нас разоряет? — вскричала она.

— Поведение Пти-Кло,— продолжал судейский,— соответствует поручению, данному ему вашим мужем, который желает, как говорит его стряпчий, выиграть время. По моему мнению, вам было бы выгоднее отказаться от апелляционных жалоб и вместе со свекром скупить при распродаже имущества наиболее ценное типографское

оборудование: вам в размере вашей доли при разделе имущества, ему — в пределах суммы арендной платы. Но не будет ли опрометчивостью такая поспешность? Стряпчие вас обирают.

— Помилуйте! Ведь это значит оказаться в зависимости от господина Сешара-отца! Оказаться у него в долгу за пользование оборудованием и за наем дома!.. И все эти жертвы не спасут мужа от судебного преследования по иску господина Метивье, которому, впрочем, не достанется почти ничего...

— Вы правы, сударыня.

— И положение наше только ухудшилось бы...

— Закон, сударыня, в конечном счете поддерживает заимодавца. Вы получили три тысячи франков, их надобно непременно возвратить...

— О сударь! Неужели вы думаете, что мы способны на...

Ева умолкла, сообразив, что, оправдывая себя, она подвергает опасности брата.

— О, я прекрасно вижу,— возразил судейский,— что в этом деле много неясного и в отношении должников, людей честных, щепетильных и даже великодушных!.. и в отношении заимодавца, в сущности подставного лица...— Испуганная Ева растерянно поглядела на чиновника.— Видите ли,— сказал он, бросая на нее взгляд, исполненный проницательности,— покамест мы сидим и слушаем речи господ адвокатов, нам ничего иного не остается, как размышлять о том, что творится у нас перед глазами.

Ева воротилась в отчаянье от своей неудачи. В семь часов вечера Дублон принес постановление об аресте Давида. Итак, преследование достигло предела своих возможностей.

— С завтрашнего дня,— сказал Давид,— я могу показываться на улицу только ночью.

Ева и г-жа Шардон обливались слезами. Скрываться казалось им бесчестием. Узнав, что хозяину грозит лишение свободы, Кольб и Марион встревожились, тем более что они издавна считали его крайне простодушным; они так волновались за него, что решили тут же поговорить с г-жой Шардон, Евой и самим Давидом и узнать, не могут ли они чем-либо быть им полезны. Они пришли как

раз в ту минуту, когда три существа, для которых жизнь до той поры была столь ясной, плакали, поняв наконец, что Давиду нужно скрываться. Но как ускользнуть от тайных шпионов, которые отныне будут рыскать по следам этого, к несчастью, столь рассеянного человека?

— *Если ви, сутарыня, пошелаете потоштать шетверть часа, я телай расфетка в неприятельски лагерь,*— сказал Кольб,— *и ви увитаите, што я понималь это тело, пускай я с лица нэмец, но я настояши франсус и хитрость моя франсуски.*

— Ах, сударыня,— сказала Марион,— отпустите-ка его, пускай попробует, ведь у него одно на уме: как бы спасти хозяина! Какой же Кольб эльзасец? Он... как бишь его?.. Ну... настоящий *ньюфаунделендец!*

— Ступайте, мой дорогой Кольб,— сказал ему Давид,— у нас есть еще время подумать.

Кольб бросился к судебному приставу, где враги Давида держали совет, каким способом схватить его.

Арест должника в провинции, если таковой случается, является событием необыкновенным, из ряда вон выходящим. Прежде всего там все чересчур хорошо знают друг друга, чтобы кто-нибудь осмелился прибегнуть к столь отвратительному средству. Там заимодавцы и должники всю жизнь живут бок о бок. А если какой-нибудь купец задумает *выворотить шубу,*— воспользуемся словарем провинции, которая отнюдь не мирится с этого рода узаконенным воровством,— объявит несостоятельность в крупном масштабе, прибежищем ему служит Париж. Для провинции Париж — своего рода Бельгия; банкроты находят там убежище, почти недосягаемое для провинциального пристава, полномочия которого теряют силу за пределами его судебного округа. Сверх того, встречаются и другие препятствия, почти неодолимые. Так, закон о неприкосновенности жилища соблюдается в провинции свято: там судебный пристав не имеет права, как в Париже, проникнуть в частный дом третьего лица, чтобы задержать должника. Законодатели сочли нужным сделать исключение только для Парижа по той причине, что там в большинстве случаев несколько семейств живет в одном доме. Но в провинции нарушить неприкосновенность жилища даже самого должника судебный пристав может лишь в присутствии мирового судьи.

И мировой судья, которому подвластны судебные приставы, волен, в сущности, согласиться или отказать в своем содействии аресту. К чести мировых судей надо сказать, что их тяготит эта обязанность, они не желают служить слепым страстям или мести. Есть еще и другие затруднения, не менее серьезные, направленные к смягчению совершенно бессмысленной жестокости закона о лишении должника свободы; таково влияние нравов, которые нередко изменяют законы вплоть до полного их уничтожения. В больших городах достаточно найдется презренных негодяев, людей порочных, не имеющих ни стыда, ни совести, готовых служить шпионами; но в маленьких городках каждый человек чересчур на виду, чтобы осмелиться пойти в услужение к приставу. Любой человек, даже из низших слоев общества, согласившийся на такое позорное занятие, был бы вынужден покинуть город. Таким образом, в провинции арест должника не является, как в Париже или в крупных населенных центрах, делом привилегированной касты судебных исполнителей коммерческого суда, но чрезвычайно усложняется, обращается в хитроумный поединок между должником и судебным приставом, и уловки их служат подчас темой пре-
забавных рассказов в отделе происшествий парижских газет. Куэнте-старший предпочел остаться в тени; но Куэнте-толстый, заявив, что это дело ему поручено Метивье, пришел к Дублону вместе с Серизе, который стал его фактором и чье соучастие было куплено обещанием билета в тысячу франков. Дублон мог рассчитывать на своих двух агентов. Стало быть, Куэнте располагал тремя ищейками для слежки за своей жертвой. Мало того, при аресте должника Дублон мог прибегнуть к помощи жандармов, которые, согласно судебным уставам, должны оказывать содействие судебному приставу. Вот этито пять персон и совещались в эту минуту в кабинете мэтра Дублона, в первом этаже, рядом с канцелярией.

В канцелярию вел довольно широкий коридор, выложенный плитками и как бы служивший прихожей. В дом входили через простую калитку; по обе ее стороны виднелись золоченые медные дощечки с гербом судебного ведомства, на которых черными буквами было выгравировано: *Судебный пристав.* Оба окна канцелярии, выходившие на улицу, были защищены солидными железными

решетками. Окнами кабинет выходил в сад, где судебный пристав, поклонник Помоны, чрезвычайно успешно выращивал плодовые деревья. Напротив канцелярии помещалась кухня, а за кухней находилась лестница во второй этаж. Дом стоял в узенькой улице, позади нового здания суда, которое в ту пору еще строилось и закончено было только после 1830 года. Подробности эти отнюдь не излишни, ибо они помогут понять, что произошло с Кольбом. Эльзасец задумал явиться к судебному приставу якобы с предложением выдать за известную мзду своего хозяина и, выведав, какие тенета для него расставляются, предостеречь Давида. Служанка отперла дверь. Кольб заявил: доложите, дескать, желают видеть господина Дублона по делу. Рассерженная тем, что ее потревожили не вовремя, оторвав от мытья посуды, служанка отворила дверь в канцелярию и сказала Кольбу, человеку ей неизвестному, чтобы он обождал тут, покуда ее хозяин занят с посетителями в кабинете; потом она пошла доложить мэтру Дублону, что его спрашивает какой-то человек. Выражение *какой-то человек* так красноречиво указывало на простолюдина, что Дублон сказал: «Пускай обождет!» Кольб сел подле двери в кабинет.

— Ну, а как вы полагаете поступить? Ведь если бы нам удалось схватить его завтра утром, мы выиграли бы время,— сказал Куэнте-толстый.

— Нет ничего проще! Недаром у него кличка Простак! — вскричал Серизе.

Узнав голос Куэнте-толстого и, главное, услыхав две последние фразы, Кольб сразу понял, что речь идет о его хозяине, и удивление его возросло, когда он различил голос Серизе.

«Мальчишка, который ел его хлеб!» — подумал он в негодовании.

— Друзья мои,— сказал Дублон,— надобно вот как поступить. Мы поставим наших людей на приличном расстоянии друг от друга, начиная с бульвара Болье и площади Мюрье, во всех направлениях, чтобы вернее выследить Простака. Право, эта кличка мне нравится! Но поставим так, чтобы он не заметил, что за ним следят. И глаз с него не спустим, покуда не выследим, в каком доме он считает себя в безопасности; ну, тогда оставим его на некоторое время в покое, а потом, в один прекрас-

ный день, на восходе или на закате солнца, как будто невзначай натолкнемся на него.

— Ну, а что он сейчас поделывает? А ну, как он скроется? — сказал Куэнте-толстый.

— Посиживает у себя дома,— сказал мэтр Дублон.— Ежели бы он куда-нибудь ушел, я уже знал бы. Один из моих помощников сторожит на площади Мюрье, другой — на углу у здания суда, а третий — в тридцати шагах от моего дома. Стоит сему мужу выглянуть на улицу, как послышатся их условные свистки, и он не сделает и трех шагов, как я уже об этом узнаю не хуже, чем из телеграфного донесения.

Судебные приставы дают своим сыщикам почетное наименование: *помощники.*

Кольб и не рассчитывал на столь благоприятный случай; он потихоньку вышел из канцелярии и сказал служанке:

— *Каспатин Туплон, как видно, освоботится не скоро, так я понаветаюсь завтра утром.*

Эльзасца, отставного кавалериста, осенила мысль, которую он тут же положил привести в исполнение. Он побежал к своему знакомому, который давал внаймы лошадей, выбрал коня получше, оседлал его, а сам пешком воротился к хозяину. Ева была в полнейшем отчаянии.

— Что случилось, Кольб? — спросил типограф, вглядываясь в испуганное и вместе с тем веселое лицо эльзасца.

— *Вас окрушают мошеники! Нато карошо прятать козяин. Ви, сутарыня, знаете, кута мошно его прятать?*

Когда честный Кольб рассказал о предательстве Серизе, об окружении дома, о том, какое участие в этом деле принимает Куэнте-толстый, и обрисовал те козни, которые строят эти люди, положение Давида представилось в самом зловещем свете.

— Тебя преследуют Куэнте! — вскричала бедная Ева, подавленная этим известием.— Вот почему Метивье был так жесток... Ведь они бумажные фабриканты, они хотят овладеть твоим изобретением.

— Но как спастись от них? — вскричала г-жа Шардон.

— *Сутарыня, нато кута-нипуть прятать козяина,—*

опять сказал Кольб.— *Я отвезу нашего козяин, никто не путет знать.*

— Как только стемнеет, идите к Базине Клерже,— отвечала Ева,— а я схожу туда сейчас же и условлюсь с ней обо всем. В таких обстоятельствах я могу положиться на Базину, как на самое себя.

— Сыщики проследят за тобой,— сказал наконец Давид, собравшись несколько с духом.— Надо кайти способ предупредить Базину, не заходя к ней.

— *Сутарыня, вам восмошно пойти,*— сказал Кольб.— *Моя мысль такова: я выйту из тома вместе с козяин, за нами погонятся свистуны. За вами, сутарыня, следить путет некому, и ви скоро-скоро утекайте к коспоша Клерше! Я имею мой конь, я сашайт на коня козяин и... поминай нас, как зовут, тьяволь их попраль!..*

— Ну что ж!.. Прощай, мой друг! — вскричала бедная женщина, бросаясь в объятия мужа.—Никто из нас не должен с тобой видеться, иначе могут тебя выследить. Мы увидимся, как только окончится твое добровольное заточение. А теперь прощай! Переписываться будем по почте. Опускать в почтовый ящик твои письма будет Базина, а я стану писать тебе на ее имя.

Едва успели Давид и Кольб выйти из дому, как послышались свистки, и внимание сыщиков сосредоточилось на этих двух людях, по пятам которых им пришлось идти до самой заставы Пале, где жил человек, который давал внаймы лошадей. Тут Кольб вскочил на коня, посадил позади себя хозяина и посоветовал ему держаться покрепче.

— *Свистай, свистай, мои кароши трузья! Плевать я котель на вас!*— вскричал Кольб.— *Разве вам поймать старого кавалерист!*

И старый кавалерист, пришпорив коня, скрылся из виду, к досаде сыщиков, которые не могли ни угнаться за беглецами, ни проследить, куда они поскакали.

Ева пошла к Постэлю, придумав довольно остроумную причину: просить у него совета. Она выдержала излияния оскорбительного сочувствия, щедрого на одни лишь слова, и, распростившись с семейством Постэлей, спокойно дошла до дома Базины, не встретив ни души; рассказав подруге о своих горестях, Ева просила у нее по-

мощи и защиты. Из предосторожности Базина затворилась с ней в своей спальне и, отперев дверь в смежное помещение, показала ей комнатку, куда свет проникал через слуховое окно в крыше, в которое не мог заглянуть ни один любопытный глаз. Подруги прочистили небольшой камин, дымовая труба которого проходила вдоль трубы камина, находившегося в мастерской, где мастерицы поддерживали огонь для утюгов. Ева и Базина постлали старые одеяла на пол, чтобы заглушить звуки, если бы Давид нечаянно зашумел: они поставили для него складную кровать, плитку для опытов, стол и стул, чтобы он мог сидеть и писать. Базина обещала кормить его ночью; и так как в ее спальню никто, кроме нее самой, не входил, Давид мог не опасаться ни врагов, ни даже полиции.

— Наконец-то он в безопасности! — сказала Ева, обнимая подругу.

На обратном пути Ева опять зашла к Постэлю, желая якобы разъяснить кое-какие сомнения, которые, по ее словам, вынудили ее вновь обратиться к помощи столь сведущего члена коммерческого суда, и позволила ему проводить ее до дому, выслушав по дороге его сетования. «Вышли бы вы за меня замуж, не мучились бы так!..» Такова была мысль, сквозившая во всех речах фармацевта. Воротясь домой, Постэль выдержал сцену ревности, ибо жена приревновала его к удивительной красоте г-жи Сешар; взбешенная любезностью мужа, Леони все же укротилась, вняв наконец уверениям аптекаря, что на его вкус маленькие рыжие женщины имеют преимущество перед высокими брюнетками, которые, по его мнению, годны, как и породистые лошади, только на то, чтобы красоваться в конюшне. Он, несомненно, дал ей некоторые доказательства своей искренности, ибо на другой день г-жа Постэль нежничала с мужем.

— Мы можем быть спокойны,— сказала Ева матери и Марион, у которых, по выражению Марион, со страху в голове был полный *ералаш*.

— Не беспокойтесь, они уже ускакали,— сказала Марион, когда Ева невольно заглянула в спальню.

— *Кута нам нато ехать?*..— спросил Кольб, проскакав с милю по большой парижской дороге.

— В Марсак,— отвечал Давид.— Раз уж ты вывез

меня на эту дорогу, я хочу в последний раз испытать отцовское сердце.

— *Легше атаковать патарей, потому што у вашего патюшки нет сертца.*

Старый печатник не верил в сына; он судил о нем, как судят люди,— по его успехам. Прежде всего ему и в ум не приходило, что он обобрал Давида; затем он не понимал, что времена переменились, он говорил себе: «Я дал ему в руки дело, которым сам управлял, а он, хоть и ученее меня в сто раз, не мог с ним управиться!» Он был неспособен понять сына, он его осуждал и, воздавая должное своему мнимому превосходству над этой высокоодаренной натурой, рассуждал: «Я приберегаю для него же кусок хлеба». Нравоучители никогда не дойдут до полного понимания того, какое влияние оказывают чувства на расчет. Влияние это столь же сильно, как влияние расчета на чувства. Все законы природы оказывают двойственное действие в прямом и обратном направлении. Давид понимал отца и по своему великодушию прощал его. Давид и Кольб прискакали в Марсак к восьми часам вечера, когда старик кончал обедать, а после обеда он непременно ложился спать.

— Счастью тебя видеть я обязан правосудию,— с ехидной усмешкой сказал отец сыну.

— *Ну, как мой козяин мог витеть вас?.. Он витать в небесах, а ви всегта копаль винократник!..* — вскричал возмущенный Кольб.— *Платить, платить! Вот ваш отцовски толг...*

— Полно, Кольб! Ступай отведи лошадь к госпоже Куртуа, чтобы не беспокоить отца, и помни, что отцы всегда правы.

Кольб ушел, ворча, как пес, которого хозяин побранил за излишнее усердие,— повинуясь ему и все же выражая свое несогласие. Давид, не посвящая отца в тайну своего изобретения, обещал представить ему самое наглядное доказательство своего открытия и предложил ему стать пайщиком в деле в размере той суммы, которая требовалась для его немедленного освобождения, короче, которая требовалась для извлечения доходов из его изобретения.

— А ну-ка! Поглядим, как это ты докажешь, что ты мастер из ничего изготовлять порядочную бумагу, кото-

рая ничего не стоит,— сказал бывший типограф, бросив на сына пьяный, но хитрый, испытующий, алчный взгляд. Вы сравнили бы его с молнией, блеснувшей из грозовой тучи, ибо старый Медведь, верный заведенному уставу, отходя ко сну, не забывал *разогреться* на ночь. Грелка его состояла из двух бутылок превосходного старого вина, которое он, по его выражению, *потягивал*.

— Ну, посудите сами,— отвечал Давид,— на что мне нужно было брать с собой бумагу? Тут я очутился невзначай, скрываясь от Дублона. И только по дороге в Марсак мне пришло на ум, что ведь вы можете выручить меня, как выручил бы ростовщик. Кроме одежды, при мне нет ничего. Заприте меня в надежном месте, куда никто не мог бы проникнуть, куда ни один чужой глаз не мог бы заглянуть, и...

— Как! — сказал старик, бросив на сына злобный взгляд.— Ты не позволишь мне полюбопытствовать, что это у тебя за опыты?

— Отец,— отвечал Давид,— вы мне доказали, что в делах нет ни отцов...

— А-а, так ты не доверяешь тому, кто дал тебе жизнь!

— Скажите лучше: тому, кто лишил меня средств к жизни!

— Те-те-те! Всяк за себя, ты прав! — сказал винокур.— Я запру тебя в подвале.

— Заприте вместе со мной Кольба, дайте мне котел для изготовления бумажной массы,— сказал Давид, не замечая, какой взгляд кинул на него отец,— потом достаньте мне стеблей артишока, спаржи, крапивы, нарежьте камыша на берегу вашей речушки. Поутру я выйду с великолепной бумагой.

— Ежели это не блажь...— вскричал Медведь, мучась икотой,— я тебе, пожалуй, дам... там поглядим, могу ли я тебе дать... Э-э... двадцать пять тысяч франков, но помни, я должен зарабатывать столько же ежегодно...

— Испытайте меня, я согласен! — вскричал Давид.— Седлай лошадь, Кольб! Скачи в Манль, купи там у бондаря большое волосяное сито, клей у бакалейщика и галопом назад!

— А ну! Выпей-ка...— сказал отец, подставляя сыну бутылку вина, хлеб и остатки холодной говядины.— Под-

крепись, а я припасу тебе зеленое тряпье; ведь оно зелено, твое тряпье! Боюсь, как бы не оказалось оно чересчур зелено.

Два часа спустя, в исходе одиннадцатого, старик запер сына и Кольба в смежном с погребом маленьком, крытом черепицей чуланчике, где находились приборы для перегонки ангулемских вин, из которых изготовляются, как известно, все виды виноградной водки, именуемые коньяком.

— О! Да тут настоящая фабрика... вот и дрова, и котлы! — вскричал Давид.

— Стало быть, до завтра? — сказал Сешар-отец.— Уж куда ни шло, запру я вас тут да спущу с цепи двух моих собачек. Пусть-ка попробует кто-нибудь подкинуть вам хоть клочок бумаги!.. Завтра ты покажешь мне свое изготовление... Но гляди, чтобы хороша была! Я войду с тобой в компанию. Тогда дела пойдут гладко, без сучка и задоринки...

Кольб и Давид оказались запертыми в погребе, и там почти два часа они дробили и разминали стебли с помощью толстых брусков. Огонь пылал, кипела вода. Около двух часов ночи Кольб, менее поглощенный работой, нежели Давид, услыхал вздох, похожий на икоту пьяницы; он взял сальную свечу и стал осматриваться по сторонам; и тут-то он разглядел фиолетовую физиономию папаши Сешара, заслонившую собою квадратное окошечко над дверью, через которую винокурня сообщалась с подвалом и которая была прикрыта порожними бочками. Лукавый старик ввел сына и Кольба в винокурню через наружные двери, через которые выкатывали бочки с вином для продажи. Вторая, внутренняя дверь позволяла вкатывать бочки из подвала в винокурню, минуя двор.

— *Эй! Папаша, это вам не игрушки! Ви шелали натувать ваш сын... Знаете, што ви телает, когда выпиваете кароши вино? Ви угощаете мошеника...*

— Ах, отец!..— сказал Давид.

— Надобно же мне знать, нет ли у вас в чем нужды? — сказал винокур, почти протрезвившись.

— *И штоп сошустфовать нам, папаша праль этот лесенка?*..— сказал Кольб, когда, освободив проход, отпер

двери и увидел взобравшегося на приставную лестницу старца в ночной сорочке.

— Щадите хоть здоровье свое, отец! — вскричал Давид.

— Неужто я стал лунатиком? — сказал пристыженный старик, слезая с лестницы.— А всему виной ты! Родному отцу не доверяешь, вот и довел меня до того, что мне всякое стало чудиться. Я и подумал: а что как мой сынок и впрямь спутался с чертом?

— *Сам шорт вас на шерфонцах попутал!* — вскричал Кольб.

— Ложитесь спать, отец,— сказал Давид.— Заприте нас, ежели вам угодно, но не трудитесь возвращаться: Кольб будет сторожить.

На другой день, в четыре часа пополудни, Давид вышел из винокурни, уничтожив прежде все следы своей работы, и преподнес отцу листов тридцать бумаги, по тонкости, белизне, плотности и прочности не оставлявшей желать ничего лучшего, и филиграном ее служил отпечаток сетки волосяного сита. Старик взял образцы, попробовал на язык, как положено Медведю, измлада приученному определять качество бумаги на вкус; он щупал бумагу, мял, складывал,— короче, подвергал всем возможным испытаниям, которые применяют типографы, чтобы установить ее качество, и, хотя ему нечего было поставить на вид сыну, однако ж он не желал признать себя побежденным.

— Поглядим еще, годится ли она для печати!..— сказал он, чтобы избавиться от похвал сыну.

— *Шутак!* — вскричал Кольб.

Старик напустил на себя суровость, прикрывая отцовским достоинством притворные колебания.

— Если уж вы хотите все доподлинно знать, эта бумага, по моему мнению, все же обойдется чересчур дорого, я хочу изыскать способ проклейки ее в чане... в этом все дело...

— Э! Так ты хотел меня надуть!

— Не стану лгать, батюшка, проклейка в чане идет удачно, но все же клей расходится неравномерно в бумажной массе, и поэтому бумага выходит шершавая, точно щетка.

— Уж куда ни шло! Только добейся проклейки в чане, тогда и получай денежки.

— *Все равно моему козяину никогта не увитать ваших теньшек!*

Очевидно, старик хотел отплатить Давиду за тот срам, который претерпел ночью, поэтому он обходился с ним более чем холодно.

— Не мне судить вас, отец— сказал Давид, отослав Кольба,— ни за чрезмерно высокую оценку типографии, ни за то, что вы ее продали мне по этой произвольной расценке; я всегда чтил в вас отца. Я говорил себе: «Старик немало хлебнул горя в жизни, он дал мне образование, бесспорно лучшее, нежели можно было ожидать; пусть же он мирно и по своему вкусу наслаждается плодами своих трудов». Я даже приданое матери уступил вам и безропотно согласился влачить эту обремененную долгами жизнь, на которую вы меня обрекли. Я поклялся составить себе крупное состояние, не докучая вам. Словом сказать, я сделал открытие, работая как каторжный, отказывая себе в куске хлеба, мучаясь долгами, которые сделаны не мною... Я боролся упорно, до изнеможения сил. И что я теперь? Как мне быть? Вам, пожалуй, следовало бы прийти мне на помощь!.. Но не обо мне речь, вспомните о матери, о малыше... (Тут Давид не мог сдержать слез). Позаботьтесь о них, заступитесь! Неужто Марион и Кольб окажутся отзывчивее вас! Ведь они отдали мне все свои сбережения! — вскричал сын, видя, что его отец холоден, как мрамор станка.

— Вот тебе на! Ему всего мало!..— вскричал старик, не испытывая ни малейшего стыда.— Да ты сумеешь разорить и Францию!.. Покорно благодарю! Куда уж мне, неучу, соваться в разработку изобретения, вся суть которого в том, как бы меня обработать! Не Обезьяне скушать Медведя! — сказал он, намекая на их типографские прозвища.— Я винодел, не банкир!.. И потом, видишь ли, дела между отцом и сыном никогда до добра не доведут. Давай-ка лучше обедать. Вот и не скажешь, что я тебе ничего не даю!..

Давид был из тех великодушных людей, которые предпочитают страдать молча, не огорчая своих близких, и уж если их скорбь изливается в слезах, стало быть, их силы иссякли. Ева превосходно понимала эту мужествен-

ную натуру. Но отец усматривал в этом потоке скорби, вырвавшейся из глубин, обычное *нытье* детей, пытающихся разжалобить родителей, и отнес крайнее уныние сына к чувству стыда после неудачи. Отец и сын расстались в ссоре. Давид и Кольб около полуночи воротились в Ангулем; они прокрались в город пешком и с такими предосторожностями, что их легко было счесть за воров. Было около часа ночи, когда Давид, никем не замеченный, водворился у мадемуазель Базины Клерже в надежном убежище, приготовленном для него женой. Входя туда, Давид отдавал себя на попечение жалости наиболее изобретательной: жалости гризетки. Поутру Кольб хвалился, что спас хозяина, ускакав с ним на лихом коне, и что потом, дескать, усадил его в попутную таратайку, ехавшую куда-то в окрестности Лиможа. Достаточно солидный запас сырья был сложен в погребе Базины, и, стало быть, Кольбу, Марион, г-же Сешар и ее матери не требовалось никаких личных сношений с мадемуазель Клерже.

Через два дня после упомянутой сцены с сыном Сешар-отец, у которого до сбора винограда оставалось в запасе еще двадцать дней, движимый скупостью, прибежал к невестке. Старик потерял сон, ему не терпелось узнать, подает ли изобретение надежды на богатство. И ему хотелось, как он говорил, *прощупать первые ростки*. Он поселился в мансарде, над квартирой невестки, в одной из двух комнаток, которые он оставил за собой, и жил там, закрывая глаза на бедственное положение семьи своего сына. Но позвольте, разве они не в долгу у него за наем дома? Ну, значит, они и обязаны его кормить. Он не находил ничего удивительного в том, что к столу подавались оловянные ложки.

— Я сам так начал,— отвечал он невестке, когда она извинялась, что не может подать серебряные приборы.

Марион пришлось задолжать лавочникам за провизию, которую она брала для всей семьи. Кольб работал каменщиком за двадцать су в день. Словом, у бедной Евы вскоре осталось всего десять франков, ибо ради ребенка и Давида она жертвовала последними деньгами, лишь бы получше угостить винодела. Она по-прежнему надеялась, что ее ласковое обхождение, ее почтительная нежность, ее безропотность тронут скрягу, но она по-прежнему встре-

чала глубокое равнодушие. Короче сказать, чувствуя на себе его ледяной взгляд, напоминавший ей Куэнте, Пти-Кло и Серизе, она пожелала изучить натуру старика и разгадать его замыслы; но то были напрасные старания! Вечно хмельной, Сешар-отец был непроницаем. Хмель — двойная завеса. Под защитою опьянения, столь же часто притворного, как и действительного, старик пытался вырвать у Евы тайну Давида. То он ласкал, то запугивал сноху. Когда Ева отвечала ему, что она сама в полном неведении, он говорил ей: «Все пропью, все вложу в пожизненный доход...» Унизительная борьба измучила несчастную женщину, и, опасаясь оказаться непочтительной со свекром, Ева вовсе перестала ему отвечать. Однажды, выведенная из терпения, она сказала ему:

— Полноте, отец! Неужто так трудно все это уладить? Заплатите долги Давида, он воротится домой, и вы сговоритесь.

— А-а-а! Вот что вам от меня нужно! — вскричал он.— Так и знать будем!

Папаша Сешар, не веривший в своего сына, верил в Куэнте. Куэнте, к которым он пошел за советом, намеренно обольщали его, говоря, что изыскания, предпринятые его сыном, сулят миллионы.

— Пускай Давид добьется признания своего изобретения, и я без колебаний вступлю в дело,— сказал ему Куэнте-большой.— В качестве пая я предложу мою бумажную фабрику. Право, я считаю открытие вашего сына не менее ценным вкладом.

Недоверчивый старик собрал столько нужных ему сведений, выпивая по рюмочке с мастеровыми, он так искусно выспросил Пти-Кло, прикинувшись простофилей, что в конце концов начал подозревать, не скрываются ли за спиной Метивье братья Куэнте. Он вообразил, что Куэнте умышленно разваливают типографию Сешара и, соблазнив старика приманкой изобретения, хотят вынудить его заплатить сыновьи долги. Мог ли старый простолюдин заподозрить Пти-Кло в соучастии, догадаться, какие козни строились в надежде рано или поздно овладеть заманчивой производственной тайной? Короче сказать, отчаявшись сломить молчание невестки и выведать у нее, где скрывается Давид, старик решил взломать дверь мастерской для отливки валиков, проню-

хав как-то, что сын производил там свои опыты. Однажды на рассвете он сошел во двор и начал взламывать замок.

— Э! Что это вы там делаете, папаша Сешар?..— вскричала, бросаясь к мойке, Марион, которая поднялась с зарей, собираясь идти на фабрику.

— Неужто я тут не хозяин? — сказал сконфуженный старик.

— Еще чего! Уж не воровать ли собираетесь на старости-то лет... А как будто вы и трезвы еще... Пойду сейчас же все расскажу хозяйке.

— Цыц, Марион! — сказал старик, вынимая из кармана два экю по шести франков.— На... держи...

— Так и быть, помолчу, только не вздумайте в другой раз! — сказала Марион, грозя ему пальцем.— А не то трезвон задам на весь Ангулем!

Как только старик ушел, Марион поднялась к хозяйке.

— Получайте, сударыня! Я выманила у вашего свекра двенадцать франков, вот, пожалуйте...

— Как тебе удалось?

— Да вот сунулся было он осматривать котлы и припасы хозяина, ну, сами знаете, вся эта канитель с открытием! Мне-то хорошо известно, что дичинкой в этой кухоньке не полакомишься... но я на него такого страху нагнала, будто и впрямь изловила на краже у собственного сына! Ну, он и отвалил мне два экю, чтоб я молчала...

В это время пришла Базина и украдкой радостно вручила подруге письмо Давида, написанное на великолепной бумаге.

«Ева моя обожаемая, тебе первой пишу я на первом листе бумаги, изготовленной по моему способу. Я справился с задачей проклейки бумаги в чане! Фунт бумажной массы обойдется в пять су, даже учитывая обработку почвы для полезных мне культур. Так, стопа бумаги весом в двенадцать фунтов потребует всего на три франка проклеенной массы. Я уверен, что наполовину уменьшу вес книг. Конверты, почтовая бумага, образцы — все это изготовлено различным способом. Обнимаю тебя. Судьба сулит нам полное счастье, ибо единственное, чего нам недоставало,— богатства!»

— Ну вот, видите! — сказала Ева свекру, подавая ему образцы.— Отдайте сыну выручку с урожая, помогите ему составить состояние, и он возвратит вам долг в десятикратном размере, ведь он добился успеха!..

Папаша Сешар тотчас побежал к Куэнте. Там каждый образец был испробован, тщательно изучен: одни были проклеены, другие без клея; на каждом была обозначена цена — от трех до десяти франков за стопу; одни отличались металлическим блеском, другие мягкостью китайской бумаги, тут были всевозможные оттенки белизны. У ростовщиков, когда они оценивают алмазы, не разгораются так глаза, как разгорелись они у Куэнте и старика Сешара.

— Ваш сын на верном пути,— сказал Куэнте-толстый.

— А раз так, заплатите за него долги,— сказал старый печатник.

— С охотою, ежели он примет нас в товарищество,— отвечал Куэнте-большой.

— Вы жмоты! — вскричал отставной Медведь.— Вы судитесь с моим сыном под вывеской Метивье, вы хотите заставить меня заплатить вам долги Давида, вот в чем фокус! Как бы не так! Нашли дурака!..

Братья переглянулись, но не выдали удивления, которое вызвала у них проницательность скряги.

— Мы еще не такие миллионеры, чтобы забавляться учетом векселей,— возразил Куэнте-толстый.— Мы сочли бы себя счастливцами, ежели бы нам было под силу хотя бы за тряпье платить наличными, а мы еще вынуждены выдавать векселя нашему поставщику.

— Надо на широкую ногу поставить опыты,— холодно заметил Куэнте-большой.— То, что удается в печном горшке, терпит неудачу в фабричном производстве. Выручайте-ка сына.

— Так-то оно так! Только примет ли меня сын в компанию, ежели получит свободу? — спросил старый Сешар.

— Нас это не касается,— сказал Куэнте-толстый.— Неужто вы полагаете, почтенный, что вот, мол, отвалю сыну десяток тысяч франков и этим все сказано? Патент на изобретение стоит две тысячи франков, придется не раз съездить в Париж; притом, прежде чем вкладывать

деньги в предприятие, благоразумнее было бы, как говорит брат, приготовить пробную тысячу стоп, рискнуть целыми чанами бумажной массы, составить себе точное представление о ценности изобретения. Видите ли, меньше всего приходится доверять изобретателям.

— Что до меня,— сказал Куэнте-большой,— я предпочитаю вполне выпеченное тесто.

Всю ночь напролет старик обдумывал, как ему поступить: «Заплачу я долги Давида, он получит свободу, а какая ему будет тогда нужда делить со мной барыши? Он хорошо понимает, что я надул его, втянув тогда в компанию со мною; обжегся один раз, вторично остережется. Мне выгоднее держать его в тюрьме... в нужде...»

Куэнте достаточно хорошо знали папашу Сешара и понимали, что ему с ними не по пути. Итак, все трое рассуждали: «Чтобы образовать товарищество, основанное на таинственном изобретении, надо произвести ряд опытов, но, чтобы произвести опыты, надо освободить Давида Сешара. А Давид, получив свободу, от нас ускользнет». Сверх того, у каждого была какая-нибудь задняя мысль. Пти-Кло говорил себе: «Женюсь, буду ходить козырем, а покуда надо кланяться Куэнте». Куэнте-большой говорил себе: «Предпочитаю держать Давида под замком и быть хозяином положения». Старик Сешар говорил себе: «Заплачу сыновьи долги, а он и скажет: мое вам почтение!» Ева, несмотря на воркотню старого винокура и угрозы выгнать ее из дому, не соглашалась ни открыть убежища мужа, ни даже предложить мужу где-нибудь встретиться со стариком. Она не была уверена, что во второй раз удастся спрятать Давида так же хорошо, как в первый, и упорно отвечала: «Выручите сына — и все узнаете». Никто из четырех заинтересованных лиц, собравшихся тут, точно пирующие за столом, не осмеливался прикоснуться к яствам из боязни, что его опередят, и все следили друг за другом, опасаясь один другого.

Через несколько дней после исчезновения Давида стряпчий Пти-Кло навестил Куэнте-большого на его фабрике.

— Я сделал все, что мог,— сказал он.— Давид добровольно заточил себя в какой-то неизвестной нам тюрьме и там преспокойно совершенствует свое изобре-

тение. Ежели вы не достигли цели, я в том не повинен; угодно ли вам исполнить ваше обещание?

— С охотою, в случае успеха,— отвечал Куэнте-большой.— Сешар-отец вот уже несколько дней как околачивается тут; заходил к нам, расспрашивал насчет производства бумаги; старый скряга пронюхал об изобретении сына и хочет извлечь из него барыш. Стало быть, есть некоторая надежда основать товарищество. Вы поверенный отца и сына...

— И святого духа, который и предаст их в наши руки,— докончил Пти-Кло, усмехнувшись.

— Да будет так! — отвечал Куэнте.— Посадите Давида в тюрьму или передайте его в наши руки, и тогда вы женитесь на мадемуазель де Ляэ.

— Это ваш *ультиматум?* — спросил Пти-Кло.

— Yes![1] — сказал Куэнте.— Раз уж мы говорим с вами на иностранных языках.

— Так послушайте, что я вам отвечу на чистейшем французском языке,— продолжал Пти-Кло сухим тоном.

— Гм!.. Послушаем,— сказал в ответ Куэнте с серьезной миной.

— Представьте меня завтра же мадемуазель де Ляэ, добейтесь для меня чего-нибудь положительного, короче, исполните ваше обещание, или я сам заплачу долги Давида и, продав контору, вступлю с ним в товарищество. Я не желаю остаться *на бобах.* Вы изъяснялись со мною без обиняков, не премину воспользоваться вашей манерой разговора. Я выполнил свои обязательства, выполните и вы. У вас есть все, у меня ничего. Ежели вы не докажете искренности ваших обещаний, я знаю, как отшутить вам вашу шутку.

Куэнте-большой взял шляпу, зонтик, состроил иезуитскую физиономию и вышел, пригласив Пти-Кло следовать за ним.

— А ну-ка поглядим, друг любезный, проторил ли я для вас дорожку? — сказал фабрикант стряпчему.

В одну минуту фабрикант — тонкая бестия! — взвесил всю опасность положения и понял, что с людьми такого пошиба, как Пти-Кло, играть надобно в открытую. Впрочем, он уже успел на всякий случай и ради очистки

---

[1] Да! *(англ.)*

совести, под видом заботы о благосостоянии мадемуазель де Ляэ, шепнуть несколько слов бывшему генеральному консулу.

— Я нашел для Франсуазы подходящую партию. Ведь с тридцатью тысячами франков приданого по нынешним временам,— сказал он, усмехнувшись,— девушке не пристало быть слишком разборчивой!

— Мы еще вернемся к нашему разговору,— отвечал Франсис дю Отуа.— После отъезда госпожи де Баржетон положение госпожи де Сенонш круто изменилось; мы можем выдать Франсуазу за какого-нибудь старого помещика, дворянина.

— И она дурно кончит,— сказал фабрикант, напуская на себя суровость.— Послушайте, выдайте-ка ее лучше за молодого человека, подающего надежды, честолюбивого, которому вы будете покровительствовать и который составит жене прекрасное положение.

— Посмотрим, посмотрим,— повторял Франсис.— Прежде я желал бы слышать мнение ее крестной матери.

После смерти г-на де Баржетона Луиза де Негрпелис продала особняк в улице Минаж. Г-жа де Сенонш, находя свою квартиру чересчур тесной, уговорила г-на де Сенонш купить этот дом, колыбель честолюбивых мечтаний Люсьена и место завязки настоящей истории. Зефирина де Сенонш поставила себе целью унаследовать в своем роде королевскую власть, которой пользовалась г-жа де Баржетон, иметь салон, словом, стать знатной дамой. В высшем ангулемском обществе после дуэли г-на де Баржетона с г-ном де Шандуром произошел раскол: одни доказывали невиновность г-жи де Баржетон, другие верили клевете Станислава де Шандура. Г-жа де Сенонш высказалась за Баржетонов и сразу же завоевала симпатии их приверженцев. Потом, переехав в особняк Баржетонов, она воспользовалась привычкой многих ангулемцев издавна собираться в этом доме за карточным столом. Она принимала у себя всякий вечер и решительно взяла верх над Амели де Шандур, которая возглавляла вражескую сторону. Надежды Франсиса дю Отуа, оказавшегося в самом средоточии ангулемской аристократии, зашли так далеко, что он возымел желание выдать Франсуазу за старого г-на де Севрака, уловить которого для своей дочери не удалось г-же де Брос-

сар. Возвращение г-жи де Баржетон, ставшей супругой ангулемского префекта, увеличило претензии Зефирины в отношении ее горячо любимой крестницы. Она говорила себе: графиня Сикст дю Шатле, конечно, воспользуется своей влиятельностью, чтобы достойно отблагодарить свою защитницу. Фабрикант, зная Ангулем как собственные пять пальцев, сразу учел всю сложность обстановки, но решил выйти из затруднительного положения дерзким маневром, который разве только Тартюф мог себе позволить. Стряпчий, чрезвычайно удивленный честностью своего сообщника, предоставил ему предаваться размышлениям, покамест они шли от фабрики до особняка в улице Минаж; но тут же, в подъезде, незваным гостям пришлось остановиться при словах: «Господа кушают!»

— Все же доложите,— отвечал Куэнте-большой.

И ханжа-купец, стоило только назвать его имя, был тотчас принят, адвокат был представлен жеманной Зефирине, которая завтракала с глазу на глаз с г-ном Франсисом дю Отуа и мадемуазель де Ляэ. Г-н де Сенонш, как водится, был в отъезде: он был приглашен на открытие охотничьего сезона к г-ну де Пимантелю.

— Позвольте, сударыня, представить вам молодого адвоката-стряпчего, о котором я вам уже говорил! Он позаботится ввести в права вашу прелестную питомицу.

Бывший дипломат рассматривал Пти-Кло, который, с своей стороны, украдкой поглядывал на *прелестную питомицу*. Что касается до Зефирины, в присутствии которой ни Куэнте, ни Франсис ни разу не обмолвились о нем ни одним словом, то удивление ее было так велико, что вилка выпала у нее из рук. Мадемуазель де Ляэ, угрюмую девицу из породы сварливых, сложения мало изящного, тощую, с белесыми волосами, было крайне трудно выдать замуж, несмотря на ее аристократические замашки. Слова: *родители неизвестны*, стоявшие в метрическом свидетельстве, в сущности преграждали ей доступ в высшие сферы, куда любящие крестная мать и Франсис желали ее ввести. Мадемуазель де Ляэ не знала истинного своего положения и была чрезвычайно разборчива: она отвергла бы и самого богатого купца из Умо. Та же довольно выразительная гримаса, которой передернулось лицо мадемуазель де Ляэ при виде тощего стряп-

чего, искривила, как заметил Куэнте, и физиономию Пти-Кло. Г-жа де Сенонш и Франсис, казалось, вопрошали один другого, каким бы способом им выпроводить Куэнте и его ставленника. Куэнте, от внимания которого ничто не ускользало, попросил г-на дю Отуа уделить ему минуту для беседы и прошел с дипломатом в гостиную.

— Сударь,— четко выговорил он,— отцовское чувство вас ослепляет. Вам трудно будет выдать замуж вашу дочь; и в ваших же интересах я поставил вас в безвыходное положение, ведь я люблю Франсуазу, как любят свою питомицу. Пти-Кло знает все!.. Его чрезмерное честолюбие служит порукой, что ваша дорогая крошка будет счастлива. Я уж не говорю, что Франсуаза будет вертеть мужем, как ей вздумается; ну, а вы при содействии супруги префекта,— ведь она на днях приезжает,— исхлопочите для зятя должность прокурора коронного суда. Господин Мило, как слышно, получает назначение в Невер. Пти-Кло продаст контору, вы без труда устроите его на первых порах вторым товарищем прокурора, и не оглянетесь, как он станет прокурором, а там, глядишь, и председателем суда, депутатом...

Воротясь в столовую, Франсис был чрезвычайно мил с женихом своей дочери. Он выразительно посмотрел на г-жу де Сенонш и заключил эту сцену представления жениха любезным приглашением Пти-Кло отобедать у них завтра и кстати поговорить о делах. Потом он из вежливости проводил фабриканта и стряпчего до самых дверей и сказал Пти-Кло, что он, а равно и г-жа де Сенонш, доверяя отзыву Куэнте, расположены согласиться со всяким предложением опекуна мадемуазель де Ляэ, если оно может составить счастье их ангелочка.

— О-о! Она чертовски дурна! — вскричал Пти-Кло.— Я попался!..

— Она глядит аристократкой,— отвечал Куэнте.— Ну, а будь она хороша собой, неужто ее бы за вас выдали?.. Э-ге, друг мой, не перевелись еще захудалые дворянчики, которым чудо как пригодились бы тридцать тысяч франков, покровительство госпожи де Сенонш и графини дю Шатле, тем более что Франсис дю Отуа никогда не женится, а эта девушка его наследница... Ваша женитьба слажена!..

— Какими судьбами?

— А вот в каком положении стояло дело...—И Куэнте-большой одним духом изложил стряпчему свой смелый маневр.— Ходит слух, любезнейший, что господин Мило получает назначение в Невер прокурором. Продавайте контору. Глядишь, какой-нибудь десяток лет,— и вы уже министр юстиции! Вы достаточно смелы, вы не побрезгуете услугами, которых потребует от вас двор.

— Стало быть, завтра в половине пятого будьте на площади Мюрье,— отвечал стряпчий, взволнованный предвкушением такого будущего.— Я увижусь с Сешаром-отцом, и мы сколотим товарищество, в котором отец и сын попадут в руки святого духа Куэнте.

В то время как старый кюре из Марсака подымался по ангулемским склонам, спеша осведомить Еву, в каком состоянии он нашел ее брата, Давид уже двенадцатый день скрывался почти рядом с тем домом, откуда вышел почтенный священник.

На площади Мюрье аббат Маррон встретил трех человек, из которых каждый был в своем роде примечателен и каждый мог оказать влияние на будущее и настоящее несчастного добровольного узника, а именно: отца Сешара, Куэнте-большого и тощего стряпчего. Три человека, три образа алчности! Но алчности столько же различной, как различны были эти люди. Один вздумал торговать своим сыном, другой своим клиентом, а Куэнте-большой покупал обоих негодяев, лаская себя надеждой, что их надует. Было около пяти часов вечера, и многие горожане, спешившие домой обедать, останавливались на минуту, чтобы поглядеть на этих трех человек. «Что за дьявольщина! О чем могут толковать между собою папаша Сешар и Куэнте-большой?..» — размышляли наиболее любопытные. «Ну, конечно, речь идет о бедняге, что оставил без куска хлеба жену с ребенком и тещу»,— отвечали иные. «Вот и посылай детей учиться в Париж!» — изрек какой-то провинциальный мудрец.

— Э-ге-ге-ге! Какими судьбами вы очутились тут, господин кюре? — вскричал винокур, едва аббат Маррон показался на площади.

— Ваши близкие тому причиной,— отвечал старик.

— А полно, нет ли тут каких-нибудь затей моего сынка?..— сказал старик Сешар.

— В вашей власти сделать всех их счастливыми, и да-

же без урона для себя,— сказал священник, указывая на окна, где из-за занавесей виднелась красивая голова г-жи Сешар.

В эту минуту Ева укачивала плачущего младенца, напевая ему песенку.

— Неужто вы принесли весточку о моем сыне? —сказал папаша.— А еще того лучше, не денежки ли мне несете?

— Нет,— сказал господин Маррон,— я несу сестре весть о брате.

— О Люсьене?..— вскричал Пти-Кло.

— Да. Бедный юноша пришел пешком из Парижа. Я видел его у Куртуа, он умирает от усталости, от голода...— отвечал священник.— Ах, он так глубоко несчастен!

Пти-Кло раскланялся со священником и, взяв под руку Куэнте-большого, громко сказал:

— Мы обедаем нынче у госпожи де Сенонш, надо поспеть переодеться! — И, отойдя на два шага, шепнул:— Коготок увяз, всей птичке пропасть! Давид в наших руках...

— Я вас сосватал, сосватайте и вы меня,— сказал Куэнте-большой с лицемерной улыбкой.

— Люсьен мой товарищ по коллежу, мы с ним однокашники!.. В течение недели я у него кое-что разузнаю. Добейтесь церковного оглашения, я же ручаюсь, что упрячу Давида в тюрьму. А раз он будет заключен под стражу, моя миссия окончена.

— Ах! — проворковал Куэнте-большой.— Славное было бы дельце получить патент на наше имя!

Услыхав последнюю фразу, тощий стряпчий вздрогнул.

В это самое время к Еве входили ее свекор и аббат Маррон, который только что одним своим словом привел к развязке судебную драму.

— Послушайте-ка, госпожа Сешар,— сказал снохе старый Медведь,— что за истории рассказывает наш кюре о вашем братце!

— Ах! — воскликнула бедная Ева, пораженная в самое сердце.— Что же еще могло с ним случиться!

В ее восклицании чувствовалось столько пережитого

горя, столько опасений, что аббат Маррон поспешил сказать:

— Успокойтесь, сударыня, он жив!

— Сделайте одолжение, отец,— сказала Ева старому винокуру,— позовите матушку, пусть и она послушает, что господин кюре расскажет нам о Люсьене.

Старик пошел за г-жой Шардон и сказал ей:

— Подите-ка потолкуйте с аббатом Марроном; хотя он и священник, а человек неплохой. Обед, пожалуй, запоздает, я ворочусь через часок.

И старик, равнодушный ко всему, что не звенит и не сверкает золотом, ушел, даже не подумав, какой удар ожидает эту старую женщину. Несчастье, тяготевшее над ее детьми, гибель надежд, возлагавшихся на Люсьена, неожиданная перемена в его характере, столь долго считавшемся стойким и благородным,— короче, все события, происшедшие за последние полтора года, состарили до неузнаваемости г-жу Шардон. Она была не только благородного происхождения, но у нее было благородное сердце, и она обожала своих детей. За последние шесть месяцев она перестрадала больше, чем за все время вдовства. Люсьен имел случай принять по указу короля имя де Рюбампре, вновь вызвать к жизни старинный род, восстановить титул и герб, стать знатным! А он упал в грязь! Мать судила Люсьена строже, нежели сестра, и с того дня, как ей стала известна история с векселями, она считала сына погибшим. Матери порой склонны к самообману, но они чересчур хорошо знают своих детей, которых вскормили, с которыми никогда не расставались, и поэтому г-жа Шардон, казалось, вполне разделявшая обольщения Евы насчет брата, прислушиваясь к спору, возникавшему иной раз между Давидом и его женой по поводу возможных успехов Люсьена в Париже, в душе трепетала за сына, страшась, что Давид окажется прав, ибо он говорил то же, что подсказывала ей ее материнская совесть. Она слишком хорошо знала впечатлительность дочери, чтобы делиться с ней своим горем, и была вынуждена молчаливо сносить его, на что способны только матери, глубоко любящие своих детей. Ева, с своей стороны, с ужасом наблюдала, как губительно отражались на матери горестные переживания, как старилась она преждевременно, как иссякали ее силы с каждым

днем. Итак, мать и дочь искали спасения в той благородной лжи, которая никогда не обманывает. Для несчастной матери слова жестокого винокура были последней каплей, переполнившей чашу ее страданий; г-жа Шардон почувствовала, что удар нанесен в самое сердце.

И когда Ева сказала священнику: «Сударь, вот моя мать!», когда аббат взглянул на это лицо, изможденное, как у престарелой, седовласой монахини, но умиротворенное тем выражением кротости и глубокого смирения, что свойственно религиозным женщинам, которые предают себя, как говорится, на волю господню, ему вдруг открылась вся жизнь этих двух созданий! Священник не чувствовал более жалости к Люсьену, их палачу. Он содрогнулся, вообразив, какие муки перенесли его жертвы.

— Матушка,— сказала Ева, утирая глаза,— наш бедный Люсьен находится неподалеку от нас, в Марсаке.

— А почему не тут? — спросила г-жа Шардон.

Аббат Маррон изложил все, что ему рассказал Люсьен и о своих лишениях в пути и о несчастьях последних его дней в Париже. Он обрисовал терзания поэта, которые тот испытывал, когда до него дошла весть о пагубных последствиях его легкомысленного поступка, и то, как он теперь волнуется, не зная, какой прием ожидает его в Ангулеме.

— Неужто он и в нас потерял веру? — сказала г-жа Шардон.

— Несчастный прошел весь путь пешком, испытывая крайние лишения; он воротился в намерении вести самую скромную жизнь... искупить свою вину.

— Сударь,— сказала сестра,— несмотря на то, что он причинил нам столько зла, мне дорог брат, как дороги останки любимого существа; и, однако ж, я люблю его крепче, нежели любят своих братьев многие сестры. Он довел нас до нищеты, но пускай возвращается, мы разделим с ним последний кусок хлеба — словом, все то, что он нам оставил. Ах, если бы он не покинул нас, не погибли бы самые заветные наши сокровища!

— Как! — вскричала г-жа Шардон.— Он воротился в карете женщины, похитившей его у нас? Уехать вместе с госпожой де Баржетон в ее коляске, а воротиться на запятках ее экипажа!

— Чем могу я быть вам полезен в вашем тяжелом

положении? — спросил добрый кюре, желая сказать что-нибудь на прощание.

— Ах, сударь,— отвечала г-жа Шардон,— безденежье, говорят, болезнь не смертельная, но излечить от нее может только один врач: сам больной.

— Ежели вы имеете некоторое влияние на моего свекра, убедите его помочь сыну, и вы спасете всю нашу семью,— сказала г-жа Сешар.

— Он не доверяет вам и, как мне показалось, до крайности вооружен против вашего мужа,— сказал старик, который из недомолвок винокура понял, что дела Сешара — осиное гнездо, куда соваться не следует.

Выполнив поручение, священник пошел обедать к внучатому племяннику Постэлю, и тот рассеял последние остатки благожелательности старого дядюшки, выступив, как и весь Ангулем, в защиту старика Сешара.

— Против мотовства еще можно найти средство,— сказал в заключение мелочный Постэль,— но, связавшись с любителями делать опыты, разоришься в прах.

Любопытство марсакского кюре было вполне удовлетворено, а на нем только и зиждется участие к ближнему во французской провинции. Вечером он рассказал поэту о том, что происходит у Сешаров, представив свое путешествие как миссию, принятую им на себя из чистейшего милосердия.

— Вы ввели вашу сестру и зятя в долги, которые исчисляются не то в десять, не то в двенадцать тысяч франков,— сказал он в заключение.— Может быть, в Париже это и безделица, но никто в Ангулеме не ссудит их такими деньгами. В Ангулеме нет богачей. Когда вы мне говорили о ваших векселях, я полагал, что речь идет о сумме более скромной.

Поблагодарив священника за участие, поэт сказал ему:

— Слово прощения, которое вы принесли мне, для меня истинное сокровище.

На другой день Люсьен, едва рассвело, вышел из Марсака в Ангулем; он вошел в город около девяти часов утра, опираясь на палку; на нем был коротенький сюртучок, изрядно потрепанный в дороге, и черные панталоны, побелевшие от пыли. Стоптанные сапоги достаточно красноречиво говорили о его принадлежности к

жалкому сословию пешеходов. И, конечно, он не оболь-щался насчет того, какое впечатление произведет на его земляков резкая противоположность между его отъездом и возвращением в родной город. Но сердце сильно ко-лотилось у бедного поэта, мучимого упреками совести, которые были вызваны рассказом старого священника, и в ту минуту он принял с покорностью это наказание, решив мужественно выдержать любопытные взгляды встречных. Он говорил сам себе: «Я держусь геройски!» Все эти поэтические натуры начинают с того, что обма-нывают самих себя. Покамест он шел по Умо, в душе у не-го происходила борьба между чувством стыда за настоя-щее и поэзией воспоминаний. Биение сердца участилось, когда он проходил мимо дверей Постэля; но, к счастью для него, в лавке была одна Леони Маррон с ребенком. К своему удовольствию, он увидел (так живо еще гово-рило в нем тщеславие), что имя его отца снято с вывес-ки! После женитьбы Постэль выкрасил заново свою лавочку и над дверьми сделал краткую, на парижский манер, надпись: *Аптека*. Подымаясь по откосу от ворот Пале, Люсьен ощутил влияние родного воздуха, он не чувствовал более гнета несчастья и в упоении говорил про себя: «Я опять их увижу!» Он дошел до площади Мюрье, не встретив ни души на пути: счастье, о котором он и не мечтал, он, который некогда ходил победителем в своем городе! Марион и Кольб, сторожившие у дверей, кинулись вверх по лестнице, крича: «Пришел!» Люсьен опять увидел старую мастерскую и старый двор: всходя на лестницу, он встретил мать и сестру, они обнялись, забыв на минуту все свои горести. Почти во всех семьях сживаются с несчастьем, точно с жестким ложем, и на-дежда примиряет с его суровостью. Если Люсьен яв-лял собою образ отчаяния, он являл также и образ поэ-зии отчаяния: солнце больших дорог позолотило его кожу; глубокая печаль, запечатленная в его чертах, от-бросила свою тень на чело поэта. Такая перемена гово-рила о стольких страданиях, что при виде этого лица, на котором несчастье оставило свой след, могло возникнуть лишь чувство жалости. Воображение, витавшее вне лона семьи, ныне встретилось с печальной действительностью. С улыбкой радости на устах Ева глядела мученицей. Го-ре сообщает одухотворенность красоте молодой женщи-

ны. Значительность этого, некогда детски-наивного, лица, каким его помнил Люсьен, чересчур красноречиво говорила ему о многом и не могла не произвести на него гнетущего впечатления. Вот почему за первым порывом чувств, столь живым и естественным, и он и его близкие почувствовали неловкость: каждый боялся заговорить. Однако ж Люсьен невольно искал взглядом того, кто отсутствовал при этой встрече. И этот откровенный взгляд вызвал слезы у Евы, а вслед за ней зарыдал и Люсьен. Что касается до г-жи Шардон, она была бледна и внешне бесстрастна. Ева встала, сошла вниз, не желая упрекнуть брата жестоким словом, и, обратившись к Марион, сказала:

— Голубушка, Люсьен так любит землянику, надобно угостить его!..

— Я и то подумала, что вы пожелаете угостить господина Люсьена. Ну, уж будьте покойны, попотчую его завтраком, а вдобавок такой обед сочиню, что пальчики оближешь!

— Люсьен! — сказала г-жа Шардон сыну.— Тебе многое надобно искупить. Уезжая в Париж, ты думал стать гордостью семьи, а довел ее до нищеты. Ты почти разбил орудие, которым твой брат мечтал добыть богатство для своего семейства. И если бы ты разбил только это...— вымолвила мать. Наступила тягостная пауза, и молчание Люсьена показало, что он признал правоту материнского укора.— Начни трудовую жизнь,— продолжала тихим голосом г-жа Шардон.— Я не виню тебя в том, что ты пытался восстановить мой благородный род; но для такой попытки требуется раньше всего состояние и чувство собственного достоинства; у тебя нет ни того, ни другого. Мы верили в тебя,— ты разбил эту веру, вселил в нас недоверие к тебе Ты нарушил покой трудолюбивой и скромной семьи, жизненный путь которой был нелегок... Первые проступки простительны только в первый раз. Не повторяй их больше. Мы находимся в трудных обстоятельствах, будь благоразумен, слушайся сестру; несчастье великий учитель, и уроки его жестоки. Ева вкусила их плоды: она умудрена жизнью, она добрая мать, она несет на себе все тяготы хозяйства из привязанности к нашему дорогому Давиду, короче, она, по твоей вине,— мое единственное утешение.

— Вы могли бы отнестись ко мне и более сурово,— сказал Люсьен, обнимая мать.— Принимаю ваше прощение, вторично мне не придется его просить.

Вернулась Ева и по смиренной позе брата поняла, что г-жа Шардон побеседовала с ним. Добрая улыбка показалась на ее устах, и Люсьен отвечал на нее подавленными рыданиями. Личное присутствие обладает чарующим свойством, оно смягчает и самые враждебные чувства любовников и раздоры в семье, как бы сильны ни были причины взаимного неудовольствия. Может быть, любовь прокладывает в сердце тропы, на которые так заманчиво возвращаться? Не объясняется ли это явление магнетизмом? А может быть, разум подсказывает, что надобно или расстаться навсегда, или простить безусловно? И будь то голос рассудка, какая-нибудь физическая причина или побуждение души, но всякий из нас, конечно, испытал, что взгляды, движения, поступки любимого существа пробуждают в сердцах, даже наиболее оскорбленных, огорченных или униженных, былую нежность. Если разум и не склонен к забвению, если личные интересы еще страдают, сердце, несмотря ни на что, опять идет в рабство. Вот по какой причине бедная Ева, выслушивая вплоть до самого завтрака исповедь брата, не могла, глядя на него, скрыть выражение своих глаз, и голос выдавал ее, стоило заговорить сердцу. Поняв стихию парижской литературной жизни, она поняла, почему Люсьен не устоял в борьбе. Радость ласкать младенца сестры, видеть его ребяческие выходки, чувствовать себя счастливым, оказавшись на родине, в кругу семьи, и тут же ощутить щемящую тоску при мысли, что Давид вынужден скрываться, горечь слов, срывавшихся с уст поэта, его растроганность, когда Марион подала к столу землянику, этот умилительный знак внимания сестры, которая среди житейских треволнений не забыла о любимом лакомстве Люсьена,— все, вплоть до забот об устройстве бедного брата, превращало этот день в праздник. То был как бы краткий отдых в несчастье. Сешар-отец не преминул вставить словцо наперекор радости женщин:

— Вы его чествуете, точно он вам привез невесть какие капиталы!..

— Но почему бы нам не отпраздновать встречу с бра-

том?! — воскликнула г-жа Сешар, ревниво скрывая позор Люсьена.

Однако ж первый порыв нежности прошел, неприкрашенная действительность выступила наружу. Люсьен вскоре заметил, как изменилось к нему отношение Евы, как оно было не похоже на ту любовь, которую она к нему некогда питала. Давида глубоко уважали, Люсьена же любили, несмотря ни на что, как любят любовницу, несмотря на все страдания, которые она причиняет. Уважение — необходимая основа наших чувств, которая придает им спокойную уверенность и которой именно и недоставало в отношениях г-жи Шардон к сыну, сестры к брату. Люсьен чувствовал, что лишился того безусловного доверия, которое и по сей день питали бы к нему, не поступись он своей честью. Мнение о нем д'Артеза, высказанное в письме, стало мнением его сестры: оно просвечивало в ее взгляде, движениях, в голосе. Люсьена жалели! Но былые мечтания о том, что он составит славу семьи, станет ее гордостью, героем домашнего очага, все эти прекрасные надежды погибли безвозвратно. Его легкомыслие пугало настолько, что от него скрывали убежище Давида. Ева, не уступавшая ласкам любопытного Люсьена, которому не терпелось увидеться с братом, была не прежняя Ева из Умо, для которой достаточно было одного взгляда Люсьена, и она повиновалась беспрекословно. Люсьен говорил, что он исправит нанесенный им вред, хвалился, что спасет Давида. Ева отвечала ему: «Не вмешивайся лучше! Где тебе тягаться с такими записными мошенниками и крючкотворами, как наши противники?» Люсьен качал головой, точно бы говорил: «Я тягался с парижанами...» Сестра отвечала ему взглядом: «И был побежден».

«Меня разлюбили,— думал Люсьен.— Так, значит, семья, как и свет, любит только удачников». И на второй же день по возвращении домой, при попытке объяснить себе причины недоверия к нему матери и сестры, поэт предался если не враждебным, то все же горьким думам. Он прилагал к этой патриархальной, провинциальной жизни мерило жизни парижской, забывая, что самая скудость существования этой терпеливой и достойной семьи была творением его рук. «Они мещанки, они не могут понять меня!» — говорил он про себя, тем самым возводя

преграду между собою и сестрой, матерью, Давидом. Да и мог ли он теперь обольстить их своим характером, баснословными обещаниями?

Ева и г-жа Шардон со свойственной им чуткостью, обострившейся еще под ударами стольких бедствий, читали тайные мысли Люсьена, они чувствовали, что он судит их, что он от них отдаляется. «Как изменил его Париж!» — говорили они между собою. Короче, они пожинали плоды себялюбия, взращенного ими же. И с той и с другой стороны эта закваска должна была прийти в состояние брожения и, конечно, забродила, особенно у Люсьена, хотя он и чувствовал себя виновным. Что касается Евы, она была именно из тех сестер, которые готовы сказать виновному брату: «Прости мне твои грехи...» Когда душевное согласие столь полно, как то было на заре жизни между Евой и Люсьеном, всякое посягательство на этот идеальный союз чувств — смертельно. Там, где противники помирятся, даже подравшись на шпагах, любящие расходятся безвозвратно из-за одного взгляда, из-за одного слова. В воспоминании о жизни сердца, ничем не омраченной, кроется тайна разрывов, часто необъяснимых. Можно жить с недоверием в сердце, если прошлое не являет картины чистого, безоблачного чувства; но для двух существ, некогда столь связанных душевно, совместная жизнь становится невыносимой, когда всякий взгляд, всякое слово требует осторожности. Потому-то великие поэты вынуждают умирать Павла и Виргинию, едва они выходят из отрочества. Воображаете ли вы себе Павла и Виргинию поссорившимися?.. И к чести Евы и Люсьена следует сказать, что материальные интересы, столь сильно пострадавшие, не растравляли их ран: как у безупречной сестры, так и у виновного брата все основывалось на чувстве, стало быть, малейшее недоразумение, легкая размолвка, какой-нибудь промах со стороны Люсьена могли их разлучить или вызвать одну из тех ссор, которые непоправимо разрушают семью. В денежных делах все как-то улаживается, но чувства неумолимы.

На другой день Люсьен получил номер ангулемской газеты и побледнел от удовольствия, увидев, что его особе посвящена одна из передовых статей в этой почтенной газетке, напоминавшей провинциальные академии,

которые, по выражению Вольтера, как благовоспитанная девица, никогда не вызывают о себе толков.

«Пусть Франш-Конте гордится тем, что он дал жизнь Виктору Гюго, Шарлю Нодье и Кювье; Бретань — Шатобриану и Ламенне; Нормандия — Казимиру Делавиню; Турень — автору «Элоа». Отныне Ангумуа, где уже при Людовике XIII знаменитый Гез, более известный под именем де Бальзака, обосновался и стал нашим соотечественником, не придется завидовать ни этим провинциям, ни Лимузену, который дал нам Дюпюитрена, ни Оверни, родине Монлозье, ни Бордо, которому посчастливилось видеть рождение стольких великих людей! Отныне и у нас есть свой поэт! Автор прекрасных сонетов под названием «Маргаритки» сочетал славу поэта со славой прозаика, ибо ему мы обязаны великолепным романом «Лучник Карла IX». Со временем наши внуки будут гордиться своим земляком Люсьеном Шардоном, соперником Петрарки!!!» (В провинциальных газетах того времени восклицательные знаки напоминали крики *hurra* [1], сопровождающие *speech* [2] на *meeting* [3] в Англии.)

«Несмотря на блестящие успехи в Париже, наш юный поэт вспомнил, что дом де Баржетонов был колыбелью его славы, что ангулемская аристократия рукоплескала его первым поэтическим опытам, что супруга графа дю Шатле, префекта нашего департамента, поощряла его первые шаги на поприще служения Музам, и вот он опять среди нас!.. Все предместье Умо взволновалось, узнав, что вчера вернулся наш Люсьен де Рюбампре. Весть о его возвращении возбудила всеобщий живейший интерес, и, конечно, Ангулем не позволит опередить себя Умо в чествовании, которое, как гласит молва, ожидает того, кто в парижской прессе и литературе был столь блистательным представителем нашего города. Люсьен — поэт католиков и роялистов — пренебрег яростью своей прежней партии; он, говорят, воротился на родину отдохнуть от тягот борьбы, которая изнурила бы и атлета, а они люди более выносливые, нежели поэтические и мечтательные натуры.

---

[1] Hurra — ура *(англ.)*.
[2] Speech — спич *(англ.)*.
[3] Meeting — митинг *(англ.)*.

Мы приветствуем в высшей степени мудрую мысль, поданную, как говорят, графиней дю Шатле, возвратить нашему великому поэту титул и имя славного рода де Рюбампре, единственной представительницей которого является госпожа Шардон, его мать. Стремление оживить блеском новых талантов и новой славы угасающие древние роды есть новое доказательство постоянного желания бессмертного творца Хартии претворить в жизнь девиз: *Единение и забвение.*

Наш поэт остановился у своей сестры, госпожи Сешар».

В отделе ангулемской хроники была помещена следующая заметка:

«Наш префект, граф дю Шатле, уже назначенный камергером двора его величества, только что пожалован званием государственного советника.

Вчера все представители власти посетили господина префекта.

Графиня дю Шатле принимает у себя по четвергам.

Мэр Эскарба, господин де Негрпелис, представитель младшей ветви д'Эспаров, отец госпожи дю Шатле, недавно пожалованный графским титулом, званием пэра Франции и командора королевского ордена Людовика Святого, по слухам, получает пост председателя большой избирательной коллегии на ближайших выборах в Ангулеме».

— Взгляни-ка,— сказал Люсьен, подавая сестре газету. Ева, внимательно прочитав статью, задумалась и молча вернула листок Люсьену.— Что ты скажешь?..— спросил Люсьен, удивленный ее сдержанностью, можно сказать, равнодушием.

— Друг мой,— отвечала она,— эта газета принадлежит Куэнте, они полные хозяева в выборе статей, и только префектура и епископство могут оказать на них давление. Полагаешь ли ты, что твой бывший соперник, нынешний префект, настолько великодушен, что станет петь тебе такие хвалы? Неужто ты забыл, что ведь это братья Куэнте преследуют нас, прикрываясь именем Метивье? Несомненно, они хотят затравить Давида и воспользоваться плодами его открытий. От кого бы ни

исходила эта статья, она меня беспокоит. Ты возбуждал тут только ненависть и зависть; на тебя тут клеветали, оправдывая пословицу: *Нет пророка в своем отечестве*, и вдруг все меняется, точно по волшебству!..

— Ты не знаешь, как тщеславны провинциальные города,— отвечал Люсьен.— В одном южном городке жители торжественно встречали у городских ворот молодого человека, получившего первую награду на конкурсном экзамене, заранее приветствуя в нем будущего великого человека.

— Послушай, милый мой Люсьен, я не стану докучать тебе нравоучениями, скажу только одно: не доверяй тут никому.

— Ты права,— отвечал Люсьен, удивляясь, что сестра не разделяет его восторгов.

Поэт был на верху блаженства, увидев, в какой триумф превращается его бесславное, постыдное возвращение в Ангулем.

— Вы не верите крупице славы, которая обходится нам столь дорого! — вскричал Люсьен, нарушая молчание, длившееся час, покуда в груди его бушевала гроза.

В ответ Ева взглянула на Люсьена, и этот взгляд вынудил его устыдиться своего несправедливого упрека.

Перед самым обедом рассыльный из префектуры принес письмо господину Люсьену Шардону; оно как будто оправдывало тщеславие поэта, которого свет оспаривал у семьи.

Письмо оказалось пригласительным:

Граф Сикст дю Шатле и графиня дю Шатле просят господина Люсьена Шардона оказать им честь пожаловать откушать с ними пятнадцатого сентября сего года.

К письму была приложена визитная карточка:

ГРАФ СИКСТ ДЮ ШАТЛЕ

Камергер двора его величества, префект Шаранты, государственный советник.

— Вы в милости,— сказал Сешар-отец,— в городе только о вас и толкуют, точно о какой-нибудь важной персоне... Ангулем и Умо оспаривают друг у друга честь свить для вас венок.

— Моя милая Ева,— сказал Люсьен на ухо сестре,— я решительно в том же положении, в каком был в Умо

в тот день, когда был зван к госпоже де Баржетон: чтобы принять приглашение префекта, у меня нет фрака!

— А ты все же думаешь принять приглашение? — испуганно воскликнула г-жа Сешар.

Вопрос, идти или не идти в префектуру, послужил причиной спора между сестрой и братом. Здравый смысл провинциалки подсказывал Еве, что в свете следует появляться только с веселым лицом, в элегантном костюме, безукоризненно одетым; но она таила истинные свои мысли: «К чему поведет обед у префекта? Что готовит для Люсьена великосветский Ангулем? Не замышляют ли что-нибудь против него?»

Кончилось тем, что Люсьен, перед тем как лечь спать, сказал сестре:

— Ты не знаешь, как велико мое влияние; жена префекта боится журналистов, и притом графиня дю Шатле все та же прежняя Луиза де Негрпелис! Женщина, сумевшая выхлопотать столько милостей, может спасти Давида! Я расскажу ей об открытии брата, и для нее ничего не значит выхлопотать у правительства субсидию в десять тысяч франков.

В одиннадцать часов вечера Люсьен, его сестра, мать и папаша Сешар, Марион и Кольб были потревожены городским оркестром, к которому присоединился еще гарнизонный; площадь Мюрье была полна народу. Ангулемская молодежь приветствовала серенадой Люсьена де Рюбампре. Люсьен подошел к окну в спальне сестры и посреди глубокого молчания, наступившего после того, как отзвучали последние аккорды серенады, сказал:

— Благодарю соотечественников за оказанную мне честь, постараюсь быть ее достойным. Позвольте мне на этом закончить: волнение мое чересчур сильно, и я не в состоянии говорить.

— Да здравствует автор «Лучника Карла Девятого»! Да здравствует автор «Маргариток»! Да здравствует Люсьен де Рюбампре!

После этого троекратного залпа приветствий, выкрикнутых несколькими голосами, в окно полетели букеты и три венка, брошенные ловкой рукой. Десять минут спустя площадь Мюрье опять стала безлюдной и водворилась тишина.

— Я предпочел бы десять тысяч франков,— сказал

старый Сешар, с крайне ехидной миной разглядывая со всех сторон венки и букеты,— но вы ведь преподнесли им маргаритки, ну, а они вам — букеты: вы цветочных дел мастер!

— Вот как вы цените внимание, которым меня почтили сограждане! — вскричал Люсьен, и выражение его лица изобличало, что забыты все горести: оно так и сияло довольством.— Кабы вы знали людей, папаша Сешар, вы знали бы, что такие минуты в жизни неповторимы. Лишь искренний восторг способен вылиться в подобное торжество!.. Такие вещи, милая матушка и дорогая сестра, сглаживают многие огорчения! — Люсьен обнял сестру и мать, как обнимают в те минуты, когда радость поднимается в душе столь могучей волной, что хочется увлечь ею дружеские сердца. («За отсутствием друга,— сказал однажды Бисиу,— опьяненный успехом сочинитель обнимает слугу».) — Ну, ну, детка,— сказал он Еве,— о чем ты плачешь?.. А-а! От радости?..

Оставшись наедине с матерью, Ева, прежде чем опять лечь в постель, сказала ей:

— Увы! В нашем поэте, сдается мне, есть что-то от красивой женщины самого последнего разбора...

— Ты права,— кивая головой, отвечала мать.— Люсьен уже забыл не только свои горести, но и наши.

Мать и дочь расстались, не решаясь высказать до конца свои мысли.

В странах, снедаемых духом общественного неповиновения, прикрытого словом «равенство», всякая победа является одним из тех чудес, которые, как, впрочем, и некоторые иные чудеса, не обходятся без закулисных махинаций. Из десяти случаев торжественных признаний, какие выпадают на долю десяти лиц, прославленных еще при жизни у себя на родине, девять объясняются причинами, непосредственно не касающимися увенчанной знаменитости. Торжество Вольтера на подмостках французского театра не является ли торжеством философии его века? Во Франции признание возможно только в том случае, если, возлагая венец на голову победителя, каждый мысленно венчает самого себя. Стало быть, предчувствия обеих женщин имели свои основания. Успех провинциальной знаменитости находился в чересчур резком противоречии с косными нравами Ангулема и явно был подстро-

ен с какими-то корыстными целями или же создан неким влюбленным режиссером, короче, обязан сотрудничеству равно вероломному. Ева, впрочем, как и большинство женщин, была недоверчива в силу инстинкта, она жила не умом, а сердцем. Засыпая, она говорила сама себе: «Кто же тут до такой степени любит моего брата, чтобы взволновать весь город?.. «Маргаритки» еще не изданы. Как же поздравлять с будущим успехом?..»

И действительно, вся эта шумиха была поднята Пти-Кло. В тот день, когда кюре из Марсака сообщил ему о возвращении Люсьена, стряпчий впервые обедал у г-жи де Сенонш и должен был официально просить руки ее питомицы. Это был один из тех семейных обедов, торжественность которых выражается скорее в нарядах, чем в большом съезде гостей. Хотя все было обставлено по-семейному, каждый старался показать себя с наилучшей стороны, и это намерение сквозило в манере держать себя. Франсуаза была разодета, точно напоказ. Г-жа де Сенонш шла под знаменами своего самого вычурного наряда. Г-н дю Отуа был в черном фраке. Г-н де Сенонш, получив письмо жены, извещавшей его о приезде г-жи дю Шатле, которая впервые должна появиться перед ангулемским светом в их доме на вечере в честь представления обществу жениха Франсуазы, поспешил покинуть г-на Пимантеля и появился на знаменательном вечере. Куэнте, облаченный в свой лучший коричневый сюртук, напоминавший сутану, щеголял, привлекая взгляды, брильянтом в шесть тысяч франков, красовавшимся в его жабо,— месть богатого купца захудалой аристократии. Пти-Кло, начисто выбритый, припомаженный, вылощенный, не мог, однако, отделаться от присущей ему кислой мины. Само собою напрашивалось сравнение этого тощего, затянутого во фрак стряпчего с замороженной гадюкой; но его сорочьи глаза, одушевленные надеждой, приобрели такую живость, а от всей его особы веяло таким нарочитым холодом, он держал себя так чопорно, что и точно походил на какого-нибудь новоиспеченного королевского прокурора из честолюбцев. Г-жа де Сенонш настойчиво просила своих близких знакомых ни словом не обмолвиться как о первой встрече ее воспитанницы с женихом, так и о том, что ожидается супруга префекта, и, стало быть, она могла надеяться, что ее салон будет по-

лон гостей. В самом деле, г-н префект с супругой сделали официальные визиты, иными словами — завезли кое-кому свои визитные карточки, приберегая честь личных визитов в качестве средства воздействия. Не мудрено, что ангулемская аристократия буквально изнемогала от любопытства, и многие особы из лагеря Шандуров предполагали появиться в особняке Баржетонов, ибо упорно не желали именовать этот дом особняком Сеноншей. Доказательства влиятельности графини дю Шатле пробудили немало честолюбий; притом говорили, что она переменилась, и к лучшему, и каждый желал об этом судить лично. Узнав от Куэнте по пути к особняку важную новость о благосклонности к Зефирине супруги префекта, которая разрешила представить ей жениха своей дорогой Франсуазы, Пти-Кло льстил себя надеждой извлечь пользу из щекотливого положения, в которое возвращение Люсьена ставило Луизу де Негрпелис.

Господин и госпожа де Сенонш вошли в столь крупные расходы, связанные с покупкой дома, что, как истые провинциалы, и не думали вносить в него хотя бы малейшие изменения. Поэтому, когда доложили о приезде Луизы и Зефирина вышла ей навстречу, первое, что она сказала, указывая на небольшую люстру с подвесками, на деревянную обшивку стен и мебель, некогда очаровавшие Люсьена, было: «Дорогая Луиза, поглядите... тут вы у себя дома!..»

— Об этом, моя милая, я менее всего хотела бы вспоминать,— любезно сказала жена префекта, окидывая взглядом собравшееся общество.

Разительная перемена, происшедшая в Луизе де Негрпелис, была признана всеми. Парижский свет, в котором она вращалась вот уже полтора года, счастье первых дней замужества, преобразившее женщину, как Париж преобразил провинциалку, приемы великосветской дамы, быстро ею усвоенные,—все это обратило графиню дю Шатле в женщину, столь же походившую на г-жу де Баржетон, сколько девушка лет двадцати походит на свою мать. Она носила прелестный кружевной чепец и цветы, небрежно приколотые булавкой с крупным бриллиантом. Прическа на английский манер была ей к лицу и молодила ее, смягчая резкость ее черт. На ней было фуляровое платье, восхитительно отделанное бахромой; лиф,

выкроенный мысом, творение знаменитой Виктории, прекрасно обрисовывал ее стан. Плечи, прикрытые блондовой косынкой, чуть просвечивали сквозь дымку ткани, искусно обернутой вокруг чересчур длинной шеи. Притом она так мило забавлялась прелестными безделушками, искусство обращения с которыми составляет камень преткновения для провинциалок: прелестный флакончик с духами свисал на цепочке с браслета; в руке она держала веер и свернутый носовой платочек, что ничуть ее не стесняло. Изысканный вкус, запечатленный в мельчайших подробностях наряда, поза и манеры, которые она переняла у г-жи д'Эспар, свидетельствовали, что Луиза прошла высокую школу Сен-Жерменского предместья. Что касается старого щеголя времен Империи, он как-то сразу перезрел, точно дыня, еще зеленая накануне и пожелтевшая в одну ночь. Относя расцвет красоты жены на счет утраченной свежести Сикста, гости на ухо нашептывали друг другу провинциальные остроты, и с тем большей охотою, что все женщины были вне себя от нового возвышения бывшей ангулемской королевы, и цепкому выскочке приходилось расплачиваться за жену. Исключая г-на де Шандура с супругой, покойного Баржетона, г-на Пимантеля и Растиньяка, в гостиной находилось почти столь же многочисленное общество, как и в тот день, когда Люсьен читал тут стихи; прибыл даже епископ со старшими викариями. Пти-Кло, ошеломленный великолепием ангулемской аристократии, в кругу которой еще четыре месяца тому назад он отчаивался когда-нибудь себя видеть, почувствовал, как утихает его ненависть к высшим классам. Он нашел графиню дю Шатле обворожительной и сказал про себя: «Вот, однако ж, женщина, которая может сделать меня помощником прокурора!» В самом разгаре вечера, побеседовав с каждой дамой и изменяя тон разговора в зависимости от влиятельности и прежнего отношения собеседницы к ее побегу с Люсьеном, Луиза с епископом удалилась в будуар. Тогда Зефирина взяла под руку Пти-Кло, биение сердца которого усилилось, и ввела его в тот самый будуар, откуда пошли все беды Люсьена и где им суждено было завершиться.

— Вот рекомендую,— господин Пти-Кло, дорогая!

Прошу любить и жаловать, тем более что все, что ты сделаешь для него, послужит во благо моей воспитаннице.

— Вы ходатай по делам, сударь? — сказала величавая дочь Негрпелисов, измеряя взглядом Пти-Кло.

— Увы! *Графиня.* (Никогда в жизни сыну портного из Умо не доводилось произносить такого титула: он едва его выговорил.) Но,— продолжал он,— от вас, графиня, зависит поставить меня должным образом в прокуратуре. Господин Мило, как говорят, переводится в Невер...

— Но разве не требуется быть прежде младшим, а потом старшим товарищем прокурора? — возразила графиня.— Я желала бы видеть вас сразу старшим помощником прокурора... Однако ж, прежде чем заняться вами и исходатайствовать для вас такую милость, я желала бы убедиться в вашей преданности законной династии, религии и особенно господину де Виллелю.

— О сударыня,— сказал Пти-Кло, склоняясь к самому уху графини,— я предан королю душой и телом.

— Вот это *нам* и нужно в настоящее время,— отвечала она, откинувшись назад и тем самым давая понять, что не желает, чтобы ей нашептывали что-нибудь на ухо.— Ежели вы и впредь будете угодны госпоже де Сенонш, рассчитывайте на меня,— прибавила она, заключая свои слова царственным движением руки, державшей веер.

— Сударыня,— сказал Пти-Кло, заметив Куэнте, показавшегося в дверях будуара,— Люсьен приехал.

— Ну, и что же, сударь?..— отвечала ему графиня таким тоном, что всякое подобие ответа застряло бы в горле человека обыкновенного.

— Графиня, вы не изволили меня понять,— продолжал Пти-Кло, пользуясь самыми почтительными выражениями вежливости,— я желал лишь представить доказательство своей преданности вашей особе. Не соизволите ли указать, графиня, как подобает встретить в Ангулеме человека, которому вы создали имя? Выбора нет: он должен быть или опозорен, или прославлен.

Луиза де Негрпелис не задумывалась над этим вопросом, в разрешении которого она, очевидно, была заинтересована если не ради настоящего, то ради прошлого. А между тем в зависимости от чувств, которые теперь

она питала к Люсьену, стоял успех замысла, взлелеянного стряпчим насчет ареста Сешара.

— Господин Пти-Кло,— сказала она, принимая высокомерную и величавую позу,— вы желаете служить правительству? Знайте же основное его правило: никогда не признавать за собой ошибок; а женщинам еще в большей степени, нежели правительствам, присущ инстинкт власти и чувство собственного достоинства.

— Я именно так и думал, сударыня,— отвечал он с живостью, наблюдая внимательно, хотя и не явно, за графиней.— Люсьен воротился буквально нищим. Но, ежели потребуется оказать ему почести, я могу благодаря именно этим почестям принудить его покинуть Ангулем, где его сестра и зять подвергаются сейчас жестоким преследованиям по суду...

Надменное лицо Луизы де Негрпелис выдало затаенное удовольствие. Пораженная догадливостью стряпчего, она взглянула на него поверх веера, и, так как в комнату входила Франсуаза де Ляэ, у нее нашлось время, чтобы обдумать ответ.

— Сударь,— сказала она с многозначительной улыбкой,— вы скоро будете прокурором...

Не значило ли это сказать все, не роняя своего достоинства?

— О сударыня! — вскричала Франсуаза, подходя к супруге префекта, чтобы поблагодарить ее.— Вам я буду обязана счастьем моей жизни.— И с чисто девичьей непосредственностью, наклонившись к своей покровительнице, она шепнула: — Быть женой провинциального стряпчего — значит сгорать на медленном огне...

Если Зефирина прибегла к помощи Луизы, то натолкнул ее на это Франсис, не лишенный некоторого знания чиновного мира.

— В первые дни пришествия к власти, будь то префектура, трон или промышленное предприятие,— сказал бывший генеральный консул своей подруге,— люди воодушевлены желанием оказывать услуги; но коль скоро они познают неудобства покровительства, они охладевают. Сейчас Луиза сделает для Пти-Кло то, чего месяца через три не сделает и для вашего мужа.

— А вы подумали, графиня,— говорил между тем Пти-Кло,— к чему обязывает чествование нашего поэ-

та? Вам придется, графиня, принимать Люсьена целых десять дней, покуда не остынет наше рвение.

Супруга префекта наклонением головы отпустила Пти-Кло и встала, чтобы побеседовать с г-жой де Пимантель, появившейся в дверях будуара. Маркиза только что не без удивления выслушала новость о возведении старика Негрпелиса в пэры Франции и теперь сочла нужным оказать внимание женщине, которая так искусно воспользовалась своими грехами, чтобы повысить свою влиятельность.

— Скажите, дорогая, что побудило вас ходатайствовать о назначении вашего отца в верхнюю палату? — сказала маркиза, беседуя на темы, не подлежащие огласке, со своей *дорогой* Луизой, перед превосходством которой она преклоняла колени.

— Дорогая, мне охотно оказали эту милость, тем более что у моего отца нет сыновей, а сам он до гроба останется верен короне; но ежели у меня будут сыновья, то старший, я решительно в том уверена, унаследует от деда титул, герб и звание пэра...

Госпожа де Пимантель с огорчением увидела, что ей не доведется возвести г-на де Пимантеля в пэры с помощью матери, честолюбие которой простиралось на детей, еще не родившихся.

— Префекторша в моих руках,— сказал Пти-Кло Куэнте, когда они вышли,— и я вам обещаю желанный для вас товарищеский договор... Через месяц я буду старшим помощником прокурора, а вы станете хозяином Сешара. Постарайтесь теперь же подыскать преемника для моей конторы; за какие-нибудь пять месяцев она стала первой в Ангулеме...

— Дай только вам карты в руки...— сказал Куэнте, почти завидуя своему ставленнику.

Теперь всякий может понять, в чем была причина успеха Люсьена на родине. По примеру французского короля, который не мстил за герцога Орлеанского, Луиза предпочла забыть обиды, нанесенные в Париже г-же де Баржетон. Она пожелала покровительствовать Люсьену, уничтожить его своим покровительством и потом просто-напросто избавиться от него. Будучи благодаря сплетням осведомлен о всех парижских интригах, Пти-Кло правильно рассчитывал на живучую ненависть женщины

к человеку, который не догадался полюбить ее, когда ей это было угодно.

На другой день после восторженной встречи, оправдавшей прошлое Луизы де Негрпелис, Пти-Кло, желая совершенно вскружить голову Люсьену и прибрать его к рукам, явился к г-же Сешар, сопутствуемый шестью молодыми людьми, бывшими товарищами Люсьена по ангулемскому коллежу.

От имени воспитанников коллежа депутация приглашала автора «Маргариток» и «Лучника Карла IX» присутствовать на торжественном обеде, который они давали в честь великого человека, вышедшего из их рядов.

— Неужто это твоя мысль, Пти-Кло? — вскричал Люсьен.

— Твое возвращение на родину,— сказал Пти-Кло,— подстрекнуло наше самолюбие, затронуло в нас чувство чести, мы сложились и готовим тебе великолепный обед. Наш директор и преподаватели будут на обеде, надо полагать, явятся и власть имущие.

— И когда же состоится этот торжественный обед? — спросил Люсьен.

— В будущее воскресенье.

— Право, не могу,— отвечал поэт,— вот разве дней через десять... Тогда с охотою...

— Ну, что ж, будь по-твоему! — сказал Пти-Кло.— Итак, через десять дней.

Люсьен был обаятелен в обращении с прежними товарищами, а те, в свою очередь, выказывали ему восхищение почти благоговейное. Чуть ли не полчаса разглагольствовал Люсьен, щеголяя остроумием, ибо чувствовал себя на пьедестале и желал оправдать мнение соотечественников; заложив пальцы в карманы жилета, он изъяснялся, как человек, взирающий на события с высоты, на которую его вознесли сограждане. Он был скромен, добродушен, настоящий гений в халате. То были жалобы атлета, утомленного парижскими состязаниями, и притом разочарованного; он так горячо хвалил товарищей за их приверженность к родной провинции, что буквально всех очаровал. Затем, увлекши Пти-Кло в сторону, он пожелал узнать истину о положении дел Давида и попенял, что стряпчий допустил наложение ареста на имущество его зятя. Люсьен вздумал перехитрить

Пти-Кло. А Пти-Кло старался утвердить своего бывшего товарища в том мнении, что он-де, Пти-Кло, просто-напросто ничтожный провинциальный стряпчий, простодушный человек. Устройство современного общества, гораздо более сложного по своей организации, нежели древнее общество, привело к тому, что человеческие способности подразделились. Некогда люди выдающиеся должны были быть всесторонне образованными, но такие люди встречались редко и сияли подобно светочам среди народов древности. Позже, если способности и специализировались, все же отдельные, отличающие их качества относились ко всей совокупности поступков. Так, человек себе на уме, как прозвали Людовика XI, мог проявлять свою хитрость в любом случае; но ныне самое качество способностей подразделилось. Можно сказать: сколько профессий, столько и видов хитрости. Любой провинциальный стряпчий, любой крестьянин перехитрит в житейских делах самого хитроумного дипломата. Самый пронырливый журналист может оказаться простофилей в торговых делах, и Люсьен должен был стать и стал игрушкой в руках Пти-Кло. Лукавый стряпчий, конечно, сам написал статью, по милости которой Ангулем, вкупе с его предместьем Умо, вздумал устроить празднество в честь Люсьена. Сограждане Люсьена, явившиеся на площадь Мюрье, были мастеровыми из типографии и с бумажной фабрики Куэнте; им сопутствовали писцы Пти-Кло, Кашана и несколько товарищей по коллежу. Назвавшись однокашником поэта, Пти-Кло здраво рассудил, что рано или поздно его товарищ проговорится и откроет убежище Давида. И если Давид погибнет по вине Люсьена, поэт должен будет покинуть Ангулем. Поэтому, желая подчинить Люсьена своему влиянию, он держал себя с ним, как низший с высшим.

— Да неужто я не пытался сделать все, что было в моих силах? — сказал Пти-Кло Люсьену.— Ведь речь шла о сестре моего однокашника; но в суде положение создалось безвыходное. Первого июня Давид просил меня обеспечить ему спокойствие на три месяца; дело приняло угрожающий оборот только в сентябре, да и то я сумел спасти имущество от заимодавцев, ибо в окружном суде я дело выиграю; я добьюсь признания преимущественного права жены, не прикрывающего в настоя-

щем случае никакого обмана... Что касается тебя, ты воротился в несчастье, но все же ты гениальный человек... (Люсьен отпрянул, точно ему чересчур близко к носу поднесли кадило.) Да, да, дорогой мой,— продолжал Пти-Кло,— я прочел «Лучника Карла IX», это более чем роман, это настоящая книга! А такое предисловие могли написать только два человека: Шатобриан или ты!

Люсьен принял хвалу, не сказав, что предисловие написано д'Артезом. Из ста французских писателей девяносто девять поступили бы так же, как он.

— И вообрази себе, тут и виду не показали, что о твоем приезде известно,— продолжал Пти-Кло с притворным негодованием.— Когда я обнаружил это всеобщее равнодушие, мне пришло в голову взбудоражить весь этот мирок. Я написал статью, которую ты прочел...

— Неужто это ты?! — вскричал Люсьен.

— Я самый!.. А теперь Ангулем и Умо оспаривают свои права на тебя. Я собрал молодежь, бывших твоих товарищей по коллежу, и устроил тебе вчера серенаду; а раз начав, мы увлеклись, затеяли подписку на обед. «Пусть Давид скрывается, зато Люсьен будет увенчан лаврами!» — сказал я самому себе. Более того,— продолжал Пти-Кло,— я видел графиню Шатле и дал ей понять, что ради себя самой она должна спасти Давида; она может, она обязана это сделать. Если Давид действительно сделал открытие, о котором он говорил мне, правительство не разорится, поддержав его. А какая честь для префекта стать, так сказать, причастным к столь важному изобретению, оказав покровительство изобретателю. Ведь он прослывет просвещенным администратором. Твою сестру напугала наша судебная перестрелка! Она еще по-настоящему не понюхала пороха... Битва в суде обходится столь же дорого, как и на поле сражения; но Давид удержал свои позиции, он хозяин изобретения, его не могут арестовать, его не арестуют!

— Благодарю тебя, дорогой мой, я вижу, что могу доверить тебе мой план, ты мне поможешь его осуществить.— Пти-Кло посмотрел на Люсьена, причем его нос, похожий на буравчик, принял вид вопросительного знака.— Я хочу спасти Давида,— сказал Люсьен с особою значительностью,— я виновник его несчастья, и я все исправлю... я могу оказать влияние на Луизу...

— На Луизу?..

— На графиню дю Шатле!.. (Пти-Кло сделал неопределенное движение.) Я имею на нее влияние большее, нежели она сама думает,— продолжал Люсьен,— однако ж, дорогой мой, хотя я и имею влияние на вашу знать, у меня нет фрака...

Пти-Кло опять сделал какое-то неопределенное движение, точно хотел предложить свой кошелек.

— Благодарю,— сказал Люсьен, пожимая руку Пти-Кло.— Дней через десять я сделаю визит жене префекта и отдам визит тебе.

И они расстались, по-товарищески пожав друг другу руки.

«Он, конечно, поэт,— сказал самому себе Пти-Кло,— ибо он безумец!»

«Что ни говори,— думал Люсьен, возвращаясь к сестре,— истинные друзья только друзья со школьной скамьи».

— Люсьен,— сказала Ева,— что тебе обещал Пти-Кло? На что тебе его дружба? Остерегайся его!

— Его-то? — вскричал Люсьен.— Послушай, Ева,— продолжал он, как бы повинуясь мелькнувшей у него мысли,— ты утратила веру в меня, ты утратила доверие ко мне и подавно можешь не доверять Пти-Кло; но не пройдет и двух недель, как ты переменишь свое мнение,— прибавил он с фатовским видом.

Люсьен поднялся к себе в комнату и написал такое письмо Лусто:

«Дорогой мой, из нас двоих только я могу помнить о билете в тысячу франков, которые я тебе ссудил; но, увы! я чересчур хорошо представляю положение, в котором тебя застанет мое письмо, поэтому спешу прибавить, что не требую возврата их ни в золотой, ни в серебряной монете; нет, я прошу об одном: услуга за услугу, как иной просил бы у Флорины любви в возмещение долга. У нас с тобой общий портной, ты, стало быть, можешь безотлагательно заказать для меня полное обмундирование. Конечно, я не щеголяю в костюме Адама, но все же в обществе показаться не могу. Тут, вообрази мое удивление, меня ожидают почести, воздаваемые провинцией парижским знаменитостям. Я герой предстоящего банке-

та,— ни дать ни взять депутат левой! Теперь ты понимаешь, как мне нужен черный фрак? Займись-ка этим делом, посули заплатить, пусти пыль в глаза, короче, разыграй какую-нибудь неизданную сцену между Дон-Жуаном и господином Диманшем, ибо разодеться по-праздничному мне надобно во что бы то ни стало. На мне одни отрепья: вникни в это! На дворе сентябрь, погода стоит восхитительная, *ergo* [1] позаботься, чтобы я к концу нынешней недели получил обворожительный утренний наряд: легкий сюртук темно-зеленого сукна с бронзовой искрой, три жилета — один серого цвета, другой клетчатый, в шотландском вкусе, третий совершенно белый; затем три пары панталон *смерть женщинам* — одни из белой английской фланели, другие нанковые, третьи из легкого черного казимира; наконец вечерний черный фрак с черным атласным жилетом. Ежели ты вновь обрел какую-нибудь Флорину, поручаю ей выбрать по своему вкусу два пестрых галстука. В сущности все это пустяки! Я рассчитываю на тебя, на твою ловкость: портной меня мало беспокоит. Мой дорогой друг, много раз мы с тобой скорбели, что изобретательность нищеты, этого, без сомнения, сильнейшего яда для человека (в особенности для парижанина!), эта изобретательность, которая удивила бы и самого сатану, не нашла еще способа получить в долг шляпу! Когда мы введем в моду шляпы стоимостью в тысячу франков, они станут доступны, но до той поры в карманах у нас должно звенеть золото, чтобы оплачивать покупку шляпы наличными. Ах! Какой вред нанесла нам французская комедия фразой: «*Лафлер, наполни золотом мои карманы!*» Итак, я вполне чувствую, как трудно исполнить мою просьбу: присоединить к посылке портного пару сапог, пару бальных башмаков, шляпу, шесть пар перчаток! Я требую невозможного, знаю! Но разве жизнь литераторов не есть невозможность, возведенная в правило?.. Скажу тебе одно: соверши это чудо, сочинив большую статью или небольшую подлость; мы будем в расчете, и я прощу тебе твой долг. А ведь это долг чести, мой милый, и он уже год как числится за тобой; ты покраснел бы, если бы мог краснеть. Мой дорогой Лусто, шутки в сторону, я в тяжелых

---

[1] Следовательно *(лат.)*.

обстоятельствах. Суди сам: Выдра разжирела, стала женой Цапли, а Цапля теперь — префект Ангулема. Эта мерзкая чета может многое сделать для моего зятя, которого я поставил в ужасное положение, его преследуют за долги, он скрывается, над ним тяготеют векселя!.. Мне надобно предстать пред очи супруги префекта и любой ценой восстановить свое прежнее на нее влияние. Не ужасно ли сознавать, что судьба Давида Сешара зависит от пары изящных сапог, серых шелковых ажурных чулок (не забудь о них) и новой шляпы!.. Я скажусь больным, и больным всерьез, лягу в постель, как Дювике, чтобы на время избавить себя от докуки отвечать на восторги моих сограждан. Мои сограждане, дорогой мой, почтили меня серенадой. И с тех пор, как я узнал, что восторженность ангулемцев подогрета одним из моих школьных товарищей, меня начинает занимать вопрос: сколько же глупцов понадобится, чтобы составить понятие: *сограждане?*

Постарайся поместить в парижской хронике несколько строк по поводу торжественного приема, оказанного мне,— ты возвысил бы меня здесь на несколько вершков. Притом я дал бы почувствовать Выдре, что у меня есть еще в парижской прессе если не друзья, то все же влияние. Я не отказываюсь ни от одной надежды и надеюсь отплатить тебе за услугу. Ежели тебе нужна серьезная вводная статья для какого-нибудь сборника, то у меня довольно времени, чтобы обдумать ее. Скажу тебе только одно, дорогой друг: я рассчитываю на тебя, как ты можешь рассчитывать на того, кто говорит тебе:

Всегда твой *Люсьен де Р.*

Пришли посылку дилижансом, до востребования».

Письмо, в котором Люсьен опять заговорил тоном превосходства, чему причиной был его успех, напомнило ему о Париже. После шести дней полнейшего провинциального покоя убаюканная мысль его обратилась опять к милым сердцу невзгодам, смутные сожаления волновали его, и всю неделю он думал о графине Шатле; наконец он стал придавать такую важность своему возвращению в свет, что вечером, спускаясь в Умо, чтобы спра-

виться в конторе дилижансов относительно парижских посылок, он испытывал все тревоги сомнений, точно женщина, которая последние надежды возлагает на туалет и уже не надеется его получить.

«О Лусто! Я прощаю тебе все твои предательства!» — мысленно сказал Люсьен, заметив по форме пакетов, что в них вмещалось все, о чем он просил.

В шляпной картонке он нашел такое письмо:

«Гостиная Флорины

Дорогое дитя!

Портной вел себя превосходно; но, как ты мудро провидел, бросая взгляд на прошедшее, поиски галстуков, шляпы, шелковых чулок повергли в тревогу сердца наши, ибо в наших кошельках уже нечего было потревожить. Мы с Блонде пришли к выводу: возможно было бы составить состояние, открыв магазин, где молодые люди могли бы одеваться по сходной цене. Ибо в конце концов мы чересчур дорого расплачиваемся за то, что все берем в долг. Помилуй! Еще великий Наполеон, отказавшись от похода в Индию, потому что недоставало пары сапог, изрек: *«Легкие дела никогда не ладятся!»* Итак, все шло на лад, недоставало только пары сапог... Я видел тебя во фраке, но без шляпы! В жилете, но без башмаков, и я подумал, не послать ли тебе мокасины, которые какой-то американец, в качестве достопримечательности, подарил Флорине. Флорина выделила нам целых сорок франков, мы с Натаном и Блонде стали играть на чужой счет, и нам повезло: мы оказались настолько богатыми, что угостили ужином Торпиль, бывшую *крысу* де Люпо. Ужин у Фраскати мы заслужили. Флорина взяла на себя покупки; к ним она присоединила три отличные сорочки. Натан жертвует трость. Блонде, выигравший триста франков, посылает тебе золотую цепочку. Крыса дарит тебе золотые часы, величиною с монету в сорок франков, которые ей преподнес какой-то глупец, но они испорчены. «Это такая же дрянь, как и то, что он получил!» — сказала она нам. Бисиу, разыскавший нас в «Роше де Канкаль», пожелал вложить флакон португальского одеколона в посылку, которую шлет тебе Париж. *«Если это может составить его счастье, да будет так!..»* — проскандировал наш первый

комик на баритональных нотах и с той мещанской напыщенностью, которую он так бесподобно изображает на сцене. Все это, дитя мое, докажет тебе, как любят друзей, когда они в несчастье. Флорина, которую я по своей слабости простил, просит тебя прислать нам статью о последней книге Натана. Прощай, сын мой! Скорблю, что пришлось тебе воротиться в глухую провинцию, из которой ты раз уже выбрался, когда приобрел сподвижника в лице

твоего друга

Этьена Лусто».

«Бедные! Они ставили на мое счастье!» — сказал про себя глубоко взволнованный Люсьен.

Из нездоровых местностей или из тех мест, где мы когда-то страдали, подымаются испарения, подобные райским благоуханиям. В нашей тусклой жизни воспоминания о пережитых страданиях являются неизъяснимым наслаждением. Каково же было удивление Евы, когда брат появился перед ней в новом одеянии! Она не узнала его.

— Наконец-то я могу прогуляться по Болье! — вскричал он.— Теперь, пожалуй, не скажут: «Поглядите, в каких он отрепьях разгуливает!» Позволь мне преподнести тебе часы, они действительно мои; притом они похожи на меня: они испорчены.

— Какой ты, однако ж, ребенок!..— сказала Ева.— Можно ли на тебя сердиться...

— Неужели ты думаешь, милая девочка, что я нуждался во всей этой бутафории ради глупого желания щегольнуть перед ангулемцами, которые заботят меня столько же, сколько вот это! — сказал он, взмахнув в воздухе тростью с золотым чеканным набалдашником.— Я хочу исправить причиненное мною зло, и вот я во всеоружии.

Успех Люсьена, как щеголя, был единственным истинным его успехом, притом огромным. Зависть развязывает языки, тогда как восхищение их сковывает. Женщины были без ума от него, мужчины злословили на его счет, и он мог воскликнуть вместе с автором песенки: «*О, как я тебе благодарен, мой фрак!*» Он занес две визитные карточки в префектуру и сделал визит Пти-Кло, которого не застал. Утром в день банкета во всех парижских

газетах под рубрикой «Ангулемская хроника» появились следующие строки:

«Возвращение в Ангулем молодого поэта, столь блестяще вступившего на литературное поприще, автора «Лучника Карла IX», единственного французского исторического романа, свободного от подражания Вальтеру Скотту и содержащего предисловие, которое является литературным событием, ознаменовалось восторженным приемом, столь же лестным для города, как и для г-на Люсьена де Рюбампре. Город поспешил дать в его честь патриотический банкет. Новый префект, только что вступивший в должность, присоединился к общественному чествованию автора «Маргариток», чей талант с самого начала встретил горячее поощрение со стороны графини Шатле».

Во Франции, стоит только дать чувствам толчок, и ничем уже не остановить воодушевления. Начальник местного гарнизона предоставил военный оркестр. Хозяин гостиницы «Колокол», знаменитый ресторатор из Умо, индейки которого, начиненные трюфелями, известны даже в Китае и рассылаются в великолепной фарфоровой посуде, взял на себя устройство обеда, разукрасив свою огромную залу сукнами, на фоне которых лавровые венки в сочетании с цветами создавали превосходное впечатление. К пяти часам вечера в зале собралось человек сорок, все во фраках. Во дворе толпа обывателей, в сто с лишком человек, привлеченная главным образом духовым оркестром, представляла собою сограждан.

— Да тут весь Ангулем! — сказал Пти-Кло, подходя к окну.

— Ничего не понимаю,— говорил Постэль жене, пожелавшей послушать музыку.— Помилуйте! Префект, главный управляющий сборами, начальник гарнизона, директор порохового завода, наш депутат, мэр, директор коллежа, директор Рюэльского литейного завода, председатель суда, прокурор, господин Мило... да тут все представители власти!..

Когда садились за стол, военный оркестр исполнил вариации на мотив песни: «Да здравствует король, да здравствует Франция!» — которая так и не сделалась

популярной. Было пять часов вечера. В восемь часов подали десерт (фрукты и сласти шестидесяти пяти сортов), примечательный сахарным Олимпом, который увенчивала шоколадная Франция; это послужило сигналом к тостам.

— Господа! — сказал префект, вставая.— За короля!.. За законную династию!.. Разве не миру, дарованному нам Бурбонами, обязаны мы поколением поэтов и мыслителей, которые удерживают в руках Франции скипетр литературы!..

— Да здравствует король! — вскричали гости, в большинстве своем приверженцы правительства.

Встал почтенный директор коллежа.

— За юного поэта,— сказал он,— за героя нынешнего дня, которому удалось сочетать изящество стиха Петрарки, в жанре, который Буало признал самым трудным, и талант прозаика!

— Браво! Браво!

Встал начальник гарнизона.

— За роялиста, господа! Ибо герой настоящего торжества имел мужество защищать добрые старые принципы!

— Браво! — сказал префект, аплодируя и тем подавая знак к рукоплесканиям.

Встал Пти-Кло.

— Мы, товарищи Люсьена, пьем за славу ангулемского коллежа, за нашего досточтимого, нашего дорогого директора, которому мы обязаны нашими успехами!..

Престарелый директор, не ожидавший такого почета, отер слезу. Встал Люсьен; водворилась глубочайшая тишина. Поэт был бледен. И тут-то старичок директор возложил на его голову лавровый венок. Раздались рукоплескания. У Люсьена слезы навернулись на глазах и от волнения срывался голос.

— Он пьян,— сказал, наклоняясь к Пти-Кло, будущий прокурор Невера.

— Пьян, но не от вина,— отвечал стряпчий.

— Дорогие сограждане, дорогие друзья,— заговорил наконец Люсьен,— я желал бы призвать в свидетели этой сцены всю Францию. Так именно в нашей стране возвышают людей, так именно вдохновляют их на великие творения, на великие дела. Но, взвешивая то ма-

лое, что я по сей день сделал, я вижу, как велика честь, которой я удостоен, и я смущен. Однако я льщу себя надеждой оправдать хотя бы в будущем нынешнее чествование. Воспоминание об этой минуте придаст мне силы в разгаре новой борьбы. Позвольте же мне воздать должное той, кто была моей первой музой и покровительницей, а равно поднять заздравный кубок за мой родной город! Итак, да здравствует прекрасная графиня Сикст дю Шатле и славный город Ангулем!

— Недурно вывернулся,— сказал королевский прокурор, кивая головой в знак одобрения,— ведь мы наперед обдумали наши тосты, а он импровизировал.

В десять часов вечера участники банкета начали расходиться. Давид Сешар, слыша необычную музыку, спросил у Базины:

— Что творится в Умо?..

— Дают пир в честь вашего шурина Люсьена...— отвечала она.

— Я уверен, что ему горестно не видеть меня там,— сказал он.

В полночь Пти-Кло проводил Люсьена до площади Мюрье. Тут Люсьен сказал стряпчему:

— Дорогой мой, мы с тобой друзья до гроба.

— Завтра,— сказал стряпчий,— у госпожи де Сенонш я подписываю брачный контракт с мадемуазель Франсуазой де Ляэ, ее воспитанницей; сделай мне удовольствие, приходи; госпожа де Сенонш приглашает тебя; там ты увидишь префекторшу. Помилуй! Неужто ей не доложат о твоем тосте? Она, конечно, будет польщена.

— У меня были на то свои соображения,— сказал Люсьен.

— О-о-о! Ты спасешь Давида!

— Я в том уверен,— отвечал поэт.

И точно по волшебству в эту самую минуту перед ними предстал Давид. Однако что же случилось? Давид находился в довольно затруднительном положении: жена положительно запрещала не только видеться с Люсьеном, но и открыть ему тайну убежища, а между тем Люсьен писал Давиду самые сердечные письма и уверял, что в ближайшие дни он исправит сделанное им зло. Затем мадемуазель Клерже, объяснив ему причины этого лико-

вания, отзвук которого доносился до него, передала кстати два письма:

«Друг мой, поступай так, как если бы Люсьена не было тут; не беспокойся ни о чем и, дорогой мой, крепко помни: наша безопасность всецело зависит от надежности твоего убежища. Таково мое несчастье, что я более доверяю Кольбу, Марион, Базине, нежели брату. Увы! Мой бедный Люсьен уже не тот чистый и нежный поэт, каким мы его знали. Именно потому, что он желает вмешаться в твои дела и самонадеянно берется уплатить наши долги (из тщеславия, Давид!..), я и опасаюсь его. Ему прислали из Парижа щегольские костюмы и пять золотых в прелестном кошельке. Он предоставил кошелек в мое распоряжение, и мы живем на эти деньги. Одним врагом у нас стало меньше: твой отец уехал от нас, и этим мы обязаны Пти-Кло, который разгадал злой умысел папаши Сешара и тут же пресек все его козни, заявив ему, что впредь ты без него предпринимать ничего не будешь и что он, Пти-Кло, не позволит тебе переуступить твое изобретение, покуда ты не получишь вознаграждение в тридцать тысяч франков: пятнадцать тысяч для уплаты долга и еще пятнадцать тысяч независимо от того, что тебя ожидает — успех или неудача. Пти-Кло для меня непостижим. Обнимаю тебя, как может обнять только жена несчастного своего мужа. Наш маленький Люсьен здоров. Какая прелесть этот цветок, что расцветает и растет среди наших домашних бурь! Матушка, как всегда, молит бога и почти так же нежно, как и я, целует тебя.

Твоя *Ева*».

Пти-Кло и братья Куэнте, опасаясь крестьянской хитрости старого Сешара, как видно из письма, отделались от него тем легче, что настало время сбора винограда и старику надо было возвращаться в Марсак к своим виноградникам.

Письмо Люсьена, вложенное в письмо Евы, было такого содержания:

«Дорогой Давид, все идет отлично. Я вооружен с головы до ног; сегодня выступаю в поход и в два дня про-

двинусь далеко вперед. С какой радостью я обниму тебя, когда ты будешь на свободе и развяжешься с моими долгами! Но я смертельно оскорблен недоверием, которое все еще выказывают мне сестра и мать. Неужто я не знаю, что ты скрываешься у Базины? Всякий раз, как Базина приходит к нам в дом, я узнаю новости о тебе и получаю ответ на мои письма. Притом совершенно очевидно, что сестра могла довериться только своей подруге по мастерской. Сегодня я провожу вечер поблизости от тебя и жестоко скорблю, что не в моей власти привлечь тебя на празднество, которое устраивают в мою честь. Тщеславию ангулемцев я обязан скромным торжеством, о котором все скоро забудут, и только ты один искренне порадовался бы за меня. Но обожди еще несколько дней, и ты все простишь тому, кто превыше всей славы мира дорожит счастьем быть твоим братом.

Люсьен».

В сердце Давида шла борьба двух чувств хотя и не равных по силе, ибо он боготворил жену, а его дружба к Люсьену, с утратой уважения к нему, несколько утратила свою былую пылкость. Но в уединении все впечатления усиливаются Человек одинокий, терзаемый заботами, подобными тем, какими мучился Давид, уступает мыслям, против которых он нашел бы точку опоры в обычных условиях жизни. Итак, Давид испытывал глубокое волнение, когда под звуки фанфар нечаянного торжества он читал письмо Люсьена, исполненное изъявлений раскаяния, столь им жданного. Нежные души не способны противостоять этим жалким излияниям, ибо прилагают к ним меру своих чувств. Не капля ли воды переполняет чашу?.. Итак, около полуночи никакие мольбы Базины уже не могли удержать Давида от встречи с Люсьеном.

— В такой поздний час,— сказал он ей,— ангулемские улицы пусты, никто меня не увидит, и ночью меня не могут арестовать; ну, а если я кого-нибудь встречу, я воспользуюсь маневром, придуманным Кольбом, чтобы опять воротиться в свое заточение. Притом я так тоскую по жене и ребенку.

Базина уступила этим довольно убедительным до-

водам и позволила Давиду выйти из дому как раз в ту минуту, когда Люсьен прощался с Пти-Кло.

— Люсьен! — вскричал Давид, и братья в слезах бросились друг другу в объятия.

Не так часто в жизни выпадают подобные минуты. Люсьен был взволнован порывом этой чистой дружбы, с которой зачастую не считаются, но которую обманывать преступно, Давид испытывал потребность все простить. Этот великодушный и благородный изобретатель главным образом хотел пожурить Люсьена и разогнать облака, омрачавшие любовь сестры и брата. Перед этими требованиями сердца меркли все опасности, порожденные нуждою в деньгах.

Пти-Кло сказал своему клиенту:

— Ступайте-ка скорее домой, воспользуйтесь по крайней мере своей неосторожностью, поцелуйте жену и ребенка!.. И остерегайтесь, как бы кто вас не увидел!

«Фу ты, какая неудача! — сказал про себя Пти-Кло, оставшись в одиночестве на площади Мюрье.— Ну, будь бы тут Серизе!..»

В то время как стряпчий рассуждал с самим собою, идя вдоль дощатого забора, ограждавшего пустырь, где теперь горделиво высится здание суда, послышались легкие удары по дереву, точно кто-то стучал пальцем в дверь.

— Я тут,— сказал Серизе, выглядывая в широкую щель между двумя неплотно сколоченными досками.— Я видел, как Давид вышел из Умо. Я уже раньше догадывался, где он скрывается, а теперь знаю это наверное и скажу, как его изловить; но, чтобы ловчее раскинуть сети, мне надо знать кое-что из замысла Люсьена, а вы вот дали им уйти! По крайней мере обождите их тут под каким-нибудь предлогом. Когда Давид и Люсьен выйдут, постарайтесь направить их в мою сторону; они вообразят, что никого поблизости нет, и я услышу, что они скажут друг другу на прощание.

— Ты сам сатана! — прошептал Пти-Кло.

— Черт возьми! — вскричал Серизе.— Чего не сделаешь ради того, что вы мне посулили!

Пти-Кло отошел от забора и стал прохаживаться по площади Мюрье, поглядывая на окна комнаты, где собралась вся семья, и, чтобы придать себе мужества, раз-

мышлял о своей будущности, ибо ловкость Серизе позволяла ему нанести последний удар. Пти-Кло был из породы изворотливых и двуличных людей, которых не поймаешь ни на какую приманку, ни на удочку какой-нибудь привязанности, ибо они изучили непостоянство человеческого сердца и стратегию личных интересов. Вот почему сначала Пти-Кло мало рассчитывал на Куэнте. В случае, если бы его женитьба не состоялась и у него не было бы основания обвинить Куэнте-большого в вероломстве, он обеспечил себе возможность всячески донимать его; но после своих успехов в особняке де Баржетонов Пти-Кло играл в открытую. Тайные козни стали уже бесполезны и даже вредны для той политической карьеры, к которой он стремился. Однако на чем же он основывал свое будущее влияние? Ганнерак и некоторые крупные купцы образовали в Умо либеральный комитет, связанный торговыми отношениями с главарями оппозиции. Образование министерства Виллеля, допущенное Людовиком XVIII незадолго до его смерти, послужило поводом для изменения тактики оппозиции, которая после смерти Наполеона отказалась от столь опасного средства, как заговор. Либеральная партия создала в глуши провинций систему легального сопротивления: она стремилась одержать верх на выборах и добиться своей цели путем воздействия на массы. Уроженец Умо и ярый либерал, Пти-Кло был зачинщиком, душой и тайным советником оппозиции нижнего города, унижаемого аристократией верхнего города. Он первый обратил внимание на опасность засилья Куэнте в печати департамента Шаранты, где оппозиции надобно было иметь свой орган печати, чтобы не оказаться позади других городов.

— Пусть каждый из нас внесет по пятьсот франков Ганнераку, и вот вам двадцать с лишним тысяч франков на покупку типографии Сешара. Хозяевами будем мы, а официальным владельцем сделаем подставное лицо.

Стряпчему удалось внушить эту мысль местным либералам и тем самым укрепить свое двойственное положение как в отношении Куэнте, так и в отношении Сешара, и при выборе подставного лица, преданного партии либералов, он, естественно, остановил свое внимание на шельме такого разбора, как Серизе.

— Если ты обнаружишь, где прячется твой прежний хозяин, и выдашь его мне,— сказал он бывшему фактору Сешара,— тебе дадут ссуду в двадцать тысяч франков на покупку сешаровской типографии, и возможно, ты станешь во главе газеты. Итак, действуй!

Уверенный в расторопности такого человека, как Серизе, более, нежели в расторопности всех Дублонов мира, Пти-Кло обещал Куэнте-большому арестовать Сешара. Но с той поры как Пти-Кло стал ласкать себя надеждой проникнуть в прокуратуру, необходимость отвернуться от либералов становилась для него очевидной; однако ж деньги, нужные для приобретения типографии, были собраны,— настолько удалось ему поднять дух предместья Умо! Пти-Кло решил предоставить события их естественному течению.

«Ба! — сказал он самому себе.— Серизе в качестве издателя преступит какой-нибудь закон о печати, и я воспользуюсь случаем блеснуть своими талантами...»

Он подошел к типографии и сказал Кольбу, сторожившему у двери:

— Ступай-ка напомни Давиду, что пора ему возвращаться, и будьте осторожны! Я ухожу, уже час ночи...

Как только Кольб покинул свой пост, Марион заняла его место. Люсьен и Давид вышли из дома; Кольб шел в ста шагах впереди них, а Марион в ста шагах позади. Когда братья проходили мимо дощатого забора, Люсьен с горячностью высказывал свои соображения Давиду.

— Друг мой,— говорил он ему,— мой замысел чрезвычайно прост, но как было об этом говорить при Еве? Она никогда не поймет моей тактики. Я уверен, что Луиза в глубине сердца таит влечение ко мне, и я хочу пробудить в ней былое чувство хотя бы для того, чтобы отомстить этому болвану префекту. Если любовь соединит нас хотя бы на неделю, я заставлю Луизу выхлопотать для тебя в министерстве поощрение в двадцать тысяч франков. Завтра я встречусь с этой женщиной в том самом будуаре, где началась наша любовная канитель и где, со слов Пти-Кло, все осталось по-прежнему: я разыграю там комедию. Стало быть, послезавтра утром я извещу тебя через Базину коротенькой запиской. Как знать, не буду ли я освистан?.. А возможно, ты получишь свободу... Теперь-то ты понимаешь, на что мне понадобился

парижский фрак? Пристало ли играть роль первого любовника в каких-то отрепьях?..

В шесть часов утра Серизе явился к Пти-Кло.

— Завтра в полдень Дублон должен быть наготове; он изловит нашего молодца, могу поручиться,— сказал парижанин.— Одна из мастериц, мадемуазель Клерже, расположена ко мне. Поняли, а?

Выслушав Серизе, Пти-Кло помчался к Куэнте.

— Добейтесь, чтобы нынче же вечером господин дю Отуа согласился передать Франсуазе право собственности на имение без права пользования доходами от него, и через два дня вы заключите товарищеский договор с Сешаром. Я женюсь лишь через неделю после подписания брачного договора. Итак, мы выполним все условия нашего соглашеньица: услуга за услугу. Но будем зорко следить за тем, что будет происходить нынче вечером у госпожи де Сенонш между Люсьеном и графиней дю Шатле, в этом вся суть... Ежели Люсьен рассчитывает на помощь госпожи Шатле, Давид в моих руках!

— Быть вам министром юстиции, поверьте мне,— сказал Куэнте.

— А почему бы нет? Господин де Пейронне стал же министром,— сказал Пти-Кло, еще не вполне сбросивший с себя шкуру либерала.

Сомнительное положение мадемуазель де Ляэ послужило причиной тому, что при подписании ее брачного договора присутствовала большая часть ангулемского дворянства. Бедность будущей четы, отсутствие свадебной корзины с дарами жениха — все это возбуждало общее сочувствие, которое свет так любит выказывать, ибо, как в делах благотворительности, так и при торжествах люди прежде всего тешат свое тщеславие. Итак, маркиза де Пимантель, графиня дю Шатле, г-н де Сенонш и двое или трое из завсегдатаев дома сделали Франсуазе кое-какие подарки, о чем много говорили в городе. Эти красивые безделицы в соединении с приданым, которое в течение года готовила Зефирина, драгоценности, подаренные крестным отцом, и традиционные подношения жениха утешали Франсуазу и возбуждали любопытство многих мамаш и дочек. Пти-Кло и Куэнте уже заметили, что ангулемская знать терпит их на своем Олимпе, как печальную необходимость: один из них был управляю-

щим имуществом, вторым опекуном Франсуазы, другой был нужен при подписании брачного договора, как висельник для виселицы. Но если г-жа Пти-Кло сохраняла за собой право посещать крестную мать, то для ее мужа на другой же день после свадьбы доступ в этот дом был бы уже затруднителен; однако он твердо решил заставить этот кичливый свет признать его. Стыдясь своего незнатного происхождения, стряпчий приказал матери не выезжать из Манля, где она жила, и, сказавшись больной, прислать ему письменное согласие на брак. Отсутствие родственников, покровителей и свидетелей с его стороны достаточно стесняло Пти-Кло, и он почел себя счастливым, когда в качестве друга мог представить знаменитого человека, которого к тому же желала видеть сама графиня. Поэтому он заехал за Люсьеном в карете. Ради этого достопамятного вечера поэт так разоделся, что, бесспорно, ему было обеспечено превосходство перед всеми прочими мужчинами. Г-жа де Сенонш широко оповестила, что на вечере будет герой дня, а встреча поссорившихся любовников являлась одним из зрелищ, на которые так падка провинция. Люсьен был возведен в звание парижского *льва:* молва гласила, что он так похорошел, так переменился, стал таким щеголем, что все ангулемские аристократки стремились его увидеть. Согласно моде того времени, по милости которой старинные короткие бальные панталоны были заменены безобразными современными брюками, Люсьен явился в черных панталонах в обтяжку. В ту пору мужчины еще подчеркивали свои формы, к великому огорчению людей тощих и дурного сложения, а Люсьен был сложен, как Аполлон. Ажурные серые шелковые чулки, бальные туфли, черный атласный жилет, галстук — все было безупречно и точно бы отлито на нем. Густые и волнистые белокурые волосы оттеняли белизну лба изысканной прелестью разметавшихся кудрей. Гордостью светились его глаза. Перчатки так изящно обтягивали его маленькие руки, что жаль было их снимать. В манере держаться он подражал де Марсе, знаменитому парижскому денди: в одной руке у него была трость и шляпа, с которыми он не расставался, и время от времени он изящным жестом свободной руки подкреплял свои слова. Люсьен желал проскользнуть в гости-

ную, не будучи замеченным, в подражание тем знаменитостям, которые из мнимой скромности готовы нагнуться, проходя под воротами Сен-Дени. Но у Пти-Кло был только один друг, и он злоупотребил его дружбой. Вечер был в полном разгаре, когда он почти торжественно подвел Люсьена к г-же де Сенонш. Проходя по гостиной, поэт слышал вслед себе шепот, от которого у него прежде вскружилась бы голова, а теперь он отнесся к своему успеху холодно: так он был уверен, что он один стóит всего ангулемского Олимпа.

— Сударыня,— сказал Люсьен г-же де Сенонш,— я уже поздравлял моего друга Пти-Кло. Он из той породы людей, из которой выходят министры; он имел счастье стать членом вашей семьи, как бы ни слабы были узы, связующие крестную мать с крестной дочерью (это было сказано насмешливым тоном, отлично понятым всеми дамами, которые прислушивались, однако ж, не показывая вида). Что до меня касается, я благословляю случай, позволивший мне принести вам свои поздравления.

Все это было сказано непринужденно, тоном вельможи, снизошедшего до посещения людей низкого положения. Люсьен выслушивал сбивчивый ответ Зефирины, обводя взглядом гостиную, исследуя позиции, с которых он мог бы показать себя во всем блеске. Итак, весьма учтиво и придавая своей улыбке различные оттенки, он поклонился Франсису дю Стуа и префекту, и те отдали ему поклон; потом он подошел к г-же дю Шатле, сделав вид, что только что ее заметил. Встреча их была столь увлекательным событием, что в тот вечер ангулемская знать буквально забыла о брачном договоре, подписать который их напрасно приглашали и нотариус и Франсуаза, но ведь для этого им надобно было бы покинуть гостиную и удалиться в спальню! Люсьен сделал несколько шагов в сторону Луизы де Негрпелис и с чисто парижским изяществом, о котором ей приходилось теперь только вздыхать, довольно громко сказал:

— Не вам ли, сударыня, я обязан удовольствием получить приглашение на обед в префектуре?..

— Вы обязаны этим, сударь, только своей славе,— сухо отвечала Луиза, несколько задетая вызывающим смыслом этой фразы, сказанной Люсьеном с тем расче-

том, чтобы уязвить гордость своей бывшей покровительницы.

— О графиня! — сказал Люсьен с лукавой и фатовской миной.— Я не осмелился бы навязать вам общество неугодного вам человека.— Не ожидая ответа, он повернулся и, увидев епископа, поклонился ему с большим достоинством.— Ваше преосвященство, вы почти пророк,— сказал он чарующим голосом,— и я постараюсь, чтобы вы оказались настоящим пророком. Я счастлив, что встретил вас тут и могу выразить вам свое уважение.

Люсьен занял епископа беседой, длившейся десять минут. Женщины глядели на Люсьена, как на какое-то чудо. Неожиданная дерзость молодого человека лишила г-жу дю Шатле дара речи. Она видела, что Люсьеном восхищены все женщины, она слышала шушуканье и понимала, что из уст в уста передаются колкие слова, которыми они только что обменялись и которыми Люсьен, с самым презрительным видом, точно бы пригвоздил ее к месту, и сердце ее сжалось от чувства уязвленного самолюбия.

«А что, если, обидевшись, он не придет завтра в префектуру? Какой будет конфуз! — думала она.— Откуда у него столько гордости? Не влюбилась ли в него мадемуазель де Туш?.. Он так хорош! Говорят, она явилась к нему в Париже на другой день после смерти его актрисы!.. А не воротился ли он сюда, чтобы спасти зятя? Быть может, какое-нибудь дорожное приключение вынудило его ехать до Манля на запятках нашей кареты? В то утро Люсьен так загадочно посмотрел на Сикста и на меня».

То был мириад мыслей, и на свое горе Луиза предавалась им, глядя на Люсьена, который беседовал с епископом как властелин этой гостиной; он никому первый не кланялся и ждал, когда к нему подойдут, его рассеянный взгляд блуждал кругом, он владел своим лицом с непринужденностью, достойной его вдохновителя де Марсе. Он не прервал беседы с прелатом даже ради того, чтобы поздороваться с г-ном де Сеноншем, который стоял неподалеку.

Не прошло и десяти минут, а Луиза не могла уже владеть собою. Она встала, подошла к епископу и сказала ему:

— Что такое вам рассказывают, монсеньор? С ваших уст не сходит улыбка.

Люсьен отступил, предоставляя г-же дю Шатле возможность поговорить с прелатом.

— Ах, графиня, как остроумен этот молодой человек!.. Кстати, он признался мне, что всем обязан вам...

— Мне отнюдь не свойственна неблагодарность, сударыня!..— сказал Люсьен, бросая укоризненный взгляд, очаровавший графиню.

— Послушаем, что вы скажете,— отвечала она, движением веера приглашая Люсьена приблизиться.— Пожалуйста, сюда!.. Его преосвященство будет нашим судьею.

И она направилась в будуар, увлекая за собой епископа.

— Нелепую роль навязывает она его высокопреосвященству,— сказала одна из сторонниц Шандуров достаточно громко, чтобы ее услышали.

— Нашим судьею?..— переспросил Люсьен, глядя то на прелата, то на жену префекта.— Но кто же обвиняемый?

Луиза де Негрпелис расположилась на канапе в своем бывшем будуаре. Усадив Люсьена по одну сторону от себя, а епископа по другую, она повела беседу, и тут Люсьен оказал честь своей прежней подруге, удивил ее и обрадовал: он не слушал, что она говорила. Поэт подражал позе и жестам Пасты в «Танкреде», когда она поет: «O patria!» А лицо его пело знаменитую каватину «Del Rizzo». Вдобавок ученик Корали ухитрился уронить слезу.

— Ах, Луиза, как я любил тебя! — сказал он ей на ухо, пренебрегая и прелатом и женскими речами, как только увидал, что графиня заметила его слезы.

— Утрите слезы!.. Неужто вы желаете еще раз погубить меня? — оборотившись в его сторону, тихо сказала она, и ее слова неприятно поразили епископа.

— О довольно и одного раза! — живо возразил Люсьен. (Мольба кузины г-жи д'Эспар осушила бы слезы любой Магдалины.) — Боже мой!.. На мгновение ожили мои воспоминания, мои мечтания, мои двадцать лет, и вы...

Епископ встал и поспешил воротиться в гостиную, понимая, что достоинство его может пострадать в обществе этих былых любовников. Все, будто сговорившись, оберегали уединение жены префекта и Люсьена. Но четверть часа позже Сикст, которому наскучили пересуды и насмешки гостей, толпившихся около дверей будуара, вошел туда более чем озабоченный и увидел, что Люсьен и Луиза оживленно беседуют.

— Сударыня,— сказал Сикст на ухо жене,— вы знаете Ангулем лучше, нежели я, так не следует ли вам позаботиться о репутации супруги префекта и о достоинстве представителя правительства?

— Друг мой,— сказала Луиза, смерив своего цензора таким высокомерным взглядом, что тот вздрогнул,— я говорю с господином де Рюбампре о делах, которые касаются и вас. Речь идет о том, чтобы спасти одного изобретателя, который стоит на краю гибели по милости самых низких происков, и, разумеется, вы окажете нам помощь... Что касается до мнения этих дам, вы можете теперь же убедиться, что я заставлю их держать язык за зубами...

Она вышла из будуара, опираясь на руку Люсьена, и, с высокомерием великосветской дамы бросив вызов обществу, повела его подписывать брачный договор.

— Подпишем вместе, не так ли?..— сказала она, подавая перо Люсьену.

Люсьен предоставил ей указать ему место, где она расписалась, чтобы подписи их стояли рядом.

— Неужто, господин де Сенонш, вы не признали господина де Рюбампре? — спросила графиня, тем самым поставив дерзкого охотника перед необходимостью поклониться Люсьену.

Луиза воротилась с Люсьеном в гостиную и усадила его между собой и Зефириной на роковое канапе посредине комнаты. И, восседая на троне точно королева, вполголоса повела явно язвительный разговор, который поддержали кое-кто из ее прежних друзей и несколько дам, составлявших ее свиту. Вскоре Люсьен стал героем кружка и, подхватив затеянный графинею разговор о Париже, с чрезвычайным воодушевлением тут же сочинил сатиру на парижскую жизнь, пересыпая свои остроты анекдотами по поводу разных знаменитостей, что явилось

настоящим лакомством для провинциалов. Все восхищались умом Люсьена не менее, чем его наружностью. Графиня Сикст дю Шатле так явно торжествовала победу Люсьена, так искусно играла на всех его струнах, как женщина, очарованная своим инструментом, так кстати она подавала ему реплики, так выразительны были ее взгляды, молившие о поощрении очаровательного юноши, что многие дамы уже усматривали в одновременном возвращении Луизы и Люсьена глубокую любовь, ставшую жертвой какого-то обоюдного недоразумения. Как знать, не досада ли послужила причиной ее злосчастного брака с дю Шатле? И не раскаивается ли она теперь в своем опрометчивом поступке?

— Ну, и так,— вполголоса сказала Луиза Люсьену, в час ночи подымаясь с канапе,— увидимся послезавтра; прошу вас, приходите непременно.

Она легким наклонением головы чрезвычайно любезно простилась с Люсьеном и, подойдя к графу Сикcту, искавшему шляпу, сказала ему что-то.

— Если верно то, что мне сейчас сообщила графиня, рассчитывайте на меня, дорогой Люсьен,— сказал префект, кинувшись вслед за женой, которая, как и в Париже, уезжала, не ожидая его.— С нынешнего вечера ваш зять может быть спокоен.

— Долг, как говорят, платежом красен, граф,— отвечал Люсьен, улыбнувшись.

— Гм!.. А нам-таки натянули нос,— сказал Куэнте, свидетель этого прощания, на ухо Пти-Кло.

Пти-Кло, пораженный успехом Люсьена, ошеломленный блеском его ума, изяществом манер, глядел на Франсуазу де Ляэ, восхищенная физиономия которой, казалось, говорила ему: «Ах, если бы вы были похожи на вашего друга!»

Луч радости скользнул по лицу Пти-Кло.

— Но ведь обед у префекта состоится только послезавтра; стало быть, у нас еще целый день впереди,— сказал он,— я отвечаю за все!

— Вот видите, мой милый,— говорил Люсьен, возвращаясь с Пти-Кло в два часа ночи пешком домой,— пришел, увидел, победил! Еще несколько часов, и Сешар будет счастлив.

«Вот все, что мне и требовалось знать»,— подумал

Пти-Кло, а вслух сказал:— Я полагал, что ты только поэт, а ты еще и Лозен! А стало быть, вдвойне поэт.— И они обменялись рукопожатием, которому суждено было стать последним.

— Ева, милая моя! — сказал Люсьен, разбудив сестру.— Добрые вести! Не пройдет и месяца, как Давид освободится от долгов...

— Но как?

— Послушай! Под фалбалами госпожи дю Шатле таится моя прежняя Луиза; она любит меня сильнее, чем прежде; она заставит своего мужа представить доклад в министерство внутренних дел о нашем изобретении! Итак, пострадаем еще какой-нибудь месяц, срок достаточный, чтобы отомстить префекту и сделать его счастливейшим из мужей. (Слушая брата, Ева думала, что все это ей грезится во сне.) Когда я вновь увидел маленькую серую гостиную, где тому два года я трепетал, как ребенок, когда я увидел эту мебель, картины, лица, точно пелена упала с моих глаз! Как меняет Париж наши мнения!

— Неужели в этом счастье? — сказала Ева, поняв наконец брата.

— Ну полно! Ты спишь еще; поговорим утром, после завтрака,— сказал Люсьен.

План Серизе был чрезвычайно прост. Хотя, по существу, то была обычная уловка, к которой прибегают провинциальные судебные приставы при поимке должников и за успех которой нельзя было поручиться, все же она обещала удачу, ибо Серизе отлично знал нрав Люсьена и Давида, а равно и их замыслы. В среде молоденьких мастериц Серизе разыгрывал записного донжуана, властвовал над девушками, сея между ними раздор, и теперь, выступая в роли агента для особых поручений, фактор братьев Куэнте остановил свое внимание на одной из гладильщиц Базины Клерже, по имени Анриетта Синьоль, которая красотою могла поспорить с г-жою Сешар. Родители этой девушки, мелкие виноделы, жили на своей ферме, в двух лье от Ангулема, по дороге в Сент. Синьоли, как все деревенские жители, не настолько были богаты, чтобы оставить при себе единственную дочь, и решились определить ее горничной в какой-нибудь господский дом. В провинции от горничной тре-

буется, чтобы она умела стирать и гладить тонкое белье. Добрая слава г-жи Приер, которой впоследствии наследовала Базина, послужила тому, что Синьоли отдали ей в обучение свою дочь и платили за ее стол и квартиру. Г-жа Приер принадлежала к той породе старых провинциальных хозяек, которые считают себя заместительницами родителей. Она жила с ученицами по-семейному, водила их в церковь и добросовестно надзирала за ними. Анриетта Синьоль, красивая, статная брюнетка, с смелыми глазами, густыми и длинными волосами, отличалась той особенной белизной кожи, присущей дочерям юга, которая сравнима лишь с белизною цветов магнолии. Вполне понятно, что Анриетта первая из всех гризеток привлекла внимание Серизе; но, будучи дочерью *честных землепашцев*, она уступила только под влиянием ревности, дурных примеров и обычного обещания соблазнителей: «Я на тебе женюсь!»,— что не преминул сказать и Серизе, как только стал младшим фактором у братьев Куэнте. Узнав, что Синьоли владеют виноградниками стоимостью в десять — двенадцать тысяч франков и что у них имеется довольно приличный домик, парижанин поторопился лишить Анриетту возможности выйти замуж за другого. Таковы были любовные дела красавицы Анриетты и юного Серизе, когда Пти-Кло предложил ему стать владельцем типографии Сешара и посулил нечто вроде товарищества на вере с фондом в двадцать тысяч франков, которое должно было послужить уздою для Серизе. Такая будущность ослепила фактора, вскружила ему голову, девица Синьоль представилась ему помехой в его честолюбивых замыслах, и он стал выказывать пренебрежение к бедной девушке. Анриетта в отчаянии все больше привязывалась к юному фактору братьев Куэнте, который, казалось, готов был ее бросить. Обнаружив, что Давид скрывается у мадемуазель Клерже, парижанин переменил свое мнение об Анриетте, но не переменил поведения, ибо он решил обратить в свою пользу то отчаяние, которое овладевает девушкой, когда у нее не остается иного выхода, как выйти замуж за своего соблазнителя и тем прикрыть свое бесчестие. Утром того дня, когда Люсьену предстояло вновь завоевать Луизу, Серизе открыл Анриетте тайну Базины, намекнув ей, что их благополучие и свадь-

ба зависят от возможности обнаружить убежище Давида. Серизе навел Анриетту на след, и она без труда догадалась, что типограф может скрываться только в туалетной комнате мадемуазель Клерже; она не подозревала ничего дурного в таком шпионстве, но уже самой причастностью к этому делу Серизе вовлек ее в предательство.

Люсьен еще почивал, когда Серизе, явившийся узнать, каковы были последствия вечера, выслушивал в кабинете Пти-Кло отчет о великих событиях, которым предстояло взволновать весь Ангулем.

— А не сохранилось ли у вас какой-нибудь записочки от Люсьена, написанной после его возвращения? — спросил парижанин, покачивая от удовольствия головой, когда Пти-Кло окончил свой рассказ.

— Вот одна-единственная,— сказал стряпчий, подавая ему коротенькое письмо Люсьена, написанное на почтовой бумаге, которой обычно пользовалась Ева.

— Ладно,— сказал Серизе,— пускай-ка Дублон со своими жандармами минут за десять до заката солнца устроит засаду у ворот Пале да расставит повсюду своих молодцов, и Давиду не уйти от нас.

— А ты уверен в удаче *своей* затеи? — спросил Пти-Кло, в упор глядя на Серизе.

— Полагаюсь на случай,— ответил бывший парижский мальчишка,— а случай — отъявленный плут и не любит порядочных людей.

— Надобно добиться успеха,— сухо сказал стряпчий.

— Я-то добьюсь! — воскликнул Серизе.— А вот вы окунули меня в такую грязь, что не мешало бы дать мне несколько банковых билетов, чтобы обтереться... Но, сударь,— продолжал парижанин, уловив на лице стряпчего выражение, не предвещавшее ему ничего доброго,— ежели вы меня обманете, ежели вы в течение недели не купите мне типографии... Знайте, быть вашей жене молодою вдовой,— сказал почти шепотом парижский озорник, метнув в него убийственный взгляд.

— Ежели к шести часам вечера мы посадим Давида в тюрьму, будь к девяти часам у господина Ганнерака, и мы устроим твое дело,— отвечал стряпчий решительно.

— Уговор дороже денег. И удружу же я вам, *хозяин!* — сказал Серизе.

Серизе уже овладел особым искусством вытравлять чернила с бумаги (ныне такие таланты размножились и стали представлять собою угрозу для казны). Он вытравил четыре строчки, написанные Люсьеном, и заменил их другими, подделав его почерк с совершенством, сулившим в будущем мало утешительного.

«Дорогой Давид, ты можешь безбоязненно явиться к префекту, твое дело устроено; выходи немедленно, я пойду тебе навстречу и научу тебя, как тебе следует вести себя с префектом.

Твой брат

Люсьен».

В полдень Люсьен послал Давиду письмо, в котором описывал ему свой успех на вечере, обнадеживал его покровительством префекта, который обещал нынче же представить доклад в министерство по поводу открытия, от которого он в восхищении. В то время как Марион, делая вид, что принесла в стирку белье Люсьена, передавала эту записку мадемуазель Клерже, Серизе, уведомленный Пти-Кло о вероятности такого письма, вызвал мадемуазель Синьоль и пошел с ней прогуляться по берегу Шаранты. Как видно, дело не обошлось без борьбы, и порядочность Анриетты защищалась достаточно упорно, ибо прогулка длилась целых два часа. Тут была поставлена на карту не только жизнь ребенка, но и вся их будущность, счастье, богатство, а то, о чем просил Серизе, казалось сущей безделицей! Впрочем, он остерегался вдаваться в подробности. Однако чрезмерное вознаграждение, обещанное ему за такие пустяки, смущало Анриетту. И все же Серизе принудил свою любовницу принять участие в его замысле. В пять часов вечера Анриетта должна была выйти из дому и, воротившись, сказать мадемуазель Клерже, что ее срочно просит к себе г-жа Сешар. Затем, четверть часа спустя, когда Базина уйдет, она должна взойти наверх, постучаться в туалетную комнату и передать Давиду подложное письмо Люсьена. А в дальнейшем Серизе полагался на случай.

В первый раз в течение года Ева почувствовала, что железные тиски, в которых держала ее нужда, несколько ослабели. У нее зародилась надежда. И она пожелала похвалиться своим братом, показаться рука об руку с че-

ловеком, которого чествовал родной город, обожали женщины и любила гордая графиня дю Шатле! Она принарядилась и вздумала после обеда пройтись с братом по Болье. В этот час в сентябре весь Ангулем выходит туда подышать свежим воздухом.

— О, да это сама красавица Сешар! — послышались возгласы при появлении Евы.

— Право, я никак этого от нее не ожидала,— сказала какая-то женщина.

— Муж прячется, а жена выставляет себя напоказ,— сказала г-жа Постэль достаточно громко, чтобы несчастная женщина услышала.

— О, воротимся скорее! Я напрасно вышла,— сказала Ева своему брату.

За несколько минут до захода солнца со стороны склона, по которому спускаются в Умо, донесся шум, напоминавший гул толпы. Люсьен и его сестра из любопытства пошли в ту сторону, ибо им послышалось, что прохожие из Умо как будто говорили между собой о каком-то преступлении, совершившемся там.

— Видимо, поймали вора... Он бледен, как мертвец,— сказал какой-то прохожий брату и сестре, видя, что они спешат навстречу все нараставшей толпе.

Ни Люсьен, ни Ева не чувствовали ни малейшего опасения. Навстречу им шли ребятишки, старухи и мастеровые, возвращавшиеся с работы, всего их было человек тридцать, и среди темной массы провожатых поблескивали обшитые позументом шляпы жандармов. А позади их, точно грозовая туча, надвигалась толпа человек в сто.

— О боже,— промолвила Ева,— ведь это мой муж!

— Давид! — вскричал Люсьен.

— Это его жена! — послышались голоса, и толпа расступилась.

— Что побудило тебя выйти? — спросил Люсьен.

— Твое письмо,— отвечал бледный и растерянный Давид.

— Я была в том уверена! — сказала Ева и упала как подкошенная.

Люсьен поднял сестру, двое прохожих помогли отнести ее домой, а Марион уложила ее в постель. Кольб бросился за доктором. Когда пришел врач, Ева все еще

была без сознания. Люсьен вынужден был признаться матери, что он является виновником ареста Давида, ибо ему и в голову не могло прийти, что причиной несчастья было подложное письмо.

Во взгляде матери Люсьен прочел проклятие, сразившее его; он взошел к себе наверх и заперся в комнате.

Ночью, поминутно впадая в раздумье, то бросая, то вновь хватаясь за перо, Люсьен написал письмо, и, читая его, каждый мог бы почувствовать в этих отрывистых фразах всю глубину взволнованности Люсьена.

«Возлюбленная сестра, мы нынче виделись с тобою в последний раз. Мое решение бесповоротно. И вот почему; во многих семьях бывают роковые существа: они, как болезнь, губят своих близких. Таким существом для вас являюсь я. Наблюдение это сделано не мною, а человеком, много видевшим на своем веку. Однажды мы ужинали дружеской компанией в «Роше де Канкаль». Как водится, шуткам не было конца; и вот один дипломат в ходе беседы заметил, что такая-то молодая особа, которая, к общему удивлению, осталась в девицах, была «больна своим отцом». И тут он развил нам свою теорию семейных болезней. Он показал нам, как процветала бы такая-то семья, если бы у нее была иная мать, как в другой семье сын разорил отца, а там отец погубил будущность и доброе имя своих детей. Хотя он доказывал бесспорность этого общественного явления в шутливой форме, все же в какие-нибудь десять минут он привел столько примеров, подкрепляющих его слова, что я был поражен. Истина эта стоила всех пустых, хотя и остроумно построенных парадоксов, которыми забавляются в приятельском кругу журналисты, когда им некого забавы ради вводить в заблуждение. Так вот, в нашей семье такое роковое существо — я! Сердце мое исполнено нежности, а поступаю я, точно враг. За вашу самоотверженную любовь ко мне я платил злом. Последний удар, хотя и нанесенный мною невольно, оказался самым жестоким. В то время как в Париже я вел недостойную жизнь, полную наслаждений и невзгод, принимал приятельские отношения за дружбу, пренебрегал истинными друзьями ради людей, которые желали и должны были обращать мои таланты в свою пользу, не думал

о вас или вспоминал только ради того, чтобы причинить вам зло, вы шли скромной тропою труда, приближаясь медленно, но верно к той фортуне, за которой я так безрассудно гнался. Покамест вы совершенствовались, я вносил в свою жизнь зачатки гибели. Да, честолюбие мое чрезмерно, и оно мешает мне мириться с более скромной участью. У меня есть наклонности и влечения, воспоминание о которых отравляет доступные мне радости,— а как прежде они удовлетворяли меня! О моя милая Ева, я сужу себя строже, нежели кто-либо, ибо осуждаю себя безоговорочно и беспощадно. Борьба в Париже требует постоянного напряжения, а моя воля проявляется только порывами: у меня лихорадка мозга. Будущее пугает меня настолько, что я не желаю никакого будущего, а настоящее невыносимо. Я желал бы повидаться с вами, но лучше бы мне покинуть родину навсегда. Однако уехать, не имея средств к существованию,— сущее безумие, а я и так натворил достаточно безумств. Смерть кажется мне желаннее, нежели ущербленная жизнь, и, в каком бы положении я ни очутился, мое чрезмерное тщеславие обречет меня на безрассудства. Иные люди равны нулю: надобно приставить к ним единицу, и тогда их ничтожество обретает десятикратную ценность. Я могу обрести какую-то ценность только в сочетании с женщиной сильной, непреклонной воли. Госпожа де Баржетон, вот кто был бы мне подходящей женой, но я испортил свою жизнь, не расставшись ради нее с Корали. Давид и ты могли бы быть для меня превосходными кормчими, но вы недостаточно сильны, чтобы преодолеть мою слабость, как-то ускользающую от повиновения. Я люблю легкую, безмятежную жизнь и, желая избежать неприятностей, способен на малодушие, которое может завести меня чересчур далеко. Я рожден принцем. У меня больше живости ума, нежели то требуется для успеха, но блеск его мимолетен, а победа на ристалище, где состязается столько честолюбий, дается тому, кто тратит в меру свои силы и у кого на исходе дня их остается еще немалый запас. Я способен причинить зло, как только что причинил его, движимый самыми лучшими намерениями. Есть люди — дубы, я же, пожалуй, всего лишь изящное деревцо, а притязаю стать кедром. Вот мой баланс и подведен. Этот разлад между

возможностями и желаниями, это отсутствие равновесия всегда будет сводить на нет мои усилия. Такие натуры часто встречаются среди образованных людей, и причина тому кроется в вечном несоответствии между умом и характером, между волей и страстями. Какая ждет меня судьба? Мне нетрудно ее предугадать, стоит только вспомнить кое-кого из старых парижских знаменитостей, забытых уже на моей памяти. На пороге старости я буду дряхлее своего возраста, без средств, без имени. Все мое существо восстает против такой старости: я не хочу оказаться отребьем общества. Дорогая сестра, за твою теперешнюю суровость я обожаю тебя не меньше, чем за твою былую нежность! Пусть мы дорого заплатили за радость, которую мне доставила встреча с тобою и Давидом, но позднее,— как знать? — не скажете ли вы, что никакая расплата не была чрезмерной, если этой ценою куплены последние счастливые минуты несчастного, который так вас любил!.. Не разыскивайте меня, не допытывайтесь, что сталось со мною: мой разум да послужит мне, чтобы привести в исполнение мою волю. Самоотречение, мой ангел, это воистину каждодневное самоубийство! А у меня решимости достает только на один день, и нынче я хочу этим воспользоваться...

Два часа ночи.

Да, я твердо решил. Итак, прощай навеки, моя любимая Ева. Я испытываю некоторое утешение при мысли, что отныне буду жить только в ваших сердцах. Там будет моя могила... Иной я не хочу. Еще раз прощай!.. Это последнее прости твоего брата.

Люсьен».

Написав письмо, Люсьен бесшумно сошел вниз, положил его в колыбель своего племянника, обливаясь слезами, поцеловал в последний раз спящую сестру в лоб и вышел. Он потушил свечу и в полутьме, бросив прощальный взгляд на старый дом, потихоньку отворил дверь в сени; но, несмотря на предосторожности, он все же разбудил Кольба, который спал на тюфяке, разостланном на полу в мастерской.

— *Кто пошель?!* — вскричал Кольб.

— Это я,— сказал Люсьен,— я ухожу, Кольб.

— *Вам лючше би никокта не пояфлятся тут,*— проворчал Кольб, но настолько громко, что Люсьен слышал.

— Мне лучше бы вовсе не появляться на свет,— отвечал Люсьен.— Прощай, Кольб, я не сержусь на тебя, я и сам так думаю. Скажи Давиду: и умирая, я буду сожалеть о том, что не обнял его на прощанье.

Пока эльзасец вставал и одевался, Люсьен, затворив за собою наружную дверь, уже шагал по бульвару Больe, спускаясь к Шаранте, разодетый, точно на празднество, ибо он желал, чтобы саваном ему послужили парижские одежды и щегольские принадлежности денди. Кольб, пораженный тоном и смыслом последних слов Люсьена, хотел было спросить у хозяйки, знает ли она о том, что ее брат ушел из дому, и попрощалась ли она с ним; но дом был погружен в сон, и Кольб рассудил, что уход Люсьена, без сомнения, был решен заранее; на том Кольб успокоился и опять лег спать.

О самоубийстве, при всей важности этой темы, написано чрезвычайно мало; явление это еще не исследовано. Возможно, оно и не поддается наблюдению. Самоубийство есть следствие чувства, которое мы назовем, ежели вам угодно, *самоуважением,* чтобы не смешивать его с понятием честь. В тот день, когда человек проникнется презрением к себе, в тот день, когда он увидит, что он презираем всеми, в тот час, когда действительность вступает в противоречие с его надеждами, он убивает себя и тем самым отдает дань уважения обществу, не желая предстать перед лицом его лишенным своих добродетелей или своего великолепия. Что бы там ни говорили, но среди атеистов (речь идет не о христианах) только трусы мирятся с обесчещенной жизнью. Есть три вида самоубийства: прежде всего самоубийство как последний приступ длительного недуга, и оно, конечно, относится к области патологии; затем самоубийство с отчаяния, наконец самоубийство по доводам рассудка. Люсьен желал лишить себя жизни с отчаяния и по доводам рассудка — два вида самоубийства, предотвратить которые возможно, ибо неотвратимо только самоубийство на почве патологии; но часто все три причины соединяются, как то было у Жан-Жака Руссо. Раз решение было принято, Люсьен стал обдумывать способы его осуществления и, будучи поэтом, пожелал покончить

с собой поэтически. Сперва он думал попросту броситься в Шаранту, но теперь, спускаясь в последний раз по откосу Болье, он живо представил себе, какой шум произведет его самоубийство, какое ужасное зрелище будет являть его обезображенное тело, когда оно всплывет на поверхность реки и станет предметом судебного следствия; и в нем заговорило, как это случается с иными самоубийцами, так сказать, посмертное самолюбие. В тот день, который он провел на мельнице у Куртуа, бродя по берегу реки, ему случилось приметить неподалеку от мельницы заводь, какие встречаются на небольших речках и о коварной глубине которых свидетельствует их чрезвычайно спокойная гладь. Вода там уже не зеленая, не голубая, не прозрачная, не мутная: она точно зеркало из полированной стали. Края этой чаши не окаймляли ни голубые ирисы, ни шпажник, ни широкие листья кувшинок, прибрежная трава была густая и невысокая, кругом довольно живописно раскинулись плакучие ивы. Не мудрено было догадаться о глубине этой водной бездны. Тот, у кого достало бы мужества наполнить себе карманы камнями, нашел бы тут верную смерть, и тело его никогда бы не отыскали. «Вот уголок, где так и тянет утопиться»,— сказал тогда про себя поэт, восхищаясь очаровательным пейзажем.

Все это припомнилось ему, когда он подходил к Умо. И он пошел по дороге в Марсак, погруженный в предсмертные мрачные мысли, решив унести с собой тайну своей смерти, уберечь свое тело от судебного следствия, от погребения, не допустить, чтобы оно явило собою страшное зрелище утопленника, всплывшего на поверхность воды. Вскоре он оказался у подножия одного из тех холмов, которые так часто попадаются на французских дорогах, и особенно между Ангулемом и Пуатье. Дилижанс, направлявшийся из Бордо в Париж, быстро приближался; путешественники, конечно, пожелают пройти пешком длинный подъем в гору. Люсьен, желая избегнуть нечаянной встречи, свернул на боковую тропинку и стал собирать цветы в винограднике. Когда он опять вышел на дорогу, держа в руках большой букет *sedum*, желтых цветов, что растут между камней в виноградниках, впереди себя он увидел путешественника, одетого в черное, с напудренными волосами, в башмаках из ор-

леанской кожи с серебряными пряжками; он был смугл лицом и обезображен шрамами, точно был обожжен в детстве. Путешественник, манеры которого явно изобличали особу духовного звания, шел медленно и курил сигару. Когда Люсьен выпрыгнул из виноградника на дорогу, незнакомец оборотился на шум; казалось, его поразила печальная красота поэта, его символический букет и элегантная одежда. Путешественник напоминал охотника, напавшего на дичь, за которой он очень долго и тщетно охотился. Выражаясь языком моряков, он подпустил к себе Люсьена и замедлил шаг, как бы всматриваясь вдаль. Следуя его взгляду, Люсьен заметил подымавшуюся в гору коляску, запряженную парой лошадей, и кучера, шедшего рядом с экипажем.

— Вы отстали от дилижанса, сударь! Вы упустите ваше место в нем, ежели не соблаговолите сесть в мою коляску, чтобы его нагнать, ибо на почтовых мы его опередим, — сказал путешественник Люсьену с явно испанским акцентом и тоном чрезвычайно учтивым.

Не ожидая ответа, испанец вынул из кармана сигарочницу и, открыв ее, предложил Люсьену закурить.

— Я не путешественник,— отвечал Люсьен,— и я чересчур близок к концу моего пути, чтобы наслаждаться сигарой.

— Вы чересчур суровы к себе,— возразил испанец.— Хотя я и почетный каноник Толедского собора, а все же позволяю себе время от времени выкурить сигару. Господь даровал нам табак для усыпления наших страстей и страданий... Вы, как мне кажется, удручены горем, по крайней мере вы держите в руках его эмблему, как опечаленный бог Гименей. Закурите!.. Все ваши горести рассеются вместе с дымом...

И священник, как некий искуситель, опять протянул Люсьену соломенную сигарочницу, с состраданием глядя на него.

— Простите, отец мой,— сухо отвечал Люсьен,— нет таких сигар, которые могли бы рассеять мое горе...

При этих словах на глазах у Люсьена выступили слезы.

— Ах, молодой человек, как знать, не божественное ли провидение побудило меня пройтись пешком, разогнать дремоту, овладевающую поутру путешественником,

ради того лишь, чтобы я, утешив вас, исполнил свое земное призвание?.. Какие же горести постигли вас в столь юном возрасте?

— Тщетны ваши утешения, отец мой: вы — испанец, я — француз; вы веруете в священное писание, а я безбожник.

— Santa Virgen del Pilar!..[1] Вы безбожник! — вскричал священник, с материнской заботливостью взяв Люсьена под руку.— Вот любопытное явление, которое я решил изучить в Париже! В Испании мы не верим в существование безбожников... Только во Франции юноша в девятнадцать лет может исповедовать подобные убеждения.

— О, я настоящий безбожник! Я не верю ни в бога, ни в общество, ни в счастье. Хорошенько вглядитесь в меня, отец мой! Еще час-другой — и меня не станет... Вот мой последний восход солнца!..— не без напыщенности сказал Люсьен, указывая на небо.

— Полноте! Что натворили вы такого, чтобы желать умереть? Кто вас приговорил к смерти?

— Высший суд! Я сам!

— Дитя! — вскричал священник.— Вы убили кого-нибудь? Вас ожидает эшафот? Надобно все взвесить! Ежели вам угодно, по вашим словам, воротиться в небытие, для вас, стало быть, тут, на земле, все стало безразличным? (Люсьен наклонил голову в знак согласия.) Ну, что ж! Тогда вы можете поведать мне свои горести, не так ли?.. Все дело, видно, в каких-нибудь любовных неудачах?.. (Люсьен весьма выразительно повел плечами.) Вы желаете убить себя, чтобы избежать позора, или вы отчаялись в жизни? Ну, а коли так, то вы столь же успешно можете покончить с собою в Пуатье, как и в Ангулеме, в Туре, как и в Пуатье. Зыбучие пески Луары не возвращают своих жертв...

— Нет, отец мой,— отвечал Люсьен,— мое решение бесповоротно. Тому недели три довелось мне увидеть очаровательнейшую пристань, откуда может отплыть в иной мир человек, пресыщенный этим миром...

— В иной мир? Ну, какой же вы безбожник?

---

[1] Пресвятая дева Пиларская *(исп.)*.

— Ах! Под иным миром я разумею свое будущее превращение в животное или растение...

— Вы неизлечимо больны?

— Да, отец мой...

— А-а! Вот мы и договорились! — сказал священник.— Что же это за болезнь?

— Бедность.

Священник, улыбаясь, посмотрел на Люсьена и чрезвычайно любезно, с усмешкой почти иронической сказал ему:

— Алмаз не знает себе цены.

— Только священник способен льстить несчастному, готовому умереть!..— вскричал Люсьен.

— Вы не умрете,— властно сказал испанец.

— Мне доводилось слышать,— возразил Люсьен,— что на большой дороге людей грабят, но что их там обогащают, этого я не знал.

— Так узнаете,— сказал священник, убедившись, что расстояние, отделявшее их от экипажа, позволяет пройти еще несколько шагов наедине.— Послушайте меня,— сказал он, пожевывая сигару,— бедность — еще недостаточная причина для самоубийства. Я нуждаюсь в секретаре. Прежний мой секретарь недавно умер в Барселоне. Я оказался в том же положении, что и барон Герц, знаменитый министр Карла Двенадцатого, который по дороге в Швецию, как я по пути в Париж, очутился в маленьком городке без секретаря. Барон встречает там сына золотых дел мастера, юношу, примечательного своей красотой, бесспорно уступавшей вашей... Барон Герц находит, что молодой человек умен, как и я нахожу, глядя на ваш лоб, что вы поэт, он сажает его в свою карету, как я посажу вас в свою; и этого юношу, обреченного полировать серебряные приборы и шлифовать драгоценные камни в маленьком провинциальном городе вроде Ангулема, он делает своим фаворитом, как я сделаю вас своим. По приезде в Стокгольм он устраивает своего секретаря в министерстве и нагружает его работой. Юный секретарь ночи напролет корпит над бумагами и, как все великие труженики, усваивает дурную привычку: он начинает жевать бумагу. А вот покойный господин де Мальзерб любил подымить свернутой в трубку бумажкой и, замечу в скобках, однажды учинил такой камуфлет с одним чело-

веком, исход дела которого зависел от его доклада: он пустил дым прямо ему в лицо!.. Наш юный красавец начал с чистой бумаги, но вскоре утратил к ней вкус и пристрастился к исписанной, как к более тонкому лакомству. Тогда еще не курили, как нынче. И вот юный секретарь, постепенно входя во вкус, начинает жевать и есть пергамент. В то время Россия и Швеция вели переговоры о мирном договоре, который сейм навязывал Карлу XII, как в 1814 году хотели принудить Наполеона вести переговоры о мире. Основой переговоров было соглашение, подписанное обеими державами касательно Финляндии. Герц доверил хранение подлинника своему секретарю, но когда потребовалось представить документ в сейм, встретилось небольшое затруднение: договор исчез. Сейм решает, что министр, потворствуя страстям короля, дерзнул уничтожить документ; против барона Герца возбуждают дело; тогда его секретарь сознается, что он съел договор... Начинается судебное следствие, преступление доказано, секретарь приговорен к смерти. Но вы еще до этого не дошли... Закурите-ка сигару в ожидании нашей коляски...

Люсьен взял у священника сигару и, прикуривая от его сигары, как это принято в Испании, сказал про себя: «Он прав, я всегда успею покончить с собою».

— Часто случается, — продолжал испанец, — что в ту минуту, когда молодой человек окончательно теряет надежду на лучшее будущее, тут-то и приходит счастье. Именно это я и хотел сказать вам, но предпочел доказательство на примере. Положение красавца секретаря, присужденного к смерти, было тем более отчаянное, что шведский король не мог его помиловать, ибо приговор был вынесен сеймом; но король закрыл глаза на его побег. Прекрасный секретарь спасается в лодке с несколькими золотыми в кармане и является ко двору герцога Курляндского с рекомендательным письмом Герца, в котором шведский министр описывает злоключения своего любимца и его роковое пристрастие. Герцог устраивает прекрасного отрока в качестве секретаря к своему управляющему. Герцог был расточителен, у него была красивая жена и управляющий — три причины, достаточные для разорения. Ежели вы думаете, что красавец, присужденный к смерти за съеденное им соглашение, касаю-

щееся Финляндии, поборол свой извращенный вкус, вы, стало быть, не знаете всей власти порока над человеком: когда речь идет о наслаждении, не устрашит и смертная казнь! Откуда исходит это могущество порока? Проистекает ли оно из его собственной мощи, или исходит из немощи человеческой? Неужто есть склонности, граничащие с безумием? Радетели нравственности пытаются побороть подобные болезни красивыми фразами!.. Они вызывают у меня только смех. Однажды герцог, испуганный отказом управляющего выдать нужную ему сумму, потребовал у того отчет. Что за глупость! Нет ничего легче, как составить отчет; трудность не в этом. Управляющий передал все счета секретарю для составления отчета по цивильному листу герцога Курляндского. Ночью во время работы, которая уже близилась к концу, наш бумагоед замечает, что жует расписку герцога, выданную на значительную сумму, его охватывает страх: подпись им съедена наполовину! Он бежит к герцогине, бросается к ее ногам, признается ей в своем пороке, умоляет свою повелительницу о заступничестве. Красота молодого чиновника производит столь сильное впечатление на эту женщину, что, овдовев, она выходит за него замуж. Итак, в середине восемнадцатого века в стране, где царит геральдика, сын золотых дел мастера становится владетельным герцогом... Но это еще что! Он был регентом по смерти Екатерины Первой, правил государством при императрице Анне, стремился стать российским Ришелье. Так вот, молодой человек, знайте: вы красивее Бирона, а я, простой каноник, могущественнее барона Герца. Итак, садитесь! В Париже мы добудем для вас курляндское герцогство, ну, а если не герцогство, то уж во всяком случае герцогиню.

Испанец взял Люсьена под руку, буквально силою посадил его в карету, и возница захлопнул дверцу.

— Теперь рассказывайте, я слушаю вас,— сказал толедский каноник Люсьену, который прийти в себя не мог от удивления.— Я старик, притом священник, вы вполне можете мне довериться. Ну, конечно, вы проели отцовское именье или маменькины денежки, не более... И, как водится, войдя в долги, почти неоплатные, потеряли голову... Помилуйте: долги чести! А мы пропитаны этими понятиями о чести до самого кончика наших изящных

сапожек... Разве не так? Ну, исповедуйтесь же смелее, говорите, как если бы вы говорили с самим собою.

Люсьен оказался в положении рыбака, не скажу точно, из какой арабской сказки, который, решив утопиться в океане, попадает в подводное царство и там становится царем. Участие испанского священника казалось столь искренним, что поэт, не колеблясь, открыл ему душу. Итак, в пути от Ангулема до Рюфека он рассказал ему всю свою жизнь, не утаив ни единого прегрешения, вплоть до последнего несчастья, которого он был причиною. В то время, когда он кончал свою повесть, изложенную тем поэтичнее, что за последние две недели Люсьен повторял ее уже в третий раз, они проезжали мимо тех мест, где близ дороги, неподалеку от Рюфека, находилось родовое поместье Растиньяков. Когда Люсьен впервые произнес это имя, испанец встрепенулся.

— Вот,— сказал Люсьен,— откуда происходит молодой Растиньяк. Право, он не стоит меня, но он более удачлив.

— А-а!

— Да, эта захудалая дворянская усадьба принадлежит его отцу. Растиньяк, как я уже говорил вам, стал любовником госпожи Нусинген, жены знаменитого банкира. Я увлекся поэзией; он оказался более положительным и ударился в дела...

Священник приказал вознице остановить лошадей; он пожелал из чистой любознательности пройтись по аллее, которая вела от проезжей дороги к дому, и обозрел усадьбу с таким вниманием, какого Люсьен не ожидал от испанского священника.

— Вы, стало быть, знаете Растиньяков?..— спросил его Люсьен.

— Я знаю весь Париж,— сказал испанец, садясь в карету.— Итак, из-за каких-то десяти или двенадцати тысяч франков вы хотели убить себя? Вы младенец, вы не знаете ни людей, ни жизни. Жизнь человека стоит того, во что он ее ценит, а вы свою жизнь оценили всего лишь в двенадцать тысяч франков; ну, что ж, я готов купить вас дороже. Что касается до ареста вашего зятя, то это сущий вздор! Ежели милейший господин Сешар сделал открытие, он разбогатеет. А богачей никогда еще не сажали в тюрьму за долги. Вы, мне кажется, не очень

сильны в истории. Есть две истории: официальная, лживая история, которую преподают в школе, история *ad usum delphini*[1], и история тайная, раскрывающая истинные причины событий, история постыдная. Позвольте мне рассказать вам в двух словах другой случай из этой неведомой вам истории. Молодой честолюбец, священник, желает приобщиться к государственным делам; он низкопоклонничает перед фаворитом, фаворитом королевы; фаворит принимает участие в священнике, возводит его в звание министра, вводит в совет. Однажды вечером молодой честолюбец получает письмо, которым некий благодетель из породы людей, склонных оказывать услуги (никогда не оказывайте услуг, о которых вас не просят!), извещает его о том, что жизнь его покровителя в опасности. Король взбешен, он не потерпит, чтобы им кто-то руководил, фаворит погибнет, как только явится поутру во дворец. Ну-с, молодой человек, как бы вы поступили, получив такое письмо?

— Я немедленно предупредил бы моего благодетеля! — вскричал Люсьен с горячностью.

— Вы и впрямь младенец, что, впрочем, явствует из повести вашей жизни,— сказал священник.— Ну, а наш молодчик сказал самому себе: «Ежели король решается на преступление, благодетель мой погиб; придется сделать вид, что письмо опоздало!» И он проспал до тех пор, покуда ему не сказали, что фаворита убили...

— Чудовище! — сказал Люсьен, заподозрив священника в намерении его испытать.

— Все великие люди — чудовища, — отвечал каноник.— Человек этот был кардинал Ришелье, а его покровитель — маршал д'Анкр. Вот видите, вы и не знаете истории Франции! Не был ли я прав, говоря, что история, которой обучают в школах, есть не что иное, как подбор дат и событий, крайне сомнительных и притом не имеющих ни малейшего значения. На что вам знать, что существовала Жанна д'Арк? Доводилось ли вам делать из этого вывод, что ежели бы Франция в то время приняла анжуйскую династию Плантагенетов, то, объединившись, два народа владели бы ныне всем миром, а два острова,

---

[1] Для обучения дофина (наследника престола) *(лат.)*.

где ныне завариваются все политические смуты материка, были бы двумя французскими провинциями? А знаете ли вы, какими путями Медичи из простых купцов стали великими герцогами тосканскими?

— Поэт во Франции не обязан быть бенедиктинцем,— сказал Люсьен.

— Так вот, молодой человек, они стали великими герцогами, как Ришелье стал министром. Ежели бы вы, изучая историю, вникли в суть событий, а не заучивали наизусть наклеенные на них ярлыки, вы извлекли бы из нее правила вашего поведения. Примеры, наудачу взятые мной из множества подобных случаев, позволяют установить такой закон: смотрите на людей, и особенно на женщин, как на орудие вашего преуспеяния, но не показывайте им этого. Почитайте, как бога, того, кто стоит выше вас и может быть вам полезен, и не покидайте его, покуда он дорого не заплатит за ваше раболепство. Короче, в мире дельцов будьте алчны, как ростовщик, и низки, как он; поступайтесь всем ради власти, как он поступается всем ради золота. И не пекитесь о том, кто падает: он уже для вас не существует. Знаете ли вы, почему вам надобно так себя вести?.. Вы желаете властвовать в свете, не правда ли? Так надобно прежде склониться перед светом и тщательно его изучить. Ученые изучают книги, политики изучают людей, их вожделения, побудительные причины человеческой деятельности. Однако ж свет, общество, люди, взятые в их совокупности,— фаталисты: все, что ни свершается, для них свято. Знаете ли вы, почему я прочел вам этот краткий курс истории? Мне показалось, что вы чрезмерно честолюбивы...

— Да, отец мой!

— Я это сразу заметил,— продолжал каноник.— Но в настоящую минуту вы говорите про себя: «Этот испанский каноник сочиняет небылицы и извращает историю, стараясь доказать мне, что я был чересчур добродетелен...» (Люсьен улыбнулся, увидев, что мысли его так верно угаданы.) Ну, что ж, молодой человек, возьмем общеизвестные события,— сказал священник.— Некогда Франция была почти завоевана англичанами, у короля оставалась всего одна провинция. Из недр народа выходят два существа: бедная девушка, та самая Жанна

д'Арк, о которой мы говорили, и горожанин по имени Жак Кер. Одна несет меч и обаяние девственности, другой приносит золото: королевство спасено. Но девушка взята в плен!.. И король, который мог бы выкупить девушку, допускает, чтобы ее сожгли заживо! Что касается до героя-горожанина, король позволяет своим придворным обвинить его в уголовных преступлениях и расхитить все его имущество. Ограбление человека невинного, загнанного, затравленного, сраженного правосудием, обогащает пять дворянских родов... И отец архиепископа буржского покидает королевство, чтобы никогда уже туда не воротиться; потеряв во Франции все свое состояние, до последнего су, он, однако ж, сохраняет деньги, которые когда-то доверил арабам и сарацинам в Египте. Вы можете еще сказать: «Все это очень старо, вот уже триста лет, как примеры подобной неблагодарности приводятся в школьных учебниках, а призраки веков — всего лишь легенды». Ну, а веруете ли вы, молодой человек, в последнего полубога Франции, в Наполеона? Один из его генералов был у него не в чести, он скрепя сердце произвел его в маршалы и пользовался его услугами чрезвычайно неохотно. Имя этого маршала — Келлерман. И знаете, что было тому причиной?.. Келлерман в битве при Маренго смелой атакой, вызвавшей рукоплескания среди потоков крови и огня, спас Францию и первого консула. В сводке даже не было упомянуто об этой героической атаке. Причина холодности Наполеона к Келлерману, как и причина опалы Фуше и князя Талейрана,— неблагодарность! Неблагодарность короля Карла VII, Ришелье, неблагодарность...

— Но, отец мой, предположим, что вы спасете меня от смерти и создадите мне привольную жизнь,— сказал Люсьен,— так на что же вам облегчать мне мой долг благодарности?..

— Проказник! — сказал аббат, улыбнувшись, и потянул Люсьена за ухо с почти царственной непринужденностью.— Да окажись вы в отношении меня неблагодарным, так вы, стало быть, оказались бы натурой сильной, и тогда я преклонился бы перед вами; но вам до этого еще далеко, ибо вы простой ученик, вы чересчур рано пожелали стать мастером. Таков недостаток всех современных французов. Все вы развращены примером Напо-

леона. Вы подаете в отставку, потому что не добились вожделенных эполет... Но подчинили ли вы все ваши помыслы, все ваши поступки одной цели?..

— Увы, нет! — сказал Люсьен.

— Вы были, как говорят англичане, *inconsistent* [1],— продолжал с усмешкой каноник.

— Не все ли равно, чем я был, если я больше ничем не буду! — отвечал Люсьен.

— Пусть только за всеми вашими прекрасными качествами таится дар *semper virens* [2],— сказал священник, притязая на некоторое знание латыни,— и ничто в мире не устоит перед вами. Я уже полюбил вас... (Люсьен недоверчиво усмехнулся.) Да,— продолжал незнакомец в ответ на усмешку Люсьена,— вы мне внушили участие к себе, как к собственному сыну, и я настолько смел, что могу говорить с вами откровенно, как вы со мной говорили. Знаете ли, что мне в вас нравится?.. Вы стряхнули с себя прах прошлого и, стало быть, способны воспринять урок нравственности, которого вам никто другой не преподаст, ибо люди, изображая собою общество, лицемерят еще более, нежели разыгрывая комедию из самых корыстных побуждений. Воистину, человек большую часть своей жизни проводит в том, что выкорчевывает из сердца все то, что пустило там ростки еще в юности. Операция сия именуется обретением жизненного опыта.

Слушая священника, Люсьен говорил про себя: «Вот прожженный политик, он восхищен возможностью позабавиться в пути. Он потешается, переубеждая юнца, близкого к самоубийству, и бросит меня, натешившись вдоволь... Но все же он мастер парадокса и, пожалуй, не уступит в этом ни Блонде, ни Лусто». Несмотря на столь здравое рассуждение, развращающее влияние дипломата проникало в эту душу, склонную к растлению, и опустошало ее тем успешнее, что опиралось на знаменитые примеры. Поддавшись очарованию этой циничной беседы, Люсьен уже цеплялся за жизнь, и с тем большей охотою, что чувствовал мощную руку, извлекающую его из бездны самоубийства! Тут священник явно востор-

---

[1] Непоследовательным *(англ.)*.
[2] Вечной юности *(лат.)*.

жествовал. Недаром свои язвительные откровения он от времени до времени сопровождал лукавой усмешкой.

— Если вы рассуждаете о нравственности в той же манере, в какой вы рассматриваете историю,— сказал Люсьен,— я желал бы знать истинную причину вашего показного человеколюбия.

— Э-э! Позвольте мне, молодой человек, об этом умолчать до времени. Пусть это будет последним словом моего поучения; иначе как бы не пришлось нам нынче же расстаться,— лукаво отвечал священник, видя, что хитрость его удалась.

— Ну, что ж! Потолкуем о нравственности? — сказал Люсьен, подумав про себя: «Пускай порисуется!»

— Нравственность, молодой человек, предопределяется законом,— сказал священник.— Ежели бы весь вопрос заключался в религии, законы были бы излишни: народы религиозные не обременяют себя законами. Выше гражданского права стоит право государственное. Желаете знать, что начертано для государственного деятеля на челе вашего девятнадцатого века? Французы вздумали в 1793 году провозгласить народовластие, которое привело к неограниченной власти императора. Такова ваша национальная история. Что касается до нравов: госпожа Тальен и госпожа де Богарне вели себя одинаково, однако на одной из них Наполеон женился и сделал ее вашей императрицей, а другую не желал принимать, хотя она стала княгиней. Санкюлот в 1793 году, Наполеон в 1804 году венчает себя железной короной. Пылкие любовники *равенства или смерти* в 1792 году становятся в 1806 году сообщниками аристократии, узаконенной Людовиком XVIII. В эмиграции аристократия, ныне царствующая в своем Сен-Жерменском предместье, пала еще ниже: она была ростовщицей, торговкой, пекла пирожки, она была кухаркой, фермершей, пасла овец. Итак, во Франции и закон государственный и закон нравственный,— и все в целом и каждый в отдельности,— в конце пути изменили отправной точке: убеждения свои опровергли поведением или поведение — убеждениями. Логикой не отличались ни правители, ни частные лица. Поэтому у вас и не существует более нравственности. Ныне во Франции успех стал верховным законом всех поступков, каковы бы они ни были. Содеянное само по

себе уже ничего не значит, оно всецело зависит от того, какое мнение составят о нем другие. Отсюда, молодой человек, второе правило: соблюдайте внешнее приличие! Прячьте изнанку своей жизни, выставляйте напоказ только свои достоинства. Скрытность, этот девиз честолюбцев, девиз нашего ордена, да будет и вашим девизом. Великие люди совершают почти столько же низостей, как и презренные негодяи; но они совершают их втайне, а напоказ выставляют свои добродетели — и величие их не поколеблено. Маленькие люди расточают свои добродетели втайне, а напоказ выставляют свое убожество: их презирают. Вы утаили свое величие и обнажили свои язвы. Вы открыто были любовником актрисы, вы жили у нее, жили с ней; вы отнюдь не заслуживали порицания, все считали, что вы и она совершенно свободны; но вы бросили вызов требованиям света и лишились уважения, которое свет оказывает тому, кто повинуется его законам! Стоило вам предоставить Корали господину Камюзо, стоило вам не выставлять напоказ вашу связь с нею, и вы женились бы на госпоже де Баржетон, были бы префектом Ангулема и маркизом де Рюбампре. Измените вашу тактику: щеголяйте красотой, изяществом, остроумием, поэзией. А ежели не обойдетесь без мелких низостей, пусть знают о них одни лишь стены: тогда никто вас не обвинит в том, что вы — темное пятно на декорации великого театра, именуемого высшим светом. Наполеон называл подобную тактику: *стирать дома грязное белье*. Из второго правила вытекает следствие: форма — это все. Что же я разумею под формой? Поймите меня правильно. Случается, что невежественные, подавленные нуждой люди насильственно отбирают у кого-нибудь деньги; их именуют преступниками, им приходится иметь дело с правосудием. Или гениальный бедняк делает открытие, разработка которого сулит сокровища, вы ссужаете ему три тысячи франков (наподобие этих Куэнте, в руки которым попали ваши три тысячи и которые готовы шкуру содрать с вашего зятя), а потом начинаете его донимать так, что он вынужден вам уступить свое открытие целиком или частично; вы считаетесь только со своей совестью, а ваша совесть не потащит вас в суд присяжных. Враги общественного порядка пользуются этими противоречиями, чтобы порочить

правосудие и от имени народа выражать возмущение тем, что какого-нибудь воришку, укравшего ночью курицу с птичьего двора, ссылают в каторгу, а злостного банкрота, разорившего целые семьи, сажают лишь в тюрьму, и то на короткий срок; но лицемеры отлично знают, что судьи, осуждая вора, крепят преграду между бедными и богатыми, ведь разрушение ее привело бы к гибели общественного порядка, между тем как банкрот, ловкий расхититель наследств, банкир, разоряющий ради своей личной выгоды целые предприятия, производят только лишь перемещение богатств! Итак, сын мой, общество вынуждено в своих же интересах проявлять известную гибкость, что я советую делать и вам в ваших интересах. Суть в том, чтобы идти в ногу с обществом. Наполеон, Ришелье, Медичи шли в ногу со своим веком. А вы? Вы оцениваете себя в двенадцать тысяч франков!.. Общество ваше поклоняется уже не истинному богу, а золотому тельцу! Таков символ веры вашей хартии, ибо политика принимает в расчет только одно установление— собственность. Не значит ли это объявить всем подданным: «Обогащайтесь!» Когда вы законным путем составите себе состояние, станете богачом и маркизом де Рюбампре, вы сможете позволить себе роскошь быть человеком чести. Вы окажетесь тогда столь щепетильным в смысле нравственности, что никто не осмелится обвинить вас в том, будто вы когда-нибудь погрешили против этой самой нравственности, хотя бы вы, составляя себе состояние, и в самом деле поступились ею, чего я ни в коем случае не посоветовал бы вам делать,— сказал священник, похлопывая Люсьена по руке.— Какая же мысль должна отныне волновать эту прекрасную голову?.. Единственная мысль: избрав блестящую цель, таить про себя пути к ее достижению, таить способы ее достижения. Вы вели себя, как ребенок; будьте мужчиной, будьте охотником, чувствуйте себя в парижском обществе, как в засаде, подстерегайте дичь и счастливый случай, не щадите ни себя самого, ни того, что именуют достоинством, ибо все мы подчиняемся или пороку, или необходимости, но блюдите верховный закон: тайну!

— Вы меня пугаете, отец мой! — вскричал Люсьен.— По-моему, это философия рыцарей с большой дороги!

— Вы правы,— сказал каноник,— но не я ее осново-

положник. Так рассуждали все выскочки как австрийской, так и французской крови. У вас нет ничего за душой, вы в положении Медичи, Ришелье, Наполеона на восходе их честолюбия. Эти люди, мой мальчик, оплачивали свое будущее ценою неблагодарности, предательства и самых жестоких противоречий. Надобно на все дерзать, чтобы всем обладать. Рассудим здраво! Когда вы садитесь играть в бульот, неужто вы оспариваете условия игры? Правила существуют, вы им подчиняетесь.

«Ну-ну,— подумал Люсьен,— да он игрок!»

— Как вы себя ведете за карточным столом? — сказал священник.— Неужто вы придерживаетесь прекраснейшей из добродетелей: откровенности? Нет. Вы не только не показываете своих карт, но еще стараетесь убедить участников игры, что вы проигрываете, тогда как вы уверены в выигрыше. Короче, вы притворяетесь, не так ли?.. Вы лжете, чтобы выиграть пять луидоров!.. Что сказали бы вы о таком великодушном игроке, который предупредил бы вас о том, что у него на руках брелан карре? Так вот, ежели честолюбец пожелает в ходе борьбы соблюдать предписания добродетели, попранные его противниками, он поставит себя в положение ребенка, и опытные политики скажут ему то же, что игроки говорят картежнику, который не пользуется своими козырями: «Сударь, никогда не играйте в карты...» Вами ли установлены правила в игре честолюбий? Почему я вам советовал приноравливаться к обществу? Да потому, молодой человек, что нынешнее общество мало-помалу присвоило себе столько прав над личностью, что личность принуждена бороться с обществом. Нет более законов, есть только нравы, короче сказать, притворство, пустая форма! (Люсьен движением выразил свое удивление.) Ах, мой мальчик,—сказал священник, испугавшись, что он возмутил душевную чистоту юноши,— неужто вы ожидали встретить архангела Гавриила в лице аббата, отягощенного всеми беззакониями противоречивой дипломатии двух королей (я ведь посредник между Фердинандом VII и Людовиком XVIII, двумя великими... королями, которые оба обязаны короной искуснейшим... комбинациям)?.. Я верю в бога, но еще больше верю в наш орден, а наш орден верит только в светскую власть. Желая сделать светскую власть всесильной, наш орден под-

держивает апостольскую римско-католическую церковь, короче, совокупность воззрений, которыми держат народ в повиновении. Мы современные рыцари-тамплиеры, у нас свое учение. Наш орден и орден тамплиеров погибли по одной и той же причине: мы уподобились мирянам. Желаете быть солдатом? Я буду вашим командиром. Повинуйтесь мне, как жена повинуется мужу, как ребенок повинуется матери, и ручаюсь: на исходе трех лет вы будете маркизом де Рюбампре, женитесь на одной из знатнейших представительниц Сен-Жерменского предместья и со временем займете место на скамье палаты пэров. Ну, чем были бы вы теперь, не рассей я вас своей беседой? Трупом, затонувшим в вязком иле. Напрягите-ка ваше поэтическое воображение!..(Тут Люсьен с любопытством взглянул на своего покровителя.) Молодой человек, сидящий в этой коляске подле аббата Карлоса Эррера, почетного каноника Толедского капитула, тайного посланца его величества Фердинанда VII к его величеству королю французскому с письмом, в котором, возможно, сказано: «*Когда вы освободите меня, прикажите повесить всех тех, кто мною ныне обласкан, и прежде всего моего посланца, чтобы его посольство поистине осталось тайным*»,— этот молодой человек,— сказал незнакомец,—не имеет уже ничего общего с поэтом, пытавшимся умереть. Я вытащил вас из реки, я вернул вас к жизни, вы принадлежите мне, как творение принадлежит творцу, как эфрит в волшебных сказках принадлежит гению, как чоглан принадлежит султану, как тело — душе! Могучей рукой я поддержу вас на пути к власти, я обещаю вам жизнь, полную наслаждений, почестей, вечных празднеств... Никогда не ощутите вы недостатка в деньгах... Вы будете блистать, жить на широкую ногу, покуда я, копаясь в грязи, буду закладывать основание блистательного здания вашего счастья. Я люблю власть ради власти! Я буду наслаждаться вашими наслаждениями, запретными для меня. Короче, я перевоплощусь в вас... Ну, а когда этот договор человека с дьяволом, младенца с дипломатом вам наскучит, вы всегда можете найти тихую пристань, о которой вы упоминали, и утопиться; как и ныне, вы будете тогда тем же, немного более или немного менее несчастным или обесчещенным человеком.

— Это отнюдь не поучение архиепископа Гренадско-

го! — вскричал Люсьен, когда карета подъезжала к почтовой станции.

— Не знаю, как вы назовете это краткое наставление, сын мой, ибо я усыновлю вас и сделаю вас своим наследником, но таков устав честолюбия. Избранники божии немногочисленны. Выбора нет: надобно или уйти в монастырь (и там вы нередко встретите тот же свет в малом виде!), или принять устав.

— Пожалуй, лучше не быть столь ученым,— сказал Люсьен, пытаясь проникнуть в душу этого страшного священника.

— Полноте,— возразил каноник,— вы играли, не зная правил игры, а теперь, когда вам начинает везти, когда у вас такой надежный опекун, вы вдруг выходите из игры и даже не желаете отыграться! Неужто у вас нет охоты проучить этих господ, которые вас изгнали из Парижа?

Люсьен вздрогнул, точно слуха его коснулись, терзая нервы, дикие звуки какого-то неведомого инструмента из бронзы, вроде китайского гонга.

— Я всего лишь смиренный служитель церкви,— продолжал этот человек, и ужасное выражение исказило его лицо, обожженное солнцем Испании,— но ежели бы люди так меня унизили, истерзали, предали, продали, как поступили с вами эти негодяи, о которых вы мне рассказывали, я поступил бы, как мавр пустыни!.. Да, я душою и телом предался бы мщению. Меня не устрашили бы ни виселица, ни гаррота, ни осиновый кол, ни ваша гильотина... Но я не отдал бы своей головы, покуда не раздавил бы моих врагов своею пятой!

Люсьен хранил молчание, у него пропала всякая охота вызывать этого священника на откровенность.

— Есть потомки Авеля и потомки Каина,— сказал в заключение каноник.— Во мне течет смешанная кровь: я Каин для врагов, Авель для друзей... И горе тому, кто пробудит Каина!.. А впрочем, вы ведь француз, а я испанец, притом каноник!..

«Вот так мавр! Что за натура?» — сказал самому себе Люсьен, вглядываясь в покровителя, посланного ему небом.

Аббат Карлос Эррера не был похож на иезуита, он вообще не был похож на духовное лицо. Плотный, коре-

настый, большерукий, широкогрудый, сложения геркулесова, он прятал под личиной благодушия взгляд, способный внушить ужас; лицо его, непроницаемое и обожженное солнцем, словно вылитое из бронзы, скорее отталкивало, нежели привлекало. Только длинные прекрасные волосы, напудренные, как у князя Талейрана, придавали этому удивительному дипломату облик епископа, да синяя с белой каймой лента, на которой висел золотой крест, изобличала в нем высшее духовное лицо. Черные шелковые чулки облегали ноги силача. Изысканная опрятность одежды говорила о тщательном уходе за своей особой, что весьма необычно для простого священника, да еще в Испании. Треугольная шляпа лежала на переднем сиденье кареты, украшенной испанским гербом. Несмотря на столь отталкивающие черты, впечатление от его наружности сглаживалось манерой держаться, резкой и вместе с тем вкрадчивой; явно, священник строил куры, ластясь к Люсьену почти по-кошачьи. Люсьен с тревогой ловил каждое его движение. Он чувствовал, что в эти минуты решается вопрос, жить ему или не жить. Они подъезжали ко второй станции после Рюфека. Последние слова испанского священника затронули многие струны в его сердце; и, скажем в скобках, к стыду Люсьена и священника, проницательным взглядом изучавшего прекрасное лицо поэта, то были самые дурные струны, те, что звучат под напором порочных чувств. Люсьен опять грезил Парижем, он опять брался за бразды власти, которые выскользнули из его слабых рук, он дышал местью. Причина его попытки к самоубийству — наглядное сопоставление провинциальной жизни и жизни парижской — исчезла; он опять попадет в свою среду, но отныне он будет под охраной политика, в коварстве не уступающего Кромвелю.

«Я был один, нас будет двое»,— говорил он самому себе. Чем больше проступков находил он в своем прошлом, тем больше внимания к нему выказывал каноник. Сострадание этого человека возрастало по мере того, как развивалась скорбная повесть Люсьена, и ничто его не удивляло. Однако ж Люсьен спрашивал себя: каковы же побуждения у этого исполнителя королевских козней? Сперва он удовлетворился обычным объяснением: испанцы великодушны! Испанцы так же великодушны, как

итальянцы мстительны и ревнивы, как французы легкомысленны, как немцы простодушны, как евреи низменны, как англичане благородны. Исходите из противоположных утверждений, и вы приблизитесь к истине. Евреи завладели золотом, они пишут «Роберта-Дьявола», играют «Федру», поют «Вильгельма Телля», заказывают картины, воздвигают дворцы, пишут «Reisebilder»[1] и дивные стихи, они могущественны, как никогда, религия их признана, наконец у них в долгу сам папа! В Германии по малейшему поводу спрашивают иностранца: «А где ваш контракт?» — настолько там развито крючкотворство. Во Франции вот уже полвека, как рукоплещут при лицезрении отечественной глупости на подмостках, по-прежнему носят немыслимые шляпы, а смена правительства сводится к тому, что все остается по-старому!.. Англия обнаруживает перед лицом всего мира вероломство, по низости равное только ее алчности. Испанцы, обладавшие золотом обеих Индий, теперь лишились всего. Нет страны в мире, где так редко прибегали бы к яду как к орудию мести и где нравы были бы так легки и люди так любезны, как в Италии. Испанцы долгое время жили за счет доброй славы мавров.

Когда испанец опять садился в экипаж, он шепнул вознице:

— Гоните, как на почтовых! В награду три франка.

Люсьен колебался, священник сказал: «Пожалуйте же!» — и Люсьен сел в экипаж, решив сразить своего спутника доводом *ad hominem*[2].

— Отец мой,— сказал он,— человек, только что развивавший с величайшим хладнокровием такие теории, которые большинство мещан сочло бы глубоко безнравственными...

— Да они и есть таковы,—сказал священник,—недаром же, сын мой, Христос пожелал, чтобы соблазн вошел в мир. Потому-то мир и выказывает такой ужас перед соблазном.

— Человека вашего закала не удивит вопрос, который я хочу предложить.

— Говорите, сын мой!..— сказал Карлос Эррера.—

---

[1] «Путевые картины» *(нем.)*.

[2] Личного характера *(лат.)*.

Вы меня не знаете. Неужто вы думаете, что я взял бы секретаря, не убедившись прежде, достаточно ли крепко в нем нравственное начало, не ограбит ли он меня? Я доволен вами. Вы еще не утратили наивности самоубийцы в двадцать лет. Каков же ваш вопрос?

— Что побуждает вас принимать во мне участие? На что вам мое послушание?.. К чему ваши обещания осыпать меня золотом? Какова ваша цель?

Испанец взглянул на Люсьена и усмехнулся.

— Обождем до подъема в гору, там мы выйдем из экипажа и побеседуем на вольном воздухе. У стен есть уши.

На короткое время в карете воцарилось молчание, и быстрая езда содействовала, так сказать, нравственному опьянению Люсьена.

— Отец мой, вот и подъем, — сказал Люсьен, как бы пробуждаясь от сна.

— Ну, что ж, прогуляемся,— сказал священник и крикнул вознице, чтобы тот осадил лошадей.

И они вышли на дорогу.

— Мальчик мой,— сказал испанец, взяв Люсьена под руку,— размышлял ли ты над «Спасенной Венецией» Отвэя? Понял ли ты всю глубину мужской дружбы, связующей Пьера и Джафьера? Дружбу, которая лишает женщину всякого обаяния, меняет все социальные отношения... Что говорит это поэту?

«Каноник не чужд и театра»,— сказал Люсьен самому себе.

— Читали вы Вольтера? — спросил он.

— И не только читал,— отвечал каноник,— я претворял его в жизнь.

— Вы не веруете в бога?

— Ну, вот я и попал в безбожники! — сказал, улыбаясь, священник.— Вернемся к сути дела, мой мальчик,— продолжал он, обнимая его за талию.— Мне сорок шесть лет, я побочный сын знатного вельможи, я лишен семьи, но не лишен сердца... Так запомни же, запечатлей это в своем еще столь восприимчивом мозгу: человека страшит одиночество. А из всех родов одиночества страшнее всего одиночество душевное. Отшельники древности жили в общении с богом, они пребывали в самом населенном мире, в мире духовном. Скупцы живут в мире

воображения и власти денег. У скупца все, вплоть до его пола, сосредоточено в мозгу. Первая потребность человека, будь то прокаженный или каторжник, отверженный или недужный, — обрести товарища по судьбе. Жаждая утолить это чувство, человек расточает все свои силы, все свое могущество, весь пыл своей души. Не будь этого всепожирающего желания, неужто сатана нашел бы себе сообщников?.. Тут можно написать целую поэму, как бы вступление к «Потерянному раю», этому поэтическому оправданию мятежа.

— И это было бы Илиадой совращения,— сказал Люсьен.

— Ну так вот! Я одинок, живу один. Пусть я ношу одежду духовного лица, душа у меня не священника. Мне любо жертвовать собою, вот мой порок! Я живу самоотречением, потому-то я и священник. Я не боюсь неблагодарности, но помню добро. Церковь для меня ничто, простое понятие. Я предан испанскому королю, но нельзя же любить короля! Он покровительствует мне, он парит надо мною. Я хочу любить свое творение, создать его по образу и подобию своему, короче, любить его, как отец любит сына. Я буду мысленно разъезжать в твоем тильбюри, мой мальчик, буду радоваться твоим успехам у женщин, буду говорить: «Этот молодой красавец—я сам! Маркиз де Рюбампре создан мною, мною введен в аристократический мир; его величие — творение рук моих, он и молчит и говорит, следуя моей воле, он советуется со мной во всем». Аббат де Вермон играл такую же роль при Марии Антуанетте.

— И довел ее до эшафота!

— Он не любил королевы!..— отвечал священник.— Он любил только аббата де Вермона.

— Вправе ли я отрешиться от своих горестей? — сказал Люсьен.

— Я богат, черпай из моей сокровищницы.

— Чем бы я не поступился, только бы освободить Сешара! — продолжал Люсьен, и в голосе его уже не чувствовалось одержимости самоубийцы.

— Скажи только слово, сын мой, и завтра же поутру он получит нужную сумму.

— Неужто вы дадите мне двенадцать тысяч франков?..

— Но неужели, мой мальчик, ты не замечаешь, что мы делаем четыре лье в час? Мы отобедаем в Пуатье. Там, ежели ты пожелаешь, мы скрепим наш договор, ты дашь мне доказательство послушания, одно-единственное неоспоримое доказательство, и я его потребую! Ну, а тогда бордоский дилижанс доставит пятнадцать тысяч франков твоей сестре...

— Но где же они?

Испанский священник ничего не ответил, и Люсьен сказал про себя: «Вот он и попался, он подшучивал надо мной!» Минутой позже испанец и Люсьен молча сели в карету. Молча священник сунул руку в карман, приделанный к стенке кареты, и извлек оттуда столь знакомую путешественникам кожаную сумку вроде ягдташа, с тремя отделениями, и, трижды погружая в нее руку, он полными пригоршнями вынул сто португальских червонцев.

— Отец мой, я ваш! — сказал Люсьен, ослепленный этим золотым потоком.

— Дитя! — сказал священник, с нежностью целуя Люсьена в лоб.— Тут только треть того золота, что хранится в сумке, а всего там тридцать тысяч франков,— помимо денег на путевые расходы.

— И вы путешествуете один?..— вскричал Люсьен.

— Полно! — сказал испанец.— При мне больше чем на сто тысяч экю переводных векселей на Париж. Дипломат без денег то же, что поэт без воли, каким ты только что был.

В то время как Люсьен садился в карету с мнимым испанским дипломатом, Ева встала, чтобы покормить своего сына; она нашла роковое письмо и прочла его. Холодный пот сменил легкую испарину утреннего сна, в глазах у нее потемнело, она позвала Марион и Кольба.

На вопрос: «Мой брат ушел?» — Кольб отвечал: «*Та, сутарыня, то расфета!*».

— Храните в глубокой тайне то, что я вам доверю,— сказала Ева слугам,—мой брат решил, верно, покончить с собою. Бегите же скорей, осторожно все разузнайте и осмотрите оба берега реки.

Ева осталась одна в состоянии оцепенения, на нее было страшно смотреть.

В таком положении Еву застал Пти-Кло, явившийся

к ней в семь часов утра поговорить о делах. В подобные минуты можно выслушать кого угодно.

— Сударыня, — сказал стряпчий, — наш бедный дорогой Давид в тюрьме; случилось то, что я и предвидел еще в самом начале дела. Я советовал ему тогда же вступить в товарищество для разработки его изобретения со своими соперниками Куэнте. Помилуйте, у них в руках все средства, нужные для осуществления открытия, которое у вашего мужа пока еще находится в самой первоначальной стадии. Поэтому что я сделал? Как только я узнал вчера об аресте Давида, я бросился к господам Куэнте: я решил выговорить у них условия, которые могли бы вас удовлетворить. Ну, конечно, если вы по-прежнему будете упорствовать и хранить изобретение в тайне, вы будете вечно влачить жалкую жизнь: постоянные тяжбы вас доконают, измучают, доведут до нищеты, и в конце концов вы поневоле пойдете на сделку с каким-нибудь толстосумом, возможно, в ущерб себе; а между тем я предлагаю вам на выгодных условиях договор с господами Куэнте. Вы избавитесь таким путем от лишений, тревог, неизбежных в борьбе изобретателя с алчностью капиталиста и равнодушием общества. Послушайте! Если братья Куэнте заплатят ваши долги... если, помимо уплаты долгов, они предложат вам вознаграждение за ваше открытие вне зависимости от его промышленной ценности, от его будущности и возможности разработки, предоставив вам, понятно, известную долю в прибылях, неужели вы не будете довольны? Вы лично, сударыня, становитесь владелицей типографии и, конечно, продадите ее; от продажи вы выручите верных двадцать тысяч франков: я ручаюсь найти покупателя, который даст эту цену. А если вы, заключив товарищеский договор с господами Куэнте, получите пятнадцать тысяч франков, то у вас составится капитал в тридцать пять тысяч франков, что по нынешнему курсу ренты составит две тысячи франков годового дохода... А в провинции на две тысячи франков можно жить. И заметьте, сударыня, товарищество с господами Куэнте в будущем сулит вам надежды на новый доход. Я говорю *надежды*, ибо надобно предвидеть и всякие неудачи. Ну, так чем же я могу быть вам полезен? Прежде всего я могу добиться полного освобождения Давида, затем, в покрытие рас-

ходов по его изысканиям, предоставления вам пятнадцати тысяч франков; причем господа Куэнте ни под каким предлогом не вправе будут требовать от вас возвращения этой суммы, даже в том случае, если изобретение оказалось бы недоходным; наконец заключение товарищеского договора между Давидом и господами Куэнте для разработки изобретения, подлежащего заявке после тайного и совместного его испытания при условии, что все расходы возлагаются на господ Куэнте. Вкладом Давида в дело является патент, и ему будет причитаться четвертая часть всего дохода. Вы женщина умная и рассудительная, а это редкие качества у красивой женщины; обдумайте эти предложения, и я не сомневаюсь, что вы найдете их вполне приемлемыми...

— Ах, сударь! — в отчаянии вскричала несчастная женщина, обливаясь слезами.— Почему не пришли вы вчера вечером? Почему вы не предложили вчера это полюбовное соглашение? Мы избежали бы бесчестия и... еще худшего...

— Мои переговоры с господами Куэнте, которые, как вы изволили, конечно, догадаться, прячутся за спиной Метивье, окончились только в полночь. Но что же еще худшее, чем арест бедняги Давида, могло случиться со вчерашнего вечера? — спросил Пти-Кло.

— Вот ужасная весть, которую я получила, проснувшись поутру,— сказала она, подавая Пти-Кло письмо Люсьена.— Вы только что доказали мне, что принимаете в нас участие, что вы друг и Давиду и Люсьену, излишне просить вас сохранить все в тайне.

— Не волнуйтесь, сударыня,— сказал Пти-Кло, прочитав письмо и возвращая его Еве.— Люсьен не лишит себя жизни. Чувствуя себя виновником ареста зятя, он искал причины покинуть вас; и я рассматриваю это письмо как словоизлияние в театральном стиле перед уходом со сцены.

Братья Куэнте достигли своей цели. Подвергнув пытке изобретателя и его семью, они уловили ту минуту, когда иссякшие силы требуют отдыха. Не все изобретатели отличаются хваткой бульдога, который издохнет, но не выпустит из зубов добычи, а Куэнте основательно изучили нрав своих жертв. Для Куэнте-большого арест Давида был последней сценой первого действия этой дра-

мы. Второе действие начиналось с предложения, которое только что сделал Пти-Кло. Как мастер своего дела, стряпчий видел в безрассудной выходке Люсьена одну из тех случайностей, которые решают исход игры. Он заметил, как убита этим происшествием Ева, и решил, пользуясь случаем, войти в ее доверие, ибо он наконец понял, какое влияние эта женщина оказывает на мужа. Итак, он не только не усугубил отчаяния г-жи Сешар, но чрезвычайно ловко постарался отвлечь ее от мрачных мыслей, заговорив о возможности ее свидания с Давидом в тюрьме; он рассудил, что в том состоянии духа, в котором Ева находилась, она склонит Давида войти в товарищество с братьями Куэнте.

— Давид мне говорил, что он мечтает о богатстве только ради вас, сударыня, и ради вашего брата; но вы изволили уже убедиться, что желание обогатить Люсьена — чистейшее безумие: этот малый поглотит и три состояния.

Угнетенная поза Евы достаточно красноречиво говорила о том, что рассеялись ее последние обольщения относительно брата, поэтому стряпчий умышленно выдержал перерыв в беседе, желая придать молчанию своей клиентки как бы смысл согласия.

— Стало быть, речь идет только о вас и вашем ребенке,— опять заговорил он.— Вам лучше знать, достаточно ли для вашего благополучия двух тысяч годового дохода в ожидании наследства после папаши Сешара. Ваш свекор уже давно исчисляет свой годовой доход в семь или восемь тысяч франков, не считая процентов, которые он так ловко извлекает из своего капитала! Итак, несмотря ни на что, вас ждет прекрасная будущность! Зачем вам мучиться?

Стряпчий расстался с г-жой Сешар, предоставив ей подумать о своей будущности, достаточно искусно обрисованной накануне Куэнте-большим.

— Намекните-ка им на возможность получить некую сумму,— сказал ангулемский хищник стряпчему, когда тот сообщил ему об аресте Давида.— А когда они свыкнутся с мыслью, что у них в кармане очутятся деньги, мы приберем их к рукам: мы, как водится, поторгуемся и мало-помалу заставим их согласиться на наши условия: хватит с них и того, что мы предложим за изобретение!

Фраза эта составляла как бы основную мысль второго действия этой финансовой драмы.

Когда г-жа Сешар, истерзанная тревогой за участь брата, оделась и уже сошла вниз, чтобы отправиться в тюрьму, ее вдруг охватил страх при мысли, что ей придется одной пройти по улицам Ангулема. Отнюдь не из участия к горю своей клиентки воротился Пти-Кло и предложил проводить ее до ворот тюрьмы,— побуждения его были довольно-таки макиавеллистические; мнимая чуткость стряпчего чрезвычайно тронула Еву, и он принял ее благодарность как должное. Подобное внимание со стороны черствого и резкого человека, да еще в такую минуту, изменило прежнее мнение г-жи Сешар о Пти-Кло.

— Я поведу вас самым долгим путем,— сказал он,— но тут мы никого не встретим.

— Впервые, сударь, я чувствую себя не вправе идти с высоко поднятой головой! Вчера я получила жестокий урок...

— В первый и в последний раз.

— О! Я, конечно, не останусь в этом городе...

— Если ваш муж согласится на условия, о которых мы почти договорились с братьями Куэнте,—сказал Пти-Кло, когда они подходили к воротам тюрьмы,— известите меня. Я тотчас возьму у Кашана разрешение на выход Давида из тюрьмы, и, по всей вероятности, он больше туда не вернется...

Подобная фраза, произнесенная перед тюремной решеткой, была тем, что итальянцы называют *комбинацией*. У них это слово означает не поддающееся определению действие, которое заключает в себе элементы мошенничества и права, некий дозволенный обман, якобы законное и ловко подстроенное плутовство; послушать их, и Варфоломеевская ночь всего только политическая комбинация.

По причинам, изложенным ранее, тюремное заключение за долги—явление столь редкое в провинциальной судебной практике, что в большинстве французских городов даже нет долговых тюрем. Должника препровождают в тюрьму, где заключены подследственные, подсудимые и осужденные. Таковы различные наименования, последовательно применяемые законом к тем, кого народ

вкупе именует преступниками. Итак, Давид был временно помещен в одну из нижних камер ангулемской тюрьмы, откуда, возможно, только что вышел, отбыв свой срок, какой-нибудь вор. Когда все формальности были соблюдены и получено установленное законом денежное довольствие арестанта на целый месяц, Давид оказался лицом к лицу с толстым человеком, который для узников являлся носителем власти, равной власти короля: с тюремщиком! Провинция не знает тощих тюремщиков. Прежде всего эта должность почти синекура; затем тюремщик своего рода содержатель постоялого двора; у него даровое помещение, он всласть пьет и ест и впроголодь держит своих пленников; притом он и размещает их, как содержатель постоялого двора, сообразно их средствам. Тюремщик знал Давида по имени, главным образом благодаря славе его отца, и, хотя у Давида не было ни одного су, он выказал ему большое доверие, хорошо устроив его на ночь. Ангулемская тюрьма построена в средние века и почти не тронута позднейшими переделками, как и кафедральный собор. Здание тюрьмы, именуемое также *домом правосудия*, примыкает к зданию бывшего суда первой инстанции. Классический *глазок* в низкой, обитой гвоздями, крепкой с виду, но, в сущности, ветхой двери невесть какой стройки, и в самом деле напоминавший собою единственный глаз во лбу циклопа; позволял тюремщику разглядеть посетителя прежде, чем его впустить. Вдоль здания через весь нижний этаж тянется коридор, и в него выходят двери целого ряда камер, в которые дневной свет проникает из внутреннего дворика сквозь прорезанные под самым потолком окна, притом защищенные навесом. Тюремщик занимает помещение, отделенное от этих камер каменным сводом, который делит коридор нижнего этажа на две половины; в конце коридора сквозь глазок в наружной двери видна решетка, замыкающая внутренний двор. Тюремщик провел Давида в камеру, смежную с аркою свода; дверь этой камеры приходилась как раз против двери его квартиры. Тюремщик пожелал иметь соседом человека, который, ввиду своего особого положения, мог составить ему общество.

— Лучшая камера,— сказал он, заметив, что вид этого помещения поразил Давида.

Стены камеры были каменные и довольно сырые. На окнах, прорезанных под самым потолком, виднелись железные решетки. От каменных плит пола веяло леденящим холодом. Слышны были мерные шаги часового, ходившего взад и вперед по коридору. Они гулко отдавались под каменными сводами, и этот гул, однообразный, как гул морского прибоя, поминутно возвращал вас к мысли: «Ты узник! Прощай, свобода!» Вся эта обстановка, вся совокупность обстоятельств чрезвычайно действует на душевное состояние невинного человека. Давид заметил отвратительную койку; но люди, брошенные в тюрьму, столь возбуждены вначале, что только на вторую ночь начинают чувствовать, как жестко их ложе. Тюремщик выказал любезность: он предложил своему пленнику погулять во дворе до наступления сумерек. Мучения Давида начались, лишь только стемнело: волей-неволей приходилось ложиться спать. Было запрещено заключенным давать свечи; требовалось разрешение прокурора, чтобы для арестованного за долги сделать исключение из правила, хотя оно касалось только лиц, отбывающих наказание по суду. Впрочем, тюремщик разрешил Давиду посидеть у своего очага, но на ночь он все же вынужден был запереть его в камеру. Бедный муж Евы испытал тут ужасы темницы и грубость ее нравов, возмутившую его. Но в силу противодействия, обычного у мыслителей, он углубился в свое одиночество и предался мечтаниям, каким поэты способны предаваться даже наяву. Несчастный в конце концов обратился мыслью к своим делам. Тюрьма чрезвычайно располагает к беседе со своей совестью. Давид спрашивал себя, выполнил ли он долг главы семейства? В каком отчаянии сейчас его жена! Почему не послушался он совета Марион, не заработал сперва достаточно денег, чтобы потом на досуге заняться своим изобретением?

«Как после такого срама,— говорил он с самим собою,— оставаться в Ангулеме? Как нам быть, когда я выйду из тюрьмы? Что с нами станется?» Им овладели сомнения, правильно ли он ставил опыты. То были муки, понять которые может только изобретатель! Мучась сомнениями, Давид наконец ясно понял свое положение и сказал самому себе то, что Куэнте говорили папаше Сешару, то, что Пти-Кло сказал Еве: «Допустим, что

все пойдет гладко, но что из этого выйдет на деле? Нужен патент на изобретение, а на это нужны деньги!.. Нужна фабрика для широкой постановки опытов, а это значит открыть тайну изобретения! О, как был прав Пти-Кло!» (В самых мрачных тюрьмах рождаются самые ясные мысли.) «Ба! — сказал Давид, засыпая на жалком подобии походной кровати с тюфяком из грубого войлока,— завтра утром я, конечно, увижу Пти-Кло».

Итак, Давид вполне готов был выслушать предложения, исходящие из вражеского стана. Обняв мужа, Ева присела на краю койки, ибо в камере был всего один деревянный стул самого плачевного вида, и тут ее взгляд упал на омерзительную лохань, стоявшую в углу, на стены, испещренные поучительными изречениями и именами предшественников Давида. Ее заплаканные глаза опять затуманились. Сколько она ни плакала, все же у нее полились слезы при виде мужа в положении преступника.

— Вот до чего может довести жажда славы!..— вскричала она. — Ангел мой, брось свои изыскания... Пойдем рука об руку по проторенному пути и не будем гнаться за богатством... Немного мне нужно, чтобы быть счастливой, особенно после таких страданий!.. Ах, если бы ты знал!.. Позорный арест еще не худшее из несчастий!.. Прочти!

Она протянула ему письмо Люсьена, которое Давид быстро прочел, и, желая его утешить, поведала, какой страшный приговор Люсьену вынес Пти-Кло.

— Если Люсьен покончил с собой, он сделал это сгоряча,— сказал Давид,— позже у него на это духа недостанет, он и сам говорил — решимости у него больше чем на одно утро не хватает...

— Но жить в такой тревоге?..— вскричала сестра, простившая брату почти все его грехи при одной только мысли, что он мог умереть.

Она передала мужу условия соглашения, которые Пти-Кло якобы выторговал у Куэнте, и Давид тут же принял их с явной радостью.

— Проживем как-нибудь в деревне неподалеку от Умо, близ фабрики Куэнте. Я хочу только покоя! — вскричал изобретатель.— Если Люсьен покарал себя смертью, нам достанет средств, чтобы дожить до отцов-

ского наследства; а если он жив, бедному мальчику придется приноровиться к нашему скромному достатку... Куэнте наживутся на моем изобретении; но, в сущности, что я такое в сравнении с родиной?.. Обыкновенный человек. Если мое изобретение послужит на пользу всей стране, ну, что ж, я буду счастлив! Видишь ли, милая Ева, мы с тобой оба не годимся в коммерсанты. У нас нет ни страсти к наживе, ни пристрастия к деньгам, которое вынуждает цепляться за каждую монету, задерживая даже самые законные платежи. А в этом, пожалуй, и состоят достоинства торгаша, ибо эти два вида скупости именуются: благоразумие и коммерческий гений!

Обрадованная согласием во взглядах, этим нежнейшим цветком любви, ибо интересы и склад ума могут быть различными у двух любящих существ, Ева передала через тюремщика записку Пти-Кло, в которой она просила освободить Давида, так как условия соглашения для них приемлемы. Через десять минут в мрачную камеру Давида вошел Пти-Кло и сказал Еве:

— Ступайте домой, сударыня, мы придем вслед за вами...

— Ну, любезный друг,— сказал Пти-Кло,— как же ты все-таки попался? На что тебе потребовалось выходить?

— Ну как же я мог не выйти? Прочти, что пишет Люсьен.

Давид подал Пти-Кло письмо Серизе; Пти-Кло взял его, прочел, повертел в руках, ощупал бумагу и, заговорив о делах, как бы в рассеянности смял записку и сунул ее себе в карман. Потом стряпчий взял Давида под руку и вышел с ним из тюрьмы, ибо распоряжение судебного пристава об освобождении заключенного было получено тюремщиком, пока они разговаривали. Вернувшись домой, Давид почувствовал себя на седьмом небе; он плакал, как ребенок, целуя своего малыша Люсьена, очутившись опять в своей спальне после трехнедельного заключения, последние часы которого, по провинциальным понятиям, были позорны. Кольб и Марион уже воротились. Марион узнала в Умо, что Люсьена видели за Марсаком, на парижской дороге, по которой он шел пешком. Его франтовской наряд привлек вни-

мание крестьян, ехавших в город на рынок. Проскакав верхом по большой дороге до Манля, Кольб услыхал там от г-на Маррона, что Люсьен проехал в карете на почтовых.

— Что я вам говорил! — вскричал Пти-Кло.— Этот малый не поэт, а какой-то сплошной роман.

— На почтовых? — сказала Ева.— Куда же он на этот раз направился?

— А теперь,— сказал Пти-Кло Давиду,— идите к господам Куэнте: они вас ждут.

— Ах, сударь, — воскликнула прекрасная г-жа Сешар,— прошу вас, защищайте получше наши интересы, вся наша будущность в ваших руках!

— Не угодно ли вам, сударыня, чтобы переговоры состоялись у вас? Оставляю вам Давида. А эти господа пожалуют сюда вечером, и вы увидите, как я защищаю ваши интересы.

— О сударь, вы оказали бы мне большое одолжение,— сказала Ева.

— Отлично! — сказал Пти-Кло.—Сегодня, в семь часов вечера, у вас в доме.

— Благодарю вас,— отвечала Ева, и по ее взгляду и голосу Пти-Кло понял, как возросло к нему доверие его клиентки.

— Не бойтесь ничего! Вы видите, я был прав,— прибавил он.— Ваш брат уже за тридцать лье от самоубийства. Наконец, не позже как сегодня же вечером у вас, пожалуй, окажется небольшое состояние. Наклевывается серьезный покупатель на вашу типографию.

— А если так,— сказала Ева,— почему бы нам не обождать? Зачем связывать себя договором с Куэнте?

— Вы забываете, сударыня,— отвечал Пти-Кло, почувствовав опасность такой откровенности,— что покуда вы не расплатитесь с господином Метивье, продать типографию невозможно: все оборудование описано.

Воротившись к себе, Пти-Кло вызвал Серизе. Когда фактор вошел в кабинет, он отвел его в нишу окна.

— Завтра ты станешь владельцем типографии Сешара и получишь достаточно сильную поддержку, чтобы добиться передачи патента на твое имя,— сказал он ему на ухо, — но ты ведь не захочешь угодить на каторгу?

— Что?.. Куда? На каторгу? — сказал Серизе.

— Твое письмо Давиду — подлог, а оно у меня... Если станут допрашивать Анриетту, что она скажет.. Я не хочу тебя губить,— сказал тут же Пти-Кло, заметив, как побледнел Серизе.

— Что вам еще нужно от меня? — вскричал парижанин.

— А нужно мне от тебя вот что...— продолжал Пти-Кло.— Слушай внимательно! Через два месяца ты будешь ангулемским типографом... но типографию ты приобретешь в долг, и тебе не расквитаться и в десять лет!.. Долго придется тебе работать на твоих капиталистов! К тому же ты будешь подставным лицом либеральной партии... Составлять твой договор с Ганнераком буду я, и составлю его в таком духе, что со временем ты окажешься полным собственником типографии... Но ежели они вздумают издавать газету, ежели ты будешь ответственным редактором, ежели я получу место старшего товарища прокурора, ты обязуешься, столковавшись с Куэнте-большим, тиснуть такие статейки, что газета будет изъята из обращения и закрыта... Куэнте щедро заплатят тебе за такую услугу... Конечно, тебя будут судить, ты отведаешь тюрьмы, но прослывешь человеком недюжинным и гонимым. Ты станешь видным лицом в либеральной партии, вроде сержанта Мерсье, Поля-Луи Курье, Манюэля в малом размере. Я никогда не допущу, чтобы ты утратил патент. Короче, в тот день, когда газета будет закрыта, я сожгу это письмо у тебя на глазах... Состояние обойдется тебе недорого...

У простолюдинов чрезвычайно превратные представления о наказуемости за различные виды подлога, и Серизе, который видел себя уже на скамье подсудимых, вздохнул с облегчением.

— Через три года я буду прокурором в Ангулеме, — продолжал Пти-Кло, — тебе может встретиться надобность во мне... подумай-ка!

— Решено! — сказал Серизе.— Но вы меня не знаете: сожгите письмо сейчас же,— продолжал он,— положитесь на мою признательность.

Пти-Кло посмотрел на Серизе. То был один из тех поединков, когда взгляд наблюдателя подобен скальпелю, которым он пытается вскрыть душу, а глаза человека,

выставляющего, так сказать, напоказ свои добродетели, подобны стеклам витрины.

Пти-Кло ничего не ответил; он засветил свечу и сжег письмо, сказав самому себе: «Ведь ему нужно составить состояние!»

— Я ваш раб,— сказал фактор.

Давид в смутном беспокойстве ожидал встречи с братьями Куэнте: не споры вокруг договора, не надобность отстаивать свои интересы смущали его, а мнение фабрикантов о его работах — вот что его тревожило! Он напоминал драматурга, ожидающего приговора критиков. Перед самолюбием изобретателя и волнениями, связанными с судьбой его открытия, бледнели все чувства. Короче, в семь часов вечера, в то время, когда графиня дю Шатле под предлогом мигрени ложилась в постель, предоставив мужу принимать приглашенных к обеду гостей,— так она была удручена противоречивыми слухами о Люсьене! — Куэнте-большой и Куэнте-толстый пожаловали вместе с Пти-Кло к своему сопернику, которого они связали по рукам и ногам. Сразу же пришлось столкнуться с основным затруднением: как заключать товарищеский договор с Давидом, не ознакомившись с технической стороной изобретения? А открой Давид тайну своего изобретения, он сдался бы на милость братьев Куэнте. Пти-Кло все же добился, чтобы договор был заключен заранее. Тогда Куэнте-большой попросил Давида показать ему несколько образцов своего производства, и изобретатель представил ему последние изготовленные им листы бумаги, ручаясь за правильную их расценку по себестоимости.

— Ну, вот вам и основание для договора,— сказал Пти-Кло.— Вы можете вступить в товарищество, исходя из этих данных, оговорив право расторгнуть договор, в случае, ежели условия патента окажутся невыполнимыми при фабричном производстве.

— Иное дело, сударь,— сказал Куэнте-большой Давиду,— иное дело изготовлять образцы бумаги в малом количестве, у себя в комнате, в небольшой форме, или же поставить производство в крупном масштабе. Обратите внимание на такой случай: мы вырабатываем цветную бумагу и для ее окраски покупаем совершенно одинаковые партии краски. Скажем, к примеру, индиго, что-

бы *синить* наши *раковины;* мы получаем его ящиками, в которых все куски одинаковой выработки. И что же? Нам никогда не удавалось получить два чана краски одного оттенка... При обработке сырья происходят какие-то неуловимые для нас явления. Количество, качество бумажной массы тотчас же отражаются на производстве. Когда вы закладывали в чан определенное количество сырья,— я не спрашиваю, какого именно,— вы могли распоряжаться по-хозяйски, воздействовать равно на все его составные части, связывать их, месить, разминать по собственному усмотрению, придавать массе однородность... Но кто вам поручится, что в чане на пятьсот стоп бумаги предложенные вами способы производства дадут тот же результат и оправдают себя?..

Давид, Ева и Пти-Кло многозначительно переглянулись.

— Возьмите какой-нибудь подобный пример,— сказал Куэнте-большой, помолчав.— Вы накосили на лугу две охапки сена и, хорошо спрессовав, сложили их у себя в комнате, не давши сену *загореться*, как говорят крестьяне; брожение происходит, но до пожара еще далеко. Решитесь ли вы, опираясь на этот опыт, сложить две тысячи охапок в дровяной сарай? Вы отлично понимаете, что сено воспламенится и сарай ваш сгорит, как спичка. Вы человек образованный,— сказал Куэнте Давиду,— сделайте вывод! Вы покуда скосили две охапки сена, а мы боимся, как бы не прогорела наша фабрика, ежели мы забьем ее двумя тысячами охапок! Короче говоря, мы можем потерять не только содержимое одного чана, но понести крупные потери и остаться с пустыми руками, затратив большие деньги.

Давид был сражен. Практика на своем положительном языке оспаривала теорию, которая вечно ссылается на будущее.

— На кой шут я подпишу такой товарищеский договор! — грубо крикнул Куэнте-толстый. — Бросай на ветер, коли тебе охота, свои денежки, Бонифас, а я свои попридержу... Я предлагаю уплатить долги господина Сешара и в придачу дать еще шесть тысяч франков... то, бишь!.. три тысячи франков векселями,— поправился он,— сроком на год... ну... на год с небольшим... И это уже достаточно рискованно... Нам придется снять две-

надцать тысяч франков со счета Метивье. Вот вам и пятнадцать тысяч франков!.. Нет, шабаш! Я больше ни одного су не прибавлю за это открытие, да и то при условии, что разрабатывать его буду я сам. Вот так находка, о которой мне твердил Бонифас... Ну-ну! Благодарю покорно, я думал, ты умнее. Ну нет, это уж дудки!

— Вопрос сводится к следующему,— сказал тогда Пти-Кло, не испугавшись этой выходки,— угодно вам рискнуть двадцатью тысячами франков и купить изобретение, которое вас обогатит? Помните, господа, размеры барыша всегда зависят от степени риска... Ставка в двадцать тысяч франков может принести целое состояние. Игрок в рулетку ставит один луидор, чтобы выиграть тридцать шесть, но свой луидор вернуть не рассчитывает. Поступайте так же.

— Дайте подумать,— сказал Куэнте-толстый,— я не так силен в делах, как мой брат. Я человек простой, покладистый и смыслю только в одном: обошелся тебе молитвенник в двадцать су, продавай его за сорок! В изобретении, которое только еще разрабатывается, я вижу одно разорение. Повезло с первым чаном, сорвешься на втором, попробуешь еще, увлечешься, сунешь руку в шестерни, потеряешь и голову...

И Куэнте рассказал историю какого-то купца из Бордо, разорившегося на том, что по совету одного ученого он вздумал возделывать болотистые земли; Куэнте привел шесть различных случаев, которые лично наблюдал по соседству, в департаменте Шаранты и Дордони, в промышленности и в сельском хозяйстве; он горячился, не желал ничего слушать, возражения Пти-Кло не только не успокаивали, но еще больше его раздражали.

— По мне, лучше заплатить дороже да приобрести кое-что понадежнее этого изобретения и получать небольшой, но верный доход,— сказал он, поглядывая на брата.— По-моему, дело не настолько еще подвинулось, чтобы основывать предприятие! — сказал он в заключение.

— Ну, так ради чего же вы пришли? — сказал Пти-Кло.— Что же вы предлагаете?

— Освободить господина Сешара и обеспечить ему в случае успеха тридцать процентов с дохода,— с живостью отвечал Куэнте-толстый.

— Ах, сударь,— сказала Ева,— а на что же мы будем жить, пока будут производиться опыты? Мой муж уже испытал позор ареста, он может воротиться в тюрьму, ему терять больше нечего, а с долгами мы расплатимся...

Пти-Кло, глядя на Еву, приложил палец к губам.

— Неразумно, чрезвычайно неразумно! — сказал он, относясь к братьям Куэнте.— Бумагу вы видели, папаша Сешар сам признавался вам, что его сын, запертый им на ночь в подвал, изготовил из сырья, самого что ни на есть дешевого, превосходную бумагу... Вы пришли договориться насчет приобретения патента. Угодно вам его приобрести? Да или нет?

— Видите ли,— сказал Куэнте-большой,— нравится это или не нравится моему брату, я беру на себя риск уплатить долги господина Сешара: я даю шесть тысяч франков наличными, и господин Сешар будет иметь тридцать процентов с дохода; но выслушайте меня внимательно: ежели в течение года он не выполнит условий, которые сам внесет в договор, он обязан будет возвратить нам эти шесть тысяч франков, патент же остается за нами, а мы уж как-нибудь выкрутимся.

— Уверен ли ты в себе? — сказал Пти-Кло, отводя Давида в сторону.

— Да,— сказал Давид, обманутый тактикой братьев и трепетавший при мысли, что Куэнте-толстый сорвет переговоры, от которых зависит его будущность.

— Итак, я иду составлять договор,— сказал Пти-Кло братьям Куэнте и Еве.— Вечером каждый из вас получит копию соглашения, утром вы обсудите условия, а в четыре часа дня, по окончании судебного заседания, подпишете его. Вы, господа, выкупите векселя у Метивье. Я же подам ходатайство о приостановке дела в окружном суде, и мы распишемся во взаимном отказе от претензии.

Вот каковы были обязательства Сешара:

«Мы, нижеподписавшиеся, и пр. ...

Господин Давид Сешар-сын, типограф в Ангулеме, утверждает, что нашел способ равномерно проклеивать бумагу в чане, а также способ снизить себестоимость

производства любых сортов бумаги более чем на пятьдесят процентов посредством введения в бумажную массу растительных веществ, как примешивая их к применявшемуся доселе тряпью, так и применяя их в чистом виде, а посему Давид Сешар-сын и господа братья Куэнте заключили между собою товарищеский договор в целях разработки патента на изобретение на основании следующих условий и статей...»

По одной статье договора Давид Сешар лишался полностью своих прав в случае, если бы условия, изложенные в данной редакции соглашения, тщательно обдуманного Куэнте-большим и принятого самим Давидом, не были им выполнены.

На другой день, в половине восьмого утра, Пти-Кло принес Сешарам договор и сообщил Давиду и его жене, что Серизе предлагает им двадцать две тысячи франков наличными за типографию. Купчую можно будет подписать вечером.

— Но,— сказал он,— ежели Куэнте узнают об этой сделке, они, пожалуй, откажутся подписать договор; от них можно ожидать всяких неприятностей вплоть до распродажи вашего имущества.

— Неужто он выплатит такие деньги? — сказала Ева, удивленная столь нечаянным оборотом дела, в котором она уже разуверилась.— Случись это месяца три назад, мы были бы спасены!

— Деньги при мне,— коротко отвечал стряпчий.

— Да это просто волшебство! — сказал Давид, расспрашивая Пти-Кло о причинах такого счастья.

— Все очень просто: купцы в Умо желают издавать газету,— сказал Пти-Кло.

— Но ведь я лишен права издавать газету! — вскричал Давид.

— Вы?.. Да... Но не ваш преемник... Впрочем,— продолжал он,—это не ваша забота!.. Продавайте типографию, кладите денежки в карман и... предоставьте Серизе обходить все рогатки: он вывернется.

— О да,— сказала Ева.

— Вы обязались не издавать газеты в Ангулеме,— продолжал Пти-Кло,— ну что же, лица, финансирующие Серизе, будут печатать ее в Умо.

Ева, ослепленная надеждой получить тридцать тысяч франков, не знать больше нужды, смотрела теперь на товарищеский договор, как на дело второстепенное. Вот почему чета Сешар проявила уступчивость, когда речь зашла о том пункте договора, который только еще вчера казался им неприемлемым: Куэнте-большой требовал, чтобы патент был взят на его имя. Теперь ему удалось без труда доказать, что, коль скоро права Давида точно оговорены в договоре, не все ли равно, на кого из участников предприятия будет взят патент? А его брат прибавил: «Бонифас дает деньги на патент, он принимает на себя расходы по поездке в Париж, глядишь — еще тысячи две франков из кармана! Пускай он хоть патент выбирает на свое имя, а иначе... мое вам почтение!» Итак, хищники одержали победу по всем статьям. Товарищеский договор был подписан около половины пятого вечера. Куэнте-большой галантно преподнес г-же Сешар шесть дюжин столового серебра и дивную шаль от Терно, желая этими дарами загладить, как он выразился, их бурные споры! Едва успели стороны обменяться копиями договора, едва успел Кашан передать Пти-Кло расписки, прочие документы, а равно и три роковых векселя, подделанных Люсьеном, как вслед за оглушительным грохотом почтовой тележки, остановившейся перед домом, на лестнице послышался голос Кольба:

— *Сутарыня! Сутарыня!* — кричал он.— *Пятнатсать тысяш франков!.. Налишни теньки! Из Буатье* (Пуатье) *от каспатина Люсьена!*

— Пятнадцать тысяч франков! — вскричала Ева, всплеснув руками.

— Получайте, сударыня! — сказал почтальон, входя в комнату.— Пятнадцать тысяч франков доставлены с дилижансом из Бордо! Ну, и измучились же мы с ними! Два человека тащат сюда мешки. Деньги от господина Люсьена Шардона де Рюбампре... Примите, сударыня, вот этот кожаный мешочек, в нем пятьсот франков золотом и, видимо, письмо.

Читая письмо, Ева подумала, что она грезит. Вот оно:

«Милая моя сестра, вот пятнадцать тысяч франков.

Вместо того чтобы лишить себя жизни, я продал свою жизнь. Я больше себе не принадлежу. Мало сказать,

что я секретарь некоего испанского дипломата,— я его раб.

Я сызнова начинаю страшное существование. Пожалуй, лучше было бы мне утопиться.

Прощай! Давида освободят; за четыре тысячи франков он, конечно, купит небольшую фабрику, составит состояние.

Забудьте о вашем бедном брате. Я так хочу!

Люсьен».

— Какая судьба! — вскричала г-жа Шардон, увидев мешки с деньгами.— Рок преследует моего бедного сына, обращая его в орудие зла, как он сам писал, даже когда он делает добро.

— Славно мы сладили дельце! — вскричал Куэнте-большой, когда они вышли на площадь Мюрье.— Часом позже отблески этого золота упали бы на договор, и наш молодчик... Фюить!.. Ну, а через три месяца, как он обещал, будет видно...

В тот же вечер, в семь часов, Серизе купил типографию; он внес деньги и обязался оплатить наем помещения за последнюю четверть года. На другой день Ева передала главноуправляющему сборами сорок тысяч франков для покупки на имя мужа ренты в две с половиной тысячи франков. Потом она написала свекру в Марсак, чтобы он подыскал ей небольшое имение тысяч за десять, в которое она пожелала вложить свое личное состояние.

Замысел Куэнте-большого был чудовищно прост. Он сразу же решил, что проклейка в чане — дело невозможное. Единственный верный источник обогащения он видел в удешевлении бумажной массы путем примеси растительных веществ. Итак, он сделал вид, что якобы не придает большого значения удешевлению сырья, а все надежды возлагает на проклеивание в чане. Что же было тому причиной? В те времена ангулемские фабрики занимались почти исключительно производством писчей бумаги, известной под названием: *экю, цыпленок, школьник, раковина,*— именно таких сортов, которые требуют проклейки. Бумажная промышленность Ангулема издавна славилась производством этих сортов бумаги. Стало быть, эта отрасль производства, освоенная с давних

пор ангулемскими фабрикантами, оправдывала требования Куэнте; но проклеенная бумага, как мы увидим, отнюдь не входила в его расчеты. Спрос на писчую бумагу был крайне ограничен, между тем как потребность в типографской непроклеенной бумаге была неограниченной. Во время поездки в Париж, предпринятой для получения патента на свое имя, Куэнте-большой решил заключить сделки, которые способствовали бы значительному расширению его производства. Куэнте, остановившийся у Метивье, поручил ему в годичный срок перебить у бумажных фабрикантов, обслуживающих парижские газеты, поставку типографской бумаги, спустив цену за стопу до цифры, не доступной ни для одной фабрики, обещая притом доставлять бумагу, своей белизною и качеством превосходящую даже высшие по тому времени сорта. Но так как договоры с газетами заключаются на определенный срок, требовалось известное время на тайные переговоры с парижскими издательствами, прежде чем завоевать господствующее положение в этой отрасли промышленности. Куэнте рассчитывал, что он успеет избавиться от Сешара, пока Метивье будет заключать договоры с крупнейшими парижскими газетами, потреблявшими до двухсот стоп бумаги ежедневно. Куэнте, понятно, заинтересовал в деле Метивье, обязавшись выплачивать ему известный процент с поставок, короче сказать, приобрел в его лице опытного представителя фирмы на парижском рынке и притом освободил себя от необходимости тратить время на поездки в Париж. Именно на этом-то предприятии Метивье, один из крупнейших парижских бумаготорговцев, нажил себе целое состояние. В течение десяти лет он был единственным поставщиком парижских газет, не зная себе соперников. Обеспечив рынок сбыта, Куэнте-большой воротился в Ангулем как раз к самой свадьбе Пти-Кло, который продал контору и ждал назначения преемника, чтобы самому занять место г-на Мило, обещанное ему по милости графини дю Шатле. Младший товарищ прокурора был переведен из Ангулема старшим товарищем прокурора в Лимож, и министр юстиции назначил одного из своих ставленников в ангулемский суд на пост старшего товарища прокурора, ибо должность эта оставалась свободной уже два месяца. Этот промежуток времени при-

шелся на медовый месяц Пти-Кло. В отсутствие Куэнте-большого Давид приготовил первый чан непроклеенной бумаги, качеством значительно выше той, на которой обычно печатаются газеты; затем второй чан великолепной веленевой бумаги, предназначавшейся для роскошных изданий, которой типография Куэнте воспользовалась для издания молитвенников по заказу епархии. Состав бумажной массы был заготовлен самим Давидом втайне от всех, ибо он пользовался только услугами Кольба и Марион.

С возвращением Куэнте-большого все приняло иной оборот: он осмотрел образцы бумаги и не выказал особого восторга.

— Любезный друг,— сказал он Давиду,— специальность Ангулема — это бумага сорта «раковина». Первым делом надобно изготовить наилучший сорт «раковины», причем на пятьдесят процентов ниже обычной ее стоимости.

Давид попробовал приготовить чан проклеенной бумажной массы для «раковины», но бумага получилась шершавая, как щепка, и клей лег на листы комками. В тот день, когда опыт сорвался, Давид с образцами в руках уединился в углу мастерской, он хотел в одиночестве пережить свое горе, но Куэнте-большой не оставил его в покое и, рассыпаясь в любезностях, стал утешать своего совладельца.

— Не падайте духом,— сказал ему Куэнте,— продолжайте опыты! Я малый неплохой, я вас понимаю и доведу дело до конца!..

— Право,— сказал Давид жене, вернувшись домой к обеду,— мы имеем дело с порядочными людьми; никогда бы я не поверил, что Куэнте-большой так великодушен!

И он рассказал о своей беседе с вероломным совладельцем.

Три месяца прошли в изысканиях. Давид даже ночи проводил на фабрике, он наблюдал за действием различных составов бумажной массы. То он приписывал свою неудачу примеси тряпья к растительным веществам и ставил опыты, пользуясь исключительно составом своего изобретения. То он пробовал проклеивать тряпичную массу без каких-либо примесей. И, одержимый сво-

ей идеей, бедняга с удивительной настойчивостью, на глазах у Куэнте-большого, которого он уже не остерегался, переходил от одного вещества к другому, пока не испробовал все имевшиеся в его распоряжении составы в соединении с различными сортами клея.

Первые шесть месяцев 1823 года Давид Сешар буквально жил на бумажной фабрике вместе с Кольбом, если можно назвать жизнью полное небрежение к пище, одежде и самому себе. Он так отчаянно боролся с трудностями, что люди иного разбора, чем Куэнте, смотрели бы на него с благоговением, ибо никакие корыстные побуждения не руководили этим отважным борцом. Были минуты, когда он желал только одного: победы! С чудесной прозорливостью он наблюдал удивительные превращения веществ, когда природа как бы уступает человеку в тайном ее противодействии; из своих наблюдений он вывел замечательные технические законы, постигнув путем опыта, что добиться созидательной удачи можно, только повинуясь сокровенной взаимосвязи явлений, которую он называл второй природой вещей. Наконец в конце августа месяца ему удалось получить проклеенную в чане бумагу совершенно такую же, какая изготовляется в настоящее время и идет в типографиях на корректуры, но бумага эта получается не всегда одного качества и зачастую неряшливо проклеена. Достижение, столь превосходное в 1823 году, принимая во внимание тогдашнее состояние бумажной промышленности, обошлось в десять тысяч франков, и Давид уже надеялся преодолеть последние трудности своей задачи. Между тем в Ангулеме и Умо пошли странные слухи: Давид Сешар разоряет-де братьев Куэнте. Истратив якобы тридцать тысяч франков на опыты, он в конце концов получил скверную бумагу. Фабриканты, встревоженные слухами, еще крепче держались за испытанные способы производства и из зависти к Куэнте распускали слухи о близком крахе этой честолюбивой фирмы. Тем временем Куэнте-большой выписывал машины для выработки рулонной бумаги, предоставляя ангулемцам думать, что машины нужны Давиду Сешару для его опытов. Но иезуит, по-прежнему поощрявший Сешара заниматься исключительно опытами проклеивания бумаги в чане, сам меж тем не терял времени и, пользуясь рецептами Давида,

примешивал к тряпичной массе растительные вещества и отправлял Метивье тысячи стоп газетной бумаги.

В сентябре месяце Куэнте-большой, оставшись как-то наедине с Давидом, узнал, что тот замыслил поставить опыт, суливший успех; он стал отговаривать его от дальнейшей борьбы.

— Любезный Давид, поезжайте-ка в Марсак, повидайтесь с женой да отдохните от трудов! Видите ли, мы боимся разориться,— дружески сказал он ему.— То, что вам представляется великой победой, всего только отправная точка. Надобно повременить с новыми опытами. Ну, посудите сами, чего мы достигли? Мы ведь не только фабриканты, мы типографы, банкиры, а идет молва, что вы нас разоряете... (Давид сделал умилительный по своей наивности жест, как бы уверяя в своей добросовестности.) Нас не разорят пятьдесят тысяч франков, выброшенных в Шаранту,— сказал Куэнте-большой в ответ на жест Давида,— но клевета, пущенная на наш счет, подрывает доверие к платежеспособности нашей фирмы, нам, пожалуй, предложат скоро расплачиваться наличными, и тогда придется приостановить сделки. Видите ли, срок нашего договора с вами истекает, надобно обеим сторонам серьезно подумать.

«Он прав»,— сказал про себя Давид. Поглощенный своими опытами, поставленными на широкую ногу, он не замечал того, что творилось на фабрике.

И он воротился в Марсак, куда в течение последних шести месяцев он уезжал каждую субботу вечером и возвращался оттуда утром в понедельник. По совету старика Сешара Ева купила усадьбу, примыкавшую к виноградникам ее свекра, называвшуюся Вербери, с тремя десятинами земли под садом и виноградником, который клином вдавался в виноградники старика. Ева жила там чрезвычайно скромно с матерью и Марион; за это прелестное поместье, самое красивое в Марсаке, ей ведь нужно было уплатить еще пять тысяч франков! Дом, расположенный между двором и садом, был построен из белого песчаника, крыт шифером и украшен изваяниями, высеченными из того же песчаника, который легко поддается резцу и не требует при обработке особых издержек. Красивая мебель, вывезенная из Ангулема, казалась еще красивее в деревне, ибо в то время в этих кра-

ях никто не дозволял себе ни малейшей роскоши. В саду перед домом росли гранатовые, апельсинные деревья и редкие растения, посаженные еще прежним владельцем усадьбы, старым генералом, павшим от руки г-на Маррона. Под этими-то деревьями, в обществе старика-отца, Давид и его жена играли однажды с малышом Люсьеном, когда сам судебный пристав из Манля вручил им повестку, которой братья Куэнте вызывали своего компаньона на третейский суд, ибо ввиду истечения срока договора должно было рассмотреть их взаимные претензии. Братья Куэнте требовали возмещения шести тысяч франков, передачи патента в их собственность, а также доли от доходов Давида при дальнейшей разработке изобретения в покрытие огромных, не оправдавших себя издержек.

— Говорят, ты их разоряешь! — сказал винокур сыну.— Вот это славно! Хоть раз в жизни ты, сынок, порадовал отца.

На другой день в девять часов утра Ева и Давид сидели в приемной г-на Пти-Кло, ставшего защитником вдов, опекуном сирот, а для них единственным советчиком, которому они доверяли. Чиновник судебного ведомства оказал радушный прием своим прежним клиентам и настоял на том, чтобы чета Сешар доставила ему удовольствие, оставшись с ним позавтракать.

— Куэнте требуют с вас шесть тысяч франков? — сказал он с усмешкой.— А сколько еще должны вы заплатить за Вербери?

— Пять тысяч франков, сударь, но две тысячи у меня уже есть... — отвечала Ева.

— Приберегите-ка ваши две тысячи,— отвечал Пти-Кло.— Стало быть, пять тысяч!.. Вам требуется еще десять тысяч, чтобы устроиться там как следует. Ну, что ж, через два часа Куэнте предоставят вам пятнадцать тысяч франков...

Ева удивленно посмотрела на него.

— ...в случае вашего отказа от всех доходов по товарищескому договору, который вы расторгнете полюбовно,— сказал чиновник.— Согласны?

— И все будет вполне законно? — сказала Ева.

— Вполне законно, — сказал чиновник, улыбаясь. — Куэнте причинили вам достаточно горя, я хочу положить

предел их притязаниям. Видите ли, теперь я должностное лицо и обязан открыть вам всю правду. Так знайте же, братья Куэнте вас обманывают, но вы в их руках. Ежели бы вы приняли бой, то могли бы выиграть тяжбу, которую они затевают. Но неужели вы пожелаете тягаться с ними? Ведь это будет тянуться лет десять! Начнутся бесконечные экспертизы и третейские суды, и вы окажетесь под ударом противоречивых решений!.. Притом,— сказал он с усмешкой,— я не знаю сейчас ни одного стряпчего, который мог бы вас защитить... Мой преемник бездарен. И право, худой мир лучше доброй ссоры.

— Любое соглашение, если оно принесет нам спокойствие, будет мне по душе,— сказал Давид.

— Поль! — крикнул Пти-Кло слуге.— Пригласите сюда господина Сего, моего преемника!.. Покамест мы завтракаем, он повидается с Куэнте,— сказал он своим бывшим клиентам,— а через несколько часов вы воротитесь в Марсак разоренные, но спокойные. Десять тысяч франков обеспечат вам еще пятьсот франков ренты, и вы станете жить счастливо в своей прелестной усадьбе!

Часа два спустя, как и сказал Пти-Кло, мэтр Сего принес составленные по всем правилам бумаги, которые подписаны были братьями Куэнте, и пятнадцать тысяч франков банковыми билетами.

— Мы много тебе обязаны,— сказал Сешар Пти-Кло.

— Но я ведь только что вас разорил,— отвечал Пти-Кло удивленным клиентам.— Да, да! Я вас разорил... И вы сами поймете это со временем. Но я знаю вас: разорение для вас предпочтительнее богатства, которое пришло бы, пожалуй, чересчур поздно.

— Мы, сударь, люди не корыстолюбивые, мы благодарны вам за то, что вы дали нам средства жить счастливо,— сказала Ева,— и мы вечно будет вам признательны.

— Боже мой! Они же еще благословляют меня!..— сказал Пти-Кло.— Вы тревожите мою совесть; но надеюсь, что ныне я все искупил. Если я стал членом суда, то лишь благодаря вам, и если кто и должен быть признателен, так это я... Прощайте!

Со временем Кольб переменил свое мнение насчет папаши Сешара, который, с своей стороны, привязался

к эльзасцу, убедившись, что тот, как и он, не силен в грамоте и не прочь выпить. Бывший Медведь научил бывшего кирасира ухаживать за виноградником и продавать вино, положив оставить своим детям человека с головой, ибо в последние дни своей жизни он испытывал ребяческий страх за судьбу своего имения. В наперсники он взял мельника Куртуа.

— Вот поглядите,— говорил он ему,— что будет с моими детьми, когда я лягу в могилу. Меня страх берет за их будущее.

В марте 1829 года старик Сешар умер, оставив почти на двести тысяч франков земель; будучи присоединены к Вербери, они составили великолепное имение, которым вот уже два года чрезвычайно рачительно управлял Кольб. Давид и его жена нашли у отца около ста тысяч экю золотом. Народная молва, как всегда, преувеличила сокровища старого Сешара, и вся Шаранта оценивала их в миллион. Ева и Давид, присоединив к наследству свое небольшое состояние, обеспечили себе около тридцати тысяч ренты, ибо они еще некоторое время выжидали, прежде чем пристроить свои капиталы, и обратили их в государственные бумаги уже во время Июльской революции. Тогда только департамент Шаранты и Давид Сешар поняли, каким огромным состоянием обладал Куэнте-большой. Богач-миллионер, избранный депутатом, Куэнте-большой является ныне пэром Франции и, как говорят, метит в министры торговли при ближайшей смене кабинета. В 1842 году он женился на дочери одного из самых влиятельных при дворе государственных деятелей, на мадемуазель Попино, дочери Ансельма Попино, депутата города Парижа, мэра округа.

Изобретение Давида Сешара стало питать французскую промышленность, как полезная пища питает огромное тело. Заменив тряпье новым сырьем, Франция может выделывать бумагу дешевле всех европейских стран. Но голландская бумага, как и предсказал Давид, исчезла с рынка. Рано или поздно понадобится, конечно, основать королевскую бумажную фабрику, как были основаны Гобелены, Севр, Савонри и королевская типография, и поныне противостоящие ударам, которые наносят им буржуазные вандалы.

У Давида Сешара, любимого женою, отца двух сыно-

вей и дочери, достало выдержки никогда не вспоминать о своих опытах. Ева сумела убедить его отречься от страшного призвания изобретателей, этих Моисеев, испепеляемых купиной Хорива. Он на досуге занимается литературой, ведет ленивую, спокойную жизнь помещика, пекущегося о благоустройстве своего имения. Безвозвратно простясь со славой, он отважно вступил в ряды мечтателей и собирателей редкостей; он увлекается энтомологией, исследует таинственную доныне эволюцию тех насекомых, которых наука знает только в их последнем состоянии.

Все слышали об успехах Пти-Кло на поприще главного прокурора; он соперник знаменитого Вине из Провена, и его честолюбие уже влечет его на пост старшего председателя королевского суда в Пуатье.

Серизе, неоднократно судившийся за политические преступления, снискал широкую известность. Самый отчаянный из блудных детищ либеральной партии, он был прозван Отважным-Серизе. Когда преемник Пти-Кло вынудил его продать типографию в Ангулеме, он избрал своим поприщем провинциальную сцену, и его незаурядный актерский талант сулил ему блестящий успех. Некая актриса на ролях любовниц заставила его поехать в Париж искать у науки исцеления от любви, и там он пытается обратить в звонкую монету благосклонность либеральной партии.

Что касается до Люсьена, его возвращение в Париж относится к *Сценам парижской жизни*.

1835—1843 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены провинциальной жизни

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Стр. 16. *...вы доставили в гавань... жалкую обезьянку...* — намек на басню Лафонтена «Обезьяна и дельфин», в которой рассказывается, как дельфин, думая, что он спасает человека, доставил на берег тонувшую обезьяну.

«Данаиды» — опера композитора Сальери (1750—1825).

Стр. 17. *Квартал Марэ* — один из районов Парижа, где в описываемое время жили мелкие торговцы, чиновники, ремесленники.

Стр. 19. *Тигр* — так на жаргоне светских щеголей назывался мальчик, выездной лакей, сопровождавший своих господ на прогулках.

Стр. 28. *...автора «Урики»...* — Речь идет о второстепенной французской писательнице Кларе де Дюрас (1777—1828) и ее повести о жизни негритянской девушки в Париже.

Стр. 31. *Селимена* — действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп», светская кокетка.

Стр. 35. *Лоншан* — излюбленное место прогулок парижан.

Триумфальная арка — была воздвигнута в Париже в память побед наполеоновской армии. Ее строительство, начатое при Наполеоне I, было закончено лишь в 1836 году.

Стр. 36. *Фукье-Тенвиль*, Антуан-Кантен (1746—1795) — общественный обвинитель революционного трибунала в период якобинской диктатуры.

Стр. 44. *...слово десерт... здесь не окажется «Хартией»* — то есть не будет таким же обманом, каким оказалась так называемая «Конституционная хартия» Людовика XVIII.

Стр. 49. *Флери* — псевдоним французского актера Абраама-Жозефа Бенара, исполнителя ролей «великосветских нахалов».

Батисты — псевдоним французских комических актеров братьев Ансельмов, Николà и Поля.

Мишо, Антуан — французский комический актер.

Стр. 50. «*Отшельник*» — псевдоисторический роман виконта д'Арленкура (1789—1856) на сюжет, взятый из средневековой истории Франции.— *Дюканж*, Виктор (1783—1833) — второстепенный французский романист и драматург.—«*Леонид, или Старуха из Сюрена*»—роман Дюканжа.— *Кератри*, Огюст-Илларион (1769—1859) —французский либеральный политический деятель и публицист. Речь идет о его книге «Нравственные и физиологические наблюдения».

Лавокà (1790—1854) — парижский книгоиздатель.

Стр. 51 *Пикар*, Луи-Франсуа (1769—1828) — французский актер и драматург, автор бытовых комедий.

Стр. 55. *Жан-Жак* — то есть Жан-Жак Руссо.

Стр. 60. «*Пожар!.. Одеон горит!*» — Парижский театр «Одеон» сгорел в 1818 году (об этом пожаре и говорит д'Артез). Через год театр был восстановлен.

Стр. 61. *Тереза* — Тереза Левассер (1721—1801), жена Жан-Жака Руссо.

Стр. 65. *Луи*.— Имеется в виду Луи Ламбер, герой одноименного произведения Бальзака.

Стр. 66. Стерн, Лоренс (1713—1768)—английский писатель, представитель сентиментального направления в английской литературе.

Стр. 67. *...знаменитый спор между Кювье и Жоффруа Сент-Илером*...—Известный французский ученый-зоолог Жоффруа Сент-Илер (1772—1844) выдвинул прогрессивную для своего времени научную теорию единства строения организмов животного мира, которую Кювье оспаривал. Спор между ними, о котором упоминает Бальзак, имел место позднее описываемых событий — в 1830 году.

...пантеиста и поныне здравствующего и высокочтимого в Германии.— Имеется в виду Иоганн-Вольфганг Гете (1749—1832).

Стр. 70. *Басня «Два друга»*.— Бальзак имеет в виду басню Лафонтена, носящую это название.

Стр. 71. «*Энциклопедическое обозрение*» — научно-популярный журнал либерального направления, выходивший в Париже с 1819 по 1833 год.

Стр. 77. *...кого, как Данте, будет охранять божественный лавр Вергилия*.— В поэме великого итальянского поэта Данте (1265—1321) «Божественная комедия» его проводником по аду и чистилищу является римский поэт Вергилий.

Стр. 81. *Фуа*, Максимилиан-Себастьян (1775—1825)—наполеоновский генерал, в период Реставрации один из руководителей либеральной оппозиции.

Стр. 84. *...они стараются для сына того*...— «Тот», «Он», «Маленький капрал» — так в целях конспирации сторонники Наполеона I называли его в период Реставрации. «*Сын того*» — сын Наполеона, которого в двадцатые годы XIX века бонапартисты надеялись возвести на престол.

Стр. 85. «*Германик*» — трагедия в стихах Антуана-Винсента Арно (1766—1834). Впервые поставленная в 1817 году, она вызвала столкновение между либералами и роялистами в связи с содержавшимися в пьесе намеками на роялистскую реакцию.

Стр. 88—90. Сонеты «*Анемон*» и «*Камелия*» написаны по просьбе Бальзака поэтом Ласайи, сонет «*Маргаритка*» — Дельфиной Жирарден, сонет «*Тюльпан*» — Тесфилем Готье.

Стр. 89. *Аристарх* — древнегреческий ученый (II век до н. э.), исследователь Гомера; в переносном смысле — строгий, но справедливый критик.

Стр. 95. «*Тысяча и один день*» — сборник персидских сказок, переведенных на французский язык и изданных в Париже в начале XVIII века.

Стр. 96. «*Конституционель*»—французская газета, проводившая в период Реставрации взгляды конституционалистов-роялистов, так называемых доктринеров (см. примечание к стр. 152, Паскье).— «*Деба*» («Журналь де Деба э Декрэ») — ежедневная газета, в период Реставрации — орган роялистов.

Стр. 97. «*Оберман*» — роман французского писателя-романтика Этьена Пивера де Сенанкура (1770—1846).

Стр. 100. *Лампа Карселя* — усовершенствованная масляная лампа.

Цилиндрик Фюмада — карманный зажигательный прибор.

Стр. 102. *Сен-Клу* — городок неподалеку от Парижа вниз по течению Сены; здесь река была перегорожена специальными сетями, чтобы вылавливать тела утопленников.

Стр. 104. «*Гиппократ, отвергающий дары Артаксеркса*» — картина французского художника Луи Жироде (1767—1824).

Шейлок— действующее лицо комедии Шекспира «Венецианский купец», ростовщик.

Стр. 107. ...*против Орлеанов был возбужден процесс*...— Орлеаны — боковая ветвь французских королевских династий Валуа и Бурбонов. Герцогам Орлеанским принадлежал в Париже старинный дворец Пале-Руаяль, построенный в XVII веке; в примыкавших к нему галереях отцом будущего французского короля Луи-Филиппа с коммерческой целью были устроены помещения для магазинов, кафе и игорных домов.

Стр. 108. *Курье де Мере*, Поль-Луи (1772—1825) — французский политический писатель и памфлетист. В своих памфлетах высмеивал реакционные мероприятия французского правительства периода Реставрации.

Стр. 109. *Косморама*—нарисованные виды крупнейших городов мира, помещенные под особыми оптическими стеклами, создающими впечатление глубины и перспективы.

Стр. 110. «*Смарра*» и «*Жан Сбогар*» — произведения французского писателя-романтика Шарля Нодье (1780—1844). — «*Петер Шлемиль*»—фантастическая повесть немецкого писателя Адельберта Шамиссо (1781—1838).— «*Жоко*» — книга французского ученого и писателя Шарля Пужена (1755—1839) «Жоко, эпизод из неизданных писем об инстинктах животных».

Стр. 114. «*Литературная Минерва*» — парижская газета либерального направления, основанная в 1820 году и просуществовавшая менее двух лет.— «*Консерватор*» — газета крайних роялистов, выходившая в Париже в 1818—1820 годах.

Стр. 115. *Дюссо*, Франсуа-Жозеф (1769—1824), *Фьеве*, Жозеф (1767—1839), *Жоффруа*, Жюльен-Луи (1743—1814), *Гофман*,

Франсуа-Бенуа (1760—1828) — французские литераторы (публицисты и литературные критики), сотрудничавшие в период Наполеоновской империи и Реставрации в газете «Журналь де Деба».

Стр. 117. *Леклер*, Теодор (1777—1851) — второстепенный французский драматург, автор небольших бытовых пьес.—*Жэ*, Антуан (1770—1854) — французский публицист и литературный критик, редактор газеты «Конститюсьонель».—*Жуи*—псевдоним французского литератора, либерального публициста Виктора-Жозефа Этьена (1764—1846).

Виньон и *Верну* — журналисты, вымышленные действующие лица романа.

Стр. 118 *...таким сочинениям, как «Иностранный театр», «Победы и завоевания» или «Мемуары о революции»...*— Серия «Лучшие произведения иностранных театров» в переводах на французский язык издавалась в Париже в 1822—1823 годах. Многотомное издание «Победы и завоевания французов» выходило в Париже в 1817—1821 годах. Особенно подробно в нем были освещены войны периода французской буржуазной революции XVIII века и Наполеоновской империи. «Собрание мемуаров, относящихся к французской революции» начало выходить в Париже в 1822 году.

Стр. 119. *«Корсар»* и *«Лара»* — поэмы Байрона (1788—1824).

Делиль, Жак (1738—1813) — французский поэт и переводчик; перевел на французский язык произведения Вергилия и Мильтона.

Стр. 123. *Потье*, Шарль (1775—1838) — французский комический актер.

Порт-Сен-Мартен — парижский театр; во второй половине двадцатых годов XIX века здесь ставились пьесы писателей-романтиков.

Стр. 124. *...мелодрамы «Бертрам» — пьесы, написанной в подражание... трагедии Матюрена...*— Речь идет о французской переделке трагедии «Бертрам» английского писателя-романтика Чарльза-Роберта Матюрена (1782—1824), автора известного в первой половине XIX века романа «Мельмот-скиталец».

«Газетт».— Имеется в виду «Газетт де Франс» — французская газета, основанная в 1631 году; в период Реставрации — орган роялистов.

Стр. 126. *Паста*, Джудитта (1798—1865)—итальянская певица, неоднократно выступавшая в Париже.—*«Танкред»* —опера итальянского композитора Россини (1792—1868).

Стр. 127. *Бог Терминус* (Терм) — в древнеримской мифологии бог, хранитель границ; его изображения ставились в виде столбов на границах земельных участков.

Имброльо (итал.) — пьеса со сложной, запутанной интригой.

Стр. 133. *Мадемуазель Марс* (1779—1847) — французская комедийная актриса.

Стр. 135. *Бейль*, Пьер (1647—1706) — французский писатель и философ, автор «Исторического и критического словаря», сыгравшего большую роль в развитии философии французских буржуазных просветителей XVIII века.

Стр. 141. *Канцлер Крузо*.— Этим именем в период Реставрации называли виконта Шарля-Анри Дамбре, с 1815 года занимавшего пост французского канцлера.

Стр. 145. *Томир*, Филипп (1751—1843) — французский скульптор и резчик по металлу, главным образом по бронзе.

Стр. 146. *Лаиса* — греческая куртизанка, жившая в IV в. до н. э.

Стр. 148. *Жеронт* — персонаж комедии французского писателя Реньяра (1655—1709) «Единственный наследник», дряхлый старик.

Стр. 150. «*Фигаро*»—сатирическая газетка, выходившая в период Реставрации в Париже под редакцией Латуша и Рокплана.

Стр. 152. *Виконт Демосфен.*— Под этим именем подразумевается виконт Состен де Ларошфуко. Ведая в царствование Карла X изящными искусствами во Франции, он предписал удлинить юбки балерин и приклеить фиговые листки из картона к статуям в музее Лувра. Эти распоряжения вызвали многочисленные иронические отклики в оппозиционных газетах.

Паскье, Этьен-Дени (1767—1862) — умеренный роялист, примыкавший к доктринерам. Доктринерами во Франции в период Реставрации называли политическую группу конституционалистов-роялистов, представлявших интересы крупной буржуазии; они стояли за соблюдение «Конституционной хартии», подписанной Людовиком XVIII в 1814 году, и выступали против крайних роялистов.

Деказ, Эли (1780—1860) — умеренный роялист, входивший в число доктринеров.

Стр. 157. *Бобеш* — французский балаганный актер, выступавший в период Реставрации на открытых подмостках в Париже.

Стр. 159. *Шарле*, Никола-Туссен (1792—1845) — французский художник.

Стр 165. «*Сокровищница фей*» — многотомное иллюстрированное собрание французских сказок.

Стр. 166. *Кавдинское ущелье.*— Во время второй Самнитской войны (IV век до н. э.) римское войско, окруженное противником в Кавдинском ущелье, было вынуждено капитулировать и в знак покорности и позора пройти «под ярмом» — под скрещенными копьями. Бальзак употребляет здесь это выражение, желая подчеркнуть примирение Люсьена с позорными для него обстоятельствами.

Стр. 187. *Мы встретимся сегодня у Барбена...*— цитата из комедии Мольера «Ученые женщины». *Барбен* — парижский книгоиздатель XVII века.

Фредерик — псевдоним второстепенного французского драматурга Фредерика Дюпети (1785—1827).

Стр. 188. *Итальянцы* — то есть театр Итальянской оперы в Париже.

Стр. 189. *Бобино* — французский балаганный актер, выступавший в период Реставрации в небольших пантомимах и фарсах.

«*Фюнамбюль*» — организовавшаяся в 1815 году театральная труппа канатных плясунов и эквилибристов. Позднее театр «Фюнамбюль» ставил также пантомимы и фарсы.

Мадам Саки — французская канатная плясунья.

Беньо, Жак-Клод (1761—1835) — французский политический деятель, умеренный роялист.

Отказ в погребении.— Французская церковь отказывала в погребении на кладбище самоубийц, а также людей свободомысля-

щих; это являлось основанием для резких политических нападок на правительство со стороны либеральной оппозиции.

Рейналь, Гийом-Тома (1713—1796) — французский буржуазный просветитель, автор широко известного в конце XVIII века сочинения «Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях». В книге содержится страстный протест против работорговли и рабства.

Стр. 190. *Неккер*, Жак (1732—1804) — женевский банкир, переселившийся во Францию; был министром финансов в правление Людовика XVI.

Стр. 196. *Госс*, Этьен (1773—1834) — французский писатель и журналист, автор комедий, романов и книги басен.

Дюваль, Александр (1767—1842) — второстепенный французский драматург, автор комедий и либретто к комическим операм.

Баур-Лормиан, Пьер (1770—1854) — второстепенный французский поэт, перевел на французский язык «Поэмы Оссиана» Макферсона.

Стр. 203. *Контрафакция* — перепечатка произведения без ведома и согласия автора. Бальзак имеет в виду спекуляции парижских издателей, печатавших книги французских писателей в Бельгии, ничего не платя за них авторам.

Стр. 205. «*Месенские элегии*» — сборник стихотворений французского поэта Казимира Делавиня (1793—1843).

Стр. 206. «*Манлий Капитолийский*» — трагедия второстепенного французского драматурга Антуана Лафосса (1653—1708).

Стр. 207. *Потози* — город в Боливии, славившийся своими богатыми серебряными рудниками.

Стр. 212. «*Меркюр*» — либеральная газета, выходившая в Париже в 1823—1830 годах.

Стр. 213. *Юлия* и *Клара* — действующие лица романа в письмах Жан-Жака Руссо «Новая Элоиза».

Стр. 221. *Тюркаре* — действующее лицо одноименной комедии французского писателя Алена-Ренэ Лесажа (1668—1747), лакей, разбогатевший путем спекуляции.

Стр. 240. *Герцог Беррийский* — племянник Людовика XVIII, сын будущего короля Карла X; был убит в феврале 1820 года шорником Лувелем.

Стр. 256. *Аретино*, Пьетро (1492—1556) — итальянский писатель, сатирик и памфлетист. Язвительных памфлетов Аретино побаивались современные ему короли и правители, стремившиеся откупиться от его нападок деньгами.

Стр. 268. Газета «*Фудр*», выходившая в Париже в 1821—1823 годах, и газета «*Драпо блан*», выходившая в Париже в 1819—1830 годах,— органы крайних роялистских кругов.

Стр. 269. ...*дикие жестокости, как в 1815—1816 годах*...— Бальзак имеет в виду террор крайних роялистов, обрушившийся в те годы во Франции на республиканцев и сторонников Наполеона I.

Стр. 270. *Мартенвиль*, Альфонс-Луи (1776—1830)—французский журналист и публицист периода Реставрации, представитель крайних роялистских кругов; основал газету «Драпо блан».

Оже, Луи-Симон (1772—1829) — французский журналист и

литературный критик; в период Реставрации сотрудничал в ряде роялистских газет и журналов.

Дэстен, Эжен (1793—1830) — французский литератор и реакционный журналист периода Реставрации.

Стр. 275. *Пекский мост* — мост, по которому войска союзников, вторгшиеся во Францию, в 1815 году перешли реку Сену вблизи Парижа.

Стр. 276. *Фрерон*, Эли (1719—1776) — французский реакционный литературный критик XVIII века, противник Вольтера и других просветителей.

Стр. 287. *Милон Кротонский*—древнегреческий атлет, живший в VI веке до н. э.

Стр. 290. *Чинти*—псевдоним известной французской певицы Синтии Монталан (1801—1863).

Гарсиа, Мануэль-Винсент (1775—1832) — французский тенор, отец знаменитых французских певиц Марии Малибран и Полины Виардо.

Левассер, Никола-Проспер (1791—1871) — известный французский певец.

Стр. 291. *Маленькая Фэ* — Леонтина Фэ (1811—1876), французская комическая актриса; начала выступать на сцене с пяти лет.

Стр. 292. *...партию брата короля* — то есть группу крайних роялистов, сторонников брата Людовика XVIII, графа д'Артуа, будущего французского короля Карла X.

Стр. 293. «*Корсар*» —небольшая газета либерального направления, издававшаяся в Париже в 1823—1852 годах.

«*Курьер*» (позднее «Французский курьер») — газета либерального направления, выходившая в Париже в 1819—1848 годах.

Стр. 297. «*Аристарх*» («Французский Аристарх») — роялистская «политическая, историческая и литературная» газета, издававшаяся в Париже в 1815—1827 годах.

«*Орифламма*» — роялистская газета, проводившая «доктрины религиозные и монархические»; выходила в Париже в 1824—1825 годах.

Стр. 315. *Уврар*, Габриэль-Жюльен (1770—1846) — французский банкир и финансист; приобрел «известность» крупными и рискованными спекуляциями.

Стр. 322. *Сеид* — раб Магомета, первым признавший ислам; в переносном смысле — ревностный приверженец.

Стр. 338. *Мерсье*, Луи-Себастьян (1740—1814) — французский писатель, автор утопического романа «2440 год» и книги «Картины Парижа», в которой дано яркое изображение быта и нравов парижского общества второй половины XVIII века.

Стр. 340. *Грендорж*, Андре — французский ткач, живший в XVI веке.

Руве, Жан, живший в XVI веке в городе Кламси, по преданию, впервые применил во Франции способ сплава леса плотами.

Ван Робе основал в 1665 году во французском городе Абевиле ткацкую мануфактуру, сукна которой успешно конкурировали с лучшими в то время в Европе фландрскими сукнами.

...персианин, который открыл марену...— Жан Альтен (1709—1774) — агроном, по происхождению перс; большую часть жизни

прожил во Франции; ввел там культуру восточного растения — марены, из корней которой добывал ализарин — краситель для тканей.

Стр. 342. *Ласказ*, Дьедоне — один из приближенных Наполеона, сопровождавший его в изгнание на остров св. Елены.

Стр. 351. *Лаблаш*, Луи (1794—1858) — французский певец.

Стр. 366. *Фабий Кунктатор* (то есть «Медлитель») — римский консул в период II Пунической войны между Римом и Карфагеном (конец III века до н. э.). Уклоняясь от решительного сражения с карфагенским войском, высадившимся в Италии, Фабий применял тактику длительного маневрирования, рассчитанную на истощение противника.

Стр. 370. *Сантиар* — мера площади, сотая часть ара (1 квадратный метр).

Стр. 381. *Помона*—в античной мифологии богиня—покровительница садоводства.

Стр. 409. «*Элоа*»—поэма французского романтика Альфреда де Виньи (1797—1863).— *Гез де Бальзак*, Жан-Луи— французский писатель XVII века.

Дюпюитрен, Гийом (1777—1835) — французский хирург.

Монлозье, Франсуа-Доминик (1755—1838) — французский реакционный публицист.

Стр. 410. ...*девиз: «Единение и забвение»*.—Речь идет о демагогической фразе, содержавшейся в так называемой «Конституционной хартии», подписанной Людовиком XVIII в 1814 году.

...*пост председателя большой избирательной коллегии*...— В 1820 году во Франции была восстановлена система двух избирательных коллегий для выборов в палату депутатов: малых коллегий в округе (здесь голосовали избиратели, обладавшие определенным имущественным цензом) и больших коллегий в департаменте (здесь вторично голосовали лишь избиратели с высоким имущественным цензом). Представители дворянства и крупной буржуазии могли голосовать дважды, обеспечивая избрание в палату желательных им кандидатов.

Стр. 424. *Диманш* — действующее лицо комедии Мольера «Дон-Жуан».

«*Лафлер, наполни золотом мои карманы!*» — фраза из комедии Реньяра, где действует честный и вместе с тем ловкий слуга Лафлер.

Стр. 425. *Дювике*, Пьер (1766—1835) — парижский театральный критик.

Стр. 426. «*Крыса*».— В романе «Блеск и нищета куртизанок» Бальзак так объясняет это слово: «Крыса», прозвище, уже устаревшее, обозначало девочку в возрасте десяти-одиннадцати лет, статистку какого-либо театра, чаще всего оперы; развратники растили ее для порока и бесчестья».

Стр. 436. *Пейронне*, Шарль (1778—1854), граф,— французский реакционный политический деятель, крайний роялист.

Стр. 443. *Лозен*.—Пти-Кло иронически сравнивает Люсьена с герцогом де Лозеном, который пленил двоюродную сестру Людовика XIV и вопреки воле короля в конце концов женился на ней.

Стр. 455. *Мальзерб*, Гийом (1721—1794) — французский политический деятель.

Стр. 460. *Поэт во Франции не обязан быть бенедиктинцем...* — Во Франции некоторые монахи ордена бенедиктинцев собирали древние рукописи по истории и литературе, занимались палеографией и комментированием древних текстов.

Стр. 461. *Кер, Жак* (ок. 1395—1456)—французский купец, нажививший на торговле с Востоком (в том числе на работорговле) огромное состояние; казначей Карла VII. Был обвинен придворными кругами, заинтересованными в конфискации его имущества, в государственной измене, бежал из Франции и умер в изгнании.

Стр. 464. *Скрытность... девиз нашего ордена...* — Речь идет об ордене иезуитов.

Стр. 466. *Брелан карре* — комбинация одинаковых карт, обеспечивающая выигрыш в азартной карточной игре брелан.

Стр. 467. *«Когда вы освободите меня, прикажите повесить всех тех, кто мною ныне обласкан...»* — Эти слова историки приписывают испанскому королю Фердинанду VII (1784—1833), в царствование которого произошло антимонархическое восстание 1820—1823 годов под руководством Риего и Квирога. Фердинанд VII, сделав вид, что принимает требования восставших, тайно вступил в переговоры с Людовиком XVIII и французскими роялистами и с помощью французских войск жестоко подавил восстание.

Эфрит — упоминаемый в арабских сказках «дух», подчиненный более сильному «духу» — гению.

Чоглан — придворный чин при дворе турецкого султана.

Архиепископ Гренадский — один из героев романа французского писателя Алена-Ренэ Лесажа «Жиль Блас из Сантильяны».

Стр. 468. *Гаррота* — средневековое испанское орудие смертной казни путем удушения.

Стр. 471. *«Спасенная Венеция, или Раскрытый заговор»* — трагедия английского драматурга Томаса Отвэя (1652—1685).

Стр. 472. *«Потерянный рай»* — эпическая поэма известного английского поэта XVII века Джона Мильтона (1608—1674).

Аббат де Вермон — учитель французского языка австрийской принцессы Марии-Антуанетты, впоследствии жены Людовика XVI; в дальнейшем был ее приближенным.

Стр. 473. *...с мнимым испанским дипломатом...* — Мнимый испанский аббат Эррера — беглый каторжник Жак Коллен, по прозвищу Обмани-Смерть; действующее лицо ряда произведений Бальзака, входящих в «Человеческую комедию»; обычно он выступает под именем Вотрена.

Стр. 483. *Манюэль, Жак-Антуан* (1775—1827)— французский политический деятель, в 1818—1823 годах член палаты депутатов, находившийся в открытой оппозиции к правлению Бурбонов.

Стр. 489. *Терно, Гийом-Луи*—французский фабрикант; на одной из его фабрик вырабатывались шали, имитировавшие модные в то время индийские кашемировые шали.

Стр. 497. *Севр.*— Имеется в виду фарфоровый завод, основанный в городе Севре в XVIII веке.

Савонри (буквально — «мыловарня»)—мануфактура ковров, основана в XVI веке близ Парижа, в здании бывшей мыловарни.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены провинциальной жизни

Утраченные иллюзии. *Перевод Н. Г. Яковлевой.*
Часть вторая. Провинциальная знаменитость в Париже 5
Часть третья. Страдания изобретателя 307
Примечания 499

БАЛЬЗАК.
Собрание сочинений
в 24 томах. Том IX.

Редактор тома
Б. С. Вайсман.

Иллюстрации художника
В. П. Панова.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 19/IV 1960 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 613. Зак. 517.
Бум. л. 7,9. Печ. л. 26,02+4 вкл. (0,41 п.л.). Уч-изд. л. 28,25.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, ул. «Правды», 24.